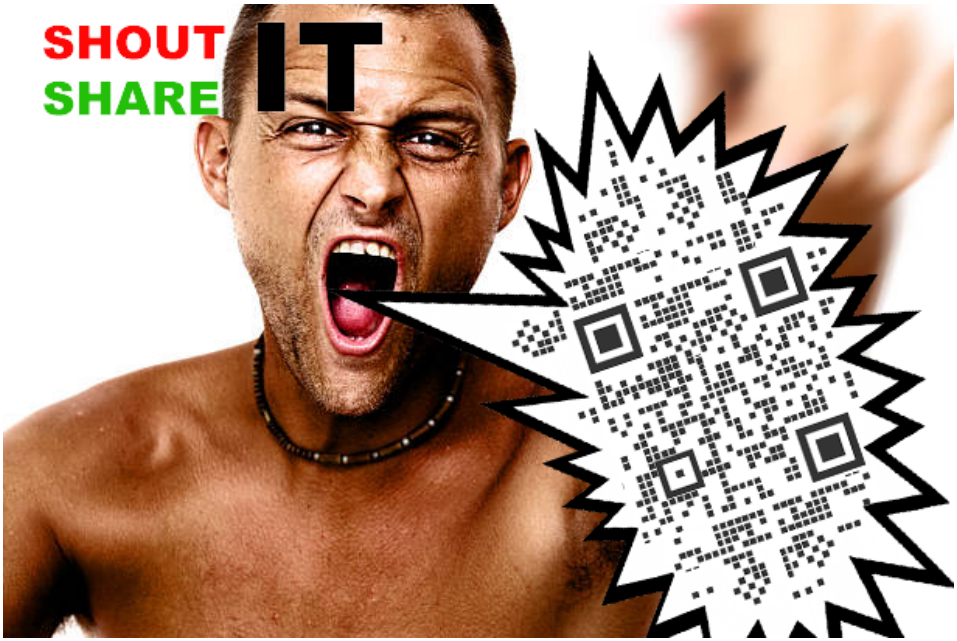
Инга МИЦОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

(XX век: Болгария – Россия)




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Главный герой этой книги – Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал, профессор, народный врач Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда. Его жизнь тесно переплелась с грандиозными – великими и ужасными – событиями XX века. Участник революционной борьбы на своей родине, он проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР.

В Советском Союзе начался новый этап его жизни. Впоследствии он писал, что «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Окончив Военно-медицинскую академию (Ленинград), З. В. Мицов защитил диссертацию по военной токсикологии и 18 лет прослужил в Красной армии, отдав много сил и энергии подготовке военных врачей. В период массовых репрессий был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ее окончания вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней.

Воспоминания, написанные его дочерью, – интересный исторический источник, который включает выдержки из дневников, записок, газетных публикаций и других документов эпохи.

Для всех, кто интересуется историей болгаро-русских взаимоотношений и непростой отечественной историей XX века.

- Инга Мицова
  -
  - Москва – София: жизнь и судьба
  - От автора
  - Вместо предисловия. Отец
  - Часть 1. Профессиональный революционер
  - Часть 2. Россия
  - Часть 3. Война
  - Часть 4. Возвращение в Болгарию
  - Часть 5. Дети
  - Часть 6. Из Болгарии в Россию и обратно
  - Часть 7. Середина века: жизнь в Болгарии
  - Часть 8. На пенсии
  - Часть 9. Прощание с мамой
  - Часть 10. Последние годы папы
  - Вместо заключения. Старик

- Главные действующие лица и их родственные связи
- Коротко об авторе

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33

Инга Мицова
История одной семьи (XX век. Болгария – Россия)

© Грифон, 2008
© Мицова И. З.
© В. С. Голубев, оформление

Москва – София: жизнь и судьба

Эта книга – о семьях Мицовых и Курдюмовых, судьбы которых пересеклись в начале XX века. Они стали очевидцами и участниками великих и трагических событий, резко изменивших ход истории. Главным действующим лицом книги является болгарин Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал медицинской службы. В ранней молодости он становится профессиональным революционером на своей родине – в Болгарии, выполняет важные задания ЦК болгарской компартии и Коминтерна, проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР.

В Советском Союзе начинается новый этап его жизни. Как он впоследствии писал, «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Он заканчивает Военно-медицинскую академию в Ленинграде, защищает диссертацию по военной токсикологии и становится одним из немногих специалистов этого профиля в Красной армии. В это же время его жизнь пересекается с жизнью Веры Курдюмовой и ее семьи, замечательных русских людей.

В период массовых репрессий Здравко Васильевич был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Впоследствии принимал участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в подготовке военных врачей для действующей армии. После Победы вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней.

На страницах книги подробно описана обстановка в тех странах, где ему довелось побывать на протяжении своей жизни, а также рассказано о людях, с которыми он встречался и был близок. Приводится много выдержек из дневников (в первую очередь самого З. В. Мицова), писем, различных публикаций и других документов эпохи.

Значительная часть книги посвящена самому трагическому времени в жизни ее персонажей – Великой Отечественной войне. Эти страницы нельзя читать без волнения: семья Здравко Васильевича вместе с многочисленными родственниками оказалась на оккупированной территории; сам он работал в осажденном Ленинграде, а позже – в Самарканде, в эвакуации. Его дочь Инга – автор этой книги – сумела передать свои ощущения того времени: читатель знакомится с яркими воспоминаниями девочки-подростка, что придает тексту особую убедительность.

Далее рассказано о переезде Здравко Васильевича с семьей в

освобожденную Болгарию; этот отрезок его жизни тоже оказался насыщен множеством событий и впечатлений (показаны его усилия по внедрению в Болгарии научных и методических принципов советской медицины, успехи и достижения на этом поприще). Интересна также судьба его детей: дочь Инга вернулась в СССР, а сын Владимир остался с родителями в Болгарии. Связь с СССР, любовь к России, как и в прежние годы, определяют жизненные направления этой семьи.

Заключительная часть книги охватывает 1970–1980 гг.: Здравко Васильевич после отставки и выхода на пенсию как бы обрел новое дыхание. Он переключился на литературную работу (часть его исторических и мемуарных трудов опубликована), создал ряд мемориальных комплексов, посвященных деятельности знаменитого русского врача Н. И. Пирогова во время Освободительной войны в Болгарии… Но время истекает – и эта часть книги наполнена щемящей грустью: угасают и уходят из жизни ее главные герои…

На страницах книги сделана попытка осмыслить итоги богатой и сложной судьбы, выпавшей на долю Здравко Васильевича Мицова и Веры Вячеславовны Курдюмовой, показать читателю яркий и поучительный пример того, как человек, выбрав себе жизненный идеал, с юных лет оставался ему верен.

В книге упоминается более 200 имен. Это видные деятели международного коммунистического движения: не только самые известные лидеры – Георгий Димитров, Вылко Червенков, Трайчо Костов и другие, – но и рядовые борцы, геройски погибшие в революционной борьбе за высокие идеалы на своей родине (а некоторые павшие жертвами репрессий в СССР). Это старая профессура Военно-медицинской академии, оказавшая огромное влияние на становление Здравко Васильевича как человека и ученого. Это его друзья и знакомые, люди разных профессий и рода занятий, но все – незаурядные и интересные. Это обширный круг родственников в Болгарии и в России, особенно со стороны его жены – замечательной русской женщины Веры Вячеславовны Курдюмовой. О представителях семьи Курдюмовых из Рыльска рассказано обстоятельно и, главное, интересно.

Ценность данной книги имеет еще один аспект: страноведческий и народоведческий. По истории России (Советского Союза) мы за последние десятилетия накопили огромный массив публикаций; а вот применительно к Болгарии ситуация иная. Болгаро-советские отношения в XX веке – это поистине терра инкогнита для современного российского читателя. Мемуарных публикаций по этой теме на книжном рынке России фактически нет. Самый, пожалуй, интересный

источник – «Дневник» Георгия Димитрова опубликован, увы, только в Болгарии на болгарском языке[1] (некогда он хранился в специальном сейфе в здании ЦК БКП в Софии и представлял собой, наверное, самый секретный документ в Народной Республике Болгарии). Димитрова после Лейпцигского процесса (1933) не случайно считали вторым по влиянию деятелем международного коммунистического движения после И. В. Сталина. Напомним, что Г. Димитров возглавлял Коминтерн (Коммунистический Интернационал) – международную организацию, объединявшую коммунистические партии различных стран в первой половине XX века. В книге Инги Мицовой содержится ряд интересных сведений, касающихся Георгия Димитрова, с которым ее отец имел ряд деловых встреч, рассказано и о некоторых обстоятельствах частной жизни Димитрова и его семьи.

Описана также обстановка в Болгарии во время обострения взаимоотношений Сталина с Тито и Димитровым в связи с планами создания так называемой Балканской федерации. В частности, рассказано об организации процесса Трайчо Костова и его группы[2] – крупнейшего политического процесса в Болгарии, сыгравшего ту же роль, что и печально знаменитые Московские процессы 1930-х гг. в СССР. В книге содержатся воспоминания автора о сыне и дочери Вылко Червенкова, руководившего Болгарией после Димитрова, о нелегкой, трагической судьбе этой семьи. Очень интересны рассказы Инги Мицовой о судьбе родственников видных государственных и партийных деятелей – В. В. Шмидта, наркома труда РСФСР (и первого наркома труда СССР), И. П. Товстухи, секретаря Сталина и заместителя директора Института Маркса – Энгельса – Ленина.

Сводный брат автора, священник о. Георгий, так комментирует основную мысль этой книги: «Нас не было, нас не будет, но нам дана возможность сделать свой выбор. Другой возможности у нас не будет. Есть родословная, есть связь с предками вообще и с мирозданием в частности – и есть возможность “уцепиться” за Бога. Мы оказываемся звеном цепи не только между прошлым и будущим, но и между землей и Небом. Наш выбор есть мы сами. И насколько правильно мы сделаем выбор, настолько и наши предки из материального мира могут перейти в духовный и сделать следующий шаг в вечное будущее, потому что если *мы* не сделаем этого выбора, то неизвестно, смогут ли вообще его сделать наши потомки. Важно не прятаться от смерти, а ощутить необходимость следующего шага».

От того, насколько достойно прожили свою жизнь многие поколения предков, зависит судьба их потомков; они как бы

помогают не оступиться, поддерживают в трудных обстоятельствах. Но и потомки незримо связаны с предками и, видимо, тоже мистически помогают им – на каком-то своем уровне…

Эти воспоминания – нравственный урок; эти воспоминания – повод задуматься над вечными вопросами о жизни и смерти – и попробовать ответить на них.

Эти воспоминания дают нам прекрасную возможность лишний раз задуматься и над непростыми вопросами нашей истории. В. О. Ключевский подчеркивал: «Изучая дедов, узнаем внуков, т. е. изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и для чего мы живем, как и к чему должны стремиться…»

Бакун Д. Н., кандидат исторических наук

От автора

Внукам и правнукам Здравко и Веры

Нас не было и нас не будет, как уже нет моих родителей, как нет череды поколений, предшествующих их рождению. Со стороны мамы – это представители среднего русского дворянства и духовенства. Были среди них и военные, участвовавшие в завоевании Кавказа (и даже в пленении Шамиля). И сколько еще было поколений до тех моих предков, имена которых записаны в родословной книге города Казани…

Моя прабабушка Елена Андреевна, урожденная Драевская, умерла всего за два года до моего рождения; с раннего детства я слышала о ней: «Так это же был ангел». Ее отец, Андрей Самойлович Драевский, родившийся в 1800 году, окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, был занесен за личные заслуги в «третью часть дворянской родословной книги Казанской губернии»: коллежский советник, кавалер ордена св. Анны…

Со стороны моего отца известно лишь, что десять поколений его предков проживали в Плевне; известно и то, что его двоюродный дед, отстаивая свое достоинство, вырезал семью турок за нанесенное ему оскорбление; известна и бесконечная благодарность и любовь к стране, даровавшей Болгарии освобождение от пятивекового турецкого рабства… Две цепочки поколений из разных стран, России и Болгарии, с разными традициями, воспитанием, образованием, сомкнулись на моих родителях в тридцатом году прошлого столетия. Поток людей, кровь которых течет во мне, в моих детях, внуках, кровь которых будет струиться в моих правнуках… Череда поколений – уже ушедших, уходящих и нарождающихся – проходит перед моим мысленным взором. Новым поколениям, я уверена, будут свойственны черты, унаследованные от своих предков: достоинство, верность идеалам, честность, порядочность, свободомыслие, независимость.

Эта книга – о маленьком отрезке времени, вместившим всего один век. В ней описывается жизнь нескольких поколений – звено цепи между прошлым и будущим, связанное, так или иначе, напрямую или косвенно, со всеми событиями, пришедшимися на сложный и запутанный двадцатый век. Читатели смогут познакомиться с представителями разных поколений, сумевших сохранить свои традиции и убеждения, свою историю и свое

достоинство. При написании книги для меня было важно как можно правдивее, без прикрас, рассказать о жизни моих родителей и людей, окружавших их.

Я глубоко благодарна своему мужу Владимиру Яковлевичу Кравченко, сыновьям Сергею и Георгию, моей племяннице Татьяне Курдюмовой и Александру Храмову, без поддержки которых эта книга не могла бы быть издана.

Инга Мицова

Вместо предисловия. Отец
Рассказ

Море дремлет до самого горизонта, чуть-чуть всхлипывая, вздыхая и ворочаясь. Солнце замерло в бледно-голубом небе. Ни души. Из санатория доносится музыка. Отец достает из кармана две таблетки валидола, кладет под язык, встает со скамейки. Он только что побрился, на щеке видны две запекшиеся капли крови.

– Куда? – обращается он к дочери. – На автобус?

– Пешком, тут недалеко.

– Для тебя все недалеко. Все из-за твоей неорганизованности. Приехала бы раньше. Месяц проходит – нет ее. Еще месяц – опять нет. Приехала, когда настали холода!

Повторяет это отец каждый день с тех пор, как дочь приехала к нему, хотя знает, что раньше она приехать не могла.

– Я должен был сейчас работать с Ж….м. Он написал о В…е очень хорошо. А об этой… как ее? Ну… как ее? Самая известная у нас революционерка?

Отец останавливается и со злобой ударяет палкой о песок.

– Лола?

– Вот-вот, Лола. О ней написал еще лучше. Я к нему пришел и говорю: зачем писать об отдельных людях? Напишите о восстании. Принес свой отчет Коминтерну. А он мне: «Я уважаю этого человека!»

– Кого? – спрашивает дочь и зажмуривается, ждет новой вспышки гнева. – В…а?

– Ну да. А он – сволочь! Так я думаю.

– Он был разведчиком?

– Да какой, к черту, разведчик! Ни писать не умел, ни говорить. Почему-то я ему не верю. Он сопровождал корабли, а потом подводные лодки. Они приставали как раз там, за Солнечным берегом, где мыс, – показывает отец палкой в сторону моря.

Дочь смотрит. Море гладкое, кажется, встань – и дойдешь до этого мыса. А несколько дней назад волны застывали в холодном обжигающем воздухе и льдисто поблескивали.

– Там наверху была деревня. В ней явка. Сюда и подплывали корабли. И знаешь, – отец опять останавливается, – часто люди погибали. Когда корабль подходил, спускали лодку, к ней привязывали канат. Плыли в темноте, канат разматывался. Если была засада, то дергали за канат, чтобы предупредить оставшихся на корабле, и лодку вытягивали обратно. А знаешь, что было

однажды?

Огромные черные глаза, страшные своими черными бездонными зрачками, смотрят из-за толстых линз.

– Подплыли, спустили лодку, с лодки заметили солдат на берегу. Стали дергать за канат. И знаешь, что он сделал?

– Обрубил?!

– Да! – кричит отец и с силой втыкает палку в песок. – Да! Сволочь! Их поймали с поличным! В лодке было оружие!

– Смотри, какая медуза! Красиво!

– Господи, погоди ты со своими медузами!

– Посмотри, какая синяя! Помнишь, как весь берег был покрыт маленькими медузами, с ладонь? А сейчас они огромные! Смотри – вот и вот…

– Слушай! Вот ты со своей красотой… Знаешь, о чем можно написать рассказ? О том, как я спасся, когда заплыл далеко. Все хотят про тюрьмы, а я вот думаю – описать бы, как я сражался, когда тонул. Что пережил. Знаешь, как я все это помню? Могу написать тебе план. Да нет, – перебивает себя отец, – это надо знать. Да. Море, красота, как ты говоришь. Солнце. Ширь. Заплыл я, обернулся – берега не видно. И думаю: силы кончатся, упаду на дно, буду там лежать, рыбы начнут ко мне подплывать, а потом увидят, что мертвый, начнут кусать. И вот так кончится моя жизнь… Ничего не успею… А как же мировая революция? Так все отчетливо представил – водоросли, песок, дно. И знаешь?

– Знаю. Корабль.

– Да, корабль. И я поплыл в открытое море.

– А они не заметили?

– Да что ты все время подсказываешь? – Отец дергает рукой, пытаясь освободить локоть. – Хотя бы угадывала правильно. Все не то!

Отец стоит, тяжело дышит, потом идет. Ракушки хрустят под ногами. Дочь не знает, будет ли отец продолжать.

– А как же ты так далеко заплыл? Ты что, не видел, что ли? Увлекся?

– Вот-вот, увлекся, – усмехается отец. – Это было в 1927 году. Я только что приехал в Советский Союз. В санатории для политэмигрантов устроили заплыв. Все кричат: «Мичман, мичман!» – был там всеобщий любимец, по прозвищу Мичман. «Мичман! Покажи им!» Меня никто не принимал всерьез! Что? Из Плевена, что лежит на раскаленной сковородке? Да есть ли там вообще вода? Ну, я и поплыл.

«Господи! – думает дочь. – Сколько же это продолжалось? И как он выдержал?»

– Гляди, – говорит она, – медузы как лепестки цветов, синие,

розовые… Будто только что прошла весна.

– Да! Чего только не сотворила природа! Да, как тогда – такая красота! И впервые я увидел, как быстро мчится «Грузия». Огромный черный корабль. Ходил такой из Севастополя. Почему-то черный, – говорит старик, усмехаясь. – И тут я понял – погибну!

«Папа суеверный, – думает дочь. – И надо же! В открытом море – черный корабль!»

– Музыка гремит. На палубе полно людей… Танцуют… Я им махал рукой, махал. А они – знаешь, что?

– Тоже помахали?

– Да! – кричит отец. – Вот так по-разному можно понять одно и то же.

– Они решили, что ты просто купаешься?

– Не знаю, сколько плыл, – говорит отец, глядя куда-то вдаль, – приказал себе не смотреть на берег. Поплыву, полежу на спине. Когда доплыл, сил не было встать, выполз на берег и так и пролежал часа три, а может – четыре, на берегу, даже не вынув ног из моря.

– Что ж они тебя не искали?

– Нет! – зло кричит отец. – Нет! Они обедали, потом легли отдыхать. Да. Вот это рассказ. Куда ты меня ведешь?

– Хочу показать закат. Пойдем по этой дороге.

– Это дорога? Это дорога?! Это сплошные камни, – ковыряет палкой старик. – Самое опасное для меня. Поскользнусь – и все.

– Я тебя удержу. – Дочь еще крепче сжимает его локоть.

– Если бы ты знала, как я себя ненавижу, калеку такого!

– Что у тебя болит?

– И ноги, и таз. Черт бы его побрал! Нет, я здесь не пойду! Мне надо вернуться засветло в санаторий.

Они сворачивают в сторону шоссе.

– Расскажи, как ты переводил людей через границу, – просит дочь. – Сколько это длилось?

– Два года! – кричит отец.

– Да нет, сколько длился переход через границу? – мягко спрашивает она.

– Получал сообщение от заграничного ЦК, что надо идти. Или приезжал человек, или присылали деньги, вклеенные в учебник. – Он искоса поглядывает на дочь: понимает ли? – Я тогда числился студентом. Ну и в тот же день выезжал. Вот город, – чертит отец на песке палкой. – Ехал на пограничную станцию, но не центральную, где ходил экспресс, а на маленькую. Там была ветка, по которой рабочие ездили в город. Садился и ехал. Выбирал такой поезд, чтобы приезжать к вечеру. В деревне

была явка. Когда темнело, начинал подъем. К утру уже был по ту сторону.

– А граница? – спрашивает дочь.

– Да что граница! Граница – это вот, – старик показывает на чертеж, – отсюда досюда. Граница – это все пограничные села.

– Ну да, я понимаю. – Дочь тянет отца за рукав, тот неохотно трогается с места…

– Там тоже садился на поезд. Потом пересаживался на экспресс. Ехал сутки. Приезжал во второй половине дня. Там уже ждали. Ночевал и сразу обратно.

– Сколько ты переводил?

– Сколько надо, – сердится отец. – Было приказано одного, максимум двух.

– Понятно.

– А я переводил семь – десять, – добавляет отец неожиданно.

– Почему? Считал, так проще? Группой?

– Так. Приезжали на пограничную станцию и шли по шоссе. – Отец смотрит на дочь и останавливается. – Всегда по шоссе. Чтобы думали, что идем в деревню. Часто пели. До тропинки доходили уже в темноте, и тогда начинали подъем. Если приходили раньше, прятались среди деревьев. Поднимались и ждали.

– Граница проходит по гребню?

Старик останавливается, сердясь, что дочка перебила, и все же доволен: вопрос по существу. Кивает.

– По гребню. Все было известно. Даже время смены караула. Мы лежали и ждали, когда первый уйдет спать. Перед тем как второму начать обход, я хлопал товарища по плечу и говорил: «А теперь, другарю, – беги!». И вот уже мы на другой стороне.

«Другарю, – думает дочь. – Это по-болгарски. Так папа и говорил. Он не хочет переводить».

– А следы? Как же вспаханная полоса?

– Какая вспаханная полоса! Это потом изобрели вспаханную полосу, там была трава. Правда, по всей длине.

– Вроде просеки?

– Вот-вот, – радуется отец. – Просека. А сейчас моя задача – дойти до комнаты, до моей теплой комнаты! До тепла, ну его к черту, закат! Все твоя красота! Знали бы ваши нынешние чертовы комсомольцы, как мы не за плату, не за службу, не за славу, даже не за будущее шли: надо – и идешь! Альпы! Высота! Взбегаешь на них за четыре часа. И все в темноте. Знаешь, как я все это помню! Когда нас через пятьдесят лет возили туда, чтобы снять фильм, мы ехали в автобусе, проехали границу, я говорю: «Сейчас будет деревня, в центре – пекарня». Я там всегда покупал хлеб. Меня

около пекарни сфотографировали. И когда поехали дальше и я сказал: «А вот сейчас будет тропинка», – уже не было скептических усмешек. Там же полный автобус дедов, и ни черта они не помнят! Знаешь, какая у меня память была? О ней все знали. Никогда я не носил письма, даже самые длинные, – все было вот здесь. – Отец, не останавливаясь, хлопает себя несколько раз по высокому лбу, наполовину прикрытому фетровой шляпой.

– Как ты себя чувствуешь? – неожиданно спрашивает он и останавливается, чтобы взглянуть на дочку.

– Тоска…

Темные, как у отца, глаза из-под черных тонких бровей смотрят снизу вверх.

– Господи, – смеется отец, делая вид, что не понимает. – Тоска! Откуда тоска, если ты здесь поправилась на два килограмма! Грязь тебя не истощила! И сколько написала! Когда я писал еще кандидатскую диссертацию… тему я сам выбирал, не было у меня никакого руководителя, потом это применили в армии, взяли на вооружение… М-да… Но сейчас не об этом… Так вот, был преподаватель у нас, рентгенолог. Культурный человек. Вообще у нас в Медицинской академии все преподаватели были образованнейшие и культурнейшие люди! Мы это не очень понимали. Считали их буржуазией. А я был нацмен. Знаешь, что это?

Дочка кивает.

– А что тогда знали нацмены? Да ничего. Дикие были. Я помню непередаваемое выражение лица профессора по анатомии, когда он, держа пинцетом кожу трупа, спросил у моего приятеля Вити Объедкова, тот был пастухом раньше: «Что это?» И Витя ответил: «Шкура».

Дочка заливается смехом, отец останавливается и ждет, когда она кончит смеяться.

– Так вот, – продолжает он, как только дочка вновь берет его под руку, – рентгенолог написал книгу, пособие, как писать диссертацию. И его совет я запомнил на всю жизнь. Все, что приходит в голову и кажется стоящим, – сразу записывай. Человеческая лень – это страшное дело. Ночью не сплю, а мысли ясные, все так логично выстраивается, и кажется: разве можно забыть? Забываю! И я стал кидать. Кину книгу или там листок какой, думаю: увижу – вспомню. Черта с два! – кричит отец. – Черта с два! И вот теперь, как только что придет в голову, говорю: «Ну, товарищ, вставай! Давай-ка!» И пишу. А утром разбираю. Как бы ни было коряво, если ты это придумал, то ты это и обработаешь. И ты пиши. Пиши. Это такой капитал. Это твоя

сберегательная книжка.

«Родной мой! – думает дочка, – ты у меня “молоток”!»

– А как вы поженились с мамой? Ты обещал рассказать.

Отец смеется по-молодому, искренне.

– Давай зайдем в магазин, – говорит он.

– Не надо. Лучше гулять, терпеть не могу ходить по магазинам.

Отец останавливается и внимательно осматривает витрину.

– Чудачка ты, – говорит он. – У некоторых это единственное развлечение.

Отец, кряхтя, поднимается по ступенькам, дочь, поддерживая его, спешит следом. С силой толкает стеклянную дверь. В магазине никого, кроме продавщицы. Отец выбирает скатерть и дюжину носовых платков. Почему-то он всегда интересуется, есть ли у дочки платки. Скатерть белоснежная, с большими яркими цветами.

– Вот, – радуется он. – Гладить не надо. Почти как клеенка. Пятна не остаются. Постелешь в своей кухоньке.

– Чтобы веселее жить.

– Веселее? – переспрашивает отец.

Пора возвращаться. Их путь лежит к автобусной остановке по главной улочке маленького города. Ноябрь. Не сезон. Улица пустынная и очень чистая.

Женщина чувствует чей-то взгляд, украдкой глядит в сторону и замечает капитана первого ранга из их санатория. Он один здесь ходит в форме. Капитан добродушно улыбается. Первые дни она охотно улыбалась, здороваясь с ним. Но отец никого не подпускает к ней и не скрывает этого. И сейчас женщина ощущает неловкость и отводит глаза.

– Вот сегодня нет ветра, – говорит отец, – и мне в этом пальто тепло.

Пальто старое, драповое, коричневое, под цвет шляпы. Очень тяжелое. Когда дочка подает его отцу, руки подгибаются. Надо бы купить что-нибудь современное – легкое и теплое. Но некому заняться.

– Пойдем к остановке, что возле парка, – говорит дочка.

Отец молчит.

– Ну, хорошо, – наконец говорит он, – пойдем. А успеем?

– Не успеем, так останется всего две остановки до санатория.

– Да, так как я женился на твоей маме? – спрашивает отец, и опять его лицо молодеет. – Как? Все знают, кроме тебя, – ворчит он. – Я был на втором курсе и часто ходил к своему приятелю. Он был тогда уже женат, и у него была большая квартира на Зверинской. Зверинская, дом 36 и квартира 36, – усмехается

отец. – Забыл, как сейчас называется Зверинская.

Дочка молчит, хотя и знает. Не хочет перебивать.

– Теща приятеля, эстонка, прекрасно готовила. И вот мы собирались у него по праздникам… на первое мая… на седьмое ноября… В складчину, конечно. Я тоже хорошо готовил наши болгарские блюда. – Отец довольно улыбается и поглядывает сверху вниз на дочку. – Так вот, Дубовы стали говорить: перебирайся ближе к нам. Что ты из такой дали ходишь?

– А где ты жил?

– На Большой Гребцовой.

– Где это?

– Как только перейдешь Тучков мост, за ним Большой проспект, церковь, улица Добролюбова, аптека… Да, так вот, Дубовы сказали, что в их доме есть комната. Они думали: я не женат, хотели помочь. Так вот: Клюев, военный врач, только что умер. У него жена, Мария Алексеевна, интеллигентнейшая женщина, умнейшая, как говорили раньше – «из бывших», дочь… как ее звали? Леля, Елена. Так вот, Дубовы думали меня женить на Леле. Я посмотрел, комната хорошая, большая, светлая, теплая. Они еще удобную кровать с пружинным матрацем дали. Я до этого жил у эстонцев. Они, эстонцы, – чистюли. Очень за мной ухаживали. Комнату я нашел по объявлению. Тогда печатали объявления, как на Западе.

«Теперь тоже», – думает дочка.

– Когда я им сказал, что ухожу, они тоже решили, что я женюсь. А я и думать не думал. У меня было четкое представление: я революционер, меня ждут тюрьмы, аресты… И подводить другого человека? – Отец смущенно хмыкает.

«Да, – думает дочка, – арест тебе еще предстоит, в тридцать восьмом. Но ты и предположить не мог, что будешь обвинен как немецкий шпион в стране, которую боготворил, в которой жил политэмигрантом».

– Так вот. Приехал я к Клюевым и сразу попал на вечеринку. А надо тебе сказать, мне было тогда ужасно трудно. Русского языка я как следует не знал. Это потом меня твоя мама выучила, так что я говорю без акцента. Обстановка для меня совершенно новая. Ну, пошел я на вечеринку. Сидят все за столом. Вот Леля, вот Лелин брат, вот невеста брата, Лелина подруга. Я говорю, что у меня есть консервы – шпроты. Тогда голод был, это тридцатый год. А нам давали паек. Хороший паек, – говорит старик, причмокивая. – Так вот, как только я сказал про шпроты, так эта невеста, такая растрепанная, волосы во все стороны, как закричит: «Ах, как я их люблю!» Я тогда не обратил внимания, только запомнил: растрепанная. На другой день иду на лекции,

только вышел из квартиры, смотрю – бежит вверх через две ступеньки. Никогда не видел, чтобы так женщины поднимались. Пальто развевается, шляпа диковинная, с полями, «летучий голландец», – в руке, она ею размахивает… Волосы в разные стороны… Все говорили – красавица. А я и не заметил. Через месяц мы поженились. Да… Так вот бывает в жизни. Кровать у нас отобрали и всю остальную мебель тоже. Вскоре, как мы поженились – то есть она просто перешла жить ко мне, и все, – пришел приятель. Он знал, что я убежденный холостяк. Открывает дверь и ничего понять не может. Лежим мы с Верой на полу… Матрас на полу, – поясняет отец, – и мы хохочем. А вокруг, кроме книг, ничего нет. Писал я на подоконнике, наверное, был стул, а может – ящик принес из-под пайка, не помню.

Отец останавливается, смотрит твердо на дочку огромными темными глазами:

– И знаешь, хорошую жизнь мы прожили с твоей мамой. В тот год, когда она умерла, мы должны были справлять золотую свадьбу.

Отец медленно задирает рукав и смотрит на часы. Уже смеркается. Подходит автобус.

– Оставь меня! – отмахивается отец. Обхватив рукой поручень, он выбрасывает палку вперед и поднимается на ступеньку. Шофер улыбается в зеркало молодой женщине. Ждет, когда усядутся пассажиры.

Через полчаса отец в синем спортивном костюме входит в зал, где обедают живущие в люксе. Не здороваясь и не глядя ни на кого, старик идет, склонив лобастую седую голову, внимательно глядя под ноги. В санатории он ходит без палки. Следом за ним, касаясь его плеча головой, так же, как и отец, заложив руки за спину, идет тоненькая дочка в синем вельветовом платье. Она напряженно следит за каждым движением отца. В зале тепло и очень светло. Море в темноте за окном. Дочка отодвигает стул, и отец садится. Внимательно оглядывает стол, ворчит:

– Опять на десерт виноград.

Смотрит в тарелку дочери.

– Принесите мне то же, что и ей.

Дочка думает, что отцу из-за диабета нельзя пирожное, но молчит.

– А когда умерла твоя мама? – спрашивает она.

– Что?

Поддев языком, старик выталкивает изо рта вставную челюсть и внимательно рассматривает ее.

– Как ты себя ведешь? – шепчет дочь.

– Двадцать раз снимали слепок! Ничего не умеют. – Старик ловко впихивает челюсть на место.

– Слушай, – подступает опять дочка, – ты видел свою мать после того, как перешел на нелегальное положение?

– Да, – еле слышно отвечает отец.

– Сколько раз?

– Один.

– А когда она умерла?

– Я приехал.

– Что?! – вскакивает дочка. – Ты же был нелегалом!

– Ну и что? Жандарм был на кладбище. Охранял меня.

– Ну а ты? Когда она умерла? От чего?

– В феврале, – отвечает отец неохотно.

– От чего?

– Сердце. Пятидесяти лет от роду.

– С кем она жила?

– С сестрой. Сестра за ней ухаживала. Сестра совсем не похожа была на мать. Злая была. Потрясающе злая была. Любила только свой род. А мать очень добрая. Ах, какая добрая была! Как всем старалась помочь! Знаешь, маленькая была, а… – отец ищет слово, – …на болгарском языке есть такое слово, «пыргава»… да, пожалуй, по-русски – проворная, талантливая была, а как гадала! И так хороша!

Голос отца теплеет.

– Ешь, – обращается он к дочери.

– Ну а как же ты потом убежал? Это когда ты спрятался на якоре?

– Что? – Отец неодобрительно смотрит на дочку. – Ах, да, тогда. Да.

Тихо играет радио.

– Ты знаешь эту песню? – неожиданно спрашивает отец.

– Нет, в первый раз слышу.

– А слова понимаешь?

– Нет.

– Очень хорошая песня. На слова Яворова, нашего известного поэта: «А для любящих сердец смерть не есть разлука», – переводит отец. – Вот эти слова напишите на нашей с мамой могиле.

Дочь вздрагивает и внимательно глядит на отца. Они уже одни в столовой. Официантка Дафина убирает со стола, время от времени улыбается молодой женщине.

– Расскажи что-нибудь про маму…

– Что ты пристала? – сердится отец. – Что ты все

выспрашиваешь? Ты что, за тем сюда и приехала?

Ночью женщина просыпается от тоски. Приподнимается и видит тонкую полоску света из-под двери. Старого человека спасти нельзя. Женщине тяжело. Физически тяжело. И не потому, что старик стонет, ругается, еле-еле ходит. Дочка идет с отцом по дороге и ясно видит конец – как конец того мыса. В окно глядит луна. Она уже убывает. Женщина встает, одевается, снимает плед с кровати и тихо открывает дверь на балкон.

Море под луной горбатится, поблескивая, как слюда. На мысе мигают огоньки. Женщину знобит, она набрасывает на плечи плед, перегибается через перила и заглядывает в комнату отца. Тот сидит за столом, лицом к окну, и что-то быстро пишет.

Часть 1. Профессиональный революционер

На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех.

Ю. Трифонов

Первое антифашистское восстание (июнь 1923 г.). – Детство папы. – Первый арест. – Сентябрьское восстание. – Угроза убийства. – Эмиграция в Австрию. – Покушение на царя Бориса в Софии. – Белый террор. – Нелегальный канал. – Арест и побег. – Восстание в Вене. – Шмидт и Товстуха. – Эмиграция в СССР.

Недавно мне попалась небольшая брошюра – как она оказалась у меня, откуда взялась? На обложке стояло папино имя. Я открыла. Брошюра написана по материалам архивов ЦК БКП и Коминтерна. Издана впервые в Софии в 1974 году Партиздатом. Папа написал это в Советском Союзе в 1933 году, в десятую годовщину июньского антифашистского восстания в Плевне.

В молодости, слыша про июньское восстание 1923 года, я пожимала плечами – что за восстание? Антифашистское? Фашисты-то откуда в Болгарии? Да еще в двадцатые годы! Недавно, раскрыв Большую советскую энциклопедию, с удивлением узнала, что самое первое антифашистское восстание произошло именно в Болгарии: «В июне 1923 г. был совершен фашистский переворот. Правительство Болгарского Земледельческого Народного Союза свергнуто. Премьер-министр Стамболийский и его соратники убиты. Погибли также тысячи членов БЗНС. Стихийное антифашистское восстание народных масс 9–14 июня подавлено. К власти пришло правительство фашистской диктатуры во главе с Цанковым».

Читая папин доклад, я мысленно переношусь в то трагичное время.

…Утром 9 июня в Плевне разносится весть, что фашисты свергли правительство БЗНС. А уже в 12 часов мой папа – секретарь комсомольской организации – собирает в лесочке на окраине города двадцать комсомольцев. Каждый должен пробраться в свое село, собрать коммунистов и земледельцев

(членов БЗНС. – *Ред.*), объяснить, что произошел переворот, и повести их в город. Лозунг: «За рабоче-крестьянское правительство!» Халачев – секретарь городской партийной организации – заявляет: «Мы не можем ждать, скрестив руки, мы имеем право даже по буржуазным законам взять власть в городе. Мы – решающая сила. Если же уступить блоку фашистов – они нас сразу объявят вне закона». Кажется, все коммунисты согласны поддержать восстание, против – Табачкин, окружной секретарь партийной организации, он убеждает: «Отняли власть не у нас, а у земледельцев, пусть они и крошат друг другу головы». Но накал страстей столь силен, что жена Табачкина выгоняет мужа из дома: «Иди и не возвращайся, пока не переменишь мнение! Стыд и позор! Когда все за восстание, ты один против!» Лидер радикальной партии убеждает Табачкина: «Только вы, коммунисты, можете внести ясность в положение, вы самые сильные в городе, нет другой такой силы. Людей у вас много, и городская управа у вас в руках. Вы имеете право водворить порядок». Табачкин в меньшинстве, и в ночь с 10 на 11 июня происходит непосредственная подготовка восстания.

В понедельник 11 июня, утром, в 10 часов, ударили в колокол церкви Святого Николая. Это был сигнал к восстанию. Разношерстная толпа высыпала на улицы. В руках – винтовки, пистолеты, карабины, ножи… Кто в мундирах (солдатских или офицерских), кто в штатском, хоть и нацепил военную фуражку, но у всех на рукаве повязка – красный бант. Коммунисты и комсомольцы уже на позициях. Выстрелы раздаются по всему городу, разносятся по окрестностям. Энтузиазма – море. Комсомолки-курьеры снуют туда-сюда, переносят в юбках патроны, отобранные у солдат. Десять тысяч крестьян с криками «ура!» двинулись на Плевну. Проходя через виноградники, выкорчевывают колья и бегут навстречу войскам. Окружена почта и второй полицейский участок, захвачено несколько телег с винтовками, патронами, гранатами. Восставшие яростно обстреливают казармы 4-го и 17-го пехотных полков, где сосредоточены главные силы противника. К середине дня фашисты Плевны должны быть окружены и блокированы. В 12 часов комендант передает город в руки коммунистов.

И в тот момент, когда фашисты были готовы сдаться, когда крестьяне, вооруженные лишь кольями, героически бросались на ружья, когда город почти уже был в руках восставших, – пришла телеграмма из Софии с требованием ЦК БКП – воздержаться от участия в выступлении и хранить нейтралитет. Как это? Неужели воодушевление народа надо погасить, хотя причиной стало законное возмущение фашистским переворотом, возмущение,

вызванное убийством лидера Земледельческого правительства и его помощников? Соблюдать нейтралитет? Да во имя чего? В голове не укладывалось. Но приказ есть приказ. Телеграмма попадает в руки папы – и он решает ее придержать. Следует повторная телеграмма. Асен Халачев, руководитель восстания, считает ее фальшивкой. Не хочет верить. Но раздается телефонный звонок из ЦК БКП. Голос Тодора Луканова – уважаемого в Плевне руководителя партийной организации города с начала ее основания. Он повторяет приказ и велит распустить восставших. И вот власти дают фаэтоны Халачеву и Табачкину, и те мчатся по улицам, где только что стреляли. Табачкин стоит во весь рост в пролетке, размахивает телеграммой и кричит: «Расходитесь!» Халачев в отчаянии тоже выполняет приказ руководства и слышит в ответ на предложение разойтись: «Ты призвал нас восстать – и мы восстали, но ты не можешь нас заставить прекратить восстание». И все же постепенно волнение, охватившее массы, спадает.

Цель местных коммунистов – поднять против фашистов весь плевенский округ – была сорвана. После упорного сопротивления распоряжению ЦК, в 15 часов 11 июня 1923 года антифашистское восстание в Плевне было прекращено. Все подчинились приказу партийного руководства.

Асена Халачева убили, как собаку. Фашисты его схватили, подвергли истязаниям, по голым ступням били палкой, поливали водой и снова били… несколько часов. И после на телеге вывезли за город и утопили в реке Вит. Тело спустя какое-то время выбросило на берег, и по кольцу на пальце один из крестьян опознал Асена Халачева и похоронил. С его дочерью Любой я была знакома, она так и не вернулась в Болгарию и жила в Москве.

Моему папе во время восстания было двадцать лет. Ему удалось скрыться; по решению ЦК его должны были на подводной лодке переправить в Советский Союз[3].

Сколько было прочитано книг, где описывались подобные ситуации, как я переживала и сочувствовала ребятам, боровшимся за будущую счастливую жизнь! Но никогда мне в голову не приходило, что все это было так близко от меня: папа, мой родной папа, который был рядом, девяносто лет тому назад жил именно такой жизнью.

Тайны прошлых лет, минувшей эпохи… Мало кого теперь они интересуют… но той борьбе, такой жизни была отдана половина прошедшего века, целое поколение верило в свою правду, боролось за нее.

Из записок папы:

«Отца не помню. Мне было три года, когда он умер. Знаю, что работал в мэрии, принимал прошения. Мама была сильной женщиной. После смерти отца работала у чужих, очень хорошо готовила. Чтобы мы уважали себя, постоянно твердила, что отец не умер, а находится в каждом углу дома и наблюдает, слушаемся ли мы маму, как учимся…»

Деда моего по отцовской линии, Василия, я видела на сохранившейся фотокарточке. Сначала мне не нравились самодовольный вид и залихватски закрученные усы. Сейчас я его воспринимаю по-другому: в белом костюме, в белой рубашке, с палкой в руках – он держится спокойно, с достоинством. Перед ним стоит старший брат папы – тоже Василий, эти двое отличаются от остальной семьи. Младший Василий, белолицый, как и отец, светловолосый, с печальным, вопрошающим взглядом. Но и по сей день мое внимание привлекает бабушка, Цана Вылова, десять поколений предков которой рождались и умирали в Плевне. Она стоит рядом с мужем, в черном глухом платье с высоким воротником. Сколько требуется времени, чтобы разглядеть лицо? Первое впечатление мне кажется самым верным; на первый взгляд это лицо сильное и гордое. А вот на второй – я останавливаюсь, пораженная. И вижу удивительное сходство со мной. Ее кровь повторяется в круглых карих глазах, в тонких губах, в тонких черных бровях. Одно лицо. И только цвет волос разный, но те же две косички, угадываемые на спине. На руках у прабабушки, имени которой я не знаю (по слухам – Параскева), сидит мой папа, ему нет и года. Красивое тонкое лицо Параскевы мягко и одухотворенно. Задумчиво она смотрит вдаль. Про прабабушку известно лишь одно – она собственноручно выткала ковер, по которому прошел Александр II, возвращая плененному Осман-паше саблю. Из всех ковров был выбран именно ее. Это говорит не только о вкусе, но и том общественном положении, которое занимало семейство Выловых в 1877–1878 годах в Плевне. Благодаря ее рассказам об освобождении Плевны, о том, как сначала въехали казаки, как ставили кресты на воротах православных, как затем в течение трех месяцев шли кровавые сражения, как полегло несметное число русских за освобождение 15 тысяч болгар – жителей Плевны, – и возникла с раннего детства папина любовь к России.

Дед Василий пришел, именно пришел, а не приехал, в Болгарию из Македонии. Плащ служил ему ночью постелью. Так, вероятно, ходили все люди со дня сотворения мира. Так ходили

апостолы – плащ, без сумы и с палкой в руке. Иисус заповедовал не брать и сумы.

Оказавшись в Болгарии, Василий Мицов сделал карьеру – от природы интеллигентный, любознательный, он работал в мэрии Плевны. Купил довольно большой дом с садом в центре города, завел большую библиотеку и заработал, как говорил папа, уважение людей. Умер дед Василий, когда ему было 45 лет. Бабушка осталась вдовой в 35 лет, с пятью ребятами на руках.

Дом Мицовых стоял на горбатой улице, внизу возвышался красно-белый купол мавзолея – гордость жителей Плевны. Там, в «костенице», за стеклом, лежат друг на друге тысячи черепов павших русских воинов. Тысячи пустых глазниц смотрят упорно, стараясь понять, не напрасно ли была пролита кровь в чужой стране за ее освобождение от страшного пятисотлетнего турецкого ига.

Мужчины с темными мрачными глазами, в красных фесках, в коричневых штанах наподобие галифе, только с задом, свисавшим, как курдюк, с широкими, под грудь, красными шерстяными поясами, заполняли *дюкяны* — тогдашние кафе, курили длинные трубки, медленно тянули горячий черный кофе из маленьких чашек, запивая глотком холодной воды из стакана. Развлекались они по-разному. Привязывали к хвосту собаки политую керосином жестянку и пускали по улице. Жестянка сзади грохотала, собака, прижав уши, с вытаращенными глазами бежала вперед. Из всех дюкянов высыпали толпы завсегдатаев и, хлопая в ладоши, улюлюкая, не давали ей свернуть с дороги. А когда жестянка отрывалась и собака, не помня себя от страха, продолжала бежать, высунув язык, с пеной у рта, ей вслед несся крик:

– Бешеная! Бейте! – И те же самые зрители забивали собаку камнями.

Улицы были узкие, кривые, с подернутыми зеленью зловонными лужами. Лишь небольшая часть улиц была вымощена, другие тонули – летом в пыли, зимой в грязи.

Во время рамазана турки, которые составляли половину жителей Плевны, на ранней заре били в барабаны. Все просыпались. Вечером, когда зажигался фонарь на мечети около кафе «Чифте», по городу несся тонкий голос муллы, который выпевал праздничную молитву. Затем раздавался крик:

– Вард-а-а-а! Турското топче и ще гръмне!

И пушка, взятая на время в Городском управлении, стреляла, оповещая, что теперь можно приступить к еде.

Я слышу в себе глухой ропот моих прародителей со стороны Цаны, струится черная кровь «дели» (бешеного) Николы, родного

брата моего прадеда, отца Цаны. Его жизнь приходится на начало и середину XIX века, тогда одно за другим вспыхивали восстания против турецкого порабощения. По преданию, у дели Николы был большой нож с двумя остриями. Однажды турок обматерил его, и дели Никола, пробравшись летней ночью на его двор, вырезал девять членов семьи обидчика. Сумели подкупить турецкого судью, и тот вынес приговор – всего 9 лет тюрьмы в Диарбекире, городе в юго-восточной части турецких владений в Малой Азии, цитадель которого служила местом заключения политических преступников, в том числе деятелей болгарского национально-освободительного движения.

В начале XX века в Плевне был театр и кинематограф (а может, и два), три духовых оркестра (и даже один струнный), много хоров. На улицах плясали по праздникам хоро (национальный болгарский танец) под звуки гайды. Был и городской сад. Из храмов – три православных церкви, мечеть и синагога. Летним утром стада коз и овец покидали окраины города, и мелодичный перезвон колокольчиков успокаивал, плывя по узким, тонущим в пыли улочкам.

После смерти Василия Мицова судьба семьи полностью зависела от Цаны. Вот тогда и проявился ее стойкий характер. Бабушка Цана, маленькая, проворная, красивая, очень гордая, и пряла, и ткала; говорили, что занималась и гаданием. И довольно успешно. Эта мистическая способность осталась и у папы, и частично у меня. По слухам, Цана также подпольно делала аборты. Может быть, и так: судя по фотографии, ее рука не дрожала и глаз был верен. Но денег хватало не всегда.

Часто Цана тихо говорила детям: «Накрывайте стол в саду, стучите ложками, стучите тарелками – пусть соседи думают, что у нас есть обед и тарелки полны». Что они голодали, знала только сестра Цаны, которая, скрывая под платком краюху хлеба (тайком от мужа!), иногда приносила им поесть. Память о постоянном голоде таится в глазах моего отца многие годы. В глазах, то злых и угрюмых, то довольных и веселых, всегда лежал этот неуверенный отблеск голодного детства.

По вечерам Цана, повязав голову черным платком, в черном вдовьем платье, пересекала двор по вымощенной дорожке, выходила за ворота на маленькую площадку, садилась на скамейку. За Цаной ковылял малыш – папа, с курчавой шапкой волос, с круглыми глазами, тонким ртом и опущенными вниз уголкам губ – точная копия самой Цаны. Папа ждал фонарщика, который с маленькой лестничкой в руке перебегал от фонаря к фонарю, быстро вскарабкивался наверх и поджигал газ. А молодежь, как в старину, собиралась у *чешмы* — источника –

неподалеку от дома Мицовых. Оттуда несся смех, пение.

– Цана, – подходила соседка, – посмотри на кофе: муж уехал в Софию, собирался вернуться в пятницу, а сегодня уже воскресенье…

– Фотография есть?

– Есть.

Цана вставала, медленно шла в дом. Там, на кухне, она медленно, молча варила на слабом огне принесенное соседкой в кулечке кофе, не спеша ставила кофейные чашки на низенький столик, стоявший в углу, разливала из медного *джазве* по маленьким чашкам кофе, пузырящийся обильной пеной. Обе женщины, сидя на маленьких низеньких скамеечках, медленно пили кофе.

– Опрокинь чашку на блюдечко, – говорила Цана, – осторожно, правой рукой. – Нет, нет, на себя.

Уходя, женщина оставляла кусок хлеба.

В 12 часов дня раздавался крик:

– Поезд из Софии пришел!

С вокзала неслись велосипедисты с кипами газет, и папа (ему было лет шесть) в коротеньких штанишках подхватывал на ходу кипу, мчался на главную улицу и, картавя, кричал:

– Утренние газеты!

Старший брат Василий, тот, который на карточке смотрит в объектив печальным задумчивым взглядом, с четырнадцати лет стал работать в типографии. Он первый принес в дом газеты «*Работнически вестник*», «*Новое время*». Цана негодовала. Василий был связан с партией «тесных социалистов» (в будущем – партией болгарских большевиков). Василий-*Чучулига* (жаворонок), несмотря на свой возраст, был выбран секретарем союза печатников, посещал клуб рабочих «Пробуждение» и брал шестилетнего папу с собой. На праздниках папу ставили на деревянную скамейку, и он, картавя, декламировал:

Режи, режи, ти бичкийо,
Бягай, черна сиромашийо!

(Пили, пили, пила, // Убегай черная нужда! – *И.М.*).

Семнадцатилетнего Василия подстерегли за городом в ночь на Димитров день и убили.

«*Муку по старшему брату, моему первому учителю по социализму, ношу в сердце по сей день»,* – писал восьмидесятилетний мой отец.

Проходят три военных тяжелых года. Европа дымится, везде вспыхивают восстания. В Германии свергают кайзера Вильгельма,

в Берлине, в Баварии и других местах выбраны советы рабочих и солдатских депутатов. Австро-Венгерская империя распадается на Австрию, Чехословакию, Венгрию, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (будущую Югославию). Вот-вот мировой пожар революции зальет всю Европу… И вдруг новость! В Болгарии, в городе Радомире, солдаты тоже восстали, провозгласили республику, объявили о низвержении царя Фердинанда и сейчас направляются в Софию.

Иван Дамянов, Моис Нисимов, Андро Луканов и папа, четверо плевенских ребят из одной *махалы*, рано утром, с железными прутьями в руках, садятся в поезд. Они едут в Софию, чтобы присоединиться к «Владайскому» («Войнишкому») восстанию. О! С какой радостью они встали бы рядом с солдатами, круша противника! Но, проболтавшись день-два по Ючбунару (кварталу Софии), узнали, что артиллерия разогнала войска. Сказали им об этом офицеры из Плевны, которых они встретили на софийских улицах.

– Ступайте домой, ребятки, – сказали они, – тут плохо пахнет.

В сентябре 1918 года, усталые, голодные, ребята возвращаются домой. Только четверо из всего города? Кажется, да. Других они не упоминали.

А 3 октября Фердинанд отрекается от престола и передает власть сыну Борису.

«Не прошло много времени, как меня позвал Васька – Василий Каравасилев. Каравасилев был молодой, обаятельный, с матовой кожей, густой кудрявой шевелюрой, высоким лбом, широким массивным волевым подбородком. Он был убежденный коммунист, вернувшийся с фронта с сорванными, в знак протеста, погонами. Когда-то они были приятели с моим старшим братом, Василием.

– Здравко, – обратился он ко мне. – Ты можешь привести несколько верных ребят сюда в клуб? Надо поговорить.

– Могу, бай Васил».

15 декабря 1918 года те самые смельчаки, которые рвались участвовать в восстании, собрались в комнатке партийного клуба. Вечереет. Пять человек примостились у горящей «буржуйки». Среди них двадцатипятилетний Василий. Говорит с каждым в отдельности. Спрашивает, хотят ли работать организованно для свержения буржуазии. Рассказывает им про империалистическую войну, о революции в России, о традициях молодых социалистов в Плевне.

И вот здесь у меня впервые сжимается сердце. У маленькой печурки четверо замерзших ребят готовы пожертвовать жизнью за счастье неизвестных им людей.

– Сейчас, – голос Каравасилева сильный, торжественный, –

мы основываем молодежное дружество при партии тесных социалистов. Предлагаю выбрать секретаря.

– Ты, конечно, бай Василий, – отвечают ребята с воодушевлением.

Папу выбирают секретарем контрольной комиссии.

А было ли у моего папы детство, в его обычном понимании, – товарищи, игры, развлечения? Конечно, кое-что ему перепало. Были походы на реку Тученицу, грязную речушку, вошедшую в историю после осады Плевны русскими войсками в 1879 году, и на реку Вит, в семи километрах от города, были прыжки с моста, бесконечные купания. Ловил змей, прижимая голову змеи раздвоенной на конце палкой, быстро обхватывал пальцами сзади за голову, смотрел, как змея, извиваясь, обвивает руку… А потом? Вероятно – забивал змею той же палкой.

Был друг, оставшийся близким и единственным на всю жизнь – Андро Луканов, сын Тодора Луканова, живший неподалеку, остроумный, веселый босоногий мальчишка, деливший с ним ломоть теплого хлеба, посыпанного солью и красным перцем…

Но вот уже впервые приходят в дом и делают обыск, арестовывают…

«В связи с борьбой за победу коммунистов на выборах в Плевенскую городскую общину в 1919 году я, 16-летний ученик 6-го класса (сейчас это 10-й), был арестован вместе с 16 взрослыми коммунистами и посажен в окружную тюрьму – за насильственный разгон собрания “широких” социалистов (разгон сопровождался избиениями и ножевыми ранениями)».

Двое жандармов входят во двор, проходят по узкой мощеной дорожке, поднимаются по ступенькам и без стука открывают дверь.

– Эй! – кричит один из них. – Дома кто есть?

Из комнаты молча выходит Цана. Маленькая, в черном платье, черные волосы покрыты платком. Ей 47 лет.

– Здравствуй, госпожа Цана, – говорит жандарм. – А твой сын?

Цана не успевает ответить, за спиной вырастает папа.

– Тут я.

– Ну-ка, пропусти, – говорит жандарм, отталкивая папу и проходя в комнату.

И когда двое жандармов проходят в комнату, папа молча протягивает руку, преграждая дорогу матери. Но Цана нагибается и под рукой сына входит следом, пересекает комнату и становится у окна, занавешенного плотной белой шторой, защищающей от жарких солнечных лучей.

В комнате стол, несколько плетеных стульев, полки с

книгами, на полу разноцветная *черга* (домотканый ковер, изделие самой Цаны). Жандармы оглядывают комнату, один остается у двери, другой подходит к полкам.

– Мама, – обращается отец к Цане, – принеси-ка мне поесть.

– Смотри – ест, – говорит жандарм, стоящий у двери. – Ест, – повторяет он, – значит, невиновен.

Его напарник только мельком глядит на папу, он кидает одну за другой книги в мешок. Туда уже последовали «Разбойники» Шиллера и «Война и мир» Толстого – как нелегальная коммунистическая литература.

– А! Ты и такие книги читаешь! – вдруг обращается он к папе, держа «Капитал» Маркса. – Молодец. Разбогатеешь, прекратишь безобразничать. Ну а сейчас обувайся, пошли.

Цана медленно идет следом по каменной, выложенной когда-то мужем дорожке. Провожает, как дорогих гостей, до калитки, а потом смотрит вслед.

– Господи, помоги ему, – крестится Цана.

Это был первый арест. После второго папу исключили из гимназии с «волчьим билетом».

Думаю, что именно в то время папа набрасывается на чтение. В первую очередь за марксистскую литературу. Особенно он ценил труд Дмитрия Благоева «К марксизму».

Что еще читал? Не знаю. Умел говорить, умел думать, делать выводы и обобщать. Знаю, что вел кружок по марксизму среди плевенских комсомольцев, знаю, что позже, когда он бежал из Болгарии в Австрию и оказался в Граце, ему, самому молодому, сразу поручили доклады не только для ознакомления соратников с учением Маркса – Ленина, но и о перспективах развития революционного движения.

А в июне 1923 года, после восстания, как я уже писала, часть активных комсомольцев, в том числе и папу, было решено на подводной лодке по маршруту Варна – Севастополь отправить в Советский Союз. Но в Варне папу ждало потрясение. На улице он встречает Василия Каравасилева, о котором точно знает, что тот находится в Москве. Но… организатор комсомольского движения в Плевне шел ему навстречу. Потрясение было столь сильным, что, забыв про конспирацию, папа застыл на месте.

«Василий, красавец, высокий, плечистый, стоял передо мной. Сказал, что учится в Военной академии им. Фрунзе, знает про июньское восстание в Плевне, что приплыл по каналу Севастополь – Варна для использования опыта военных знаний. Из всего рассказанного в сознании остался единственный факт – в сентябре в Болгарии готовится антифашистское восстание, и уже ничто не было в состоянии оторвать меня от болгарского берега.

Вопреки огромной радости, вопреки сокровенному желанию, вопреки тому, что был на краю осуществления своего горячего желания, осуществления своей мечты с детских лет – попасть в Россию и там учиться, мои товарищи уплыли, а я остался. Вернулся в Плевну нелегально. Пришел как-то ночью к маме. Обошел дом. Я знал, где мать спит. Постучал в окно. А она, будто только и ждала, сразу выскочила».

Я вижу кудрявого, черноволосого, высокого, худого, так похожего лицом на мать папу. Ему только исполнилось двадцать лет. Мать, верившую, что еще увидит сына, выскочившую в ночной рубашке… Они очень любили друг друга.

«*Оружие июньского восстания было спрятано, надо было его подготовить. Дух был высоким, были готовы на бой, но в сентябре пароль в Плевну на восстание не был дан. Организованное сентябрьское восстание, которое охватило многие округа, города и села, было неудачное. Я нелегально по-прежнему работал в Плевенском округе. Время от времени заходил по ночам к матери. Меня все время разыскивали, я прятался. Но они чувствовали – я здесь, поблизости. И вот умирает участник нашего хора. Тенор. Хороший тенор был. Как пел! Умер от туберкулеза. Я написал некролог. Его расклеили по городу. И только сейчас люди узнали, что это был прекрасный человек и коммунист. Этот некролог, вероятно, и выдал меня. Через какое-то время я прихожу к матери, и она выносит мне письмо, посланное по почте. Все как полагается. Но подписано кровью. “Кровью мы подписываемся, что тебе не жить”. Ну, я и поехал в Софию. Было известно, что тех, кому присылали подобные письма, впоследствии убивали».*

О том, что папа был приговорен к смерти, что получил письмо, подписанное кровью, я знала давно. Но никогда мне не приходило в голову подумать о моей бабушке. Что она-то пережила? И представляю я жаркий, не по-осеннему, день, бабушку Цану в опустевшем доме, в черном платье, голова повязана черным платком. Она сидит у окна, полотняная занавеска поднята, и ждет, ждет с утра до ночи. Она настороже. И в окно видит, как по ее двору идут двое жандармов. Она даже не встает со стула.

– Госпожа Цана, где твой сын? – кричит один жандарм, останавливаясь на пороге. Другого жандарма Цана не видит. О, она давно готова к этому вопросу, она пожимает плечами и встает со стула.

– Я его видела в последний раз одиннадцатого июня.

– И он больше не появлялся?

– Я его не видела.

Цана стоит в дверях со скрещенными руками на груди.

– А ну, пропусти, – говорит жандарм и отстраняет Цану.

Он быстро проходит в другую комнату, быстро обходит дом. Никого. Да он и не ожидал кого-то увидеть. Этот Здравко не прост.

– А вот некролог, – останавливается он около Цаны, – видела?

– Видела, конечно, он висит на каждой улице.

– А кто написал?

Цана пожимает плечами. Здравко учил: как можно меньше говорить. Жандарм злится:

– Мы знаем – написал твой сын.

Цана молчит.

– Быть того не может, чтоб он был в Плевне и не заходил к тебе. Говори.

– Укажите мне на того, кто видел Здравко после восстания. Я его не видела, – говорит Цана и чувствует, как дрожат ноги.

– Собирайся, пойдешь с нами в участок, – говорит другой жандарм, появляясь в дверях. – Там посидишь на цементном полу. Ничего, сынок, если только у него есть совесть, прибежит.

Цана, как была в черном платье, в черном платке, в налымах (сабо, деревянные башмаки без задников), выходит на улицу. Жарко. Соседки выглядывают из-за штор. Перед церковью Св. Николая Цана останавливается, поднимает голову, смотрит на купол, где блестит небольшой крест:

– Господи, сделай, чтобы Здравко не узнал. Чтобы не пришел.

Участок рядом. Цану вводят и без дальнейших вопросов толкают в подвал. Первое впечатление – отдохнет от жары. В камере пусто, она садится на пол, прислоняется к холодной стене, вытягивает ноги. Нет мыслей. Есть страх: Здравко может сам явиться. А ему всего-то двадцать… Цана ложится на цементный пол, сильно болит сердце. Проходит день. Второй…

Никогда за всю жизнь столько не лежала, столько не молчала. Цана не спит, в полудреме механически повторяет: «Господи, спаси сына, сделай, чтобы Здравко не узнал, не пришел, Господи, помоги… Может, он уехал? Нет. Не уехал бы, не попрощавшись… Убьют… Сначала будут бить… Может, он уже лежит где-нибудь в лесу… как тогда Василий… как Асен Халачев…»

– Господи, помоги! – кричит Цана.

– Чего кричишь? – в дверях жандарм.

Раз в день приносят еду. Она вглядывается в лица жандармов… Кажется, ничего… И вдруг на третий день утром:

– Эй, Цана, выходи, сынок прибежал!

Уже не «госпожа», она – арестант, мать преступника.

В комнате, куда выводят Цану, громкий смех. Здравко

напряженным взглядом оглядывает мать – серое лицо, глаза черные, ввалившиеся.

– Сынок! – бросается Цана к сыну.

– Куда! Нельзя! – кричит жандарм.

Сын поднимает руки, и Цана видит наручники.

– Мама, не плачь. – Голос сына злой, раздраженный.

Цана пугается. Что-то она делает не так.

– Пошел! – кричит жандарм и толкает сына в спину.

В глазах сына беспокойство за нее – выдержит ли? Мать стоит в измятом черном платье, растрепанная, черный платок сполз на плечи, пристально смотрит в глаза сына.

– Свободна, – слышит она.

Из записок моего отца:

«А они забрали мою мать. Посадили в участок. “Пока не придет твой сын, будешь сидеть на цементном полу”. Вести разносятся. Да. Так я узнал, что мать в участке, и говорю: “Пойду, сдамся”. А мне говорят: “Убьют”. И все-таки пошел. Мать выпустили.

И она выскочила из участка и побежала к нашему дальнему родственнику, он был известный фашист. И этот родственник написал: “отпустить” на клочке бумаги. Когда меня отпускали, начальник участка сказал: “Знаю, что именно ты подожжешь Плевну с четырех сторон, но приказ есть приказ. И я сейчас тебя отпускаю. Но в ближайшее время арестую. Ты от меня не убежишь”.

…Еще раз я приехал попрощаться с матерью. Приехал ночью. А ночь была лу-у-у-нная. Тихо пробрался по двору, стукнул в окно. Она выскочила во двор. Мама, которая боялась остаться одна, которая хотела, чтобы самый маленький сын остался с ней и остался живым, чтобы я был с ней в последний час, шептала:

– Беги, сынок…»

Бедная моя бабушка Цана. Она в последний раз заглянула в глаза сына, положила голову ему на плечо. Она не плакала. Плакал папа.

«По решению ЦК БКП я должен был уехать в Югославию. В Софии я был неизвестен и смог получить паспорт и поехать в Австрию легально, с возможностью оттуда уехать в СССР или остаться в Австрии как студент. Второй раз мне предлагалась возможность поехать в Россию. Но в этот раз меня остановил мой сыновний долг – мама. Моя родная мама! Мысль, что я ее оставляю одну, бросаю, что, может быть, мы больше никогда не увидимся, связывала меня невидимыми нитями. Все же в Австрии я мог жить легально, учиться, и, возможно, мне бы удалось видеться хотя бы изредка с матерью. А в Советской России во всех

случаях должен был лишиться легального паспорта, и когда и как могло осуществиться возвращение оттуда, никто не мог сказать…»

В папин родительский дом, показавшийся мне большим, я попала в январские школьные каникулы 1946 года. Зимним вечером в этом доме собрались гости – все хотели поздравить папу с возвращением в родной город. Почему-то было очень весело, мы с братом бегали по кругу, белые чистые стены, старинные черные, кованые ручки на тяжелых, низких дверях. И вдруг, с трудом повернув черную ручку, я увидела папу. В пустой комнате стояла одна железная старинная кровать, с коваными витыми спинками, кровать без матраса, без простыни. Папа лежал на широких железных переплетах, заложив руки за голову. Он даже не повернул голову в мою сторону.

Именно в окно этой комнаты давным-давно тихо постучал он, и его мама сразу открыла окно, будто только этого и ждала…

С этого дня начались скитания папы, его эмиграция сначала в Австрию (когда он иногда мог видеть мать), а после ее смерти в 1927 году – в СССР.

Как-то незадолго до смерти папа мне рассказывал о том, как чуть было не потонул, когда, не рассчитав сил, заплыл глубоко в море. Меня поразили его слова:

– Так ясно представил – силы кончатся, упаду на дно, рыбы увидят, что неподвижный, начнут кусать – и конец жизни, конец мировой революции!

Я была поражена: для него жизнь и осуществление мировой революции – а значит, построение социализма – были равноценны?

Молодость папы пришлась именно на то время. Да, тогда многие, очень многие верили, именно верили – в мировую революцию, в ее победу, в итог этой победы – построение социализма во всей Европе. Да, было время, когда дед моих сыновей и прадед моих внуков боролся за построение нового общества, которое создаст все условия для счастливой жизни.

Утверждение, что построить социализм можно и в одной, отдельно взятой стране, было высказано позже, уже в 1930-е годы, когда надежда на всемирную революцию угасла. А тогда, в начале двадцатых, еще жила идея перманентной мировой революции. Троцкий, страстный защитник этой идеи, призывал немедленно нанести удар по немецкой буржуазии: «Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, – утверждает он летом 1923 года, – то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка». Он требует не

упускать удобного случая. А ситуация в Германии после Первой мировой войны была очень тяжелой.

И вот осенью 1923 года посылаются в Германию с секретной миссией четверо важных советских руководителей: Юрий Пятаков – заместитель председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, Иосиф Уншлихт – заместитель председателя ОГПУ, Карл Радек – деятель Коминтерна и Василий Шмидт – народный комиссар по вопросам труда. Каждый имел свой круг задач: Пятаков должен был осуществлять связь с Москвой, Радек – исполнять роль эмиссара Коминтерна в немецкой компартии, Уиншлихт должен был организовать «красные сотни», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем станут костяком германского отдела ОГПУ. В задачу Шмидта входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов – зародышей новой государственной власти. Революционные агитаторы – немцы и коммунисты, говорящие по-немецки, – были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие, агитационные листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначавшихся для оплаты обычных торговых операций. Готовились серьезно.

Тогда, в ноябре 1923 года, революция в Германии провалилась. Но Европа еще бурлила. Был расчет, что поднимутся рабочие из других стран. В октябре 1923 года, после разгрома в Болгарии сентябрьского восстания, австрийская пресса сообщает, что в Вену приехали Георгий Димитров и Василий Коларов. В Вене учреждается Заграничное бюро БКП, одобренное ИККИ – Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала – Исполкомом Коминтерна.

Именно в это время папа эмигрирует в Австрию.

Это было в конце 1923 года. Поезд замедлил ход и остановился на станции Ниш. Билет у папы был до Вены, но, по инструкции, он должен был сойти в Нише, чтобы представиться руководству болгарских политэмигрантов.

Папа принарядился, но именно этот парадный вид (черный костюм, белая рубашка, черные туфли) и выдавал в нем бедного провинциала. Он высунулся в окно. На перроне стояли Георгий Дамянов, Иван Кинов, Фердинанд Козовский – партийное руководство. И папа ринулся к выходу.

Лично ни с кем папа не был знаком – это были люди старше его, авторитетные, и знал папа их только по партийным конференциям. Хорошо одетые, представительные, спокойно и молча они смотрели на папу, похлопали по плечу, разглядели

паспорт. Потом Дамянов сказал:

– Здравко, поезжай в Грац. С этим отличным дипломом запишешься студентом. Но сначала в Вену, к Бояну.

В поезд садились люди. Оглядывали подозрительно, потом забывали. В Белграде села в поезд невысокая худенькая девушка с интеллигентным лицом, со скрипкой в руках.

– Вы из Софии? – обратилась она к папе по-болгарски.

Папа хмуро взглянул, качнул головой и отвернулся к окну.

Ехали по Хорватии. Ровное поле кругом, река Сава широко разлилась по равнине, а за ней полыхал кровавый закат. Слева и справа – дома и церкви в готическом стиле. Папа настолько был поглощен зрелищем, что не заметил, как девушка вытащила из футляра скрипку и заиграла «Песню Сольвейг» Грига. Мягкая, исполненная грусти и нежности мелодия заполнила купе, и, сам того не замечая, не отрываясь от окна, папа тихонько стал подпевать.

– Вам знакома эта мелодия? – Девушка глядела удивленно на папу.

Папа вздрогнул и замолчал. Его бедняцкий, провинциальный вид, его хмурая застенчивость никак не могли навести на мысль, что он образован и в какой-то степени музыкален.

«Только потом, по прошествии многих лет, мне пришло на ум: не села ли скрипачка специально в вагон, не была ли она послана Заграничным бюро, чтобы вот так же ободрить меня, как потом делал я на протяжении нескольких лет? Откуда она могла знать, что я болгарин? Она прекрасно говорила по-немецки. Возможно, она хотела мне помочь прийти в себя, мучилась и, не зная, как облегчить мое состояние, заиграла. Может быть».

В Вене искал улицу Таборштрассе, где в доме под номером 2 на первом этаже находилась закусочная, а на втором располагался один из отделов Заграничного бюро ЦК. Открыл дверь – перед ним стоял спокойный, скромный, внимательный молодой человек лет тридцати, товарищ Боян, секретарь заграничного ЦК БКП.

«Как же я был рад, когда понял, что Боян – это Иван Генчев Караиванов, бывший заведующий литературно-художественным отделом при партийном журнале “Новое время”, редактором которого был Дмитрий Благоев. Еще будучи учеником, я много читал. Журнал “Новое время” прочитывал от корки до корки. Мне очень нравились хорошая художественная критика, под которой стояла подпись “Иван Генчев”. Он меня очень интересовал, и когда представилась возможность и я оказался в редакции, то

познакомился с ним.

Он меня тоже узнал и тепло встретил.

– Ты легализуешься, – сказал он. – У нас хватает нелегализованных. С документами об окончании среднего образования запишешься студентом».

Постепенно папа входит в новую жизнь. Оживляет свои скудные познания в немецком, знакомится с городом, работает курьером ЦК. Что содержат пакеты, кто адресат – конечно, не знает, но часто пакеты были предназначены для внешнего отдела советского посольства. С трепетом переступал порог, будто пересекал советскую границу, говорил только – «от Бояна». *«Этого было достаточно – чтобы потом целый день было легко на душе».*

Сейчас, задумываясь, на какие средства папа существовал, вспоминая его слова *«как жил первые полтора года – один Бог знает»*, я понимаю – единственным источником средств была та мелочь, которую ему выдавали на трамвай. Будто сквозь сон доносятся слова: *«Всюду ходил пешком. Всю Вену исходил»*. С утра ему вручали почту, он спускался вниз, где была расположена забегаловка, там стоя выпивал чашку эрзац-кофе. Съедал бутерброд. И затем… принимался ходить по адресам. Постоянного местожительства папа в Вене не имел, спал там, куда посылали, обыкновенно в пригородных кварталах. Зато отлично изучил этот прекрасный город. И, конечно, старался посещать музеи в дни открытых дверей, библиотеки, а также учил, учил немецкий.

Вскоре его стали использовать и для другой деятельности: *«Связывали меня с нашими людьми, приезжающими из Советского Союза и едущими в Болгарию. Эти люди шли в основном по военной организации партии. Я организовывал им встречи, оказывал помощь при легализации, знакомил с обстановкой в Болгарии. Однажды меня предупредили, что приехал Василий Каравасилев (о котором знал, что после Сентябрьского восстания опять вернулся в СССР продолжать образование в Военной академии в Москве) и хочет меня видеть. Не мог дождаться встречи. Василий, старый конспиратор, назначил мне встречу в венском кафе».*

Спустя несколько недель, под вечер, в маленьком венском кафе, с диванами, на которых можно было видеть дам со спицами в руках, за маленьким столиком сидели двое мужчин, очень похожих друг на друга. Старший брат и младший – тот же высокий лоб, шапка курчавых волос, тонкие, будто нарисованные, брови, волевой подбородок, черные глаза… только у старшего была недавно отпущенная бородка для маскировки.

«Этому человеку верил, как себе. Мог говорить обо всем. Делиться волнениями, мыслями, соображениями. Василий был личностью большой величины – партийной, военной, интернациональной. В начале он задавал вопросы, хотел сориентироваться в обстановке в Болгарии, в Плевне. Для него это была очень ценная информация, перед его появлением в Болгарии. Я бы первый из Плевны, которого он встретил. Когда заговорили обо мне, показал ему письмо, подписанное кровью, сказал, что предполагаю, что написал его Ванко Мильчев, сын плевенского адвоката, цанковиста. С Ванко мы были ровесники – буйный, нахальный, он неоднократно заявлял, что имеет большое желание испить моей кровушки. Каравасилев сказал: "ничего странного", и положил письмо в карман.

Пока Василий был в Вене, встречались несколько раз. Однажды его сопровождал молодой худенький человек в очках, с подчеркнуто интеллигентным лицом.

Белое доброжелательное, миловидное лицо излучало спокойствие и сдержанную одухотворенность, и даже на ум не могло прийти, что за этим видом скрывается опасный конспиратор.

– Меня зовут Иван Минков, – и усмехнулся дружески.

Опять пили кофе. Но на этот раз в шикарном большом кафе».

Спокойно, привычно сидели на мягком диване двое – Василий Каравасилев и Иван Минков. Папа сидел в кресле спиной к залу и был настороже. Неяркий свет из-под розовато-кремового абажура освещал лица. Все трое медленно пили кофе и тихо беседовали.

В основном говорил папа, описывая положение в Болгарии, и когда он, возбуждаясь, повышал голос, Иван Минков похлопывал его по руке.

Минкова интересовали многие вещи, но больше всего то, что связано с фашистской разведкой – поведение ее сотрудников днем и ночью. Отношение их к коммунистам, к земледельцам, к социалистам.

«И Карата, и Минков разговаривали в моем присутствии совершенно свободно. Понял, что и Минков отправляется в Болгарию в военный отдел ЦК БКП. И что учится в Москве в Академии имени Фрунзе.

Минков задавал вопросы, которые я вообще никогда не задавал себе. Теперь смотрел на собеседника совсем другими глазами. Внешний вид его был обманчив, не соответствовал его глубине. Минков говорил тихо, без жестикуляций, казалось, что мы собрались просто посидеть, побеседовать и выпить по чашке кофе».

– Маловероятно, что полиция располагает столь большим

количеством детективов и агентов. Вероятнее всего – это добровольные сотрудники полиции. Государственный бюджет не может выдержать такой аппарат, – задумчиво подытожил Минков папин рассказ и, улыбнувшись, непринужденно направился к роялю, стоявшему в глубине зала.

Папа, замерев, смотрел на спокойно идущего мимо столиков Минкова. Оглянулся на Каравасилева, потом опять на Минкова. Иван Минков легко поднялся на сцену, поднял крышку рояля и тронул клавиши. Музыка, прекрасная, исполненная задумчивости и смирения, заполнила кафе.

Все затихли, кафе превратилось в концертный зал. Наступал вечер – время, когда жители Вены заполняют кафе и рестораны. В заведении было много народа, и папа испугался. Как Минков осмеливается привлекать внимание посторонних в кафе в центре Вены? Но Каравасилев только смотрел на папу, усмехался и молчал.

– Какой музыкант! – восклицали посетители, они бурно рукоплескали после каждого исполнения. Просили играть и играть еще. Но их воодушевление совсем папу не успокаивало.

– Кара, – сказал папа, – немцы что-то очень заинтересовались нашим человеком. Не привлечь бы внимание полиции.

– Слушай, слушай, отдохни душой, расслабься.

«Тогда мог ли знать, что Минков являлся автором мелодии к прекрасному стихотворению Ивана Вазова:

Убитые, в иной вас полк послали,
Нет отпуска, не слышан зов борьбы,
Легли, по-братски руки сжали,
Друг другу доброй ночи пожелали
До той – второй – трубы…

Сейчас эти слова выбиты на памятнике Неизвестному солдату в Софии».

С фотографий смотрят на меня и Каравасилев, и Минков. Каравасилева по-прежнему можно спутать с папой. Только взгляд… Взгляд открытый, но немного печальный. Минков задумчиво смотрит в сторону. Его умное близорукое лицо, круглые очки, рассеянно-задумчивый вид внушают опасение за его судьбу. Возможно, он видит то, чего не видят другие; возможно, ему страшно; возможно, он предугадывает свой конец.

Каравасилев погиб спустя несколько месяцев. Погиб в Болгарии, так и не возвратившись в Москву. Иван Минков через год после этой встречи, тоже в Болгарии, покончил с собой в

момент ареста.

«В это же время в Вене появился и другой сотрудник военного центра партии Трифон Георгиев Ямаков, бывший студент философского факультета в Софии. Я тоже в [19]22 году записался на этот факультет, но т. к. не мог посещать занятия, то часто в Плевне собирались беседовать с Ямаковым. Еще тогда Ямака имел пропуск в Общественную безопасность, где его считали своим человеком, тогда как в то время он работал в Военной организации партии и мог сообщать о самых злостных садистах. Ямака узнал, что я в Вене, и тоже захотел встретиться со мной. Эта встреча чуть было не перевернула мою жизнь. Ямака сказал, что работает в Софии, но под нелегальным именем, что партия усиленно готовится к новому восстанию, кадры вооружаются и связываются через пароль "Балкан". Он был воодушевлен – без сомнения, на этот раз восстание будут успешным, возьмем власть, приехал в Вену с отчетом и за инструкциями. И во время рассказа вдруг обратился ко мне:

– А ты что тут делаешь? А ну, возвращайся обратно и берись за дело. Чтобы потом не сожалеть.

Мне этого хватило. Был готов сейчас же поехать. Но в Заграничном бюро решили не так – Ямак уехал в Болгарию, а меня направили в Грац, для создания Партийной Группы Содействия.

Боян (Иван Генчев) объяснил и задачи ПГС – постепенная массовая организация студентов-коммунистов, привлечение левонастроенных студентов, создание общедоступных легальных организаций – университетских кружков, столовых, кружков самодеятельности и т. д. Кроме того, ПГС должна была исполнять и другие задачи – организовывать явки, предоставлять курьеров для Болгарии и в другие страны, снабжать паспортами и т. д.

При отъезде из Вены Боян мне дал книгу на русском языке – "Лекции об основах ленинизма", под редакций Товстухи, лекции, читанные Сталиным в апреле 1924 года, в Свердловском университете в Москве (будущая Высшая партийная школа).

Книга появилась в Австрии на русском языке, еще пахнущая типографской краской. Сначала я не понял, зачем мне ее дали, была только одна мысль – как быстро она дошла до нас.

– Познакомься с ней, она тебе будет полезна, – сказал Боян».

В конце мая папа отправился в Грац.

В жизни все загадочным образом связано, ничего не существует само по себе, события длятся, переплетаясь одно с другим, ничто не исчезает бесследно. Причудливо жизнь тасует

судьбы. Я упоминала о Василии Шмидте, который был послан в Германию осенью 1923 года для подготовки восстания. А потом… В 1980-х годах я приехала к папе в Софию, мы сидели за столом, и в разговоре я упомянула про свою приятельницу Таню Товстуху. Папа подскочил на стуле:

– Товстуха! – закричал мой восьмидесятилетний отец. – Да ты знаешь, кем был Товстуха? Ты знаешь, что он редактировал все труды Сталина?

До этого я неожиданно познакомилась с сыном того самого Шмидта – Вадимом Васильевичем (жена и друзья его называли Димой) и женой Димы Татьяной Ивановной Товстухой – дочерью того самого Товстухи, фамилию которого прочел папа на книжке «Вопросы ленинизма» еще в 1924 году в Вене.

Жили они в «Доме на набережной» – бывшем правительственном доме на улице Серафимовича, у Каменного моста, в квартире, принадлежавшей Таниному отцу, Товстухе Ивану Павловичу. Бывая у них в доме, я с интересом рассматривала исторические фотографии. Вот заседание Совнаркома (советского правительства) в восемнадцатом году, – 19 человек, и среди них Шмидт. Вот известная моему поколению фотография – Сталин, Ленин и Калинин, а внизу, оказывается, на этой же фотографии был запечатлен Шмидт. Вот собственноручная записка Сталина, адресованная Ивану Товстухе… Я пристально вглядывалась в лица на фотографиях. Лицо Василия Владимировича Шмидта казалось невыразительным, довольно мрачным, некрасивым. Лицо Ивана Товстухи, наоборот, было красиво, но взгляд исподлобья был тяжелым. Мне удалось узнать, как сложилась их жизнь.

Жизнь Ивана Павловича, если не считать туберкулеза, которым он страдал с молодости и от которого преждевременно умер, складывалась, по внешним признакам, счастливо. Высокое положение, интересная работа, продолжение дела молодости – редактирование трудов Ленина, Сталина, любимая жена, дочь… И умер-то своей смертью, в кругу семьи, в подмосковных «Соснах», где провел из-за болезни последний год жизни. Захоронен в кремлевской стене по приказу Сталина.

Про Шмидта такого сказать нельзя. Шмидт Василий Владимирович (фамилия его отца чисто русская – Шерстобоев, Шмидт – это фамилия матери-лютеранки, церковный брак с которой из-за различия вероисповеданий не состоялся). Занимавший руководящие посты при зарождении Советского государства, он уже давно на заметке у Сталина. В конце 1920-х Сталин начинает борьбу с правой оппозицией. В ее рядах – Шмидт, в 1928–1930 годах – заместитель председателя Совета

народных комиссаров СССР А. И. Рыкова. В 1930-е годы карьера Шмидта постепенно угасает. Его отправляют на Дальний Восток, в Хабаровск, на малозначительную должность. Казалось бы, уцелеет в страшный террор? Но нет. В январе 1937-го – арест. Изъяты письма, документы, кавалерийская шашка, книги Бухарина, Каменева. В следственном деле Шмидта записано, что он обвиняется в том, что возглавлял правую оппозицию вместе с Бухариным, Рыковым, Томским. Первый приговор за правый уклон – 10 лет с поражением в правах и с конфискацией имущества. После годичного заключения, в том числе в одиночке Лефортовской тюрьмы, новое обвинение: «Намеревался продать Дальний Восток Японии», второй приговор. Суд длился так же быстро, как и первый: всего двадцать минут. Приговор – расстрел.

Такая уж судьба выпала на долю Шмидта. При царе переменил с десяток тюрем, в 1917 году выпущен, казалось, из последней – из «Крестов». Но нет. Спустя 20 лет – опять тюрьмы: Лефортово, Бутырки… Есть рассказ одного оставшегося в живых свидетеля о случайной встрече со Шмидтом в Бутырках летом 1938 года, за несколько недель, а может – дней до его расстрела.

«Василия Владимировича втолкнули в камеру, он успел рассказать, что до этого долго сидел в одиночке. Он ничего не знал о войне в Испании, лихорадочно расспрашивал о старых большевиках. Вскоре его буквально выдернули из камеры, видно – запихнули по ошибке».

И вижу я изможденного человека, дух которого остался несломленным, молодым. Не знаю, успел ли он получить ответы на вопросы о старых большевиках. Да и что можно было о них тогда сказать?

Реабилитирован Василий Владимирович Шмидт 30 июля 1957 года.

В 1954–1955 годах родственникам выдавались разного рода свидетельства о смерти репрессированных. Умер в Москве или еще где-то. Причина – то болезнь, то прочерк. Чаще всего – прочерк. А даты подбирались так, чтобы сгладить пик 1937–1938 годов. Диме в декабре 1955 года выдали свидетельство о смерти отца 21 августа 1940 года. С причиной – прочерк. Еще одна бумага из следственного дела Шмидта попалась Тане значительно позже, уже после смерти Димы: «Расстрелян 29 июля 1938 г.» И приписка: «Считал бы целесообразным сообщить родственникам, что Шмидт умер 21 августа 1940 г.»

Жена Василия Владимировича – Лидия Максимовна – была красавица. Сужу и по портрету, написанному Пастернаком-отцом, и по фотографии в «Правде» – девушка в красной косынке на первом коммунистическом субботнике (когда Владимир Ильич

нес бревно). Она и в старости была красива. Училась в студии МХАТ, но на сцену не пустил муж: «Знаю, к чему приводят эти отношения, вижу на примере любвеобильного Луначарского». Супруги долго жили в Кремле, пока не съехали в Лебяжий переулок. Лидия Максимовна в 1930-х тоже была арестована, но от ссылки ее спас Калинин, в секретариате которого она работала, проявив неожиданное мужество… позже он не смог спасти свою собственную жену.

Вадим Васильевич (Дима) Шмидт был физиком, он – известный исследователь сверхпроводимости, доктор физико-математических наук, работал в Научно-исследовательском институте физики твердого тела АН СССР вместе с моим мужем. Он был профессором в Институте стали и сплавов, монография по материалам его лекций вышла сначала у нас, затем переиздана в Англии. Доброжелательный, принципиальный, свободный от комплексов, спокойно осознающий свое место на земле, лишенный снобизма – Дима был одним из лучших людей, встретившихся на моем пути. Невысокий, с курчавыми волосами, толстыми губами, похожий немного на мавра или на химеру с собора Парижской Богоматери, он знал поэзию и очень любил «Василия Теркина», читал всего наизусть, знал наизусть и всего Симонова, довоенного и военного времени, любил Светлова, Уткина. После смерти Димы Шмидта его ученики – физики-альпинисты впервые прошли в горах Тянь-Шаня по плато на высоте около пяти тысяч метров, неподалеку от пика Победы. В результате обследованное плато назвали в честь Вадима Васильевича Шмидта (это название официально зарегистрировано).

Таню я полюбила не сразу, но сразу почувствовал ее отличие от других. Высокая, худая, в очках, стриженная «под горшок», она говорила тихим голосом, будто гипнотизируя. От всего ее облика веяло чем-то несовременным, мне казалось, что она постоянно прислушивается к чему-то давно ушедшему и сверяет свою сегодняшнюю жизнь с той, неизвестной мне жизнью. У них с Димой две дочери, обе красавицы – Наташа и Таня.

Меня умиляли отношения в этой семье, вызывало зависть то, как они проводили отдых: семьей они исколесили Прибалтику на велосипедах; раз в две недели, и это было свято, они вчетвером собирались вокруг приемника и слушали передачу «Старые песни».

Полюбила я Таню после смерти Димы, в 1985 году. Мы проводили с ней много времени, она приезжала к нам в Черноголовку, где за Димой еще оставалась служебная квартира. Мы бродили по лесу, гуляли до поздней ночи вокруг озера.

– Это ты меня спасла, – говорила впоследствии Таня. – Ты выгуливала и выслушивала меня.

Таня рассказывала:

– У отца было много книг, доставшихся от черниговских народовольцев. Жандармский поручик, когда пришел с обыском, распределил их по трем категориям: преступного, тенденциозного и частного содержания. Лев Толстой – к первой категории, Карл Маркс – ко второй и третьей.

Я молчу, не хочу перебивать, но про себя ахаю: там, в Болгарии, когда к папе пришли с обыском, тоже первой книгой, брошенной в мешок, была «Война и мир», а «Капитал» Маркса остался на полке.

– Отца выслали в Сибирь, в Тутуру. Он бежал оттуда. Жил несколько лет во Франции. В Россию вернулся после революции. Случайно на улице встретил друга по тутурской ссылке – Станислава Пестковского, тот был заместителем наркома национальностей (т. е. Сталина) и пригласил отца работать к себе. Сталин в это время разъезжал по фронтам. Когда в 1923 году Сталин стал секретарем ЦК партии, отец работал одним из четырех его помощников. В 1928 году у отца был конфликт со Сталиным. Сохранилось письмо отца к Сталину – с просьбой освободить его от работы в ЦК, с резолюцией Сталина: «Ха-ха-ха! Подумаешь, какой петушок!»

Таня говорила медленно, постоянно к чему-то прислушиваясь.

– Последние годы отец был заместителем директора ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина). Отец, конечно, очень много знал. Он готовил к изданию труды Сталина, работали вместе. Многое не вошло в собрание сочинений. После смерти отца все бумаги Сталина были у нас изъяты. Мы тогда жили в основном в «Соснах», там отец и умер.

Помню паломничества к Кремлевской стене. Девятого августа мама звонила из «Сосен» коменданту Кремля, просила пропустить ее и других родственников. Договаривались на определенный час. Обычно несли хризантемы из местной оранжереи. Подходили к Мавзолею и вставали сбоку, слева от калитки в ограде. Ждали минут 20–40. Потом в сопровождении военного шли направо, к последним четырем нишам – одна из них отцовская. Потом процедура вкапывания цветов в землю. Приходил кто-то и делал это своими проверенными руками.

Как-то мы шли с Таней по ноябрьскому серому лесу. Казалось, деревья, как воздух, наполнены водяной пылью. Таня, немного угловатая, шла легко. Водяная пыль свисала каплями с веток. Прошло три месяца со дня смерти Димы.

– Вот, – сказала она, останавливаясь и вынимая фотографию мужа, – здесь он немножко замерзший. Вот такой он был, когда приезжал из Черноголовки. Сейчас достанет платок и высморкается. И еще – на фотографии он недоволен собой. Раньше мне казалось – у него на этой карточке очень веселый довольный вид, вот возьмет и подмигнет. А сейчас – нет.

Таня неподвижно глядела на меня большими зрачками из-за толстых стекол.

– Весной он мне сказал: «Как жизнь быстро прошла». За неделю до смерти, а может меньше, он мне сказал: «…Будем знать только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой». Первую строчку опустил. Это когда я принесла ему травки пить, и ему стало легче. Папа умер тоже девятого августа.

– Что?!

– Да-да, папа умер в один день с Димой, тоже девятого августа. Папа в 36-м, Дима в 85-м. На этой фотографии у него очень строгий вид. Раньше она у меня была в записной книжке, маленькая. Я всегда раскрывала ее, и она была со мной. Есть другие карточки, более мягкие, но там у него везде виноватое лицо. Вот такое лицо было, когда он попал в аварию. Он же разбил совершенно новую «Волгу». Он не спал тогда четверо суток, с матерью было плохо. Это случилось за несколько дней до смерти Лидии Максимовны. А потом мы все никак не могли захоронить урну с прахом Лидии Максимовны. И вот, когда я узнала про Димкин диагноз, я поехала в Донской монастырь, урна была внизу, в подвале, и я стала в подвале и просила ее не забирать Диму. Я стояла и просила ее не забирать его.

Сила духа Тани Товстухи очень ярко выразилась при прощании с Димой на его похоронах, и проявилась она в спокойствии. Силу духа Таня передала и своим дочерям. Они тоже не плакали.

После смерти мужа в память о нем Таня сменила свою прежнюю, девичью фамилию – теперь она Татьяна Ивановна Шмидт. На огромным валуне, привезенном из Эстонии, лежащим на могиле мужа, есть и доска с фамилией ее свекра – Василия Владимировича Шмидта, чье место захоронения неизвестно.

Ежегодно в день Диминой смерти, 9 августа, и в день его рождения, 7 февраля, Таня собирает у себя близких людей, знавших и любивших Диму.

Как бы ни оценивали сегодня наше прошлое, но для меня очевидно, что среди поколения тех, кто делал революцию, было очень много чистых людей, искренно веривших в возможность установления всеобщего счастья. Эта уверенность угасла быстро, но чистота помыслов отцов передалась детям. То истинное, что

вдохновляло революционеров в начале прошлого века, во что они так истово верили, сохранилось и сегодня, отразилось, преломилось в детях Василия Шмидта и Ивана Товстухи.

Весной 1924 года папа уже в Граце, легализуется, записывается в университет, на факультет индустриальной химии. Но занятия кончились, денег нет. Возникает идея создать общую столовую для болгарских студентов, и папа начинает там работать.

Встает в 4 часа. Колет дрова, растапливает печь, носит воду. В 6 часов, когда приходит кухарка, уже все подготовлено – кипит вода, почищены овощи, нарезано мясо. В обед, засучив рукава, один, быстро, в три приема, моет собранные со столов 120 приборов. За ужином все повторяется вновь.

«За весь этот адский труд я получал порцию обеда и порцию ужина».

Вскоре столовая превращается в клуб и легальную явку подпольной организации, информационный центр, читальню, где всегда можно взять свежие газеты и журналы.

«С началом занятий ПГС увеличила свою агитационную деятельность – делали доклады как легальные, так и нелегальные. И только тогда я оценил книгу, которую мне дал Боян на прощание.

В ней познакомился с рядом вопросов, которые особенно нас волновали: партия нового типа, стратегия и тактика коммунистической партии, диктатура пролетариата, аграрный вопрос, ленинский стиль работ.

Обыкновенно выходили за город, там делал доклад среди природы. Там обсуждали, беседовали… При плохой погоде заходили в какой-нибудь трактир. Занимали отдельную комнату, и за кружкой пива опять-таки достигали нужный результат».

Из воспоминаний бывшего студента в Граце Георгия Абаджиева: «Особенно активизировалась деятельность организации после приезда (ныне нашего профессора) Здравко Мицова. Он, владеющий основами марксизма, делал, со свойственным ему красноречием, множество докладов по историческому и диалектическому материализму. Товарищи были поражены его начитанностью и знаниями, на что его старые приятели по Плевне Мирчо Колев и Альберт Луканов с плохо скрываемой гордостью, хитро посмеиваясь, говорили: “Вы не смотрите на него, что такой скромный. Когда-то такой марксистский курс организовал, что поднял на ноги весь город”».

«Новое восстание предполагалось летом 1924 года. Не знаю, какими путями и каналами впервые до нас дошли слухи об

ориентации партии на новое вооруженное восстание, но в Вене и в Граце весной 1924-го заговорили открыто о подготовке. В Граце в моих докладах я не ставил ребром вопрос о восстании, но слушатели мои явно понимали: для настоящего момента необходимо знать, что главное – это захват политической власти, а новое, что ленинизм внес в марксизм, – что это возможно осуществить единственным путем: через вооруженное восстание».

Для решения партии идти по революционному пути были совершенно реальные предпосылки: успех на парламентских выборах после сентябрьского восстания, создание единого фронта коммунистов и земледельцев. Революционный настрой болгарских студентов в Австрии крепчал. Однако лето миновало, и восстания не произошло. Студенты и не думали отчаиваться. И вот на берегу Мура, напротив пустынного средневекового замка Юнгфраушпрунг (Девичий прыжок), там, где густой лес и шум реки заглушает звуки выстрелов, студенты подпольной организации начинают готовиться к бою.

«Обучал нас Павел Тагаров, офицер запаса, капитан артиллерии, студент-медик. Под его руководством происходили обучения стрельбе. Он был истинным бойцом партии, готовый с жаром и искренним убеждением кинуться в революционную схватку для победы над фашизмом. Хороший агитатор. Был крупный, красивый, из богатой семьи, одевался хорошо – немки не могли оторвать от него глаз, но это ему не мешало ни работать над заданием, которое имел, ни сильно развитому чувству товарищества и самопожертвования.

В январе 1925 года мы получили распоряжение от Заграничного бюро, чтобы члены ПГС были вооружены и готовы к переходу в Югославию, где должны слиться с политэмигрантами и перейти в Болгарию. Все были охвачены воодушевлением. Некоторые даже пошили себе костюмы, подходящие для горных условий. Настроение было бойкое. Никто не учился, не было другого предмета для разговора, кроме восстания. До того были уверены в участии в новом вооруженном восстании, что в феврале 1925 года актив Грацкой коммунистической четы (отряда) решил сфотографироваться на память».

Семь человек – *чета* Павла Тагарова. Все старше папы. В центре «воевода» – командир Павел Тагаров, крупный, красивый, спокойно-уверенный. А вокруг него Илия Милушев, папа, Георгий Пукарев, Владмир Шурбанов, Тодор Николов, Никола Вылков (Буби). Хотя Тагаров в центре кадра, внимание останавливается на моем отце – тонкие губы сжаты, руки стиснуты на груди. Все члены отряда готовы умереть, но только у папы эта готовность

так ясно написана на лице.

На одном из собраний папа произносит пламенную речь.

– Вопрос поставлен совершенно ясно: кто готов пожертвовать своей жизнью? – кричит Стоян Славов.

– Готов!

– Готов!

– Готов…

Двое отказываются. Стоян Славов кричит:

– Товарищи, дайте мне два пистолета! Я буду идти следом, и кто дерзнет бежать, будет убит!

«Мы были готовы, но ни сигнала, ни приказа об отправлении в Болгарию мы не получали. Тогда решили послать меня и Буби Вылкова в Вену и узнать, как связаться с Югославией, когда и куда надо отправляться…»

Вечером семь человек, вся *чета*, отправляется в оперу, шумно рассаживаются в ложе, ближе к сцене, и с наслаждением слушают «Аиду». Папа уже в хорошо сшитом дорогом костюме Тагарова. Затем по ночному Грацу разгоряченной толпой идут на вокзал провожать папу и Буби Вылкова в Вену.

«По приезде в Вену встречаемся с Бояном (Иваном Генчевым), и сразу на нас обрушивается сокрушительное разочарование. Избегая наших тревожных и вопросительных взглядов, представитель Заграничного бюро отрезал: "Больше нечего говорить, даже думать об этом! Никакой Югославии, никаких отрядов! Положение в стране изменилось. Лозунг вооруженного восстания снят!"

Посоветовал вернуться в Грац и учиться. Первый вопрос, как только вышли на улицу, был: как скажем товарищам об этом? Шли бесцельно по улицам, молчали. Потом дали телеграмму в Грац и поплелись на вокзал. Надежда, что поздно ночью нас никто не придет встречать, была напрасной».

Чета еле дожидается возвращения посланцев из Вены. Поздним вечером собираются на вокзале, в зале ожидания. Некоторые уже одеты по-походному, некоторые с маленькой поклажей. А вдруг сразу? Немедленно? И только Павел-воевода, Тагаров, по обыкновению, спокоен. Все так уверены в непременном отъезде, что не замечают угнетенного состояния прибывших.

– Никуда не едем, – проговорил еле слышно Буби.

– Что?! Да ты с ума сошел! Соображаешь, что говоришь?

– Никакой Югославии! Никаких отрядов! – Папа веско добавил: – Приказ Бояна!

Усилием воли молодые люди, рвавшиеся в бой, смирили свой дух, вернулись к своим обязанностям: учиться, готовиться к экзаменам и сессии. Оторванные от Родины, они не знали, что

происходило в стране.

А к этому времени уже вовсю идет уничтожение коммунистов, депутатов Народного собрания. Их убивают на улицах, поодиночке, «неизвестные» люди. Уже состоялась встреча царя Бориса с военным министром генералом Вылковым, уже министр познакомил царя с планом, рассчитанным на дальнейшую борьбу с «врагами государства», уже издан тайный приказ военного министра Вылкова:

«Все гарнизоны и воинские подразделения должны связаться с местными органами власти, чтобы согласовать средства борьбы против коммунистов и земледельцев… Необходимо в кратчайший срок составить списки таких людей, чтобы ликвидировать всех руководителей – виновных и невиновных… Каждый схваченный должен быть осужден и казнен в течение двадцати четырех часов. Бунтовщиков казнить на глазах у их сообщников, тех, кто откажется подчиняться офицерам, немедленно расстреливать. Смертная казнь каждому, кто разгласит что бы то ни было из данной инструкции».

Убит последний коммунист-депутат Народного собрания Хараламби Стоянов. Убиты некоторые сотрудники военного отдела ЦК, схвачен 24-летний студент-юрист Тодор Димитров, брат Георгия Димитрова. Когда после долгих и жестоких истязаний его, мертвого, вынесут в коридор, товарищи увидят на подошве башмака его последние слова, нацарапанные куском штукатурки: «Я никого не выдал».

Убит и Василий Каравасилев – уважаемый человек, первый папин наставник.

Именно в это момент Петр Абаджиев (член центра подготовки нового восстания) заявил: «Разве можно смотреть спокойно, как нас словно собак отстреливают на улицах. Мы отомстим».

14 апреля в софийских газетах появляется сообщение:

«В 10 часов 30 минут утра банда, состоящая из пяти-шести человек, сторонников единого коммунистическо-земледельческого фронта, вооруженная огнестрельным оружием, напала в Арабоконакской теснине на автомобиль, в котором следовал Его величество Царь, и убила двух его спутников. Разбойники, по которым был открыт огонь, скрылись.

А 15 апреля «террористы» убили отставного генерала Георгиева, председателя Софийского отделения «Народного сговора». На следующий день цвет правительства и высшего офицерства собрался в софийском соборе Святой недели (Св. Воскресения; в России – храмы Воскресения Христова. – *Ред.)* на отпевание. Папа вспоминает о событиях тех дней:

«Не прошло и месяца после нашего возвращения из Вены, как нас сразила очередная новость. 16 апреля 1925 года в Софии, в кафедральном соборе Святая неделя, когда правительство во главе с царем Борисом собралось на отпевание убитого генерала Георгиева, произошел взрыв. Несмотря на то, что взрыв был не очень сильным, так как произошел на крыше, было много погибших под завалами. Испуг был настолько велик, что трупы под завалами оставались на протяжении нескольких дней. Царь Борис не пострадал.

Я был потрясен, узнав о смерти Ивана Минкова, который покончил с собой, чтобы не попасть в руки палачей. В ушах еще звучали мелодии, которые он исполнял всего год тому назад в тихом венском кафе. В застенках "Общественной безопасности" был зверски убит Владо Благоев (сын Дмитрия Благоева. – *И.М.), основатель первой партийной группы в Граце».*

Петр Абаджиев, организовавший это покушение на царя – так называемый *атентат*, – выполнил свое обещание отомстить. Но какой ценой! Какие последствия! Кровавая драма разыгрывается на улицах Софии в апреле 1925 года. Объявлено военное положение. Карательный отряд капитана Кочо Стоянова, коменданта Софии, начал действовать в тот же вечер, 16 апреля. Подозреваемых расстреливают во дворах казарм, душат веревочными петлями, по безлюдным ночным улицам мчатся битком набитые трупами, крытые брезентом фургоны. Здание Дирекции полиции переполнено, полицейские участки не справляются с бесконечным потоком задержанных, часть арестованных из Дирекции полиции переводятся в Центральную тюрьму, другая – в большую гимназию. Издается приказ: арестованных из провинции не везти в Софию, а пересылать в окружные центры.

Иван Минков, Коста Янков и Марко Фридман – руководители Военной организации коммунистической партии – убиты. Минков застрелился 20 апреля, завидев полицейских, пришедших арестовать его. Коста Янков вместе со своим товарищем в тот же день сожжен живым. Когда во двор вынесли два еще дымящихся обгоревших трупа, в окне соседнего дома появился еще один товарищ, скрывавшийся от властей, и обратился к руководившему операцией капитану Кочо Стоянову:

– Ты еще не насытился кровью, убийца?

Марко Фридман, третий руководитель Военной организации, пойман и повешен на голом пустыре близ Софии, на глазах у множества потрясенных людей.

Сколько было убито в апреле 1925 года – никто не знает. Царь Борис публично признавался, что жертвы исчислялись

тысячами. Министр иностранных дел Калафов признался, что только в сентябре 1923 года было убито 5 тысяч человек. Этот террор не остался незамеченным за пределами Болгарии.

16 мая, спустя месяц после *атентата,* по улицам Москвы пройдут колонны траурной процессии в память жертв политического террора в Болгарии. Состоится грандиозный митинг протеста. Газета «Правда» выйдет с передовицей: «Софийские виселицы говорят…» и со статьей Михаила Кольцова «Москва – София», посвященной героям болгарской революции. Михаил Светлов через месяц принесет в «Правду» стихотворение:

Фридман! Ты не был последним,
Много еще других.
Церковь служила обедню.
Площадь казнила троих…

Смертью его не испуганы,
Ружья начнут разговаривать.
Спи, товарищ, обугленный,
В этом последнем зареве.

Но еще раньше, всего на пятый день после покушения, без указаний из Вены, партийная группа в Граце созывает митинг в защиту жертв развернувшегося в Болгарии террора.

«Митинг был назначен на 21 апреля, в большом ресторане “Шенцелвирт”. Ресторан был нанят на короткое время. Вечером там должно было состояться свадебное торжество. Гора дорогих сервизов уже была выставлена на буфете. Ровно в назначенное время начался митинг. Оратором был Павел Тагаров. Председателем был Кирилл Кирчев.

– Мы, болгарские студенты в Граце, глубоко потрясенные обильно пролитой человеческой кровью, обязаны дать следующие пояснения гражданам Европы. 16 апреля в Софии произошло неслыханное преступление. Кто совершил это злодеяние, мы не знаем. Но абсолютно ясно то, что совершено свыше 10 000 арестов граждан, которые ни при каких обстоятельствах не могли быть виновными.

В ресторане стояла тишина, готовая разразиться взрывом. Взгляды, сжатые кулаки, напряженные позы говорили красноречиво.

– Справедливо и гуманно ли сделать тысячи невинных людей ответственными за одно безумное дело? – продолжал Тагаров.

В это время раздались громкие удары в стеклянную дверь и крики:

– Откройте! Впустите и нас!

Болгарские студенты-фашисты, покрыв быстрым маршем два километра от университета, в крайнем возбуждении, с криками, что здесь собрались именно те, кто совершил этот атентат, что в развалинах собора остались их родные и близкие, ломились в дверь.

– Не ваше собрание! – кричали стоявшие в оцеплении в вестибюле.

– Мы апеллируем ко всем справедливым и честным людям культурной Европы, поднять голос против жестокого террора и спасти миролюбивый болгарский народ от уничтожения! – Голос Тагарова заполнял вестибюль.

– Пустите! Мы хотим участвовать! – кричали снаружи.

Часть фашистских студентов ворвалась в вестибюль, размахивая зонтиками и палками.

Взявшись за руки и образуя полукруг, стоявшие в оцеплении кричали:

– Собрание окончилось! Не переступайте порога зала!»

О! Они не понимали, как своевременно они появились! Все нетерпение долгого ожидания восстания собралось в единый комок, и его швырнули навстречу рвущимся в зал. Это не была драка – это была битва, это была спасительная разрядка от напряжения, в котором они жили последнее время. С каким яростным вожделением вырывали из стен вешалки, прицеливались пивными кружками, как элегантно посылали вертящиеся пропеллером тонкие саксонские тарелки, которые, описывая параболы, задевали по пути хрустальные люстры и со звенящим треском разбивались о головы противников. Вся черная кровь, скопившаяся от последних известий, от сдерживаемого гнева, от долгого ожидания расправы, теперь находила выход.

Тагаров молча поднимал над собой столы, один за другим, и опускал их на головы противников.

Да, это был незабываемый бой! Наконец, прибыла конная полиция.

«Мы, наконец, вытолкали всех, кто напирал на двери. Когда огляделись – в зале царил полный хаос. Мы вышли на улицу. Какой-то “противник”, с окровавленной шеей, страшный своими стеклянными глазами, схватил одного коня под уздцы и охрипшим голосом все повторял полицейскому:

– Арестуйте их, арестуйте их. Они убили наших отцов.

Мы ждали, что предпримет полиция. Услышали, как командир сказал:

– Ваши раздоры нас не интересуют. Собрание было законно зарегистрировано. Я должен водворить гражданское спокойствие».

Эту драку можно было бы отнести, конечно, к обычному столкновению хулиганствующих молодцов. Одна компания против другой. Но как продуманно, решительно и быстро эти «хулиганы» продолжали действовать! Тагаров направился в редакцию местной буржуазной газеты «Тагеспост», затем к епископу Штирии, правильно рассудив, что после того подпишутся в поддержку резолюции многие видные австрийские ученые. Другие отправились к влиятельным социал-демократическим лидерам. Папа сел писать статью в местную социал-демократическую газету «Арбайтер виле». О событиях в «Шенцелвирте» неоднократно писал центральный орган австрийской социал-демократической партии «Арбайтер цайтунг» и орган австрийской компартии (АКП) «Роте Фане». Спустя всего пять дней после *атентата* протест грацких студентов – первый в мире – был подхвачен другими, сообщения были переданы по всей Европе. Прогрессивная пресса подняла голос протеста против террора в Болгарии.

«Этот эпизод растряс наши души, но положение продолжало оставаться неясным. Что нас ждало в дальнейшем? Куда должны мы идти? Товарищи из Вены молчали. Постепенно нас начало охватывать отчаяние и безысходность. Руководство поручило мне сделать доклад о перспективах нашего развития, нашей тактики и стратегии. Я был самый молодой, 22-летний, а задача была ответственная. Перелопатил Маркса и Ленина, искал места, где объясняют выход из поражения. Нашел опорные пункты для доклада. Перед собранием был спокоен. Говорил аргументированно. Первое – это сохранить кадры. Второе – может пройти и десять лет до новой революции, но надо ждать самый подходящий момент для восстания, для захвата власти. Чувствовал, что мои слова доходят до слушателей и среди них наступает успокоение. Когда собрание кончилось, Павел Тагаров закричал:

– Здравко! Ты ошибся!

– В чем?

– Цитата Маркса о том, что нужно ждать десять лет… Да мы доживем ли до этого времени? Нет, не надо было вспоминать Маркса».

Нетерпение – так была названа эта страсть к немедленным активным действиям в известной исторической повести Юрия Трифонова. Но обстановка требовала выдержки, и папа нашел у Маркса и Ленина теоретическое обоснование и такому ходу исторического процесса. Да, Маркс был прав, как и сам докладчик в Граце в трагичном апреле 1925 года: пусть не через десять, а через двадцать лет – но в Болгарии сменился общественный строй: победил Отечественный фронт.

Приблизительно через месяц после покушения на царя перед грацким комитетом встала задача создать нелегальный канал, по которому можно было бы перебросить из Югославии в Австрию и затем в СССР актив партии, находившийся там после *атентата*. Выбор пал на местность, расположенную между железнодорожной станцией Вис со стороны Австрии и станцией Дравоград со стороны Югославии.

«Как-то очень быстро и незаметно был включен в работу и я. Со временем до того привык к пересечению границы, что если, случалось, проходил месяц и меня не вызывали, я просто страдал, казалось мне, что не живу полноценно.

Канал представлял строго организованную систему. Решающим звеном в этой операции был переход границы. Техника перехода через границу требовала от нас ряд вспомогательных правил. Мы должны были иметь транзитную визу для Югославии. Останавливались в Белграде, откуда отправляли телеграмму в Вену, где сообщали о своем приезде. В Белграде нам сообщали, из какого лагеря и сколько человек мы должны забрать, время отправления. Мы не задерживались ни в Загребе, ни в Мариборе, никого не знали в этих городах, и нас никто не знал. В Мариборе садились на поезд Марибор – Дравоград и выходили на остановке Мариенберг, откуда уже в темноте шли на север – сначала по шоссе через село, затем забирали направо и начинали подъем. Двигались гусиным строем. По шуму реки Драва мы ориентировались, в какой местности находимся. Прислушивались к мелодичному звону часов на католических церквах, который долетал из альпийских долин. До того мы их изучили, что по тембру узнавали, какой колокол какой церкви звонит, и таким образом засекали время и направление. Доходили до пограничной полосы. Прячась за деревьями, дожидались обхода пограничников, мерзли и дрожали от холода и напряжения. После того, как те уходили спать, бегом пересекали границу. Склон австрийский был достаточно крутым, и было трудно удержаться на нем. Часто скатывались в зеленые заросли, хуже было, когда вместо мягкой травы сваливались в колючую ежевику. Тогда, пройдя зону обстрела, мы находили силы посмеяться и спеть шепотом: "Брали момци къпини във алпийски градини" ("Собирали парни ежевику в альпийских садах". – *И.З.). До пограничной станции Вис добирались ранним утром, часто в темноте. При подходе поезда быстро садились. После двухчасового пути были в Граце, после некоторого отдыха отправлялись в Вену».*

Из воспоминаний папиного стажера Давида Попова, студента-

медика:

«Есть эпизоды в жизни, которые не забываются. Вечно буду помнить наше путешествие. Ехали пассажирским поездом, с расчетом достичь границы уже в сумерках. Вышли, на последней станции наняли фаэтон, чтобы переехать незаметно один мост. Хотели проехать по селу и миновать таможню на фаэтоне. Но извозчик отказался. Остановился в начале села. Было полнолуние. Светло, как днем. Прошли таможню, покинули село, дошли до большого дерева и переобулись – надели туристические ботинки. В этот момент услышали четкие шаги. Со стороны границы шел пограничник. Затаив дыхание, легли на землю, и он прошел мимо нас в каких-нибудь 4–5 метрах, не заметив. Опять направились к границе. Дошли до определенного места. Сошли с тропинки, пошли напрямик через лес. Надо было ждать полуночи – момента, когда проходят патрули. После этого в течение двух часов было спокойно. Время двигалось медленно, наконец, настала половина первого. Пошли очень осторожно. До пограничной черты дошли незамеченными. Мой учитель (Здравко Мицов) сказал:

– Давид, я перебегу первый, а ты через несколько минут, за мной.

Прожил несколько тяжелых минут, когда осознал, что Здравко уже на противоположной стороне границы. Прошел и я. Пробрались сквозь высокие папоротники и заболоченную почву. Немножко посомневались, не заблудились ли мы. Не оказались ли мы вновь в Югославии? Наконец, вышли на полянку, которую пересекли по очереди бегом, один за другим, на расстоянии. Заметили сельский домик, во дворе которого была куча собранных яблок. В домике горел огонь. Приблизился к окну и услышал немецкую речь. Успокоились – значит, в Австрии. Двинулись по поляне, искали колодец, который знали, что должен быть поблизости. Вдруг на нашем пути возник человек. За спиной его что-то поблескивало. Подумал, что пограничник, и решил, что мы пропали. Оказался один паренек с аккордеоном, на плече. Мой учитель напустился на него, почему он так поздно болтается. Мальчишка испугался и вместо того, чтобы расспрашивать нас, откуда мы и почему здесь ходим, начал оправдываться и просить прощения. Наконец, достигли колодца. Это нас совершенно успокоило. Мы поели, запили холодной водой и немного передохнули. После чего направились к одной предпоследней железнодорожной станции, на которой садились утром рабочие, едущие в Грац. Сели на поезд и к 7 часам уже были в Граце. Вечером уже были в студенческой столовой. Там нас ждали товарищи из партийного ядра».

Я не знаю, сколько человек перевел папа. Но об одной девушке, которую он перевел, хочу рассказать.

Девушка была красива. У нее была длинная русая коса и большие голубые глаза. И еще – от спокойного, гордого лица девушки исходил свет. Как и всех, папа хлопнул ее по плечу перед переходом границы и сказал: «А теперь беги». И она перебежала границу. А потом спустилась с папой через колючий кустарник по крутому склону, умылась у известного папе колодца. Папа дал ей щетку почистить пальто, и они сели в вагон вместе с рабочими, отправляющимися на работу в Грац. Звали эту девушку Елена Димитрова. Она была родной сестрой Георгия Димитрова.

Их было в семье четверо – Георгий Димитров, его брат Тодор и сестры Магдалена и Елена. Тодор Димитров погиб, как я уже писала, в страшном 1925 году. Его истязали долго и особенно жестоко. От стройного красивого юноши осталась одна кровавая тень.

А Елену, красавицу с толстой косой, с умным гордым взглядом, папа перевел через границу, спас. Елена Димитрова в СССР вышла замуж за Вылко Червенкова и родила Володю и Иру. Спустя много лет их жизненные пути пересеклись с моим. О том, как и чем расплачиваются люди, связанные с политикой, при любом строе, о Володе, моей любви к нему, о его смерти, об Ире – я расскажу позже.

«Канал» действовал с мая 1925-го по август 1927 года. В течение 27 месяцев работы по нему прошли 250 человек. И не было ни единого провала.

«250 человек были переброшены через наш канал. Все учились в СССР. И после 9 сентября вернулись в Болгарию. Квалифицированными партийными, военными, государственными специалистами. Некоторые из них: Георгий Дамянов – председатель Народного собрания, Иван Михайлов – армейский генерал, зам. Председателя Министерского Совета, Петр Панчевский – армейский генерал, военный министр, Фердинанд Козовский – генерал-лейтенант, начальник Главного политического управления при Болгарской народной армии (БНА), Иван Кинов – генерал-полковник, начальник Генерального штаба, Димитр Гилин – генерал-майор, заместитель министра внутренних дел, Асен Греков – генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба (БНА), Григорий Попов – генерал-майор, начальник тыла (БНА), Стоян Сандов – генерал-майор Министерства внутренних дел, Иван Пейчев – генерал-майор, зам. министра сообщений, Кирилл Лазарев

– министр финансов, Жак Натан – академик, Крум Бычваров – генерал.

Это было большой наградой для нас, так как видели, что усилия нашей молодости не пропали даром. Грацкий канал является до сих пор символом кристально чистого идеализма молодых болгарских студентов, коммунистов», – так писал папа незадолго до смерти.

Разбирая папины бумаги, я наткнулась на ветхий, измятый лист газеты. С обеих сторон помятой, истонченной временем мягкой страницы я увидела колонки с фамилиями. Все еще не понимая, я взглянула на заголовок: «О поименной политической реабилитации болгарских политэмигрантов, репрессированных в СССР» («Работническо дело», 11 сентября 1989 года). Всего в списке насчитывалось 414 человек. Под номером 121 стоял мой отец, Здравко Василев Мицов, род. 1903 г., г. Плевен; под номером 158 – Кирчо, под номером 192 – Мирчо. Рядом с Мирчо я поставила крест. Он был расстрелян.

Среди репрессированных были и Фердинанд Козовский, № 309, и Иван Кинов, № 124, – те, кто встречал папу на вокзале в Нише, и Петр Искров, № 256, которого папа спас в Австрии от ареста. Член ЦК БКП, осторожный человек, который выбрал для перехода «папин» канал и папу в качестве проводника, он был расстрелян в 1939 году. Был и Петр Абаджиев, № 249, который, по слухам, участвовал в покушении на царя Бориса в 1925 году…

Я искала тех, кого папа мог переводить через границу. На годы с 1925-го по 1927-й пришлось 203 человека. Они были арестованы в 1937–1938 годах, подвергались пыткам в стране, давшей им прибежище. Я еще раз внимательно прочитала список, теперь ставя кресты против тех фамилий, кто был расстрелян в 1937–1938 годах. Из 203 человек, покинувших Болгарию, в основном, вероятно, через «папин» канал, практически каждый второй был расстрелян в Советском Союзе, в стране, которая представлялась идеалом осуществления их заветной мечты…

Да, все ключевые посты в первое десятилетие существования Болгарской Республики были заняты политическими эмигрантами из Советского Союза. Но половина из тех, кто пересек границу, спасаясь от фашистского террора в Болгарии в 1925–1927 годах, преданные партии люди, погибли или отсидели в тюрьмах в боготворимой ими стране.

Аккуратно, медленно складывая газету, я испытывала странное чувство. Вместе с ошеломляющей болью я чувствовала удовлетворение: папа разделил судьбу с теми, кого так умело и ловко спасал от фашистского террора в 1925–1927 годах. Он, как и многие поименованные в этом списке, отсидел 20 месяцев в

ленинградских тюрьмах.

Еще перед Третьим конгрессом Коминтерна в 1921 году в Москве Лениным был одобрен ряд предложений о совместных действиях Коммунистического интернационала и 2-го, 2 $^{1}/_{2}$-го и Амстердамского интернационалов. Еще тогда был разработан вопрос о тактике единого рабочего фронта. А с конца 1924 года, после того как схлынула революционная волна, вопрос о создании единого рабочего фронта встал очень остро.

В Болгарии образование единого рабочего фронта было особенно необходимо, а условия для его создания были более тяжелыми, чем в других станах Европы: два неудачных восстания, *атентат* и последовавший за ним жестокий белый террор – все это привело к распаду рабочих организаций, арестам их руководителей. Борьба за объединение рабочих сил была одним из основных пунктов в программе партии.

И вот в марте 1926 года представляется такая возможность – в Болгарии должна состояться Открытая профсоюзная конференция балканских стран, которую организуют профсоюзы «широких» социалистов с представителями левого крыла Амстердамского интернационала (реформистские профсоюзы).

«В конце марта 1926 года меня вызвал секретарь Заграничного бюро Гаврил Генов и объявил, что ему приказано передать мне поручение Георгия Димитрова. Я должен был переправить в ЦК партии в Софии решение Заграничного бюро. Мне объяснили, что почтой отправлено письмо, но то, что я должен сообщить, я должен сделать устно. Мне сказали, что уверены, что я правильно пойму поручение и что рассчитывают на мою память, чтобы воспроизвести в Софии все то, что мне скажут в Вене. На протяжении трех дней велась подготовка, которая, конечно, не прошла без репетиций и экзаменов».

Общая часть поручения включала 11 пунктов: конкретные задания и указания ЦК. Необходимо было запомнить множество адресов, паролей и указаний по конспиративной технике, встретиться с рядом людей, проследить поведение и охарактеризовать как человека Едо Фимена (секретаря союза транспортных рабочих при Амстердамском интернационале); после возвращения – представить подробный доклад Коминтерну.

Я пытаюсь представить, как папа после двухлетнего отсутствия появился в Болгарии, причем был напичкан секретными указаниями заграничного ЦК. Все это требовало особой конспирации. Цвятко Николов, «черный капитан» из Плевена, один из яростных карателей во время белого террора, хвастался по пьянке: «Я – вторая достопримечательность Плевена.

Этот город прославили две великие личности: “белый генерал” Скобелев и “черный капитан” Николов». Незадолго до приезда папы Плевен посетил Цанков. Он был приглашен плевенскими властями на открытие нового здания городского театра. Мэр города выступил с речью:

– Мне выпала честь от имени плевенских граждан высказать вам благодарность за все, что вы сделали. Щажу вашу скромность, но не могу не сказать, что вы взяли на свои плечи все трудности Болгарии… Мы верим в то, что вы делаете, и нам остается только молить Бога о ниспослании вам долгих лет жизни. Благодарю вас за то, что вы дали мне возможность пережить моменты умиления и идейной экзальтации.

Это в городе, который поднял первое в мире антифашистское восстание при приходе к власти Цанкова! Конечно, о поездке в Плевен для встречи с матерью не могло быть и речи.

Я думаю: куда пошел папа, сойдя с поезда в Софии, как он был одет? Где ночевал? Вдруг я вспомнила: есть у меня маленькая коричневая фотокарточка, она очень интересовала меня в детстве, я часто ее вертела в руках… На ней два вагона – скорее, два тамбура, один к одному, открытые, широкие, под навесом. Сразу видно, что вагоны иностранные, времен Первой мировой войны. Такие вагоны я видела только в кино. На площадках тамбуров, на ступенях и около вагонов стоят и сидят люди. Они тоже из той – или близкой к той – неизвестной мне эпохи, как и вагоны. Это люди явно небогатые. На их серых лицах схожее выражение – замкнутость. Улыбаются разве что две девушки, стоящие на ступенях. Одеты кто как – кто в костюмах, кто в кителях без погон, кто в фуражках, кто в кепках, есть даже двое мужчин в галстуках и плащах и один в национальной одежде – в черной меховой шапке и в белой рубашке, подпоясанной высоким поясом. И в центре этой сбившейся толпы, выходящей из вагонов, стоит молодой человек. Это мой папа. На нем странного фасона фуражка со слишком высокой тульей, белая рубашка, на плечи накинута куртка, и на груди – это более всего меня удивляло и заставляло всматриваться в фотографию в детстве – у него бант. Большой, предполагаю – красный. Я думаю, что лучшего маскарада для прибытия на конференцию профсоюзов и не придумать. А поначалу я думала, что он приехал в Софию элегантным иностранцем. Нет, вот такой провинциальный парень, красавец, не очень далекий, украсивший себя большим бантом. Белая рубашка, какая-то куртка. Он стоит, расправив плечи, засунув руки в карманы брюк. Он как бы во главе всей этой многочисленной группы делегатов профсоюзной конференции, высыпавшей из двух вагонов на перрон Софии. Да, вполне

возможно, что он приехал из Югославии, и, конечно, он был делегатом конференции, так как где-то же он должен был видеться и встречаться с Едо Фименом. А ночевал он у Любы Топенчаровой, недаром он в восемьдесят лет вспомнил ее адрес. Маленький домик на окраине Софии, у Вайсовой мельницы. Теперь – площадь Возрождения. Но сначала он явился к ней в «дружество “Орел”», где она работала, на улицу Марии-Луизы.

…Папа медленно шел по улицам Софии. После Вены София выглядела неправдоподобно провинциальной. Маленькие дома, грязные улицы. По левую руку вдалеке виднелась ограда кладбища «Орландовцы». Около «Львиного моста» на углу стояло четырехэтажное грязное здание – Дирекция полиции. Спустя несколько месяцев в подвалах этой тюрьмы его будут зверски избивать. Он пересек мост и пошел по улице Марии-Луизы. Миновал мечеть, турецкую баню, справа находился большой рынок «Халите». Медленно прошел мимо здания, где его ждала Люба Топенчарова. Там и находилась явка ЦК БКП. Зашел в кафе, из окна наблюдая за улицей, понял, что хвоста за ним нет.

Мне кажется, Люба ему сразу понравилась. В папиной книге есть только две женские фотографии – Елены Димитровой и Любы Топенчаровой. Я долго вглядываюсь в ее лицо. Коротко стриженная, красивая девушка в белой блузке, тонкие брови, кроткий взгляд, высокий лоб. В ней ясно видна жертвенность, кротость и ум. Папа уже в СССР узнал, что Люба вышла замуж за Трайчо Костова. Это тоже говорит о многом – интересовался. Никакие женские имена больше не упоминаются на страницах папиной книги.

Люба приняла папу сначала в конторе, там он ей объявил пароль, а потом она его представила Асену Бояджиеву, которому папа и передал поручение из Вены. Он часто виделся с Любой – об этом говорит и его замечание, что у Любы он не раз встречал запросто заходившего к ней видного парня, как потом выяснилось, ее брата Владо. Да, вполне возможно, что Люба была первой девушкой, запавшей в его сердце. Пробыл папа в Софии всего 14 дней – пока длилась конференция.

«9 апреля Балканская профсоюзная конференция была открыта. На ней присутствовали представители профсоюзов Сербии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, Румынии и Греции. Конференция открылась рабочим хором, который исполнил “Интернационал”. По прошествии нескольких лет после побоев, тюрем, убийств, расстрелов, сжигания в печах “Общественной безопасности” звуки международного гимна пролетариата освежили серые лица борцов за победу трудящихся.

Надо сказать, что значительная часть партийного

руководства в Софии ("тесняки") не были согласны с предложенной тактикой единства с "широкими" социалистами и негодовали, но все же выполнили директиву Заграничного бюро. После длительных переговоров между революционными и реформистскими профсоюзами 21 июля 1926 г. было торжественно провозглашено объединение двух профсоюзных болгарских организаций и выход "широких" профсоюзов из Амстердамского интернационала.

Дата 21 июля 1926 г. открыла перспективы единения болгарского пролетариата, массовое сплочение в единые классовые профсоюзы, возможность усиления борьбы против капитализма, против буржуазного строя. А я, член Грацкой ПГС, был счастлив, что принимал участие в осуществлении этого единства. Мы понимали значение рабочего единства, которое могло привести к мировой революции. С приездом в Вену я представил подробный отчет ЦК БКП. Тогда же Димитров написал статью, в которой придавал большое значение этой конференции:

"Стремление болгарского рабочего класса к единству ярче всего проявилось во время Балканской конференции в Софии", – писал Димитров. Успех хорошо обдуманной, организованной и проведенной исполнительным бюро БКП в Софии акции единого фронта был огромен. Исполнительное бюро ЦК БКП в Софии и ЗБ БКП в Вене были довольны точным исполнением важной директивы».

Вряд ли кто-то еще был параллельно послан в Болгарию, иначе не хранился бы в архивах до последнего времени папин доклад Коминтерну после возвращения в Вену. И возможно, информация, которую доставил папа, и его действия помогли создать общий рабочий фронт, выйти из подполья и легализоваться коммунистам. Информацию с указанием, как это осуществить, папа перенес, так сказать, в своей голове, он обладал феноменальной памятью, о которой все знали.

Спустя всего месяц папе опять предстояло ехать в Югославию.

В мае, в канун празднования Дня славянской письменности – праздника Кирилла и Мефодия, – всегда жарко. А вот в 1926 году май выдался прохладным. Папу знобило еще накануне. Ему не хотелось не только ехать, а даже выходить на улицу. Хотелось лежать в кровати, накрывшись одеялом. Да еще бы с грелкой. Хотя добираться до Югославии надо было на поезде, с паспортом; паспорт на имя Кирилла Кирчева, но фотография – папы, наклеена профессионально Мирчо Колевым.

С утра как будто стало лучше, папа опять прополоскал горло. В сером клетчатом костюме, дешевом, но хорошо сшитом, в белой

рубашке с галстуком, он засовывал в большую студенческую сумку учебники по анатомии, в переплет которых были вклеены доллары. Уже стоя на пороге, снял с вешалки плащ и в карманы плаща засунул советские газеты, где сообщалось о белом терроре на Балканах, и письмо, вчера переданное знакомым. Обычно папа избегал рисковать, но сейчас как будто все в порядке – документы есть. Он быстро шел по улицам Граца, трамвай подошел согласно расписанию. Может, все-таки надо было отложить поездку? Но в Белграде на явке ждали. Он сел в поезд за две минуты до отхода. Это тоже вошло в привычку. Солнце припекало, папа прошел в предпоследний вагон, поделенный на две части, половина вагона была обычная, с купе, другая – открытая платформа, прикрытая только сверху. Папа сел на левую, солнечную сторону и повернулся к солнцу спиной, ощущая тепло. И действительно, стало лучше. Озноб почти прошел. Холодом потянуло уже около реки, когда выехали на равнину. Папа встал и перешел во вторую часть вагона. Нашел пустое купе, сел у двери, вытянув ноги, прислонился головой к угловой подушке и запахнул плащ. Нет, явно не стоило ехать в открытом вагоне, сейчас озноб усилился, а ехать еще несколько часов. На станции Марибор в вагон вошли пограничники и таможенник. Папа сидел вытянув ноги, прикрыв глаза. Что-то сегодня долго. Наконец дверь купе открылась.

Папа спокойно протянул паспорт – конечно, все могло случиться, но маловероятно, паспорт легальный. За пограничниками шли таможенники. Они задержались в соседнем купе. «Что-то сегодня долго», – опять подумал папа и прикрыл дверь от сквозняка.

– Ваш багаж?

Папа молча указал на сумку, лежащую рядом на сиденье.

– А это? Что в вашем чемодане?

Папа поднял голову и увидел, что в багажной сетке над его головой лежит большой чемодан. Этого чемодана он не видел. Сердце сразу подскочило: как же он не заметил? Провал?

– Это не мой, – сказал папа отрывисто.

– Не ваш?

Папа не ответил. Взглянув на таможенника, он мрачно отвернулся к окну. Папа еще не знал, что это первый в его жизни страшный провал.

– Не ваш, – повторил таможенник с усмешкой. – А что, если мы его возьмем?

Папа молча пожал плечами. Он сохранял спокойствие, все было немножко похоже на сон. Опять начался озноб. Нет, к нему не должно быть претензий.

На перроне сновали люди. Было много военных. Обычно

такой наблюдательный, все схватывающий, папа только вяло отметил – много военных. Злой, что пришлось выйти из вагона, злой на себя, что не увидел чемодан и впутался в такую историю, он шел следом за таможенниками, несшими чужой чемодан. Он все еще не понимал, что это начало страшного провала. Его сильно знобило, он на ходу поправил сумку, стал застегивать плащ, и тут раздался женский визг. Кричали по-немецки:

– Куда вы несете мой чемодан?

Кричала элегантная, хорошо одетая женщина.

– Мадам, это ваш чемодан? – Таможенник стоял навытяжку.

– Конечно, мой. При чем тут этот молодой человек? Вор?

Таможенник повернулся к папе:

– Следуй за нами.

Дама презрительно оглядела папу. Открыли чемодан. И папа почувствовал, как похолодели руки. На самом виду лежал дамский пистолет с перламутровой ручкой. Папа бросил быстрый взгляд на даму, но та спокойно объяснила, что носит его для самообороны, так как едет на курорт в Далмацию одна.

– Вот как, – сказал с усмешкой таможенник и, запустив руки глубже, достал целую пачку банкнот.

– Вам придется задержаться. – Таможенник сохранял почтение и, обернувшись к папе, сказал: – Свободен. Садись в поезд.

Тут только пережитое волнение дало себя знать. Войдя в злополучное купе, папа хлопнул себя зло по лбу и больно прикусил язык. Как он мог забыть? В кармане плаща советские газеты. От газет надо было избавиться, и как можно скорее. Папа вышел в коридор. В коридоре на скамейке сидел человек. Явно шпик. Папа огляделся и, когда поезд тронулся, направился в уборную, но выбросить газеты не смог. За ним уже внимательно следили. Он опять вернулся в купе и постарался успокоиться. Следующая остановка – Загреб. Вероятнее всего, там его задержат. Он снял плащ и аккуратно сложил.

Загреб. Папа высунулся в окно. Весь перрон был заполнен военными, играл духовой оркестр.

– Что происходит? – крикнул папа из окна.

– Король Александр приехал на конгресс югославских офицеров запаса!

– Сербский король!

Так вот почему такой переполох на границе! В вагон быстро поднимался солдат с винтовкой. Шпик вошел вместе с солдатом.

– Пошли!

Папа повесил сумку на плечо, повесил на руку плащ. Его повели в участок при вокзале. Начался допрос. Куда едет? Откуда

знаком с графиней? Оказалось, что «дама с чемоданом» – австрийская графиня. За окном продолжал звучать духовой оркестр, раздавались гудки паровозов, пахло гарью. Папа горячо и подробно, стараясь вызвать доверие, рассказывал историю: студент в Граце, едет в Югославию, единственный багаж – его учебники, скоро экзамены, перешел в купе, потому что поднялась температура, чемодана не заметил, а дамы никогда раньше в глаза не видел. Как будто бы поверили. Один даже сказал:

– Свободен. Можешь ехать следующим поездом.

Но тот, который следил в поезде, спросил:

– А вы его обыскали?

В плаще, который папа повесил при входе в участок, нашли газеты. Благожелательное отношение мгновенно исчезло.

– А ну, позови начальника станции! – крикнул шпик в штатском.

– Ну и ну! Велика птица! – закричал сразу начальник, увидев газеты, и тут же распорядился: – В тюрьму.

Из воспоминаний болгарского разведчика Ивана Крекманова: «…я должен встретить курьера и получить средства. – А кто курьер? Как он мне представится? – Настоящее его имя Здравко Мицов, студент в Граце, но он будет ехать с документами своего коллеги Кирилла Кирчева. Паролем будут служить немецкие учебники, в которых спрятаны средства, которые ты возьмешь.

Приехал в Белград, но в определенный день никто не явился на явку. Остался ждать следующего дня. Но и на следующий день никто не явился. Начал думать, что курьер провалился. Так как у меня не было документов для пребывания в Белграде, отправился к Ивану Андрееву, нашему представителю при временном заграничном представительстве “Единого фронта”. Встретился с земледельческими министрами Недялко Атанасовым и Христо Стояновым и от них узнал неприятную новость о провале курьера».

«В загребской тюрьме я находился около двух недель. Следователем был сам директор тюрьмы, в камере был еще один болгарин – сразу определил: “подсадная утка”. Хитрый… Через какое-то время доставили и какого-то австрийского инженера – приятеля графини. Так или иначе, но директор решил, что я все же не имею никакого отношения к этой истории – так он выразился, однако у него есть приказ отправить меня в Белград. Посадили меня на поезд, в том же купе оказалась графиня, а между нами полицейский. Она меня оглядела высокомерно. На повороте у Инджии хотел выскочить из поезда, но не смог. Сумка с деньгами оставалась в купе».

В Белграде дело принимает совершенно иной оборот. Я не

знаю, сколько папа сидел в белградской тюрьме, но его постоянно зверски избивали. В его записках я вычитала: «*В югославской тюрьме – били, мучили нечеловечески, пытались повесить, об этих днях вспоминаю с отвращением*».

При обыске в Белграде полицейские находят спрятанные в учебниках деньги, забирают, а пустоты в переплетах набивают бумажками, нарезанными из газет. Сербские власти сочиняют следующую версию: «Богатая австрийская дама заплатила студенту за убийство короля Сербии».

Европейские газеты сразу разносят весть о раскрытом покушении. В Югославии говорили, что король Александр очень строго охраняется, поскольку боится за свою жизнь (он якобы изолировал в одном из своих дворцов настоящего престолонаследника и объявил его сумасшедшим). По югославским законам человека, обвиняемого в терроризме, приговаривали к смертной казни через повешение. Газеты шумели: знакомые графини из Лиги Наций требовали немедленного ее освобождения. Поэтому югославские власти приняли решение графиню отправить в Вену, а папу – в Болгарию.

Не знаю, как везли графиню обратно в Австрию. Папу же довозят до болгарской границы в наручниках. На границе сербские полицейские снимают с папы наручники и передают его болгарам, те связывают папу 16-метровой веревкой и, как безжизненную мумию, кидают в вагон.

«Вначале меня называли “наш парень”, “господин”, даже говорили: “Эх, жаль, что не убил короля!”, ну а потом занялись мной как умели».

Дирекция полиции, куда привезли папу, располагалась в захваченном полицией Народном доме коммунистической партии, массивном здании у Львого моста. В Дирекции полиции или в доме «Общественной безопасности» все происходит по правилам: в канцелярии доставленного записывают в книгу «входящих», описывают вещи, выдают картонные номерки, по которым вещи должны быть возвращены при освобождении.

На площадке перед лестницей, ведущей на пятый этаж, папа ступает на выложенную в мозаичном полу вестибюля пятиконечную звезду. Потом – бесконечные ступени лестницы до пятого этажа, полутемный коридор, камера.

Вопросы… «Планы военной организации?», «Имена руководителей?», «Адреса подпольных явок?». Но папа давно принял решение: ни в коем случае не признавать себя членом коммунистической партии, это – смертельно опасно.

В газетах писали, что человек, покушавшийся на жизнь югославского короля, – Кирилл Кирчев. Об этом узнал и отец

Кирчева. Из Варны был прислан на очную ставку одноклассник Кирчева. Он, конечно, отказался признать в папе своего товарища, с которым сидел за одной партой. А полиция к тому времен уже установила, что папа только два месяца тому назад посещал Болгарию и был в Софии.

«*Естественно, меня допрашивали: зачем был в Болгарии? И я, следуя тактическим приемам коммунистов, обвиняемых на Кёльнском процессе – признавать только то, что известно полиции, – делал все, чтобы скрыть свои связи с Исполнительным комитетом Бюро ЦК БКП в Софии, с его военным отделом, делал все, чтобы не раскрыть явки, каналы и пароли в Софии, Граце, Белграде и Вене».*

«После двухнедельных допросов в специальном помещении для истязаний полиция привела на очную ставку Крыстанова (того, который так яростно всего год тому назад сражался в Шанцелвирте). С ним обращались на “вы”, называли “господином”, “доктором”. Я, конечно, заявил, что не знаю его. Он тоже. “Господина доктора” не истязали. Его продержали два дня и отпустили, а меня перевели в Центральную тюрьму.

Положение мое очень осложнилось после бегства Крыстанова из Болгарии. Он свободно мог получить паспорт, но, испугавшись, предпочел перейти границу нелегально. Это послужило причиной ухудшения моего положения. Было сделано заключение, что переходят границу нелегально только коммунисты. В добавление к этому Крыстанов, оказавшись в Австрии, дал интервью прогрессивной австрийской газете “Дер Абенд” о ходе процесса. После интервью ясно было, что он закрыл себя въезд в Болгарию – но, как сказали наши товарищи, “зато открыл себе въезд в СССР”».

Страшен же был папин вид после побоев, вначале югославских, потом болгарских, если доктор Крыстанов предпочел бежать немедленно из Болгарии. Конечно, давая интервью, он понимал, что обретает единственный выход – укрыться там, где он будет недосягаем как для югославской, так и для болгарской полиции.

Только теперь, когда никого из упоминаемых лиц уже давно нет в живых, я понимаю, почему, если мама упоминала фамилию «Крыстанов», папа неизменно раздражался. Он не объяснял почему, и мама говорила:

– Но нельзя же, Здравко, так. Почему ты так неприязненно относишься к нему? Он хороший врач.

Папа глядел на маму и молчал. И я тоже думала, как мама. Правда – пока не увидела Крыстанова самого. Это было где-то в 1960-х годах, может, чуть раньше. Он встал из-за стола навстречу нам с мамой, и я почувствовала отвращение к его белесому

бесформенному лицу, с маленькими внимательными глазками. Глазки, будто вдавленные в сдобу изюминки, поблескивали. Они были единственно живыми во всей его фигуре, а все неповоротливое, бесформенное толстое тело в белом халате было как из папье-маше. Пробыли мы недолго. Мне помнится, что папа не хотел его видеть и просил маму взять у него какие-то бумаги. Посылать шофера было неудобно. Мне он был физически неприятен, вероятно, обида, досада, презрение папы были столь сильны, что через семь лет после тех событий передались с кровью мне, при моем рождении…

«После получения обвинительного акта я должен был подумать, как себя вести на суде. В тюрьме я встречаю Трайчо Костова, и Недялко Желязкова и др. Все мы сидим в различных камерах, но во время прогулки можем общаться. Я заявляю, чтобы мне передали из "Общественной безопасности" мою сумку. В присутствии Костова и Желязкова я получил сумку. Все переплеты толстых учебников были изрезаны ножом, в выдолбленных пустотах сербская полиция оставила только нарезанные на мелкие кусочки немецкие газеты издания "Инпрекор". Находящийся в тюрьме коммунист адвокат Иван Пашов советовал мне пройти как политическому, т. к. после амнистии буду освобожден, но если пройду по суду как уголовник, то должен буду отсидеть весь срок. Естественно, я не раскрывал своей деятельности даже перед коммунистами, потому что и среди них могли быть провокаторы, и предпочел, чтобы делу был дан криминальный ход. В противном случае должен был бы признать на суде то, что отрицал на допросах категорически – что являюсь коммунистом».

Однажды на прогулке один из охранников сказал, глядя на худого высокого юношу, с кровоподтеками на лице, еле ступающего под тяжестью железных цепей:

– Эй, парень! Давай выпущу тебя, пойдем по трактирам, наберем триста левов, и не вернешься сюда.

Что он хотел этим сказать? Подсказывал о решении суда? Да ему-то откуда знать? И все же папа надеялся на относительно мягкий приговор. Папа сидел за решеткой в зале суда (никто из родственников не присутствовал). Сидел опустив голову, сложив связанные руки между колен. Ждал приговора.

– Восемь лет. Уголовник с политической подоплекой. Или под залог в семьдесят тысяч левов.

Папа не шевелится, такую сумму взять неоткуда. Неужели восемь лет сидеть в тюрьме? Всю молодость. А как же мировая революция? Крах.

Адвокат настаивает, что при таком приговоре самый большой выкуп 3–4 тысячи, и то не деньгами, а под залог имущества.

Председатель суда заявляет:

– Подсудимый холост, знает все нелегальные пути, как только выпустим, он убежит, как убежал Крыстанов в СССР.

«Меня вели из суда, а в спину был направлен револьвер:

– Только сделай шаг в сторону – застрелю!»

Суд в Софии – большое белое красивое здание, как и полагается – с колоннами, с весами на фронтоне, с большими широкими ступенями по всей длине здания. Несчитанное число раз я проходила мимо этого здания, стоящего на одной из главных улиц. А тюрьма? Мимо нее я всякий раз проезжала – на машине, на вокзал, с вокзала. Иногда, возвращаясь с базара, мы с мамой, чтобы можно было сесть в трамвае, проходили одну остановку назад, и тогда, за маленькой речушкой, за небольшим мостом с четырьмя львами, я задевала взглядом обшарпанное угловое здание. Я не знала, что там. Но смотреть в ту строну было неприятно. И вот как-то в 1960-х годах, проезжая мимо, я услышала от своей двоюродной сестры Норы, дочери папиного брата Иордана:

– Это бывшая Дирекция полиции, здесь сидел твой папа.

Заметив мое не то чтобы удивление, а недоверие, смешанное с равнодушием, Нора спросила: «Ты не знаешь?». Тогда я еще не знала. Здание – коробка с множеством грязных окон. Решеток я на окнах не видела. Странная тюрьма. Она тогда сказала: «В подвалах лежал дядя». В подвалах… От суда до тюрьмы хода не менее получаса, может, больше. Что же, папу вели по улице? Шаг вправо, шаг влево – расстрел.

Папа снова сидит в тюрьме. Только теперь уже не пытают. Что он думает? Может быть, доволен, что не выдал ни одной явки, ни одного адреса, ни в Вене, ни в Югославии, ни в Болгарии? Ни одного! Осужден как уголовник. Тяжко! По ночам мучают кошмары… Днем читает, читает – в тюрьме, оказывается, была неплохая библиотека из книг, конфискованных у заключенных. Читает запоем. Помню, что о нем впоследствии говорили – все знает, о чем ни спросишь. Видимо, старался использовать с толком время, проведенное в тюрьме. Его выпускают под залог дома в Плевне только в декабре, перед Рождеством. Прошло семь месяцев.

Он опять в этом же светло-сером костюме в клетку, сверху легкий плащ. Через плечо – сумка с уже ненужными книгами. На улице зима. Его сопровождает в Плевну конвой. И вот встреча.

Цана, маленькая, худенькая, выходит за ворота и на глазах всей улицы обнимает сына. Смотрит ему в глаза, стараясь вобрать в себя всю муку, что вынес он. Под запавшими, потухшими глазами страшно черно. Чужой взгляд…

– Сынок мой, – говорит она. – Вот ты и вернулся.

Они забывают о любопытных. Первая спохватывается Цана.

– Пойдем в дом, – говорит она и захлопывает тяжелую калитку.

Теперь они в доме одни. Цана стоит, сложа руки, смотрит, как жадно ест сын. Потом садится рядом. Что-то нехорошо с сердцем.

– Ты что? – спрашивает сын.

– Ничего, сынок. Ты ешь, ешь. Я прилягу, немного разволновалась.

«Отказывались, не соглашались заложить дом, – думает Цана об Иордане и Ольге. – А он все это время в тюрьме, на цементном полу, в подвале…» О том, как избивали сына, мать старается не думать. Иначе – не выдержит сердце.

Люди верят плохому охотно. Клеймо лежит на сыне. Клеймо на семье. Как теперь жить? На какие средства? Что делать? Она уже слышала: «Здравко, которым эта Цанка хвасталась, австрийский студент, – обычный уголовник. Бедная вдова! Дом заложила… А уж как она просила детей, особенно Иордана, чтобы согласились. Считался коммунистом, а осужден как уголовник. За фальшивый паспорт? За фальшивый паспорт так много не дают. Паспорт… Украл у австрийки чемодан с деньгами, его и поймали».

Цана, Цана, моя незнакомая бабушка… Как жить, Господи?

– Мама, как же с залогом? Откуда возьмем деньги? – Папа не произносит ни слова вслух, но неотступно думает об этом. Он понимает, что на залоге настояла мать, и чего ей это стоило. Знаю, что после приезда в Болгарию в 1945 году папина сестра Ольга сразу сказала папе: «Наследства ты не имеешь, дом принадлежит Иордану и его детям». Вероятно, это Иордан выплачивал залог.

«Потекли месяцы, в декабре был выпущен под залог дома. Был интернирован в Плевен. Ежедневно должен был являться в полицию. Думал, что все закончилось, строил планы, как исчезнуть из Болгарии… И вот тогда случилось горе.

Моя мама, которая стоически пережила смерть отца, гибель старшего сына, мою эмиграцию, сейчас не выдержала. Не выдержала ареста, процесса и приговора. В феврале она скончалась. На ее погребении мне разрешили присутствовать, но в сопровождении полицейского. Был убит от муки и чувства вины. Никто не мог меня разубедить, что это я ускорил ее конец. Три года тому назад у меня было предчувствие, что увидимся вновь. Предчувствие сбылось, но каким коротким оказалось свидание. С какими тревогами оно было связано и как для нее окончилось».

Вот что впоследствии вспоминал воевода *четы* в Граце Тагаров (после 1945-го – на дипломатической работе) в своей книге: «Среди членов ПГС были и такие товарищи, как Вылков, Николов, Мицов и другие, которые не взяли ни на одну стотинку больше от действительно израсходованных денег. Был и такой случай – один из товарищей (Мицов) получил от Заграничного бюро несколько тысяч долларов для передачи в Югославию. Во время исполнения разболелся. Несмотря на то, что не имел денег на лекарства, он не согласился с предложением товарищей из Граца взять несколько грошей на лечение – так как это были партийные неприкосновенные деньги».

Вот так отзывались о папиной принципиальной честности люди, хорошо знавшие его!

11 февраля 1927 года умерла моя бабушка Цана Мицова.

Бабушку мою хоронят не так, как было принято в Плевне, хоронят без музыки. Подъехали погребальные дроги, вынесли гроб. Сопровождал ли кто-нибудь из соседей или этот дом был проклят? Не знаю. Была ли кучка женщин, так любивших слушать Цану, причитали ли? Не знаю. Знаю только, что за гробом шел молодой человек в сером клетчатом костюме, в светлом плаще, на груди был прикреплен черный бант. Не поднимая головы, не вытирая слез, держась за дроги руками, он шел следом за матерью. А рядом шел полицейский. Сочувствовал ли он папе? Злорадствовал ли, наслаждаясь видом чужого горя?

Спустя короткое время папа совершил побег.

«Товарищи понимали мое состояние и искали возможность мне помочь. Снабдили меня паспортом и двумя билетами на пароход: от Лома до Видина и от Видина до Вены. Естественно, паспорт не имел полицейской визы, но имел австрийскую. Все было предусмотрено. Я сел в Ломе на пароход за 5 минут до отхода. Как-то добрался до Вены, а оттуда в Грац. В Вене у меня не было связей».

Итак, папа в Ломе, сел на пароход. До Видина. Видин – на границе. Как ее миновать? Вечером обошел весь пароход, искал, где спрятаться. К ночи пароход достиг границы. Попробовал спрятаться под скамейками на палубе первого класса, но они были уставлены клетками с курами, те начали сильно кудахтать. Все пассажиры уже сошли. Времени не остается. Папа медленно обходит палубу. Куда? С носа парохода спущена якорная цепь, папа свешивается с борта – якорь на месте, в своем углублении. Папа вытягивает ноги, перевешивается за борт и осторожно спускается, держась за цепь. Садится верхом на якорь. Темно. Луна и та скрылась. На палубе раздаются тяжелые шаги. Папа

слышит:

– На пароходе остался еще один человек. Он не сошел. Надо задержать пароход для проверки.

Но капитан отказывается.

– Ну, походили, походили, ушли, – рассказывал папа. – Пароход долго задерживать нельзя. Ушли. А я так и просидел целую ночь на якоре. Холодно было. Замерз.

– А если бы они тебя нашли? – спрашивала я.

– Я бы поплыл в сторону Румынии. Там был довольно пустынный берег.

– Но там Дунай очень широкий. И холодно. И они бы стреляли.

Папа молчал. И я молчала, больше не спрашивала. Да, была зима, февраль, и они бы стреляли.

Папина эмиграция в Австрию началась и кончилась Веной. Опять он вернулся к работе в *мензе*, организованной по инициативе Венской ПГС (там столовались не только студенты, но и политэмигранты), которая фактически была клубом прогрессивных болгарских студентов и очень удобной явкой Заграничного бюро БКП. Она пользовалась огромной популярностью и среди студентов из других стран – Греции, Сербии, Венгрии, ее даже так и называли – «балканская менза». Однако все это было уже не то. «Нелегальный канал», выполнив свою функцию и переправив весь партийный актив из Болгарии в Австрию и далее в Советский Союз, перестал существовать; надежды на новое вооруженное восстание в Болгарии не было. Мать, надежда на встречу с которой держала его в Австрии, умерла. Студенческий билет потерялся, да и восстанавливаться заново в Грацком университете не было желания. И хотя жестокие физические истязания окончились и боль о пережитом стала утихать, папа, как представляется мне, был растерян и подавлен. Будто вернулся на старое пепелище.

«В Вене начал работать как завхоз в столовой (мензе) на улице Лаудонгасе, 6, вблизи университета и его клиники. Естественно, она была бельмом для болгарской легации в Вене, и ее решили закрыть при помощи венской полиции. Для этой цели дождались летних каникул, когда многие студенты разъехались по домам, и менза осталась с большим долгом кредиторам. Этот долг обычно гасили, когда студенты осенью возвращались на занятия. Но в этом году полиция надоумила поставщиков самых важных продуктов – хлеба и мяса – требовать выплаты долга в кратчайший срок в начале лета. Кредиторы грозили судом. Создавшееся положение тревожило руководство. Столовой

угрожало закрытие и скандал. Меня вызвали в Заграничное бюро и сказали, чтобы я предпринял все возможное, чтобы отстоять столовую до конца каникул. Полиция ожидала, что после ультиматума мензa выплатит долг мгновенно, что послужило бы доказательством, что эта столовая "московская", и на этом основании ее можно будет закрыть как большевистское гнездо. Я предпринял следующие шаги: нашел хлебопекарню, которая согласилась нас кредитовать до конца летних каникул, перешли на самое дешевое мясо – конину – и немного уменьшили порции, разослали телеграммы состоятельным членам столовой в Болгарии и быстро получили определенную сумму. Таким образом, мы смогли сохранить мензу без сенсационного разоблачения».

Но неожиданно в Вене происходит событие, которое опять вселяет угасшую было надежду на мировую революцию. Несколько дней папа живет полной жизнью. В самом центре Европы, где, казалось, утвердилась политика социал-демократов – ни в коем случае не допустить вооруженное восстание и все решать путем компромиссов – вдруг вспыхивает стихийное восстание.

«15 июля перед обедом в мензу вбежал запыхавшийся товарищ и сообщил, что что-то происходит на Ринге (бульвар в центре Вены). Выбежали и увидели рабочих, которые быстро шли стройными рядами по направлению к Ратуше и Парламенту. Это был протест против оправдания фашистских убийц. 30 января фашисты напали на рабочую демонстрацию в Бургенланде, убили одного ребенка, одного рабочего и ранили нескольких. Арестованные были отданы под суд, и все ждали с нетерпением приговора. 14 июля арестованные были оправданы. Венские рабочие бросили работу и сейчас стекались к Парламенту, требуя отмены решения. Не было плакатов, знамен, люди шли быстрым маршем, лица их были суровыми, исполненными решимости. Даже в воздухе чувствовалось напряжение, которое передалось и мне, и я побежал вперед, чтобы добраться до главы колонны. Люди собирались в парке и на площади перед городской Ратушей. В необыкновенной тишине слышался бой часов на башне Ратуши. Рабочие молча размахивали газетами, в которых был напечатан приговор. Венская полиция попыталась остановить демонстрацию. Эскадрон конной полиции, скрытый за бург-театром, выскочил на бульвар с оголенными шашками и погнал демонстрантов. Пали первые убитые. Вместе с тысячами рабочих я побежал верх по Рингу к Парламенту и Дворцу правосудия. Разгневанные рабочие кричали:

– Позор! Кровавые собаки!

Никто не ожидал такого грандиозного протеста. Никто. Венские рабочие были воспитаны социал-демократами в духе

толерантности и послушания. Начали кидать камни, деревья. Напали на полицейский участок, разгромили несколько редакций фашистского толка. События развивались очень быстро. Группа рабочих привезла цистерну с бензином и подожгла "юстицгебойде" – здание Министерства правосудия. Приехала пожарная команда, но рабочие стали плотной стеной перед горящим зданием. Начались переговоры, которые, неожиданно, велись тихо и спокойно. В результате пожарные стояли у своих машин и вместе с рабочими смотрели на горящее здание.

Служащие венской Ратуши объявили стачку. Появился мэр. Все вытирал голову носовым платком. Но голос его был громкий и ясный:

– Мне поручили сказать вам следующее: только окончилось заседание руководящего совета, и мы не в состоянии сделать что-либо. Мы – община, а суд – государственное учреждение.

– Позор! Убийцы!

Обычно шуцбундовцы охраняли демонстрацию. Они и сейчас были здесь. Но с тонкими палками в руках, которые могли служить только для поддержания порядка, но не для охраны. Оказалось, что перед тем, как суд объявил решение, у шуцбундовцев отняли оружие. Один из вождей рабочих, Юлиус Дойч, спросил:

– Где ваше оружие?

На него посмотрели мрачно и не ответили.

Я заскочил в мензу посмотреть, что творится там. После обеда опять побежал к мэрии. Против мэрии уже была воздвигнута баррикада из булыжников, матрасов, столов и деревьев. Многие из нас впервые видели баррикады. И это в самом сердце Европы! У меня было приподнятое настроение. Ведь это массовое восстание свидетельствует о том, что временная стабилизация капитализма не может устранить антагонистические противоречия в буржуазном обществе! Зреют, зреют причины для новой классовой борьбы! Но на баррикадах люди были без оружия и кидали камни, а по ним стреляли. Были убитые. Раненые стонали. Произвело впечатление, что все магазины были закрыты, а пивная открыта.

Вечером снова отправился в мензу. Как притягательный центр она сейчас собрала много народа. Договорились ночью обойти больницы и наших нелегальных товарищей вывести оттуда. Из всех присутствующих национальностей болгары участвовали наиболее активно. Студенты-медики оказывали первую медицинскую помощь в мензе, которую быстро приспособили для этой цели. В одном из парков около Ратхауса студентами-медиками также был организован медицинский пункт. Болгарские, венгерские, итальянские, греческие и югославские студенты –

коммунисты днем были на баррикадах, оказывали первую медицинскую помощь раненым. Вечером посещали раненых в больницах и забирали знакомых, близких и тех, кого надо было спрятать.

На следующий день, 16 июля, были новые схватки с полицией. Были убитые и раненые. Подожгли еще один полицейский участок. Полиция оккупировала несколько рабочих кварталов. Газеты не выходили уже два дня. На третий день полиция овладела центром и патрулировала улицы на открытых полицейских машинах. Полицейские сидели на скамейках, держали на коленях заряженные ружья и при криках: "позор", "кровавые собаки", "кормим вас, а вы по нам стреляете" – они стреляли в толпу. Прежде мы были знакомы с совершенно иной венской полицией – те полицейские говорили на нескольких языках, элегантно отдавали честь, вежливо кланялись, были хорошо выбриты, в белых перчатках. А сейчас видели темные злобные лица, которые, как тирольские пастухи, располагали словарным запасом не более двухсот слов, и то на диалекте. Было ранено 1000 человек и убито свыше ста.

17 июля австрийская социал-демократическая партия объявила общую стачку, которая, в сущности, уже шла с 15 июля. Но это не имело значения – это уже было чистой демагогией. На протяжении трех дней восстания ЦК социал-демократической партии делало все, чтобы восстание не переросло в вооруженное».

Да, то, о чем все еще мечтал папа: «захват власти через вооруженное восстание», как это было осуществлено в России – было исключено из программ действий всех социал-демократических партий. Они усвоили урок, который преподнесла Россия, знали, к чему это привело, и не хотели повторения.

«18 июля восстание было потушено. Вена завалена битым стеклом, полита человеческой кровью. Город был похож на место, через которое пронесся ураган.

Это было первое антифашистское восстание в Центральной Европе (если не считать восстания в 1919 году в Венгрии).

18 июля начались массовые аресты. Полиция искала подстрекателей – московских агентов. К 14 часам пришли и в мензу. Сначала обыскали все помещение, а затем погрузили грубо в полицейские машины, которые направились в следственную тюрьму на берегу канала Старый Дунай – на Елизабетен променаде. Болгар было 40 человек из 350 арестованных. Когда огляделись, отметили, что среди арестованных большинство – коммунисты. Нас выгрузили во дворе следственной тюрьмы, затем препроводили в преддверье тюрьмы, где находились лавки с продуктами и откуда лестницы вели на верхние этажи. Здесь нас

держали до вечера. В течение всего этого времени мы могли свободно переговариваться, но были под наблюдением. Время шло. Во время этого мучительного ожидания были и напуганные. Они начали спрашивать, что говорить, а один уже заявил, что хочет сброситься с лестницы, т. к. много знает. Чтобы разрядить обстановку, я громко спросил:

– Будут нас кормить?

Все навострили уши.

– Вы получите еду только после того, как будете зачислены.

– А мы можем купить в лавке еду?

– Только за ваши деньги.

Я купил хлеб и колбасу. Полицейский сказал, что разрешено есть только здесь. Но не было ни стола, ни стула. Я огляделся и сел прямо на цементный пол. Товарищи столпились вокруг меня. А я демонстративно ломал хлеб и кусал колбасу. Товарищи молча наблюдали. Некоторые спрашивали:

– Как можешь есть в такой обстановке?

Полицейские, наблюдая за мной, говорили:

– А этот опытный.

На что я холодно отвечал:

– По болгарской пословице – "гладна мечка хоро не играе" (голодный медведь не пляшет).

Ждали около 6 часов. За это время успели договориться о поведении во время следствия. Вечером нас отвели на самый верхний тихий этаж и сказали, чтобы мы разделись догола. Построили нас в ряд и начали циничный обыск. Продолжали искать инструкции из Москвы. В группу болгар случайно или нарочно был втиснут и один немец, стройный, пожилой. Я узнал Вильгельма Пика. В 1922 году он был делегатом от германской коммунистической партии на конгрессе БКП в Софии, и я был в его охране. Когда дошла очередь до Пика, я возмущенно закричал:

– Это скандал! Как можно так третировать пожилого человека!

Тогда Пик спокойно сказал своим плотным басом:

– Это действительно возмутительно.

Он был освобожден от этого издевательства. После освобождения мы узнали, что Пик был послан исполкомом Коминтерна в Вену. Он был арестован еще на аэродроме. Спустя несколько дней его выпустили, т. к. его паспорт был в порядке.

После осмотра нас распределили по камерам по два человека. Условия, в которых нас держали, предполагали совершенную изоляцию и истощение. Была прекращена связь с внешним миром. С утра и на ужин давали эрзац-кофе без хлеба, на обед – разбавленный фасолевый суп. Не разрешали покупать еду на свои

деньги. В камере не было возможности даже присесть. С утра кровать поднималась к стене и запиралась на ключ. В камере была уборная, иногда садились на нее, но как только страж замечал, что сидим долго, сразу кричал: "Встать!" – и пугал карцером. Не разрешали сидеть и на цементном полу. Мы быстро слабели. Водили на перекрестный допрос. Один задавал вопросы и выслушивал, другой констатировал противоречия, третий внимательно наблюдал за поведением. Машинистка быстро печатала.

С утра поодиночке нас водили умываться. Однажды я громко закричал, чтобы дали мыло. Охранник, сгибаясь от смеха, подошел к другому и сказал, указывая на меня:

– Этот… ха – ха – ха… требует мыла.

Этот инцидент оказался хорошим средством для связи и очень ободрил товарищей, о чем говорили после освобождения. Освобождение началось спустя 2–3 дня после ареста и продолжалось две недели. Меня и мичмана Илью Калчева задержали. Он все боялся, что узнают, что он кассир "Красной помощи", что у него постоянные связи с Заграничным бюро ЦК БКП и что связан с австрийской компартией».

После восстания папе уже не сиделось в Австрии. Прошло время, и однажды утром к папе на квартиру явились двое полицейских. Они похлопали папу по плечу и собирались увести. Квартирная хозяйка, вытаращив глаза, не знала, как помочь. Папа не растерялся. Сказал, что запишется студентом, как только получит деньги из Болгарии, которые ожидает ежедневно. Заграничное бюро вынесло решение о переброске папы в Советский Союз. Товарищи Илия Калчев, мичман, сотрудник Заграничного бюро, и Борис Чолаев-Роката подготовили ему документы, и он с паспортом русского «возвращенца» (на имя белоруса Леонида Спинко) в середине октября 1927 года тронулся в путь с северного вокзала Вены.

«В Австрии я оставлял часть моей молодости. Три года – не такой уж большой срок, но с какими переживаниями, с какими событиями был связан этот этап моей жизни, с каким напряжением и опасностью!»

Часть 2. Россия

Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек.

В. И. Лебедев-Кумач

Приезд в Россию. – Московские впечатления. – Георгий Димитров. – Учеба в Военно-медицинской академии (Ленинград). – Встреча родителей. – Семья Мицовых в 1930-е годы. – Жизнь в Ленинграде, Севастополе, Рыльске. – Репрессии. – Исключение из партии и арест папы. – Освобождение его из тюрьмы. – Канун войны. – Наш отъезд в Рыльск.

Поезд замедлил ход, пересек границу и остановился на станции Негорелое. На деревянной арке над железнодорожными путями краснел плакат: «Коммунизм сотрет все границы». На перроне выстроились в ряд пограничники в длиннополых шинелях и островерхих буденновках. Сбывалась папина мечта. В чем был (в бриджах, бежевых чулках до колен, цветной рубашке – эту обновку выдали в венском представительстве МОПР – Международной организации помощи революционерам), он выскочил на перрон и с восторгом обнял первого же пограничника.

«На Белорусском вокзале меня поразили деревянные платформы и привокзальная площадь, заполненная извозчиками. Поехали по ухабистой Тверской. Производило впечатление, что некоторые магазины были заколочены досками, а часть прохожих бедно одеты. Поразили и большие очереди перед магазинами.

Довезли нас до здания исполкома Коминтерна на Моховой улице, а оттуда направили в Дом политэмигрантов на улице Воронцово Поле, 3. В этом доме мы бесплатно получали вкусную русскую еду. Мне особенно понравились “французские” булочки и клюквенный кисель».

Папа приехал в Москву накануне десятилетия Октябрьской революции, неприятный осадок от очередей и бедно одетых людей быстро исчез. Атмосфера праздника ошеломила его: торжественные собрания, посещения театров, музеев, выставок, фабрик и учреждений, на Красной площади – роскошные

бесплатные трапезы для работников различных предприятий и политэмигрантов.

Он встречается со старыми большевиками, занимающими теперь высокие государственные посты, – М. И. Калининым, Н. К. Крупской, Е. Д. Стасовой, Н. А. Семашко. А. В. Луначарским, а также с активными работниками Коминтерна – Кларой Цеткин, Бела Куном, Вильгельмом Пиком… С тем самым Вильгельмом Пиком, с которым сидел в венской тюрьме всего четыре месяца тому назад.

«Особенно приятное впечатление произвел на меня народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко, который работал в Болгарии как врач-политэмигрант, и известный литературовед П. С. Коган. Его толстые "Очерки по истории западноевропейской литературы", написанные еще до революции, были переведены на болгарский язык и читались с большим интересом».

«В доме политэмигрантов ЦК МОПР СССР кипела настоящая интернациональная жизнь. После празднования десятилетнего юбилея меня взяли на работу в отдел пропаганды ЦК МОПР. Меня отправляли на митинги на площадях Москвы, на собрания на заводах».

Папа в своей экзотической одежде бегает по Москве, висит на подножках переполненных трамваев, выходит на сцены клубов, на трибуны заводов, поднимает руки для приветствия, пламенно говорит, переводчик рядом, но из переполненного зала несутся ликующие крики: «Понятно! Переводчика не надо!» Москва – в слякотном, промозглом ноябре, с ее грязными улицами, заколоченными окнами витрин, оборванными, изможденными людьми – превращается в залитый солнцем прекрасный город, где гремят оркестры, ходят счастливые люди. МОПР получает много билетов во все театры, и папа не пропускает спектакли, посещает оперу, балет, цирк, а также ходит на представления «Синей блузы», модной эстрадной труппы в то время. Да, папу ошеломляет водоворот встреч.

Первый год в Москве он живет как в угаре. Сбылась мечта! Жизнь, новая жизнь, предвещая прекрасное будущее, уже шумит вокруг. Мировая революция еще впереди, но здесь уже началось преобразование мира. Старая Россия, его заветная любовь, на глазах становилась новой – страной, где победила революция. Здесь, в Советской России, сейчас все те, кто боролся против фашизма – Димитров, Коларов, Луканов, Кирчо и Мирчо, его товарищи из Граца. Не только те, кого он переводил по своему каналу, – те 250 человек, которые перешагнули через Альпы, но и многие, многие другие.

«Первого мая 1928 года болгары собрались у международного

клуба. Гаврил Генов (Цонев), секретарь Заграничного бюро, идейный организатор "нелегального канала", дал мне нести знамя болгарских политэмигрантов на первомайской демонстрации. Международный клуб участвовал в демонстрациях вместе с революционным Краснопресненским районом, который проходил первым, т. е. ближе всего к Мавзолею Ленина. В связи с этим мне удалось вблизи увидеть Сталина, который, показав на наше знамя, что-то сказал».

Папе – двадцать пять лет; высоко держа красное знамя, он вышагивал в костюме Вильгельма Телля, только на голове вместо шляпы с пером – коричневый берет. Он всматривался в каждый жест, в каждый наклон головы вождей Советской России, стараясь разглядеть выражение их лиц. И ему показалось – Сталин его увидел, выделил из массы.

Не хочется омрачать папино счастье – но в это время уже идет ожесточенная внутрипартийная борьба и состоялся 15-й съезд ВКП(б). Уже лозунги, которые несли на демонстрации в Ленинграде, объявлены антипартийной «зиновьевско-каменевской платформой», а Троцкий – главный идеолог мировой революции – и Зиновьев – генеральный секретарь Коминтерна – исключены из партии.

Папа *«неописуемо рад, когда вошел в партию большевиков со своим стажем»* — в мае 1928 года ему вручили партийный билет ВКП(б), где признавался его партийный и комсомольский стаж с 1919 года.

В августе 1928 года Димитров попросил наркомвоенмора (министра обороны) К. Е. Ворошилова, чтобы папу приняли слушателем в Военно-медицинскую академию (ВМА).

– Стране, – сказал Димитров, и меня поражает его уверенность в возвращении в новую Болгарию, – нужны будут военные врачи, держи высоко знамя партии!

«Поступление в Военно-медицинскую академию было для меня гордостью. Авторитет этой академии в Болгарии еще до Октябрьской революции был велик. Еще до освобождения Болгарии от османского ига (1878 г.) некоторые болгары заканчивали ее, а после этого и до Октябрьской революции в ней учились около тридцати болгар».

Папа опоздал к началу учебного года, так как участвовал в Пятом конгрессе КИМа (Коммунистического интернационала молодежи).

Приехав в Ленинград и добравшись до Военно-медицинской академии, папа, выйдя из трамвая, не перешел на другую сторону Нижегородской улицы, чтобы войти в главный корпус академии. Сначала он (в костюме Вильгельма Телля, с небольшой поклажей

в руках) направился в противоположную сторону, к Финляндскому вокзалу. И там немного постоял перед памятником «Ленин на броневике». Каково же было его удивление, когда у здания академии он увидел… памятник баронету Виллие[4]! Может быть, папа даже плюнул с досады…

Началась новая жизнь. Его болгарские товарищи (Андрей Луканов и Август Мильчев) к тому времени уже покинули Военно-медицинскую академию. Ранним утром папа спешит на лекции. Это не Грац, где папа только делал вид, что учится; здесь учат серьезно, и с его самолюбием и чувством долга он не может позволить себе учиться плохо.

Папин костюм, который отдает опереткой, создает неудобства.

«Я резко отличался своим дешевым, но броским по внешнему виду европейским костюмом. Я хотел поменяться костюмом, да не с кем было. Иногда в столовой в академии ко мне подходили слушатели, брали меня за галстук, щупали пиджак и, указывая на мою вилку в левой руке, говорили: “Не наш ты, парень!”

Вначале я жил в доме политэмигрантов, бывшем дворце на Театральной площади, рядом с Мариинским театром. Добираться до ВМА было удобно – трамвай № 6, с двумя синими фонарями – но далеко: на поездку в один конец требовалось 45 минут.

В первом месяце зимнего семестра нам выдали жалованье, равняющееся окладу рабочего средней квалификации. С получением его я выбрал себе квартиру по газетным объявлениям на Петроградской стороне. Слушатели бесплатно получали хороший паек, но в связи с тем, что южные люди часто заболевали в Ленинграде туберкулезом, я усилил свое питание – по вечерам, по совету моих домашних хозяев, кушал свиные отбивные, запивал пивом с сырыми яичными желтками.

К середине октября нам выдали военную форму. Она была сшита очень хорошо, по предварительно снятой мерке. Обмундирование было из чистой шерсти. Китель был зеленого цвета с большими накладными карманами, галифе тоже из сукна синего цвета. Длиннополая серого цвета шинель (шерстяная), теплая буденновка на голове и две пары высоких черных сапог – хромовые и яловые, русские (непромокаемые), на кожаных подошвах. Я оделся так тепло, как никогда раньше. Мне стало тепло не только физически, но и душевно. Одетый, обутый, с отдельной меблированной комнатой, я чувствовал себя человеком, каким не был при капитализме. И в ответ на все это добро советская власть требовала от нас только одно: учись!»

Да, жизнь изменилась. Папа фотографируется в новом обмундировании. На одном снимке он в кителе (и меня поражает

его упитанное лицо), на другом – в шинели и буденновке. Я, наконец, могу заглянуть ему в глаза – печальные глаза человека, много повидавшего и пережившего. Я вспоминаю его фотографию при отъезде из Вены – совсем другое лицо. Исчезли одержимость и настороженность, и только печальный взгляд выдает человека, много повидавшего и пережившего.

«В это время в Ленинграде началось наводнение. Нева залила весь правый берег – от Петропавловской крепости до Тучкова моста. Вода разлилась по проспектам Добролюбова и Большому, по Большой Гребецкой (Пионерской), Зверинской и др. улицам. По руслу Невы неслись курятники, свинарники, сараи, домики и пр. Спасатели плавали на больших лодках. Я свободно шагал по залитым улицам и залитым подвалам в моих непромокаемых сапогах и с удовольствием оказывал помощь жителям, чувствуя себя неуязвимым в моей добротной военной одежде».

Приближалось 7 ноября. В этот день всех военнослужащих Ленинградского гарнизона, которые должны были дать воинскую присягу, построили на площади перед Зимним дворцом. Тихо подъехала небольшая легковая машина, в ней сидел председатель ВЦИК М. И. Калинин, в штатской одежде. Машина остановилась посередине площади, и Калинин встал. Подана была команда: «Смирно!»

В полной тишине Калинин сказал: «Товарищи! Я буду зачитывать присягу, а вы повторяйте за мной!» И историческая площадь дрогнула от многоголосого эха: «Я, сын трудового народа…» Казалось, слова присяги отражались от стен вековых зданий и разносились над широкой Невой.

«*Сразу после присяги мы почувствовали себя другими людьми – ответственными перед армией, партией и народом. И в академию мы вернулись с другим чувством, с другим сознанием. Мы были уже законные солдаты самой великой революции в мире, солдаты великой армии свободы».*

И все же, по словам папы, ему в это время было очень трудно. Русский язык знал плохо, говорил с трудом, путал падежи. В Москве готовился по распространенному тогда фонетическому методу, но в академии еще в начале первого курса понял: только разговорной речью не отделаешься. Конкретный случай заставил его задуматься всерьез: на экзамене по ботанике папа, зная материал, попросил профессора разрешить отвечать по-немецки, но получил отказ. И стал изучать язык по-старому: грамматику и словарь.

Единственный дом, в который он ходит, – это дом болгарина Георгия Ивановича Дубова (он же – Живко Крычмарский,

участник Сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии). Дубов старше папы лет на десять, человек семейный; окончил Военно-техническую академию, работает, у него большая квартира. Жена его – русская, веселая, остроумная, намного младше мужа, у них и собираются болгары, оказавшиеся в Ленинграде, – кроме папы, еще и Иван Михайлов, будущий военный министр Болгарии, окончивший, как и Дубов, Военно-техническую академию, бывает и комбриг Константин Иванович Бочаров (Крум Бычваров), тоже старше папы, начальник кафедры Военно-политической академии имени Толмачева. Там папа отводит душу, готовит болгарские блюда, там поют болгарские песни.

Военно-медицинская академия[5], занимавшая несколько кварталов вдоль Невы, поразила папу внушительной старинной архитектурой. Папе посчастливилось застать и преподавателей старого поколения – потомственных русских интеллигентов, умных, образованных, принципиальных, верных традициям…

Возможно, папа не сразу осознал и сумел оценить нравственную высоту своих профессоров. Конечно, он понимал, что это не «красные борцы». Но его дальнейшая жизнь и деятельность показали, что он как личность сформировался именно в культурной среде академии.

«*Меня многое удивляло на первом курсе*», – пишет папа. Он изумился, узнав, что знаменитый ученый-химик, доктор медицины А. П. Бородин оказался и великим композитором, одним из создателей русской классической симфонии, автором известной оперы «Князь Игорь». Руководитель кафедры ботаники академик В. Н. Любименко, автор учебника в тысячу страниц, экзаменовал слушателей в присутствии всей группы и, отпуская каждого, говорил: «Идите с Богом». Профессор Н. А. Холодковский, автор учебника по зоологии, энциклопедизм знаний сочетал со способностью отличного скрипача, а также с даром поэта-переводчика – его перевод «Фауста» Гете считался одним из лучших. Удивляло и то, что начальник академии В. И. Воячек, деликатный худощавый человек, был беспартийным.

Да, удивлять-то удивляло, но привычная настороженность не оставляла, и он зорко приглядывался к преподавателям, одновременно восхищаясь их работой и оценивая их отношение к происходящему в стране. Вот, например, фактический руководитель кафедры госпитальной хирургии, В. И. Добротворский, по прозвищу Вася Тёмный. Мрачный, суровый, однако как учтиво и трогательно помогает профессору Федорову пройти в аудиторию… Парторг кафедры И. А. Криворотов как-то предложил ему обсудить вопрос о

соревновании, он ответил сердито: «Хватит! В прошлом году соревновались, а в этом надо работать». И вдруг на заседании Хирургического общества выяснилось, что в стране нет – и в ближайшие годы не будет – руководства по хирургии почек. Вася Тёмный заперся дома и через две недели представил руководству общества требуемый труд. Профессор С. П. Федоров, лейб-медик Николая II, с острой седой бородой и усами, носил золотое пенсне на длинной золотой цепочке… Советское правительство в это время усиленно пополняло золотой запас страны, изымая драгоценные металлы у населения. Федоров сам обратился к властям с приглашением зайти к нему домой, где и передал казне немало золота. А деликатный беспартийный Воячек? Взял и отказал итальянцам в просьбе проконсультировать Муссолини…

…В пятидесятых годах, оказавшись в Плевне, мы спускались по папиной улице, где к тому времени на месте бывшего папиного дома и сада высился четырехэтажный кооператив. В одной из квартир жила вдова папиного брата Иордана. Я, студентка Ленинградского университета, в красных туфлях на высоких каблуках, с распущенными волосами, и папа, в форме полковника болгарской армии со значком Военно-медицинской академии, быстро, легко спускались по улице летним утром. Мы направлялись к зданию старой мэрии, где в начале века работал мой дед Василий. По дороге встретился книжный магазин. Он занимал весь первый этаж большого многоквартирного дома. Продавщица, молодая женщина, улыбалась нам. На прилавке лежал роскошный альбом гравюр Остроумовой-Лебедевой. Альбом был дорогой, гравюры были напечатаны с досок, хранящихся в Русском музее. Я листала альбом, продавщица улыбалась. В магазине, весело впорхнув через открытую дверь, гуляло свежее летнее утро.

– Купи, пожалуйста, – сказала я, ничуть не сомневаясь, что папа, не раздумывая, купит, даже с удовольствием, гордясь, что у него такая дочь: не тряпки просит, а гравюры. Папа молчал, листал альбом. Он немного играл – то поглядывал вопросительно на продавщицу, то переводил взгляд на меня. Продавщица стояла в почтительном ожидании.

– Остроумова была женой Лебедева, который, между прочим, изобрел каучук, – сказала я.

– Лебедева? – воскликнул папа. – Того самого? Ты знаешь, что это был за человек! Он нам преподавал в академии! Да ты уверена, что именно его?

Альбом был аккуратно завернут в бумагу и перевязан ленточкой. До сих пор эти гравюры украшают одну из стен в моей квартире.

– Не знаю, почему, – говорил папа, выходя из магазина, – он у нас вызывал недоверие. Высокий, с бородой, он был мрачным (потом узнали, что болел почками) и молчаливым. Лекции читал тихо. Однажды зимой, в часы занятий по органической химии, нас попросили наносить снег с набережной Невы в лабораторию для поддержания низкой температуры одного из препаратов Лебедева. Тогда мы узнали, что Лебедев победил на международном конкурсе по производству искусственного каучука, объявленном Советским правительством. В конце учебного года этот беспартийный профессор прочитал нам лекцию о значении каучука в экономике империализма, подобную которой мы никогда не слышали от коммунистов-экономистов. Оказалось, что американцы предлагали Лебедеву большие деньги. Однако профессор ответил, что он русский человек и результат своего 20-летнего исследования отдаст своей Родине. Советское правительство заплатило победителю 20 тысяч золотых рублей. Профессор отказался от денег в пользу советских детей (сам он детей не имел).

Скользнув взглядом по моему лицу и решив, что это все меня мало трогает, папа остановился и, глядя мне в глаза, так же воодушевленно продолжил:

– Позже он разработал и метод для технического производства искусственного каучука, который был применен на двух специально построенных заводах… Он умер от сыпного тифа в Ярославле при одном из посещений этих заводов. Старинная улица Нижегородская, перед Военно-медицинской академией, на которую выходил боковой фасад кафедры химии и дом, где он жил, названа его именем.

Как часто мне рассказы папы казались неинтересными, докучными! Но сейчас это было не так. Безмятежное летнее утро, большой плоский альбом в правой руке, уличный фотограф, возникший перед нами, чувство, что мы причастны к чему-то сокровенному, о чем встречные догадываются, – оттого радостные улыбки при виде нас… Нет, я слушала папу с большим интересом. Я не знала, что Лебедев преподавал папе, никак не связывала улицу Нижегородскую с бесцветным названием – «улица Лебедева». Даже шестилетним ребенком я предпочитала более красивое название – «Нижегородская». Зато я знала то, чего не знал папа. Я знала, что после лекций Лебедев возвращался домой в огромную, холодную квартиру и видел безучастно сидящую в кресле свою жену, Анну Остроумову, молчаливую, закутанную в платки. Если я не ошибаюсь, у них незадолго до этого случилась трагедия – погиб ребенок. И тогда он начинал по рисунку жены резать гравюры. А затем печатать их на станке тут

же в квартире…

Уже восьмидесятилетним папа написал очерк «Болгарин в ВМА», более пятидесяти страниц. Там он упоминает не только фамилии, имена и отчества своих профессоров и преподавателей, ведущих практические занятия, но и манеру одеваться, говорить, преподавать. Папа подробно перечисляет все дисциплины. На всю жизнь врезалась в память эта встреча с людьми иного склада и иного уровня, чем те, кого он знал прежде. Я бы не поверила, если бы сама не подсчитала – на этих страницах упомянуто 107 профессоров и преподавателей. И множество слушателей. А ведь он писал эти записки, неподвижно лежа в моей квартире в Черноголовке со сломанной ногой, не пользуясь никакими справочниками. Он считывал все со своей памяти. Память у папы была феноменальная. Тогда же в Черноголовке эти записки и были перепечатаны.

Я приведу некоторые отрывки из этих записок:

«Преподаватели артистично делали свое дело. До сих пор помню, как в небольшой, круто поднимающейся амфитеатром аудитории по нормальной анатомии, внизу, на лекторской кафедре, перед черной классной доской, стояла высокая и длинная коляска, покрытая снежно-белой накрахмаленной простыней. В аудиторию энергично вошел среднего роста человек в длинном выутюженном желтовато-зеленого цвета халате, с высоким застегнутым воротничком, с подстриженными седоватыми усами, в высоких сапогах. Это был профессор нормальной анатомии человека В. Н. Тонков. Он поклонился аудитории и, показывая на коляску, сказал: “Здесь лежит не труп, а объект научного исследования”, и быстро отдернул простыню. Вся аудитория громко ахнула – на коляске лежал труп… Профессор Тонков часто посещал наши практические занятия по анатомии. Когда изучали остеологию, он приходил к нам с косточкой в карманах халата. Он вынимал косточку, быстро показывал характерную ее часть и сразу прятал, задавая вопрос: “Что такое?” Или, приближаясь к кому-нибудь из нас, вынимал косточку из кармана, подбрасывал вверх и, пряча ее в ладони, спрашивал: “Какая кость?” При прохождении кровеносных сосудов и особенно мышц он у всех слушателей спрашивал латинские названия, а от меня требовал их знания по-русски.

Общей любовью всех слушателей пользовался старший преподаватель кафедры анатомии Н. В. Вихрев. Он был старый, седоволосый, с длинными волосами в форме колпачка, причесанными на пробор. Он отлично преподавал, а двоек не ставил. Его синеглазое лицо имело ангельский вид. Он также

преподавал анатомию и в медицинском институте на ул. Льва Толстого. Однажды, по пути в ВМА, он заснул в трамвае, и вдруг от тряски голова трупа, завернутая в газету, которую он носил с собой, как наглядное пособие, упала и раскрылась. Н. В. Вихрев был отведен в милицию.

После анатомии химия была вторая "гроза" первокурсников. Для меня она не представляла труда. Когда нас проверяли по написанию химических уравнений, профессор С. В. Лебедев подошел ко мне, похвалил меня, что я легко пишу химические формулы, и спросил: "Вы фармацевт?"»

Последнее замечание ставит меня в тупик – до сих пор я считала, что он числился студентом Грацкого университета только для конспирации, никогда и нигде он не упоминал об учебе, а оказывается, он-то все же посещал занятия и чему-то учился.

«*Задолго до 1-го мая нас начали ежедневно оставлять после занятий для подготовки к первомайскому параду на Дворцовой площади. Мы усердно маршировали по 4 человека в ряд, но так и не научились хорошо маршировать, нас не допустили к участию в параде.*

Когда личный состав Военно-медицинской академии собирался для участия в праздничных демонстрациях, начальник академии С. И. Воячек, находясь во главе колонны, поворачивал голову и тихим голосом командовал: "Академия, за мной, пожалуйста!"»

Папа это мог слышать собственными ушами, так как впоследствии всегда являлся знаменосцем. Когда я узнала об этом от мамы, я воспылала гордостью – папа во главе академии со знаменем в руках, это здорово! Но мама охладила мой пыл:

– Ему поручали нести знамя, – сказала она, – потому что он был подходящего роста.

Ну, что ж! Зато он смог услышать и запомнить эти потрясающие слова: «*Академия, за мной, пожалуйста!*»

«…Большое воспитательное значение имел наш летний военный лагерь. В течение 50 суток мы каждый день занимались военным обучением. Мы проходили индивидуальную подготовку бойца в качестве рядовых солдат. Нашими винтовками мы кололи мишени, выполняли многократные приказания: "Вперед коли, назад прикладом бей"!..

На втором курсе наступил резкий перелом в деятельности ВМА. Начался переход к военизации. Были введены специальные военные и военно-медицинские предметы. Дисциплина стала чисто военной. Слушатели и преподаватели получили военные чины и знаки различия. Это радикальное преобразование было произведено

новым начальником академии старым большевиком, врачом по образованию – В. А. Кангелари. В этом отношении он получил большую поддержку от своего приятеля – командующего Ленинградским военным округом М. Н. Тухачевского».

«Из медицинских предметов на втором курсе самое сильное впечатление производила нормальная физиология человека. Кафедра была расположена в самом начале Ломанского переулка, построена под руководством самого И. П. Павлова в 1904 г. Руководил кафедрой проф. Л. А. Орбели, принявший ее за несколько лет до этого от своего учителя И. П. Павлова. Павлов предпочитал, чтобы перед лекцией студенты знакомились с материалом, тогда лекция была оживленная, сопровождалась многочисленными вопросами. Как и Павлов, Л. А. Орбели читал лекции сидя, сопровождая их большими демонстрациями на собаках, и просил слушателей задавать ему вопросы.

У каждого слушателя было самостоятельное рабочее место в лаборатории, аппаратура, химические реактивы и непосредственное наблюдение преподавателя».

С детства, слыша имя Павлова, произносимое папой с неизменным глубоким уважением, зная, что это великий ученый, я недавно открыла для себя Павлова еще и с иной стороны – бескомпромиссный, бесстрашный, охваченный болью за судьбу горячо любимой Родины.

В сентябре 1923 года, как раз во время Сентябрьского восстания в Болгарии, во время вводной лекции перед слушателями Военно-медицинской академии Павлов сказал:

– Беспокоясь за судьбу России, я стал читать книги людей, которые стоят во главе русского коммунистического дела. В работах Бухарина меня остановило и поразило категорически высказанное предположение, что пролетарская революция может победить только как мировая революция. То есть в мировом масштабе… Лидеры нашей правящей партии верят в то, что мировая революция будет. Но я хочу спросить: до каких же пор они будут верить? Ведь нужно положить срок. Проехав по всей Европе и побывав в Америке, не видел того, что бы указывало на возможность мировой революции. Эта революция стоила нам невероятных издержек, страшнейшего разрушения, а что, если все это впустую? Если мировой революции не случится? А без мировой революции наша не может существовать – вот аксиома. Тут я мучаюсь, и моя мысль бросается во все стороны, ища выхода, и не находит его. Наука и свободная критика – вот синонимы. И если вы к науке будете относиться, как следует,

тогда, несмотря на то, что вы коммунисты, тем не менее вы признаете, что марксизм и коммунизм – это вовсе не есть абсолютная истина, это одна из теорий, в которой, может быть, есть часть правды, а может быть, и нет правды, и вы на всю жизнь посмотрите со свободной точки зрения, а не с такой закабаленной.

А в то время, когда папа только что приехал в Ленинград, в октябре 1928 года, Павлов обращался к Советскому правительству: «…Но не суровый ли ответ жизни на все это, что на одиннадцатом году режима в республике, именуемой также и трудовой, ее граждане, в миллионных массах, ежедневно значительную часть дня, а иногда и ночью, проводят в очередях за предметами первой необходимости и иногда совсем или почти попусту, когда старая Россия была так богата ими».

Не знаю, был ли папа знаком с такой оценкой Павлова происходящих событий в стране и мире? В какой-то мере, конечно, был. Но это никак не сказалось на его восхищении этим ученым. Когда я спустя много лет поступала в Ленинградский университет, то именно под влиянием папы я выбрала кафедру высшей нервной деятельности.

«Кафедра располагала хорошим виварием (собачником), построенным тоже Павловым. Его заведующий был весьма опытный работник Сергей Игнатович. В то время учились и работали не по семи-, а по пятидневной неделе – “пятидневке”. Мы узнавали, что сегодня воскресение, по тому, что Сергей Игнатович сидел после посещения церкви на крыльце своего домика возле собачника в новом костюме и пил с блюдца чай. Он был долголетним преданным помощником И. П. Павлова, и Л. А. Орбели не препятствовал его привычкам и традициям».

Забегая вперед, скажу, что виварий Сергея Игнатовича помог выжить в блокаду сотрудникам кафедры физиологии и кафедры боевых отравляющих веществ, где работал папа. Обе кафедры располагались в одном здании. Сам же Сергей Игнатович умер в блокаду.

«*Кафедрой гистологии руководил проф. А. А. Заварзин. Он художественно рисовал гистологические препараты на черной доске. Начиная говорить, он привставал на носках. Глядя на его могучие запястья, некоторые говорили, что он как будто сын путиловского рабочего. Заварзин возглавлял кафедру после крупного гистолога с мировым именем профессора А. А. Максимова, руководившего этой кафедрой с 1903 по 1922 г. Предложение А. А. Максимова признать кровь тканью было принято везде. По*

его учебнику мы готовились. О профессоре Максимове нам много рассказывали студенты академии двадцатых годов. Он был богатым человеком, одевался красиво, был хорошим наездником и ходил постоянно со стеком, в бриджах и сапогах, был не женат и чрезвычайно работоспособен. Жил одной гистологией. После Октябрьской революции А. А. Максимов эмигрировал в США, где пользовался как специалист большой известностью. Старшим ассистентом кафедры гистологии был В. Г. Хлопин. В то время, когда мы описывали наши гистопрепараты, он ходил между столами, заглядывая в какие-то листочки и перебрасывая их из одного кармана в другой. Когда я его спросил, что это за листочки, он сказал, что изучает японский язык, который будет его девятым иностранным языком. С тех пор я разговаривал с ним по-немецки…»

«Очень интересным для меня предметом на втором курсе был диалектический материализм (диамат). Я гораздо активнее своих однокурсников участвовал в семинарах по этому предмету. Профессор марксистской философии М. С. Плотников, старый большевик, очень настаивал, чтобы я оставил Военно-медицинскую академию и перешел к нему в Институт философии. Я отвечал, что партия послала меня в академию, где я должен учиться.

На втором курсе нам преподавали также физкультуру. Кафедра была расположена в бывшей академической церкви. Я занимался в боксерском кружке кафедры».

Папа как-то упомянул про бокс. Я была изумлена – это не вязалось с представлением о папе. Бокс!

– Ты занимался боксом? – воскликнула я.

Но мама потом полушепотом рассказала: папа успел посетить всего несколько занятий, после чего его отчислили. А дело было так. Папин противник нанес ему, по всем правилам, удар в нос. Было неожиданно, больно и обидно.

– Ах так! – крикнул папа и измолотил противника, позабыв обо всех правилах.

Но может, было и так: папа получил сильный удар и врезал в ответ так, что сломал противнику нос. Что-то мама упоминала про сломанный нос… У папы нос был нормальный, несломанный. Но начало и конец этой истории во всех ее версиях были одни и те же – боксера из папы не вышло.

«…изучался также и латинский язык. Это было тем более необходимо, что некоторые из слушателей не были знакомы с латинскими буквами. Однажды в аудитории химии сидящий возле меня Сережа Баранов, секретарь партбюро курса, замечательно читающий вслух партийные документы, толкнул меня и, показывая на менделеевскую таблицу, сказал: “Этого (он показал

на химический элемент азота) я знаю, это номер, а вот этого (он оказал на формулу хлора) я не знаю!" На курсе у нас были слушатели, как Прошкин и др., которые и этого не знали.

По причине слабой подготовки слушателей и наличия нерусских обучение велось по облегченному типу – предметы сдавались не целиком, а по разделам. Кроме того, в то время существовала бригадная система обучения. Учебная группа была разделена на бригады по 4–5 человек. Члены бригады готовились вместе, но от имени бригады выступал один, лучше всех подготовленный.

Принцип классового отбора при поступлении в ВМА строго соблюдался. Были случаи, когда в академию принимались пастухи, как мой приятель В. Т. Объедков, но не приняли в ВМА сына преподавателя этой академии. Классовый отбор выполнял задачу создать социалистическую интеллигенцию».

Вот что писал Иван Петрович Павлов по этому поводу:

«Я ничего не имею против того, чтобы образование сообщалось большому числу лиц… Но вся штука заключается в известной обоснованности этого желания. Ведь если выйдет так, что возьмут людей совсем неподготовленных, кое-как их в течение двух лет настрочат и затем уже откроют перед ними двери высшей школы, то что из этого может выйти? Понятно, для способного человека нет препятствий, он и через это перешагнет, но мы должны считаться не с выдающимися, а со средним человеком… Он напрасно намучается, напрасно потеряет время и будет выброшен за борт. Тут одно из двух: или комедия будет происходить, церемониальный марш этих малоподготовленных людей, и они окажутся дрянными специалистами, или они будут отброшены назад, как непригодные…» И в то же время «масса людей подготовленных, из которых мог бы образоваться ряд хороших спецов, они отстраняются от школы, им ставят всякие затруднения, палки в колеса… И это огромный процент лиц, которые, будучи совершенно подготовлены рядом генераций домашнего воспитания, должны обратиться к спекуляции, должны заниматься пустой торговлей. Какой в этом смысл для всей нации?»

Я знаю судьбу всего нескольких папиных однокурсников[6] – Оскара Александровича Геринга, Сурена Марковича Багдасаряна, Ивана Дмитриевича Бобошко, Сергея Сергеевича Поггенполя, Леонида Тимофеевича Загорулько, Ефима Ивановича Смирнова, Симона Нахимовича Черномордика – все они добились в жизни заслуженного высокого положения. Не знаю, как складывалась судьба Виктора Трофимовича Объедкова. Но перед смертью папа передал мне свою книгу «Нелегальный канал» с просьбой переслать по адресу: г. Бийск, Донской переулок…

Объедкову В. Т.

Объедков несколько раз упоминается в папиных записках – пастух из деревни Козловка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Не знаю, что связывало людей со столь разными судьбами. Могу предположить, что не последнюю роль сыграли рассказы Объедкова о своей молодости. В 1921 году Витя, папин ровесник, был свидетелем страшной расправы с комиссаром летучего отряда, приехавшим в его родную деревню для установления советской власти и продразверстки. Комиссара мужики бросили на козлы и распилили живого пополам. К Вите Объедкову мой папа ездил на зимние каникулы на втором курсе. Добираются до деревни на санях, едут по глухому заснеженному лесу. Кучер зорко поглядывает по сторонам, следит за поведением лошадей – именно здесь хозяйничают знаменитые тамбовские волки. Папа впервые переступает порог русской хаты, греется на русской печи… Витя не сын кулака, но, конечно, в деревне Козловка Тамбовской губернии помнят крестьянское восстание, жестоко подавленное Тухачевским с применением отравляющих газов. Сейчас, в тридцатом году, голод уже подкатывается к деревне, но родители Вити устраивают сытное угощение, зазывают в гости всю деревню, гордятся сыном и его товарищем. В деревне уже началось раскулачивание, и два слушателя из Ленинграда, в военной форме, правда, без оружия, принимают в этом, по словам папы, «активное участие». Часть летних каникул после второго курса папа провел в Кронштадте в гостях у своего сокурсника Л. А. Сургина.

«На двух первых курсах изучались предметы преимущественно естественно-биологического характера. Программа была очень обширная. За это время слушатели резко изменились – они быстро выросли в культурном отношении».

Большую роль в быстром научном росте молодых людей играли преподаватели, которые старались в них воспитывать трудолюбие, уважение к старшим, любовь к Родине и преданность советской власти. Часто приводили примеры из истории старой России, гражданской войны, из истории ВМА. Воспитательное влияние оказывали театры, шефствующая над ВМА консерватория, сама атмосфера исторического города.

«Сильное влияние на нас оказывал первый секретарь Ленинградского Комитета ВКП(б) С. М. Киров. О котором я позже, уже в Болгарии, написал статью – “Каким я помню Кирова”.

Третий курс Военно-медицинской академии был переломным. На этом курсе начинает изучаться уже патологическое состояние человека, изучаются клинические предметы.

Очень интересная дисциплина на третьем курсе была патологическая физиология, руководителем этой кафедры был профессор Н. Н. Аничков. В пенсне на широком лице, он прекрасно, как оратор, сидя читал увлекательные лекции, которые демонстрировал сложными опытами. На его кафедре работал П. Н. Веселкин, способный преподаватель и отличный скрипач.

Кафедру фармакологии возглавлял профессор С. В. Аничков, высокий, курносый блондин. Он читал нам хорошие лекции, все время шагая в своих высоких сапогах. Он был членом многих европейских научных обществ.

В конце Нижегородской улицы, в доме 37, в здании анатомии и патологической анатомии, находилась кафедра оперативной хирургии. Ее руководителем был профессор В. Н. Шевкуненко, создатель хирургической школы. Среднего роста, блондин, в пенсне, с энциклопедическими знаниями, северянин, земляк Ломоносова. Здесь мы оперировали на человеческих трупах и на собаках. Во время войны, несмотря на преклонный возраст, работал консультантом ГВМУ Красной Армии Кафедрой общей хирургии, размещающейся на первом этаже главного здания на Пироговской набережной, руководил профессор С. С. Гирголав. Довольно грузный, с подстриженными поседевшими усами, с опущенной нижней толстой губой и большой головой. Он, несмотря на свою полноту, был весьма подвижен. На этой кафедре мы впервые увидели хирургическую операцию на живом человеке. Когда при апендектомии я увидел кровь, мне стало дурно. Тогда я вспомнил неписаное правило: студенты-медики претерпевают две проверки – на первом курсе, когда увидят труп человека, и на третьем курсе, когда увидят кровь на оперируемом человеке».

Наконец, мы приближаемся к тому периоду, когда мама впервые увидела папу, а он ее.

Трудно представить и описать ту страсть, которая охватила этих двоих людей с совершенно разными судьбами. Он – не только не читавший Гамсуна или Надсона, но и не слышавший о них. И она – не только не слышавшая о Благоеве, а может, и о Марксе, но ей и в голову не могло прийти открыть книги, написанные ими. Русская до глубины души и болгарин, в крови которого, конечно, течет кровь не только Цаны, но и его двоюродного деда – Николы, вырезавшего всю семью турка, обругавшего его… Девушка из патриархальной провинциальной русской семьи, совершенно аполитичная, жившая в миру семьи, подруг, литературы, музыки… И профессиональный революционер, сидевший в тюрьмах, зверски битый, едва не повешенный, неоднократно рисковавший жизнью, а главное,

свято веривший в «мировую революцию». Коммунист, слушатель Военно-медицинской академии – и дочь попа. Поповна.

Моя мама, Вера Вячеславовна Курдюмова, появилась в Петрограде в декабре 1925 года. Она приехала из Рыльска по вызову своего старшего брата Жоржа, который, будучи студентом физико-технического института у профессора Абрама Федоровича Иоффе, получил комнату в институтском доме на окраине города, в Лесном.

Рыльск! Наше прибежище в трудные времена. Город, не тронутый временем. Родина мамы. Этот город обладал удивительным обаянием. На протяжении всей жизни, стоило только собраться братьям и сестрам Курдюмовым, неслось, как припев: «А у нас в Рыльске…»

– Такие темные ночи, бежишь, хочется воздух руками разводить…

– А мне – блох.

– Как пахла резеда! Как пели на Дублянке! А река Сейм!

– Как пели на Дублянке, не пели нигде!

– Таких яблок я потом не встречала!

– А помнишь: «У нас тоже был дом, но тятенька рассердился и дом разрушил»?

– А помнишь, как Жорж съехал с горки Ивана Рыльского задом наперед и папа его высек?

– Нет, его дважды секли – в другой раз, когда папа нашел в кармане крошки от махорки!

– Нас не секли!

– Сечь полезно! Единственный, из кого вышел толк!

И смех….

– А помнишь, Павлик носил язык от Вериного ботинка на груди! А как Веру Жорж посадил в яму и прихлопнул санками!

А помнишь… помнишь… помнишь…

– А Веру звали «задери нос выше»… А помнишь…

Ландыши в решете на базаре, топленое молоко в глиняных кувшинах, крынки со сметаной. Пахла лавка, где продавали керосин. Улицы поросли ромашкой и травой. За деревянными глухими воротами – сады. И, вслед за Курдюмовыми, я повторяю:

– Как пахла трава в Рыльске!

Всю жизнь потом я пыталась уловить этот запах. В Черноголовке, где я живу, на лесных полянах, у нас на даче, во время плавания на байдарках по рекам, протекавшим неподалеку от Рыльска… Ничего подобного. Я уже было решила, что этот запах – плод моего детского воображения. Но вот недавно, приехав в Зубец, что в верховьях Волги, встав ранним утром, я

пошла в церковь, видневшуюся за высоким висячим мостом. Подходя к мосту, я вдруг уловила знакомый запах. Огляделась. Поднялась на пригорок, приблизилась к маленьким домикам, стоявшим на такой же, как в Рыльске, покрытой травой улице. Пахла ромашка. Маленькая, мохнатая ромашка, около таких же, как в Рыльске, одноэтажных побеленных домов.

Как все близко! Это только поначалу кажется, что Пушкин жил ох как давно… А посчитать – моя прапрабабушка, Елизавета Карловна фон Ланге, была его современницей.

В широком шелковом платье сидит она в кресле с высокой спинкой. Женщина лет шестидесяти. Одна рука опирается на маленький столик, другая свободно скользит по плотному темному шелку. Она смотрит на меня. Лицо суховато и строго. Ее кровь течет во мне. Думала ли она, что через сто пятьдесят лет кто-то будет жадно вглядываться в ее лицо, стараясь прочесть характер? Хотелось ли ей этого? Мучила ли ее неизвестность после смерти? Я вглядываюсь в лицо и вижу строгую сдержанность, властность, и проступает черта, свойственная всем последующим поколениям, – честность и достоинство.

Она не похожа на немку, хотя в твердости характера, может быть, есть что-то остзейское. Елизавета Карловна – урожденная баронесса фон Ланге. Муж – Андрей Драевский. Это все, что о нем известно[7]. На замкнутом лице Елизаветы Карловны – боль. Боль в поджатых губах и строгих глазах. Вот и еще одно качество – стойкость. Терпеливо, молча, с достоинством, она выполняла свой долг. Но откуда приглушенная боль? Разочарование? Значит, были мечты, желания… На оборотной стороне фотографии надпись: «Моим милым и дорогим Леночке и Константину Павловичу. 1871 г., 29 июня». Печать: «Фотография Вяткина в Казани». Леночка – это моя прабабушка, Елена Андреевна, Константин Павлович – мой прадедушка.

Прабабушка Елена Андреевна не дожила до моего рождения всего два года – а родилась она при Николае I, пережила Александра II, Александра III, Николая II, Февральскую и Октябрьскую революции! Время, эта таинственная субстанция, наряду с неумолимым ускорением, которое мы печально замечаем с возрастом, преподносит нам дорогой подарок: дни, годы, столетия прошлого становятся все ближе… и вот уже до Пушкина рукой подать, а Толстой – просто наш современник: жил при моей маме.

Елизавета Карловна фон Ланге родила трех дочерей: Екатерину, Елизавету и Елену[8]. Каждой было дано хорошее приданое. У Екатерины в то время было поместье в Полтавской губернии. Про Елизавету мне ничего не известно (кажется, рано

умерла от туберкулеза). Приданое Елены промотал Константин Павлович Орловский.

Константин Павлович, красивый, статный офицер, с русыми кудрями, с огромными голубыми глазами, чуть надменными и страстными, веселый и бесшабашный, лихой картежник, увез девушку из родительского дома. Но Елена Андреевна была счастлива. Иначе откуда до самой старости эти смеющиеся ясные глаза?

Исчезновению родословных мы обязаны электричеству и телевизору. За цивилизацию мы заплатили семейными преданиями.

В этом отношении мне повезло. Долгими зимними вечерами, когда между ужином и сном оставалось несколько часов, сами собой шли воспоминания, одно тянуло за собой другое. Во время Великой Отечественной войны в Рыльске, лежа при свете каганца в маленькой натопленной комнатке, где собрались остатки курдюмовской семьи – трое взрослых и четверо детей, сквозь сон слушала, что Константин Павлович был любитель женщин, разорил семью… бывало, кричал, напившись, открыв форточку: «Орловский сегодня не принимает!» И вдруг совсем неожиданно умер во сне на Пасху – как подобало бы праведнику.

– Изменял, разорил, но ведь любила она его.

– Ну, Елена Андреевна – так ведь это ангел. – Это голос моей тети, и в тоне слышится: «куда вам до нее…»

– Лег перед обедом на часок, на Пасху. «Костя, Костя» – а он уже мертвый.

– Вот уж грешник был, а умер легко. – И неприятная усмешка переходит в общий смех.

Иногда моя тетя вставала:

– Потушу каганец, нечего зря переводить масло.

Тьма была кромешная, окна заткнуты перинами и подушками. И опять шли воспоминания:

– Крепостное право… Слуги жили внизу. Елизавета Карловна вечером поднялась к себе на второй этаж, отпустила девушку и, подойдя к зеркалу, видит под кроватью мужчину…

Я замираю, страшно шевельнуться, я вижу большую комнату, кровать с пологом, большое зеркало до потолка, Елизавету Карловну в чепце и халате, со свечой в руке, а за ее спиной – черного разбойника, глядящего на Елизавету Карловну из-под кровати…

– Казань, через нее гонят каторжан…

Что делать? Закричать? Так он в одно мгновение выскочит… И она начинает ходить по комнате, переступая с носка на каблучок:

– Ох! Как холодно! Ох, как холодно!

И кутается в платок и стучит, стучит в пол: «Ох, как холодно!» А уговор был: если барыне нужно позвать слуг – она стучит в пол. Когда прибежали на ее зов, она только пальцем указала под кровать и упала без чувств…

Крепостное право… Моя прапрабабушка… Все это близко.

– А холодно там ужасно, домов нет, аул, сакли, одна стена каменная, – это уже голос моей бабушки.

Аул… сакли…

– Его, как всегда, не было дома. Елена Андреевна слышит, кто-то в дверь скребется. А рядом спала собака. Огромная. Собака старая, храпит, громко, как человек. Она и говорит: «Костя, Костя, проснись». Воры и убежали.

Моя бабушка, Ольга Константиновна Орловская, родилась в Дагестане, в Темир-хан-Шуре (ныне – Буйнакск), там служил отец. Ее нос с горбинкой, страстность, темные глаза, полная несхожесть со старшей сестрой наводили некоторых на предположение: «А не согрешила ли Елена Андреевна?»

И кто знает, почему так будоражат мое воображение породистые взмыленные скакуны, с ходящими боками, серебряные уздечки, брошенные поводья, ночной шепот под стройным уходящим в небо кипарисом, раздумчивый шелест листьев…

В Темир-хан-Шуре я искала следы Константина Павловича. Искала на кладбище. Странная затея – но это было единственным известным мне местом пребывания четы Орловских. Конечно, ничего не нашла. А была сумасшедшая уверенность, что на одном из заброшенных каменных столбов увижу надпись: Орловский Константин Павлович. Собор, в котором крестили маленькую Олю, был взорван совсем недавно – при Хрущеве. Громадный, он стоял в центре города на площади. А небольшой дом Дворянского собрания – деревянный, выкрашенный темно-зеленой краской, напоминавший больше сарай, но с крыльцом и белыми колоннами – я видела. Поднималась на ступени, трогала стены. Уж сюда-то захаживал мой прадед Константин Павлович с женой Еленой.

Бабушка, Ольга Константиновна, была бесприданницей. На фотографиях того времени – красивая, затянутая в корсет девушка с капризным, несколько делано несчастным лицом. В Рыльск попала случайно, по дороге на Кавказ «к дяде генералу». Сейчас я предполагаю, что ехала бабушка к своему дяде, Дмитрию Андреевичу Драевскому (1831–1903), генерал-майору, жившему в Тифлисе (брату ее матери Елены Андреевны). Остановилась у дальних родственников, Утехиных. Бездетная

пара – «Санчик и Манчик». Сам Утехин был директором Рыльской семинарии. С пылом незанятого доброго сердца занялась бездетная чета устройством судьбы Олечки. И вскоре вместо Кавказа и дяди-генерала осталась бабушка в Рыльске, выйдя замуж за только что окончившего семинарию очень красивого священника Вячеслава Григорьевича Курдюмова.

Говорили, что до замужества бабушка родила ребенка (по тем временам дело нешуточное), которого усыновила ее сестра Мария и дала ребенку свою фамилию – Хребтов. Ребенок вскоре умер. Опять-таки говорили, что дедушка ездил в тот город, проверял по церковным книгам.

На первом их брачном снимке дедушка улыбается и взгляд его светел. Бабушка – в корсете, пышные пепельные волосы высоко зачесаны, напудренная, невысокая, изящная, в белом кружевном платье. Она выглядела пикантно и совершенно не походила на попадью. Даже слово такое не шло на ум. Она любила анекдоты, пела, играла на пианино и нанимала извозчика, даже если надо было ехать на соседнюю улицу.

Бабушка родила семерых детей. Третьим ребенком в семье была моя мама.

…Екклесиаст говорит: «В будущие дни все будет забыто, нет памяти о прежних людях. И любовь их, и ненависть, и ревность давно исчезла, и нет уж им участия ни в чем, что делается под солнцем»…

Почему меня так волнует жизнь моих родителей? Почему хочется удержать в памяти прошлые дни? Нет на земле той девочки, Верочки, но страх, что память о ней исчезнет, мучает меня. Какой смысл был в появлении этого ребенка на свет? Девочка в клетчатом платье, в белой пелерине, с двумя бантами на распущенных волосах… тихий, открытый взгляд, и в этом взгляде есть уже то, что позволило бы ей сказать перед смертью с чистой совестью: «Думаю, я была хорошей матерью и женой». Но вместо этого за десять часов до смерти мама скажет: «Что тебе рассказать, Ингочка? Я ведь ничего не сделала, а жизнь прошла так быстро».

Жизнь тасует судьбы. В тот год, когда родилась мама, родился и папа. Это, конечно, не странно. А вот странно, что само название города, где она родилась, происходит от самого почитаемого святого на родине папы, в Болгарии, – Ивана Рыльского. Иван Рыльский жил в Болгарии в горах Рила, частички его мощей перенесли в Рыльск, кажется, еще при князе Святославе. В этом городе горка названа в честь Ивана Рыльского. Откуда в этом равнинном, почти степном городе горка? На ней

нет домов, она стоит, покрытая травой, круто обрываясь в Сейм.

Мой дед по материнской линии, Вячеслав Григорьевич Курдюмов, был настоятелем Ильинской церкви, стоявшей на маленькой Вознесенской горке. У деда был небольшой домик на шесть комнат и прекрасный, ухоженный сад с липами, яблонями, грушами, малиной, смородиной… Дед был садовод, переписывался с Мичуриным. По осени яблоки и груши лежали грудами во дворе и хранились в сарае до весны. Мама любила рассказывать о зале, освещенном солнцем, о раскрытом блестящем рояле, о лампе с матовым абажуром над круглым обеденным столом. Это была гостиная и столовая одновременно, с четырьмя окнами, выходящими на улицу.

За роялем часто сидела моя бабушка и, распустив волосы, пела романсы. Потом на нем наигрывала вальсы моя мама, играл Жорж, потом младший, Володя, сочинял, сидя за роялем, и часто в ответ на просьбу «исполни то, что ты играл вчера» мама слышала: «Я забыл».

Другие комнаты выходили окнами во двор: девичья, где жили мама с сестрой Лелей, комната для мальчиков, Жоржа, Славы, Гриши и Володи, спальня деда Вячеслава Григорьевича и бабушки Ольги Константиновны, комната Елены Андреевны (которая с 1906 года жила в семье дочери) и кабинет деда.

На Пасху говели, пекли куличи, красили яйца. Тесто ставили в кладовке, бегать мимо запрещалось. Ночью шли на службу всей семьей, кроме бабушки. Протоиерей отец Вячеслав вел праздничную, самую красивую службу, выходя на амвон в одеяниях то серебристых, то золотых. Никого не замечая, глядя вверх, он делал шаг с амвона прямо в плотную толпу молящихся, с сияющим лицом возглашал: «Христос воскресе!», и ему отвечали с радостью: «Воистину воскресе!» Некоторые приходили в Ильинскую церковь из-за священника, уж очень красив был отец Вячеслав. Возвращались под утро, шли по городу, стараясь донести горевшую свечу в специально склеенном фонарике. Бабушка в праздничном платье встречала на пороге. В столовой ждали белоголовые куличи, в зелени – красные яйца, холодные закуски… Все христосовались. В комнатах горели разноцветные лампадки, в каждой своя. Наутро мама надевала широкую блузку на резинке, клала за пазуху кучу яиц, выходила на улицу стукаться – чье крепче.

Из шестерых детей священника мама, кажется, была единственная верующая, она единственная в сочельник не притрагивалась к еде до первой звезды, соблюдала пост. Мама отличалась от других детей и болезненной привязанностью к дому (что унаследовала я). Когда братья заболели скарлатиной и

девочек переселили к бабушке, матери отца Клавдии Ивановне Курдюмовой, имевшей собственный дом в центре города, то мама после школы, с тяжелым ранцем за спиной, возвращалась вовсе не к Клавдии Ивановне, а шла к своему дому и ходила там под окнами. Она страдала. Мама ходила до тех пор, пока ее отец не сказал:

– Уж лучше скарлатина.

И мама переболела скарлатиной.

Со спокойной доверчивостью разрешала вытворять старшей сестре Леле все, что той вздумается. Однажды Леля выстригла ей на лбу челку, и классная дама пришла в ужас:

– Вера Курдюмова решила понравиться мальчикам?!

До одиннадцати лет жизнь была беззаботна. Бегала по улице босиком, загребая большим пальцем мягкую землю. Однажды ночью («бежишь, и такая темнота, что хочется раздвигать ее руками») натолкнулась на спящего теленка и, не помня себя от страха, бросилась в одну сторону, теленок в другую. На длинной, с километр, улице был единственный фонарь.

– По околотку ночью ходил сторож, стучал в колотушку, проснешься, ждешь – слышишь постукивание – стук-стук, становится спокойнее, и засыпаешь… Мама уедет в гости, я надену шляпу с вуалью, подойду к зеркалу и любуюсь. Казалась себе очень красивой, особенно в сумерках…

– Бегали на речку купаться. И как нас одних пускали? Вылезешь – зуб на зуб не попадает. Волосы не просыхали.

А кто же занимался воспитанием детей? Бабушка ведь была занята собой. Знаю, кухарка была. Была прачка. Няня была, но только у маленьких детей. Гувернантки, конечно, не было.

Воспитывал маленький дом с патриархальным провинциальным укладом, где чтились все заповеди, освященные Евангелием.

Дедушка с утра, после совершения обедни, треб, отслужив молебен или панихиду, шел в гимназию, где преподавал географию, историю и Закон Божий. Возвращался домой, обедал, ложился на час отдохнуть. Потом работал в саду.

Бабушка жила светской жизнью. Обаятельная, изящная, горячо любимая мужем, ездила в гости, по магазинам, была душою общества. Правда, если кто-нибудь заболевал (а это, надо думать, случалось нередко – ведь шестеро детей!), то бабушка превращалась в сиделку и уже не отходила от больного до полного выздоровления.

Но вот начинается Первая мировая война, затем две революции, а после – гражданская война. Отголоски этих событий, потрясших прежний мир, не сразу доходили до Рыльска,

затерянного в степях между Курском и Путивлем… «То белые, то красные, а то еще и немцы», – слышала я от мамы. Немцы в Рыльске находились всего несколько месяцев, в 1919 году – в серых мундирах, подтянутые, в остроконечных касках, вышколенные и воспитанные, восседали на откормленных, с лоснящимися боками, лошадях, прямо держа спину. Они не принесли в город заметного разлада, и впоследствии, во время Второй мировой войны, это сыграло роковую роль. Летом 1941 года на вопрос тети Лели: «А вы не собираетесь эвакуироваться?» – жена доктора Красильщикова, Сара Давыдовна, ответила: «Что вы! Мы немцев знаем по девятнадцатому году – такие воспитанные, интеллигентные…» Сара Давыдовна вместе с мужем была расстреляна немцами в 1942 году.

В пятнадцать лет мама изменилась неузнаваемо. На фотографии видно, что с мамой шутки плохи – сделает так, как решила. Своевольная сила и страсть – вот что читается на первый взгляд, но если вглядеться, то увидишь ту же знакомую с детства доверчивую девочку… Мама стоит, засунув руки в карманы бесформенного сарафана на лямочках, с приплюснутой грудью – лифчика нет, – здоровая, крепкая, коротко стриженная под мальчика, завитой чуб закрывает половину лица. Уже никаких гимназий: трудовая школа третьей ступени. Наверно, забежала на минуту и представить себе не может, что ее дочь будет подолгу вглядываться в это фото спустя восемьдесят лет…

Бабушка стоит рядом: она только что оправилась после тифа, и на бритой голове у Ольги Константиновны парик. Попытка принарядиться: декольте, кружева на плечах, браслет и цепочка. Но, несмотря на браслет и кружева, чувствуется провинциальная бедность.

Бабушка моя печально, немного делано, глядит в объектив. Ей себя жалко. И немудрено – из шестерых детей одна моя мама дежурила у постели, пока она плавилась в тифозном жару, выносила горшки, кормила, обтирала. До самой смерти бабушка не могла этого забыть.

В то время на маму свалилась забота о всей семье. Прислуги не было, бабушка только однажды вымыла пол. Мыла и плакала. Но разве могла девушка жить только этим – печь хлеб, таскать по десять ведер воды из колодца, готовить обед, стирать? Тогда мама начала заниматься музыкой, много играла… А ведь был еще городской сад с духовым оркестром, чтение стихов: «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви», были Гамсун, Чарская… За ней ухаживали парни в белых косоворотках и кепках. И казалось, ее судьба – остаться в родном городе, выйти замуж, родить детей. Но мама уехала из заснеженного города, с

протоптанными тропинками в синих сугробах, с запахом печей в морозном воздухе, с розовым дымом, столбом стоящим над трубами. Уехала следом за Жоржем, старшим братом-студентом, по его вызову в Питер, ставший тогда уже Ленинградом.

А когда кончила школу, то, получая аттестат, в напутствие услышала: «Умная голова дураку досталась»…

В 1921 году, незадолго до вступления в действие известного постановления Советского правительства о лишении детей священников прав на получение образования (зачисление в категорию «лишенцев»), Жорж едет в Петроград и поступает в Политехнический институт. Гражданская война еще не кончилась, в стране разруха и голод. Но уже в 1918 году Луначарский утверждает в составе Государственного рентгенологического и радиологического института новый физико-технический отдел, который в 1923 году стал Физико-техническим институтом. Оборудование для научной работы и научная литература были закуплены за границей на золотые рубли директором и организатором института известным физиком, учеником великого Рентгена академиком Абрамом Федоровичем Иоффе. Герберт Уэллс, посетив Россию в 1920 году, описывал тягостное впечатление от мертвых магазинов, огромных очередей за хлебом, но после встречи в петроградском Доме ученых с крупнейшими представителями русской науки изумился: «Удивительно, что они вообще что-то делают, и все же они успешно работают… дух науки – поистине изумительный дух». Известна сентенция профессора Хвольсона: последний потребовал у Я. И. Френкеля, впоследствии крупнейшего физика-теоретика, объяснений, почему тот не явился на магистерский экзамен 26 октября 1917 года. Выслушав неуверенное оправдание: «Но ведь произошла революция!» – профессор возмущенно заявил: «Молодой человек! Запомните, для ученых не существует никаких революций!»

Для Жоржа Курдюмова революция и разруха тоже не были помехой – уже в 1925 году он делает работу, которая приносит ему мировую известность[9]. Тогда же он вызывает маму в Ленинград.

25 декабря 1924 года Жорж поспешил на Николаевский (ныне Московский) вокзал, где его уже ждал друг по Рыльску Борис Рощиновский, который был неравнодушен к маме. Быстро сдав маму на руки другу, Жорж поспешил обратно в лабораторию. А Борис, с видом столичного жителя, повез розовощекую, сероглазую, с инеем на ресницах, в плисовой черной шубке, в

цветастом платке мою маму показывать Ленинград.

– А это, Верочка, Орион, – сказал Борис, указывая на небо.

– Какой Орион? – обернулся извозчик. – Это Аничков дворец.

Первое, что поразило маму так, что она, по ее словам, «остолбенела», был стоявший в морозном инее Исаакиевский собор.

Представить мне маму молодой трудно, практически невозможно. На фотографии того времени она в пальто, с большим, небрежно расстегнутым воротником, с папиросой в зубах, сидит на скамейке, рядом лежит шляпа с полями. На меня смотрит почти безбровое (как у Моны Лизы) очень красивое, загадочное лицо. Но папироса?

– Какая была мама?

– Резкая, очень резкая. Могла сказать все, что угодно.

Мама резкая?! Тихая, с мягкими, тончайшего шелка, белыми волосами, абсолютно лишенная эгоизма… Мама резкая?! Та, которая не унизила за всю свою жизнь ни одного человека?

Рассказывали разное. Как она поругалась из-за какой-то колбасы с Татьяной Ивановной Стеллецкой, которая к тому времени уже стала женой Жоржа Тасей, и ругань-то была из-за пустяка: какую колбасу покупать – «отдельную» или «полукопченую». Рассказывали, как мама зачем-то уродовала себя. Зачем? Но что она пила уксус, чтобы согнать с лица среднерусский здоровый румянец, что бинтовала грудь, чтобы она казалась меньше, – это я слышала от самой мамы. И все равно не верила – зачем? Рассказывали, как маму раздражали жующие с ней рядом, слышать не могла, как ели другие, и своих молодых людей она отгоняла за другой стол… И опять не верилось. Какая же она была?

Из всего, что я слышала урывками, мамина молодость представляется мне угловатой, взбудораженной, неспокойной, нерасчетливой и очень гордой. В голову не приходило хитрить, кокетничать, взвешивать свои поступки, обдумывать шаги. Мама жила свободной от всех мелких условностей. Она не старалась производить впечатление умного человека, желая, чтобы ее принимали такой, какая есть.

Мама устроилась работать через биржу труда в поликлинику при больнице, что на площади Труда (кажется, бывшей Мариинской), работала в регистратуре. Рассказывали, что она носилась по четырехэтажному зданию, быстро прыгая через ступеньки, разнося карты больных. Безотказная, готовая помочь. Все ее любили. Но мне было немного обидно: неужели моя мама была способна только бегать по этажам?

В Ленинграде было несколько домов, в которые мама любила

ходить. Прибегала в гости к маленькой, черноволосой Любе Малеревской, студентке консерватории. Уже одетая по-столичному – широкое светлое пальто, шляпа с полями, туфли на низком каблуке с пряжкой, волосы подвиты на Невском. Садилась, чуть расставив ноги, положив локти на стол (так сидят крестьянки после трудового дня). Или забиралась с ногами на диван, слушала любимые сонаты (конечно, Бетховена).

Вдруг вскакивала, покупала коробку с пирожными, мчалась на Третью линию Васильевского острова, в дом с огромным парадным, поднималась через две ступеньки по широкой лестнице с синими витражами на окнах, звонила. Здесь жила тетя Катя, Екатерина Николаевна Ломан-Коллерт, двоюродная сестра моей бабушки. Подвижная, красивая, обаятельная, неунывающая (хотя огромную квартиру отобрали, оставив одну комнату; первого мужа-генерала убили, второй исчез; жизнь подошла к сорока годам, а просвета не было), она рассказывала про молодость, острила. Пили чай из китайских чашек в комнате, уставленной темными ширмами, с японскими веерами на стенах, при неярком свете настольных ламп, прикрытых шелковыми разноцветными платками. Тетя Катя рассказывала о своих увлечениях, о Русско-японской войне, в которой она участвовала, будучи сестрой милосердия: «И даже, представь себе, Верочка, имела медаль за оборону Порт-Артура». Там она и познакомилась с Константином Ломаном, братом ее подруги по Институту благородных девиц, человеком поразительной храбрости[10]. А сейчас за столом сидела дочка Ломана, Ирочка, удочеренная вторым мужем тети Кати, давшим ей свою фамилию и отчество – Ирина Павловна Николаева. (Чтобы, не дай Бог, не напомнить однофамильца Ломана, полковника, бывшего в охране Николая II в Царском Селе). Девочка лет двенадцати глядела, не улыбаясь, своими синими, глубоко посаженными глазами с черными неподвижными зрачками. Ирочка, будущая жена Славы, своего троюродного брата, восхищалась матерью, себя ненавидела и ревновала мать ко всем. Любила тетю Катю и моя мама: «Мне она была ближе и интереснее, чем моя собственная мать».

Братья Курдюмовы любили вспоминать один смешной эпизод. К тому времени Жорж уже перевез в Ленинград из Рыльска еще двух братьев – Славу и Гришу: они поселились вместе с мамой. За обедом в маминой комнате собирались все – Тася и мама с братьями. Старшему было 25, младшему 20. Разные по характеру, они были схожи в одном – очень любили веселые словечки и выражения. Слава легко мог рассмешить всех до колик. Тогда, летним днем, мама прибежала с работы; схватив кастрюлю, быстро готовила обед на керосинке. В горячую воду

всыпала крахмал, варила кисель. Братья, голые до пояса, в черных трусах, и Тася, в белой кофточке, с галстуком, сидят за столом, ждут. Мама тяжело села за стол. Чуть сдвинуты плечи, руки на коленях, и такой естественной красотой веет от ее позы, такой женской силой! Семья обедает. На третье мама принесла в огромной миске кисель. Красный, клюквенный.

Первым начал Жорж:

– Ну и кисель, – задумчиво произнес он, глядя в потолок.

– Да… ну и кисе-е-ель, – подхватил Гриша.

– Верочка, – выдохнул в нос Слава, – ну и… кифе – е – ель!

Он причмокивает, выпячивая губу, шепелявит по-стариковски:

– Ну и кифе-е-ель!

Мама молчит, только взглянула. Она сама знает, что кисель весь в комках. Спешила.

– Кифель! – хохочут братья. – Кифель!

Они хохочут, вертят стаканы, рассматривают на свет и пьют красный, весь в комьях, кисель.

Мама вскакивает со стула и с криком:

– Ах, кифель? Кифель? Вот вам кифель! – бросает миску прямо в братьев.

Возможно ли в это поверить? Мне – нет. Но все уверены – так и было. У меня не хватило смелости спросить у мамы: «А в кого ты попала?» Есть несколько версий. По одной – миска понеслась по столу, скользя и разбрасывая красные комья. По другой – мама бросила не миску, а ложку. Ложка просвистела над головами братьев и попала в открытую форточку.

Мама бегает по Ленинграду, своевольная, резкая, красивая, работает, готовит на всю семью, читает романы, ходит в кино, в филармонию. И вот приезжает из Рыльска ее младший брат Володя. Тонкое лицо, русые волосы, печальный взгляд карих глаз… но юноша остроумен и даже порой ехиден. («Опять этот мелкий пакостник прошел», – говорил Вячеслав Григорьевич, поднимаясь по лестнице своего дома в Рыльске и видя выложенные на подоконнике веранды один за другим помидоры, проткнутые пальцем.) При разнице в возрасте в 10 лет и при легком характере Ольги Константиновны моя мама заменяла Володе мать. Он приехал из Рыльска в коротких штанишках. Но за зиму вырастает, надевает длинные брюки, влюбляется, пишет остроумные письма в Рыльск, отлично учится, сочиняет музыку и неожиданно заболевает. В Ленинграде весной 1928 года маму постигло первое горе. После двухнедельных страданий Володя умер от туберкулезного менингита. За несколько дней до этого она вошла в свою комнату, увидела брата, с головой укрывшегося

простыней, и совершенно отчетливо поняла – умрет! Ни слова не говоря, побежала на второй этаж и там, у Жоржа, долго и безутешно рыдала. Брат умер. Мама похудела за время болезни брата на десять килограммов, у нее открылся туберкулез.

Ее любовь передалась мне. С детства меня волнует задумчивый взгляд юноши, лежащего в саду под яблоней, подперев голову рукой… чуть ироничный взгляд мальчика в галстуке, прислонившегося к книжному шкафу в ленинградской школе, в обществе учительницы – «и девочки, которая ему нравилась», – добавляла мама шепотом. Приехав в Ленинград, Володя завел себе тросточку, галстук и длинные брюки. Мечтал вернуться летом домой и пройтись по Рыльскому проспекту, помахивая тросточкой. Но не вернулся. За голодную зиму он вырос на 14 см, и молодой организм не справился. Моя бабушка, вызванная телеграммой, в которой сообщалось о болезни сына (о смерти рука не поднялась написать), сошла на перрон Ленинграда совершенно седой. Своего сына, родившегося спустя десять лет, мама назовет в память брата – Владимиром.

Мальчик, по воспоминаниям рыльских учителей, был необычайно одарен, даже употреблялось слово «гениален». Он сочинял музыку, играл на фортепиано. Лицо Володи волнует меня до сих пор. Вдумчивым, печальным взглядом тринадцатилетний мальчик глядит мне прямо в душу. И кажется мне, что он все еще старше меня и знает что-то такое, чего я не знаю.

После смерти Володи худая бледная девушка, лицо чуть треснуло морщиной над переносицей, пришла на работу, и ее не узнали. Голова безупречной формы, с гладко зачесанными волосами, еле держится на худенькой шее, и кажется, что из воротника белой кофточки выглядывает хрупкая ваза. Лицо кажется слабым и растерянным. Но, если приглядеться, видна, видна внутренняя сила. Не жизнерадостность, не прежняя жадность жизни, а неосознанная сила души, Богом данная.

Через год после смерти Володи – это опять необыкновенно красивая девушка. Волосы отросли до плеч, лицо поражает своим спокойствием. Уже видно, что маму стала мучить тоска. Это – следствие первого разочарования или первой потери. Эта гостья будет потом всю жизнь приходить на рассвете и терзать, пока мама не встанет и не примется за работу.

Мама прошла путь от нетерпимости к терпению очень быстро, и этот путь отозвался приступами тягчайшей тоски. Природная вспыльчивость и резкость пропали полностью.

К этому времени Жорж, уже известный ученый, берет на содержание и мать, и любимую бабушку Елену Андреевну. В

Рыльске из большой семьи Курдюмовых остается только мой дед и Елена Вячеславовна – тетя Леля, старшая дочь.

Дедушка оставался священником в страшные годы гражданской, после революции он продержался 12 лет, до 1928 года, продолжая причащать, исповедовать, служить обедню, отпевать и венчать. Его не убили, не арестовали. Возможно, что причиной тому был его отказ благословить служение молебна в Рыльском соборе по случаю занятия города Деникиным. Дед в то время был благочинным. В воспоминаниях семьи Курдюмовых сохранился рассказ об этом событии.

В августовский день 1918 года, как только под колокольный звон в город вошли войска Деникина, в парадное его небольшого дома на Глуховской улице громко постучали. На улице стояли пятеро офицеров. Дед пошел открывать. За ним по лестнице решительно спешила бабушка, следом пятеро детей и Елена Андреевна с маленьким Володей на руках…

Дальнейшие события в семье описывали в трех вариантах. Первый, наиболее вероятный:

– Батюшка, благословите отслужить в соборе благодарственный молебен. – Офицер сложил руки для благословения.

Бледный как полотно дед, прислонившись к дверному косяку, резко произнес:

– Благословения не дам. Завтра, возможно, придут «красные», что же – тогда тоже служить молебен?

Кто-то из них посмотрел презрительно, кто-то удивленно… К чести деникинских офицеров, они повели себя достойно, молебен так и не был отслужен. А в конце августа, как и предсказывал мой дед, в город вошли «красные».

Другой вариант:

– Генерал приказал отслужить молебен в честь освобождения города.

– Здесь я генерал, – сказал мой дед, – и служить молебен не буду.

И третий – деда якобы арестовали и посадили в подвал. Продержав несколько дней, выпустили. Все эти дни бабушка, стоя на коленях перед иконами, горячо молилась.

Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) 29 июля 1927 года опубликовал «Декларацию», с помощью которой надеялся нормализовать отношения Церкви и государства, в которой говорилось: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». Не все в Русской

православной церкви приняли эту «Декларацию», ведь государство вело очень жестокую антирелигиозную политику. О каких «радостях» могла идти речь? Да, это был тактический ход, но… священники должны были письменно засвидетельствовать согласие с «Декларацией». Вероятно, мой дед сделал определенные выводы, и в 1928 году отец Вячеслав (ему было 55 лет) уходит на покой («за штат») и навсегда оставляет Рыльск. Он остается без дома и без работы. С 1928 по 1932 год скитается по стране: от Ахтырки (где живут родители Таси Стеллецкой) до Перми (где сын Гриша с семьей) и Днепропетровска (куда в 1931 году переехал Жорж директором научного института)… Но ни разу дед не появлялся в Ленинграде.

Недавно меня спросили, почему дедушка и бабушка с 1928 года жили врозь.

– Не думаешь ли ты, что Ольга Константиновна, боясь преследования, ушла от дедушки?

Нет. Не думаю. Бабушка была абсолютно лишена расчетливости. Попав в Ленинград из надоевшей провинции, легко и с удовольствием приспособилась к столичной жизни. Дело в другом. Наверно, не хотел мой дед ехать в Ленинград, где так блестяще складывалась научная карьера его сына Жоржа. Вовсю шли аресты и расстрелы священнослужителей. Лучше было не иметь постоянного места жительства. Дед, который, по воспоминаниям, был очень умен, придумал выход: «Придут искать – не найдут, второй раз не придут. Забудут». Так выжили многие умные люди в страшные тридцатые годы…

Мама вышла замуж поздно. В 28 лет.

– Верочка, ты такая красивая, а все еще не замужем. Вот уже и Люба и Шурочка… – следовали имена маминых подруг по Рыльску и по Ленинграду, – вышли замуж. – Моя бабушка переживала.

Мама замуж не торопилась. Остались в прошлом безумно влюбленный гимназист Павлик и Борис Рощиновский… прекрасный человек Митя Лазарев, мамин троюродный брат, сын тети Вари, любимой племянницы Елены Андреевны. Мою маму смешила его несовременная галантность. Но вот, наконец, появляется некий Шура Синельников. Он влюбляется в маму, поверяет свою тайну другу Жоржу… мама, кажется, к нему сама неравнодушна.

Но браки совершаются на небесах, и чтобы напомнить эту истину, трамвай, в который садится мама, возвращаясь с работы, подходит именно тогда, когда кончается сеанс в кино. Из трамвая мама видит, как Шура выходит из кинотеатра вместе с ее подругой Надей Михеевой! Они тайно встречаются! Мама

оскорблена и возмущена, и вечером, когда приходит Шура, исчезает. Он ее не видит день, два, три… Она прекрасно сознает свою силу. Ведь женская сила измеряется силой той муки, которую женщина причиняет, оставив мужчину. Шура Синельников умоляет Жоржа помочь, ничком падает на кровать, рыдает, угрожает самоубийством… Но что может сделать Жорж?

Через несколько недель, а может – и дней, мама вышла замуж за Бориса Александровича Клюева, сына покойного преподавателя Военно-медицинской академии, брата своей подруги Лели Клюевой.

Гамсун, Гамсун – любимый мамин писатель! Сильна была ревность и боль – чтобы назло, как можно скорее, выйти замуж за человека, которому она нравилась, но который, как оказалось, был ей физически неприятен.

Но не судьба была потомственному петербургскому дворянину, употреблявшему бриолин для волос и рассуждавшему на такие темы, как, например, «какие чулки и когда надо носить», тягаться с обаянием квартиранта, черноволосого болгарина, с горящими темными глазами, в форме слушателя Военно-медицинской академии!

Скандал! Скандал ужасный! По своей неожиданности, неуместности, невероятности. Чудовищный скандал. Шла свадьба в доме Клюевых, мама в нарядной белой блузке, рядом ее родственники. Ольга Константиновна – карие глаза, белые волосы пышно взбиты, на носу бабочкой пенсне – шутит и смеется. Ее двоюродные сестры – Варвара Николаевна, вдова казанского профессора, и Екатерина Николаевна, вдова генерала. Тася, жена Жоржика. С другой стороны – Мария Алексеевна, вдова петербургского военного врача, хозяйка дома, мать жениха, а рядом – сам жених Борис Александрович, в костюме с галстуком, бледный от волнения, гладко причесанный набок, его сестра Леля, мамина подруга, другая сестра – Марина. За столом не то чтобы весело, но идет свадьба. Возможно, очень возможно, что это и есть та самая «вечеринка», про которую впоследствии рассказывал папа. Вдруг мама вскакивает со стула, что-то шепчет на ухо Тасе, они вдвоем выходят из-за стола.

Мама бросается на сундук в коридоре, тянет Тасю за руку:

– Сейчас он придет, – шепчет мама. – Подожди. Посмотришь. Он сейчас придет, он всегда приходит в это время.

– Опомнись! О ком ты говоришь?

– Квартирант, болгарин…

– Вера, опомнись! Тебя ждет Борис Александрович. Гости.

– Что? – Мама напряженно прислушивается: кто-то идет по лестнице.

– Да ты вся дрожишь, – говорит Тася, она обнимает маму, привлекает к себе. И неожиданно мама плачет, плачет навзрыд, вжавшись в Тасино плечо.

Дверь распахивается, и квартирант в длиннополой шинели, в буденновке, из-под которой горят черные глаза, возникает в полутемном коридоре. И он слышит:

– Здравко Васильевич, пойдемте к нашему столу.

Папа садится за стол, свадьба продолжается. Рядом жених при полном параде. У женщин – красивые прически, платья, жемчуг на шее, золото на пальцах… Шутки, смех… Все незнакомые. Папа с трудом отыскивает хозяйку, Марию Алексеевну. В разгаре вечеринки Екатерина Николаевна (тетя Катя) заговаривает с папой по-немецки. Это немножко помогает расслабиться. На столе обязательный винегрет, пироги, картошка, селедка… И колбаса, «Отдельная», нарезанная кружочками.

– У мэня эст коробка шпрот, – говорит папа. – Сэйчас… у мэня эст шпрот.

Встрепанная невеста вскакивает с места, хлопает в ладоши и кричит:

– Ах, как я их люблю!

– «У мэня эсть шпрот», – смеется тетя Катя и обнимает маму.

– Верочка, – говорит тетя Варя вполголоса, – эти болгары – те же цыгане. Они ходят по базару с обезьянкой на плечах.

Тетя Катя молчит. Она понимает. Недаром всего несколько лет тому назад стремительно собралась и помчалась куда-то вдаль, на север, к сосланному священнику отцу Льву, известному тогда в Петрограде… Одна, в коротком меховом жакетике, с огромным чемоданом, в стране, где поезда ходят нерегулярно, где сыпняк, грязь, грабители… Тетя Катя, бывшая институтка, бывшая сестра милосердия в Порт-Артуре, бывшая белогвардейская генеральша, мать десятилетней Ирочки, покидает дочь и рвется туда, куда зовет ее сердце…

И вот вторая встреча: папа спешит на лекции, спускается по лестнице, мама бежит навстречу… скачет, как всегда, через две ступеньки, шляпа с большими полями в руке, пальто нараспашку. Что случилось на лестнице? Почему эта встреча запечатлелась на всю жизнь? Улыбка? Или взгляд? Или они просто остановились?

Папа, не знавший юности, молодости, теряет голову. Русская девушка, дочка попа. Но разве это имеет какое-то значение? Страсть обрушилась на них. Забыто решение никогда не жениться. На время забыта мировая революция… Все забыто. Но первой, конечно, голову потеряла мама. Да она никогда не встречала такого. Брат Жорж? Он занят наукой, с ним все ясно – годичная командировка в Германию, возможность приютить всех,

от бабушки до братьев. Слава? Митя? Троюродный брат? Шура Синельников? Борис Рощиновский? Муж, Борис Александрович Клюев, с напомаженными волосами, причесанными на пробор?..

Что еще вспоминается за тот маленький срок – всего месяц – знакомства, после чего мама остается в папиной комнате на ночь? Еще был поход в лес. После чего, вероятно, все и произошло. Воскресенье, они тайком садятся в пригородный поезд. Выходят на последней остановке. Идут по тропинке. Пустынно. Тихо. День бел. Неподвижный лес молчит, как молчат эти двое – он, в длиннополой шинели, и она, в берете и меховом жакете. Щеки горят, руки горят, перчатки в руках… Лес стоит строго, строго смотрят ели на двух молодых людей, молча идущих по тропинке, занесенной снегом. Они идут, идут вперед. Вдруг перед ними вырастает пограничный столб – будто подводит черту под прошлым…

Папа прислоняется к полосатому столбу. Смотрит на маму. Дальше идти некуда. Но мама молчит. Только протягивает руку к пуговице на шинели, крутит пуговицу в руке. Что сказать? Что она готова сейчас, сегодня, сразу перейти к нему прямо в квартире своего мужа? Мужа? Папа смотрит. Мама крутит пуговицу, и наконец пуговица остается у нее в руке.

– Мамаша твоя крутила, крутила пуговицу, пока не оторвала, – рассказывал папа, смеясь, и видно было, что воспоминание от этого зимнего дня осталось у него на всю жизнь, что тогда-то и решилось все.

…Папа скачет рысаком по Сампсониевскому мосту, по трамвайным рельсам, подобрав полы шинели:

– Иго-го! Иго-го! – разносится по Неве, по Петроградской и Выборгской сторонам. Мама, согнувшись, привалилась к перилам, она не может сдвинуться с места. Она смеется.

Всего месяц прошел с первой встречи, первого взгляда, и вот уже мама в папиной комнате… Я совсем не могу представить эту жизнь в квартире рядом со своим первым мужем. Но страсть… и какое им дело, что за стенкой спит Борис Александрович. Кстати, мама его никогда иначе и не называла.

– Однажды пришел ко мне приятель, и ничего не может понять. Он знал, что я заклятый холостяк. Вдруг видит, мы лежим с Верой в пустой комнате на полу и хохочем, – рассказывал папа.

Все отобрали у них – и кровать с пружинным матрасом, и стулья, и стол. Матрас на полу, коробка из-под военного пайка – вместо стола, за ним папа занимается. Ежедневно мама слышит колкости и злые слова – это младшая сестра Бориса Александровича, Марина. Ни Мария Алексеевна, ни Елена, за которую прочили папу, такого себе не позволяют. И все же – неврастения разыгрывается, и папа теряет сон. А у мамы все чаще жесточайшие приступы мигрени. Что делал Борис Александрович, я не знаю.

…Такой была цепь событий, следствием которой стал совершенно нестандартный роман моих родителей. И своим появлением на свет я обязана в какой-то степени участнице первого звена этой цепи – Наде Михеевой и ее походу в кино с маминым поклонником. Да, Наде Михеевой, недавно умершей огромной распухшей старухе, неподвижной вдове академика Михаила Михеева, доживавшей последние дни в академическом поселке Ново-Дарьино, в доме неподалеку от дачи моего дяди Жоржа.

Что я еще могу добавить к этой истории? Знаю, что Мария Алексеевна говорила про папу, что с ним очень интересно разговаривать.

– Все знает, о чем ни спросишь.

Мама, после того как они покинули квартиру на Зверинской, только однажды встретила Бориса Александровича. Она тогда только что переболела сыпным тифом, была страшно худая, чуть отросшие волосы торчали ежиком. И вот, спускаясь по лестнице ДЛТ (Дома ленинградской торговли), застегивая на ходу сумку, она подняла голову и увидела бывшего мужа – тот смотрел на нее и насмешливо улыбался.

– Видно, думал: вот до чего этот болгарин тебя довел, – говорила мама.

«В начале 30-х годов явно оформились два очага Второй мировой войны: на востоке Япония, а на западе Германия. Это обстоятельство вызвало более раннее окончание академии нашим курсом. В связи с этим, хотя учебная программа осталась та же, но учебный план значительно был изменен – надо было пройти одновременно материал последних двух, преимущественно клинических курсов – четвертого и пятого. Метод обучения изменился – верх взяли практические занятия, читались только узловые лекции. Преподавателям и слушателям пришлось очень напряженно работать. Мы проходили добавочные учебные часы и имели больше ночных дежурств.

Очень интересны были лекции по нервным болезням. Кафедра невропатологии находилась на Лесном проспекте. Ее руководителем был М. И. Аствацатуров. Его лекции отличались научной глубиной, ясностью и увлекательностью.

Факультетскую терапию проходили у профессора М. И. Аринкина. Высокого роста, с поседевшими усами, острой бородкой, громким голосом, известный специалист по крови, он был главным руководителем всех терапевтических дисциплин. Профессор Аринкин постоянно и подолгу принимал активное участие в практических занятиях. Несмотря на его горделивую

осанку и грозный вид, он был легкодоступен.

Про возглавляемый им большой терапевтический корпус говорили, что это "колхоз богатый, но не большевистский". Было известно, что он страстный охотник…

Факультетскую хирургию проходили у профессора В. А. Оппеля. Однако он болел (рак верхней челюсти), и мы были лишены возможности слушать лекции этого великолепного лектора. Один раз всего, перед смертью, его привезли с черной повязкой на глазу, и он нам прочел прощальную лекцию в своей аудитории. Преподавателями на кафедре были златоуст М. Н. Ахутин и энергичный литовец С. И. Банайтис».

Я часто задумывалась: действительно ли каждое поколение отличается от другого в худшую сторону, как представляется людям, уже пожившим? И приходила к выводу, что это особенность психического восприятия – ведь невозможно, чтобы людской род постоянно находился на спаде. Однако, читая папины записки, я вижу огромную разницу не только между ним и мной – студенткой, почти отличницей, – но и между преподавателями 1930-х и 1950-х годов, не говоря уже о сегодняшних временах, когда подкуп и стяжательство спокойно торжествуют. Возможно, XX век вывел новую поросль поколений; возможно, со временем народится поколение, похожее на тех людей, которых описывает папа в своих записках.

«Можно сказать, что достаточное количество учебных часов были отданы новой, недавно созданной (1931 г.) кафедре военно-полевой хирургии. Чтобы клиника этой кафедры походила на полевые хирургические госпитали и дивизионные медицинские пункты, в нее ежесуточно привозили пострадавших во время несчастных случаев в городе. Таким образом имитировался свойственный боевой обстановке на фронте момент внезапности поступления раненых. Основателем и руководителем кафедры был В. А. Оппель. В ее составе находились опытные преподаватели М. Н. Ахутин и С. И. Банайтис.

Хорошо была организована кафедра детских болезней. Ее руководителем был профессор М. С. Маслов. Среднего роста, блондин, с большими усами и в очках. Он был молчаливый и имел довольно мрачный вид. Его заместитель был длиннобородый В. Ф. Знаменский, отличный диагност. На этой кафедре не было ни одного коммуниста, и политотдел академии назначил меня парторгом кафедры. Я должен был там вести политическую работу. Этим я и занялся».

Партийная работа папы на этой кафедре была посвящена организации яслей. В то время вопрос о яслях был спорным.

Отсюда начинаются фамилии, которые я помню с трехлетнего возраста, до ареста папы: Банайтис, Знаменский, Орбели… Почему так часто папа их упоминал дома, я не знаю. Впрочем, фамилия профессора Знаменского произносилась и моей мамой, и всегда в голосе чувствовались уважение и благодарность. У меня, трехлетней, был инфильтрат легких, температура скакала вверх-вниз, уже носили меня на руках, и голова моя болталась, как у новорожденной. Знаменский поставил правильный диагноз и тем самым спас меня.

«За все время пребывания в академии очень большую пользу оказала нам ее фундаментальная библиотека. Хорошо размещенный читальный зал, с удобными и хорошо освещенными столами, с красивым видом на Неву и на Троицкий мост. В тепле, уюте и свежем воздухе эта библиотека предоставляла нам свои громадные книжные богатства».

Забегая вперед, скажу, дочка профессора Холодковского – того самого, переводчика «Фауста», – крупная блондинка с проседью, библиограф фундаментальной библиотеки ВМА, отказалась во время блокады Ленинграда эвакуироваться с академией и сохранила это ценное книгохранилище.

Папа летом после третьего курса получил путевку в дом отдыха в Симеизе. Мама на это время поехала в Ахтырку. Там проживали родители Таси (ее отец, Иван Петрович Стеллецкий, раньше был экономом в женском епархиальном училище в Харькове). Тогда училище было, конечно, давно закрыто, и они переселились в Ахтырку. Летом 1931 года, в саду, за столом, покрытым вышитой тяжелой скатертью, напоминающей чем-то покрывала в церкви, под вечер за чаем собирается, как в прежние времена, семья Курдюмовых: мама, Вячеслав Григорьевич, Тася, Елена Андреевна, Жорж, Леля. Моя мама сидит с краю и задумчиво смотрит на меня. Прекрасно ее спокойное лицо, даже на полустертой карточке видно, до чего чисты серые глаза. Рядом с мамой – Вячеслав Григорьевич, с аккуратно подстриженной белой бородой, в белой рубашке навыпуск, держит в руках развернутую газету. Широкоплечий, прямой, он смотрит независимо и гордо. Тонкое лицо, характерное для жителей Орловской и Курской губерний. Рядом Елена Андреевна, восьмидесятилетняя маленькая беззубая старушка, в темной в цветочек кофточке с высоким глухим воротником, с живым взглядом, ничто в ней не напоминает баронессу фон Ланге. Склонив голову, она слушает рядом стоящего Жоржа. Жорж, в белых брюках, белой рубашке и белой кепке, склонился к бабушке. Он только что вернулся из годичной командировки в

Германию. Тетя Леля, наклонив немного голову, чуть улыбаясь, смотрит в объектив. И лежит на ее лице затаенная печаль. Она единственная живет по-прежнему в Рыльске и сейчас приехала сюда с пятилетней дочкой Таточкой.

На время позабыв водопровод, трамваи, Неву, мама окунается в привычную с детства провинциальную жизнь: носит воду из колодца, вместе со своим отцом топит печь во дворе, готовит обед и даже ходит на сенокос. Загоревшая, окрепшая и опять вернувшая цветущий вид, с широкими прямыми плечами, с загорелыми, наработанными за лето руками, завив волосы, надев белое платье, мама едет на «кукушке» на станцию, где должен ночью делать пересадку мой папа, возвращающийся с юга. Они встречаются. Папа, отдохнувший и соскучившийся, рад. Но они не бросаются друг другу на шею. Возможно, только на миг мама, широко и свободно раскинув руки, обнимет папу… Самое большое выражение нежности у папы было назвать маму Верухой, толкнуть в бок, хлопнуть по спине. Возможно, что они встретились именно так – папа хлопнул по спине маму.

– Вот и встретились мы с тобой, Веруха, – сказал он.

В Ахтырке папа впервые знакомится с Вячеславом Григорьевичем и Лелей. Проницательный священник сразу определяет характер папы. Не думаю, что он в восторге, не думаю, что между ними возникает понимание или симпатия. Слишком русским был священник из Рыльска, много поколений предков которого служили церкви; слишком веяло от папы непримиримостью к старому строю, а значит, и к церкви. Да и мама еще не успела обучить папу свободно, без акцента говорить по-русски. Он еще пел: «Эх, лошадь вороной, передай, дорогой…» Да и были они оба резкие, гордые, лишенные хитрости. Дед молча присматривался.

Но папа в Ахтырке подружился с Лелей. Оценил ее характер и ум и всегда говорил потом, что мы остались живы во время войны только благодаря Леле. Это было правдой.

Ахтырка, как я уже писала, находится на реке Ворскле. И я так изумилась и обрадовалась, когда узнала, что практику на втором курсе ЛГУ мы будем проходить на Ворскле! Казалось, судьба решила провести меня по памятным для родителей местам. Река оказалась неширокой, извилистой, берег густо зарос кустарником. Я впервые купалась в реке, странен был вкус пресной воды, я боялась омутов. Но, плавая брассом, разгребая пресную воду руками, оглядывая с опаской окунувшиеся в темную воду зеленые ветви и напряженно всматриваясь, нет ли поблизости водоворотов, я помнила: двадцать лет тому назад здесь по-собачьи плавала моя мама и где-то неподалеку

проходила ее жизнь, ранее знакомая только по рассказам.

«Увлеченные работой, мы еле успевали сходить в академическую баню, попариться веником. Просто не заметили, как наш курс был в конце марта 1932 года собран, и нам зачитали приказ, что мы закончили курс обучения в Военно-медицинской академии и нам присваивается звание врача. Празднование нашего окончания было проведено в Большом клубе академии. Такого угощения я не видел со времени празднования десятилетнего юбилея Октябрьской революции в Москве.

Комиссия по назначению молодых врачей нашего выпуска отправила меня на службу в Морские силы Черного моря (МСЧМ), в Севастополь. Итак, мне предстояло расстаться с альма-матер, где учились и работали десятки великих русских и советских ученых, где благородные преподаватели полностью отдавали не только свои знания, но и свой опыт, мне надо было оставить старинные здания, стены которых видели тысячи молодых военных врачей, пришлось расстаться с Северной Венецией, где каждый метр пространства огромного города дышал историей, расстаться с северной природой, с красивыми закатами солнца на вечной "Стрелке". Мне предстояло ехать на Черное море, где ожидала меня практическая работа военного врача.

Вместе с дипломом об окончании врачебного образования и документами о назначении меня в Севастополь я получил из академии подарки по случаю ее окончания: диагностический набор – стетоскоп, молоточек, градусник, плексиметр, двухграммовый шприц, пинцет, лопаточку. Кроме того, мне дали карманные часы с секундной стрелкой и пружинную кровать на двоих. Жена получила пару лакированных туфель и красивый костюм. Дали нам несколько билетов в оперу, куда мы сходили с матерью жены. Перед отъездом мы получили и курсовой альбом, где были фотографии каждого из слушателей, преподавателей, профессоров и самые характерные места Военно-медицинской академии».

…Жениться-то они женились, но в ЗАГСе не оформили свои отношения, как и многие в ту пору. Мама по-прежнему носила фамилию Курдюмова. Когда папа получил назначение в «закрытый» Севастополь, ему не выдали разрешение на маму, так как ее не было в папином послужном списке. И вот они, за несколько часов до закрытия, взявшись за руки, бегут, как два подростка, в Петроградский ЗАГС, что на улице Скороходова, их быстро расписывают, и уже некогда думать, какую фамилию оставлять – Курдюмова или Мицова, и мама становится Мицовой, и только потом, на могильной плите, по настоянию папы будет написано – Вера Вячеславовна Мицова-Курдюмова.

– Чтобы все знали, – скажет папа, – что здесь лежит благороднейший русский человек.

А тогда из ЗАГСа они с разбега прыгают в новую счастливую жизнь, где нет Клюевых, где дают собственную комнату в центре города, где шумит море, где папа приступает к самостоятельной работе.

Когда папа приехал в Севастополь, ему только что исполнилось двадцать девять лет, маме – двадцать восемь. Там они прожили самую счастливую пору их совместной жизни. Мама, всегда очень сдержанная, рассказывая о Севастополе, светилась, лицо молодело (хотя рассказывала она немного), и всегда оставалось впечатление праздника: солнечный город, старинный открытый трамвай, взбирающийся на склоны холмов, памятники на курганах – остатки Крымской войны 1855 года, окопы, укрепления, Малахов курган, Херсонес, Графская пристань… Эти названия она вспоминала спустя многие годы… «Панорама Рубо»! Мама старалась объяснить, что это такое. Она и после посещения панорамы Бородинского сражения в Москве утверждала, что в Севастополе – гораздо лучше. Шумная южная толпа, много моряков в нарядной форме… «Аквариум, – говорила мама, – в Севастополе замечательный. Нигде такого нет. Бухта “Голландия”, туда мы с папой ездили на катере купаться. Там был закрытый пляж». Папа научился водить катер.

Счастье свободной новой жизни! Комната – солнечная, с окнами, выходящими на Примбуль. Давно из языка исчезли сокращенные названия, этот птичий язык начала советской власти, но мама и папа иначе не называли Приморский бульвар. Прекрасный зеленый бульвар, а над ним нависает то ли гора, то ли холм, и на холме стоит дом, в котором поселились мои родители. В широко распахнутые окна вливалось солнце, морской ветер шевелил легкие занавески, сверкало море, и виднелась бухта Голландия.

Через сорок пять лет я поеду в Севастополь на «Комете» из Ялты. Я не пойду с экскурсией; несколько часов буду бродить по бульвару, искать тот самый дом. Загляну в аквариум. Ощупывая глазами залив, буду отыскивать бухту «Голландия». Спросить не решусь – город «закрытый». Я приехала вместе с экскурсией и не должна ходить одна.

– Ты нашла этот дом? Ты его нашла? – Мама в возбуждении вглядывалась мне в лицо.

– Да, – кивала я.

Мне и самой хотелось быть уверенной в этом. В 1970-х годах выйдет книга Анатолия Мареты «Звезды Болгарии», где в статье о

папе будет фотография этого дома.

«Моя часть была новая, кадровая, пограничная, расположенная на северном берегу бухты “Голландия”, в зданиях бывшего кадетского корпуса.

Я был молодым врачом на сравнительно большой должности (старший врач авиационного парка). Как коммунист, должен был хорошо работать. На меня возложили амбулаторный прием авиабригады. Вначале он был слишком большой, ибо моряки, учитывая мою молодость, рассчитывали, что я буду легко давать освобождение от работы. Мои старшие и более опытные товарищи – врачи эскадрилий Либерман, Догаев, Сорин, так же как и начальник медицинской службы бригады Журов, – украдкой наблюдали за качеством моей работы. Однако они быстро убедились, что я работаю правильно и быстро, необоснованных освобождений не даю и делаю обоснованные врачебные назначения. Больше всего они удивлялись быстрым и точным диагнозам, которые я ставил, и тому, что я их записывал по-латыни».

В коридоре их квартиры стояли два мешка с мукой, на кухне – бутылки с маслом. Мама раздавала муку знакомым и соседям. В голодные 1932–1933-е годы папа получал прекрасный паек.

– Вера Вячеславовна, муж ваш неверующий, но да благословит вас Господь, вы нас спасли, – шамкали (или, наоборот, хорошо поставленными голосами, с петербургским произношением благодарили) старушки из «бывших»…

В Севастополе папа расправил крылья. Он брался за все, и все удавалось. Он и летает на самолетах, и проверяет пищу, и лечит, и организует санатории, и стреляет, и занимается партийной работой.

Сейчас я думаю: какое счастье, что папа не поступил, как хотел, в Академию общественных наук; какое счастье, что не поддался на уговоры профессора марксистской философии М. С. Плотникова оставить медицину и перейти к нему в Институт философии; какое счастье, что устоял перед искушением быстрого продвижения по службе, когда в Севастополе комиссар морской авиабригады Рождественский настойчиво его уговаривал пройти сокращенный курс Военно-политической академии им. Толмачева, стать комиссаром, а через несколько лет и командиром.

За время учебы в Военно-медицинской академии произошло изменение в сознании папы – он отказывается решать вопросы мирового масштаба. Со всей энергией, обогащенный знаниями, рьяно включается в построение молодого советского государства.

От профессионального революционера остается только то, что он верен до кончиков ногтей своей партии, и старается поделиться идеей построения социализма, учением Маркса и Ленина, со своими сотрудниками. Он неизменный член партбюро бригады, внештатный инструктор политотдела бригады, редактор многотиражной газеты при походах.

«Моих коллег также удивило то, что вскоре я организовал при амбулатории лазарет на 12 коек, где лечил больных с легкими формами заболеваний, не загромождая ими морской госпиталь в городе. Лечебную работу я заканчивал рано утром, а затем занимался весь день санитарно-профилактической работой».

Папа давно уже приметил одиноко стоявший, заколоченный дом, на островке напротив авиапарка. Разузнав, что это бывшая вилла Колчака, папа с помощью Красного Креста оборудовал виллу инвентарем и аппаратурой, (для чего съездил в Симферополь) и организовал для личного состава авиаполка «ночной санаторий».

В бухте Матюшенко папа, располагая консультацией профессора Щербатова, ученика И. П. Павлова, организует отделение для физиотерапевтического лечения массового в то время заболевания – москитной лихорадки. Летом она выводила из строя целые подразделения флота и авиации.

«Много времени я отдавал проверке пищевых продуктов и самой пищи, осмотру поваров и их помощников, проверке готовой пищи, наблюдению за чистотой и пр.».

Папа, проголодавший первые свои двадцать пять лет жизни, хорошо усвоил, что еда – одно из основных требований организма.

Мама смеялась: «Папа в Севастополе сначала попробует обед в одной части, потом на катере или даже на самолете переберется в другую часть, там тоже попробует…»

В четыре года, а может, позже, но хорошо помню, что в Рыльске (а это значит, что в то время папа сидел в тюрьме), меня притягивал шлем пилота с встроенными наушниками. Шлем был черный, кожаный, из кусочков, весь в морщинах, на мягкой овчине. Мама не разрешала с ним играть, но меня он интересовал и немного пугал. Предназначение его было непонятно, я хорошо помнила фотографию, где я у папы на руках, а он – в морской фуражке. Папа – капитан. Откуда же шлем летчика? И мама неохотно объясняла, что папа летал на самолетах. Теперь-то я понимаю: после папиного ареста мама вывезла из Ленинграда шлем как реликвию, оставшуюся от их счастливой жизни…

Сохранилось и воспоминание о многочисленных черных

суконных отрезах, выданных папе во время службы в Севастополе. Эти отрезы спасли нам жизнь во время войны: несмотря на их черный флотский цвет, все же на них удавалось выменять много продуктов.

«Вначале я служил в бомбардировочной авиации, имевшей на вооружении немецкие монопланы “Дорневаль”, а затем в истребительной авиации, оснащенной итальянскими бипланами “Савойя”. Всегда присутствовал на взлетах и посадках, предварительно осматривал летный состав. Без моего заключения командир не допускал личный состав к полетам. На быстроходном катере посещал потерпевшие аварию самолеты в бухтах или выезжал в море, к месту приводнения летчиков, спрыгнувших на парашютах. На местах происшествий оказывал медицинскую помощь. Без моей подписи акты о происшествии не принимались. Для обмена опытом посещал старейшую русскую авиашколу “Кача”, которая находилась в Крыму.

По приказу народного комиссара по военным и морским делам К. Е. Ворошилова врачи авиационных частей должны были учиться на летчиков-наблюдателей, т. е. штурманов. В связи с этим надо было изучать материальную часть самолета, его вооружение, ходить на бомбежку на полигоне. Я разыскивал подводные лодки в море, забрасывал их условными бомбами, стрелял из пулемета и занимался другими увлекательными делами. К примеру, научился свободно водить катер по бухтам, летал ночью на флагманском бомбардировщике и т. д.».

Однажды родители гуляли по кладбищу. Мама, романтик в душе, любила светлую грусть по ушедшим. Они медленно шли по дорожке, весело украшенной солнечными пятнами, пробивающимися сквозь густую зелень деревьев. Останавливаясь перед памятниками, мама разбирала стертые надписи. Свернув на большую аллею, они вышли прямо к полуразрушенному красноватому склепу, в середине зиял черный пролом. Около склепа стояла группа беспризорников, они молча смотрели на приближающуюся пару. Мама вцепилась в рукав белого кителя, потянула папу назад. Но папа продолжал идти. Молча, медленно, они миновали толпу оборванных подростков, и вдруг за спиной раздалась площадная брань. Папа вырвал руку, рванулся к парню, стоящему в центре.

– И как не боялся? Беспризорников тогда была масса, свободно убить могли, – вспоминала мама.

Кровь, кровь дели Николы играла в папе – не допустить оскорбления! Не допустить унижения!

– Я думала, у парня голова оторвется, – говорила мама, – папа схватил его за плечи и начал трясти, у того голова моталась

из стороны в сторону.

– При женщине… – яростно выговорил папа, задыхаясь.

А вокруг молча стояли беспризорники. И никто не пырнул ножом. Стая оборванных ребят молча обступила мужчину в белом кителе с золотыми пуговицами и молча смотрела, как тот яростно тряс их товарища.

Круто, круто изменилось время. Сейчас мат стал обычной разговорной речью. Не только никому не придет в голову кого-то упрекать за то, что при женщине… Нет, сами женщины обильно поливают свою речь матерными словами. Нация деградирует. Великая страна пропадает, тонет, как Атлантида, и неясно, всплывет ли она когда-нибудь…

«Мы, молодые военные врачи, проходили курсы усовершенствования. Я, например, прошел трехмесячный курс хирургии в хирургическом отделении Севастопольского военно-морского госпиталя, начальником которого был выпускник Киевского мединститута М. Кравченко, молодой энергичный человек и опытный хирург. Мне удалось стать его помощником в операциях на крейсере при бушующем море. После окончания командировки по хирургии я сделал у себя в течение трех месяцев 96 амбулаторных операций. Это был весьма редкий случай в военно-морской врачебной практике. Был момент, когда я объявил, что в условиях войсковой амбулатории буду оперировать больного с аппендицитом без внешней помощи, только со своим персоналом – фельдшером, зубным врачом, фармацевтом и старшим санитаром. Так как этот случай являлся беспрецедентным, начальник медицинской службы флота Власов, окончивший Военно-медицинскую академию, участник гражданской войны, вызвал меня и сказал, что не запрещает мне провести операцию, но при неудаче первый же предаст меня прокурору. Эта операция была настолько необычным событием, что командир авиапарка 77, бывший активный участник гражданской войны, попросил лично присутствовать на операции. Операция закончилась очень хорошо. Но мой высший медицинский начальник не стал одобрять мою инициативу. Он опасался, что если и другие строевые врачи начнут заниматься “большой хирургией” в условиях военной части, то это может повлечь серьезные осложнения».

Как-то, гуляя по Примбулю, папа преподнес маме букет цветов. Это был первый подарок за время их двухлетней совместной жизни. Красавица мама, совершенно не избалованная папиным вниманием, крепко прижала букет к груди и не отнимала его на протяжении всей прогулки.

– И погибла моя единственная нарядная блузка, –

рассказывала мама, посмеиваясь.

Воодушевленный произведенным впечатлением, папа делает маме второй подарок. Накануне первого мая он, радостный, вернулся домой:

– Веруха, я принес тебе подарок.

Он протянул большой сверток. В нем находились белые брезентовые мужские туфли и отрез плотной черной материи – «чертовой кожи».

– Ножом будешь рвать – не порвешь, – гордо сказал папа.

Мама взглянула на папу, молча надела на правую ногу туфлю, тряхнула ею – туфля слетела с ноги и упала к ногам озадаченного отца. Отрез мама отдаст своему отцу на брюки, когда тот, мыкаясь по стране, все еще ища себе постоянное пристанище, приедет единственный раз в гости к папе и маме в Севастополь. Это будет единственной встречей моей с дедом и последней встречей мамы с ее отцом, Вячеславом Григорьевичем Курдюмовым.

«Три сезона погода в Севастополе была солнечная, т. е. удобная для полетов, поэтому годовые отпуска предоставлялись зимой, когда в городе свирепствовал суровый норд-ост. В начале 1933 года я решил провести отпуск за 1932 год в центральной части России – городе Рыльске, на родине моей жены. Мое присутствие произвело особенную сенсацию в маленьком старинном городе. Я ходил в военно-морской форме – редкостное явление для этого черноземного района. Мы очень хорошо провели богатую снежную зиму. На обратном пути в Севастополь мы ехали в пассажирском поезде, переполненном раскулаченными крестьянами. Они были голодные, вшивые и больные. Моя жена находилась на восьмом месяце беременности, но уступила свое место детям. Через три недели после нашего приезда в Севастополь жена заболела сыпным тифом. Так как она имела довольно слабое сердце, гинекологи и хирурги предлагали мне сохранить ребенка за счет жизни жены. Они (гинеколог Георгиевский и хирург Кравченко) были уверены в печальном конце жены. Я отверг их предложение. Позже жена впала в бессознательное состояние и длительное время была с очень высокой температурой».

– Папа созвал консилиум, наверное, всех врачей Севастополя, – рассказывала мама. – В какое-то время, на миг придя в себя, я увидела вокруг множество белых халатов. Халаты, халаты, халаты…

«При одной из родовых схваток она родила мертвого мальчика.

Сравнительно скоро состояние жены улучшилось, и она выздоровела. Еще до этого я вызвал ее мать. Она дежурила днем у постели дочери, я проводил там ночи. Благодаря благоприятным климатическим и материальным условиям, в которых мы жили, Вера быстро поправилась».

В солнечной комнате, с распахнутой дверью на балкон, уставленной вазами с цветами, в мае 1933 года мама, худая, обритая наголо, приподнималась на постели и тут же падала на подушку, снова поднималась, дрожал рот, вместо слов вырывались мычание и плач. Она сердилась, плакала, прижимала руки к груди, опять поднималась… Речь была нарушена после перенесенной болезни. Мама разучилась говорить. Папа сидел рядом и поливал ее духами.

Я родилась менее чем через год. Врачи запрещали маме рожать года три.

– Это все я виновата, – говорила мама, наблюдая мои недомогания, – нельзя мне было рожать.

Возможно. Но тогда бы вместо меня был кто-нибудь другой…

«В следующем году она родила нашу общепризнанную красавицу Ингу. Получилось так, что в это время мы находились в Ленинграде, и дочка родилась в Военно-медицинской академии…»

В этих воспоминаниях меня папа называет общепризнанной красавицей, а вот тогда, услышав, что родилась девчонка, повернулся – и ни слова не сказав, ушел. Ждал черноволосого первенца. Только спустя год папа скажет: «Какой же я был дурак! Ну не все ли равно – дочка или сын?»

«В самом начале 1934 года я был вызван начальником Военно-санитарного управления Черноморского флота. Он меня спросил:

– Зачем тебя позвал?

Ответил ему:

– Чтобы меня командировать в Военно-медицинскую академию для усовершенствования по хирургии.

Тогда он сказал мне, что меня посылает в академию, но для усовершенствования по токсикологии боевых отравляющих веществ – новая, тогда еще секретная военно-медицинская специальность. Я отказался. Но он заявил мне, что отберет у меня партийный билет и что эта новая дисциплина нуждается в хороших специалистах – коммунистах. Таким образом, я провел в Ленинграде весь летний семестр, будучи прикомандированным по специальности, которой до того времени не знал и не ожидал, что стану специализироваться в этой области медицины».

Именно тогда, в феврале 1934 года, мама решительно покинула Севастополь и опять, теперь уже за две недели до родов, села в поезд.

– Явилась, – рассказывал папа. – Никто ее не ожидал. Говорит – «больше не могу».

А я видела, как папа, рассказывая это, был рад.

Я была беспокойным ребенком. По ночам папа подносил меня к стеклянной узорчатой двери в буфете, водил пальцем по стеклу, я замолкала. Пройдет год, когда папа, вернувшись из Ленинграда, где выдержит экзамены в ординатуру, сфотографируется со мной на руках. Какой счастливый и гордый вид у нас!

В Севастополе папа, в морской форме, красивый, веселый, с военной выправкой, гордо откинув голову, держит меня на руках. Я в пестрой тюбетейке на светлых волосах, круглолицая, веселая, с папиными глазами и бровями…

Жизни в Севастополе я, конечно, не помню. Мы уехали, когда мне было немногим более года. Из маминых рассказов знаю, что мы чуть не опоздали на поезд. Все вещи, в том числе и кровать с пружинным матрацем (по тем временам – роскошь!), уже были погружены в машину. До отхода поезда оставался час… затем полчаса…

– Здравко, мы опоздаем.

Папа рылся в бумажнике. Что-то искал. Оставалось четверть часа.

– Здравко, мы опоздаем.

Они выскочили на перрон: со мной на руках папа успел вскочить на подножку, втащить маму. Весь багаж был брошен на платформе: деньги и багажные квитанции папа сунул носильщику. Они уехали из Севастополя с небольшой сумкой, в которой лежала моя одежда. Я всегда удивлялась – зачем вскакивать на ходу? Неужели нельзя было поехать следующим поездом? Но папа не умел отказываться от своих намерений. Раз надумал – значит, сделает.

В середине 1960-х, летом, в Болгарии мы собрались на экскурсию в курортный пригород Софии – Банки. Опаздывая, но без спешки, пришли на вокзал – папа, я и мой муж Володя с маленьким Сережей на плечах. Медленно прошли по перрону – все места в поезде были заняты. Мы растерялись. Папа призывал ехать. Мы колебались. Папа сердито убеждал. Мы все еще колебались. Поезд тронулся, мы тихо двинулись обратно вдоль перрона. Когда последний вагон поравнялся с нами, мой шестидесятилетний, красный от злости отец вскочил на его буфер, оседлал и помахал нам рукой. Он преподал мне очередной наглядный урок.

А севастопольское опоздание завершилось благополучно: вещи, все до единой, включая кровать, родители получили по квитанции, высланной носильщиком.

Итак, папа не стал хирургом, а стал токсикологом. «Собачий врач» – так называла мама папу с тех пор. Но этот «собачий врач» – как он хорошо умел заметить состояние больного, как точно ставил диагноз! Не имея практики, занимаясь всю жизнь научной и организационной работой, он, как никто другой, мог определить самочувствие мамы. Всегда после приступов мигрени, которыми она страдала, он выводил маму на улицу, заставляя сделать хотя бы несколько шагов. Он знал про страх после приступа… боязнь выйти из дома… Он, никогда не страдавший головными болями, – знал. Как только кончался приступ – поддерживая маму, заставлял сделать несколько шагов по улице. Видя, как она тоскует, сам настаивал на ее отъезде ко мне, и мама ежегодно проводила со мной несколько месяцев, а ведь папа не умел обслуживать себя сам и очень страдал от одиночества. Он постоянно делал свое дело – писал, преподавал, исследовал, но состояние мамы не упускал из виду никогда.

«За время трехлетнего моего пребывания в Севастополе к нам летом приезжали с севера много русских и болгарских гостей: родители, родственники и знакомые жены и др. Моя жена не была знакома с южным берегом Крыма, и поэтому мы проехались по всему красивому берегу от Севастополя до Ялты и Никитского сада».

Да, фотографии Крыма с видом Алупки, Симеиза, Ялты хранились у мамы всю жизнь; их она вместе с письмами вывезла из Ленинграда перед началом войны, сохранила в оккупации, привезла в Болгарию. Эти открытки в раннем детстве поражали меня своей красотой, особенно волновал цвет: темно-синие, почти черные стройные тополя и гора… и море… и какие-то дивные белые статуи. Тогда же произошли два события – возможно, как-то связанные. Папа получил письмо из Болгарии. Из Варны. В письме сестра Ольга упрекала его в смерти матери. Папа рыдал, зарывшись в подушку. Мама стояла у изголовья, растерянная.

– Я не могла даже вообразить, что папа умеет плакать! «Мама!» – кричал он.

И другой случай, тоже связанный с Болгарией, напомнил папе о его родине…

«Летом 1934 года товарищ Димитров после процесса в

Лейпциге был отправлен в дом отдыха ВКП(б) в Крыму. В это время севастопольские моряки соревновались на дальний заплыв в Большой Севастопольской бухте. Это событие всегда проводилось как большой морской праздник. В связи с этим командующий Черноморским флотом Кожанов пригласил Г. Димитрова посетить торжество. В Севастополе Г. М. Димитров был со своей матерью, бабушкой Параскевой, со старшей сестрой Магдаленой и секретаршей Стеллой, старшей дочерью основателя БКП Д. Благоева. Между заплывами я сопровождал вышеуказанных женщин по подразделениям морского флота и авиации. Бабушка Параскева произносила на болгарском языке короткие и умные речи. Она очень понравилась краснофлотцам и командирам, и они осыпали ее подарками для нее и для ее сына. Ее речи понимались слушателями. Большие восторженные речи произносила Стелла Благоева. Весьма редко по нескольку слов произносила и Магдалена. Она частенько поплакивала».

Про мать Димитрова (бабушку Параскеву) папа рассказывал, что она в Париже на огромном митинге, в черном платье и черной косынке на седой голове, выступала в защиту своего сына, когда шел Лейпцигский процесс. Малограмотная деревенская старушка, не зная французского, так говорила, что ей аплодировала огромная площадь.

Я рассматриваю фотографию этой невысокой, с подвижным лицом старушки и ясно вижу, что от нее идет свет. Свет шел и от Елены Димитровой-Червенковой, ее дочери, и от ее внука Володи Червенкова. Все они сейчас покоятся на кладбище в Софии. Елена Михайловна, ее сын, Володя, рядом пустое место – вероятно, Ира, сестра Володи, оставила его для себя, – и чуть дальше лежит бабушка Параскева. Георгий Димитров, генеральный секретарь Коминтерна на протяжении почти десяти лет, герой Лейпцигского процесса, первый руководитель Народной Республики Болгарии, был захоронен в 1949 году в мавзолее. Мавзолей, что стоял в центре города, снесли после распада социалистического содружества. Он был очень прочен – его взрывали несколько дней. Я бы в этом увидела знак свыше. Но те, кто взрывал, были упорны. Набальзамированное тело похоронил приемный сын Димитрова в родной деревне Георгия Михайловича. Может, и мать его теперь лежит рядом с сыном?

Не знаю.

«В апреле 1935 г. я получил в Севастополе приказ о назначении меня адъюнктом в Военно-медицинскую академию в Ленинграде, а 5 мая т.г. был зачислен уже адъюнктом по военной токсикологии на

кафедре ВХД (военно-химическое дело), которая годом позже стала называться ПТОВ (патология и терапия поражений отравляющими веществами). Адъюнктура в СССР появилась в конце 20-х годов. Это была форма высшей квалификации молодых советских научных кадров, подготовка будущих руководителей научно-исследовательской и преподавательской работой. Адъюнктам обеспечивались очень хорошие условия работы – быт, культура, изучение иностранных языков и пр.».

Я не знаю, когда папа почувствовал опасность. В воспоминаниях об этом – ни слова. Он продолжает рассказ о нормальной жизни, учебе. А ведь мы приехали в Ленинград спустя полгода после убийства Кирова! Когда из города выслали множество так называемых «бывших». Когда уже начались аресты (сначала одиночные) партийных работников. До убийства Кирова членов партии расстреливали редко. При Жданове, возглавившем после Кирова ленинградскую парторганизацию, начались массовые расстрелы коммунистов – руководителей среднего ранга и рядовых рабочих. Расправлялись с теми, кто на 14-м партсъезде поддерживал ленинградскую оппозицию, кто им сочувствовал или просто был с ними знаком. Киров им доверял. Убийство Кирова стало вехой и в нашей жизни. Я помню: часто мама, что-то рассказывая, определяла время так – «еще до убийства Кирова» или «уже после убийства».

Спустя три недели после этой трагедии Иван Петрович Павлов пишет в Совет Народных Комиссаров СССР:

«…Сейчас, хотя раньше часто о выезде из отечества подумывал и иногда даже заявлял, я решительно не могу расстаться с родиной и прервать здешнюю работу, которую считаю очень важной, способной не только хорошо послужить репутации русской науки, но и толкнуть вперед человеческую мысль вообще. – Но мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь – и это есть причина моего письма в Совет.

Вы напрасно верите в мировую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: “Да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой Октябрь!” Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам Временного правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы, – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему?

Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: “Час настал, час пробил”, а дело кончалось лишь новым фашизмом, то там, то сям. Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм охватит весь культурный мир, исключая могучий англосаксонский отдел (Англию, наверное, американские Соединенные Штаты, вероятно), который воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг – труд как первую обязанность и главное достоинство человека и как основу человеческих отношений, обеспечивающую соответствующее существование каждого, – и достигнет этого с сохранением всех дорогих, стоивших больших жертв и большого времени, приобретений культурного человечества.

Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей родине.

Во-первых, то, что Вы делаете, есть, конечно, только эксперимент, и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республикой. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемых участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором,

что оставался и остаюсь среди нее. Не один же я так думаю и чувствую? Пощадите же родину и нас.

Академик Иван Павлов. Ленинград. 21 декабря 1934 г.»

Читая это обращение гениального человека, истинного патриота своей страны, прозревшего трагедию на много лет вперед, я не могу сдержать слез. Нам-то все понятно, мы можем возмущаться, ужасаться, осуждать. Но это – теперь. А тогда? Многие искренне заблуждались: если арестован – значит, виновен. Я помню, как говорили: все разоблачительные признания на открытых процессах делались с целью – подтвердить правильность государственной политики, не подвести партию. Не подвести идею…

Иван Петрович Павлов, профессор ВМА, академик, нобелевский лауреат, умер спустя год после этого обращения, в феврале 1936 года, успев провести 15-й Международный конгресс физиологов…

«В начале адъюнктуры большое место занимало изучение химии (Ф. В. Рачинский), за ней патологическая анатомия БОВ (боевые отравляющие вещества, В. В. Васильев), и третий раздел – защита от БОВ (В. А. Волжанский). В течение первых двух лет изучался интересный предмет – диалектический материализм. На занятиях по диамату адъюнкты выступали с докладами по вопросам специальности с точки зрения диалектического материализма. На моих докладах присутствовали также адъюнкты с других кафедр.

Я был редактором стенгазеты кафедры. Там создал иллюстрированный бюллетень, для чего выписывал немецкий АИЦ (“Арбайтер иллюстрирте цайтунг”), редактором которого был бывший руководитель Коммунистического интернационала молодежи Вилли Монценберг. Часто мне поручали проводить кафедральные и межкафедральные политинформации. Они посещались хорошо».

Возможно, многим профессорам и преподавателям казалось, что папа слишком рьяно проповедует коммунистические идеи. Даже наверняка. Но папа считал совершенно естественным, что именно ему (члену ВКП(б) с 1919 года, прошедшему тюрьмы) поручено проводить политинформации.

«Высокое качество моих преподавателей во время адъюнктуры подтверждается тем фактом, что большинство их стали действительными членами АН и АМН СССР – Н. Н. Аничков, С. В. Аничков, Г. В. Владимиров, В. В. Закусов, Орбели, А. В. Лебединский, Н. Н. Савицкий и др.»

Папа кончает первый год адъюнктуры летом 1936-го – мне два с половиной года. Сохранилась моя фотография –

растерянный ребенок с двумя огромными бантами на голове и на груди, положив руку на большой мяч, стоит на стуле. Глаза круглые, напряженные, рот полураскрыт. Оттого что левая ножка немного выставлена и рука зажата в кулачок, кажется, что я сейчас отброшу мяч и шагну со стула, чтобы разобраться, что происходит.

Именно к этому времени относятся мои первые детские воспоминания.

…Мы втроем – почему-то очень ощущается, что втроем, – стоим где-то на краю, чего-то ждем. Папа говорит:

– Смотри, смотри.

Вокруг черным-черно, и вдруг вдали слева появляется свет. Родители возвышаются надо мной, держат за руки. Как четко детское восприятие ощущает разницу миров – живого и неживого. Справа от меня, за невысокой оградой, в темноте что-то шевелится, огромное, живое, теплое. Почти такое теплое, как мамина рука. Слева от меня – серое, неживое. Справа – парк. Слева – невысокое здание вокзала. Вокруг темно, и только вдалеке разгорается огонь.

– Смотри, смотри, – снова говорит папа.

Слева что-то шипит, два огромных огня медленно приближаются. Свет становится все ярче и ярче, шипение все громче, что-то огромное, черное, неживое, надвигается на нас темной массой…

– Ингуся, это паровоз, – говорит папа.

– Ингочка, ведь тебе было только два года, – говорит мама. – Это было около Эстонии, где мы отдыхали, лето 1936-го. Ночью ждали поезд. Неужели помнишь?

Да, я помню. Два ярких огня, шипя, подбираются снизу из темноты, и что-то огромное, неживое останавливается, не доехав.

Нечто похожее – отчетливую грань между живой природой и мертвым телом – я ощутила еще раз, гораздо позже. Это было в 1980-е годы. Я работала с сильнодействующими ядами. Лаборантка случайно налила чай в колбу, в которой находились какие-то ничтожные, сейчас бы сказали *нано* остатки яда (или «информационное поле» яда). Мы сели пить чай втроем – я, лаборантка Таня и наш начальник Рудольф Иванович. И вдруг я слышу:

– Ой, все желтое, – это говорит Таня.

Рудольф Иванович падает со стула, а я, движимая одной мыслью, направляюсь к вытяжному шкафу, чтобы смочить ватку в нашатыре, и вижу вокруг себя комнату, наполненную живой яркой зеленью, и чувствую себя сухой веткой. Вокруг зеленая живая ткань, а я, сухой веткой, продираюсь сквозь зеленую живую

ткань, которая со всех сторон окружает меня, слышу, как с треском рвется зеленая ткань, когда я прохожу сквозь нее. Начальник лежит на полу, он обособленный, вокруг нет зелени, он тоже сухой, как срубленное дерево. Нас спасли. Но треск живой зеленой ткани, разрываемой сухой веткой – мною, идущей по лаборатории с ваткой, смоченной нашатырем, – мне памятен до сих пор.

И еще одно воспоминание из того же раннего детства. Поздним вечером мы мчимся на вокзал. Новые слова – «такси» и «эмка». Темные мокрые улицы, красные огни светофоров. Я у папы на руках, сзади мама. Я чувствую волнение мамы и злое раздражение папы. Машина беспрерывно осипшим голосом кричит: эа-эа-эа!

– Опоздаем, опоздаем, – твердит мама.

– Успеем, – говорит шофер и мчится на красный свет…

Мы успели.

И возможно, еще более раннее, очень смутное воспоминание. Новый год праздновать запрещалось. Но папа в подворотне покупает елку, под шинелью притаскивает домой.

– Как ты мог? – ужасается мама. – А если бы увидели?

Елку украшают мандаринами в блестящих ярких полосатых бумажках и шоколадными «бомбами» в золотых обертках. Мама садится на корточки.

– Это, Ингочка, елка, – говорит она. – Елка. А это «бомбы». Можешь снять и съесть, а внутри сюрприз.

И еще на елке несколько шариков и стеклянная девочка в капоре – их сделал дядя Слава, он стеклодув.

«Выбор тематики для диссертации представлял трудную задачу. Обыкновенно тему давал адъюнкту его научный руководитель, который чаще всего был и руководителем кафедры… Я предложил свою диссертационную тему сам. Она была принята как первым руководителем кафедры (ВХД) М. Н. Лубоцким (который позже был репрессирован), так и вторым руководителем кафедры (ПТОВ) Н. Н. Савицким, клиницистом. Моя диссертационная тема была: “Подкожная кислородная терапия гипоксемических состояний организма”. Я исходил из двух соображений: 1. Почти все известные нам отравляющие вещества создают в организме гипоксию (пониженное содержание кислорода в крови), а для оказания помощи было необходимо повысить содержание кислорода пострадавшему организму. 2. Наставление Красной Армии тогда для этой цели рекомендовало введение кислорода под кожу пострадавшему. Считалось, что в таком положении пострадавшего можно будет свободно эвакуировать в тыл армии для оказания ему квалифицированной медицинской

помощи. Этот способ оказания помощи выглядел очень удобным для применения во фронтовых условиях. Я поставил себе целью проверить эффективность этого способа. Эта моя работа переросла в диссертационную тему».

Папа 1936 года – молодой, красивый, со светящимися, чуть напряженными глазами, тонкий рот чуть улыбается, черные волнистые волосы, две морщины на лбу. Лицо сильного, бесстрашного человека, много видевшего. Папа снят вполоборота, одна «шпала» – адъюнкт, ремень через плечо. Это последняя мирная фотография тех лет, следующая будет после тюрьмы: на паспорт в феврале 1940 года.

«Моя специальность была дефицитной, некоторые из моих товарищей занимались и вне кафедры, получая дополнительные вознаграждения. Я этим не занимался и использовал свободное время для повышения своей квалификации. Летом с моим товарищем адъюнктом С. Д. Радайкиным выезжал в командировку в большие военные лагеря Украины (Павлоград, Новочеркасск и др.) и Северного Кавказа для проведения бесплатных занятий по военной токсикологии с врачами кадра и запаса. Для этой цели я вез с собою специальные ящики с муляжами и прочие наглядные пособия».

Мой мир в то время – это наш дом на улице Карла Маркса, где жили профессора и преподаватели Военно-медицинской академии. Дом темно-красный, трехэтажный, с парадным подъездом – трехстворчатой стеклянной дверью, с нависающим над ней ребристым железным навесом. Как непохож вход в дом моего детства на двери настоящего времени – теперь почти все они кривые, грязные, распахнутые, расписанные ругательствами. И жаль детей, которые в детстве видели именно такие двери вместо широкого сверкающего парадного, в которое входила я, двухлетняя, трехлетняя, четырехлетняя, держа маму за руку. На фотографии того времени – лукаво улыбающаяся девочка в заячьей шубке и меховом капоре с приколотыми вишенками. Старушка и старичок, наши швейцары, выходят из своей комнаты за стеклянной перегородкой, кланяются и вкладывают мне в кармашек карамельку. Я принимаю карамельку, как принимаю белую широкую лестницу с резными чугунными перилами и золотыми пупырышками на белых широких ступенях, ранее поддерживавшими ковер, устилавший эти ступени. Под лестницей живет «титан», огромный, красный и злой. Туда мне вход строго запрещен.

День начинается. Я медленно одеваюсь, сидя на «папы-маминой» кровати, и внимательно рассматриваю маленькую

темно-красную открытку, прикрепленную кнопкой к обоям. На ней – дядька с темной бородой строго смотрит на меня. «Толстой. Непротивленец», – в голосе папы слышу странную смесь глубокого уважения и еще что-то… насмешку? Это единственный портрет, висящий у нас. Сейчас с изумлением отмечаю – у нас не было портрета Сталина. Не было и портрета Ленина.

Я медленно натягиваю коричневые чулки, мама застегивает мягкий байковый лифчик с большими пуговицами на спине. Пристегивает чулки к резинкам. Одевает платье. Когда я спускаюсь с кровати, чулки чуть сползают и становятся немножко гармошкой. Я иду в столовую завтракать. Папа уже ушел на работу. За окном серый свет ленинградского утра.

– Халат! Халат! – Во дворе стоит мужчина, в желтом халате нараспашку, задрав голову, он кричит: – Халат!

Я выглядываю в окно, отодвинув тюлевую занавеску.

– Что он кричит?

– Это татарин. Он старые вещи собирает.

– Ножи, вилки! Точу! Лужу кастрюли!

И опять я карабкаюсь на подоконник. Внизу дядька ногой жмет на педаль. Жмет, жмет. Колесо наверху крутится, огненные брызги в разные стороны и пронзительный звук: ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж… Внизу бегает маленькая белая собачка. Я сажусь за стол. Круглый стол покрыт белой скатертью, поверх скатерти, наискосок, лежит дорожка, подаренная маме еще при рождении, вся в аппликациях и мережке, с вышитыми красными клубничками. Я их поглаживаю и ощущаю гладкую пушистую выпуклость красных ягодок. На дорожке лежит голубая гарднеровская[11] доска. Она жива до сих пор. Ей больше ста лет. Мои первые впечатления о красоте – гарднеровская доска и дорожка с красными клубничками. Да еще маленькая коричневая подушечка, вышитая крестом и потому немного шершавая; на ней скворечник с голубой птицей.

– Подушечку вышил папа, – говорит мама.

Разве папа умеет вышивать?

– Мой папа, – говорит мама.

В голове у меня некоторая путаница – разве у мамы тоже есть папа?

В большой комнате есть черная оттоманка и казенный книжный шкаф. Шкаф – безликий и равнодушный, а вот черная оттоманка… Я никогда не сажусь на ее холодную черную кожу. От нее веет угрозой. Есть еще этажерка. Она своя. Потому ли, что стоит у окна, или потому, что сама по себе легкая и прозрачная? Скорее всего, потому, что она уже прожила с папой-мамой несколько лет и приехала из Севастополя (как и кровать с золотыми набалдашниками). У двери в большой комнате стоит

серая гофрированная печка, круглая, до самого потолка, тоже чужая. Не помню, чтобы ее топили. Как и не помню, было ли паровое отопление. Печка совершенно безликая, не то что черная оттоманка. Мама открывает тоненькую книжку и читает: «Печку, Леночка, не тронь, жжется, Леночка, огонь…» На картинке – девочка с косичками, в желтом платьице, сидит на корточках перед печкой, такой, как наша, виден ярко-красный огонь в приоткрытой дверце. «Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой… Отворила дверцу Лена, соскочил огонь с полена…» И вот уже картинка, как огненные языка пламени лижут стены…

Я выросла трусихой. Постоянно страшась за меня, мама ставила мне множество ограничений. Пугала меня. Не Бабой Ягой, нет – совершенно реальными опасностями: быстро побежишь – ногу сломаешь, залезешь на дерево – упадешь, откроешь дверцу в печке – сгоришь.

Было и еще одно стихотворение – как скромный неизвестный парень вынес девочку из горящего дома: «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти….» Очень досадно, и я заглядываю в конец книжки – может, все-таки нашли?

Книжка «Мистер-Твистер» и «Рассеянный с улицы Бассейной» – это все прочитано в этой комнате, на Карла Маркса. «Рассеянный с улицы Бассейной» был связан с квартирой Радайкиных. Не дядя Сережа, не Сергей Дмитриевич, но почему-то: «Радайкин» – папин сослуживец по кафедре и его товарищ. У него жена, Рахиль Моисеевна, и дочь Майя, моя ровесница.

Прихожая Радайкиных очень похожа на прихожую в книжке Рассеянного с улицы Бассейной. Приходя к ним, внимательно рассматриваю вешалку – ищу «гамаши». Странную вещь, названную странным веселым словом. Радайкин уже преподаватель, а папа еще адъюнкт, и я чувствую разницу в положении: у Радайкина есть патефон – для меня желанная роскошь. Как только прихожу к ним в гости, становлюсь у патефона. Немножко хитрю, делаю вид, что не замечаю, как взрослые поглядывают на меня, облизываю губы, трясу головой в такт песне и тихо подпеваю: «до свида-а-ания, мой милый ска-а-а-жет, а на се-е-е-рдце камень ля-я-яжет». И смотрю, смотрю на блестящую головку патефона, на толстую, режущую пластинку, иглу.

Кроме квартиры Радайкиных, помню посещение Лукановых. Дяди Андрея и тети Ани, или Анны Ивановны. Они живут на Нижегородской, окна смотрят прямо на желто-зеленый штаб академии. Почему-то всегда, прежде чем идти к ним, папа со

смехом цитирует стихи Барто: «Анна Ванна, наш отряд / Хочет видеть поросят, / Мы их не обидим, / Поглядим и выйдем…» В их комнате привлекает внимание большая фотография на стене – прекрасная женщина в белом лежит в цветах. Это тетя Валя (первая жена Андрея), которую он очень любил и которая умерла. Кроме фотографии – ряд белых слоников, они мне очень нравятся; трогать нельзя, но я представляю, какие они на ощупь. Слоники стоят на белой салфеточке. И почему-то мне кажется, что они дядю Андрея раздражают.

– Валя была прекрасным человеком, умная, образованная, одаренная… – говорит папа, и я понимаю по тону, что Анна Ванна совсем не такая.

– Аня – хирургическая сестра. – Мама пожимает плечами. – На операциях все время вместе, она утешала Андрея…

– И доутешала, – говорит недовольно папа.

Что еще помню? Рассказ Куприна про слона. Вероятно, это мне читала мама, когда я болела.

– Но как же он по лестнице шел? Как поместился в комнате? Как не провалился?

– Ну, папа все укрепил, – отвечала мама. И я понимаю, что и мои папа с мамой могут привести слона, если я захочу…

И еще вспоминается рассказ (вероятно, Зощенко) про мальчика, который все время падал. И никто не мог догадаться, чем он болен. Кажется, только пришедший к ним в гости мальчик закричал: «Да он же в одну штанину две ноги всунул!» Мне не казалось это смешным, но запомнилось. У меня уже начал возникать свой мир, отдельный от мамы. Наверно, это произошло, когда мне исполнилось три года – то есть зимой 1937-го. Читала мне мама много, но только в квартире на улице Карла Маркса. После ареста папы чтение прекратилось, исчезла игра. Даже после того, как папу выпустили… Читать я начала сама уже перед школой, медленно складывая слова. Но тогда, в наших чистых, уютных комнатках, мне жилось хорошо.

«И по винтику, по кирпичику…» – поет мама.

Или: «Разлука, ты разлука, чужая сторона, / Никто нас не разлучит, как мать-сыра земля…» Или: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…» Теперь мало кто помнит, что такое Трансвааль, я, во всяком случае, с тех самых пор ничего о Трансваале не слыхала. Но тогда меня эта песня расстраивала. Я сидела на корточках в кухне у маминых ног и жалела *бура*. Какой-то бур задумчивый сидит под деревом, и детей его уже нет в живых.

А папа любит песню: «Как умру, я умру, похоронят меня, / И никто не узнает, где могилка моя». Я залезаю к папе на колени,

он прислоняется головой к моей макушке. «На могилку мою уж никто не придет, / Только раннею весною соловей запоет». Какая жалостливая песня…

– «Путевка в жизнь» – прекрасный фильм, – говорит мама. – И лучше всех играл Мустафа. Он, кажется, был настоящий беспризорник.

Испанская война вошла в мою душу с открытки. Такая страшная картинка: самолет в небе, а на пустой улице лежит девочка, и около девочки красное пятно. Женщина с черными, коротко стриженными волосами, в красной косынке, бежит по улице к дому, прикрывая рукой другую девочку. И я слежу со страхом за ней и за самолетом. Успеет ли она скрыться в доме?

– Мама, кто лежит на мостовой? Девочка?

– Нет, кукла.

– А почему кровь?

Я подолгу разглядываю открытку. Как пустынно на улице. Только серый самолет, только неподвижная девочка лежит на булыжной мостовой, раскинув руки, только бегущая женщина с черными волосами в красной косынке… Стоя на стуле, с большим бантом на коротко стриженной голове, читаю стихи:

Сталин часто курит трубку,
А кисета, может, нет.
Я сошью ему на память
Замечательный кисет…

Папа снимал меня со стула. Иногда мы с ним поем: «О, Таненбаум! О, Таненбаум…»

– Кого ты больше любишь? – подступает мама, садясь на корточки передо мной.

– Папу-маму.

А потом, кто бы из родителей ни спросил:

– Тебя.

Вечером, засыпая, слышу папин голос:

– Хитрит Ингуся. Маленькая, а обидеть не хочет.

Идет второй год адъюнктуры. Это все еще конец тридцать шестого.

– Что на обед? – спрашивает папа, лишь только открывает дверь, и мама торопится накрывать на стол. Обедаем мы поздно – когда папа возвращается с работы, часов в шесть. Папа обедает, потом ложится на черную оттоманку отдохнуть. Я охраняю папин сон. Внизу во дворе лает маленькая белая собачка. Я залезаю на подоконник.

– Авка, молчать! Папа спит! – кричу я. – Авка, молчать!

По воскресеньям папа учит меня умываться. «Вот вам ручка, вот другая, обе служат хорошо. Одна моет другую, обе моют личико», – поет папа, водя моими руками по лицу. Потом мы обязательно идем куда-нибудь. Очень мне не хочется огорчать родителей.

Я люблю болеть. Мама пугается, я чувствую, как она боится, все время поглядывает на меня, быстро протирает пол мокрой тряпкой, меняет постельное белье, которое приятно пахнет свежестью и холодит горячее тело, ставит рядом тумбочку, прикрытую белой салфеткой. У меня температура 39°, меня опять носят на руках, голова моя качается, как у грудничка. И тут в мою жизнь входит всемогущая Военно-медицинская академия. Это и военные в шинелях, как у папы, спешащие по улицам, это и прекрасные слова «Боткинская», «Клиническая», это и штаб – желтое здание с зеленым куполом, люди в белых халатах, любящие меня, запах спирта, йода, все это мой папа, который привел меня туда, которого все знают и любят.

Оперев на сложенные руки голову с двумя бантами по бокам, я доверчиво смотрю в объектив. Точно знаю, что на фотографии – я. Но не верится. Неужели это та девочка, которая охраняла папин сон? У девочки на фото уже есть свой мир.

…Я не знаю, когда папа почувствовал реальную угрозу. Зимой 37-го? Весной? Угроза подкрадывалась постепенно. Постепенно весь дом начинает жить затаившись. Страшен был лозунг – «Если враг не сдается, его уничтожают». Страшен тезис Сталина о том, что с каждым годом нарастает классовая борьба.

Еще в апреле 1929 года Бухарин по этому поводу высказался: «Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, или должны открыть гражданскую войну, или подохнуть с голода и лечь костьми».

Но в 1937 году Жданов говорит другое: «1937 год войдет в историю выполнения ленинских заветов и предначертаний как год разгрома врагов народа. Владимир Ильич учил нас, как учит этому и товарищ Сталин – уметь распознавать ходы и выходы врагов, разоблачать и громить врагов. 1937 год войдет в историю как год вооружения против наиболее хитрых и коварных методов борьбы врагов народа. 1937 год войдет в историю как год, когда наша партия нанесла сокрушительный удар врагам всех мастей, когда наша партия стала крепкой и сильной в борьбе с врагами

народа, добившись этого благодаря укреплению нашей советской разведки во главе с Н. И. Ежовым».

У меня исчезает «немка» («дер тыш», «дер стул»), с которой мы гуляли и пытались освоить немецкий, мама начинает работать в библиотеке, и появляется Мотя. Огромная, здоровая, молодая, она напоминает мне ломовую лошадь. Я ее не люблю и с ней не общаюсь. Она мне даже враждебна. Она чужая – мы не разговариваем, и она не похожа на маму. Мотя врет и немножко ворует. На кухне меня привлекают две вещи: примус на нашем столе и черная дверь до потолка – «черный ход» – заколоченная крест-накрест досками. Синий огонек примуса мигает, мама нервничает. Быстро снимает кастрюлю, снимает ажурную головку примуса и начинает быстро-быстро щеточкой чистить, а потом водит блестящей палочкой с набалдашником туда-сюда, всовывает ее в круглый блестящий бок примуса. Это называется «качать примус». Примус оживает, горит синий огонек под кастрюлей. Я не люблю ходить на кухню. Мне кажется, мама там чужая. Моя тихая мама вдруг кричит:

– Это – цыпленок?! Это – цыпленок?! Это – дохлый петух! Сколько он будет вариться? Я вам дала деньги на цыпленка, а вы…

Мотя, которая купила этого петуха, стоит рядом.

– Он никогда не сварится. Придет Здравко Васильевич, чем я буду его кормить?

Я не слышу, чтобы с мамой кто-то разговаривал. Я вообще никого не вижу на кухне. Я никого не помню из соседей, не помню, чтобы мама с кем-нибудь дружила. Дверь в нашу большую комнату, вторая от парадного, всегда плотно закрыта. Как и все другие высокие двери в полутемном коридоре. Коридор заворачивает куда-то направо и исчезает в полумраке, я никогда не доходила до его конца. Мама мне не разрешает выходить не только на лестницу или спускаться к злому титану, но и в коридор. Я очень тихая. Мама не разрешает шуметь. И вся наша квартира тихая. «Тиха, как бумага», – это про нее сказал Мандельштам. Дом тоже тихий. И только среди ночи иногда где-то раздается особенный звонок, срывающий всех с постелей, громкий, требовательный…

Из нашего дома по ночам уводят. Но я этого пока не знаю. Как понимаю сейчас, уводят именно тех профессоров, которые так блестяще читали папе лекции всего пять лет тому назад.

С Мотей расстались после того, как она надела мамино платье и пошла на свидание. Но папа, как теперь мне кажется, подозревал в ней доносчицу. Тогда в нашу жизнь вошла новая фамилия – Зак. Это новый сосед по квартире, занявший комнату

рядом с нашей. Теперь я понимаю, что у папы был нюх на сыщиков. Зак… Зак… Из всех соседей я помню лишь его. Именно его мы встречаем в коридоре. Небольшого роста, черный, угодливый человечек, всегда улыбавшийся мне и маме, когда мы проходим в нашу комнату. И папа и мама говорят тихо: за стеной – Зак.

Все чаще папа возвращается домой мрачным, с черными полукружиями под глазами. Папа ложится на оттоманку, мама придвигает высокий, обитый дерматином стул и садится у изголовья.

– Вера, – шепчет папа, – арестован Христо Кабакчиев. Помнишь? Я рассказывал? Я его доклады слушал еще в Болгарии на конгрессах партии. Он был так же известен у нас, как Благоев. Это один из лучших людей и умов. Андрей сегодня сказал, что отец его тоже ожидает ареста.

– Отец Андрея? Луканов?

– Тише. Да, Тодор Луканов, тот, который остановил восстание июньское. В Плевне. Он был членом ЦК БКП.

Какое-то время они молчат. Потом папа, пересилив себя, говорит:

– Сегодня я узнал, что арестован Мирчо.

– Твой Мирчо? – вскрикивает мама.

– Тише. Да, Мирчо. Знаешь, сколько раз мы с ним рисковали жизнью в Австрии!

– А Кирчо?

Папа молчит, смотрит на маму. Ее лицо уже не напоминает лик Богородицы, оно сведено ужасом.

– А Кирчо?

– Кирчо тоже.

– Давно?

– Нет, на днях. И уже давно арестован Константин Иванович Бочаров. Преданнейший член партии, талантливейший ученый, профессор, автор многих книг по военной истории. Да ты должна помнить его, у Дубовых с ним встречались. Он на все праздники приходил.

Мама качает головой. Она не помнит Бочарова. Но от слов папиных ее начинает трясти. Она никак не может справиться с ознобом.

– Мы вместе возглавляли болгарское землячество в Ленинграде, – говорит папа. – Бочаров был секретарем политэмигрантской партийной группы, в состав руководства входил и я.

Не знаю, как спят эту ночь родители, но рано утром папа уходит на работу. Нужна была огромная сила воли, чтобы

продолжать все так же работать, заниматься.

«В течение второго года адъюнктуры изучалось лечение экспериментальных и клинических поражений БОВ. Методика военной токсикологии была новая для ВМА. Она была связана с исследованием внешней и внутренней среды организма человека, попавшего под воздействие БОВ. При отравлениях большинством БОВ содержание кислорода в атмосфере и в крови организма человека уменьшалось. Отсюда возникала необходимость исследования количества кислорода. Для этой цели применялась газометрическая методика – волуметрическая и манометрическая. Я использовал более точный – манометрический – метод. С его помощью определял количество обоих основных газов в организме – кислорода и двуокиси углерода… Для создания экспериментальных объектов для научных исследований или для демонстрации слушателям надо было проводить экспериментальные затравки различных видов животных. Это делалось посредством специфической токсикологической методики в герметизированных камерах. Их было два вида: статическая и динамическая… В камеру непрерывно поступал воздух и дозированное отравляющее вещество, так что количество ОВ в камере держалось на постоянном уровне. При обоих методах отравления поведение отравленного животного можно было хорошо наблюдать со всех сторон. Для массовых отравлений животных существовали опытные химические полигоны в отдаленных пустынных местностях…

В богатых библиотеках Ленинграда – фундаментальной ВМА, публичной им. Салтыкова-Щедрина, Института физиологии АН СССР – я проследил почти всю русскую и иностранную литературу по этому вопросу. После этого я провел сотни опытов, преимущественно на собаках. В следующем году я работал с больными в различных гипоксемических состояниях: эмфиземе легких, бронхиальной астме, легочном сердце, случайным отравлении разного рода токсическими веществами и др. Больные с заводов и научных учреждений, лабораторий поступали в нашу клинику института профзаболеваний в Ленинграде, где я добровольно работал и проводил ночные дежурства…

Для точного определения эффективности подкожной кислородной терапии необходимо было знать количество и скорость поступающего с подкожного кислородного пузыря кислорода в организм отравленного. Для этой цели я сконструировал маленький манометрический аппарат. Результат моих исследований доказал, что метод подкожной кислородной терапии при поражениях боевыми отравляющими веществами не эффективен, эффективным в этих случаях является

ингаляционный метод, т. е. вдыхание кислорода».

Летом 1937 года папа, вместо того, чтобы ехать в Ессентуки, лечить печень, что делал ежегодно, едет с нами в Рыльск.

Это лето было страшным для моих родителей. Исчезла радость из жизни. Исчезла шутка. Возможно, поэтому я то лето совсем не помню и знаю лишь со слов мамы. Остановились мы не у тети Лели, а сняли комнату в доме на Вознесенской горке. Войдя впервые в низенькую темную комнату, я прижалась в страхе к маме – на меня из угла строго смотрела странная женщина.

– Мама, это что за цыганка?

Я почувствовала, как мама растерялась. Склонилась ко мне и прошептала:

– Это не цыганка, это Богородица.

По ночам выл ветер в трубе, хлопала калитка, мама вскакивала с кровати, подходила к окну, всматривалась в темный двор. Смотрела с черной доски Богоматерь. Целый месяц все ночи мама простаивала у окна, сторожила. А днем «они» даже не прятались. Каждый день несли службу. Куда бы мы ни пошли, за нами шел человек в зеленой фуражке. Он и не думал скрываться. Он следовал на определенном расстоянии. Однажды на мосту, переходя Сейм, мы остановились. Мама оглянулась.

– Здравко, – сказала мама. – Я сейчас подойду к нему, спрошу, что ему надо!

И мама решительно пошла назад. Человек в зеленой фуражке тоже остановился, повернулся к перилам и стал глядеть на воду. Когда мама поравнялась с ним, они взглянули друг на друга, и он опустил глаза. Возможно, это был давнишний знакомый мамы. В Рыльске ведь все почти друг друга знали.

Просматривая списки расстрелянных в подмосковных Бутове и Коммунарке, я выписала имена болгар. Я, конечно, знала о существовании разнарядок, но все же увидеть это своими глазами! Все болгары, внесенные в эти списки, были арестованы в Москве почти одновременно с папой – месяцем или неделей раньше. Одно и то же обвинение в шпионаже, и все реабилитированы в 1956 году. Не знаю, скольких из них папа знал лично, но двоих – несомненно. Возможно, это не совсем к месту, но я перечислю имена убитых болгар, лежащих во рвах в Бутове и Коммунарке.

1. Чехларов Б. Ф. Арестован 4 ноября 1937 г. Расстрелян 11 апреля 1938 г.

2. Филиппов Б. Д. (Роката). Арестован 16 декабря 1937 г. Расстрелян 8 февраля 1938 г.

3. Ангелов П. И. Арестован 22 декабря 1937 г. Расстрелян 17 сентября 1938 г.

4. Такев Л. Т. Арестован 16 января 1938 г. Расстрелян 16 августа 1938 г.

5. Михайлов М. С. Арестован 17 января 1938 г. Расстрелян 13 августа 1938 г.

6. Бедев Д. И. Арестован 4 февраля 1938 г. Расстрелян 10 июля 1938 г.

7. Манчев Б. П. Арестован 10 февраля 1938 г. Расстрелян 9 августа 1938 г.

8. Давидович В. А. Арестован 16 февраля 1938 г. Расстрелян 9 августа 1938 г.

9. Медникаров А. К. Арестован 16 февраля 1938 г. Расстрелян 13 августа 1938 г.

10. Димова П. Д. Арестована 19 февраля 1938 г. Расстреляна 10 августа 1938 г.

11. Березкин А. С. Арестован 26 февраля 1938 г. Расстрелян 13 августа 1938 г.

12. Тодовичен А. Т. Арестован 3 марта 1938 г. Расстрелян 7 сентября 1938 г.

13. Марков-Радински В. И. Арестован 3 марта 1938 г. Расстрелян 7 сентября 1938 г.

14. Павлов Н. В. Арестован 9 марта 1938 г. Расстрелян 13 августа 1938 г.

15. Гутов Г. И. Арестован 10 марта 1938 г. Расстрелян 13 августа 1938 г.

16. Калайджиев Л. Х. Арестован в июле 1938 г. Расстрелян 16 августа 1938 г.

В предисловии к «Расстрельным спискам» читаем:

«В “Коммунарке” тела расстрелянных закапывали в общих рвах. Убийцы, заботившиеся о том, чтобы скрыть следы совершенных ими преступлений, не только отняли жизнь у своих жертв. Заодно они попытались истребить саму память о казненных, лишив их права на единственный вид бессмертия, которое люди могут обеспечить своим умершим, – права на отдельную могилу».

Недавно мы с мужем побывали в Коммунарке. Подошли к маленькой зеленой калитке, в сплошном высоком деревянном заборе. Позвонили. Через какое-то время нам открыли, и мы

оказались в глухом, мрачном лесу. Пошли по узкой тропинке вдоль забора. Забор высокий, сколоченный из крепких досок, скрепленных железными болтами. Сверху натянуто несколько рядов колючей проволоки. Могил нет. Только страшные провалы в земле среди деревьев. Тишина. И страх.

Знал ли об этом папа тогда? Что-то, конечно, знал. Может, не предполагал таких масштабов, может, не думал, что все они расстреляны. Но комбриг Бочаров Константин Иванович, он же Крум Жеков Бычваров, уже расстрелян; в 1938 году сброшен в ров в Коммунарке Вылков Иван Иванович (Вырбеков). Там же лежит и Борис Димитров Филиппов-Чолаев (Роката), зав. подотделом Коминтерна, тот, с которым папа вместе покинул Вену в 1927 году. Роката, который готовил папе документы для эмиграции в Советский Союз. И Петко Илиев Ангелов, который спасся от фашистского террора в Болгарии с помощью папы. В конце января расстрелян Цветков Павел Иванович, секретарь комсомола Болгарии; расстреляна Параскева Димова – с ней он маршировал по улицам родного города в красных рубахах, подпоясанных красным шнуром… Расстреляны и лежат во рвах Бутова или Коммунарки Медникаров, Тодовичен, Бедев – все они спаслись от фашизма в Болгарии, и папа был одним из их проводников. Знает или не знает папа, что каждый второй из тех, кого перевели через нелегальный канал в 1925–1927 годах, арестован?

Террор. Был фашистский террор в Болгарии, когда погибли Каравасилев и Минков, когда папа в течение двух с половиной лет с риском для жизни спасал коммунистов, выводил их по нелегальному каналу. Теперь настал террор «коммунистический».

Страшно перелистывать газеты 1937–1938 годов!

Как спасательный круг, бросает папе родная академия все больше и больше работы. Он хочет защитить диссертацию в срок, чего почти никому не удавалось.

«Третий год адъюнктского обучения (37–38 гг.) шел на проведение практических занятий со слушателями (преподавательская работа) и оформление диссертационной работы. Адъюнктура заканчивалась публичной защитой диссертации перед Ученым советом академии. Обыкновенно, по различным причинам, адъюнкты не укладывались в трехгодичный срок обучения.

Мой срок адъюнктуры истекал в мае 1938 г., я готов был защитить диссертацию в срок. Однако 29 марта 1938 г. я был арестован».

…В 1957 году к нам в Софию стали приезжать незнакомые мне люди, только что амнистированные, и среди них Оскар Геринг, польский еврей, политэмигрант, кончавший с папой

Военно-медицинскую академию. И тогда я впервые узнала кое-что о папином прошлом.

В актовом зале академии собрались члены ВКП(б). Оскара Геринга исключали из партии. В то время это означало: вскоре – арест. Все сидящие в зале это понимали. Понимал и папа. Все молча проголосовали. Все, кроме папы. Папа, черный лицом, медленно встал, прошел по залу к президиуму. Возможно, у него в руках была развернутая газета «Правда» от 19 января 1938 года. Папа поднялся на трибуну и хриплым от волнения голосом сказал:

– То, что Оскар Геринг приехал из-за границы, еще не является основанием для его исключения.

Возможно, папа развернул газету так, чтобы всем сидящим в зале был виден заголовок: «Постановление Пленума ЦК ВКП (б). Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП (б) и о мерах по устранению этих недостатков».

– Из постановления пленума, – сказал папа, откашливаясь, – вторая страница, третья колонка, третий абзац сверху. Вот оно, это место.

Пора понять, что «партия стала для члена партии очень большим и серьезным делом; членство в партии или исключение из партии – это большой перелом в жизни человека».

Пора понять, что «для рядовых членов партии пребывание в партии или исключение из партии, – это вопрос жизни и смерти (Сталин). Пора понять, что существо большевистской бдительности состоит в том, чтобы уметь разоблачать врага, как бы хитер и изворотлив он ни был, в какую бы тогу он ни рядился, а не в том, чтобы без разбора или “на всякий случай” исключать десятками и сотнями из партии всех, кто попадется под руку. Пора понять, что большевистская бдительность не только не исключает, а, наоборот, – предполагает умение проявлять максимум осторожности и товарищеской заботы при решении вопросов об исключении из партии или восстановлении исключенных в правах членов партии».

Геринга, конечно, исключили, затем посадили, затем сослали.

Хорошо помню один вечер. В тот вечер папа долго не приходит. Мама тихо выводит меня в коридор, тихо открывает парадное и выпускает меня на лестничную клетку. Это меня, которой не разрешается даже выходить в коридор! Горит неяркая лампочка.

– Идет, – шепчет мама, – Ингочка, обними папу, – и тихо прикрывает дверь.

Присев на корточки, просунув голову между витыми чугунными перилами, я смотрю вниз, в темную пустоту, слышу медленные тяжелые шаги, слышу папино дыхание. И вот снизу, из черного небытия, возникает отец. Медленным движением он сдвигает буденновку на затылок, оставляя ярко-красный след на лбу, и тяжелый не то стон, не то вздох поражает мое сердце. Моя первая боль на свете. Режущая душу боль.

Потом папа долго лежит на оттоманке, закинув руки за голову. Он ничего не говорит. Он молчит. Папа остался наедине с собой. Молчим и мы с мамой. Возможно, папой владело самое сильное чувство – чувство страха и связанное с ним мерзкое сознание позора, зависимости и полной беспомощности. В тот вечер папу исключили из партии.

Ровно десять лет минуло с тех пор, как он, гордый, молодой, только что прибывший в Страну Советов, был неописуемо счастлив тем, что его комсомольский стаж в Болгарии присоединили к стажу в ВКП(б). Теперь партийный билет отобран. Вся жизнь разорвана. И он точно знает: это только начало. Обязательное, ужасное продолжение произойдет вот-вот. Со дня на день. И надо опять и опять продумать, как себя вести и что делать с Верой.

Мало кто хочет прочесть опыт собственной жизни. Трудно. Но еще труднее думать о том отрезке времени, в котором ты жил, действовал, мечтал. Папа очень возмужал за это время, и не только потому, что передумал и понял очень многое – он почувствовал ответственность за все происходящее. В молодости было доверие к поискам социальной справедливости, а сейчас? Ужас. Ужас от происходящего. Крушение идеалов, в борьбе за реализацию которых он принимал участие. И страх. Были, конечно, и те, кто не осознал слепой беспощадности машины террора и твердо верил, что его, преданного и исполнительного, никто не тронет, если, разумеется, не произойдет ошибки. Многие успокаивали себя: нет дыма без огня, и раз сосед арестован, значит, он в чем-то замешан. Такой человек сразу терялся, когда приходили за ним и предъявляли ему обвинения в его преступлениях. Но папа не мог заблуждаться: уже сплошь сидели те, которых он знал и которым верил безоговорочно.

Как точно выразил Мандельштам такое состояние: «Куда мне деться в этом январе?»

Вот фотография с надписью: февраль 1938 г. Я в вельветовом коричневом платье, с огромным бантом на голове. Подперев голову рукой, я кокетливо, по-взрослому улыбаюсь в объектив. И

слова: «Авка, молчать!» – не имеют ко мне никакого отношения.

Мой день рождения, четыре года. Сегодня мама получила письмо из Рыльска от сестры (тети Лели) – арестован Константин Герасимович. Но я этого, конечно, не знаю. Я счастлива. За столом сидят взрослые: Андрей Луканов с женой Анной Ванной, Радайкин, Рахиль Моисеевна. Трое военных – в гимнастерках, перепоясанных крест-накрест ремнями. Уютный теплый свет оранжевого абажура, непременного в то время в каждой квартире… Чернеет оттоманка в углу. Сидит моя подружка Инесса, про которую ее отец, Андрей Луканов, говорит: «Разве она ест? Она жрет». У меня к ней покровительственное отношение: во-первых, она очень толстая, во-вторых – младше меня. Сидит Майя. Она чуть старше, держится неприступно. Пополневшая мама накрывает на стол. Мама ждет ребенка, и я потом долго не смогу отогнать мучительную мысль: может, родители надеялись – не арестуют, раз жена беременна?

Через три дня на работе папа читает передовицу в «Правде» от 28 февраля 1938 г.: «Правотроцкистский блок убийц, шпионов, предателей…» Дальнейший текст своим стилем, нагнетанием злобы и жестокости, грубыми и бездоказательными формулировками говорит сам за себя:

«Прокуратура Союза ССР сообщает о предстоящем 2 марта с.г. рассмотрении в открытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР дела о преступной деятельности заговорщической группы под названием “правотроцкистский блок”. К судебной ответственности по обвинению в шпионаже, вредительской, диверсионной и террористической деятельности привлечены: Бухарин Н. И., Рыков А. И., Ягода Г. Г. … Сотни миллионов рабочих, крестьян, честных интеллигентов во всем мире содрогнутся от негодования и омерзения, когда узнают о чудовищном заговоре, о кошмарных, леденящих душу преступлениях банды гнусных убийц, шпионов, фашистских заговорщиков, объединившихся в правотроцкистский блок… Разоблаченные славными органами НКВД СССР и преданные суду подлые заговорщики в течение долгого ряда лет были шпионами на службе иностранных разведок… Они задумали, подготовили и организовали убийство любимого сына советского народа Сергея Мироновича Кирова. Они подготовили покушение на жизнь руководителей партии большевиков и Советского правительства. Самыми отвратительными средствами, перед которыми останавливается воображение честных людей, они осуществили, при помощи фашистов, извергов врачей, злодейское умерщвление товарищей В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинского, А. М. Горького. В лютой, волчьей злобе они подняли руку на преданных делу

народа борцов за коммунизм… Троцкий, Бухарин, Рыков и пр. предательски обещали империалистическим захватчикам обеспечить поражение Красной Армии и подготовляли это поражение выдачей военных тайн, шпионажем, диверсией и террористическими актами.

Всех этих бандитов, шпионов, провокаторов объединяло и объединяет одно: бешеная, лютая, звериная ненависть к социализму, к партии большевиков, к советскому народу, который строит социалистическое общество… Доблестная советская разведка, зорко стоящая на страже интересов родины и народа, оборвала гнусную деятельность троцкистско-бухаринской банды… На скамье подсудимых они сидят как подлейшие предатели родины, как то человеческое отребье, которому нет места на земном шаре среди честных людей. Преступления этих выродков поистине чудовищны. И советский суд, нет сомнения, воздаст им по заслугам».

Отчеты о судебных заседаниях печатаются с 3 марта ежедневно в «Правде». 7 марта в «Правде» опубликован допрос Бухарина, 11 марта – речь государственного обвинителя прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского, 12 марта, на вечернем заседании, – последнее слово Бухарина.

…Папа только что вернулся с работы, он прочел «Правду» и последнее слово Бухарина. Он прочел и заключительную речь Вышинского. Они сидят с мамой на черной оттоманке. Как избавиться от книги Бухарина? Вероятно, папа уже знает, что за каждым его шагом следят.

– Вера, вынеси ее в уборную. Пусть видят, что ей место только в уборной.

Обложка сорвана, первые страницы вырваны. Через пять минут папа опомнился:

– Нет, лучше забери. Выбросим в другом месте.

Через пять минут мама вернулась, чтобы взять книгу обратно. Книги на месте не было. Всего пять минут.

Почему папа допустил такую оплошность? Или уже не мог терпеть? Как когда-то в поезде в Югославии не смог выбросить компрометирующие его газеты? Сыщик следил открыто. Тогда просто не смог, а сейчас не успел избавиться от книги так им чтимого Бухарина? Возможно, не рассчитал…

Последнее радостное событие в моей жизни весной 1938 года произошло за две недели до папиного ареста. И запомнилось белым снегом белых бумажек, летящих сверху из всех окон, всеобщим ликованием. Папа и мама рядом крепко держат меня за руки. Белый снег листовок все сыпется сверху, листовки шуршат под ногами. Папа сажает меня на плечи:

– Папанин, – говорит он. – Смотри – папанинцы…

По улице едут машины, одна за другой. Не знаю, какие машины, но в воспоминаниях остались открытые машины в белом снегу листовок, радостные крики, яркое солнце, смех… Да, почему-то вспоминается яркое весеннее солнце, хотя папанинцы ехали по улицам уже вечером – впрочем, в марте в Ленинграде темнеет поздно.

Со дня встречи папанинцев прошло две недели. И *они* вошли в комнату… Была темная ночь. Ярко горела лампа под абажуром. У нашей двери стоял дворник в белом халате, одетом на ватник. Стоял энкавэдэшник. Другой перелистывал книги. Отец, весь черный, сидел за столом опустив голову. Энкавэдэшник подошел к этажерке, перелистал рукописи, кинул готовую диссертацию на пол. Отец подскочил поднять.

– Сидеть!

Отец отвернулся и сказал:

– Вера, я хочу есть.

Папа ел медленно, старательно пережевывая. Ел, не глядя по сторонам. Мама, застыв на черной оттоманке, смотрела не отрываясь на папу. Потом папа попросил разбудить меня. Он уже не имел права сам выйти в другую комнату.

Мама принесла меня сонную, в ночной рубашке, папа посадил меня на плечи и стал кружить вокруг стола. Он был в гимнастерке без пояса. Мне очень хотелось спать, и я опустила голову на папин затылок. Свет от оранжевого абажура бил прямо в глаза. Квартира замерла. Наутро многие соседи будут выражать маме сочувствие. Но нас тут же выселят в маленькую каморку с выходом на кухню, а в наших комнатах отныне будет жить Зак.

Наутро мама побежит на работу, боясь опоздать (опоздание – от года до трех лет тюрьмы, прогул – три года), заплачет, уронив голову на стол, и услышит голос заведующей:

– Что вы плачете? Ваш муж – враг народа, а вы плачете? Зря у нас не сажают!

А еще мама побежит в «Большой дом» – огромный, гладкий и удивительно лживый – будто то, что творилось внутри, с трудом скрывали облицованные гранитом стены. Мама прождет там два часа с половиной, чтобы узнать, где ее муж; наутро маму уволят с работы, у нее отнимется нога, и чужие люди вынесут ее из трамвая.

А сейчас мама сидит и ждет… Она не плачет, только не отрываясь смотрит на мужа. Лицо сведено судорогой. Папа медленно кружит со мной по комнате.

И вот папу уводят. Уводят не по широкой, парадной

лестнице, а по узкой, крутой, темной. Уводят с черного хода, через дверь, которую открыли два часа назад, сорвав доски. Наши друзья, старички швейцары, не видят этого. Но утром узнают, выходят из своей комнаты и, как всегда, кланяются маме.

Папа спускается по лестнице в шинели без пояса, с маленьким узелком в руках, опустив голову. Он вышел в наш узкий маленький дворик и сел в воронок, темный, перегороженный на тесные камеры. Втолкнули в клетку, щелкнул замок, энкавэдэшник сел спиной к шоферу. Я не знаю, какого цвета «черный ворон» был в то время в Ленинграде. В Москве – знаю. Даже в одной московской школе первоклассники тогда на вопрос, какого цвета ворон, дружно ответили – *зеленого*. Потом, в 1940–1950-е, будут летать по городу ярко раскрашенные воронки с надписями: «Мясо», «Хлеб».

Папа прислушивался, считал повороты. На стыках Литейного моста машина подскочила. Дальше – «Большой дом». Я думаю, *они* должны были согласовывать аресты со временем разведения мостов. Не могли же воронки стоять и ждать, когда можно будет проехать. Вероятно, все это происходило после сведения мостов. Значит, глубокой ночью. В «Большом доме» «врага народа» зарегистрировали, раздели догола, прощупали всю одежду.

– Лицом к стене! Раздвинуть ягодицы!

Здесь не крикнешь, как когда-то в венской тюрьме…

– Смотреть прямо! Налево!

Фотоаппарат щелкает. Папа пытается все делать четко, по-военному, но пуговицы срезаны, пояс отобран, ремней нет. Он придерживает локтями сползающие галифе.

– Пальцы! – И ему мажут черной краской пальцы. Один… другой…

– Мыть!

А затем… Втолкнули в камеру, прогремели замки, и отец остался в каменном мешке, без окна, где-то наверху слабо горит лампочка, забранная черной сеткой, в правом углу – параша отравляет и без того спертый воздух. Папа свалился на влажный каменный пол и сразу заснул, поджав под себя ноги. Бессонные ожидания кончились.

Да, возможно, все было по-другому. Но я пишу и вижу – как папа, обритый наголо, худой, с ввалившимися глазами, с крепко сжатыми губами, шел по ковровой дорожке в кабинет следователя, придерживая локтями галифе. Шел униженный, смятый, шел, стараясь не выдать волнения… Одного этого пережитого мгновения хватило бы на всю жизнь…

Папа всегда говорил нам с мамой, что его не пытали и

допрашивали всего один раз за все двадцать месяцев тюрьмы. Но недавно мой двоюродный брат, Владислав Георгиевич Курдюмов, тихо возразил мне:

– Он мне рассказывал, как его ставили на несколько дней в каменный мешок.

Из записок людей сидевших я знаю, что это такое – каменный мешок. Размерами с высокий одностворчатый шкаф. Там можно только стоять, нельзя присесть, нельзя согнуть ноги. Карцер.

Если папа попал в карцер, что было причиной? Нарушение тюремных правил? Протест? Или неудачный допрос?

Какой-то гестаповский следователь писал, что для каждого приходит свой час и нет ни одного человека, который бы не подписал то, что требуется, если за него хорошо взяться. У Шаламова я прочла: арестованный готовится к допросу, напрягаясь изо всех сил. А допроса нет. Нет неделю, месяц, два месяца. Всю работу по подавлению психики арестанта за следователя делает тюремная камера. Но папа оказался сильнее…

Если папу в самом деле допрашивали только один раз, то именно тогда он услышал от следователя:

– Да ты, я вижу, стреляный воробей!

В ответ на что?

У Домбровского я прочла про такой прием.

– Подпишешь, когда услышишь, что твоя жена кричит, – сказал следователь.

И тогда арестант ответил:

– Хочу дать наедине уполномоченному НКВД важные показания.

Когда они остались вдвоем, энкавэдэшник услышал:

– Имейте в виду, если жену арестуют, я дам такие показания, что вы сядете крепче меня….

А недавно я узнала от моего сына Сережи, как это происходило на самом деле. Вот что рассказал ему дед, мой папа:

– Следователь напишет протокол, а там где-нибудь какое-то слово заменено или какая-нибудь двусмысленная фраза, и дает мне подписать – я этот протокол сразу рву на части и бросаю на пол. Как я разорвал несколько протоколов, следователь и сказал: «стреляный воробей».

И еще одну подробность я знаю – на допросе папе предъявили книгу Бухарина. И упомянули про Зака.

«Весь срок репрессий 1938–1939 гг. я был только в Ленинграде и прошел сквозь четыре тюрьмы. Первая тюрьма была та, про которую революционеры до Октябрьской революции говорили:

Все не ново в Петрограде!

Скоро встретимся опять:
По Литейному четыре,
По Шпалерной двадцать пять».

Шли дни, месяцы, менялись тюрьмы, менялись люди. По ночам в глаза светили яркие, невозможно яркие лампы; на завтрак, обед и ужин приносили селедку, на которую набрасывались голодные арестанты. И не приносили пить. Казалось бы, ничего особенного, а на самом деле – утонченная пытка. За окном висели ящики, закрывая небо. Гимнастерка истлела. Я не знаю, подписал бы папа обвинение, если бы его избивали. Этого никто не знает. Но его не избивали. Только селедка, жажда, яркий свет в глаза. В 6 часов утра по звонку подъем, оправка, по очереди несут парашу. Перед входом в уборную выдают маленький квадратный клочок бумаги, который надо после использования бросить в железный ящик, чтобы затем взрослые люди занимались подсчетом и изучали испачканные бумажки. Входит дежурный с лампой и тщательно осматривает стены – не оставлены ли какие знаки. Возвращаются в камеру так же, как выходят, – гуськом. Менялись тюрьмы – большие камеры, одиночки, сводчатые стены в подтеках или покрытые масляной краской, с нарами вдоль стен или без нар, шумные – кто-то ссорился, кричал, плакал в голос – или тихие, где за крик – карцер. Но везде и всегда тюремный запах дезинфекции, параши, сапог, махорки, грязного больного тела, вповалку лежащие или стоящие впритык друг к другу серые, как тряпье, тела. Гулять всегда по асфальтированной площадке, без травинки, без деревца, и только наверху небо – то светлое, голубое, весеннее, то синее летом, мрачное осенью, темное зимой, на него не наденешь намордник. Но поднять голову нельзя, сразу вся камера будет лишена прогулки.

И везде и всегда на любую жалобу следовал неизменный ответ: «Снявши голову, по волосам не плачут». Раз в месяц передачи, деньги на папиросы «Беломорканал».

Идет весна, лето, осень, зима, опять весна… И так – двадцать месяцев.

Однажды, когда вернулись с прогулки, заметили, что подпись «Ежов» на правилах внутреннего распорядка заклеена фамилией «Берия».

Сразу же после ареста папы мы уехали из Ленинграда в Рыльск, хотя письмо мамы к Жданову (секретарю Ленинградского обкома и горкома партии) возымело действие – ее, как

беременную, восстановили на работе. Мама писала и Димитрову и Коларову. Никто не помог. (Хотя… кто знает?)

Провожал нас дядя Леля, Емельян Николаевич Лазарев, сын тети Вари, мамин троюродный брат. Он же и купил нам билеты в военной кассе. Я помню блестящую темноту перрона, носильщик нес вещи, мама быстро шла за ним. Дядя Леля, красивый, высокий, в распахнутой шинели, неспешно двигался со мной на руках к нашему вагону. Я прижималась к его груди, чувствуя себя защищенной. Но по-другому, чем с папой. У папы сила – туго скрученная пружина, которая, распрямляясь, могла больно ударить обидчика. Веселая сила дядя Лели складывалась из русого чуба, серых глаз, широких плеч, открытой улыбки. Казалось, он и шинель распахнул потому, что сила рвалась наружу. Я помню, как шептались взрослые, что у дяди Лели есть женщина, что он играет на скачках и что это – замашки прежней барской жизни. С папой они не дружили. Недавно я узнала, что дядя Леля во время Гражданской войны командовал полком.

Дядю Лелю, Емельяна Николаевича Лазарева, арестовали в 1948–1949 гг., после войны, которую он окончил полковником, комендантом немецкого города. Амнистируют после смерти Сталина. А сейчас он стоял на перроне и, улыбаясь, махал маме рукой.

– Это ваш муж? – спросил сосед по купе.

– Нет, брат. Муж в командировке. – И, оглянувшись на наши чемоданы, пояснила: – В длительной.

– А-а-а, – сказал сосед и посадил меня к себе на колени, обтянутые, как у папы, галифе.

– Мама, ведь это неправда, – сказала я, – папа в тюрьме.

Мама взглянула на попутчиков, и они в один голос сказали:

– Это то же самое.

Интересно, как устроена человеческая память. В 1938 году мы ехали, как обычно, с пересадкой в Кореневе, и «кукушка»[12] довозила нас до Рыльска. В 1953 году, когда студенткой ЛГУ ехала на практику на Ворсклу, я неожиданно проснулась ночью. Поезд стоял, и в открытое окно из темноты лился знакомый шелест листьев. «Коренево, Коренево», – пронеслось по коридору. Не может быть! Какое-то время я лежала не двигаясь. Потом высунулась в окно. И увидела огромные кроны высоких деревьев. Густая листва громко шелестела. И я вспомнила! Да, в Рыльск мы добирались на поезде Ленинград – Харьков, на этом же самом поезде! Он приходил в Коренево всегда ночью, а «кукушку» ждали в скверике. Сидя на скамейке, выйдя из душного вагона, я вдыхала – нет, пила! – свежий запах наступившего лета. Могуче и тревожно шумели густые кроны надо мной. Именно от этого

шелеста я и проснулась летом 1953-го. Я лежала в вагоне и вслушивалась, будто узнавая родную речь.

В Рыльск мы приехали ночью. Тетя Леля выслала за нами подводу. В подводе было настлано сено, прикрытое старым пальто. Другим пальто прикрыли меня. Стояли холодные ночи ранней весны.

Первые слова, которые я услышала, поразили меня и показали, что все будет не так, как раньше. Слова были «эгоистка» и «актриса». Эти слова относились ко мне, и произнесла их моя тетя. Меня не принимали в Рыльске – за темные глаза, черные брови, смуглую кожу, за имя, от которого, по словам Гурьяна Тихоновича, сапожника, проживавшего в полуподвальном этаже, пахло псиной. Он подзывал к себе моего двоюродного брата Горика: «Вот это наш. Белолицый. Сероглазый». А я ходила мимо его вечно темных окон над землей, не поворачивая головы.

На карточках того времени я уже совсем не такая, как в Ленинграде. Руки засунуты в карман морской курточки, на голове тюбетейка. Глаза огромные, круглые, сердито и отчаянно глядят в объектив. Рот крепко сжат. В этой курточке я как-то ушла из дома.

– Ухожу к папе, – заявила я.

– Иди, иди, – хмыкнула тетка.

Вероятно, я чем-то их сильно допекла, если меня даже мама не остановила. Я не тешила себя мыслью, что это игра, – я покидала дом навсегда! Спустилась по лестнице на террасе, открыла тяжелую парадную деревянную дверь и вышла на улицу. Выходить на улицу категорически запрещалось, но сейчас – прочь теткины запреты! Я завернула за угол и медленно пошла в сторону реки. Через несколько кварталов остановилась перед странной, довольно узкой дверью с матовым стеклом. Рядом на стене под обычным стеклом висели фотографии. Задрав высоко голову, я стала внимательно рассматривать их. Множество незнакомых лиц смотрели на меня, и я испугалась. И тут вдруг в конце улицы заметила прижимающуюся к стене маму. Но, заложив за спину руки, медленно двинулась дальше.

– Куда ты идешь, Ингочка? – догнала меня мама.

– В Ленинград.

– Как же ты туда доберешься?

Ответ последовал сразу: я давно знала как.

– По рельсам.

– Папы же нет в Ленинграде, – сказала мама, положив руку мне на голову, – ты забыла, он же в длительной командировке.

И мы вернулись домой.

Постепенно жизнь наладилась и потекла – с жарким летом, гулянием во дворе, купанием. Вероятно, быт этого города остался таким же, как и в мамином детстве. Базарная площадь с разбросанным сеном, запах конского навоза, глиняные кувшины топленого молока с коричневой пенкой, горочка только что сбитого масла на листе лопуха, крынки со сметаной. Тетя Леля ходила по базару, пробовала пальцем творог, сметану, торговалась. Лавки с керосином, колодцы на улицах. При входе на базар – маленькая кирпичная побеленная часовня с надписью «Соль». Из двадцати церквей не работало ни одной, и их печальные, полуразрушенные колокольни возвышались над невысокими домами. С утра я по-прежнему играла с Гориком во дворе. Двор был большой, заросший мягкой травой. Из двора маленькая калитка вела в сад. В сад нам ходить не разрешала Зоя Тихоновна, хозяйка дома. Две маленькие фигурки, одна в белых трусиках и тюбетейке, другая – в зеленых штанишках на бретельках и белой шапочке, ходили по двору и разговаривали. Мама и тетка выглядывали из окна кухни, недоумевали, о чем можно все время говорить. Мы сочиняли истории из жизни взрослых. Чаще всего я была врачом.

Диагностический набор – стетоскоп, молоточек, пинцет и лопаточка, которым папу наградили после окончания академии, – мама как дорогую реликвию вывезла из Ленинграда. Инструменты в коробочке с мягкими синими стеночками были единственной моей игрушкой. Кукол у меня не было, да и не было желания их иметь. А вот во врача я играла с упоением. Это было знакомое и понятное занятие. Я стучала молоточком по ладошке, по коленям, мягкий кончик с одной стороны и металлический с другой радовали меня, блестящая лопаточка напоминала мне сверкание инструментов в клинике. Это был обожаемый мною мир, связанный с папой, где с ощущением своей значимости я важно шагала по длинным коридорам клиники в серых рейтузах и сером свитере с двумя маленькими кармашками на груди. Белые халаты, тихий разговор, неповторимый запах, который теперь отсутствует в больницах – запах спирта и йода, – все было создано специально для меня, как и маленькие кармашки на груди для карамельки.

После обеда полагалось спать. Чаще всего я просто лежала в жаркой, душной комнате с занавешенным одеялом окном и в сонном полумраке следила за пылью в лучах солнца, пробивающихся сквозь щель. Громко жужжа, билась на окне муха. Проходил час, я ждала, когда откроется дверь. Часто, чтобы

скоротать время, я брала в кровать гальку, вероятно привезенную еще из Севастополя. Название «галька» приятно ласкало слух. Не «галка», а гладко, нежно – «галька». Небольшая, темно-серая, почти черная и очень гладкая, она скрашивала утомительное лежание. Я то и дело рассматривала ее, лизала, брала в рот, клала на язык, перекатывала из кулака в кулак. Мама предупредила, что если я проглочу гальку, то умру. И вот однажды по теткиной квартире пронесся мой отчаянный крик:

– Я сейчас умру!

В комнату ворвались одновременно мама и тетя Леля.

– Я проглотила гальку! – выкрикнула я, сидя в кровати, готовясь тут же умереть.

Я не очень поняла, почему мой столь сильный испуг был встречен с некоторым облегчением.

– Ингочка, – сказала тетка, стоя в дверях, – ничего страшного не произошло. – И, видя мое недоверие, добавила: – Она сама выйдет. Помнишь, какая она была гладкая, она заскользит, заскользит и выйдет.

– Ничего не случится, ничего не случится, надо просто подождать, – говорила мама, покачивая меня на коленях.

Купание ломало день пополам. Мама выводила меня во двор, ставила в таз, разомлевшее со сна тело омывалось прохладной душистой водой. Вода, согретая на солнце, и мыло источали неповторимый запах лета, травы и цветов. После купания мама надевала мне вместо трусиков нарядное платье, носочки, сандалии, завязывала бант. После купания можно было гулять с мамой и выходить на улицу. Голышом выходить за ворота тетка запрещала категорически.

В доме у тетки меня интриговало несколько вещей… Золотые большие ручки на высоких двухстворчатых белых дверях. Всегда сложенный ломберный столик с гнутыми ножками (просунув палец и слегка раздвинув половинки, можно было увидеть зеленое сукно); этот столик был для меня, как для дикаря, священным предметом, он манил меня своей тайной, и часто я слышала: «Отойди от стола!»… Темный шкаф из орехового дерева, на углах которого располагались две страшные козлинобородые рожи, вырезанные из дерева. На одну из этих рож тетя Леля вешала раз в месяц длинный окорок. Мне не разрешалось к нему прикасаться. Этот окорок предназначался для Константина Герасимовича. Кое-что я уже тогда понимала. Дядя ждет этот окорок. Само слово *окорок* звучало заманчиво, но от него тем не менее веяло страхом. Что-то оседало в голове из сказанных шепотом слов, и к окороку я не прикасалась, хотя, спрятавшись за шкаф, подолгу его разглядывала. Он

замечательно пах. В остальное время на месте окорока висела черно-бурая лисица. Ее тоже не разрешалось трогать. И даже гладить. Я понимала – это ценность, такой до тех пор мне не встречалось, и я не видела никогда ее на плечах тети Лели. Лисица с оскаленной пастью и зубами… Кажется, несмотря на все мое любопытство, я ни разу не притронулась к ней, хотя представляла, что ощутит моя рука, если я коснусь пушистого, переливающегося серо-черного меха.

Константина Герасимовича я никогда не видела. Но он тоже, как мамин брат Володя, вошел в мою жизнь. Не трогательным взглядом рано ушедшего из жизни мальчика, а, как ни смешно, именно этим окороком. Уже потом я узнала, что Константин Герасимович Засимчук, сын священника, приехал из Западной Украины, служил землемером, снимал у Клавдии Ивановны Курдюмовой (матери моего деда Вячеслава) комнату. Леля, не видя его, влюбилась в голос. Придя к бабушке, она услышала, как за стенкой незнакомый мужчина пел романс под гитару. На единственной уцелевшей фотографии Константин Герасимович, с бритой наголо головой, что особенно подчеркивает его крупные черты, с мясистым носом, в круглых очках, производит впечатление человека очень умного и гордого, чем-то напоминая лица белогвардейских офицеров из кинофильмов того времени.

Его арестовали почти одновременно с папой: в феврале 1938 года. Вернувшись из командировки, Константин Герасимович, не раздеваясь, только поставив чемодан, сказал тете Леле:

– Накрывай на стол, я сейчас, только на угол купить папирос.

Больше его тетя Леля не видела. На улице его пригласили зайти в НКВД за каким-то разъяснением. Потом дошли слухи, что его застрелили прямо в кабинете на допросе. У него не было папиной выдержки, опыта революционной борьбы, и он замахнулся стулом на следователя. А тот в ответ выпустил в него обойму. «Десять лет без права переписки», – сказали тете Леле, и она перестала ездить в Курск и выстаивать ночь для передачи окорока. Хотя тогда мы еще не догадывались, что это означает расстрел. И ждали. Сравнительно недавно Игорю Константиновичу Засимчуку, Горику, прислали бумагу о реабилитации отца, где дата смерти совершенно другая. Просматривая расстрельные списки, я искала имена тех, кто был арестован в том же феврале 1938 года в Курске и перевезен в Москву. Разнарядка действовала и здесь – за месяц арестовано 28 человек, которые затем были расстреляны в Бутове не позднее августа того же года.

Спустя пять лет, во время войны, мы, оказавшись в оккупации

в Рыльске, провели ночь в здании тюрьмы, и тетя Леля могла увидеть воочию камеру, подобную той, в которой сидел ее муж; а возможно, и ту же самую. Прямо напротив двери было большое окно с двумя рамами и железными прутьями между ними. За окном был приделан деревянный ящик на высоте всего окна. Сверху ящик был закрыт сеткой. В нижней правой части окна была маленькая форточка. Подоконника не было. Стена была покато срезана прямо к железному столу, привинченному к стене на кронштейнах. По сторонам было два привинченных железных стула. Против стола – железная скамья, на которой очень тесно могли усесться три человека. На правой стене были приделаны на шарнирах четыре койки, днем закрытые на замок. Под ними черной краской были написаны цифры – 2, 3, 4, 5, 6, к левой стене также была приделана койка. Над дверью квадратное слуховое окно, заделанное мельчайшей металлической сеткой. В этом отверстии висела лампочка. В двери – волчок, а под ним – кормушка с дверцей, откидывающейся с сухим треском, напоминавшим пистолетный выстрел. В правом углу выступала печь. Около печки стояло деревянное ведро-параша. Тетя Леля сидела в коридоре и топила печь, и меня почему-то это очень пугало. Она топила печь и при свете лучины осматривала вместе с мамой стены камеры. И хотя обе понимали, что это напрасная затея, все же искали следы Константина Герасимовича.

Когда мы приехали в Рыльск, мама была на седьмом месяце беременности. До конца жизни она считала, что пережила это страшное время только благодаря тому, что родила и была вынуждена вести нормальную человеческую жизнь.

Пятого июля мы после обеда отправились на речку, мама с тетей Лелей сидели на берегу, а мы барахтались с Гориком у края, выходить не хотелось.

– Водяной бык кричит, – говорит тетя Леля. – Пора выходить.

– Как он кричит? А мы не слышим! – кричим мы с Гориком.

И хотя мы весело кричим и плещемся, но все же прислушиваемся. Водяной бык!

– Слышите, – тетя Леля поворачивает голову в сторону и прислушивается, – опять закричал.

Я замираю, по горло в теплой реке…

– Ой, – говорю я, – слышу.

И вижу мамино удивление. Мама смеется, но тетка не улыбается. И вдруг:

– Леля, воды отошли.

Мама натягивает на меня платье, и мы, как две подружки, взявшись за руки, быстро идем, почти бежим. Тетя Леля с

Гориком не успевают за нами. Мама не выпускает мою руку, я заглядываю в глаза:

– Куда?

– В больницу, за братиком или сестричкой.

– Только не Ленку, противную девчонку, – говорю я. Я подпрыгиваю, стараясь заглянуть в глаза и убедить. – Только не Ленку!

Я, вероятно, стала бы лучше, если бы она родила сестру, но мама родила брата. И никогда на протяжении всей жизни я не чувствовала недостатка в маминой любви ко мне.

Прошло несколько дней. Окно было распахнуто на улицу, и от рамы, чуть облупившейся, смоченной только что прошедшим дождем, пахло старым деревом и пылью. Я, опершись локтями на белый лоснящийся подоконник, глядела на улицу. В комнате, кроме меня, никого не было. Запах, источаемый намокшей землей, рамой окна, прибитой дождем пылью на дороге, наполнял меня. Тяжелая медная ручка на двери тихо опустилась вниз, и в щель просунулась теткина голова.

– Ты что делаешь?

– Скучаю.

Тетка хмыкнула и качнула головой. Я боялась тетки, звала ее «грозой» и твердо знала, что она меня не понимает. Но так же твердо знала, что тетка была второй после мамы. Дверь закрылась, и я, скользнув взглядом по блестящей ручке, по задвижкам на окнах, мягко желтевших медью, соединила их с тихим летним вечером, старинным домом, теткой и тайной. Тайна была за окном в сумерках, опускавшихся на дорогу, в загадочном доме напротив, где никто не жил, в темных провалах окон церковной колокольни, откуда доносится трепыхание крыльев и взволнованный крик галок. Постепенно крик нарастает, галки волнуются все больше, и вдруг прозрачное, чистое небо взрывается шумом, черные ленты мечутся в сереющем небе, тревожно вскрикивая. Тишина в городе и переполох в небе. Серые сумерки, вскрикивания галок, их метание по сереющему прозрачному небу волновали и тревожили меня. До сих пор крики галок – один из самых волнующих звуков на земле.

– Иди ужинать, – позвала тетка.

В теплом мягком воздухе где-то далеко зародилось, разлилось и поплыло мимо меня могучее пение, смешанное с грустью. Это запели женщины с Дублянки. Протяжные, исполненные грусти, тоски, любви и силы песни следовали одна за другой, проплывали мимо и исчезали где-то в степи, за городом. Это пение охватывало меня, как сумерки за окном, как

черные мечущиеся ленты в небе, как запах пыли после дождя, – это был единый живой мир. Дублянка, маленькая речушка, впадающая в Сейм, текущая под Вознесенской горкой, где менее десяти лет тому назад стояла старинная деревянная церковь Ильи Пророка и где мой дедушка, никогда мной не виденный, оповещал стоявших в церкви: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Уже никого нет в живых, а голоса женщин с Дублянки еще звучат, и живет след, оставленный ими в душе.

– Иди ужинать.

За столом уже сидел Горик, первый и единственный друг. Душистый серый хлеб тетка намазала маслом и полила сверху ручейком коричневого горько-сладкого меда. Из глиняной раскрашенной крынки налила молока. Я медленно ела, смотря на зеленую из темного стекла сахарницу в виде сундучка. В ней тоже была тайна, казалось, что внутри прячется свет. Но когда я однажды откинула кованую крышку, оказалось, что там лежат твердые куски сахара и маленькие блестящие щипчики. Вторая сахарница, железная банка, мелко раскрашенная яркими полосами, стояла на высоком, до самого потолка, буфете. Я наклонилась так, чтобы одновременно видеть и лампочку под абажуром, и сахарницу на буфете, зажмурила глаза, и передо мной возникли желтые, красные, зеленые квадратики. Этот фокус я открыла случайно.

– Мне показалось, что, когда мы гуляли сегодня, я видела в окне маму, – сказала я. – Когда она вернется?

– Через три-четыре дня.

Я не знала, сколько это, но понимала, что это когда-нибудь настанет. Я не жаловалась и не плакала, но мне было плохо.

– Я не могу без маминой *мякоти*, – сказала я.

– Без чего? – спросила тетка и засмеялась.

Я промолчала. Не могла точнее выразить чувство, которое испытывала. Я только знала, что с внезапным исчезновением мамы радость каждого дня уменьшалась, будто кто-то поставил заслонку и перегородил поток.

Через три дня я бежала рядом с мамой, пытаясь взять ее за руку. Руки мамы были заняты свертком, завернутым в салатное одеяло, там лежал брат. Я подпрыгивала, пытаясь увидеть брата, я старалась улыбаться. Подбежав к краю дороги, крепко сжав кулачок, я сорвала несколько стебельков ромашки и кинула их на сверток. «Они развернут брата дома, увидят цветы и поймут, что никакая я не эгоистка». Это неприятное слово мне ужасно не нравилось. Дома, когда развернули брата, цветов почему-то не оказалось. Брат был маленький, красный, поллица занимал рот. Я попыталась подать ему руку, но не смогла разжать кулачок.

– Вечером будем купать. В деревянном корыте нельзя, – сказала тетка. – Я приготовила цинковое.

«Он такой маленький – и уже корыто», – удивилась я. В светлый полукруг от абажура поставили два венских стула друг против друга, как для игры в поезд. На стулья поставили корыто. Тетка попробовала воду локтем. Высокая, худенькая мама ходила по комнате с малышом на руках. Я не отрывала глаз от освещенного полукруга, где двигалась тетка.

– Готово, – сказала она, постилая в корыто пеленку и еще раз проверяя локтем воду.

– Я боюсь, – сказала мама.

Тетка взяла на руки брата и положила в воду, бережно придерживая правой рукой головку.

– Агу, – сказала она. – Агусеньки.

Голова теткина ласково покачивалась. Я подошла к корыту и взялась за его край. Корыто было облезлое, серое, тонкое и шершавое, неприятное на ощупь. Среди темных, деревянных, гладких вещей теткиной комнаты корыто казалось чужеродным телом и резало глаз.

– Эт-т-т-то что такое? – вдруг грозно вскрикнула тетка. Пучок на голове затрясся. – Это, конечно, ты! – обернулась она ко мне.

Кулачок малыша разжался, и из него выпал леденец.

– Он же мог подавиться, – возмущалась тетка. – Дети всегда суют кулачок в рот. Я тебе говорила: ее нельзя подпускать к ребенку.

Мама медленно кивнула. Брат плакал. «Купаться так приятно, – думала я. – Он не только ничего не понимает, но и ничего не чувствует».

Осенью мама пошла на работу в школьную библиотеку. Приехала бабушка из Ленинграда, помогать нянчить Вовку; тетя Леля вела хозяйство. Мы бедствовали.

Мама в то время совсем не похожа на фотографию трехлетней давности. Лицо худое, будто обглоданное, очень строгое, на переносице постоянная глубокая морщина, губы словно забыли об улыбке. В глазах застывшее выражение муки.

Вовка не спал по ночам. Тетя Леля отдала нам большую комнату, с лисицей и ломберным столиком, предварительно куда-то все убрав; вечером она плотно закрывала дверь в свою комнату, где она спала с Гориком и Таточкой, а мама ходила из угла в угол с плачущим Вовкой ночи напролет. Иногда бабушка сменяла маму.

Мой братик начал поздно ходить, поздно говорить…

Надвигались Октябрьские праздники, помню разговор – можно ли вести меня и Горика на утренник к маме в школу?

Детей врагов народа? Думали, рассуждали, взвешивали, но не решились.

– Вера, тебя могут уволить, – подытожила тетя Леля сомнения.

Но зато вскоре мама принесла из школы городские булочки – маленькие, с хребтом, как у рыбы на спине; бабушка сказала, что это «французские булочки». Она предложила Татке их подогреть. Никогда я не пробовала ничего вкуснее! И даже сейчас, спустя годы, я ощущаю вкус поджаристой коричневато-золотистой корочки с теплой белой мякотью внутри.

В то время или чуть позже моей тете Леле сделали предложение – стать штатным доносчиком НКВД.

– У вас муж в тюрьме, с вами люди откровенны… Вас все знают в Рыльске. Вам доверяют. Вы же не работаете… У нас будете получать зарплату… Мы будем вам платить…

– Меня содержит брат.

Я вспоминаю тетку, которая действительно после мамы была для меня вторым человеком. И осталась самой родной из всех родственников до конца жизни. Как сейчас я ее вижу. Волосы чуть тронуты сединой и оттого кажутся вылинявшими, серыми, они собраны в пучок. Никакого испуга. Чуть-чуть насмешливое выражение лица: не знаешь тетку – не поймешь. А если знаешь, то ожидаешь, что сейчас она насмешливо хмыкнет. Небольшие умные глаза глядят на сотрудника НКВД.

– Не всегда же он вас будет содержать, – вежливо возражали ей.

Тетя Леля, не меняя выражения лица, молча пожала плечами. Оказалось – всегда. До самой ее смерти. Брат Жоржик присылал ей ежемесячно деньги, как зарплату. И вырастил двух ее детей, Таточку и Горика. Не только вырастил, но и дал образование. Горик, Игорь Константинович, сейчас доктор физико-математических наук. Тетя Леля после ареста мужа никогда не работала.

«Чти отца и мать свою», – говорится в заповедях. А все ли эту заповедь соблюдают? Как поздно мы спохватываемся, как бесконечно страдаем, вспоминая свое бессердечие. Дядя Жоржик не только чтил отца и мать, он всем помогал – помогал братьям Славе и Грише, сестре Леле, даже маме, когда она приезжала из Болгарии после войны. Прошло десять лет со дня смерти моего дяди, и странно: чем дальше уходит время, прожитое вместе с ним, тем ярче разгорается свет, который исходил от него и который я увидела, будучи еще семилетней. Именно тогда в Рыльске мой дядя поддерживал в нас веру в человека. «Жоржик – это ангел», – часто звучало в наших комнатках, так к нему и

относились всю жизнь в большой семье Курдюмовых.

Я думаю, что он, возможно, уцелел в тридцатые годы именно в силу своего характера. Не обладавший и малой толикой снобизма, лишенный чувства превосходства, он никого не унизил за всю жизнь. Доброжелательный и веселый, он в каждом человеке видел «образ Божий», независимо от занимаемого человеком положения – будь то председатель Совета Министров или уборщица. Он не раздражал, не вызывал зависти и почти не имел врагов. Он будто не замечал расставленных сетей. Он не стал членом коммунистической партии ни в тридцатые годы, ни в сороковые, он так и остался беспартийным в течение всей своей жизни. Когда его выдвигали в депутаты в Днепропетровске, Георгий Вячеславович пришел в обком и сказал: «Я не коммунист и не готов к этому. И у меня один зять осужден на десять лет без права переписки, а другой сидит в “Крестах”». (А ему, между прочим, ответили: «Мы про вас, Георгий Вячеславович, все знаем»).

Я в это время жила своей детской жизнью и постепенно забывала папу. И только время от времени просила маму или сделать гурьевскую кашу, которую делал папа, или сводить меня на мельницу. «Почему на мельницу?» – «Папа обещал».

Гурьевскую кашу мама делать не умела, да и продуктов таких не было. «А вот папа умел». И мама попробовала. Когда вынула из печки противень, то все же это была просто манная каша, хотя и коричневая.

«В тюрьме “Кресты”, где В. И. Ленин писал свой труд “Развитие капитализма в России”, в маленькой камере я сидел некоторое время с арестованными работниками штаба кавалерийского корпуса в Пскове, командиром которого был будущий маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Последний был изолирован в специальной камере. С ним мы связывались при помощи специальной (тюремной) азбуки, посредством постукивания по стене. Этим способом мы узнавали вопросы следователей. Так мы узнали, что Рокоссовский заявил последним: “Войну будем вести мы (военные), а не вы”. Он сообщил, что его, а также и штаб его корпуса, освобождают. В связи с этим перед расставанием мы уселись в круг, обняли друг друга за плечи и весьма взволнованно, но тихо, чтобы не попасть в карцер, запели любимую песню кавалеристов: “По военной дороге”. Я нес ответственность за это нарушение порядка – из-за моей справедливости и организованности меня выбрали старостой камеры. Нас в ней было 25 человек».

Дышать нечем, очень мучит жажда, стоят почти вплотную, отгородив место у окна; там по очереди спят несколько человек. Очередь распределяет папа, он – староста. Впервые в записках папы встречается лестная характеристика самому себе: «из-за моей справедливости и организованности…» Однако что означают слова: «Я нес ответственность за нарушение порядка»? Что за ответственность за нарушение порядка в тюрьме? В тюрьме ответственность – это карцер.

…Вечером по стене веером рассыпаются слова, стучат в стену. Тюремная азбука. Алфавит разбит на три части, в каждой – буква имеет свой порядковый номер. Стук, молчание, потом три стука – «в», два стука, молчание, пять стуков – «о», стук, молчание, шесть стуков – «е». Читают: «воевать будем мы, а не вы». «Меня выпускают»? – читают в камере. И все 25 человек, обросшие, грязные, обняв друг друга за плечи, шепотом поют:

«По военной дороге / Шел в борьбе и тревоге / Боевой восемнадцатый год, / Были сборы недолги, / От Кубани до Волги / Мы коней собирали в поход… / Если в край наш свободный / Хлынут новые войны / Проливным пулеметным дождем, / По дорогам знакомым, / За любимым наркомом, / Мы коней боевых поведем»…

Эти люди уже все простили. «Лес рубят – щепки летят». И на протяжении многих лет «лес рубят – щепки летят» будет служить оправданием злодеяний тридцатых годов.

Весной 1939 года мы с бабушкой поехали в Ленинград. Жоржик, которого только что выбрали академиком, прислал дополнительные деньги, и бабушка, купив билеты в мягкий вагон, взяла меня с собой. Расставания с мамой не помню, вероятно, болезненная привязанность к матери немного ослабела. У мамы появился еще один ребенок, а у меня появился друг.

В купе было два дивана в белых чехлах, над ними зеркала. Бабушка, причесывая меня, больно драла волосы и удивлялась, почему я вскрикиваю.

– А почему молчала, когда мама расчесывала?

– Мама расчесывала не больно.

Вежливые проводники в белых передниках приносили в подстаканниках сверкающие чистотой стаканы, в которых просвечивал коричневато-красный чай. Бабушка покупала печенье и намазывала его маслом.

– Почему не ешь? – удивлялась она.

– Не хочу, – говорила я, а про себя думала: как можно есть печенье, смазанное маслом?

– Но это же вкусно, – говорила бабушка, откусывая печенье и прихлебывая горячий чай.

Кажется, за всю дорогу у нас только и была еда – печенье, масло и крепкий чай.

Мы приехали к дяде Славе, поселились в бывшей комнате дяди Жоржика, в Лесном, в комнате, где пять лет тому назад я лежала, спеленутая на венских стульях.

Почти сразу же по приезде в Ленинград я заболела коклюшем и, гуляя одна во дворе, говорила детям:

– Не приближайтесь ко мне, я заразная.

Комната, в которой я прожила несколько недель (а может, несколько месяцев), была таинственна, как комната в сказке Андерсена «Пастух и Пастушка». По вечерам из двух углов корчили рожи китайцы, возможно выходившие из чашек на ночь. С утра же чашки безмятежно улыбались, заманивая в какой-то сказочно прекрасный мир, где среди странно изогнутых маленьких толстых деревьев над синей рекой прогуливались женщины с крохотными зонтиками в руках. Я подолгу вглядывалась в прозрачные чашки с золотыми ободками, женщины двигались быстрее, вращали своими маленькими ручками разноцветные легкие зонтики над головами, синие и красные кимоно переливались под солнцем и словно источали волнующий аромат. Эти чашки были из сервиза тети Кати. Вероятно, она их вывезла из Порт-Артура. Еще волновал меня граненый лафитничек, который каждый обед бабушка выставляла на стол. Его предназначение мне было неизвестно. Со вздохом я, наконец, вставала из-за стола и направлялась к морской раковине, лежащей на подзеркальнике, витой, гладкой-гладкой, в коричневых маленьких пятнах, удобно располагавшейся на моей ладони. Я подносила ее к уху и напряженно прислушивалась…

Рассказ тети Ирочки – она в течение двадцати месяцев носила папе передачи.

«Раз в три недели я вставала рано. Алика оставляла на маму. Садилась на трамвай так, чтобы у тюрьмы быть в 6 часов. Окошечко открывалось в девять, но стоять у тюрьмы не разрешали. Мы стояли в переулках, неподалеку от тюрьмы. Ждали девяти. “Прекратите разговоры, – кричал приемщик, – сейчас закрою окошечко, брошу принимать!” Никогда не брали ту сумму денег, которую приносила, вероятно, чтобы исключить возможность сговора. Запись вели, когда передавший отходил от окошечка, поэтому следующего просили посмотреть номер камеры. Зачем хотели знать номер камеры? – Ирочка пожимает плечами. – Все-таки какое-то известие. Это была ниточка,

связывающая стоявших с сидевшими. Иногда говорили: “Не значится”. И тогда начинались поиски по другим тюрьмам».

Ирочку вызывали в «органы» несколько раз. Интересовались, почему она носит передачи немецкому шпиону. И дядю Славу вызывали. Его вербовали. Болезненно застенчивый, не получивший образования как «лишенец», работающий стеклодувом в том институте, который всего десять лет тому назад окончил его брат-академик, необыкновенно мягкий и добрый человек, он имел мужество отказаться от такого сотрудничества. При каждом «приглашении» он пропускал рюмочку-две для храбрости и шел пьяненький («с пьяного какой спрос?»). На все посулы неизменно отвечал: «Извините, вы же видите, не могу. У меня ничего не получится. Непригоден. Вы же видите… Я не могу. Я пьющий».

У каждого были свои методы. Мама любила повторять: «я бесхарактерная». Дядя Слава – тоже «бесхарактерный». Но у всех маминых братьев, начиная с дяди Славы и кончая дядей Лелей (Емельяном Николаевичем Лазаревым), троюродным братом, был внутри крепкий стержень, и никто не мог их заставить изменить своим убеждениям. Никто не мог вынудить отказаться от папы, поверить в его виновность.

Дядя Леля, который после ареста папы отправлял маму со мной в Рыльск… Дядя Жоржик, Георгий Вячеславович Курдюмов, ученый-физик, академик… Моя тетя Леля, моя тетя Ирочка, дядя Слава… Достоевский отмечал чрезвычайную стойкость в защите своей идеи, сильный отпор всему, что ей противоречит, как характерную черту русского человека и его вековечную, ничем не смущаемую веру в справедливость и правду. Такой идеей моих дядьев и теток была порядочность и благородство.

В начале лета 1939 года папа получает деньги не от Николаевой, то есть Ирины Павловны Николаевой-Ломан, тети Ирочки, как на протяжении всего времени, а от Драевской – то есть от моей бабушки! Деньги от Драевской? Что это значит? Возможно, очень возможно, что она приехала из Рыльска, возможно, там Вера… Если родился ребенок, то ему… Трудно поверить, что, пока он сидит в каменном мешке, жизнь на воле идет своим обычным чередом, почти так, как прежде. «Если выйду когда-нибудь отсюда, я начну жить, как будто ничего не произошло. Никогда не вспомню, все забуду и никому не расскажу», – думает отец.

Он не предполагает, что в это время я стою под красной кирпичной стеной. Синяя Нева и белый пароход. Ахматова рисует ту же картину – белый пароход и синяя река… Красные стены. Проходная. Народу много, шум и бабушкины слова:

– Я с больным ребенком.

Бабушка за всю свою жизнь не стояла ни в одной очереди. И даже в тюрьму, к окошечку в проходной, она прошла без очереди, с гордо поднятой головой, не обращая внимания на возмущение вокруг. Мелкими шажками она проталкивалась через толпу, таща меня за руку. В ней была детская непосредственность и искреннее непонимание, как это могут ей в чем-либо отказать. В белом легком платье, с кружевными оборками, с камеей на груди, в пенсне, подняв пышноволосую белую голову:

– Пропустите, я с больным ребенком.

От тех посещений у меня осталась странная тоска, когда я глядела на синюю, сверкающую на солнце, могучую, безучастную, равнодушную и такую прекрасную Неву, на удаляющийся белый пароходик. Все было не мое, ко мне никакого отношения не имело. Красный длинный забор, у которого все-таки иногда мне приходилось стоять, был мне ближе.

Когда папу перевели в гарнизонную тюрьму, он уже понял – выпустят. Оттуда выпускали.

Папу вызывают к следователю. В комнате большое окно, приоткрыта форточка. Следователь что-то говорит, но папа, не отрываясь, смотрит в окно. Впервые за двадцать месяцев – деревья, снег. Оказывается, чтобы чувствовать себя человеком, совершенно необходимо видеть деревья, снег, вдыхать аромат зимнего утра. Следователь еще ничего не обещает, но папа всем сердцем чувствует: приближается воля.

Но даже сейчас запрещает себе думать о маме, обо мне и о ребенке (родился ли?)…

Папа вышел из тюрьмы в длиннополой шинели, в которой покинул дом два года тому назад, без знаков различия, подпоясанный веревкой. Подошел к трамвайной остановке. В кармане было 15 копеек. Спросить или не спросить, сколько стоит билет? А вдруг следят? Один ложный шаг – и посадят вновь! Сейчас об этом можно читать с удивлением, но тогда… Вопрос – это нарушение данной подписки никогда, никому не упоминать про тюрьму. «А почему не знаешь, сколько стоит билет? А откуда ты? А не хотел ли ты так обратить внимание людей, что только вышел из тюрьмы?» Папа исподлобья оглядывал пассажиров, стоя на задней площадке вагона с синими фонарями. Молча протянул пятнадцать копеек. «Если что – спрыгну. Если теперь билет стоит дороже, я спрыгну».

Да, он не изменил себе и теперь. Когда-то сидел верхом на якоре, прижавшись к мокрому борту: «Если найдут, я прыгну и поплыву». Но сейчас тот побег казался детской забавой…

Кондукторша прокрутила ролик, висящий на груди, оторвала билет.

29 ноября 1939 года, через час после выхода из тюрьмы, он постучал в дверь комнаты дяди Славы. Тетя Ирочка пошла открывать. В дверях стоял худой, высокий нищий в оборванной шинели, подпоясанный веревкой.

– Сейчас, – кивнула Ирочка и пошла в комнату за куском хлеба.

Нищий шагнул следом.

– Я – Здравко, – сказал он.

Тем же утром мама проснулась в Рыльске со словами:

– Леля, Здравко выпустят. Я видела сон.

Сон был краток, но ярок: мама откинула свою подушку и увидела папины часы.

– Я во сне нашла часы Здравко, – сказала мама.

Мама, не верящая в сны, сейчас была непоколебимо уверена, что это посланный ей знак о скором освобождении мужа. Круглые, с потемневшим циферблатом, с большими черными цифрами и равномерно бегущей секундной стрелкой папины часы, подаренные после окончания академии, знакомы мне с самого детства. Их-то мама и нашла во сне под подушкой. В тот же день она получила телеграмму от Ирочки: «Здравко дома».

«Меня освободили без всякого судебного разбирательства 29 ноября 1939 г. – в начале советско-финской войны. Передо мной извинились за тюремное заключение и сказали мне, что оно произошло по ошибке. Я был полностью реабилитирован. Восстановили меня в прежней должности адъюнкта, произвели в воинское звание военврача 2-го ранга, дали денежное возмещение и поселили в новопостроенном здании академии в Ломанском переулке. Во время культа личности в 1937–1938 гг. было много репрессировано работников Военно-медицинской академии, в том числе и комиссар академии Удилов».

Мама бросила Вову на тетю и бабушку, и мы выехали в Ленинград. Там пробыли недолго, вероятно, несколько дней. Остановились все в той же комнате дяди Славы. Нас было шесть человек – четверо взрослых и двое детей. Папа был бритый и совершенно чужой. Помню темный город и синий свет от фар машин – шла финская война. И еще помню мамину радость. На обратной дороге я заболела корью, лежала и бредила на вокзале в «комнате матери и ребенка» в Курске. Но в памяти осталась только мамина радость.

«Комната матери и ребенка» исчезла из нашей теперешней

жизни, как исчез паровоз, обязательный удар колокола, извещающий об отправке поезда, как исчезла обязательная надпись на вокзале – «кипяток», как исчез и сам кипяток. Вход в эту комнату был с перрона, в ней находились постели, застланные прохладным чистым бельем, стояли диваны, много игрушек. А тогда мама робко вошла со мной, горевшей в огне, ясно понимая, что этого делать нельзя. Не объясняя ничего, мама положила меня, не раздевая, на кровать, а сама села рядом, держа меня за руку. До поезда оставалось часа три. Женщина-врач, взглянув на маму, только покачала головой.

В Рыльск я привезла корь. Болела сама, потом заразила маленького Вовку. Мама нервничала, рвалась обратно к папе в Ленинград. А папа выполнял данное себе обещание – вычеркнуть два года из памяти. Недавно я услышала, что человек только тогда человек, когда имеет силы, все потеряв, начать вновь жизнь с нуля. Далеко отступило то время, когда он, поступив в ВМА, начал жизнь с нуля, гордился и радовался своей теплой новой одежде. Теперь приходится ходить в потрепанной шинели, в полуистлевшей побуревшей гимнастерке. Опять надо ждать, пока сошьют новое обмундирование. С тех пор прошло всего одиннадцать лет. И тогда и сейчас жизнь в очередной раз начиналась с нуля. Но какая разница!

Письма, которые пишет папа в начале 1940 года маме, какие-то корявые – кажется, что слова вырываются со скрежетом. За время отсидки он старался говорить как можно меньше. Всегда помнил и чувствовал: в камере есть доносчики. На шпиков, как я уже писала, у папы был нюх.

Декабрь 1939 г.

Дорогая Вера,

Вчера вечером, вернувшись после суточного дежурства, прочел только что полученное письмо. Сегодня вечером застал второе твое письмо от 20-го. Мне не нравится твое нытье. Ты только приехала, знаешь хорошо, какое положение, и сразу начала плакать, жаловаться и вызывать сочувствие к себе. К чему это все? Кому же легче и лучше – тебе или мне? Неужели ты меня принимаешь за ящик для жалоб? И спешным порядком хочешь меня засыпать жалобами, чтобы я ничем не занимался, а только твоими нервами. Ведь ты же сама доказала на деле, что можешь справляться с невзгодами… Почему плакать другому в жилетку? Известно, что последняя без рукавов. Например, очень хорошо знаешь, как обстоит вопрос с моим приездом в Рыльск, как будто договорились об этом не раз и давно. А все равно чуть ли не с дороги кричишь мне: «Приезжай скорей, приезжай, родной!» Родной-

то я родной, а вот приехать-то я не могу совсем, не то что скорее. Ведь я же не на личной работе своей – захотел и поехал. Инга не могла не заболеть. Мороз, поезда, «комната матери и ребенка», переполнение квартир, где она была с детьми, преимущественно больными, не могли не вызвать заболевания и без того хилого ребенка. Но я не могу понять, как простая для распознавания ангина свернула на корь? Одним словом, лечи ее. Вышлю тебе 500 рублей, это все, что могу до следующей получки. Заплачу долг. Остальное – мне. Завтра готовы шинель и брюки. Гимнастерку еще не получил. Один из комиссаров обещал мне жилплощадь, но после заселения нового дома. А когда это будет, точно никто не знает. Возможно, к концу февраля. И хотя очень и очень нуждаюсь в отпуске, решил тянуть до того дня, когда будет это распределение квартир.

Место моего прежнего побочного заработка занято. К другим я ходить не могу и не хочу. Ты напрасно так пессимистично смотришь на будущее бабушки. Не сдастся она так легко и быстро, как ты пугаешь. Но это, конечно, в качестве довода, что ты «бедная, несчастная, беспомощная» и я должен приехать помочь. Брось пугать, Вера, ангиной, осложнением на уши… Брось пугать, Вера, мы пуганые. К чему друг друга еще пугать. Пожелай бабушке всего хорошего. Если будет время, с удовольствием куплю Леле варежки, если только достану. Я хочу и себе купить, только хочется не перчатки, а рукавицы. У меня почему-то мерзнут руки почти наравне с носом и ушами, а иногда и больше. Я работаю. К сожалению, здесь небывалый кризис собак. Мои станки последнее время работают вхолостую. Прошел очередную партинстанцию. С тех пор, как ты уехала, был один раз в кино со Славой и Ирой. Прошу тебя писать по-человечески. Ты Ингой не отговаривайся, что не дает тебе писать. Это ерунда. Кажется, все. Привет всем. Я, грешный человек, тоже хочу видеть тебя. Целую тебя. Душой и телом твой Здравко.

Читаю и перечитываю письма. Прошло не более одного-двух месяцев, как папа вышел за ворота тюрьмы. Страшно заглянуть в душу папы того времени. Мне кажется, что там, в глубине, что-то бесформенное, черное… То ли сгусток запекшейся крови, то ли сама страдающая, уязвленная душа… и все папины усилия направлены на то, чтобы научиться существовать вместе с этим. Перечитываю письма, и чем больше читаю, тем страшнее становится. Я не могу понять – то ли папа еще в шоке, не очень осознает происходящее, то ли такова его сила воли. И впервые поражаюсь маме – будто она все время верила, что папу выпустят, будто не понимает, что папе пришлось пережить. Она спешит

вернуться к прежней жизни, торопит папу с квартирой, шлет заказы, ревнует, жалуется.

Папа разговаривает с мамой как с ребенком, папа не говорит ей – «Ты что? Какие чулки? Какие варежки?». Папа, мужественный, сильный человек, начинает жить по законам, которые ему навязывает мама. И начинает интересоваться чулками, варежками, квартирой, работой.

У Шаламова я прочла: «Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне – то немногое, что у меня осталось, – ни понять, ни почувствовать им не дано».

7 января

Дорогая Вера, вот раскачалась и ты с письмами. Это хорошо. Ведь я же жду. Заказы твои стараюсь выполнить, но дело идет туго, ибо очень занят и ходить по магазинам не могу. Всего успел купить 3 пары коричневых чулок для Инги (в сегодняшнем письме ты пишешь: 5 пар разного цвета, все для тебя и Лели). Чулок в Ленинграде хоть отбавляй. Варежек все нет. Как мне ни трудно у Славы, ибо стесняю их, но мне хочется сказать тебе – чтобы ты закинула удочку насчет приезда всех вас и здесь у него ждать, пока нам не дадут квартиру. А если придумают мне какую-нибудь командировку или какое-нибудь назначение, то что же это тогда будет? Я ведь еще не видел Володю, я хочу его, родного. Кровать Слава видел в «Гостином» за 140 р. без сетки. Сетка в «Пассаже», но матерчатая. Я буду после 15-го посвободнее, поищу сам. «Хованщину» смотрел с кафедрой, был вроде культпоход. «Мазепу» уже видел. Договорился с Андреем, но в этот день он слег с горлом, и пошли с Аней. Ходил к начальнику академии насчет квартиры. Сказал, что в первой очереди даст, сразу написал записку управляющему дать мне комнату. Тогда я повернул дело и решил снова ждать до заселения нового дома. Ты напрасно рассказываешь бабьи сны в присутствии Инги, она меня, вероятно, лучше знает. Алик не ходит. Зато хорошо показывает, как дядя Здравко кушает – кряхтит, чмокает губами и облизывается. Целую вас. Здравко…

«Небывалый кризис собак» – папа набрасывается на работу. Я не представляю, как папа появляется на кафедре, где до этого был таким активным коммунистом. Я не представляю, как он встречается с сотрудниками – ведь с кафедры он сидел один. Не хочется смотреть никому в глаза. Ему стыдно. Стыдно – именно его, так искренне, так яростно выступавшего за новый строй, сажают в тюрьму. И папа замолкает. Слова – только необходимые.

Взгляд – только изредка. А как себя вести с партийными работниками, не видевшими и доли того, что видел и пережил он, а теперь восстанавливающих его в партии? Неужели это он когда-то был на баррикадах в Плевне и Вене, именно он бесстрашно переправлял болгар через Альпы? И как вспоминать о всемирной революции? Как трудно смотреть в глаза, как трудно по-прежнему отдавать честь, и уж совершенно невозможно улыбнуться…

«Он был тогда очень молчаливый, очень, – вспоминала его сотрудница. – Опустит свои черные глаза и все молчком, молчком». Да и на кафедре есть доносчики.

Но в личном письме вдруг прорывается вопль: «А если придумают мне какую-нибудь командировку или какое-нибудь назначение, то что же это тогда будет? Я еще не видел Володю, я хочу его, родного!»

И вот мама берет Вову, повязывает ему на шею бант, чтобы прикрыть нищету, берет, конечно, и меня, и мы все идем к фотографу. Но там… странно, очень странно… мама произносит совершенно чудовищные слова:

– Ингочка, отойди, пожалуйста, папа не видел еще Вову, просил, чтобы мы вдвоем сфотографировались.

Но этого не может быть… Как это без меня? И я становлюсь несколько поодаль от плетеного кресла, в котором сидит мама с Вовкой на руках. Я стою одна. Независимо, засунув руки в карманы матросской курточки. Рот крепко сжат, круглые глаза глядят отчаянно.

Несмотря на просьбы фотографа и мамы отойти, я не сдвинулась с места. Теперь от той фотографии остался только обрезок со мной, а мамы с Вовкой нет. Пропали.

12 февраля

Дорогая моя родная Верочка!

Нет писем от тебя. Жду. Мне очень и очень хочется тебя увидеть. Много разных причин и теперь создают это настроение у меня. Самое скверное препятствие – отсутствие квартиры. Теперь пришел к мнению, что мне не миновать горнила в доме на Боткинской. А с другой стороны – всех пропускают через тот комбинат, и без этого «карантина» нельзя рассчитывать на квартиру. Примерно срок житья в том доме – год. Я думаю, подождать до праздников и, если не выйдет с новым домом, получить комнату и взять отпуск. Вы останетесь там. Летом на даче, а к осени, может, и будет квартира. Таким образом, большая часть этого «срока» будет сокращена. Но все дело в том, что я хочу, чтобы вы приехали. Мне неудобно приглашать тебя одну, это как-то нечеловечно. Знаешь, Вера, при свете теперешнего моего

состояния многое в прошлой нашей жизни вырастает в другом свете, приобретает другую привлекательную силу. Многое, что было незаметно, теперь видится по-другому, что казалось плохим – теперь приятно, а нечего и говорить о том, что было на самом деле хорошим. Это все так кажется мне, может быть, в связи с неизвестными перспективами. И это вряд ли только крик восстанавливающегося моего организма. Большую роль в этом настроении играет невозможность справить день рождения Инги вместе. В связи с оформлением моего личного (нового) дела мне нужно было представить 3 фотокарточки: 9 на 12 и 8 на 4,5. Таким образом, я был вынужден сняться. И вот с 1936-го только теперь снялся. Снимался наспех. Не нравятся мне эти карточки. Но других, лучших нет. Посылаю их вам. Слава сегодня рылся в альбомах. Я видел кое-какие твои портреты, неизвестные мне. Думаю, если когда-нибудь будет время, то отнесу какому-нибудь фотографу переснять, а то они совсем попортились. Алик в эти дни пошел. Правда, с большим страхом. Представляю себе, как ты уткнешь свой длинный нос в некоторые строки этого письма и начнешь раздумывать – что это значит, и будешь думать, пока тебе не приснится сон, который ты будешь рассказывать вслух. А возможен и такой вариант сна (уже моего), что тебе больше нравится в Рыльске, чем здесь. Будьте здоровы, живите богато. Я вас всех подряд крепко целую. 12 ч. ночи. 12 февраля 40 г.

У меня сохранился маленький снимок. Фотография – по сердцу, как железо по стеклу. Я вглядываюсь в чуть усмехающееся лицо. Почему так долго адъюнкт? Сколько же длилась адъюнктура? И вдруг догадка! Согласно официальным папиным бумагам, он не прерывал стажа с 1935 по 1940 год. Как я могла забыть, что на эти пять лет пришлось двадцать месяцев тюрьмы? На фотографии лицо зэка, иначе не скажешь. Лицо с навязанным, немного угодливым выражением. Стертое лицо, без каких-либо характерных черт. И волосы. Я загибаю пальцы – декабрь, январь, его выпустили, конечно, бритого…

Папа с чуть отросшими волосами и пристыженным взглядом. Униженный, чуть угодливый, зависимый, прибитый… Какой угодно взгляд, только не папин. Сейчас на дне глаз прячется не голодная жизнь детства. Сейчас откровенно глядят униженность и стыд. Стыдящийся человек – вот чье лицо на этом снимке.

На оборотной стороне снимка папиной рукой написано: 1 февраля 1940 года. Его выпустили 29 ноября 1939 года.

«Я видел кое-какие твои портреты, неизвестные мне. Если когда-нибудь будет время, то отнесу какому-нибудь фотографу переснять». Все мамины портреты, которые есть у меня, те, что

развешаны по стенам, и те, что спрятаны в шкафах, – все это благодаря папе. Это он ходил, восстанавливал, увеличивал, заказывал рамки. Портреты мамины, только мамины, и еще два – моего сына Сережки…

Нежное сердце папы, его потрясающая забота о нас – зачастую это пряталось за грубостью слов. Я этого не понимала. К Алику он внимательно присматривается, жадно следит за ребенком, возраст которого сходен с возрастом его сына, до сих пор им не виденного.

19 февраля

Дорогая Вера,

Хотя редко пишешь, но спасибо и за то. Получил твое письмо, большое, написанное более-менее по-человечески. Там у тебя много вопросов. Я постараюсь по порядку ответить на них.

Первое – ты «стала очень страшная, одна тень». Это старо у тебя. Когда ты не была страшная и тень? Всегда, сколько я тебя знаю. Может, и была когда лучше, но это я знаю только по карточкам. Но если ты так часто и настойчиво говоришь, что стала очень страшная, то ты меня уже этим пугаешь. Мне неудобно, но скажу тебе – в таком случае не приезжай, пока не поправишься. Ведь неудобно же показываться здесь с такой страшной женой. Прошу тебя отремонтироваться. Если будут у меня для тебя деньги живые, вышлю тебе специально на ремонт. Ты и так запускаешь себя, а что теперь из себя представляешь – больно подумать.

Второе – ходил сегодня насчет квартиры. Когда будут заселять дом? Возможно, через две недели, возможно – через два месяца. Он не принят еще госкомиссией. Во всяком случае, мне сказали, что я в списках состою. Что мне что-то отведено и что обязательно получу. Но снова надежды, снова ожидание – буду ждать.

Третье – Инге думал купить и прислать ко дню ее рождения посылку. Однако посылки не принимают. Ожидаю на днях получить рублей 50 и тогда вышлю ей телеграфом. Вы купите ей что-нибудь. Сами решайте что.

Четвертое – твои парусиновые туфли здесь. Насчет бот я, конечно, постараюсь, но сие от меня не зависит. На днях, возможно, поеду в город. Белье отдам в прачечную. Восстановил свою метку. Ты знаешь, что у меня никогда зубы не болели. Вот теперь по вечерам не дают мне покоя (сверху справа). Сегодня был вынужден пойти в поликлинику. Теперь не болит. Могу писать. Нужно долго ходить, пока закончится эта история. У Славы уже третий день бюллетень. Так жестоко болят зубы, что больно

смотреть на парня. Сегодня и температура повышена у него. Воспаление надкостницы. Я прошел и через парткомиссию академии. Принят. Посылают дальше. Был 16-го у Трошиных. День рождения у Вали. Пригласили меня. Там были все ее подруги по классу. Замечательная девочка. Так хорошо одета. Мария Павловна так счастлива, с мужем все время говорили мне: «Вот не заметите, как пройдет время и ваша Инга будет учиться и справит свой день рождения со своими подругами». Очень хорошая была картина, когда ребята сидели за столом. Я один из взрослых гостей был. Купил Вале билет на «Ивана Сусанина» в Мариинском. Если ее отпустят со школы, поведу ее туда. Говорят, замечательная опера. У Лукановых и Радайкиных почти не бываю – некогда. Хотя и хочу к ним, но времени не хватает на это. Андрей ходил в рваных сапогах и отморозил себе большой палец. У Инессы справится день рождения 21-го. Приглашают меня. Инесса просит меня привести Ингу. Ведь она недалеко. Посылаю тебе уже третий раз конверт и бумагу. Целую всех там. 6 февраля послал 500 руб. Будь здоровая.

26 февраля

Дорогая Вера. Давно не получал от тебя письма. Не верится, что ты не пишешь. Думаю, что соседи задерживают письма. Ведь это их старая специальность. Ходил в политотдел насчет квартиры. Сказали, что пока готовы только два верхних этажа, а нижние три этажа не готовы. Поэтому и госкомиссия не принимает его. Когда будут готовы остальные этажи – не знают. Посылаю тебе 500 руб., думаю, на этот раз ругаться не будешь за то, что посылаю вам деньги. Меня все время приглашают работать в клинике. На днях сам Савицкий вызвал меня и предложил работать в клинике. Он аргументировался очень ловко: «будешь, – говорит, – греться в клинике, а то на кафедре всего четыре градуса, а также будешь чаще дежурить по клинике и спать там». Я ему ответил отказом, но посмотрим, что дальше будет. Передай привет всем. Целую всех вас, целую тебя крепко.

Здесь явно чувствуется недоверие к Савицкому, хотя я никогда не слышала, чтобы папа подозревал его в доносительстве. Позже, в конце войны, Савицкий сыграет в судьбе папы роль, которую можно оценить как неблаговидную. Но может быть, в этом проявится и некий «перст судьбы». И только спустя полвека время расставит все по местам. У меня хранятся письма Савицкого и его вдовы, полные тепла и уважения к папе.

Март

Дорогая Верочка!

Получил твои письма от 17 и 19 февраля вместе, а позже и от 23 февраля. Ты пишешь о каком-то ответе. Его я не получил. Наверное, взял какой-нибудь любопытный человек с целью заработка. Ты очень настойчиво спрашиваешь, что мы здесь кушаем. Я же тебе писал. Ты и не помнишь того, что тебе пишут. Отвечаю тебе еще раз. Слава, можно сказать, ничего не кушает. Нет аппетита. Похудел он здорово. Одышка. Я его водил вчера в клинику Савицкого. Смотрел его Иванов. Сделал рентгеновский снимок. Познакомился с Савицким. Ничего пока не нашли. Потому что ничего и нет. То, что я ему когда-то говорил, когда его водил в клинику, то и осталось. Изменения возрастные, наступившие преждевременно. Я ему давал простой рецепт (гулять час-два на воздухе, ежедневно, кушать регулярно, пить витаминные травы), но так как я, с одной стороны, свой человек, а с другой – не давал ему лекарств, то он и не делал ничего из того, что я ему говорил. Иванов дал ему лекарства (кальций и валерьянку). Может его устроить в клинику института профзаболеваний. Алик ходит быстро и хорошо и говорит сам с собой тихо. Орет во всю глотку и долго только по ночам. А кушает очень хорошо.

Я обедаю в столовой у нас. Кормят там хорошо. И не так дорого. Можно вкусно и сытно покушать. Кушаю я там раз в день. Утром завтракаю что-нибудь, вечером по дороге домой покупаю – колбасы или что-нибудь. А вечером редко ем, когда-нибудь. Когда приедешь? А это зависит от квартиры, а вот это-то и неизвестно. Был вчера. Спрашиваю: может, к маю? Отвечают: «Может, к маю, а может, и через четыре дня. У нас нет ничего уже. Все сдано начальнику академии, и он лично будет определять жилплощадь». Дом еще не принят комиссией.

25-го я послал Инге поздравительную телеграмму и 50 р. Целую вас всех. Будь здорова, не приезжай растрепанная. Не пущу тебя сюда такой.

3 марта

Дорогая Вера,

Вчера выслал тебе литер на дорогу (тоже и Инге), литер на багаж большой скоростью (200 кг) и удостоверение, которое предъявляется для оправдания литера для железнодорожного билета и 3 поездки в Ленинград. Володе ничего не надо. Он и так проедет. Все это я послал заказным письмом, через 18-е почтовое отделение. Письмо номер 923, на имя Драевской. Приняла письмо Петрова. Я это тебе пишу на случай его задержки, чтобы могла его искать.

Сегодня послал телеграмму, в которой сообщаю о послании

письма. Последнее значит вот что – литер получите, но нужно подождать с билетом. Дело в том, что ехать надо сюда, когда будет квартира. Вы держите литер, собирайте вещи, а как только я получу жилплощадь здесь, сразу дам вам телеграмму. Тогда только и берите билет. Думаю, что пишу ясно и кривотолков не будет. Может быть, в марте будут принимать новый дом. Там, говорят, все готово – даже пол натерт, так что блестит, однако есть маленькие неполадки, недоделки, из-за которых госкомиссия не принимает его. Одним словом, ждите телеграмму о выезде. Теперь по поводу твоих намеков. Я тебе по-человечески писал, что предложил билет Вале. Между прочим, ее не отпустили со школы. Я ходил с Рахиль Моисеевной, а ты сразу оскаливаешь зубы и брюзжишь – «молодую барышню себе нашел». К чему эту ерунду писать, что ты «такая дикая, как черная коза». Я это знаю, но у меня нервов для брехни не хватает. В одном из своих последних писем ты бросаешь наспех, что «чем ближе к приезду, тем больше я тяну». Лучше бы всего, если бы язык у тебя отсох и рука скрючилась от судорог. Я решил, что ты написала это только так, чтобы поболтать в письме, ибо нет никаких поводов у тебя для этого. Если я не хочу, чтобы вы приехали сюда, то, можешь быть уверена в этом, написал бы тебе об этом. Но к чему эта вторая уже ерунда. Однако верха ерундистики достигли, когда решили отправить совместную телеграмму. Да черт вас побери! Не дергайте вы меня своими глупыми мнениями! Мне и так тяжело.

Я тебе писал, что Радайкин уехал в командировку на 2 шестидневки. На кафедре я остался один. Нужно и свою работу делать, и остальным работу давать, организовывать и контролировать, нужно на всевозможные запросы отвечать и т. д., а в животнике никто не хочет работать, собаки воют, грязно, вонь идет, и урегулирование этого столько времени съедает, что свою работу делать надо, когда все уходят. А еще дежурствами загрузили, и нужно было и за себя и за Радайкина дежурить. В «Лесное» возвращаюсь эти дни поздно, а то и совсем не прихожу. Эта твоя тетя Катя мне покою не дает. Все спрашивает, где я пропадаю. Ведь она не может себе представить, что человек может так работать, а судит по своим действиям в молодости. В магазине у нас есть продукты, но такие, как и везде. Нужно стоять в очереди. Одна очередь картофельная, другая мясная, третья сахарная, четвертая масляная и т. п., а самое важное, что все очереди исчезают перед открытием магазина, все сбиваются в кучу у дверей, и кто сильней, тот и проходит. Милиционеры с трудом справляются наводить порядок.

Написал все. Последний раз прошу – не занимайся глупостями, не изводи меня. Был бы очень рад, если бы вы могли сейчас же

приехать. Привет всем. Целую детей. Как жаль, что Ольга Тихоновна умирает. Здравко.

«Лучше бы всего, если бы язык у тебя отсох и рука скрючилась от судорог». Сейчас меня смешит образность папиного слога, я понимаю, что за этим стоит. Но на протяжении многих лет меня оскорбляла его грубость, и прошла почти вся жизнь, пока я не поняла, что за его криком стоит беспомощность и страдание.

В конце марта наконец-то папа получил квартиру в нововыстроенном доме. Мама в Рыльске уже давно собрала вещи. Теперь выезд наш задерживал все не начинающийся ледоход. Мама не спала ночи, прислушивалась. Ждала, когда взорвут лед. Понтонный мост сняли, деревянный был только пешеходным. Мама не замечает, не хочет видеть отчаяние тети Лели. Она рвется к папе в Ленинград.

– Леля, – говорит мама, – мне кажется, я сегодня ночью слышала взрывы.

– Нет, тебе показалось. Никаких взрывов.

Так повторялось в течение недели. Наконец, лед взорвали, поставили понтонный мост, и мы уехали. А тетя Леля осталась. Осталась с Таточкой и Гориком. И с мужем «без права переписки на десять лет».

К нашему приезду у папы подросли волосы, он уже не был худым, у него была новая форма, две шпалы, и только взгляд, который он прятал, только нежелание разговаривать ни с кем, кроме мамы, выдавали в нем бывшего зэка.

В новый академический дом, на Ломанском, против Выборгского дворца культуры, мы переехали весной 1940 года. Окна на лестнице были раскрыты, на белых ступенях дрожало солнце, по лестничному пролету гулял невский ветер, а от зеленых стен пахло свежей масляной краской. Мое потрясение от переезда было столь сильным, что только недавно запах масляной краски перестал ассоциироваться с той весной. Я как-то сразу повзрослела – будто до этого я все еще ходила на четвереньках, а теперь стала во весь рост. Оборвалась пуповина, мир расширился, сложился из кусочков и рухнул на меня звоном трамваев, шумом улиц, живой Невой, сверкающей белыми точками, и совершенно иным, чем в Рыльске, солнцем. Мне кажется, что я тогда только и заметила солнце. В Рыльске оно было обычно, как двор, здесь же солнце самостоятельно двигалось высоко по небу, среди высоких зданий.

Что помнится из того времени? Солнце на паркете в большой комнате, солнце на лестнице, запах масляной краски, мама,

стоящая у двери, – вошла и стоит, наблюдает, как брат заводит игрушку, папа за письменным столом, свет зеленой настольной лампы и нестерпимо прекрасный запах свежего асфальта за распахнутым окном, гранитные парапеты, как серые шершавые спины слонов, полногрудые русалки на Литейном мосту, и сама Нева, она льнет прозрачной волной к стертым ступеням.

Я забыла мартовскую ночь тридцать восьмого. Родители, не сговариваясь, вычеркнули эти дни из жизни. Папа делает вид, что ничего не произошло. Но родители живут будто не в полную силу – никаких трат, ничего лишнего, и когда разговаривают вечером в спальне, то говорят шепотом, все время поглядывая на большое вентиляционное окно под потолком; в гости ходят только к Лукановым и Радайкиным. Помню, мама с папой обсуждали, можно ли доверять Радайкину.

– Да, – говорила мама и недовольно качала головой, – он человек честный, может, он и слушает слишком Савицкого, может, со всем соглашается, но он человек честный.

Мамина цель – сохранить семью, она распласталась в заботе. В отсутствие папы мама повторяет: «Ему тяжело». А папа? На папином лице боль и стыд, и я это вижу. Я его люблю меньше, чем тогда, в тридцать восьмом. Мне не нравится его красноватое лицо, красноватая шея, вечно прищуренные, будто от яркого света, глаза. И еще мне кажется, что от папы идет черный поток беспокойства.

Как папа возвращался к жизни? Ведь это только теперь то, что он «сидел», – чуть ли не свидетельство порядочности. А тогда? Из наших ленинградских знакомых сидел только он один. Что стало с папиной любовью к России? С преданностью идее мировой революции? А ничего не стало. Любовь и преданность остались при нем.

– Вера, одевай Ингу. Мы выходим. Скорее.

По воскресеньям мы идем с папой гулять.

– Ну что, гражданка? Куда идем?

Меня это обращение раздражает – что еще за «гражданка»? Мама меня так никогда не называла.

Прошло всего четыре месяца, как папа вышел за ворота тюрьмы оборванным нищим. Что мог ощущать человек, выпушенный в тридцать девятом? «Счастье», – не задумываясь, отвечают одни. «Прочти ответ жены Бухарина, – говорят другие. – Она пишет, что никакого облегчения не почувствовала». «А ты что думаешь?» – спрашивают меня. Думаю, папу мучил страх. Возможность нового ареста. Меч все еще продолжал касаться шеи. Папа думал о смерти, это ясно. Но я утешаю себя мыслью – что бы папа ни передумал, к какому бы выводу ни пришел, какие бы

итоги ни подвел, как бы его ни мучил страх новой посадки, каким бы ни был сильным удар по самолюбию, здоровью, все же он не мог не ощущать, пусть иногда, радость. Возможность быть как все. Выйти из дома, слиться с толпой, идти по улице, садиться в трамвай, сознавать, что за тобой никто не идет. Впрочем, насчет «никто не идет» – неизвестно. Может, я служила, сама того не подозревая, для папы щитом? Ведь не будут же хватать на улице, если рядом ребенок…

Мамин Ленинград не похож на папин. Мы идем по Литейному мосту, мама крепко держит меня за руку; черные женщины с рыбьими хвостами, круто изогнувшись, отгораживают меня от Невы, а в проеме синеет Нева, и ветерок треплет стянутые в косы волосы. Но чаще мама берет меня в магазин. «Мясо», «Молоко», – читаю я вывески. За каждым словом – своя жизнь, свой запах, новое открытие. Это целый мир. «Молоко» – это очень яркий электрический свет, чистый пол в квадратиках, белый, сверкающий кафель до потолка, строй белых бутылок, выкрашенных краской, кисловатый запах, и женщины, стоящие друг за другом в очереди. В «Молоко» обычно длиннющая очередь еще на улице. Стоят строго, друг за другом. Очередь идет рывками, и меня это веселит и удивляет – похоже на игру. То стоим, то идем, быстро, молча. Эти остановки объясняются тем, что в магазин пускают партиями по нескольку человек. На маме темное пальто, мама со строгим лицом молчит, и я молчу. Я чувствую мамину обособленность. Ни о каком разговоре не может идти и речи. В магазине пусто, всего несколько женщин.

А в магазин «Мясо» очереди нет, и я туда не вхожу, остаюсь у витрины, разглядывая раскрашенные муляжи окороков; окорока разрисованы в красные, темно-красные и желтоватые цвета.

– «Сыр», – читаю я.

Я научилась читать сама. Мама на кухне готовит обед, Нюша, няня брата, ушла с Вовкой гулять, я на коленях перед диваном в столовой – рассматриваю детский журнал «Мурзилка», а из черной тарелки, которая называется «радио», льется мелодия. Стоит мне стать на колени перед диваном, раскрыть журнал, как из репродуктора начинает литься странная, непонятная, не отпускающая меня музыка. Совсем не похожа на рыльское пение, на пение папы, на Русланову, которая каждый раз, когда ставят пластинку у Радайкиных, поет: «А вчера прислал по почте два загадочных письма…» Я вслушиваюсь, эта музыка мешает разглядывать картинки, раздражает, но что-то не позволяет мне отвлечься от нее.

Из радио спокойный женский голос объявляет: «Мы передаем

камерный концерт».

«Камерный концерт» – странная музыка без мелодии, думаю я, елозя по полу коленками, упираясь локтями в диван. И вдруг опускаю глаза и читаю – «Мурзилка».

– Мама, – бегу я на кухню, – здесь написано «Мурзилка»?

Мама смотрит на меня, но я не вижу большой радости. Она занята своими мыслями.

– «Мурзилка».

Но когда приходит папа, мама говорит:

– Ингочка научилась читать.

– Сама? – удивляется папа. – А ну-ка, прочти, Ингуся. – Папа протягивает мне сказку про убежавшую кашу.

– Раз, два, три – горшочек, вари!

Но я могу и не читать, я ее знаю наизусть. Чтобы я ела манную кашу по утрам, мне эту книжку папа читал-перечитывал. Я смотрю на картинку, где каша густой манной рекой выливается из окна, течет по улицам и покрывает ребят с санками. Я чувствую, как противно им, когда каша заливается за воротник. На завтрак у нас всегда папина любимая манная каша.

– Ингуся, – говорит папа, – а ты по краюшку тарелки, по краюшку, тогда не так горячо.

– Ох-ха! – Папа глотает горячую кашу.

– А ты сделай посерединке дорожку. Смотри, – говорит папа и проводит ложкой по тарелке. – А теперь расширяй эту тропинку, расширяй, чтобы она не успела срастись.

А утром:

– Вот вам ручка, вот другая, – поет папа, умывая меня перед завтраком. – Обе служат хорошо, одна моет другую, обе моют личико, И папа проводит двумя моими ладошками по лицу. Он забыл, что я большая. Он все думает, что мне четыре года.

Иногда Нюша берет меня с Вовкой кататься на санках. Если пересечь Нижегородскую и пройти дальше, там будет горка. По горке наверху проходила ветка Финляндского вокзала, а справа, если подниматься, стояло на отшибе темное четырехэтажное красное здание – гарнизонная тюрьма. Откуда я это знала? Откуда знала, что папу выпустили из нее? И разговоров дома никогда не вели, а знала же. И каждый раз, каждый раз, поднимаясь в горку, таща за собой санки, я взмахивала косичками – вдруг папа глядит в окно и увидит меня. Все в голове было перепутано. Папа был дома – а вот взмахивала косичками, правда, иногда спохватывалась и думала: пусть другие дяди видят, может, им от этого будет веселее. Поезда проходили мимо, я тащила за собой санки на гору, поворачивалась спиной к тюремным окнам и взмахивала двумя косичками, выпущенными

поверх шубы.

Как-то я рассказала про гарнизонную тюрьму Нюше. Нюша, мягкая, серая, тихая, бесхитростная Нюша из Вологды, появилась у нас в сороковом и знать ничего не могла, а потому и не поняла.

Однажды мы с Нюшей проходили мимо аптеки. Это одноэтажное здание, с низкими сводами, нависающими над тротуаром и образующими три толстые колонны, я помнила еще с ареста папы. Именно там и встретила Зака. Такой же маленький, верткий, улыбчивый, он наклонился ко мне:

– Ты узнаешь меня? Ты Ингочка Мицова?

Я молчала. Все так же улыбаясь, он протянул конфету, я молча заложила руки за спину. Нюша потом жаловалась маме:

– Мужчина подходит, наклонился, ласково улыбается, протягивает конфетку, а она руки за спину и ни слова.

Я даже маме ничего не сказала. Но до сих пор помню эту встречу – немножко удивляюсь и горжусь.

У нас отдельная квартира. Это как знак отличия. «У нас отдельная квартира», – говорит мама. Для меня это одно слово, и оно не имеет никакого отношения к «Отдельной» колбасе, которую мама покупает к чаю. Даже странно – такие разные квартира и колбаса носят одно и то же название – «отдельная». Там у нас две комнаты: спальня и столовая-кабинет. Еще кухня, большой коридор, прихожая и ванная. У нас не только отдельная квартира, у нас еще и ванная. Почему-то мне кажется, что мама сейчас не так занята созданием уюта. В спальне только три кровати, синий свет под потолком. В столовой – «казенный», а значит – не наш, диван, на котором не разрешается прыгать. Такой же книжный шкаф («смотри не разбей стекла, он не наш»), наполненный папиными книгами. Письменный стол с зеленой лампой и обеденный стол, за которым мы обедаем, только если приходят гости. Я даже не помню, покрыт ли он скатертью и дорожкой с красными клубничками наискосок. А где голубая гарднеровская доска? Вся мебель не вызывает во мне никакого интереса. Она совершенно чужая, безликая. Я ее просто не замечаю. Даже оранжевый абажур не вызывает во мне дружеского чувства – может, вспоминается та страшная мартовская ночь тридцать восьмого, а может – в каждом окне висит точно такой абажур. Другое дело – солнечные пятна на паркетном полу и зеленая настольная лампа.

Вечер.

– Вера, что на обед?

Папа снимает шинель, снимает сапоги. «Ох-ха!» – несется по квартире. Надевает домашние туфли…

Папа моется горячей водой. Не верю я его жизнерадостному возгласу. Кажется, папа хочет кому-то показать: все в порядке, все идет как надо. В дом пришел мужчина, и он заполняет собой квартиру. Он не оставляет места ни маме, ни бабушке, гостящей у нас, ни Нюше, ни брату, который, несмотря на свои два года, еще не говорит, только начал ходить: «А что вы хотите? Родился в такое время!»

Обедаем мы часов в шесть. Я сижу по правую руку от папы, папа научил: рука ближе к нему – левая. И до сих пор, когда говорят «посмотри налево», я вижу папу, сидящего рядом – это «лево»; а открытая дверь в коридор и дальше прихожая – это «право». Мама, строгая, неулыбчивая, накрывает на стол. Постоянная, возникшая еще в Рыльске складка над переносицей. Тонкие косички уложены на затылке, платье, сшитое известной рыльской портнихой Ниной Демочкиной, висит на широких, прямых плечах. Вместо передника – старая юбка. Ничего не осталось от той девушки, что прибегала в широком пальто нараспашку, в широкополой шляпе «летучий голландец» взлетала через две ступеньки на третий этаж. Я смотрю на строгую маму и жду, когда можно будет поиграть с папой.

– А ты что, наша Богородица, не ешь? – обращается папа к маме. – Как всегда, сыта Святым Духом?

– Здрав Василич, не обижайте Верочку, – говорит бабушка и сразу начинает плакать.

Не «Здравко», что же это за имя такое? Взрослый человек, а все «Здравка», вроде «Славка».

– Здрав Василич, не обижайте Верочку!

Как часто мы ошибаемся в отношениях родителей, как часто разница в поколениях искажает смысл происходящего. Сейчас в этом полушутливом, всегда без улыбки произносимом обращении я вижу вовсе не насмешку, и если бы не боялась выспренности, то сказала бы – вижу в этом скрытое преклонение. Я, пытавшаяся защищать маму от папиной грубости, ничего не понимала в их отношениях. Папа знал маме цену, как никто другой. Почему Богородица? Лицом мама вовсе не походила на принятое иконописное изображение; сходство с иконой было в другом – чистая, строгая, тихая красота окружала весь ее облик.

Бабушка держит в руке стакан, и через стекло видно, какой там крепкий чай. Она пьет крепкий чай с пирожными. Уже много лет она не обедает; на завтрак, на обед, на ужин – крепкий чай и пирожные. Стоя у плиты, мама поворачивает голову и молча смотрит на бабушку, но мне кажется, что она метнулась и прикрыла папу собой.

После обеда папа сажает меня на колени, я прижимаюсь к его

груди, но он начинает подбрасывать меня, мне неудобно, я то и дело сползаю с обтянутой галифе коленки. Папа учит болгарской песне:

Край селото на мегдана
Гайдата пищи
И хорото сред селото
Буйно се върти.

Я не понимаю, но повторяю, папа переводит:

– На околице села гайда пищит. И люди пляшут хоро. Гайда – это такой инструмент, ее делают из кожи овцы, надувают, и когда выходит воздух, получается звук. Хоро – это такой танец. Селото – это село.

– Ну, зачем? – говорит мама. – Она все равно ничего не поймет. Ей это никогда не пригодится.

Я действительно ничего не понимаю.

– А что такое Болгария?

Папа пытается объяснить, что такое страна, рисует… Я сегодня впервые услышала слово «болгарка». Что такое «Болгария» – непонятно. Но «болгарка» означало одно – не как все. Сегодня в группе, куда я хожу вместо детского сада, мне выдали костюм для карнавала – венок из искусственных красных роз, красный передник, белую вышитую кофточку.

– Разве такой болгарский костюм? – В голосе мамы недовольство и недоумение.

Мне тоже кажется, что костюм простоват, – хочется что-то с блестками, коронами, как у других. Теперь-то я удивляюсь – откуда взялся детский костюм, полностью соответствующий народному болгарскому костюму?

– Можно, Вера Славна, я помоюсь?

Нюша, мягкая, серенькая, очень любит мыться в ванной. Хвойный запах ползет из-под закрытой в ванную двери.

Папа встает и идет заниматься. Становится спокойнее, и я понимаю – все беспокойство от папы. Мне даже кажется, что временами от него идет черный поток тяжести и недовольства. Папа садится спиной к нам, в столовой (и одновременно кабинете). Зажигает настольную лампу, зеленый свет заливает полумрак. Мы с братом бегаем по кругу, задевая папину спину, из спальни в столовую, в коридор, в прихожую, опять в спальню, опять в кабинет. Зеленый свет покрывает листы бумаги, всюду разбросаны непонятные маленькие фотографии. Папа оформляет диссертацию.

– Здравко дети не мешают, – говорит мама Радайкиным и Лукановым. – Он умеет так сосредоточиться, что ничего не слышит. Они на голове ходят, он не слышит.

Помню, однажды папа прибежал днем домой.

– Вера, возьми секундомер. У меня не получается. Я не могу быстро надеть противогаз. Сказали – выговор по партийной линии. Может, предлог.

Мама с застывшим лицом берет секундомер. Она не смотрит на папу. Сев рядом на диван, она следит за секундной стрелкой. Папа спешит, натягивает противогаз… нет, не получается.

Солнечные пятна на паркете, окно распахнуто, пахнет асфальтом и весной. Но сейчас меня это не радует. Я смотрю, как заворачивается серая резина, как папа натягивает противогаз. Опять нет. Мама нажимает на кнопку, лицо сведено судорогой. Папа, весь красный, сдергивает противогаз.

– Сколько? – спрашивает он.

Серый резиновый череп лежит на папиных коленях. Он его разглаживает, хватает и опять быстро натягивает на голову. Болтается кольцом серый хобот. Вынюхивает, ищет.

– Сколько?

…На паркете были солнечные пятна, из окна пахло весной и свежим асфальтом. Посреди комнаты, на разостланных на полу газетах, дядя с белым лицом и белыми курчавыми волосами, в белой майке и белых трусах, делал зарядку. Я, в ночной байковой рубашке до пят, пораженная, остановилась в дверях спальни. «А-я-я-я-яй! Что за девчонка, – весело запел он. “Это он про меня”, – подумала я. – «Всегда на это сыщет ответ, всегда смеется звонко!»

– На что – «на это»? – спросила я.

А он весело подмигнул и пошел в ванную. Я заглянула в раскрытый чемоданчик и увидела в углу маленькие белые пушистые и неожиданно твердые мячики. А из ванны доносилось:

Для нашей Челиты,
Все двери открыты,
Хоть лет ей неполных шестнадцать…

И впервые желание стать взрослой застучало у меня в горле.

«Академик», – но я и без маминого тона поняла: дядя – человек необыкновенный. Никто так весело не смотрел на меня, никто так весело не пел, никто так весело не подмигивал. «Он белый, – подумала я, – такой белый, что вокруг него свет». А папа красный. И от него идет что-то черное. Жалко. Что это тот самый Жоржик, «ангел», как говорили в Рыльске, чей велосипед висел в

комнате дяди Славы, где я провела первые месяцы своей жизни, я не поняла.

Летом сорокового мы снимаем дачу в Разливе. Вернее – сарай, обклеенный обоями. С того времени сохранилась фотография. Был солнечный день. Спокойно стояли высокие ели и сосны. Красный кирпичный забор. Пятеро взрослых и три девочки собрались вокруг дощатого, потемневшего от дождя стола. На столе – папины фотоаппарат и папиросы «Беломорканал», чашка, раскрытая книга. Бабушка, в белом платье с короткими рукавами, с брошкой на груди, белые пушистые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб; ее никто не звал, она подошла и стала, легко опершись на край стола. Она улыбается, и, как всегда, я не могу понять, что лежит за этой улыбкой. Рядом мама. Она в халате в мелкий цветочек. Волосы гладко зачесаны, и виден белый пробор. Узкое худое лицо, над переносицей заметна морщинка. Я вглядываюсь в мамино лицо, в ее позу, в голову, чуть повернутую к сидящему рядом незнакомцу в черном кителе. И вот напряженное лицо разглаживается, проступает неуверенная улыбка, показывается строгая доброта, возникает чистый, тихий, наполненный заботой о ближних, взгляд. И вижу: ошибалась я, когда думала, что у мамы нет своей жизни – ее жизнь в женственной одухотворенности, в спокойной тишине, лишенной суетности, кокетства, лицемерия, хитрости. И, как ни странно, в маме видна сила. Да и могла бы она решиться выйти замуж за папу, не имея силы? И думается мне, что женская сила – это отсутствие жалости к себе, отказ от себя.

Между папой и мамой на фотографии – незнакомый человек. Он повернулся к папе боком, разговаривает с мамой, голова его обрита наголо, он в черном френче, блестящие военные пуговицы. Взгляд цепкий, холодный и умный. Испытующе он глядит в объектив. Как сквозь сон, доносятся из того времени слова:

– Чего приехал? Доносчик. Никогда не общались. Ясно, граница близко – присматривается.

И мамин шепот:

– Не выдумывай глупости. Завтра уедет.

Как часто, слушая папу, мы посмеивались над его подозрительностью, не верили, думали – преувеличивает; иногда возмущались. Но проходило время, я взрослела и все чаще признавала: а ведь папа был прав.

За столом папа со мной на коленях. Папа в белой тенниске. Полосатые подтяжки поддерживают черные флотские брюки, о которых долго шел спор, можно ли их принять за гражданские. Прошло шесть месяцев, как папа вышел из тюрьмы оборванным

нищим, как постучал в комнату к Ирочке. Папа уже перестал морщиться, будто лицо свело гримасой, но у папы много морщин, весь лоб покрыт. Я пытаюсь их разгладить, они все равно остаются – как будто он в изумлении приподнял брови и не может их опустить. Но на угодливость, заметную на той первой, страшной фотографии, нет и намека. Сидит сильный, упрямый, независимый человек. Правда, в этом человеке нет ничего общего с папой тридцать шестого, кроме волнистых черных волос. Веселая гордость и уверенность пропали. Он живет, но ему трудно – вот как я бы описала папин взгляд.

На этой фотокарточке я очень похожа на папу: тонкие губы, папины глаза, даже выражение лица, и видно, что сейчас самым близким человеком для папы являюсь я. Я в трусах, косички на голой груди, сижу совершенно свободно, видно, что папины колени – привычное место, а папа головой касается моей макушки, будто греет зуб.

Рядом сидит толстая девочка Инесса, дочь Андрея Луканова; сидит дочь Радайкина – Майя. Мы с ней тоже дружим, но я чувствую, что она относится ко мне снисходительно, будто я ее младше, и я это признаю. Она ходит в пилотке, занимается гимнастикой и кажется гораздо самостоятельнее. Сам Радайкин, широкоплечий, с русым чубом, с открытым взглядом, в белой рубашке, с маленьким сыном Валерой на руках, стоит за спиной мамы. Радайкин и Луканов – единственные папины друзья. Он верит только им.

Сохранились еще несколько неудачно проявленных папой в Разливе фотографий. Опять мама… Она все время проводит с Вовкой. А мы ездим с папой по окрестностям, иногда берем с собой Инессу, она живет здесь же, поблизости, с бабушкой Коцей (Лукановой) и своей двоюродной сестрой Ирмой. Они приехали из Москвы, и дядя Андрей снял дачу, только не сарай, а целый дом с верандой. Сам Тодор Луканов в Москве. Да, предугадать свою судьбу невозможно. Тодор Луканов – бывший организационный секретарь ЦК БКП – в 1920-е годы эмигрировал в Советскую Россию, был в 1938-м у нас арестован, затем выпущен, но в Болгарию так и не вернулся. Он умер в сорок шестом году в Москве. Его жена, та, что сейчас в Разливе, сухая, высокая седая старуха, с длинными волосами, неулыбающаяся, потом переехала в Болгарию. Жила баба Коца одна, несмотря на то, что из Советского Союза вернулись ее дети с семьями – Вела, Карл и Альберт. Жила она в особняке, рядом с домом, где жил мой брат Вовка. Дом был двухэтажный, серый. Мрачный. Я затихала, когда мы проходили мимо ее дома, казалось, там, за темными непрозрачными от грязи окнами, стоит высокая сухая

старуха и слушает, что мы говорим. Как-то я спросила папу – почему он никогда не зайдет к ней? «Она никого не принимает», – ответил папа. Она пережила мужа лет на тридцать с лишним. Возможно, пережила и внука, племянника Андрея Луканова, названного в его честь Андреем и застреленного на пороге своего дома в Болгарии в 1996 году.

В Разливе мы приходим к ним с папой, Инесса рада мне, она в простом ситцевом платье в цветочек, а я в легком крепдешиновом, но у меня пятно на животе и я босая, как и папа, а Инесса в туфельках и носочках. Я вижу, как быстро оглядывают меня и потом сразу забывают, я стараюсь закрыть пятно на животе. Мы заходим в сарай Ленина, он тут же рядом, в Разливе, на другой улице. Помню оживление папы на мгновение, когда он рассказывает про какие-то книги. Ох, как больно это воспоминание теперь! Сколько раз профессора по диамату, пораженные его знаниями в этой области, предлагали бросить ВМА и перейти в Институт философии. После тюрьмы папа впервые дает себе волю. Зайдя в «Сарай» Ленина с детьми – Инессой, Ирмой и со мной, папа рассказывал про красные книги, лежащие в «Сарае». Конечно, я абсолютно ничего не поняла, но запомнила преображение папы в полутемном сарае, устланном сеном, с красными книгами на полочке.

Однажды поехали в Териоки, ныне Зеленогорск. По пути сошли с поезда – посмотреть дом Репина. Меня поразил дом странной архитектуры с огромной застекленной комнатой наверху – его мастерской. Когда говорят: «ну что дети поймут, их рано водить по музеям, они еще маленькие» – не верьте! Дети все запоминают. Когда я вернулась в Ленинград в 1952-м, я сразу же отправилась в Репино. Мне не терпелось взглянуть еще раз на странный дом. Но дом Репина был сожжен во время войны.

В Териоках мы прошли узкой, проложенной среди высоких папоротников тропинкой.

– В лес не ходите, – предупредили нас военные. – Могут быть мины.

– А тропинки?

– На тропинках проверено.

Всего полгода тому назад здесь шли ожесточенные бои. Ходят слухи, что финны все заминировали.

Была и такая странность: в некоторых домах невозможно выйти из уборной, пока не спустишь воду.

Вышли к гладкому серому заливу. Впереди шел папа, за ним я. Разувшись, вошли в воду и сели на камень, свесив ноги. Папа старался объяснить, что это море, а вот там Кронштадт. Что это и есть море – не верилось; я вглядывалась в серую воду, старалась

рассмотреть остров, и, чтобы не обидеть папу, говорила: «Вижу». Потом долго сидели молча.

Что вспоминал папа? Возможно, он вспоминал, как всего несколько лет тому назад он, счастливый и гордый, приезжал в Кронштадт гостить к родителям приятеля. Тогда казалось – это та самая жизнь, за которую боролся, жизнь счастливая, которая установлена и будет всегда.

Вернулись мы уже в потемках. На перроне темной тенью метнулась мама.

– Сумасшедший, – закричала она. – Что случилось? – И, видя, что все в порядке и мы, напротив, довольные и счастливые, напустилась на папу: – Целый день таскал ребенка голодного. Ей спать давно пора. Она же босая. Она замерзла.

Мама пыталась накрыть меня своей кофточкой. Папа согнул плечи, опустил голову, подхватил меня на руки. Мне было его жалко.

– Ты разве замерзла, Ингуся? – спросил папа.

– Замерзла, – ответила я, глядя на маму, спешащую рядом. Мне было страшно жаль папу, но ответила я то, что хотела услышать мама: она ласково провела рукой по моим босым свесившимся ногам.

– Путь она идет, так скорее согреется, – говорит мама, и папа послушно опускает меня.

Мы быстро, очень быстро идем по темным улицам Разлива, мимо деревянных дач, невысоких заборов. Пробираемся напрямик сквозь темную чащу кустов. Именно в этот вечер я осознала, что папа мне опять близок и дорог, как и раньше, до ареста.

– Ты замерзла, Ингуся?

Виноватый, ласковый, обеспокоенный голос я слышу его до сих пор.

Когда вернулись осенью в Ленинград, папа повел меня к кино. В Выборгском Доме культуры шел фильм «Тимур и его команда». Там я узнала Разлив, почувствовала себя Женей и влюбилась в Тимура. Лучше того, что происходило на экране, я представить не могла.

– О чем ты все время думаешь? – пристает мама.

Я молчу. Не могу же я сказать, что я влюбилась в Тимура, влюбилась в Женю, что все время вижу их перед собой и мечтаю оказаться в таком же положении.

– Давай еще раз сходим в кино, – говорю я папе.

– Давай.

Но он не знает, что единственное кино для меня – это «Тимур и его команда», и мы идем смотреть кинофильм «Гибель Орла». Про корабль. Кажется, корабль затонул, кажется, там был якорь,

кажется – капитан, какие-то камни под водой и водолазы… Не помню. А вот «Тимур и его команду» – помню до мельчайших подробностей. Я как бы вдохнула в себя все, что происходило на экране, и так и задержала на всю жизнь.

Осенью папа кончает диссертацию. Печатает ее Лидочка, бывшая жена дяди Лели. Красивая женщина сидит за столом, опершись на локоть. Маленькая любительская фотография, возможно сделанная папой. Папу восхищает не только ее грамотность. Лидочка словно воскрешает в нем образ русского интеллигента, так поразившего его при учебе в ВМА. Папа с мамой ходят к Лидочке в гости и тихо ругают дядю Лелю. Зимой папа едет в «Барвиху», ему вешают очередную «шпалу», диссертация готова. Из Москвы привозит подарки. Мы стоим между спальней и столовой, в дверях. Папа вынимает серую в белых пятнах кошку, наклоняется, нажимает на хвост кошки, и она, под наши крики, катится через всю столовую к окну. Потом вынимает голого пупса с раскосыми глазами – это мне. А из огромной коробки вынимает слона из папье-маше с красным, расшитым золотыми нитками седлом. На него сажают брата, и папа тянет за веревочку, а слон, качая головой, катится по комнате. «Как дотащил?» – удивляется мама.

– Это только Здравко может, – говорит мама, когда приходят Радайкины и Лукановы.

Я не чувствую зависти. Уверенность, что меня любят, так сильна, что я не замечаю, что мне достается только голый пупс.

Брат все еще плохо говорит, его понимают только мама и Нюша.

– Вера, переведи, – кричит отец, когда Вовка что-то пытается сказать.

А меня тем временем исключают из группы как «бациллоносительницу». Я заразила брата дифтеритом, и все понимают, могу на нем не остановиться. В тот день, когда брат заболел, было воскресенье, мы с папой, как обычно, ушли гулять. Мама осталась дома, у Вовки болело горло. А когда вернулись, то только открыли дверь, как мама каким-то бесцветным голосом сказала:

– Здравко, у Вовы дифтерит.

Папа молча разделся, не спеша переобулся. Мама пошла на кухню, где на столе, свесив ноги, сидел мой маленький брат.

– Мы сидели вот так, – рассказывала мама, – он зевнул, и вдруг я увидела, что гланды покрыты будто паутиной. Я открыла «Медицинскую энциклопедию», да уже и до этого поняла – дифтерит.

Папа осматрел Вовкино горло. Потом сказал:

– Одевай Вову и пошли.

И вот мы опять, уже вчетвером, выходим из дома. Папа сажает Вовку на плечи, и мы идем по направлению к гарнизонной тюрьме. Там где-то находится инфекционный бокс. Я была расстроена, хотя это слово мало подходит к шестилетнему ребенку. Но помню: именно не испугана, а расстроена. Мне было жаль брата, присмиревшего высоко на папиных плечах. В цигейковой коричневой шубке и шапке, он напоминал бы маленького медвежонка, вскарабкавшегося на дерево и не знающего, как с него слезть, если бы не был так преисполнен важности момента. По-моему, до этого папа его не носил на плечах. Я шла и поглядывала наверх, но он не смотрел на меня – смотрел прямо вперед.

Когда мы, еще до ареста папы, жили на улице Карла Маркса, то там был мальчик моего возраста, который внушал мне ужас и брезгливость: у него в шее была проделана круглая дырочка и туда вставлена металлическая трубочка. Само по себе это было страшно – черная металлическая дырочка в горле. Что за ней и вокруг? Но еще страшнее было, когда он начинал говорить – из горла вырывался свист. Мальчик был не похож на других, и если бы это происходило сейчас, то я бы твердо была уверена, что это робот. Но тогда о роботах еще не слышали. Того мальчика спасли, проделав эту дырочку, иначе бы он задохнулся.

Я ужасалась, но играть с ним не хотела. И вот от такой трубочки мы спасли брата. Настроение тогда у нас было под стать ранним зимним ленинградским сумеркам. Папа надолго исчез с Вовкой за белыми дверями, а когда вышел, сказал, что Вовка молодец, вел себя прекрасно, даже не заплакал, когда брали кровь, что лаборантка молодец, сказала: «Следи за красной палочкой, сейчас она будет подниматься», – и он внимательно следил. Еще папа сказал, что Вовка пролежит здесь долго, что мы вовремя пришли, что ему ничто не угрожает и что надо проверить, откуда он подхватил заразу. И вот, поковыряв у меня в носу палочкой с ваткой, узнали, что я и есть источник заразы.

…Я бегаю по двору, смотрю, как дворник в белом халате, одетом на ватник, шваркает по лужам.

– Я тоже хочу быть дворником, – заискивающе улыбаюсь я, хорошо сознавая свое ничтожество и всю неуместность вмешательства в его дела; но мне не с кем говорить.

– Мне папа тоже купит велосипед, – говорю я, глядя, как мальчик описывает круги на двухколесном велосипеде по площадке перед папиной кафедрой.

– Папа обещал?

Дежурная старушка с седыми волосами охотно говорит со мной:

– А как фамилия папы?

– Мицов. Мой папа здесь работает.

– А тебе не холодно в ботиночках?

– Нет, мне мама только что купила их в ДЛТ.

«ДЛТ» – сказочное слово. «Мама пошла в ДЛТ». «Мама купила в ДЛТ рейтузы». «У мамы болит голова, она была в ДЛТ». Однажды мама меня взяла в ДЛТ. Это было почти так же интересно, как поход в цирк. Только там я сидела и смотрела, а здесь сама была участницей. Мы поднимались по широким лестницам, ходили по этажам, примеряли, смотрели и, наконец, купили мне синий матросский костюмчик, с якорем на рукаве и с воротником в белую полоску.

– Чисто шерстяной, – сказала мама.

Папа, наконец, постепенно приходит в себя. Уже прошло более года, как он вышел из тюрьмы. Сейчас один – нет, два жеста напоминают мне прежнего папу. Жест первый:

– Какие у вас духи? – бежит папа за незнакомой женщиной.

Женщина недовольно оборачивается, но, взглянув на папу, увидев его требовательно-заинтересованное лицо, лицо спешащего человека, отвечает:

– «Манон».

Она даже улыбается папе. И папа бежит в ДЛТ или в ТэЖэ (парфюмерный магазин на Невском) и покупает маме «Манон». Манон – какое прекрасное слово. Я понятия не имею, что оно обозначает, но аббат Прево был гениален, дав это имя своей героине – Манон. Оно манит, чарует, ласкает, обольщает.

Манон – весениий запах весенних цветов – гиацинтов.

У Нюши свой запах – резкий, острый и свежий. Но и его я люблю. Когда она достает из сундука на кухне, на котором спит, деревянный баульчик, обклеенный изнутри картинками, я всовываю голову в баульчик, заполненный в ряд уложенными флаконами с одеколоном, подаренными мамой. Нюша мягко, недовольно меня отстраняет. Она вообще меня не любит, она любит Вовку.

Да, папа возвращается к жизни. Слава богу, ему не перебили его непосредственность, упрямство, настойчивость. «Загорелось» – так определяет мама папино поведение. Здравко «загорелось». И вот они бегут, как в молодости, в ДЛТ.

– Магазин закрывается, – металлически оповещает репродуктор. Толпа по лестнице валит навстречу, мама яростно сопротивляется:

– Здравко, оставь, пожалуйста, – и пытается выдернуть руку. –

Ты что, не видишь? Толпа, все уходят. Кассы уже закрыты. Закрыты.

Но папа уже вспомнил молодость, забыл 1938 год на время, руку мамину не выпускает и тащит маму наверх, сквозь толпу.

– Не нужен мне никакой берет! – Мама все еще пытается выдернуть руку. – Слышишь, не нужен! Я его не надену!

Они вбегают в пустой зал.

– Салатный берет, пушистый – есть?

Папа немногословен. Продавщица смотрит на папу. Он высокий, красивый, в шинели с двумя шпалами, в буденовке… Рядом задыхающаяся женщина в цигейковой шубе, с недовольным лицом.

– Пойду посмотрю, кажется, все разобрали. – И продавщица уходит куда-то вглубь. Потом молча приносит нужный берет и подает маме.

– Последний, – говорит она.

– Как тебе идет этот берет, – говорит бабушка. – Здрав Василич! Посмотрите, как Верочке идет берет.

На маме белые фетровые боты, черная юбка, цигейковый жакет.

А Анне Ванне Андрей Луканов купил беличью шубку.

– Ане эта шуба – как корове седло, – говорит папа, и мама смеется, но я сквозь смех улавливаю желание.

И потом, помню, они долго подсчитывают, могут ли купить маме такую шубу – нет, не могут. И вместо шубы маме заказывают серый «троакар». Я думаю, что это от слова «труа-катр» – три четверти. «Троакар» очень модный. Мама надевает «троакар», черные лакированные туфли, и они с папой идут в театр на «Анну Каренину». И мама потрясена, нет, не Тарасовой, а Хмелевым – Карениным.

У меня сохранилась случайно книжечка, в которой указаны размеры зарплаты в то время. Андрей Луканов – кандидат, доцент, у него зарплата – 2000 рублей, а у папы, старшего преподавателя, кандидата – 1600. Вроде и небольшая разница, но беличью шубу купить нельзя. К тому же в нашей семье два ребенка, да еще и няня. Андрей приехал в Союз раньше папы и, когда папа учился на первом курсе, уже заканчивал академию и поступал в аспирантуру. Тема диссертационная – огнестрельные ранения. И вот Андрея Федоровича отправляют в больницу Душанбе, там, в Таджикистане, под руководством Буденного идет борьба с басмачами, Андрей Луканов оперирует раненых. На следующий год Андрей едет в Восточную Сибирь, в город Читу, усилить медицинское обеспечение в связи с агрессивными планами Японии, затем Финская война, и он сутками оперирует

раненых и обмороженных, доставленных в Ленинград прямо с поля боя. И вот сейчас Андрей Федорович, всеобщий любимец за ровный, веселый характер, прекрасный хирург – зам. завкафедрой госпитальной хирургии профессора Гирголава.

Как вспоминается эта семья? Инесса считается моей самой близкой подругой, нам с ней только исполнилось семь лет. Тетю Аню я чувствую почти родной, белая, мягкая, говорит нежно, у нее широкое лицо и курносый нос. У нее нет этой постоянной складки над переносицей, как у мамы. Она приветливо улыбается. С ней уютно. Дядя Андрей – по-моему, я никогда так к нему не обращалась, – он нами с Инессой не интересовался, но вспоминается веселым, подвижным и тоже каким-то мягким. Его мягкость совсем не такая, как у тети Ани, это я чувствую: в ее мягкость можно просунуть палец, и, возможно, там обнаружится пустота. В мягкость Андрея палец просунуть невозможно. Он весь из добротного материала, как плюшевый мишка. Темноглазый, полный, лысоватый, живой, мама говорит, что Андрей очень красивый.

Сохранилась фотография того времени, начала 1941-го. Папа с мамой у Лукановых сидят на диване, обтянутом белым чехлом. Оба откинулись на спинку. Видно, что у Лукановых им хорошо. В этом доме они свои. Этому дому они доверяют. Родителям нет сорока, папе тридцать восемь, маме тридцать семь. Сейчас я с удивлением осознаю – они ведь в самом расцвете. Они еще совсем молодые. Но на фотографии – пара среднего возраста. И если папа потом будет выглядеть моложе, чем на этом снимке, то мама уже никогда не оправится от пережитых потрясений.

Тогда же папа пытался устроить маму к себе на кафедру. Но мама, я думаю, вообще не была создана для этого, она хотела быть матерью и женой.

– А что ты делаешь на работе? – спрашивала я.

Мама морщилась:

– Привязываю морских свинок за лапки.

– Каких морских свинок?

– Морских свинок, так называются.

– Какие они?

– Белые, маленькие. Похожи на белых мышей.

Все это мама говорит неохотно, видно, что ей неприятно даже вспоминать свою работу. Она проработала, кажется, несколько недель. Не больше месяца. Это была ее последняя попытка влиться в жизнь, не связанную с семьей.

Мне кажется, про меня забыли. Я бегаю по двору, залитому весенним солнцем сорок первого года.

Наш огромный двор перегорожен дощатым высоким забором.

Запах свежеструганых досок вытесняет прошлогодний запах масляной краски. Весело качаться на досках, весело думать, что я независима, что я большая и еще – что вот тот мальчишка, похожий на Тимура, сегодня меня догнал и дернул за косу. Весело подсматривать в щель забора, разглядывать огромную глубокую желтую яму. У нас во дворе строят метро.

– Никакое это не метро, – говорит мама. – Это строят бомбоубежище.

Днем бомбоубежище – это весенний двор с забором, огораживающим огромный котлован. А вечером? Вечером меня сковывает ужас. Мама приносит его из Выборгского Дома культуры, куда она ходит в библиотеку. Мама синяя, как свет учебной тревоги, как синяя лампочка под потолком.

– Здравко, война будет, – шепчет мама и глядит на окно вентиляции.

Я лежу в кровати и не могу шевельнуться. Я верю сразу и безоговорочно. Неправда, будто дети не боятся.

– Тебе, Вера, с ребятами надо уезжать, – шепчет папа. – Вот только вернусь из командировки и отправлю вас.

– Куда?

– В Рыльск. Середина России, туда не дойдут. Маленький город, не будут бомбить.

– Рыльск, – плачет мама. – Опять Рыльск.

Я засыпаю, и снится мне вещий сон. Я, мама и брат поднимаемся по ступенькам чужого небольшого дома с верандой. Стучимся в стеклянную дверь. Нам не открывают. Мы спускаемся вниз и остаемся одни среди голого желтого безмолвия.

Двадцатого мая папа уезжает в командировку. Ведь он работает на кафедре боевых отравляющих веществ, диссертация его по иприту. Враги собираются воевать, пускать газы.

Я слышу слова: «газовый полигон», «немцы», и опять все сразу без объяснения становится понятным, как понятны слова – «война», «тюрьма», «бомбоубежище»… Как понимают дети незнакомые слова? Вероятно, телепатически. Это потом дается объяснение, а вначале впервые услышанное слово проникает внутрь как некий образ, несущий ужас или, наоборот, счастье. «Газовый полигон» несет страх, он связан с серым страшным противогазом, с противным мертвым хоботом. Страшно.

Но война войной, может, и обойдется, и папа перед отъездом в командировку ведет меня в школу. Школа находилась в конце нашего небольшого переулка, напротив папиной кафедры. Папа в гимнастерке, с двумя шпалами, со значком медика рядом со шпалами – желтая тонкая металлическая змея подняла голову над желтой чашей. Он весело любезен, не похож на себя (значит,

мог быть и таким), убеждает директора, что меня, семилетнюю, можно принять в школу. (Тогда принимали в школу с восьми лет.)

– Ей в сентябре будет уже семь с половиной.

– А читать она умеет? – спросил директор.

Он протянул мне газету, что лежала под рукой. «Правда», – прочла я.

– Вот, Игнуся, – говорит отец, как только мы выходим из школы, – вернешься осенью из Рыльска и пойдешь в ленинградскую школу.

По тону понятно: «ленинградская» – значит, особенная.

И папа уезжает. Вскоре от него приходит открытка. «Вера, – пишет папа. – Лето предстоит холодное. Возьми зимние вещи и уезжай отдыхать в Рыльск. Не жди меня».

Открытка – значит, не будут вскрывать и читать; значит, дойдет, и дойдет скорее. Конспирация. Мама владеет ею: «не жди меня», «лето холодное» – и мама понимает: «Вера, война вот-вот начнется. Уезжай немедленно. Забирай все зимние вещи».

И опять нас провожает дядя Леля, он опять покупает билет в военной кассе. Опять у нас много багажа. Слон остается в Ленинграде, но пупс едет с нами, как едет папина старая гимнастерка, альбом фотографий, как едут отрезы сукна и шерсти, выданные для папиной формы еще в Севастополе. Опять мы едем к тете Леле в Рыльск. Мы приезжаем в Рыльск двадцатого июня в пятницу. А в воскресенье днем страшно застучит метроном по репродуктору и завоют сирены. У нас будет первая воздушная тревога.

Часть 3. Война

Уже не любят слушать про войну прошедшую…

Б. Слуцкий

Преемственность поколений налагает обязанности на тех и на других. Новые поколения должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили.

А. Адамович, Д. Гранин.

«Блокадная книга»

Защита диссертации. – Командировка. – Начало войны. – Семья вернулась в Рыльск. – Письма папы. – Блокада Ленинграда. – Воспоминания Л. И. Рыскиной. – На оккупированной территории. – Немцы. – Быт. – Насильственный уход из Рыльска вместе с немцами. – Мытарства по деревням. – Болезнь мамы. – Возвращение в Рыльск. – Освобождение города. – Папа находит нас. – Проездом в Москве. – Самарканд. – Ссора с профессором Савицким. – Папа увольняется из ВМА. – Снова Москва. – Астрахань. – Путешествие на Кавказ. – Впереди – Болгария!

«Защита диссертации состоялась 20 мая 1941 г. Через несколько дней после защиты меня вызвал комиссар академии и вручил мне приказ. Я должен был уехать на большой химический полигон для реального медицинского обеспечения предстоящих учений, проводимых Химическим управлением Генерального штаба Красной Армии. В результате этих специальных учений выяснилось, что армия может эффективно защититься от немецкого химического оружия и что она может сковать фашистскую армию, если применить ОВ в ее тылу, на территории самой Германии. Однако ЦК ВКП(б), верный принципам советского гуманизма, отбросил это предложение некоторых военных специалистов.

Окончание учений на химическом полигоне совпало с нападением немецко-фашистской армии на СССР. Речь Сталина 3

июля 1941 года застала меня в Ленинграде».

Стояли белые ночи; как обычно, неторопливо текла Нева, зеленели деревья, и только окна домов, заклеенные крест-накрест бумагой, кричали о перечеркнутой прежней мирной жизни. Третьего июля папа, с небольшим чемоданом, с плащом, переброшенном через руку (который всучила ему еще мама перед отъездом в командировку), поднимался в нашу квартиру, наступая на дрожащие на ступеньках солнечные блики. Открыл дверь. В прихожей стояли бабушка и Нюша.

– Здрав Василич, – зарыдав, бросилась бабушка на шею папе, – Здрав Василич, что делать? Отправьте меня в Рыльск, к Верочке.

Папа зашагал по квартире. Война как бы зачеркивала репрессии. Живо и напряженно глянули глаза – как прежде, на карточке тридцать шестого года.

– Собирайся, – сказал Нюше. – Тебе тоже надо уехать.

Маленькая Нюша заплакала и вынула из-под сундука на кухне свой баульчик, изнутри обклеенный открытками с яркими цветами.

Вся квартира еще была пропитана нами, в спальне валялась серая заводная кошка, стояла Вовкина детская кроватка, замер огромный, на колесиках, слон с красным седлом. Папа тронул его, и слон качнул головой. Потом папа принял ванну, послал Нюшу в булочную, что под домом на углу, и в магазин на Нижегородскую – купить колбасу, масло. Сел на кухне пить чай. В столовой плакала бабушка.

Слушал ли он речь Сталина дома из черной тарелки, что висела в нашей столовой под потолком, или уже шел на кафедру? Папа, конечно, обратил внимание на вдруг открывшийся сильный акцент вождя, на большие паузы, на то, как часто булькала вода в стакане. Услышал неожиданное обращение: «братья и сестры», услышал – и все понял.

У меня сохранилось пятнадцать папиных писем, посланных из Ленинграда с начала войны до блокады. Листки, пожелтевшие от времени, треснувшие на сгибах, чуть тронь – и рассыплются… открытки – почерневшие, со стертыми буквами, со штемпелями «проверено цензурой»… Оживает лето 1941 года. Словно кончиком пера водило само Время, которое так и осталось запечатленным на полуистлевших страницах. И думается мне, что время – материально, оно невидимой пылью оседает на бумаге, мебели, стенах… Читаешь эти письма – и видишь, как вся страна собирается с силами, люди борются, сражаются, в отчаянной панике покидают дома…

Я вижу молодого папу, которого так люблю и который пугает тем, что не похож на меня. Он громкий, пламенный, резкий, может дернуть за руку, грубо крикнуть. И – мама. Незнакомая мама. Она рвется то к папе в Ленинград, то на фронт, то решает броситься в Сейм. А где же ее любовь к детям? И почему папе надо ей об этом напоминать? Мама, совсем потерявшая голову от страха, неуверенности и любви, – это понятно. Мама, рвущаяся к папе в Ленинград, – тоже понятно. Но мама, рвущаяся на фронт? А мы? Как же мы с братом? Да, права была моя бабушка, когда говорила: «Первый раз вижу женщину, которая любит мужа больше детей».

Слова, то грозные, то грубые, то пронзительно заботливые, как своенравный бурный поток выливаются на бумагу, как нельзя лучше отражают то, что было тогда у папы на душе: «Если ты думаешь, что бросок в Сейм вместе с детьми будет выходом, то, извини меня, ты просто идиотка…»; строгие указания маме: «обязательно устройся на работу, и немедленно», «запиши Ингу в школу», «из Рыльска никуда не выезжай». И сердце заходится от слов: «Против грозы и во время грозы не ходят с обнаженным сердцем, ибо не только молния поранит, но и дождь и ветер могут погубить человека»… «Послал тебе все, чтобы ты могла свободно, хоть с чем-нибудь выйти замуж, если придется. Ведь никому ничего не известно, что может случиться».

За десять дней, с момента возвращения из Уральска и до отправки с инспекцией на фронт, он написал маме семь писем и сделал невозможное: спас бабушку, тетю Ирочку, двухлетнего Алика, месячного Госю, тетю Катю, отправив их к нам в Рыльск. Нашу няньку Нюшу и ее подругу Нюру, двух вологодских семнадцатилетних девочек, впихивает на палубу парохода и отправляет на родину. Я отчетливо вижу, как Нюша стоит на палубе и плачет в голос… Как бабушка мелкими шажками бежит за папой, тетя Ирочка – с месячным Госей на руках, тетя Катя с двухлетним Аликом… Папа запихивает семью дяди Славы в поезд. Сам дядя Слава с первого дня войны – доброволец. Поезд трогается. Поезда идут не через Москву, через Москву уже нельзя – идут окружным путем через Оршу…

– Вот дура была, – рассказывала мне Ирочка спустя много лет. – Под Оршей нас бомбили, мы выскочили из вагона – и под мост. Спрятались. Мама закрыла Алика, а я все стояла и удивлялась: откуда так много лошадей? И почему так громко ржут? Я понятия не имела, что это летят бомбы… А вот где Ольга Константиновна была, не помню.

Где была бабушка? Конечно, в вагоне на полке. Бабушка полагалась во всем на Бога. Уже в Рыльске, когда мы спускались

во время бомбежки в погреб, говорила:

– Я останусь на лежанке. Если суждено – то ничего не поделаешь.

И оставалась одна в доме. Не знаю, спала ли она под взрывы? Думаю, что спала.

И вот опять вокзал. Папа пробивается сквозь толпу… Да, вся обстановка тех дней, когда надо было действовать решительно и быстро, напоминала молодость. Жить надо было каждым днем.

«Эвакуация людей была тяжелым и трудным делом: упаковка самых необходимых вещей, рыдания, толкотня по перронам Московского вокзала, потеря детей и пр. Я старался помогать эвакуировать семьи без отцов. До конца августа (28) 1941 г. “втиснул в поезд” семью моего болгарского товарища – доцента ВМА А. Ф. Луканова, семью другого моего болгарского товарища – инженера-полковника Г. И. Дубова, невестку моей жены с двумя маленькими детьми и с собственной матерью, мать моей жены и др. Было достаточно поездов и времени для эвакуации, но трудности создавались из-за роковой разлуки, из-за того, что люди “уезжали в пространство”, из-за волнения и страха за детей. Моя офицерская форма помогала успешно справляться с этим нелегким тогда делом».

Видно: чем реальней становится разлука навсегда – тем сильнее нежность, скрываемая под грубостью, рвется наружу. Папа обращается к «Вере дорогой», затем – к «Верочке любимой, родной». Он прощается, он уже в блокадном Ленинграде, о чем мы, конечно, не догадываемся. Папа писал каждую неделю, иногда чаще. Вначале убеждал оставаться в Рыльске, держаться всем вместе, потом сообщал адреса, куда нам следует ехать – в деревню под Нижним Новгородом, где примут родители его однокурсника, в Вологодскую область, где уже находятся наши знакомые Трошины и где их знакомый милиционер пропишет нас, в Казахстан и еще куда-то…

5 июля, вечер.

Дорогая Вера, в Ленинград приехал в ночь на 3-е. Не мог тебе сразу написать отсюда, ибо сразу же начал улаживать наиболее больной вопрос пока – отправки бабушки. Я сам бросился со всей силой на это. И, несмотря на то, что сделал очень многое, все равно ничего не вышло… Не то, что чрезвычайно трудно, просто невозможно пока… А если меня пошлют куда-нибудь или что-нибудь подобное, то, что она будет делать, совершенно не знаю. Думаю, если будет время, на той неделе сделать еще одну попытку. … Ингу запиши там в школу. Сама устраивайся на работу. Из Рыльска больше никуда не уезжай. Я еще не распаковал

свой чемодан. Передавай всем привет. Целую всех вас. Здравко. Ленинград.

6 июля, утро. Дорогая Вера, трудно с твоей мамашей. Тока в квартире нет, керосинки попорчены, она ходит с Надеждой Николаевной к Марии Павловне пить чай. А ничего не помнит. Совсем рассохлась старуха. Здесь крышка будет ей, или на посадке, или в дороге, хотя она и живучая. Деньги получу 20-го, тогда и вышлю. Целую всех. Здравко.

7 июля. Дорогая Верочка, Решил не загромождать почту и перехожу на почтовые открытки, высылаемые по возможности чаще. Сегодня немножко повеселело на душе, т. к. намечается небольшая возможность отправки бабушки к вам. Вы знаете, что здесь малярийные условия дают о себе знать, и хотя и не опасные, но все-таки частые ознобы доконают ее. Как известно, хинин даже не так излечивает эту чертовщину, как изменение местности…

Я ломаю голову – что за малярийные условия? Хинин и изменение местности? Думаю, мама сообразила: папа намекал на налеты и эвакуацию…

…Хотя я и очень занят, но хочется в кино или в театр. Получу деньги и схожу. В Ленинграде держится замечательная погода. Целую вас всех. Здравко.

8 июля, вечером. Дорогая Верочка, вчера и сегодня получил по открытке от тебя и, что особенно меня радует, открытку от Инги. Тебе нечего сюда приезжать. Сиди там. Сегодня еле получил литер на Иру и бабушку. Завтра иду получать билет на Рыльск. Хочу достать и Екатерине Николаевне билет. Перед отъездом Слава просил, чтобы Ира была в Рыльске… Поцелуй всех.

10 июля. Дорогая Верочка, вчера в 11 ч. вечера отправил в Рыльск твою мамашу, Иру с ребятами, Екатерину Николаевну. Сдал в багаж 404 кг багажа. Из них около 100 кг принадлежит Ире. Здесь остались мои книги, корыто, керосинка, велосипед, слон, сундук на кухне…

Так получилось с отправкою, что я не мог вам никаких продуктов и подарков послать. Прошу прощения за это. Сам я остался с 50 р. до получки 20.7. …Ваши поехали через Вязьму, Брянск на Льгов… Я рассказал все, что мог, на скорую руку Екатерине Николаевне. Она передаст все тебе. Думаю взять аттестат на часть денег и выслать тебе туда, чтобы ты могла получить деньги (около 400 р.) в военкомате в Рыльске. Если это возможно – сделаю. Остальные деньги мне – на заем, долг, квартиру и житуху вообще… Ты обязательно устройся на работу, и немедленно. Теперь работы много. Только подыщи такую, где

можно кушать или получать продукты. Твоя библиотека тебе это, конечно, не даст. Нужно запастись на зиму, и притом с таким расчетом, чтобы весною были у тебя семена. Весною ты обязательно посади картошку, фасоль, помидоры, капусту. Обязательно. Найди уголок земли и сделай это. Если есть что теперь – маринуй, сделай томатный сок, перец и т. д. Я послал тебе все, даже подошвы и набойки для починки, чтобы ты могла свободно, хоть с чем-нибудь выйти замуж, если придется. Ведь никому ничего не известно, что может случиться. Во всяком случае, когда твои вещи около тебя, то будешь чувствовать себя почти как дома (пишу, а передо мною Ингина кошка-копилка упорно смотрит на меня). Здесь же и настольная лампа. Мария Павловна хочет ехать к Кондратьевой в Калининскую область. Сейчас отправил Нюшу на пароходе. Радайкин отсутствовал пять дней, ездил к своим устраивать их. Ира Дубова выехала на дачу (где в прошлом году) и тоже решила там оставаться. Серебровы уезжают на родину – в Иваново. Ильины (Андреевы приятели) – к Кудриным. Погода в Ленинграде замечательная. Одно удовольствие – жить и жить, а вот война мешает. Конечно, если бы я был постоянно в Ленинграде, то ты без детей могла бы быть здесь, но ничего же не известно. Пока тебе придется быть с детьми и заботиться о них. Я бы с удовольствием поменялся с тобой, но нельзя. Сегодня получил открытку от твоего отца для твоей мамаши. Я ему ответил. Высылать книги стоит очень дорого: 2 кг – 4 р. 35 к. Я не хочу писать подробно о твоей мамаше, но скажу, что это чудовище, а не человек… С твоей мамашей можешь жить только ты. Не завидую тебе. Дорогая моя, прошу тебя смотреть на все чрезвычайно спокойно и хладнокровно. Волнения, глубокие переживания ухудшат твою жизнь и, следовательно, жизнь детей. Целую тебя всячески. Привет всем. Здравко.

13 июля. Дорогая Верочка, сегодня ездил в Лесное. Там застал открытку от тебя. …На Славино имя получено его жалованье из института – 100 с лишним руб. Если бы знал адрес Славы, то попросил бы.

Папа ничего не пишет о том, что происходит в Ленинграде. Он не подозревает, что в это время Георгий Димитров просит отправить Мицова на подводной лодке по маршруту Севастополь – Варна, но получает отказ от Управления медицинской службы армии – папа один из пяти кандидатов наук по химической защите. Других в Союзе нет. Вместо Болгарии папу отправляют с инспекцией на фронт.

Любовь Иосифовна Рыскина, старшая лаборантка кафедры

ПТОВ, многолетняя сотрудница папы, вспоминает:

– Один раз папа ездил на фронт. А может, два раза. Надо было проверить химическую защиту. Все боялись, что пустят газы. Так его вызывают и говорят: «Отправляйтесь на фронт». А он спрашивает: «А вы не боитесь, что я, пострадавший в тридцать восьмом, знающий немецкий – *попаду* в плен?» Знаешь, что ему сказали? «За одного битого двух небитых дают».

Из папиных записок:

«Однажды в середине июля 1941 г. меня вызвали в штаб академии и сказали, что командование Ленинградским фронтом потребовало дать человека, который должен будет разыскать потерявшийся при отступлении ГОПЭП (Главный объединенный полевой эвакуационный пункт. – И.М.) и разбросанные его военные госпитали, провести с личным составом занятия по первой помощи от поражения боевыми отравляющими веществами и донести о сделанном, и сказали, что в 12 часов ночи приедет санитарный автомобиль, чтобы везти меня на определенное место фронта».

Днем перед отправкой на фронт папа пишет маме наставление на оставшуюся жизнь:

14 июля, 41 г.

Дорогая моя Верочка. Меня очень обеспокоило, что у тебя плохо обстоит дело с сердцем. Мне кажется, что те неприятные ощущения, которые ты испытываешь со стороны сердца, чисто функционального происхождения и могут быть объяснены исключительно психическими причинами. Если ты учтешь, что решающие переживания еще не наступили, если ты учтешь, что сердце у тебя неважное вообще и в особенности после перенесенного тобой сыпного тифа, абортов, родов и пр., если ты учтешь, что предстоит тебе преодолеть для того, чтобы обязательно сохранить детей, то тогда ты увидишь, как тебе необходимо здоровое сердце, и увидишь, что слишком рано начала ты сдавать. А еще на фронт хотела ехать! Эх ты, вояка! Береженого Бог бережет. А ты что делаешь? Раскисла еще в начале. А дальше кому за детьми ухаживать? Или ты в своем страхе и любовь свою к детям потеряла? Если ты думаешь, что бросок в Сейм вместе с детьми решит все вопросы, то ты, извини меня, идиот[ка]. Когда идет шквал, то выбирают какую-нибудь, хоть незначительную подветренную сторону, т. е. защиту, и ждут до того момента, пока бес природы пройдет. Если и совсем не спасется человек, то выходит все-таки с меньшими поражениями. Потому я в каждом письме пишу – будь спокойна, хладнокровна. Смотри на все, что происходит, со стороны и

чувствуй себя не участником происходящего (ни у одного гиганта не хватит энергии на это), а чувствуй себя свидетелем того, что происходит на твоих глазах. В багаже, высланном мною в связи с отправкой бабушки, я вложил одно свое разорванное удостоверение личности, ты склей его. Посмотри на мою фотографию там. Тогда мне был 21 год, а сколько тогда мне пришлось пережить! Сохрани это удостоверение, смотри на него. Оно тебе поможет. Я ведь все еще не получил от тебя письма. Но, если получу, хотел бы, чтобы оно дышало спокойствием, разумностью и здоровьем. Целую тебя.

Вот так: «…смотри на все, что происходит, со стороны и чувствуй себя не участником происходящего… а свидетелем того, что происходит на твоих глазах». Читая письмо, я постепенно осознавала, как папа выживал в тюрьмах.

Но какое может быть удостоверение в 1924 году, когда папе был 21 год? Правда, есть фотография, на обратной стороне которой написано: «Wien, 24». Лицо папы меня пугает: худое, замкнутое, полное гордой решимости. Он готов к тому, что его ожидает: тюрьмы, побои, смертельный риск – в Болгарии, в Югославии, в Австрии… Может быть, эта фотография с того удостоверения?

Тогда же написал и мне наставление. И между строк я вижу, как папа мысленно прощается со мной:

Дорогая моя Ингочка. Я получил твою открытку. Очень благодарен тебе за это, Ингуся! Я узнал, что у мамы болит сердце. Это очень нехорошо. Сердце у мамы болит от того, что боится и что ты не слушаешься. Так послушай меня, моя доченька: ты маленькая и здоровая, значит, ты не боишься ничего и никого, и у тебя сердце здоровое. Ты никого не бойся, моя милая, и маме говори, чтобы не боялась она. Во-вторых, маму надо очень и очень хорошо слушаться. И слушаться надо всегда. И не только слушаться. Надо всегда маме помогать. Ты ведь уже большая, скоро пойдешь в школу. Значит, ты должна сама все делать для себя, и делать надо хорошо. Я тебе уже писал, что теперь идет война. А когда идет война, маленькие дети должны очень хорошо слушаться и не должны бояться. Особенно те детки, которые собираются поступать в школу. Я встретил на Ломанском директора твоей школы товарища Григорьева. Он меня спросил, где ты. Я ему сказал, что ты в Рыльске у Горика. Теперь в твоей школе мобилизованные – дяди, которые идут на фронт. А потом школа освободится, и дети будут учиться. Директор мне сказал, что у него учатся только послушные дети. А ведь школа эта очень хорошая. Если хочешь в хорошей школе учиться, слушайся маму. Вова хорошо слушается. Поцелуй его от меня. Он хороший у тебя

братик. Передай привет Горику и Тате, а также и тете Леле. Целую тебя. Папа.

Папа того времени… Две глубокие морщины на лбу, две глубокие складки у губ, черные горящие глаза. Значок медика – змея над чашей, две шпалы. Я вижу, как он, написав нам письма, проводит пальцем под ремнем, расправляет сзади складки гимнастерки, быстро шагает по Ломанскому переулку. От нашего дома до его кафедры метров двести – триста. Здание, выстроенное еще для Павлова, невысокое – три этажа. Здесь на крыше и был его наблюдательный пункт. Отсюда ночью он спустился, сел в машину и отправился на фронт.

Из записок:

«Когда я ночью сидел на посту для наблюдения за возможными сигналами немцам, мне сказали, что меня на улице ожидает майор. Я сел в машину и в полумраке уходящих белых ночей сориентировался, что едем на юг, по шоссе на Лугу. По обеим сторонам шоссе, в окопах, каждые 30–50 метров были ямы шириной 4–5 метров и глубиной до метра. Как всегда во время войны, передвижение проводилось ночью. Движение по шоссе шло в двух противоположных направлениях. Оно было медленное, осторожное, под ближний свет синих фар с козырьком. К Ленинграду двигались тяжелые орудия и небольшие группы изнуренно шагающих солдат. Проехали Лугу. На рассвете санитарный автомобиль заехал в густой лес и скоро остановился. Когда я вышел из машины, то увидел большую госпитальную палатку. Здесь я впервые увидел бомбардировку немецкой авиации по советским госпиталям, хотя они были с хорошо заметными знаками международного Красного Креста. Линия фронта была в 8 км южнее медсанбата».

По скользкой от дождя проселочной дороге, медленно, длинной колонной двигались из полковых медицинских пунктов к медсанбату автобусы. Обыкновенные городские автобусы. Одна за другой колонна, набитая изувеченными людьми, возникала на проселочной дороге, пропадала, опять возникала.

Из записок:

«Вид этой эвакуационной колонны вызывал у наблюдавших особенное чувство. После приезда раненых, которые были хорошо перевязаны, их выносили из автобусов, клали на носилки на траве, и врач-сортировщик распределял их по характеру поражений. Затем одни из поступивших раненых перевязывались и после коротенького отдыха отправлялись обратно в строй. Это были наиболее легко раненные, способные оставаться в строю. Других

раненых клали сразу на операционный стол, третьих эвакуировали в тыл, а четвертых относили в палатку агонизирующих. Все это делалось тихо и быстро, и очищенная площадка перед медсанбатом освобождалась для поступления группы раненых.

Началась бомбардировка. Палатка поднялась в воздух, как гигантский аккордеон, медленно опустилась. После неоднократных перерывов из-за бомбардировки я провел занятия с личным составом медсанбата по оказанию помощи поражения БОВ».

Папа должен был провести занятия по химической защите в военных госпиталях. Как искать их в огромном густом лесу между Лугой и Псковом? Когда до передовой 8 километров? Помогли военные связисты, которые развозили почту на мотоциклах.

«В одном из моторизованных госпиталей, который я разыскал, как-то вечером входной полог большой госпитальной палатки, полной ранеными, задвигался, на мокрых земляных ступенях показались огромные сапоги, скользящие в палатку. За ними выпрямился офицер высотой выше двух метров. Это был известный хирург профессор Н. Н. Еланский – исполняющий обязанности армейского хирурга. Он осмотрел раненых и затем начал проводить тяжелые операции в присутствии хирургов госпиталя.

Трудности были с госпиталями на конной тяге. Они часто располагались в местах, где находилась трава для истощенных при отступлении лошадей. Руководство таких госпиталей требовало: передайте начальству настойчивую просьбу, чтобы нам прислали машины. На лошадях мы можем попасть к немцам».

Передайте….

Однажды на рассвете крестьянин угостил их огурцами. Ароматные, свежие, только что сорванные, огурцы хрустели на зубах. Папу срочно вызвали на командный пункт. И вдруг – разрыв снаряда: там, где только что стояли папины сослуживцы, была огромная яма. Крестьянин, весь изуродованный, повис на дереве. Все были убиты. Папа случайно остался в живых. Ему суждено было прожить еще сорок пять лет.

«После выполнения поставленной мне задачи я понял, что находился на очень важном участке Ленинградского фронта – Лужской оборонительной линии, где впервые было остановлено наступление немецко-фашистской армии. После этой остановки она изменила свое наступление с Ленинграда на Москву».

Папа ни словом, ни намеком не обмолвился в письмах о командировке. Вернувшись, так объяснит недельное молчание:

21 июля. 10 ч. вечера. Дорогая моя! Последнее время я не писал, во-первых, потому что ваша тетя Варя извела меня своими

вызовами и днем и ночью, было бы что-нибудь у нее, а то только кричит. Во-вторых, потому что ждал сообщения от вас. Я вас там не понимаю. Что за народ! Если приехали ваши и вы все молчите – черт с вами. Но если не приехали и вы молчите, то это безобразие с вашей стороны. Нельзя так беспечно относиться… Дядя Коля едет в конце недели в Уфу. Если возьмет меня с собой, то не знаю, забирать вас оттуда или оставаться вам там. Я окончательно не решил, что делать. Больше склонен, чтобы вы остались там… Андрей Луканов думает забрать своих по дороге с собою. Твоя Рашка уехала на днях в Актюбинск (южнее Оренбурга), а Нюша ее – домой. Твой Владимир Николаевич такой лентяй – не хочет никуда. Чудак он большой. Его баба-немка держит и не отпускает. Но выбора для него не будет. Целую вас всех там крепко. Здравко.

И опять, читая, я не сразу понимаю, о чем пишет папа – ночные вызовы к тете Варе? Не было у нас таких близких отношений. Она что, одна совсем? И что за болезнь? И что это за дядя Коля? И вдруг осознаю: тетя Варя – это немцы, варвары. Дядя Коля – это профессор Савицкий. Я не знаю Владимира Николаевича, тем более его бабки. Но понимаю – его жена-немка в тюрьме.

На пятом этаже в большой комнате, за письменным столом под зеленой лампой, или в оборудованном им бомбоубежище в подвале кафедры папа пишет эти письма. Во время бомбежки, стоя в проеме двери между кухней и коридором, он читает. Накинув шинель, прислонившись к косяку двери, спиной к кухне, лицом в коридор, держит в руках небольшой томик Золя, перелистывает страницы. Дом вздрагивает, а папа спокойно читает «Проступок аббата Мурье» и удивляется тому, как много красивых цветов растет во Франции. Не идет в бомбоубежище – это понятно: пять этажей, а лестницы рушатся первыми. Но неужели можно так увлечься чтением, когда за спиной, над головой, справа, слева, падают бомбы, рушатся здания?

Из записок:

«Сирены часто давали сигналы “воздушная тревога”. Вначале это было непривычно, раздражало и мешало работать… Взрывы авиабомб в городе производили более сильное впечатление, чем в поле, на фронте. В результате взрыва образовывался сильный шум, который создавал эхо, многократно повторяющееся по различным улицам. Рассчитывая на психологическое значение звукового эффекта, немцы выбрасывали из самолета куски рельсов. Последние, крутясь в воздухе, создавали ужасный, незнакомый гул, который, не производя взрыва, пугал. Этот трюк был быстро разгадан».

27 июля.

Вчера получил открытку и письмо от тебя, из которых узнал, что ваши приехали. Очень рад. Я последнее время, когда начал эту открытку, забыл все из-за вызовов тети Вари… Григорий Васильевич уехал к Сергею. Ты все хочешь сюда. Не пиши глупости. В Ленинграде лучше, чем где-либо, это верно. Здесь и спокойно, и снабжение прекрасное, и погода в этом году неподражаемо хороша. Но я бы физически не смог, помимо всего прочего, таскать детей туда-сюда, ты бы не была дома, а сидела бы на общественной работе и т. д. Так что ты особенно не выдумывай. Работы очень и очень много. Поездка дяди Коли (Савицкого. – И.М.) отменена.

Андрей (Луканов. – И.М.) тоже здесь. Целую всех. Здравко.

Из записок:

«За все время блокады, до эвакуации, учебная работа в академии не прекращалась. Защита ВМА проводилась силами ее личного состава. Каждый из нас имел свой пост и знал свои обязанности. По сигналу воздушной тревоги каждый оставлял свою работу и бежал на свой пост. Для личного состава кафедры, парторгом которой я был, по моей инициативе оборудовали бомбоубежище из подручных средств и наличными силами. Оно находилось в подвале здания кафедры. В начале бомбежки шеф кафедры профессор Н. Н. Савицкий посмеивался над нашим убежищем, но когда бомбардировки усилились, он позвонил мне вечером и попросил зайти в убежище со старшей дочерью, с которой он прятался под лестницей дома, где жил. Сделанное на кафедре бомбоубежище вполне защищало от 250 кг бомб. Оно отапливалось большой плитой для приготовления пищи подопытным животным. В нем не так сильно слышались взрывы авиабомб. Позже все семейство профессора Савицкого перебралось в это бомбоубежище. Здесь они ели и спали. Здесь собирались и преподаватели кафедры физиологии и иногда при бомбежках слегка выпивали “для храбрости”.

В перерывах между учебными часами мы иногда собирались в кабинете профессора – он, доцент К. Н. Карпенко, преподаватели В. Н. Розенберг, Огнев, Акулов, я и др. – и говорили, конечно, о войне. Так как я весьма энергично доказывал, что Советский Союз победит, то мой профессор заканчивал спор язвительно: “Здравко Васильевич, почему не поедете в Генеральный штаб доложить свое мнение?” Я говорил так не только потому, что был парторгом кафедры, а потому, что это было мое глубокое убеждение как коммуниста.

Вопреки голоду, холоду, бессоннице, трудным условиям работы, не исчезла у нас тяга к нормальной жизни. Мы посещали кино и концерты в клубе академии. Ходили на прогулки, в гости. По

старой традиции Каменноостровский (Кировский. – И.М.) проспект в воскресные дни заполнялся молодыми людьми. Чтобы переломить праздничное настроение ленинградцев, иногда немцы спускались на самолетах низко и стреляли по гуляющим парам из пулеметов. Один раз я видел, как все прогуливающиеся остановились и смотрели, как советский самолет протаранил немецкий самолет и как оба, объятые пламенем, упали за Невой, в Новой Деревне.

Когда я ездил к моему товарищу (Дубову. – И.М.) на завод "Большевик" за Невской заставой, видел, как у железнодорожного моста на правом берегу Невы по ползающим людям, которые собирали картошку, стреляли фашисты. Немцы бросали с самолетов листовки на русском языке. Они были не только некультурные, но и неграмотно написанные. Иногда листовки сопровождались такими же рисунками на простой бумаге. По этим листовкам мы видели, что гитлеровцы понятия не имели о большой культуре и высоком морально-политическом воспитании ленинградского населения. Я вспомнил об этой вульгарной фашистской агитации, когда был на Западном фронте под Москвой, где наши самолеты бросали в ряды немцев иллюстрированные журналы с глубокой коричневой печатью на глянцевой бумаге. Эти пропагандистские журналы содержали аргументированные, логичные разоблачения фашистских варваров на немецком языке».

Из письма:

Я не знаю, что мне делать с моими на работе. Им всем хочется быть с Лидиным папой (на фронте. – И.М.). Работы мне, конечно, много. А ваша тетя Варя не может без молока… и пользуется коровой Инги, когда ей было полтора года. (Именно там, на границе с Эстонией, в тридцати километрах от Ленинграда, где я впервые увидела паровоз. – И.М.) Здесь, в Ленинграде, все хорошо, тихо. Погода по-прежнему хорошая. Снабжение богатое. Как вы там живете? Что кушаете? Ты мне не писала, что почем? Тете Кате говорили, что Вовин папа (то есть он сам. – И.М.) хочет и попробует пробраться к нему. Найдет ли он его там? Может, Вова посидит в Отрадном (Рыльске. – И.М.) и даст об этом знать близким. Сегодня помогал Окуловой собраться. Я здоров. Думаю заехать в Лесное. Целую вас всех крепко. Здравко.

Кольцо вокруг города еще не сомкнулось. Еще не ушел последний поезд, не разгромлены Бадаевские склады, не уехал Савицкий, еще папа не остался, как он пишет, «единоначальником» кафедры (и парторгом). Но в письмах опять

возникнет перерыв на 16 дней, второй выезд на фронт. Перед этим 29 июля в 7 часов утра папа напишет:

29 июля, утром. Дорогая Вера. Вчера получил сразу 2 открытки от тебя (20 и 21). Вчера же я занимался уборкою. Столько седых волос твоей мамаши, припрятанных везде… Я прошу Лелю держать руку тверже, чтобы она не терроризировала вас всех там… Работы здесь чрезвычайно много. Раз или два в неделю могу ночевать только дома, и то с перерывами. …Береги детей от дизентерии. Деньги можешь расходовать, как хочешь, но дети мои должны быть сыты и одеты. Здесь очень некогда. Ты не жди письма каждый день. Хорошо и раз в неделю. Целую. Здравко.

А 14 августа в 8 часов вечера, по возвращении:

Дорогая Вера, как я живу – писал уже тебе. Кушаю в нашей столовой, завтракаю дома, работы много. Ночевал сегодня у Андрея. Ругал Аню, как никогда. Если что – поезжай к ней. Я с Андреем договорился. Ты ей напиши. Ее адрес: … Недавно в Горький поехала Елена Сергеевна, ее адрес… В Горьком тебя встретят Аня с женою Криворотова. Они в 40 км от Горького. Говорил с Георгием Яковлевичем и со слушателем, к родным жены которого поехала Мария Павловна. Ты можешь и туда поехать. Это, наверное, тоже через Горький. Адрес Марии Павловны знаешь… Мне слушатель Батыгин говорил, что там пропишут вас. Брат его жены работает в комиссариате. Там организуется военторг. М.П. уже купила себе куб. метр дров. Свое мнение я высказал Ек. Ник. (тетя Катя. – И.М.), думаю, что она передала его вам. Если куда уезжать, то нужно в Западную Сибирь или Восточный Казахстан, Киргизию, Семипалатинск. Я бы сделал так, как говорил тете Кате. Тетя Варя (немцы. – И.М.) чрезвычайно плоха, думаю, что она долго не продержится. Кажется, что больше получать писем не будем. Муж Над. Ник., по-видимому, поехал к Володе (умер? – И.М.) Целую всех вас. Здравко.

Наконец, папа за две недели до блокады дает возможность маме оценить обстановку – «…больше писем получать не будем…».

18 августа. Дорогая моя Верочка! Получил сегодня письмо твое от 9.8. Как я рад! По многу раз в день я открываю ящик и смотрю, нет ли там писем от вас, хотя и так видно, что ящик пустой. Забегаю с работы специально для этого. Напиши мне обязательно, получила ли справку на подъемные деньги (100 р.). Смотри, чтобы так не получилось, как с посылкою раньше. Здесь все хорошо. Там тебя тянет уехать Ек. Ник. Она помнит, что я ей говорил. У нее есть где родные? Деньги? Человек как дерево: без корня не может

никак жить! Я знал, что твои братья умные, но не знал, что они отчаянные. Рад за Славу, ему везет (дядя Слава с первого дня войны – сапер. – И.М.). Целую всех. Здравко.

20 августа. Родная моя, дорогая Верочка, я вижу, что ты не получаешь мои письма. Не знаю, получила ли справку насчет подъемных денег и смогла ли их получить в военкомате? Дядя Коля, Валин папа (Савицкий и Трошин) и пр. поехали к нашей Нюше (в Вологду. – И.М.).

В тот день папа имел возможность покинуть Ленинград…

Вспоминает Любовь Иосифовна:

– Приходит Здравко Васильевич, весь серый, и говорит: «Что я сегодня пережил, Любовь Иосифовна!» Он провожал нашего профессора Савицкого. Объявили посадку. Папа взял чемоданы и пошел к самолету. «Вы понимаете, мог улететь вместе с ними, и никто бы мне ничего не сказал. У меня не спросили никаких документов».

Через два года папа напишет маме:

В сентябре месяце 41-го, когда видел, что немцы приближаются к вам, я попросился у начальника академии поехать к вам и вывезти вас, ибо убедился, что райвоенкомат ничего не сделает. Однако, мотивируясь блокадой, меня не пустили, несмотря на то, что обещал пробраться через блокаду туда и обратно.

31 августа, вечером. Дорогая моя Верочка! Я получил твою открытку от 18 августа только 31-го. Ты пишешь ответить тебе немедленно. Я и спешу и рад был бы, если ты еще в Рыльске, тогда получишь мое письмо. Ты жалуешься, что меня нет. Я же не могу быть там. Вначале я предполагал, что мне удастся заехать к вам, а теперь это абсолютно исключено. Ты не знаешь, ехать в Ташкент или нет? Нет! То, что говорил Екатерине Николаевне, то и остается. Аня пишет, что у нее можно найти комнату, и приглашает тебя туда. Там с продовольствием хорошо. Я думаю, что лучше будет, если ты не расстанешься с Лелей. Будьте все вместе. Самое главное теперь – мыло. Не забудь, как ты болела сыпняком. Напиши в областной военкомат и получи подъемные деньги. Целую всех вас. Здравко.

Это было последним письмом. Мама его получит в конце сентября. А в начале октября в Рыльск вошли немцы.

Папа, услышав по радио, что сдан Рыльск, по его воспоминаниям, бегал из угла в угол нашей пустой квартиры и

ревел, ревел, как зверь в клетке. Из папиных записок:

«Только после замыкания кольца блокады и личного приказа первого секретаря Ленинградского комитета ВКП(б) Жданова было принято решение об эвакуации академии в Самарканд.

Личный состав кафедры значительно уменьшился. Несмотря на это, из него добровольно вышли две лаборантки. Одна – Галя – пошла работать в медико-санитарный батальон на фронт, который тогда находился в южной части города на "Средней Рогатке". Другая лаборантка – Элла – пошла копать окопы. Первая получила множественные ранения осколками мины и быстро скончалась. Ее мать попросила меня помочь ей похоронить дочь не в братской могиле, а на кладбище около ее отца, профессора Магницкого. Мне удалось это сделать. Другая лаборантка – Элла Линдберг – позже эвакуировалась в Самарканд, где поступила учиться в медицинский институт.

Первую большую бомбардировку Ленинграда немцы провели в начале сентября 1941 г. Они сразу подожгли известные старинные (Бадаевские) склады пищевых продуктов. Там находились продукты, приготовленные для двухмиллионного населения Ленинграда. Бомбежка проводилась в конце дня. Мы стояли на крыше кафедры и по цвету дыма определяли, что горят склады с мукой, подсолнечным маслом, сахаром и пр. Город остался только с продуктами в магазинах. Они быстро кончались.

День, когда пришлось испытать чувство ужаса, наступил незадолго до прибытия Г. К. Жукова для принятия командования Ленинградским фронтом. Газета "Ленинградская правда" вышла с передовицей – "Враг у ворот". С таким заголовком она вышла 20 лет тому назад, когда бездарный, но чрезвычайно жестокий генерал Юденич вел свои войска на революционный Петроград. Дело было в том, что фашистское командование хотело захватить Ленинград, сочетая очень мощное наступление с фронта с воздушным десантом на Дворцовой площади (на танках немцам было 2 часа ходу до площади). В связи с этим все важные объекты города были быстро заминированы – площади, мосты, перекрестки, здания. Были воздвигнуты бункера и назначены команды вооруженных людей, которые должны были находиться в бункерах, на улицах, в зданиях, распределены по этажам и пр. Выборгский район, в котором находилась Военно-медицинская академия, гитлеровцы предназначали финнам. Однако "выборжцы" так приготовились к обороне, что Финляндия осталась бы без армии. В том случае, если бы пришлось пробиваться сквозь фронт, мы распределились по пятеркам и по определенному маршруту должны были связаться с нашими войсками вне Ленинграда».

Именно тогда вышла секретная директива немецкого военно-

морского штаба от 22 сентября 1941 года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли… После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты… С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска не сдавались. Тогда гитлеровскому командованию потребовалась консультация профессора Цигельмайера. Тот вычислил, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки все вымрут. Немцы точно знали, сколько у нас продовольствия, сколько людей в Ленинграде. Профессор писал, что люди на таком пайке физически не могу жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут…

В сентябре Геббельс писал: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованными методами».

А город жил.

За то время, пока папа находился в блокадном Ленинграде (с 28 августа по 29 ноября 1941-го), он работал не покладая рук. Еще при первой инспекции на фронт папа заметил, что *«солдаты давно выпили спирт из ИПП (индивидуальные противохимические пакеты), а сумку от противогаза употребляли для содержания личных вещей. Позже военная разведка донесла, что немцы узнали о фактическом отсутствии ИПП у наших войск и решили употребить БОВ. Для этого был создан в Пскове большой склад БОВ. В связи с этим нашей кафедре было поручено военным командованием срочно создать новые ИПП. У нас на кафедре было только два преподавателя. И связи с Москвой мы не имели. Нам надо было синтезировать новое вещество. Чтобы сократить длительный срок опытов на животных, я решил проверить синтезированное нами лечебное средство на людях. Нашлись добровольцы среди слушателей-комсомольцев. Однако ко мне пришел прокурор и заявил, что ввиду особенности обстановки прокуратура не возражает против наших опытов на слушателях, но если кто из них пострадает, то меня привлекут к ответственности. Я был уверен в безопасности найденного средства. Опыты прошли хорошо. Однако очень трудно было найти*

массовые количества необходимого материала для ИПП. Вместо чистого спирта использовал случайно оставшийся еще в Ленинграде одеколон и пустые склянки парфюмерной фабрики ТэЖэ. Позже Москва отпустила нам часть своих запасов».

На передовой о газах не думали. В Ленинграде же о газах думали постоянно. На улицах висели рельсы, чтобы ударить, если начнется химическая тревога. Ждали, что немцы пустят газы в сентябре, ждали к ноябрьским праздникам.

В сентябре папа приступил к научным исследованиям.

«Московские токсикологи знали еще до войны, что в Германии синтезировано новое вещество БОВ – фосгеноксин. Они сообщили в военном бюллетене, что это вещество обладает свойствами синильной кислоты – быстро блокирует кислородную функцию крови, вызывает покраснение кожи, анестезию слизистых оболочек, издает миндальный запах и пр. В сентябре 1941 г., несмотря на блокаду, я решил проверить действие этого неизвестного еще у нас вещества. Результат моих исследований показал, что оно действует по типу удушающих и кожно-нарывных БОВ – медленное действие, большой отек легких, синюшный цвет слизистых оболочек, раздражение слизистых глаз, верхних дыхательных путей, кожи и пр. Ясно, что действие фосгеноксина, как и лечение его поражений, коренным образом отличается от действия и лечения при поражении синильной кислотой. Результаты моих исследований фосгеноксина были приняты. Они преподавались на специальных курсах для фронтовых врачей, которые проводились в глубоком тылу на Волге.

Таким же образом в условиях блокады я изучил новый препарат для помощи при отравлении синильной кислотой. Этот препарат был синтезирован на кафедре С. В. Лебедева. Это было органическое соединение, содержащее серу. Положительное действие этого препарата тоже было официально принято и доведено до сведения фронтовых врачей.

Свою научную работу во время блокады Ленинграда я проводил в бомбоубежище кафедры».

Я представляю папу таким: черные глаза, похудевшее лицо, две глубокие морщины на лбу… Он в белом халате, стоит под низкими сводами подвала. Любовь Иосифовна рядом освещает невыливайкой (чернильницей с фитилем) «станок» с собакой. Лицо мудрое, немножко лукавое, будто озаренное изнутри.

«Однажды ночью, во время работы с большим монометрическим прибором Ван Сляйка, в бомбоубежище собралась вода. При проверке оказалось, что бомба разрушила водопровод во дворе. Для остановки текущей в лабораторию, она же – бомбоубежище, воды надо было в темную холодную ночь

найти центральный водопроводный кран. Он находился на глубине около метра под землей и был накрыт большим железным колпаком. Тогда я вспомнил бегство Жана Вальжана по канализационным каналам Парижа».

Три научные работы папа сделал в городе, приговоренном к смерти. Результаты его исследований пригодились на курсах для фронтовых врачей.

«Наступил голод, увеличивающийся прогрессивно. Мы в академии получали по тарелке супа из грубого колючего овса. Сперва мы выплевывали овсяную шелуху, а позже начали ее проглатывать. Для поднятия настроения я организовал принятие пищи в самом святом месте кафедры – Павловской операционной. Во время голода мы использовали экспериментальных кроликов из нашего вивария, но и они быстро кончились.

Эксперименты проводил на собаках. По окончании опыта убивал собак путем кровопускания. Убитых собак передавал "делегату" физиологического отдела Академии наук СССР. Там по рецепту профессора А. Г. Гинецинского из них изготовляли котлеты».

Папа ставил опыт, потом пускал кровь собаке, потом передавал «делегату» из кафедры физиологии. Но сколько было кроликов? Пять? Двадцать? Сколько собак? Сколько человек на двух кафедрах – кафедре ПТОВ и кафедре физиологии, размещающихся в одном здании?

«У меня дома в подвале были заготовлены на зиму 14 куб. м сухих березовых дров. Когда мы с преподавателем кафедры В. Н. Розенбергом (сыном известного профессора по инфекционным болезням Н. И. Розенберга) затопили у меня дома плиту, чтобы согреться, он радостно крикнул, что пахнет пригорелым хлебом. Оказалось, что моя жена оставила в духовке большой противень с сухарями. Мы просто кричали и прыгали от радости. Мы быстро вынули их, с аппетитом смотрели на них и предвкушали увеличенный нам продовольственный паек. Когда мой болгарский товарищ инженер-полковник Дубов с артиллерийского завода "Большевик" приезжал в воскресный день ко мне в гости, я угощал его подгоревшими сухарями».

Сухари мама начала сушить еще в конце зимы сорокового года. На кухне у нас стояла печь.

– Здравко, – говорила мама, – давай разберем печь. Ведь паровое отопление. Печь только загромождает кухню.

– Нет.

– Все соседи уже разобрали.

– Нет. Все может случиться.

И я слышу папин голос:

– Вера, суши сухари. Суши сухари.

Мама с Нюшей клали на противень остатки хлеба, сушили в печке, а потом складывали в большую белую наволочку, висевшую над плитой.

«Чем суровее становилась зима, тем чаще немцы бомбили город и днем и ночью. Мы могли вздремнуть немного только после полуночи. Вызванные бомбардировками пожары нужно было тушить быстро и по той причине, что они служили ориентиром для немцев. Под разрушенными зданиями иногда оставались люди. Нам приходилось их откапывать. Кроме того, немцы часто сбрасывали бомбы замедленного действия. Места таких бомб мы маркировали и тем помогали пиротехникам.

Горько переживали мы 7 ноября. Накануне и в течение этого дня противник непрерывно и жестоко бомбил и обстреливал город. Зато мы могли слушать традиционную речь Сталина в день Великой Октябрьской революции. И наше самочувствие в этот праздничный день повысилось.

В начале октября 1941 г. академия приступила к эвакуации в Самарканд. В этом городе находились девять военных академий, в том числе и Военно-морская. При подготовке к эвакуации материальной части кафедры я сам укладывал ящики, около кубического метра, с учебным имуществом, которое должно было обеспечить нам регулярную учебную работу в нашей будущей базе».

Из воспоминаний Любови Иосифовны Рыскиной:

– Твой папа нас спас. Меня и сына. Мы так и чтим его как спасителя. Если бы не он, не было бы нас в живых. Шестнадцатого ноября, часов в восемь утра, раздался стук в дверь. Я случайно ночевала на квартире (к тому времени тоже перебралась в подвал кафедры). Сына эвакуировали в Свердловск. Открываю дверь – твой папа. Он мне показался как бы присыпанным пеплом. В ту ночь немцы страшно бомбили Выборгскую сторону. Вообще, они бомбили по районам. Больше ста бомб на район. И твой папа сказал, что случайно узнал: некоторые сотрудники кафедры – Карпенко Ксения Николаевна… и еще другие – вылететь должны были в семь часов утра, но не улетели, и надо попытаться улететь вместе с ними.

Я вижу папу с серым заиндевевшим лицом, с запавшими глазами, маленькую Любовь Иосифовну, повязанную платком, в валенках. Смотрит испуганно снизу вверх на папу.

– И вот мы идем обратно на кафедру, так как у меня там узелок с вещами. Забираем его – и на аэродром. Папа же был военный, одну машину остановил. «Пока будет по дороге – подвезу», – сказал шофер. Приходим на аэродром. А он весь в воронках. Наши все сидят в автобусе. Молчат. Знают же, что я не

должна лететь. Смотрят на меня и папу и молчат. Я сажусь тоже в автобус. Мне хотелось раствориться, исчезнуть, так мне было неудобно. Но папа, знаешь его, смотрит на меня своими черными глазами, прямо гипнотизирует: «Вы должны улететь. Все остальное ерунда. Вы должны спасти себя и своего сына». Я только киваю и молчу. У него была увольнительная до двух часов. Он попрощался и ушел. А я осталась.

…В августе он проводил профессора, затем доцентов, сегодня лаборантку. Все имущество кафедры было упаковано, слушатели почти всех курсов эвакуированы. Кончался пятый месяц войны. Он шел по заснеженному городу, мимо вмерзших трамваев, заклеенных бумагой окон, мимо витрин, заваленных мешками с песком, мимо торчащих из окон труб «буржуек». Был тусклый зимний день. Изредка встречались медленно плетущиеся люди. После бессонной ночи, после зверской бомбардировки, позавтракав кусочком подсушенного хлеба и кружкой кипятка, он прошел не меньше пятнадцати километров – с Выборгской стороны, через Неву, до конца канала Грибоедова, в районе проспекта Маклина, обратно опять в академию. Потом – на комендантский аэродром на окраине Петроградской стороны, в Новой Деревне, и обратно на Выборгскую сторону, в академию.

Из «Блокадной книги» Адамовича и Гранина: «В блокадную зиму попасть с Васильевского острова на Петроградскую, с Выборгской на Невский означало поход, и готовились к нему, как к походу».

Папа шел, заложив руки за спину, в длиннополой шинели, глядя вперед. Чернели складки у рта, глаза прищурены, уголки губ опущены, губы сжаты… Он шел размеренной походкой, чуть наклоняясь вперед, следя за дыханием: три шага – вдох, четыре – выдох. До конца увольнительной оставалось менее часа. Надо было спешить. В академии ждал горячий суп из колючего овса и кусочек хлеба. А Любовь Иосифовна все еще сидела сгорбившись в холодном автобусе, страшась поднять глаза. Вылет задерживался, ждали, чтобы стемнело. Только вечером объявили посадку…

– …И тут будто кто меня толкнул. Свой узелок бросила, хватаю Ксении Карпенко чемоданы (их было четыре) и бегу за ней к самолету. Поднимаюсь по трапу. Мне военный преграждает рукой дорогу. «Вы куда? Вас здесь нет».

– Я с ней, – я киваю, – это ее чемоданы. «А-а-а», – сказал военный и опустил руку. Самолет был небольшой. Наверху был фонарь (стеклянный колпак), там сидел пулеметчик. Летели очень низко. Вот уже Ксению Николаевну тошнит. Она вся зеленая. А я даже не села. Как стояла, ну, как в трамвае, – так и

простояла всю дорогу. Приземлились на поле и сразу побежали. Летчик торопился. Ему надо было улететь, пока не заметили. Самолет улетел, а я опять подхватила чемоданы… Но тут уж мужчины сняли ремни, перевязали чемоданы и потянули по снегу. Вот так я выбралась из блокады. Через пять дней издали приказ об увольнении вольнонаемных[13]. Меня тогда уже не включили бы в список. Я бы осталась в Ленинграде и, конечно, погибла бы. Погиб бы и сын. У него, когда я добралась до Свердловска, была дистрофия. Он был без памяти, бредил… Инга, меня часто спрашивают: почему твой папа это сделал? Думают, что у меня с ним что-то было. Нет, клянусь сыном…

Любовь Иосифовна не знает, что папа сам ответил на эти вопросы: *«Я доволен, что мог сделать человеческое дело. Хорошие люди вышли из тех ребят, которых я спасал в шюле – августе 41-го».*

Так, Алик, Александр Вячеславович Курдюмов, сын дяди Славы, стал известным ученым, член-корреспондентом Академии наук Украины, сын Любови Иосифовны – Иосиф Майосиф – профессор, доктор юридических наук, автор нескольких монографий, сыновья Дубова – талантливые инженеры и пр.

«Я убыл из Ленинграда последним эшелоном утром 27 ноября, с комендантского аэродрома. Каждый мог взять с собой пуд багажа на маленьких салазках».

Среди папиного багажа был мой плюшевый зеленовато-коричневый мишка, мои новые ботиночки, которые он купил. И опять у меня замыкается круг – тогда в Ленинграде, надеясь и не надеясь встретить нас, он берет на память мою подушечку. А спустя сорок пять лет я, не зная ничего об этом, после смерти папы тоже забираю с собой в Черноголовку его маленькую зеленую подушечку, которая долго хранила особый папин запах на земле.

«Самолеты летели очень низко, над самыми деревьями. Мы быстро пролетели Ладожское озеро в его южной части. Нас выгрузили в глубоком снегу среди кустарников. Командир корабля указал рукой на дальнюю колокольню и сказал: “Новая Ладога”. Самолет сразу поднялся, чтобы взять оставшихся из нашей группы. Мы тронулись со своими салазками по снегу, наблюдая сквозь редкий туман за церковной колокольней. Жители города показали нам далекий большой барак. Когда мы вошли в барак, то увидели, что это импровизированная столовая с грубыми столами и длинными скамейками. Нам сразу поднесли по кастрюле горячего супа и по большому куску ржаного хлеба. Мы пришли в восторг. Эта уже забытая нами теплая пища возбудила у нас сердечную благодарность спасательному пункту, этому грубому бараку,

отдающему свежим еловым запахом».

Вот так писал папа о блокаде спустя сорок лет. Спокойно, буднично – тушил зажигалки, ставил эксперименты, ел собак, голодал… Ничего особенного – как все. В Ленинграде жили люди, похожие друг на друга. Они не чувствовали себя героями, работали, слабели, умирали. Паники не было. Не было даже отчаяния. Одно из прошений во время литургии посвящено христианской кончине – «безболезненной, непостыдной, мирной». Город умирал с достоинством; если бы это был человек, то его можно было бы причислить к лику святых. Миллион умерших по самым скромным подсчетам! Миллион! Заиндевевший, притихший, город противостоял гитлеровцам уже тем, что жил. И думается мне, что не только армия спасала Ленинград, победили молчаливые, делающие свое дело люди, тихо умирающие в нетопленых квартирах. Когда папа уезжал, была сама низкая норма хлеба: иждивенцам – 125 «блокадных» граммов. Еще только-только налаживали «Дорогу жизни» через Ладогу.

«Когда уже выбрались из Ленинграда, нас встречали как героев, а я думал: “А ведь оставшиеся люди лучше нас. Мы ничего особенного не делали”».

В числе оставшихся был и дядя Митя, Дмитрий Николаевич Лазарев, троюродный брат мамы (в двадцатые годы он ухаживал за ней и вызывал насмешки своей старомодной элегантностью). С ним – жена Нина, дочь Катя, моя четвероюродная сестра, до войны болевшая золотухой (мои родители ужасались твердости характера Нины, которая не разрешала маленькому ребенку просить сладости). Была и та самая тетя Варя, мать дяди Мити, которая отговаривала маму от замужества с папой («Верочка, эти болгары – те же цыгане, ходят по базару с обезьянкой»), и Лидочка, которая печатала папе диссертацию, бывшая жена дяди Лели, и ее сын… Вся семья Бориса Александровича Клюева, первого мужа мамы, – его сестры Леля и Марина и их мать Мария Алексеевна… Не знаю, когда и как умерли Клюевы. Знаю, что первым из родственников умер Котя (Николай), сын тети Лиды и дяди Лели.

…Мальчик четырнадцати лет вышел из дому, покачиваясь от слабости, чтобы получить на двоих 250 граммов хлеба. Хлеба, из которого текла вода, который надо было подогревать на буржуйке, чтобы подсох. Не дойдя до магазина, он уже развернул две бумажки, на которых были, как на календаре, проставлены числа всего месяца и норма – 125 граммов на человека. Держа в руках эти две драгоценные бумаги, он шел, покачиваясь, по улице. Надо было еще завернуть за угол, он сделал шаг и прислонился к каменному столбику, запорошенному снегом.

– Вам нехорошо? – участливо склонилась к нему молодая женщина. – Сидите, не двигайтесь. Я сейчас…

Она взяла у мальчика все три карточки и исчезла. Котя в забытьи все так же стоял покачиваясь, прислонившись к каменному столбику.

– Вам нехорошо?

– Да, чуть-чуть.

– Пойдемте, я провожу вас.

– Благодарю вас, я жду – какая-то женщина взяла карточки, сейчас принесет хлеб.

– Господи, ведь магазин уже давно закрыт!

Потеря этих карточек означала одно – смерть всей семьи. Котя, не помня себя, доплелся до дома, сказал, что у него украли карточки, и упал…

Инженеры, физики, декораторы, коллективы целых институтов работали для создания специальной светомаскировки, которая изменила вид города настолько, что фашистские летчики не смогли обнаружить и вывести из строя ни один из 56 наиболее важных объектов Ленинграда. Дмитрий Николаевич Лазарев, дядя Митя, оптик, профессор Ленинградского университета, привлекался для применения светомаскировки судов на Неве.

Когда за ним пришли морские офицеры, он уже слег.

«Слег» на блокадном языке означало одно – никогда не встанет. Но его подняли – и он сделал все, что требовалось морякам. Вместе с ним подняли Нину, его жену, их дочь Катю, мою сверстницу, которая потеряла все зубы из-за цинги, и мать дяди Мити, тетю Варю.

Оставался в Ленинграде и папин товарищ – Георгий Иванович Дубов, инженер-полковник, работавший на военном заводе «Большевик». Еще в начале войны Дубова лично Ждановым направил начальником разведки в партизанский отряд. Они собрали много ценных сведений и документов. Немцы обнаружили их, и Дубову было приказано возвращаться в Ленинград. Вероятно, это было уже осенью 1941 года. Все время до отъезда папы они поддерживали связь. Папа ездил к нему на завод «Большевик». У жены Дубова, Ираиды Григорьевны, сохранилось письмо мужа, от 1 января 1942 года: *«Тут мы живем и работаем для скорейшего уничтожения лютого врага – гитлеровских разбойников. Недалек час их гибели и катастрофы фашистской Германии. Да здравствует героичная Красная армия, уничтожающая фашистские полчища»*.

Это было последним его письмом. Через месяц его не стало. Георгий Иванович умер 7 февраля 1942 года на своем рабочем месте. В Болгарии, в центре родного села Дубова-Крычмарского –

Белотицы, спустя тридцать лет был поставлен памятник (при участии папы).

Из папиного письма маме в семидесятых годах:

«Недавно приезжал Толбухин (председатель колхоза Белотицы. – *И.М.). Памятник Георгию Ивановичу Дубову будет стоить 15 000 левов новыми деньгами, с материалом колхоза. У них только 7 тыс. Он еще кое-что просил. Я ходил к Михайлову (военному министру. – И.М.). Обещал помочь. Возможно, я поеду на той неделе в Видин, Толбухин очень просил меня заехать по пути к ним в деревню».*

Из записок папы:

«На другой день нас погрузили утром на грузовики. Образовалась колонна длиной 100 м. Она медленно проезжала по проселочным дорогам среди густых хвойных лесов. После 200 км пути по снегу мы вечером приехали на железнодорожную станцию Тихвин, которая только три дня тому назад была отбита второй раз у фашистов. На этой станции нам было отведено 50 пульмановских вагонов. Немцы заметили людей и начали бомбардировать "вокзал". Однако наша зенитная артиллерия прогнала фашистские самолеты. Это дало нам возможность добраться в темноте до отведенного нам эшелона. Когда влезли в огромный товарный вагон, увидели посреди его маленькую печку и двухэтажные деревянные нары с обеих сторон печки. С потолка вагона свисали большие сосульки. На верхних нарах разместилось руководство эшелона: начальник, комиссар и врач – я. Запаслись углем, растопили печку и тронулись на Вологду. Я бегал по всему эшелону и предупреждал матерей не кормить детей (были и груднички) покупаемым на станции молоком. Однако они набрасывались на молоко, сами ели и кормили детей, которые в дороге погибали. Не всегда мне удавалось убедить милицию похоронить детей. Иногда ночью на далеком от города вокзале милиционер требовал от меня справку прокурора, чтобы похоронить детей. В Вологде все набросились на прекрасное вологодское масло. Наш эшелон проехал севернее Москвы в то время, когда наша армия отбрасывала фашистские войска от Москвы к Можайску и Калуге. Когда переехали Волгу и увидели освещенные вокзалы, мы издали крик восхищения. Мы отвыкли от освещенной обстановки вечером и радовались мирному виду за Волгой.

Начали ехать по незнакомым местам – песчаные пустыни, верблюды, жаркое солнце зимою, казахские шатры и пр. Как в России, так и на вокзалах Казахстана люди набрасывались на молоко. Однако молоко было разное. Как-то на железнодорожной станции Казахстана заметили, что одна казашка очень быстро

подносила к поезду молоко – горшок за горшком. Чтобы узнать, откуда берется такое количество, один из слушателей проследил казашку и увидел, что она доит верблюдицу. Он громко объявил об этом, и начались отрыжки, сплевывания, возмущения и пр.

У меня была пол-литровая эмалированная кружка зеленого цвета. В нее на питательных пунктах железнодорожных станций я быстро получал пищу – чай, суп, кашу, консервы. Всю войну провел с этой эмалированной кружкой зеленого цвета. И до сих пор у меня осталась симпатия к эмалированным кружкам зеленого цвета.

Наш эшелон от Ленинграда шел 47 суток. Мы ехали по одноколейной среднеазиатской железной дороге и должны были ждать сутками, чтобы пропускать встречные поезда, едущие на фронт с солдатами, продуктами и нефтью. 80 % всей нефти добывали в Баку. Ее перевозили через Каспийское море, перегружали в Красноводске и провозили через Бухару, Ташкент, Оренбург, Волгу, Рязань, Москву. Пять тысяч километров железнодорожного пути были черными и пахли нефтью.

В середине января 42-го прибыли в Самарканд. В это время солнце пекло, персики и абрикосы красиво расцвели, а люди ходили в костюмах. В Узбекистане короткая дождливая зима с сильными холодными ветрами быстро переходила в жаркое лето».

Это воспоминания, написанные папой спустя сорок лет. В них нет и намека на душевную драму, о которой свидетельствует письмо маминому брату (почти сразу после приезда папы в Самарканд). И думаю, что он пребывал в таком состоянии с того момента, как покинул Ленинград…

20.2.42.

Дорогой мой родной и любимый Жоржик!

Если бы ты только знал, как я ждал хоть что-нибудь из Магнитогорска. Много телеграмм с оплаченным ответом, много заказных писем с вложенными внутрь конвертами с бумагами и марками посылал в Магнитогорск, в отдел кадров Горсовета, в городское справочное бюро, в военкомат, в Центральное бюро переселения СССР в Москве, Куйбышеве и Бугуруслане, в различные отделы Наркомата обороны СССР, во все города, куда, я узнавал, отправились эшелоны из Курска, Брянска и пр. Я согласился выехать из Ленинграда, т. е. эвакуироваться с академией, только для того, чтобы найти людей, без которых вся моя несчастная жизнь становится бессмысленной. И, увы, я узнал зловещую весть! Что бы я не отдал, чтобы найти их, спасти, жить вместе! Дорогой мой, ты, конечно, знаешь свою сестру, но и я очень хорошо знаю мою жену; эту мою Верочку, может быть, вы все там не

знали, потому что это возможно было только в том случае, если бы вы меня знали, что невозможно было в прошлых условиях и взаимоотношениях. Я хотел выехать еще в августе и сентябре, вывезти их, но мне, и не только мне, не разрешили. Я согласен сейчас поехать туда к ним, пробраться какими угодно средствами и, думаю, вытащил бы их, если они живы. Вы, конечно, не знаете, что я спас много народа в Ленинграде, ну, тем более я бы потратил с истинным наслаждением ненужную лично мне мою энергию для спасения своих детей, своей Верушки. Дорогой мой брат, меня бесит, когда я вижу, что люди тут ищут выход в кобыляниц, обжорстве, пьянстве и спекулянтстве, т. е. в специфическом нигилизме. Чем им помочь? Я так был уверен, что они где-то в Сибири, и купил в Ленинграде ботинки для моих детей, которые я протащил чрез всю неимоверно трудную дорогу. Но что мне делать теперь? Я меньше всего беспокоюсь о тех возможных административно-политических последствиях в связи с этим фактом. Мне хочется поехать туда, но я же человек, связанный присягой, и пр. Но до чего же они беспомощны оказались там одни. Ведь я им неоднократно писал: выезжать своевременно и не дожидаться, когда будут вынуждены бежать пешком. Но не они виноваты. Там оказался во главе военкомата такой идиот, который ничем не хотел им помочь. Я видел здесь одну женщину из Ленинграда, которая была вместе с Верой в Рыльске и в августе выехала оттуда в Ташкент к своим родителям. Она мне и рассказала, как они ругали военкомат и были вынуждены нанять подводы за свой счет и ехать до «безопасного» пункта. ж.д. и затем, также никем не сопровождаемые, делали 28 пересадок, месяц добирались. Правда, она предлагала и Вере ехать с ними, но Верка не могла решиться. Она мне все писала, что ей могут помочь военные, но она не может оставить маму, Лелю, Иру. Мне тоже трудно было дать категорический (эгоистический) совет, но все-таки в сентябре я ей написал пару раз – выезжай сама с детьми. Последнее письмо от нее 29 сентября, где она пишет, что 30-го ее день рождения, и о том, что они на днях выедут и на этот раз удачно. Ведь я собрал все ее письма, перечитывал их все время. И в Ленинграде, и в дороге, и все время думал – проскочили они удачно, и я найду их. Я не могу сказать, что буду делать без них! Не хочу занимать тебя моими страданиями, хотя мне не везет до умопомрачения… Как меня дергает все – понаехали и будут приезжать сюда финтифлюшки стоимостью кошачьего говна, а такого человека, как Верка, нет. Жоржик дорогой, посоветуй мне, что же мне делать. Они же там с голоду сдохнут. Ведь им не будут оплачивать по моему денежному аттестату, который был у них. Наоборот – только из-за одного этого их расстреляют.

Целую всех вас там. Здравко.

Письмо, в котором строки шатаются как пьяные, в котором соседствуют здравые мысли и несбыточные мечтания… оно свидетельствует о страшном отчаянии. Мы не числимся среди живых…

«Военно-медицинская академия расположилась на базе нового медицинского института. Наша кафедра получила все свое имущество, которое я упаковал в Ленинграде. Она была наиболее экипированной кафедрой академии в Самарканде. Мы расположились в трех комнатах медицинского института и двух больших классных комнатах одной из школ Самарканда. Обычные занятия в аудиториях были дополнены полевыми, которые проводили в большом дворе мединститута и в ближайших горах».

Из воспоминаний Любови Иосифовны Рыскиной:

– Мы приехали на голое место. Но папа сразу заказал таблицы, виварий… ездил в Москву за теми веществами, с которыми нам нужно было работать. По правилам надо было иметь и отдельный вагон, его должна была сопровождать вооруженная охрана, но все это было неосуществимо. Поэтому он привез отравляющие вещества, будто пирожки. Конечно, у нас не было никакой защиты. Я работала в противогазе учебном, не в боевом. И шлем мне был велик (больше для проформы), и вообще были такие случаи: когда я производила опыты на подоконнике, слушатели выходили во двор, чтобы не соприкасаться с этими веществами.

В Москве папа выхлопотал пайки нашей кафедре. Вообще говоря, по совести и по характеру своей работы, мы должны были получать какие-то дополнительные пайки. Все упиралось в формальности. Существовал список, составленный, когда нашей дисциплины – токсикологии – не было, то мы туда и не вошли. Но у него было знакомства большие и, в частности, Смирнов Ефим Иванович (папин однокурсник, к тому времени уже начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии. – *И.М.)*. Нам два раза в месяц начали выдавать какое-то количество мяса, крупы и сахара. Это для нас, конечно, было большое подспорье. Мне особенно повезло, потому что профессор Савицкий как принципиальный человек сказал, что два пайка не может получать (он получал и генеральский) и свой паек по токсикологии передает мне.

Папа записал об этом периоде:

«В Самарканде академия подготовила два выпуска за первый

учебный год. Некоторые преподаватели сопровождали выпускников на фронт и там проверяли качество работы предыдущего выпуска. С фронта мы возвращались снова в академию, чтобы начать новый учебный год. Я преподавал военную токсикологию на последнем курсе. Мне вообще нравилась учебная работа – не только потому, что в начале учебного года перед дверьми классной комнаты, где я занимался, рано утром разыгрывалась борьба среди учебных групп слушателей, чтобы попасть на мои занятия. Мы тщательно экзаменовали своих слушателей. Во время войны в академии учились и женщины. Я экзаменовал с одинаковой строгостью и дочку Калинина, и родственницу Рокоссовского.

В спокойных условиях Узбекистана развивалась интенсивная научная работа. В Ташкенте находилось Управление АН СССР, военно-воздушные части, подготавливающие кадры и др. Мы располагали необходимым количеством экспериментальных животных – кролики, собаки и др. В Самарканде я мог закончить и опубликовать мою ленинградскую тематику по фосгеноксиму и цианидному антидоту.

В начале лета 42-го по требованию ГВСУ Красной армии из академии была вызвана бригада преподавателей, в том числе вызвали и меня».

Перед отправкой на фронт папа пишет Жоржику (на письме чужим почерком написано: «Чкалов[14], 16. 6. 42» – вероятно, пометка цензора).

13. 6.42. Ташкент

Дорогой Жоржик. После получения твоего письма от февраля месяца я отвечал тебе несколько раз, однако ничего больше не получил ни из Магнитогорского горкома, ни из Свердловска (от Гриши). Я непрерывно разыскиваю Веру с детьми. Ответы получил из многочисленных мест, но все отрицательные.

Последний ответ был из финансового Управления Наркомата Обороны. Оказывается, аттестат, по которому Вера получала деньги в Рыльском военкомате, находится в этом управлении. Однако у них нет сведений, где теперь находится Вера. В центральном адресном бюро в Бугуруслане тоже нет сведений, где находятся Вера, Инга и Вова. Мне стало известно, что Курский обком партии находится в Старом Осколе. Думаю связаться с ними. Там должны быть, вероятно, и военкоматы. Занятия со студентами у нас закончились. Они уехали на фронт. Я хотел уехать в Ленинград. Думал, что дома, возможно, получены письма (хотя и старые) от Веры. Но этот вариант отпал. Вышло лучше – 11-го с.м. я выехал из Самарканда в Москву, где получу назначение

на фронт. Хочу проситься на Брянский или Юго-Западный фронт, т. е. около Курска. Может, мне повезет и узнаю там что-нибудь. Если не задержат на фронте, то должен вернуться 1 октября. Буду писать еще. Целую всех. Здравко.

Из записок:

«В начале лета 1942-го по требованию Главного военно-медицинского управления Советской Армии я был направлен бригадой из ВМА в Москву.

В Москве начальник ГВСУ генерал-лейтенант Е. И. Смирнов (мой однокурсник) назначил меня старшим медицинским инспектором Главного военно-медицинского управления и отправил на Западный фронт. В то время этот фронт находился под Москвой. Командующим войсками фронта был Жуков. По дороге на фронт на перекрестках висели большие лозунги: "На Берлин!" Как известно, тот же командующий через три года овладел Берлином. Нас отправили в армейскую госпитальную базу, развернутую тогда в Калуге. Ехали ночью. Когда в темноте на Московском вокзале нашли наш поезд, кондукторша вагона маленьким фонариком осветила наши билеты и пропустила нас в вагон. Каково же было наше удивление, когда мы оказались в ярко освещенном вагоне, с приготовленным накрахмаленным бельем на полках. Старинный город Калуга над рекой Окой был взят нами быстрым налетом в январе 42-го.

…Уже летом 42-го подготовлялось взятие Сталинграда. Тогда уже определялись пути эвакуации раненых, например, по Дону. Перераспределялись медицинские кадры и пр. Начальник медицинской службы Западного фронта М. Гурвич располагал санитарными самолетами. Иногда он использовал их для доставки опытных врачей с соседних фронтов.

Мне была поставлена задача – проинспектировать противохимическую готовность дивизионных армейских и фронтовых госпиталей. Они были развернуты от Оки у Калуги до впадения Оки в Волгу, у города Горький. Количество госпитальных коек на этом пространстве было 180 тысяч. Я проверял госпитали по самому эффективному методу – объявлял "химическую тревогу" и в процессе работы госпиталя – обмывания пораженных БОВ, переодевания их, осмотра, лечения, эвакуации – проверял боеготовность. Я не карал, а разговаривал с личным составом – объясняя, показывая, отвечая на вопросы, указывая на литературные источники».

Сейчас, читая эти записки, я поражаюсь – летом 1942-го еще готовится битва за Сталинград, планируется эвакуация раненых…

Сеть госпиталей по Оке от Калуги до Горького, 180 тысяч коек! А указатель – «На Берлин»! И это спустя год после начала войны! Может, то, что мы положили в несколько раз больше наших, чем немцы своих, мешало мне задуматься над строгой, умной, дальновидной, талантливой – называйте как хотите – стратегией Жукова и его соратников. Всегда бессознательно верила, как Гурьян Тихонович, хромой сапожник из Рыльска – «наши потом как попрут, как попрут, как тогда француза». Сейчас рассматриваю карту сражения на Курской дуге, смотрю фильм «Освобождение», читаю папины записки – и уже не сердцем, а умом благословляю Жукова. Ведь все висело на волоске. Рыльск расположен всего в каких-то ста километрах от Обояни («Обоянь, Обоянь» – все время звучало у нас дома в Рыльске). Оттуда до Прохоровки – меньше пятидесяти километров. Третье наше поле, которое решало судьбу страны. Будто в решительный момент сама русская земля вставала на битву – Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровка…

После освобождения мы с Гориком очень интересовались ходом войны. Мы знали имена главнокомандующих всех фронтов, я больше любила Рокоссовского, он – Жукова. Чтили Катукова. И всем своим детским сознанием ощущали ту народную силу, о которую и споткнулись немцы.

Со дня, когда папа получил последнее письмо от мамы, прошло два года. И больше – никаких известий от нас. Наступает лето 1943-го. Папа шлет письма – на старый адрес, хозяйке дома Зое Тихоновне Булгаковой. Шлет на мое имя, на мамино – Мицовым. Пишет тете Леле – Засимчук, бабушке – Драевской, Ирочке – Курдюмовой, тете Кате – Николаевой. И, наконец, получает ответ – мы живы.

Как же мы жили все это время?

Мы с мамой и Вовкой приехали в Рыльск в пятницу 20 июня 1941 года. Там нас ждало письмо, посланное из Уральска еще 6 июня. Папа писал:

Дорогая Вера! …Я думал насчет каверзных вопросов нашей Инги. Решил, что ей надо дать там 2–3 яйца, взять квочку (если нельзя, искусственно сделай примитивный инкубатор), посадить ее и рассказать Инге, как из яйца выводится цыпленок. На основании этого объяснить, что все живое выводится из яйца (икра – рыбы и т. д.). Пусть она покормит цыплят, месяца два наблюдает, как будет меняться окраска, рост, поведение, а перед отъездом зарежете, и ты ей покажешь внутренности с объяснением какого-нибудь органа. Я думаю, что летом Инге не надо так много читать и писать – это меньше всего необходимо, а надо больше закалять свои нервы и развивать усидчивость и самое важное –

любовь к труду. Для этой цели ты попроси у Булгаковых земли – площадью метра 3 на 1, достань небольшую лопатку. Пусть она копает каждый день по 0,5 м (утром и вечером) и затем засеет, ну картошкой или чем-либо. Пусть потом удобряет, поливает и т. д. до получения плодов. Это все я продумал и я знаю, что это займет Ингу на все лето. На этой работе она окрепнет физически, приучится к последовательности и терпеливости. Ты ей скажешь, что я потом все проверю. Вове надо только бегать босиком. В следующий раз напишу и Инге отдельно. Целую вас всех там. Здравко.

Когда мама прочла это письмо, до начала войны оставалось менее двух суток. В пятницу, двадцатого июня 1941 года, тетя Леля сказала маме:

– Ну и заживем мы этим летом! Такая дешевизна на базаре…

И хотя война стояла на пороге, мама радовалась вместе с сестрой. Радость эта продолжалась недолго. Воскресным утром шесть человек в маленькой квартире тети Лели мирно спали, когда уже бомбили Киев.

Когда стали бомбить и нас – я не помню. Наверно, через неделю.

Что мне помнится из того времени? Когда завыли первые сирены в Рыльске, мы упали на пол в комнате с распахнутым окном и кто-то из нас, кажется, тетя Леля, накрыла фанерой Горика, а кто-то полез под обеденный стол. А Татка лежала в мягкой пахучей траве у забора чужого дома, не добежав до нас, лежала, смотрела в небо и плакала. Каждая бомба, летящая вниз, казалось, летит прямо на нее. Ей было 14 лет.

Я долго, очень долго помнила запах свежевырытой земли, когда мы, семь человек – мама, Вовка, бабушка, тетя Леля, Горик, Татка и я, – стояли в щели, выкопанной Гурьяном Тихоновичем в конце сада специально для нас с разрешения хозяйки дома. Именно щели – мы стояли затылок в затылок. И я потеряла связь с мамой, а была только сырая, смертью пахнущая земля.

Помню первые похороны. Мы столпились у раскрытого окна. Процессии не было видно, все закрывала Покровская церковь наискосок от дома, но была слышна музыка, играл духовой оркестр.

Я так была потрясена словами тети Лели («бомба попала в дом на улице Ленина, убило сразу троих»), что не видела ничего – ощущала только зеленый воздух, солнце и слышала протяжный звук: бумс-бумс. Что было потом, после первой бомбежки? Стук метронома, гул сирен, мама перестала спать; лежа на боку, выставив ухо из-под одеяла, она всю ночь сторожила…

Лето пропало. Уже не до прогулок по двору и долгих разговоров с Гориком, я не играла во врача, мы не ходили на речку… Мама приносила из военкомата папины письма, деньги, полученные по аттестату, и, конечно, новости. Они становились все более тревожными. А папа писал:

5 июля, вечер. 1941 г. Дорогая Вера, перед отъездом из Уральска написал тебе, а по дороге послал телеграмму из Москвы в Рыльск. В Ленинград приехал в ночь на 3-е. Не мог тебе сразу написать отсюда, ибо сразу же начал улаживать наиболее больной вопрос – отправки бабушки.

Отправки бабушки куда? В Рыльск, конечно. Город маленький, в глубине России. Значит, бомбить не будут. Но… нас начали бомбить раньше, чем Ленинград.

По улицам со стороны слободки и Крупецкого шляха шли бесконечные толпы людей, с узлами, перекинутыми через плечо, некоторые толкали перед собой тележки, гнали скот.

– Беженцы, – говорила тетя Леля.

А потом город опустел, больше уже никто не шел мимо.

Ночью меня разбудили, в комнате было странно светло, за окном полыхал пожар. Мама спешно одевала меня: на вельветовое коричневое платье с розовым крепдешиновым воротничком (подарок к моему семилетию) натянула матроску, поверх – кофточку, потом шубу. Шуба с трудом одевалась, мама нервничала, торопилась: «Вытягивай рукава». Мы, трое взрослых и четверо детей, стояли в маленькой комнатке у окна, выходящего во двор. Прямо за садом Зои Тихоновны горело здание НКВД. Большое четырехэтажное здание, незаметное и невыразительное. Тетя Леля говорила, что могут полопаться стекла, и мы приготовились выскочить из дома. Бабушка держала в руках альбом с фотографиями. Страшно полыхал этот страшный дом, и тетя Леля говорила, что, возможно, *наши* жгут бумаги. И я вспомнила про Константина Герасимовича. В этот дом его в марте 1938-го пригласили зайти, и оттуда он так и не вышел. Глядя на пожар, мы гадали: кто поджег – неужели диверсанты?

Утром приходила какая-то незнакомая толстая баба и, не поднимаясь, только приоткрыв наше парадное, стоя внизу лестницы, громким басом говорила: «Помирать – так вместе» и «На миру и смерть красна».

После этого Гурьян Тихонович забил досками крест-накрест дверь, выходящую на улицу, и мы перешли в подвал большого кирпичного дома, стоявшего на углу, где собрались все жители нашей улицы.

В яркий осенний день мама, схватив меня за руку, выскочила из того подвала, и мы побежали по городу в военкомат. Маму

гнали страх и надежда получить от папы письмо. Ее постоянное колебание – эвакуироваться или нет, бросать мать и тетю Лелю с детьми или нет, бросать семью дяди Славы или нет, и если всех бросить, то выдержит ли она дорогу с двумя детьми, одному из которых только что исполнилось три года, – окончилось. Она была готова бежать, бежать без оглядки.

Мы выскочили на мертвую базарную площадь, побежали по булыжной мостовой, залитой солнечным светом. Случайно повернув голову, мама вдруг увидела самолет. Он летел со стороны Сейма, очень низко и совершенно бесшумно. Чей самолет? Наш или немецкий? Обычно так низко летали наши «кукурузники». Вдруг мама сильно дернула меня за руку, мы вскочили во двор военкомата и прижались к забору. Самолет пролетел.

– Он стрелял, – прошептала мама.

Нет, я выстрелов не слышала, я вообще ничего не поняла: к нам всего-то бесшумно подкрался странный самолет с двухэтажными крыльями.

– Сейчас вернется, – тихо сказала мама.

Самолет не вернулся, и мы помчались по гулким, пустым коридорам военкомата. Мама открывала одну дверь за другой – пусто, в дальней комнате стоял мужчина в полувоенной форме, он оглянулся на нас, не прекращая торопливо засовывать в сумку бумаги, и, не дожидаясь маминого вопроса, быстро проговорил:

– Сейчас звонил в Глухов, там сняли трубку, услышал… – мне показалось, он сказал «немецкий лай», – слышал звуки выстрелов.

Немцы уже в Глухове! Тридцать километров! Не помня себя, мы выскочили на улицу и вновь побежали по мертвому городу, залитому солнечным светом. Теперь хотелось только одного – успеть добежать до нашего подвала. Глухие ставни на окнах, глухие заборы, одинаковые, вымершие дома. Вдоль желтой улицы стояли в ряд желтые деревья, а листья смотрели хищно и зло. Такими деревья я увидела еще раз, во время Чернобыльской катастрофы. Тогда, в 1986 году, они налились хищной жирной зеленью, зажили своей особой жизнью, вызывая удивление и страх, они уже не составляли с нами единое целое, а хищно зеленели наперекор людскому горю.

И еще: горит Коренево. Это второе по силе детское впечатление, после тяжелого протяжного вздоха папы на лестнице ленинградского дома…

Толпа женщин стоит поздним вечером на пыльной улице, все смотрят в сторону Сейма, молчат. Там, на горизонте, красное зарево. Пожар.

– Коренево горит, – произносит Гурьян Тихонович.

Я понимаю: это конец. Это страх, пустота и безысходное отчаяние. Горит прежняя жизнь – наша станция, где мы садились на «кукушку», наша связь с Ленинградом, с папой. Гурьян Тихонович, сапожник, единственный мужчина на нашей улице, щуплый, с изувеченной ногой, сказал, растягивая слова:

– Ничего, ничего. Наша будет победа. Наши сейчас заманивают его, заманивают, как тогда француза, заманивают, – он показывает рукой, как заманивают, – а потом, как ударят морозы, попрут его обратно. И чем дальше он зайдет, тем хуже для него. Провалится.

– Дай-то Бог, – говорит тетя Леля.

В пять часов утра в Рыльск въехали на мотоциклах немцы. В серых касках, с автоматами наготове. Они въехали со стороны Крупецкого шляха и прочесали все улицы.

Утром я проснулась в оккупированном городе.

Татку прятали в дальний угол подвала, переодевали в какие-то лохмотья, натягивали ватник, мазали лицо сажей, на чем особо настаивала бабушка. Подходили к железной двери, запертой на огромный железный засов, прислушивались. Нами никто не интересовался. Тогда решили выпустить наверх детей.

И вот по узкой железной лестнице мы, шесть – восемь детей, стали гуськом подниматься наверх. Первое, что я увидела, были черные сапоги, совсем не похожие на папины: черные, узкие, блестящие, высокие. Затем – черное длинное кожаное пальто. Мы стояли, ошеломленные, около лестницы, не смея сделать следующий шаг. В большом дворе было полным-полно немцев, которые ели, двигались; валялись пустые чужие консервные банки, что-то варилось… Один немец подставил голую спину под холодную воду, сверкая розовым голым телом, от которого валил пар. Заполняя весь двор, звучали громкие, отрывистые, похожие на лай, радостные голоса и радостный гогот… Почему-то казалось, что все бело, будто присыпано снегом, и на снегу множество фигур в блестящих черных плащах.

– Киндер, киндер! – раздались крики, и около нас столпилось несколько немцев.

– Смотри, на рукаве свастика, – прошептал Горик. Я не поняла.

Немцы смотрели на нас и смеялись. Кто-то протянул горсть конфет в ярких обертках. Никто не брал. Они смеялись, пытались объяснить, что это *карашо*, стали кидать конфеты на ступеньки лестницы. Хорошо помню на грязных ступенях яркие фантики конфет. Несколько детей их подняли.

Я-то хорошо помнила похожие обертки. После советско-финской войны в Ленинграде продавали финские конфеты, не

похожие на наши. Особенно мне нравились ириски, маленькие, квадратные, мягкие и очень вкусные. А теперь мы с Гориком стояли рядом, спиной к кирпичной стене. Мы даже не колебались: взять или не взять – это было невозможно, так же, как прыгнуть выше себя. Не-воз-мож-но!

Из подвалов медленно выходили люди с небольшими узелками и разбредались по домам. Парадное нашего дома было открыто, кто-то ночью побывал у нас. Пропал мой пупс, папин подарок. Потом я увижу свою игрушку на подоконнике одного дома, пупс будет сидеть и грустно смотреть на меня своими раскосыми глазами; за спиной – тюлевая занавеска. Я буду долго стоять и смотреть на игрушку. Словно прощаясь. В следующий раз его уже здесь не будет.

Громкий стук парадного, тяжелые размеренные шаги, мы еще не успели раздеться, дверь распахивается – на пороге два немца, в касках, с автоматами. Мы стоим растерянной и испуганной кучкой, трое взрослых и четверо детей. Впереди бабушка с белыми пышными волосами, с темно-карими глазами, орлиным носом, в руках – альбом с фотографиями…

Двое немцев глядят на нас. Вдруг один вскидывает палец в сторону бабушки:

– Юда?

Испугались все и сразу. А почему? Ведь ничего не знали. Никто об этом не говорил. Это потом, через несколько дней, жена зубного врача Красильщикова придет на базар в большом платке поверх пальто, скрывающем две желтые звезды на груди и спине…

– Юда?

– Нет! Нет! Наша мама, – тетя Леля пытается сказать что-то по-немецки.

– Коммунист?

И опять испуганно:

– Нет, нет!

– Воеват? Фронт?

– Мой муж, – сказала тетя Леля, медленно подбирая немецкие слова, – в тюрьме.

– В тюрьме, – кивала головой бабушка.

Тетя Леля сделала из пальцев решетку – для ясности. Теперь один немец уже стоял спиной к окну и разглядывал тетю Лелю, другой по-прежнему у двери, а она – рядом с тем самым шкафом, на который вешала три года тому назад окорок для Константина Герасимовича. Немец, говоривший с тетей Лелей, кивнул.

– Шнель, – указал он на маму. – Шнель, шнель!

– Куда? Что? – заметались бабушка и тетя Леля.

– Картошка, – сказал немец. – Помогат.

– Ах, картошка, – фальшиво засмеялась тетя Леля и бросилась на кухню.

– Картошка, – повторил немец, показывая, что надо чистить картошку.

Тетя Леля, взглянув на маму, вынула нож из ящика. Мама взяла меня за руку.

– Ты с Ингочкой? Куда?

– Вместе, – сказала мама.

– Вера, возьми нож, – сказала тетя Леля.

– Вера, Ингу оставь! – крикнула бабушка, но мама покачала головой. Они переглянулись с тетей Лелей, и мы, спотыкаясь, пошли по лестнице.

Двор бывшей милиции был заполнен немцами, около распахнутых настежь ворот стояла бочка с холодной водой и мешок картошки. Около бочки стояли еще несколько женщин. Я почувствовала, как мама успокоилась. Мама чистила красными замерзшими руками картошку, споласкивала в бочке и кидала в котел. Я стояла рядом. Раздалось несколько взрывов.

– Наши стреляют, – сказала одна из женщин. – Обидно будет умереть от наших снарядов, – и она засмеялась.

– Ребенка бы отпустила, – сказала другая.

– Нет, – мама качнула головой, – вместе, вместе.

– И то правда, – отозвалась первая.

Я загадала: если досчитаю до тридцати и взрывов не будет, то мы останемся живы. Я считала быстро и успела. Взрывов не было. Потом раза два где-то грохнуло, и все смолкло.

Что запомнилось из той поздней осени и зимы?

Мама забыла, что она красавица (впрочем, она не очень-то об этом и помнила) из Ленинграда, забыла, что муж – кандидат медицинских наук, все забыла… В калошах, в старой юбке, в ватнике, с головой, повязанной по-деревенски платком, вместе с Таткой она целые дни ходила по полям и собирала неубранную картошку, фасоль, горох, гречку… Тогда мама очень сдружилась с Таткой, я не ревновала, понимала – теперь не до ревности и все мы, семь человек, одно целое.

Однажды притащили два мешка фасолевых стручков. Тетя Леля радостно охнула и посторонилась, когда мама с Таткой ввалились в кухню.

Мама и Татка были возбуждены, говорили, что там еще очень много осталось фасоли, правда, их пугают, что поле заминировано. Бабушка заметалась.

– Да нет там никаких мин, – сказала легко Татка. – Мы с Верой обошли все поле.

– Сейчас передохнем и опять пойдем, – говорила мама. – Леля, дай что-нибудь поесть.

Они поели и под причитания бабушки ушли. Тетя Леля усадила нас с Гориком чистить стручки. Я хорошо помню два больших рыжих мешка, лежащих справа и слева, бумагу на полу и посередине глиняную крынку, куда мы кидали очищенную фасоль. Фасоль была белой, в темную крапинку. Сидели на полу, напротив шкафа из красного дерева. Опустив голову, я изо всех сил быстро чистила фасоль – и загадала: если успеем почистить до маминого возвращения, победа будет за нами. Казалось, невозможно успеть, но тем вернее будет гадание. И все время, пока я чистила фасоль, казалось, что в комнате полумрак, а надо мной нависло темное облако.

Они вернулись, когда совсем стемнело, а тетя Леля уже не могла скрыть свое беспокойство. Но мы успели почистить всю фасоль.

Вообще во время войны я маму плохо помню – она стала вместо тети Лели добытчиком: то продавала на рынке папины отрезы, то шила какие-то наволочки, белье, то ходила с Таткой по деревням: выменивать картошку, хлеб. Тетя Леля неизменно оставалась дома. Она была хранительница домашнего очага. Встав рано утром, принималась колоть лучины, растапливала печь от одной спички, готовила обед, распределяла еду: на утро – стакан кипятка, зубчик чеснока и кусочек хлеба; на обед – суп без хлеба; вечером – опять стакан кипятка, зубчик чеснока и кусочек хлеба. У меня потом долго оставалась привычка (как говорили – дедушкина): быстро сметать в ладонь крошки со стола и кидать в рот. Тетя Леля как-то очень быстро отсекла тетю Ирочку с детьми от нашего дома. Она понимала, что такую ораву ей не вытянуть. Мама даже не протестовала. Единственное теплое воспоминание от той зимы на всю жизнь – это столбом стоящий над крышей розовый дым и запах дыма от растапливаемой печки.

Что означала оккупация для семилетнего ребенка? Да то же, что для взрослого. Ни на секунду не забывалось, что произошел крах. Такой милый, уютный родной Рыльск, где всегда была мягкая трава, солнце, речка с пологим песчаным берегом, горка Ивана Рыльского, самовар, который мама чистила, сидя на корточках, цветами бузины, сорванными тут же во дворе, или яблоками-паданцами, – все пропало. Город умер. Речь громкая, гортанная, отрывистая, непонятная, вражеская, заполняла улицы. Улицы стали не наши, дом постоянно трясся, когда машины, такие огромные по сравнению с нашими полуторками, катили мимо. Однажды ночью на улице остановилась колонна танков. Мама подошла к окну и увидела, как они движутся один за

другим. Дом трясся от пола до потолка, тряслись стены.

– Леля, – позвала мама, но тетя Леля спала.

В тот день на меня напала тоска. Зима тянулась очень долго, была снежной и холодной, гулять нас почти не выпускали, поэтому особенно странно, что именно тогда я вышла за ворота. Теперь я не могла сказать, как когда-то, до войны: «Ухожу к папе». Да, оккупация ощущалась как проволочное заграждение. Меня до сих пор пугает грозный вид военной техники, гусеницы танков, защитного цвета броня… Помню черные огромные кресты по бокам. Танки стояли цепью, друг за другом, со стволами, нацеленными за Сейм.

В бежевой цигейковой шубе, в такой же шапке-ушанке я вышла из дома. Горик предложил сопровождать меня, но я сказала, что хочу побыть одна. Перешла улицу и зашагала вдоль стоящих танков; сугробы частично отгораживали меня от них, я старалась не смотреть в эту сторону; миновала церковь, дошла до угла, обогнула танк и пошла обратно по дороге. Обошла солдата с автоматом. Смерила его хмурым независимым взглядом, всем своим видом показывая, что мне нет никакого дела ни до танков, которыми они хотят нас пугать, ни до часового. Не помню, сколько я сделала кругов. Наконец немец не выдержал и, указав автоматом на наш дом, закричал: «Шнель! Шнель!»

Тогда я отморозила руки и ноги. Отморозила до гноящихся ран. Все удивлялись: и гулять-то не гуляли, и варежки были. Бабушка, пользуясь рыльскими связями, достала где-то гусиный жир. Перед сном, при свете каганца, начиналась операция: я садилась на кровать, свешивала ноги, приносили таз с теплой водой, бабушка или мама (чаще бабушка) мыла мне ноги, потом смазывала и обматывала тряпкой, надевала чулки; потом я ложилась, и бабушка смазывала мне руки и заматывала тряпками. Раны скоро прошли, осталась только неприятная отечность. В течение следующих трех зим раны открывались опять.

Мама спала вместе со всеми детьми в маленькой комнате, тетя Леля и бабушка – в большой. Тетя Леля ложилась в кровать, вытягивалась с наслаждением и каждый вечер говорила:

– Спать люблю больше всего на свете.

На что мама, абсолютно лишенная ехидства, по простоте душевной говорила:

– Тогда зачем жить?

Мама спать не могла. «Не знаю, сколько часов за всю войну я спала», – вспоминала она не раз уже после окончания войны. Мама спала вполуха: не было ночи, чтобы она не сторожила нас, то и дело высовывая голову из-под одеяла. В течение дня, будь то

зима, осень или лето, часто смотрела на небо, старалась заранее определить, летная или нелетная будет погода ночью, и если небо не затягивали облака, она не спала.

В конце зимы мы переехали по настоянию мамы на окраину города, подальше от Крупецкого шляха, ближе к слободке. В дом Пелагеи, старый приземистый купеческий дом, с аршинными стенами. Однажды снаряд угодил в стену и так и застрял, не пробив ее. Окна закрывались изнутри ставнями на железных засовах.

Прежде чем уйти от Зои Тихоновны, тетя Леля долго колебалась, но тут упросила мама. Она очень боялась: дом стоял в самом центре города, ладный, ухоженный, двухэтажный, с множеством окон; парадное вело на нашу половину. Вход к хозяйке был со двора. Не было дня, чтобы к нам не заходили немцы. В этом доме тетя Леля прожила четырнадцать лет, с тех пор, когда в 1928 году был продан дедушкин дом на Глуховской улице (впоследствии – улице Урицкого), а дедушка навсегда покинул Рыльск. Тетя Леля колебалась долго. Но ускорило (или подтолкнуло) ее решение одно происшествие. Вообще-то хозяек было двое: сестры Булгаковы – Зоя Тихоновна и Ольга Тихоновна. Как-то случилось, что я их никогда не видела, мне они представлялась древними старухами, которые никогда не выходят из дома. На самом деле они были сорокалетние красавицы, высокие, стройные, с прекрасными темными волосами. Тетя Леля говорила, что слишком долго выбирали женихов, от которых отбоя не было, вот и остались незамужними. «Эгоистки, – прибавляла тетя Леля, – считали, никто их не достоин». Зоя Тихоновна утром уходила на Сейм; она очень хорошо плавала и купалась каждый год до ноября, чем вызывала ехидные замечания со стороны тети Лели. И вот к Булгаковым на постой были определены два финна. Как-то финны, перепившись, стали ломать дверь, пытаясь вломиться к сестрам. Те перепугались (до этого финны вели себя мирно), забаррикадировались то ли в одной из комнат, то ли в туалете. Они звали на помощь единственного мужчину из соседей – Гурьяна Тихоновича. Но как мог защитить их от двух огромных финнов маленький инвалид с изувеченной ногой? Был страшный стук, крики, даже, кажется, выстрелы. На следующее утро, протрезвев, финны, не поднимая глаз, просили прощения у хозяек и съехали с квартиры.

Помню, меня очень интересовали финны, я все хотела на них посмотреть.

– Какие они? – приставала я.

– Огромные, белые… дубоватые.

Вот это-то меня и интересовало: неужели и впрямь

дубоватые?

Гурьян Тихонович выкопал яму в сарае, тетя Леля отмерила шаги от двери и от стены, в яму положили *колоду*, выдолбленную из ствола дерева. От колоды пахло стариной; она могла служить сундуком, ящиком, гробом. На дно колоды положили клеенку и сложили все вещи, которые не могли забрать с собой. Закрыли сверху тоже клеенкой. Мы стояли, смотрели, как Гурьян Тихонович бросает сверху землю, а тетя Леля говорила: «Запомните – шесть шагов от двери, четыре от стены».

В доме Пелагеи только и было, что шесть кроватей, простыни, подушки, одеяла и ящик с тети-Лелиными старинными елочными игрушками. Все остальное осталось лежать на дне колоды. Уже не было ни ломберного столика, ни белых высоких двухстворчатых дверей с позолоченными ручками, ни буфета до потолка, ни старинного шкафа, а вот зеркало с подзеркальником, высокое, на гнутых ножках, кажется, все-таки перенесли в новый дом.

Как-то ночью раздался крик, дверь выбили ногой, нас ослепил яркий свет, мы повскакали с кроватей.

– Хальт! – кричали они. – Хальт!

Я ничего не видела, кроме яркого света, слепившего глаза. Но тетя Леля сказала, что их было человек шесть, не меньше. Он водили фонарями по нашим ошеломленным лицам, и кто-то из них произнес:

– Комунистише парадиз.

Громко топоча, ушли, даже не прикрыв дверь. Тетя Леля перевела: «Коммунистический рай».

Лето сорок второго почти совсем не запомнилось. К тому времени мама уже все распродала, помнится страшный голод, мы были благодарны Пелагее за связку зеленого лука… Однажды мы с Гориком воровали мак на огороде Пелагеи (он казался таким вкусным!), нас поймали, и мы от стыда не выходили из дома несколько дней.

Пелагеин двор был весь утоптан лошадьми и сапогами извозчиков, которые что-то выгружали из огромного амбара. Груды рассыпанного зерна, кучи конского навоза, от которого шел пар. Запах конского навоза до сих пор воскрешает залитый солнцем двор, рыжий снег, вереницу подвод и стаю весело гомонящих воробьев…

Во дворе мы не играли. Мы с Гориком выходили на улицу, она была пустынной, туда не захаживали немцы, не ездили машины. Наискосок от нас стоял двухэтажный красный кирпичный дом Долланских, у которых были две дочери-красавицы – Иза и Ляля. Иза была старше, ей было 17 или 18 лет, а младшей 16. Иза была очень красива. Но тетя Леля говорила,

что Лялька еще переплюнет Изу, когда подрастет. Все в семье говорили по-немецки, отец Изы и Ляли был чех, его арестовали еще в сороковом году. В этом доме часто бывали немцы. Звучала музыка, играли на пианино, тетя Леля, посмеиваясь, говорила, что по ночам Иза и Ляля слушают курских соловьев в саду. И что-то такое проскальзывало в ее тоне, что заставляло меня спрашивать:

– Каких курских соловьев? Почему ночью?

Тех немцев, которые приходили в дом к Долланским, мы не видели; возможно, там они и жили. Это были воспитанные люди. Нас они не трогали.

Вспомнила еще один случай. К тому времени мы узнали, что всех евреев сначала посадили в один дом за Сеймом, а потом увезли куда-то.

– Расстреляли, – говорила тетя Леля.

Однажды ярким летним днем мы с Гориком вышли на улицу, и за нами увязался мой четырехлетний братик, черноглазый, смуглый, с черными вьющимися волосами. В одной длинной рубашонке, без штанов, он быстро косолапил за нами. Мы дошли до угла, и тут нас догнала худая женщина в шелковом нарядном платье и в шляпке. Она уже было обогнала нас, как вдруг обернулась, взглянула на Вовку, схватила его за ухо и громко крикнула, озираясь по сторонам:

– А ты, жиденок, почему остался?

О, мы сразу поняли, что это означает.

– Тетя, тетя, отпустите, – подбежала я к ней, – это мой братик.

Белолицый, светловолосый Горик стоял рядом и тоже повторял:

– Это наш брат Вовка.

Вовка замер, на огромных круглых глазах показались слезы. Тетка не переставала кричать, не отпускала ухо, оглядывалась по сторонам. Но улица была пуста. Когда тетка наконец выпустила ухо Вовки, мы, схватив его за руки, помчались домой.

После этого нас крестили. Единственно, что я запомнила, это как мы, взявшись за руки, ходили вокруг стола, впереди священник с кадилом в руке. Он что-то пел, тетя Леля и бабушка подпевали, как сейчас понимаю, пели:

– Елице во Христа хреститеся, во Христа облекостеся… аллилуйя…

Казалось, все выпало из памяти; молитвы, которым нас выучила бабушка перед крещением, – «Отче наш», «Богородица, Дево, радуйся», «Пресвятая Троице» и «Царю Небесный» – все забыто. Кто может поверить, что через пятьдесят лет я, не

читавшая с детства молитв, вспомнила их; они возникали слово за словом, по одному-двум в день… После крещения бабушка достала где-то большую фарфоровую, с яйцо, голубоватую икону Божьей Матери и повесила Вовке на грудь.

Еще зимой, сразу после прихода немцев, открылась церковь, что стояла наискосок от дома Зои Тихоновны. Мы всей семьей пошли туда. Пришли, когда церковь была полна народу, я остановилась у входа и обомлела от красы разверзшегося надо мной неба и витающего в облаках старца. Но я уже не задавала вопрос: кто это?

Только однажды после этого мы ходили в церковь на праздник; кажется, на Преображение или на Успение, это уже летом 42-го, когда жили у Пелагеи. Прошли через деревянный мост, миновали слободку, вышли к монастырю. Церковь была огромна и полупуста. Большой двор был завален дровами, мы с Гориком то входили, то выходили; Вовка где-то копался во дворе. Шла служба… В большом полупустом храме открылась тяжелая дверь, и на весь храм раздался Вовкин голос:

– Тетя Леля, я вам щепочек принес.

Все летние дни мама пропадала в лесу, запасая на зиму дрова. Босая, простоволосая, она таскала из лесу сушняк; вязанку, перевязанную веревкой, волокла по земле, как все русские деревенские женщины, или взваливала ее на плечо. Однажды мама несла несколько сухих березовых деревцев и натолкнулась на лесника, тот пригрозил ей.

Зима 42-го была страшно голодная. Есть хотелось все время. Тогда я узнала, что в мезонине нашего дома живет родная тетка Горика, Ольга Герасимовна, сестра Константина Герасимовича. Вероятно, благодаря ей мы в этот дом и попали. Я ее никогда не видела, она к нам никогда не приходила. Но вот как-то тетя Леля сказала, что Ольга Герасимовна поразилась бледности Горика и решила его подкормить. Что мы с Вовкой голодали, никто не верил: у нас был румянец, переданный мамой по наследству.

– И чем вы своих детей кормите? – спрашивали маму. – Никогда не поверим, что голодаете.

И вот однажды я, выйдя из комнаты, в коридоре увидела Горика, склонившегося над тарелкой чего-то бело-желтого, нежного, невероятного. Рядом стояла Ольга Герасимовна. Я прошла мимо, отвернувшись; не было ни зависти, ни негодования – было удивление: что же такое он ест? Горик ел яичницу.

Когда по вечерам мы, уже лежа в кровати, принимались рассуждать, что нас ожидает завтра, тетя Леля спустя какое-то время поворачивалась на бок и заключала:

– Утро вечера мудренее.

А наутро, которое должно быть мудренее, тетя Леля, одеваясь, говорила:

– Даст Бог день, даст Бог и пищу.

Это был припев нашей жизни в Рыльске 1942–1943 годов. Зимой несколько раз бабушка где-то доставала молочную сыворотку, тетя Леля вливала нам по столовой ложке в стакан кипятка. Один раз бабушка принесла настоящее молоко, и тогда тетя Леля всем дала по столовой ложке. Белая жидкость, очень нежная, поразила меня своей сладостью. Несколько раз бабушка брала меня в эти походы за сывороткой, она входила в дом, а я оставалась на улице. Когда возвращались, бабушка останавливалась при каждой церкви, медленно, осторожно ставила бидон на снег, крестилась и кланялась. Однажды бабушка поставила, как обычно, бидон, стала креститься; я оглянулась – никакой церкви. И вдруг где-то далеко за домами увидела полуразрушенную колокольню и на ней крест.

Зимой сорок второго немцы на два месяца открыли школу, и мы пошли в первый (или сразу во второй) класс. Я любила ходить в школу. Шли рано утром, розовый дым стоял столбом над каждым домом, мы шли по заснеженным улицам, вдоль которых возвышались сугробы. Однажды, уже подходя к школе, встретили священника и стали торопливо снимать шапки и кланяться.

– Деточки, деточки, – испугался священник. – Что вы делаете? Наденьте шапки. Мороз-то какой! А девочкам вообще не полагается снимать шапку.

Вечером при свете каганца делали уроки. Занималась с нами тетя Леля. Мне не везло с чистописанием – ничего не получалось, только кривые буквы, кляксы, помарки. В тот год за эти несколько месяцев мы выучили таблицу умножения. Мне нравилось, когда учительница мелом на черной доске выводила постепенно разрастающийся от сложения чисел треугольник и рядом с ним столбик от умножения.

На Рождество был устроен праздник, и я должна была читать стихотворение. Тетя Леля учила выразительности. Помню, когда я вышла и произнесла, как учила меня тетя Леля: «Мама, глянь-ка из окошка, ведь вчера недаром кошка умывала нос», – то увидела, как многие женщины, толпившиеся в дверях, встали на цыпочки. Ни мамы, ни тети Лели на празднике не было. Они вообще старались не выходить из дома.

Однажды в ту зиму до моих ушей долетели слова, сказанные тетей Лелей: «Пришла женщина, будто принесла молоко. Ведра прикрыты тряпкой. Я ей говорю, что нам не надо молока – нечем платить. А она ведра поставила на лавку, приоткрыла платок, а оттуда листовки. И говорит – прочитайте и другим передайте. И

ушла». И еще помню шепот тети Лели: «Сказала, что в Хомутовке все время советская власть. Немцы туда боятся ходить. Партизаны в Брянском лесу. Отсюда всего тридцать километров». Мама не поверила:

– Да неужели рядом? По прямой – всего каких-то тридцать километров! Да неужели советская власть?

– Там слушают радио, – шептала тетя Леля, – под Сталинградом немцев разгромили. Под Сталинградом…

– Что? Что? – вскрикнула мама.

– Наши освободили Сталинград.

– Ленинград? – опять вскрикнула мама.

– Ста-лин-град, – сказала тетя Леля по слогам.

– Значит, немцы дошли до Волги.

– Да, но разгром страшный под Сталинградом.

Мама бросилась к кровати, распорола наволочку, вынула зашитую внутри папину гимнастерку, серую от налипшего пуха, и припала к ней. Она плакала, прижималась к ней лицом, потом позвала меня.

– Папина гимнастерка.

Я понюхала – пахло папой. А казалось – папу забыла. Но вот родной папин запах… И мама опять зашила гимнастерку в подушку, и папу напоминала только карточка, стоявшая у маминой кровати, специально криво обрезанная, чтобы не был виден форменный воротник со шпалами. И еще, конечно, оставались письма, сохраненные мамой и сейчас хранимые мной…

И вот тогда, после этого разговора о листовках, мне пришло на ум самой написать и распространить листовки. Где? Конечно в школе. А если найдут, кто писал? Да никак не найдут – мы будем писать левой рукой, придем в школу раньше всех и разбросаем.

Мы с Гориком (он, конечно, сразу согласился участвовать) выдрали чистые листы из книги, так называемый форзац – большие гладкие листы; я помню, они были коричневатого цвета. А книга называлась, кажется, «Генрих собирается на войну» – довоенное издание про немецкого мальчика, который тоже боролся с фашистами. Впрочем, может, я ошибаюсь. Но что книга большая, а листы гладкие и коричневатые, – это точно. Левой рукой, крупными, неровными буквами через всю страницу мы написали:

Да здравствует Сталин!
Смерть Гитлеру!
Победа будет за нами!

Все было готово, листовки спрятаны в портфель. Но мы не смогли скрыть свой восторг, прятались за полузакрытой дверью и шептались. Тетя Леля, «недремлющее око», поймала нас, вытащила из-за двери:

– Где листовки? Вера! Иди сюда!

Мы молчали.

– Это, конечно, ты все придумала, – шипела тетя Леля.

– Ингочка, какие листовки? – Худенькая мама прижимала руку к виску.

Листовки вытащили из портфелей, тетя Леля и мама долго их вертели в руках и, кажется, пришли к выводу, что понять что-либо было невозможно. Однако в школу нас не пустили.

– Раньше вы ничего такого не разбрасывали? – Тетя Леля не могла успокоиться.

Нечто похожее уже, конечно, было. Летом немецкий солдат дал Татке открытку. Татка принесла ее домой. Открытка была коричневого цвета, на ней Гитлер в профиль, с поднятой рукой. Мы с Гориком выкрали открытку, разорвали ее на мелкие кусочки и зарыли в землю, придавив красным кирпичом.

– Вы понимаете, что вам грозило?

– Да мы бы не сознались! – кричали мы в восторге от нашего подвига и от того, что избежали наказания. – Да мы писали левой рукой… мы бы пришли раньше всех и разбросали бы по всему классу…

– Ох и выдеру же я вас обоих, – сказала тетя Леля.

– А ты, дубина стоеросовая, что молчала? – обратилась она к Татке.

Но Татка знать ничего не могла, это была наша с Гориком тайна.

А через несколько дней нашу школу закрыли.

Вот тогда и появился Пал Дмитриевич. Он поселился на первом этаже, в доме Долланских. Высокий, худой, с белобрысыми усами. Очень скоро стал приходить к нам и засиживаться у нас до поздней ночи. Про себя говорил, что белорус и пробрался сюда, чтобы торговать; в доказательство приносил расшитые полотенца и скатерти. Кажется, даже была какая-то котомка; с такими, на мой взгляд, ходили раньше коробейники.

По вечерам, когда мы уже ложились спать, дверь в нашу комнату оставалась полуприкрытой, чтобы шло тепло, и я слышала его высокий голос:

– Вера!.. Вера! – Он разглагольствовал о вере, но мне казалось, что он специально употребляет это слово, чтобы лишний раз назвать маму.

В щелку я видела, как взметались огромные тени его рук и мигал каганец. И бабушка, и тетя Леля, да, кажется, и сама мама были уверены, что он влюбился в маму.

Одно из его расшитых полотенец мама увезла в Болгарию. Однажды я, увидев полотенце, сказала:

– А это Пал Дмитрича!

– Какого еще Пал Дмитрича? – грозно спросил папа.

Мама из-за спины папы показала мне кулак. Мама и кулак – две вещи несовместные. Но было.

Напротив нашего дома на небольшой горке стоял заколоченный дом. Там давно никто не жил, даже Пелагея не знала, кому он принадлежал. Наверху было слуховое окно. И вот как-то тетя Леля заметила, что там мелькал свет, потом замигал фонарик. Следующим вечером все повторилось.

– Кто-то подает сигналы, – сказала тетя Леля.

И когда пришел Пал Дмитрич, тетя Леля, как бы между прочим, сказала:

– Вчера мы видели, как в доме напротив горел свет. Наверное, воры. Думаю, никто, кроме нас, не видел. Но если будет повторяться, то, конечно, немцы заметят.

Больше света в слуховом окне мы не видели. Но Зоя Долланская, мать Изы и Ляли, хозяйка дома, знакомая тети Лели еще по гимназии, как-то пришла к нам и рассказала, что во время налета, проходя по коридору, увидела во дворе Пал Дмитриевича, он стоял посередине двора и светил фонариком в небо. Хозяйка его окликнула: «Что вы делаете, Пал Дмитриевич?» А он сказал: «Хочу посмотреть, что за самолеты».

Что можно рассмотреть в темном небе, светя в него фонариком? А оказывается, в ту ночь «наши» сбросили парашютиста. Откуда мы узнали, не помню, но кто-то видел.

Пал Дмитриевич исчез так же внезапно, как и появился.

Вскоре объявили, что все оставшиеся русские будут изгнаны из Рыльска на следующей неделе. Но прежде произошла страшная бомбардировка, и бомбили нас «наши». Вот как это произошло.

Уже был март 43-го. Ярко светило солнце, было тепло по-весеннему, ворота были нараспашку, во двор то и дело въезжали телеги, запряженные лошадьми, ходили, громко переговариваясь, бородатые мужики в армяках, с кнутами. Я ходила по двору, смотрела на голубые лужи, вдыхала запах конского пота, следила за громко суетящимися воробьями, копающимися в навозе. В один из таких дней высоко в небе тяжело, с надрывом гудя, летело шесть самолетов. Какой-то возница, подняв голову, сказал:

– На Москву. Обратно полетят налегке.

Почему-то эти слова вызвали у меня страшную муку, почти

такую же, как прежде фраза: «Коренево горит». Тут объединилось все: и страх от тяжелого грозного гула, несшего смерть; и то, что они каждую минуту могли раздумать и бросить все бомбы на нас; и то, что враги грозно и безнаказанно устремляются на Москву. Я смотрела на маленькие, тяжело гудящие точки, и горечь переполняла мое сердце. Я прошептала:

– Спасибо вам за наше счастливое детство.

Кому я адресовала, кому направляла упрек и жалобу? Не знаю сама.

В один из таких дней мама ушла с Таткой в деревню. Возвратились под вечер. Мама, бледная, испуганная, протянула тете Леле листовку. Листовка была наша, в ней предупреждали о предстоящей массированной бомбежке и предлагали заранее покинуть город. Маме листовку дала какая-то женщина.

– Мы с Таткой только одни и шли в город, – рассказывала устало и как-то обреченно мама. – Навстречу нам толпа. Все спрашивали: куда мы? Не знаем, что ли, что сегодня ночью будет страшная бомбежка?..

Мама и Татка, сбросив мешок картошки, стояли в нерешительности. Первая мысль была – бросить мешок, бежать, предупредить всех нас и оставить город еще до наступления темноты. Но жалко картошку. И вот, после недолгого совещания, мама опять взвалила на себя мешок, и они пошли в город, который должен был быть разбомблен этой ночью.

Спать мы легли одетые, даже в шубах, только сняли валенки. Ночью мама разбудила меня. Спать хотелось страшно. Натянув кое-как валенок, я наклонилась, вытащила галошу из-под кровати и стала в нее засовывать валенок. Галоша никак не надевалась.

– Инга, ты что делаешь? – засмеялась Татка.

– Галошу надеваю.

– Да ты смотри, какую галошу – это ящик с елочными игрушками!

Бомбили нас нещадно. Это были не наши самолеты, а «английские» – так говорила тетя Леля. Бомбы издавали страшный, завывающий звук. Вовка, стоя, уткнулся в мамины колени и так простоял всю бомбежку. Бабушка, как всегда, осталась наверху на лежанке. Этот гул и страшные разрывы вблизи я помню до сих пор. И мамины слова:

– Как ужасно в конце погибнуть от своих.

Кажется, она не ожидала, что мы останемся в живых, и одно было утешение: погибнем без мучений, все и сразу. С той бомбежки Вовка стал заикаться. Мы на несколько дней переселились в подвал. А потом пришли немцы и погнали нас из города.

Перед уходом мы, уже сами, выкопали яму в погребе, опять положили наше барахло, но уже не в колоду, а в корыто. Закопали. Остальное погрузили на трое санок. В городе еще лежал снег. И вот семеро – трое взрослых (одна из них бабушка) и четверо детей – тронулись в путь. Уже вечерело, время было упущено, и нас согнали в тюремный двор, закрыли железные высокие ворота, замотали цепями. Народа оставалось в Рыльске не так много; кажется, не весь двор был заполнен – большой, мощеный и очищенный от снега. Немец что-то говорил, стоя на возвышении; кто-то переводил. Потом мы все разбрелись по камерам. Тюремный коридор был полупустой. Мы заняли одну большую темную камеру, с маленьким окном под потолком. Тетя Леля прежде всего села топить печку – было жутко холодно. Мы стояли вокруг, сесть было не на что: только голые кровати у стен. Растопив печку, она с лучиной в руке стала осматривать стены.

– А вдруг Константин Герасимович сидел в этой камере? – говорила тетя Леля, все выше и выше поднимая лучину. Мама стояла рядом, искала надписи. Тетя Леля, потом мама водили лучиной вверх-вниз. Где-то в углу что-то было написано, но мелкими буквами, так что нельзя было разобрать. Крупно было написано: «Да здравствует товарищ Сталин». Записей Константина Герасимовича мы не нашли, да и не надеялись найти.

Утром всех выстроили во дворе тюрьмы, мы стояли обособленной кучкой среди толпы. Рядом стояла наша поклажа – несколько крепко связанных тюков, привязанных к санкам. У тети Лели были большие, длинные самодельные сани на широких, несколько ржавых полозьях, с подобием руля впереди. У нас с мамой – обыкновенные детские санки без спинки. Странно, но в этот момент я ощутила, что наша семерка распалась: тетя Леля нас отрезала, как до этого Иру с детьми. Мы молча стояли. Огромные ворота медленно открылись, и во двор въехало несколько телег. Не успели оглянуться, как к нашей кучке подошел немец, указал на бабушку и Вовку: «Шнель! Шнель!» Мама рванулась следом, за ней я. Бабушку и Вовку посадили на уже заполненную телегу, и телега тронулась.

– Куда? Куда увозят?

Никто не отвечал. Мама побежала рядом, волоча санки, я за ней. Но куда там! Телега выехала за ворота тюрьмы, поднялась на Крупецкой шлях и скрылась из виду. Последнее, что я видела, – это бабушкины белые пышные волосы среди множества платков. Вовку я не видела.

Мама даже не плакала. Потерянная, в распахнутом на груди жакете, в сползшем на лоб берете, она глядела вдаль, где

скрылись Вовка и бабушка.

Кто-то сказал, что их повезли в село Михайловка.

За воротами светило солнце, пахло весной, но мы не были сторонними наблюдателями: месили грязь на дороге и медленно поднимались в гору. Здесь, на подъеме, было голое место, лишь слева стояла одна-единственная сосна. Мы представляли прекрасную мишень для «наших», стоявших на том берегу Сейма. Голый склон и медленно карабкающаяся вверх по грязи толпа.

– Ох, ударят сейчас по нам, – сказал кто-то.

И будто в подтверждение этого над головой пронесся снаряд и тяжело бухнуло слева. Еще один снаряд просвистел над нашей головой, и опять бухнуло слева за сосной. Началась паника. Женщины кричали, пытались бежать, но мама будто потеряла способность пугаться. Так же медленно, не останавливаясь, она поднималась в гору, еле волоча санки по грязи. В гору, под гору, в сторону – бежать было некуда. Вдруг низкий властный голос покрыл испуганные крики:

– Вы что паникуете? Ну стреляют. Это же «наши»!

Женщины кричали:

– А откуда им знать? Видят толпу!

И опять спокойный, властный голос. (Я оглянулась – баба, крепкая, невысокая, мне показалась, квадратная.)

– У них что – нет биноклей? Сейчас разглядят, кто идет, и кончат стрелять.

И будто услышав громкий, уверенный голос, с той, другой стороны Сейма стрелять перестали.

«Наши»! Впервые за два года мы почувствовали радость. Освобождение реально и близко, и там, за спиной, на севере, начинается весна!

Вдоль Крупецкого шляха стояли высокие, с меня ростом, а может, и выше, утрамбованные сугробы; сам шлях был очищен. Мама старалась спешить, но санки… Санки со скрежетом тянулись за нами. Мама вытирала пот рукой, останавливалась, опять тянула. Я понуро, как теленок, плелась сзади.

– Нет, – сказала вынырнувшая откуда-то тетя Леля, – дальше невозможно тащить.

Мама пыталась освободить узлы, туго стянутые веревкой. Часть вещей бросила прямо на дорогу, уже выхватила два тюка. Я стояла рядом и вдруг, подняв голову, увидела, как сверху прямо на нас мчится всадник. Немец с перекошенным лицом, держа в вытянутой руке пистолет, стрелял в воздух и бешено орал. Конь вырос надо мной, встал на дыбы и громко заржал. Сейчас эти подковы упадут на меня, а немец опустит пистолет и выстрелит в маму! Я закричала:

– Мамочка, мамочка, бросай все! Пойдем!

Я плакала, кричала и старалась оттащить маму от саней. Мама подхватила два тюка, связанные веревкой, перекинула за шею, повесила мне на спину маленькую котомку, и мы пошли в гору. Немец опустил коня.

Это был совершенно другой страх. Страх без тоски о прошедшем – как тогда, когда пылало Коренево; страх без жалоб – как тогда, когда летели бомбить Москву и, надрывно ухая, гудели самолеты. Это был чистый страх, страх неминуемой смерти – сейчас и здесь.

Бешеный немец, стреляющий вверх, бешеный конь, встающий на дыбы, и огромные подковы над головой.

По шляху тянулась бесконечная серая толпа. Тетя Леля с Таткой и Гориком шли где-то впереди, среди людей, а мы с мамой одни плелись за серой, все удаляющейся толпой. Помню если не зависть, то скорее констатацию факта: Горик в гуще, среди людей, а мы с мамой представляем очень удобную мишень для сумасшедшего немца.

Опять прозвучало несколько выстрелов, толпа остановилась. Стреляли по группе женщин внизу, уходящих все дальше по полю. «Убьют, – шептал кто-то, – убьют». – «Отчаянные, не убьют». Шесть женщин быстро шли внизу по полю, не оборачиваясь. Я смотрела с завистью: для них кончилось мучение – они свободны. Вдалеке виднелась маленькая деревушка, туда и направлялись беглянки. «Отчаянные, – думала я. – Я бы так не смогла».

Как они отделились незаметно от колонны? Верно, спрятались под откосом шляха, переждали, когда прошла колонна, и быстро побежали в поле.

Мы опять шли еле-еле. Маленький самодельный рюкзачок давил немилосердно. Страшно хотелось пить. Солнце припекало, а мы все шли и шли, и никто не думал делать привал. Мы уже знали, что нам не догнать все удаляющуюся толпу. Мама задыхалась.

И тут нас нагнал какой-то немец-офицер. Ни слова не говоря, он снял с мамы тюки, легко взвалил себе на плечи и пошел вперед быстрым шагом. Мы еле поспевали.

– Мама, чуть передохнуть, – умоляла я.

Но мама качала головой:

– Пока он несет, мы должны бежать за ним.

Где-то позади осталась тетя Леля с Гориком и Таткой; мы миновали середину толпы. И тут я совершила никому не видимое предательство – я почувствовала себя избранной. Вот мы с мамой идем налегке, а наши вещи несет немецкий офицер. Он идет впереди, высокий, худой, в серой шинели. Наши тюки лежат на

его плечах. Мы спешим за ним – мама в меховом цигейковом жакете, в салатном ленинградском пушистом берете, в белых фетровых ботах, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Я, висящая у нее на руке, в цигейковой светлой шубке.

Когда мы оказались во главе колонны, немец положил наши тюки на землю. Интеллигентное сухощавое лицо. Он не улыбнулся, только кивнул. Мы уже входили в какую-то деревню; пить хотелось страшно. Подводы с Вовкой и бабушкой не было, но слух подтвердился: их повезли то ли в Михайловку, то ли в Михайловское – было две деревни с почти одинаковым названием. До Михайловки было ближе, километров двенадцать. Туда мы пришли уже в темноте. Мама вместе с Таткой побежала по деревне искать Вовку. Я с тетей Лелей и Гориком стояли под развесистым деревом. Поодаль сновали какие-то тени. Татка вернулась.

– Нашли! – кричала она. – Нашли! И Вовку, и бабушку.

Она рассказала, как бежали вдоль домов, заглядывали во все окна и вот в одном увидели Вовку, полураздетого, почти голого; он сидел на столе, а вокруг толпилось множество женщин.

– Вера осталась там, – быстро говорила Татка. – Пошли, там хозяйка принимает всех. Народищу – жуть. Да, Вера провалилась в прорубь.

– Что? – Тетя Леля, уже склонившаяся над тюками, выпрямилась. Татка, смеясь, рассказывала:

– Вера очень торопилась, пошли напрямик, вот сюда, – она указала рукой куда-то в темноту, – там оказался пруд, она решила напиться, сделала шаг и провалилась по грудь.

В хате было полным-полно народа, стол сдвинут к окну, весь пол усеян людьми, лежащими и сидящими, устраивающимися на ночь. Мы еле втиснулись куда-то в середину. Мы лежали на голом, но теплом полу, прямо в верхней одежде. Переоделась ли мама? Кажется, бабушка причитала:

– Как же ты, Верочка, в мокром! Сними с себя мокрую одежду.

Мама сняла меховой жакет. Он был мокрый, покрытый маленькими сосульками, сосульки таяли, вода капала на пол, подтекала под нас. Вдруг в полутемной комнате, среди серого тряпья, подсвеченного маленьким фитильком каганца, в дальнем углу сверкнул атласный пурпур моего одеяла. Девочку моего возраста накрывал мужчина моим одеялом. Пурпурное, атласное, стеганое – мое с рождения, такого одеяла не могло быть ни у кого. Это было мое одеяло, вывезенное из Ленинграда.

– Мама, смотри – мое одеяло. – Я привстала на локте. За спиной мама укладывала уже спящего Вовку и собиралась лечь сама. – Мама, мое одеяло.

Тетя Леля подняла голову и взглянула в тот угол. Девочка вытащила из мешка мое платье.

– Мое платье, – сказала я.

– Вера, иди попроси, – сказала тетя Леля, – это они твои узлы подобрали.

– Они ехали сзади на лошади, – сказал кто-то, – подбирали все, что народ побросал.

– Выходит, что теперь это их вещи.

– Отдайте девочке хотя бы одеяло, – вдруг раздался незнакомый голос.

Я все смотрела не отрываясь, как незнакомая девочка натягивала на ноги мои чулки. Мать девочки встала и принесла мне мое одеяло. Я еще подождала немного, глядя, как девочка надевает мое платье. Но больше нам ничего не отдали.

Всю ночь я чувствовала, что повернуться на спину нельзя, перевернуться на другой бок тоже, можно было лежать лишь на левом боку, как улеглась с вечера. Когда проснулись, сразу стали решать, куда идти дальше. Немцы нас больше не охраняли, и мы могли идти, куда хотим. Посовещавшись, решили идти в Крупец – большое село.

До Крупца мы, конечно, не дошли. Мы тащились еле-еле и за весь день проделали километра четыре или пять. С нами шел четырехлетний Вовка и шестидесятипятилетняя бабушка. Мы вошли в деревню Поспешевка под вечер и стали проситься на ночлег. Семерых нас никто не брал. В один дом пустили бабушку и Татку. Мы, пятеро остальных, шли по улице, стучали в ворота, в окна, но нас никто не пускал. На пороге одной хаты стояла аккуратная хозяйка. Она молча смотрела на нас.

– Только на одну ночь, – попросила тетя Леля.

Женщина молча оглядывала нас.

– Только на одну ночь, завтра с утра пойдем в Крупец, – говорила тетя Леля.

Нас впустили. Хозяйка провела в дальнюю чистую комнату, в углу вместо иконы висело вышитое полотенце.

– Смотри, икону вынули, – сказала я Горику.

– Ее и не было, – отозвалась женщина. – Мы баптисты.

– О, баптисты, – сказала тетя Леля, – вы все очень дружные, добрые, непьющие.

– Да, – согласилась хозяйка. – Вот вас кто приютил? Отбивают поклоны, читают молитвы, а в сердце-то доброты нет.

Мы легли на пол – Вовка, я и тетя Леля. Маму, которую сильно знобило, положили на единственную кровать, стоящую головой к печке. Кровать была застелена чистым бельем, с высокой подушкой. Мама, не сопротивляясь, легла на кровать, только разделась. За спину ей тетя Леля положила Горика.

Утром мама уже не могла оторвать головы от подушки; начался бред. Она горела в огне, просила пить, хозяйка кричала,

чтобы убирались.

– Просились на одну ночь! – кричала она. – Знали, что больная! Убирайтесь! А может, у нее тиф! Сейчас позову немцев!

Тетя Леля молчала. Она понимала, что никуда мы идти не можем. Пришли Татка с бабушкой. Мама задыхалась, сбрасывала с себя простыню. Мы стояли потерянные, не зная, что делать.

Пришла хозяйка, грохнула об пол поленницей березовых дров и стала растапливать печку. Тетя Леля попыталась воспротивиться.

– Еще только утро, – сказала она. – Тепло ведь.

Хозяйка вышла и вернулась с еще одной поленницей дров.

Прислоненная к печке подушка, на которой лежала мама, нагрелась. Горик перелез через маму и спрыгнул с кровати.

– А, «принц» ночевал на кровати? – спросила Татка ехидно. – Ну конечно, «принц» на полу не может.

– Леля, как ты могла? – Бабушка заплакала. – Верочке и так жарко.

Это было страшное время: мама умирала. Сколько это длилось? Я не выходила из комнаты. Вовку тетя Леля по утрам, накормив, одевала, сажала на общую деревенскую клячу Гагару. Уже стояла весна, показалась травка, и лошадь выгоняли в поле пастись. И так, верхом на лошади четырехлетний мальчуган в красной шапочке, бывшей моей, сидел с утра до ночи. Лошадь была его нянькой. Однажды лошадь остановилась перед канавой, Вовка испугался и прыгнул вниз, прямо под копыта. Лошадь легко перескочила через канаву, Вовка остался лежать в поле.

А мама умирала в душной комнате. Бабушка откуда-то привела пленного фельдшера, он установил – двухстороннее воспаление легких. Он приходил к нам через день, ставил маме банки – это было единственное лекарство.

– Леля, жарко, не хватает воздуха, – шептала мама.

Мы умоляли хозяйку перестать топить печь.

– Вот скажу немцам, что тиф, – грозила хозяйка.

Тиф… тиф… было непонятно, хорошо это или плохо…

В дальнем окошке был выбит уголок, дырка заткнута тряпкой. Я простаивала часами у окна, сторожила и, как только хозяйка отворачивалась, вытаскивала свернутую жгутом мокрую тряпку. В хату вплывал свежий воздух.

Жарко, жарко… Однажды кто-то из нас, а скорее, фельдшер выскочил на улицу, догнал немецкого солдата… Помню громкие, твердые шаги; немецкий солдат, а может, полицейский, пересек комнату и выбил прикладом окно. В комнату ворвался свежий воздух.

Мама умирала. Сколько это продолжалось? Вся хата

погрузилась в полумрак. Высокая кровать, где лежала мама, представляла уже отделенный от нас островок. Помню один вечер. В тот вечер наступил конец света, все притихло, я стояла у окна, смеркалось. Бабушка сидела у кровати, тетя Леля в углу. Мы молчали. И вдруг раздалось пение, звуки гармони. Мимо, приплясывая, шел веселый хоровод ярко одетых девушек, за ними бежали парни с гармонью. Смех, смех… кто-то пел… пританцовывая, они прошли мимо меня. Помню сразившее меня удивление: мама умирает, а на улице веселятся. Опять, как тогда, когда я стояла под стенами тюрьмы, смотрела на синюю Неву и белый плывущий по ней пароход и знала, что все это не для меня, так и сейчас я знала, что жизнь проходит стороной и то, что происходит за окном, не имеет ко мне никакого отношения. Будто кто-то положил тяжелую руку мне на голову. Я не могла оглянуться, я стояла, прилепившись к окну, и чувствовала, как за спиной сгущается темнота.

Ко мне никто не подходил, в эту минуту каждый был сам по себе. Вот тогда я вспомнила молитву. Может, бабушка сказала: «Молись, Ингочка». И я начала: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя…»

Я стояла спиной к маме и читала молитву… кончала… опять начинала. За окном была поздняя весна. Сумерки вползали в комнату, за спиной была темнота, тишина и только мамино прерывистое дыхание. Тетя Леля не зажигала каганца. Это был самый страшный вечер в Поспешевке. Наутро пришел фельдшер и впервые сказал, что есть надежда. И сейчас самое страшное – опять простудить. А потом мама пошла на поправку.

…Мама говорила уже в семьдесят девятом, в декабре, за несколько дней до смерти: «Дважды я была на волосок от смерти – в тридцать третьем в Севастополе, когда лежала в сыпняке, и в сорок третьем в Поспешевке. Да видно, тогда еще не настало мое время».

– Ее надо кормить, кормить и кормить, организм очень ослаблен, – говорил толстый фельдшер. У меня к нему было странное отношение – с одной стороны, он приходил через день и бесплатно лечил маму; с другой стороны – это был русский, но служивший у немцев. Для меня он был непонятным. Были русские, были немцы – свои и враги. А фельдшер был и тем и другим. Для меня все немцы были темного серого цвета, наши – красно-желтые, а фельдшер – что-то среднее. Он был толстый, с крупной головой, в очках, белобрысый и не похож на русского. Странно, я к нему не сохранила благодарности, хотя именно его стараниями мама осталась жить.

– Кормить, кормить, – говорил фельдшер.

Чем кормить? И вот мы с бабушкой отправляемся по деревням. Бабушка с пышными, обязательно завитыми на папильотках волосами, в шляпке, с большой палкой с выгнутой большой ручкой, и я, несмотря на весну, все в той же цигейковой шубке, ходим по ближайшим деревням. Самый ужасный для меня был момент, когда бабушка спокойно откидывала крючок изнутри на чужой калитке, мы входили в чужой двор и бабушка стучала палкой в окно.

– Подайте, Христа ради, эвакуированным из Ленинграда.

Тут было вдвойне тяжело – и от того, что так бесцеремонно вторгались в чужой дом, и от того, что я не могла себя причислить к эвакуированным. Ведь мы покинули Ленинград за несколько дней до начала войны. То, что бабушка была вывезена, вернее, выпровожена папой из Ленинграда во время войны, тоже как-то не считалось эвакуацией. В моем представлении эвакуация – это когда власть тебя вывозит, а если папа посадил бабушку в поезд, можно ли это считать эвакуацией?

Однажды, вероятно на Пасху, нам не вынесли на улицу, а пригласили в хату, где прекрасно пахло печеным тестом. Хозяйка протянула нам по большому теплому ржаному пирогу, только что из печки. Бабушка поблагодарила, перекрестилась и начала есть. Я свой засунула в карман шубы.

– Ты почему не ешь? – удивилась хозяйка.

– Это маме, – сказала я.

– У нее мама болеет, – сказала бабушка.

– Ешь, – сказала хозяйка. – Ешь, я маме еще дам.

Я погрузилась в пахучую теплую мякоть, с картошкой и луком, и мгновенно съела пирог. Хозяйка протянула другой пирог, с гречневой кашей.

– А вот это твоей маме, – сказала она, протягивая мне еще два пирога.

Однажды нам дали несколько яиц. Я их, по обыкновению, положила в карман шубки и, забыв, всунула руку в карман и раздавила одно яйцо. Я заплакала горько и безутешно. Раздавить яйцо, которое необходимо маме! Бабушка отнеслась к этому очень спокойно.

– Ничего страшного, – сказала она. – Иди к речке, помой руки. Ты ведь только одно раздавила?

– Одно, – плакала я.

– Иди, помой руки, а я здесь посижу. – Она опустилась на траву, положила рядом палку и вытянула ноги. Я пошла по траве, прислушиваясь, как бурлит вода. Была поздняя весна 43-го года, солнце сильно пригревало, и я впервые после маминой болезни

ощутила радость. Я медленно, не спеша, наклонилась над ручейком, отмыла руки от скользкого липкого белка, потом осторожно выложила оставшиеся три яйца на траву, помыла их, потом отмыла весь карман.

Как только мама смогла передвигаться, мы сразу же ушли в Крупец. Но до этого предстояло пережить нам запрет ходить в хозяйскую уборную, что во дворе. Она нас отсылала на выгон в поле, расстилавшемся перед нашим окном и тянувшемся до маленькой речушки.

– Чем они тебе мешают? – спрашивали соседи.

– А городское говно отличается от деревенского, – отвечала она. – Сразу узнаю.

Мама, шатаясь, держась за мое плечо, виновато улыбаясь, шла через поле к речке. После болезни она мне казалась очень высокой. Худая, еле держащаяся на ногах, она несколько раз садилась на траву передохнуть.

– Целый поход, – сказала мама, когда, спустившись по оранжевому глиняному косогору, мы в первый раз дошли до речки.

Скандалы с хозяйкой следовали один за другим. И после каждого скандала мама вынимала что-нибудь из нашего мешка и отдавала хозяйкиным детям, их было пять душ. Особенно мне запомнились черные блестящие Вовкины ботики.

– Зачем ты это делаешь? – возмущалась тетя Леля. – А в чем Вовочка будет ходить?

– Не могу слышать этого крика.

Ну а потом был страшный скандал, и устроил его фельдшер. Я даже думала, что будет драка. Хозяйка потребовала, чтобы мы перед уходом побелили хату и сени. Тетя Леля наотрез отказалась. Мама выдвинула стол на середину сеней, влезла на него и стала белить потолок. Хозяйка смотрела снизу вверх на маму, сложив на груди руки. Потом открыла настежь дверь во двор.

– Скорее высохнет, – сказала она.

Окно в комнате, за которое шла так долго битва, тоже было открыто. Ветер гулял по сеням, и в этом синем весеннем потоке стояла на столе белая, шатающаяся мама и, вытянувшись, белила потолок. Внизу расхаживала хозяйка. В таком положении и застал маму фельдшер.

Фельдшер закричал страшно:

– Сошли с ума! Самое страшное – сквозняк! Тебе жаль, что она не умерла? Хочешь добить?

Он кричал на маму, на хозяйку. Крича, он протянул маме руку и помог слезть со стола. На этом ремонт хаты был

прекращен. На следующий день мы ушли в Крупец, ходу до которого было километра 3–4.

Сил идти не было. Поэтому, выбрав дом покрепче, второй или третий у края села, мы постучались. Нас впустили всех семерых и сразу.

Хозяин и хозяйка. Не помню, почему хозяин не был на фронте. Это были редкие по доброте люди. И ничем мы их не отблагодарили. Все, что было, осталось в Поспешевке.

В 1973 году, когда мы приезжали в Рыльск, свернув с «хрущевки» (так называется бетонка между шоссе Москва – Симферополь и Ленинград – Одесса, проложенная в свое время через родину Н. С. Хрущева, деревню Хомутовка), мы поехали из Льгова до Крупца (25 километров по шоссе), а потом еще 25 километров до Рыльска. В Крупце я пошла искать их дом. Ходила, примеривалась. Помню, наискосок от дома, неподалеку, был глубокий глиняный овраг, отделяющий стоявшую на косогоре деревню Ивановское. Примеривалась так и эдак, но постучать в дом не решилась. Я не знала фамилии, не помнила имен. Доброта этих людей осталась неотблагодаренной…

Крупец – это начало возвращения к прошлой жизни. Уже было понятно, что «наши» вот-вот войдут. Мы пили молоко, которое нам ежедневно давала хозяйка; бабушке она каждое утро ставила на стол отдельно кувшинчик топленого молока. Такой был контраст с Поспешевкой.

Мама медленно поправлялась. У нее прядями выпадали волосы.

– Смотри, Ингочка, – говорила мама растерянно, вытягивая целую прядь.

Она лезла, как собака; ее голова походила на голову казака с множеством оселедцев. Потом открылось желудочное расстройство, и мы с ней ходили по краю оврага, отыскивая высокую траву с синенькими цветочками, горькую, как полынь, в народе именуемую крутосером (я узнала и другое название этой травы – черноголовка), потом открылись чирьи, трехглавые, семиглавые, они возникали на спине, на ногах, на руках. Мама ставила компрессы, чирьи нарывали, тряпочки, которые она прикладывала, становились желтыми от гноя. И все же мама поправлялась. Под Троицу мама спустилась в овраг, набрала красной глины и вымазала весь земляной пол в хате, присыпала полынью – полынь помогала от блох. Получился яркий веселый ковер. Это было уже где-то в июне. До освобождения оставалось два с половиной месяца.

Блохи больше донимали, чем вши. За время маминой болезни я совершенно завшивела, но косы отрезать мама не хотела; она

брала огромный, частый деревянный гребень у хозяйки, подстилалась бумага, и начиналось вычесывание вшей.

Село, где мы поселились, было огромным, мы так никогда и не дошли до его конца. В центре был немецкий штаб, двухэтажный каменный дом, он находился неподалеку от моста, переброшенного через овраг, по которому пролегал шлях. По соседству, в богатом доме, выкрашенном красной краской, за высоким забором и настежь открытыми воротами жила красивая девушка Фрося. Она была любовницей какого-то главного немца. Гордо вскинув голову, высоко сидя на двуколке, в зеленой атласной блузке, красной атласной юбке – все было блестяще, ярко и красиво, – она ловко правила лошадьми, выезжая через распахнутые ворота. Мама жалела Фросю.

Почти все время мама просиживала у окна. Хозяин входил со словами:

– Вера, твой опять сидит в луже.

Огромная лужа перед хозяйским домом не просыхала. Вовка, без штанов, в одной рубашонке, сидел посередине лужи; частенько по соседству лежала свинья. Над лужей стоял турник, как Вовка туда вскарабкивался – никто не знал. Вскарабкавшись, он повисал на перекладине, пока кто-нибудь его не снимал. Бывало, руки его разжимались и он плюхался в лужу.

– Вера, твой опять висит на турнике.

Мама вставала от окна, рвала крапиву, что-то в ее движениях мне подсказывало, что она притворяется рассерженной. Она подходила к Вовке, несколько раз стегала его по болтавшимся ногам, он пытался увернуться, дрыгал ногами, отбивался.

По ту сторону оврага, на высоком косогоре, засеянном кукурузой, стояла деревня Ивановское. Деревня выходила на шлях. Однажды кто-то сказал, что немцы в Ивановском забивают скот и что можно получить мясо. Собрав семейный совет, решили идти все.

Мы долго шли вдоль села, спустились в овраг, перешли через мостик, поднялись в гору, пошли по шляху. За полем, на той стороне оврага, виднелась наша хата. Расспрашивая, где бойня, мы приблизились к толпе баб, окружавших некое подобие сцены. На сцене стояло несколько немцев. Один из них держал длинный железный крюк, на котором болтался кусок мяса. Мы стали сбоку от толпы. Немец взмахнул палкой, и кусок мяса, сорвавшись, полетел в толпу. Началась давка. Немцы, стоящие на сцене, хохотали. Опять нанизали кусок мяса на крючок, и опять, размахнувшись, бросили в толпу. Кто-то из них щелкнул фотоаппаратом. Как видно, повторялась история с конфетами. В начале оккупации – конфеты под ноги, в конце – мясо. Круг

замыкался. Но сейчас ненависть была гораздо сильнее. Тогда был ужас перед свершившимся и полное отторжение немцев. Сейчас была ненависть. Ненависть за унижение. Все сплелось в единый клубок: и то, как молодые немецкие солдаты, умываясь над бочкой, громко гогоча, приседая и тужась, специально раскатисто пердели, когда случалось проходить маме или Татке («Нас за людей не считают», – говорила мама). И это, ставшее потом известным – «русиш швайн». И открывание дверей ногой. И вечное требование: «Матка, яйки».

– Нет, – сказала мама и пошла прочь куда-то в сторону.

Тетя Леля молча последовала за ней. А мы – следом за тетей Лелей. Пошли к какой-то знакомой, кажется, бабушкиной. Наверно, именно она сказала про мясо. На улице, около дома, в который мы шли, под большим деревом стоял дощатый стол, за столом на лавке сидело пятеро немцев. Они сидели спиной ко двору и лицом к улице. На столе стояли бутылки, тарелки с едой. Они пьяно галдели.

– Леля, заходить не будем, – только и успела тихо сказать мама, как вдруг один немец, полуголый, в майке, выскочил из-за стола, подхватил меня на руки и потащил за стол. Мама, тетя Леля, Горик и бабушка остановились.

Немец в майке посадил меня на колени и запел. На столе перед ним лежал пистолет. Немец был пьян.

– Как зовут? – наклоняясь ко мне и дыша водкой, спросил он. – Маша? Оля?

– Инга.

– Инга! Инга! Инге! Ингеборг!

Мое имя привело всех в восторг. Тут не было Гурьяна Тихоновича, который всегда утверждал, что от моего имени пахнет псиной.

– Инге! – кричали немцы. – Ингеборг! – Они рвали меня из рук друг друга.

– Она уже большая девочка, – услышала я голос то ли бабушки, то ли тети Лели. Мама застыла.

Какой-то миг мне было лестно их восхищение моим именем, но через секунду я вдруг осознала, что мне безумно страшно от этих пьяных, несоображающих, играющих пистолетом людей. Пьяный немец в расстегнутом мундире, правой рукой схватив со стола пистолет, левой подхватил меня и перетащил к себе на колени. Он, смеясь, вертел пистолетом в разные стороны. Мне казалось, что он прицеливался и в себя, и в меня, и в пустынную улицу. Потом протянул его мне. Пистолет оказался тяжелым, холодным и страшным.

– Нет! – крикнула мама.

Она сделала шаг к столу. Пьяный немец, не обращая внимания, стал показывать мне, как надо прицеливаться. Наступило молчание. Гогот за столом прекратился. Наша группа окаменела.

– Незаряженный, незаряженный, – подбежала хозяйка к немцам.

Кто мог знать, заряженный он или нет? Но хозяйка со смехом выхватила пистолет из моих рук и передала другому немцу, сидевшему на краю лавки. Хозяйка сказала, что мама Инги торопится, им надо возвращаться в Крупец. Женщина в цветастом платье говорила легко и улыбалась, но явно не знала, что делать: то ли продолжать усмирять пьяного немца, то ли бежать без оглядки в дом. Когда наконец пистолет исчез со сцены, мне показалось, что немцы, сидящие за столом, облегченно вздохнули. …А потом немцы стали уходить.

Они шли по шляху, через Ивановское, днем и ночью; ехали на машинах, на танках. Мимо нашего дома никто не шел; от него вела дорога, даже не проселочная дорога, а, скорее, тропинка в поле, и дальше, в Поспешевку. Радость, нетерпение, даже, я бы сказала, физическое облегчение испытывали все. Будто сняли со спины те тюки, которые мы тащили, уходя из Рыльска. В последний вечер нашей оккупации мы все сидели на завалинке и смотрели на опустевший шлях. Стоял уже конец августа. Все вокруг, начиная от поля напротив и кончая тропинкой, убегающей в Поспешевку, все излучало успокоение. И осень пахла весной. Когда солнце уже садилось и уже не только мы, но и вся природа погрузилась в ожидание, по пыльной дорожке со стороны Поспешевки показался велосипедист. Он как-то боком сидел на велосипеде, будто не умещаясь на седле, и его красное потное лицо выражало страдание и страх. Толстый немец, в очках, фельдфебель.

– Наши есть еще в селе? – тормозя, но не слезая с велосипеда, спросил он на ломаном русском. Он казался очень испуганным, как бы не в себе.

Хозяйка махнула в сторону центра.

– Воды, – он приложил руки ко рту и поднял голову, – пить.

Наша хозяйка встала и вынесла ему кружку молока.

– Хлеб? – спросил он.

Хозяйка отрицательно покачала головой. Немец вскочил на велосипед и, со всей силой налегая на педали, скрылся из глаз. Мы весело рассмеялись. Этот немец был последним, которого мы видели. Мы смеялись, сидя на завалинке, и каждый изображал в лицах, как он с трудом жал на педали, как остановился, не слезая с велосипеда, как помчался дальше.

– Бедняга, – смеялись мы, – сидел в Поспешевке, а немцы про него забыли.

Мы смеялись и не могли остановиться, изображая перепуганного немца, промчавшегося под вечер 22 августа мимо нас, мирно сидевших на завалинке.

А ночью меня разбудил Горик:

– Инга, наши пришли.

Я слезла с печи. В хате было совершенно темно и полно каких-то людей. Все говорили шепотом.

– Наши, – шептал Горик.

Я не верила. Я вертелась у двери, мешая входящим.

– Не верю, – шептала я.

Дверь открылась, кто-то, в странном одеянии, вошел в хату и быстро, но не больно, отстранил меня рукой.

– Наши, да смотри – у них звезды. Разведчики. Моя мама им рисует план села. Где немецкий штаб.

Теперь я разглядела, что за столом сидела тетя Леля и что-то чертила, над ней склонилось несколько человек в широких плащах без рукавов. Один светил фонариком прямо на лист бумаги.

Мама одела нас и вывела в огород. Горик даже сопротивлялся немножко, он был страшно горд – его мама рисует план разведчикам!

– Вот сейчас, когда нас освобождают, немцы швырнут гранату в окно, – сказала мама.

Мы стояли в огороде и дрожали от волнения и утреннего холода. Я, не отрываясь, смотрела на хату, ожидая, что вот-вот она взлетит в воздух и запылает.

А потом наш двор оказался передовой линией. И как тогда, в начале войны, мы – мама, Вовка и я – стояли гуськом, затылок в затылок, в узкой щели, сжатые со всех сторон землей, прикрытой досками. Тетя Леля, Горик и Татка были в блиндаже с накатом. Мама отказалась спускаться туда. Ею владела та же мысль, что и прежде: чтобы все и сразу. Где была бабушка, не помню.

Когда бой утих, мы вылезли из щели. Рядом стоял миномет, чуть подальше пулемет, раненых не было.

Как-то было понятно, что это еще не конец, что бой еще будет продолжаться, что стреляют по Ивановской, где окопались немцы. Но все-таки нас успели угостить тушенкой.

Нам повезло. Крупец был взят без боя, а вот деревню Ивановская, куда мы ходили за мясом, брали дважды. Уже спустя несколько дней после освобождения мы вдруг заметили самолет, кружащий над кукурузным полем, по ту сторону оврага. Он кружил и кружил, очень странно. Потом нам рассказали, что в

кукурузе в течение недели прятались два немца; они были худые, черные и совершенно не сопротивлялись, когда их обнаружили.

Вернулись мы в Рыльск уже не к Пелагее, а в пустующий дом Долланских, которые бежали вместе с немцами. Мы поселились на втором этаже, а на первом, где раньше жил Пал Дмитрич, поселились новые жильцы – мать с дочкой. Дочку немцы угоняли в Германию. Татка избежала этой участи лишь благодаря бабушке. Узнав, какого года рождения девушек собираются увозить в Германию, бабушка поспешила к своим знакомым, и они каким-то образом исправили год рождения Татки в ее документе. Это, я помню точно, проделывали дважды. А эта новая девушка, Лена, с дороги бежала, кажется из Польши, и добралась до Рыльска. Мы с любопытством заглядывали в полуподвальное окно. Сидя в комнате, поджав под себя ноги, она перебирала струны на гитаре и тихо пела. Во двор и на улицу она выходила крайне редко.

После возвращения в Рыльск я отходила, как после тяжелой болезни. Спала и ничем не интересовалась, кроме маленькой зеленой травки, под круглыми блестящими листьями которой находились маленькие плотные пупырышки, похожие на маленькие пуговички. Завидя эту травку, я проводила быстро по низу листа рукой, обрывала все пупырышки, набивала ими рот. Голод изводил меня.

В Крупце, слева от моста через овраг (если ехать из Рыльска), на косогоре рядом с кладбищем, нам еще при немцах выделили кусочек земли, чуть больше комнаты. Этот кусочек нам вспахал «Христа ради» (под смущенное причитание тетя Лели «за спасибо, конечно, шубу не сошьешь») один мужик.

– Спасибо, спасибо, – благодарили мы.

Крестьянин не проявлял к нам никакого интереса, он как бы не слышал наших извинений. Он был мрачен и неразговорчив. Окончив пахать, он тут же молча уехал. Мы посадили картошку. Теперь картошку надо было выкопать и привезти. Это было делом мамы и Татки. Они босиком отмахали по шляху 25 километров за 5 часов, переночевали у наших крупецких хозяев, наутро за бутылку самогона тот же мужик выкопал картошку и перенес четыре мешка на шлях. Место было выбрано удачно – когда полуторки тормозили, подъезжая к мосту, шофер успевал увидеть отогнутый отворот маминого пальто и торчащее из-под отворота горлышко бутылки. Ждать попутку пришлось недолго.

Мешки были погружены, мама с Таткой забрались в кузов, где ехало несколько солдат, машин рванула… Все было бы отлично, если бы не два обстоятельства. В какой-то деревне шофер затормозил, солдаты быстро повыпрыгивали из кузова и

направились в хату, где они опустошили мамину бутылку самогона. Мама с Таткой, привстав, с ужасом смотрели, как шофера под руки вели обратно к машине. Первое желание было спрыгнуть и удрать, но мешки… Шофера кое-как усадили на сиденье. Ежесекундно ожидая, что машина вот-вот разобьется, мама с Таткой крепко вцепились в кузов. Но машина ровнехонько, лихо мчалась по шляху. В следующей деревне еще раз затормозили, кто-то перемахнул через борт, выскочил на дорогу и поймал гуся.

Все пошли к нам в гости. Той радости, которую мы испытали при виде наших разведчиков в Крупце, не было. Тетя Леля и мама, волнуясь, щипали гуся, работа не спорилась; «кипятком бы его», говорила тетя Леля, они обе страшно волновались, печка не растапливалась. Как зажарить гуся, было непонятно, чем кормить гостей – тоже. Экипаж навеселе сидел в комнате.

– Татку к подруге, – шептала тетя Леля, – детей и маму – за стол.

И вот началось пиршество в нашей темной комнате, с заложенным кирпичом окном. Посередине стола стоял каганец. Кучка сильно подвыпивших военных, мама, тетя Леля, бабушка и мы трое в конце стола. От такого большого гуся нам ничего не осталось. Ничего? Ничего.

– Все солдатам, – говорила тихо тетя Леля, – им еще воевать.

А потом тетя Леля сказала, что детям пора спать. Как мы размещались в ту ночь, в наших двух комнатах? Кажется, открыли комнаты на половину Долланских…

Мы ждали папу. Но вначале появился дядя Гриша.

Дядя Гриша был в новой форме, с погонами старшего лейтенанта, с палочкой. Он был тяжело ранен, долго лежал в госпитале в Свердовске, хотели ампутировать ногу, он не согласился, терпел адские муки, но ногу отстоял. Он был на Курской дуге, и как только освободили Рыльск, ему дали отпуск на три дня.

Как всегда полный веселых историй, он внезапно появился во дворе Долланских вместе со своим другом Борисом Рощиновским, который, завидя семнадцатилетнюю Лену с первого этажа, принял ее за маму и воскликнул радостно:

– Верочка!

Маме было неприятно: «Что ж он думал? Что я все еще такая же молодая?» Маме тогда было сорок лет.

Мы с Гориком повели дядю Гришу в сад (куда нам, кстати, ходить запрещалось – мама боялась мин), где еще недавно Иза и Ляля слушали в обществе немцев курских соловьев, и указали ему на железку, напоминавшую часть от автомата.

– Вот мина, – сказал Горик не очень уверенно.

Не то чтобы мы были твердо уверены, что это мина, мы чуть-чуть играли, но всегда понижали голос, проходя мимо этой железки, наполовину скрытой в высокой траве. «Мина», – шептали мы.

– Это мина?

Дядя Гриша поддел ее ногой, мы сжались от страха, а он подкинул ее и швырнул далеко в траву.

Дядя Гриша пробыл у нас три дня. Приезд его был как наглядное отпущение грехов – хотя часть большой курдюмовской семьи застряла в оккупации, другие, как и все, воевали на фронте. От дяди Гриши мы впервые узнали, что дядя Слава был под Сталинградом, воевал на Курской дуге и сейчас тоже где-то неподалеку. Дядя Жоржик вместе со своим институтом – в Магнитогорске и за разработку брони для танков удостоен премии Наркомата танковой промышленности. Забегая вперед, скажу, что дядя Слава, пройдя всю войну сапером (только в конце войны его взяли в полковой оркестр), один из всего батальона остался в живых, он не был даже ранен. Спасла дядю Славу, я думаю, ладанка с мощами, которую повесила ему на шею бабушка еще в Ленинграде, да дедушкина молитва.

Спустя несколько дней после нашего возвращения в Рыльск нам стали приносить открытки от папы. Так случилось, что первой получила открытку я, вторую мама.

Сентябрь 1943,

Курская область, город Рыльск, улица Карла Либкнехта, дом 20. Мицовой Инге (9,5 лет, эвакуирована из Ленинграда летом 1941 года).

Узбекская ССР, город Самарканд, почтамт, до востребования, Мицов З. В.

Дорогая моя дочка. Ты мне писала еще в 1941 году, что тебе очень скучно и хотела приехать в Ленинград и поступить в школу. Я, родная моя Ингочка, два года уже как ужасно скучаю без вас. Теперь, когда Красная армия прогнала фашистов, мы встретимся снова. Я живу в Средней Азии, в городе Самарканде. Здесь наша академия. Здесь Инесса (дядя Андрей умер), Игорь (Толя умер), Ляля, Боря и многие твои знакомые. Когда наладится у вас в Рыльске, тогда вы приедете сюда. Я буду здесь до января месяца. Напиши мне, как ты слушаешь маму. Целую тебя, а ты поцелуй от меня Вову, маму и всех там. Папа.

1.9. Здравствуй, дорогая Вера. После получения последнего твоего письма от 29 сентября 1941 г. я вылетел из Ленинграда

27.11.41. (эвакуировался с академией) в надежде, что найду вас. Однако все попытки в течение года (42-го) остались напрасными. Теперь я в Самарканде. Здесь академия. Мой адрес – Узбекская ССР, г. Самарканд, до востребования. Жоржик и все его окружение в Магнитогорске (Анна Александровна умерла). Их адрес – Магнитогорск… Пиши немедленно мне. Целую всех вас. Здравко.

Папа, конечно, стал забываться, и моя семья была уже мама, тетя Леля, Горик, бабушка.

Но теперь начиналась новая жизнь. Два года мы жили как на льдине в открытом море, нам грозила смерть, мы не знали срока заключения, не надеялись вернуться в гавань. Два года России не было, весь мир – один Рыльск, вокруг немцы. И вдруг передо мной открылся необъятный простор Родины. Это не красивые слова, именно так ощущалось мной освобождение: передо мной лежала моя страна. Трудно описать, как действует необъятный простор на сознание. Одно время я жила в Латвии, и меня страшно раздражал узкий, ограниченный взгляд многих латышей; мне казалось, они не хотели знать о существовании никакого мира, кроме своего. Я как-то попыталась поставить себя на их место. Я мысленно провела границу, отделяющую Латвию, и вообразила себя латышкой. Эффект получился неожиданный: я сразу почувствовала, как сознание сузилось до границ страны, как стали осторожны движения, как взвешенны слова; как мысли и поступки, не знавшие границ, вдруг свернулись, замкнулось что-то в груди, притихло сердце. Что-то, неподвластное разуму, заставляет нас постоянно помнить о бескрайних просторах нашей Родины. Она бесконечна, значит, бесконечно и время, и с жизнью можно шутить, и можно ничего не делать… Наша широта, отсутствие мелочности, лень, расхлябанность – все это от бескрайних просторов нашей Родины.

Тогда, осенью 1943-го, сбросив оккупацию, на меня хлынула огромная страна, хлынула как море, как нескончаемый порыв ветра. Бескрайная Россия лежала перед нами, и в этой России нас ждал папа.

1.10.43. Дорогие мои Инга, Вова, Вера, бабушка Оля, Леля, Тата и Горик.

Как я рад, что узнал о вас…

Последнее письмо, Верочка, которое получил от тебя, – от 30 сентября (скорее – 29-го) 41-го. Гришино письмо вместе с вашими ответами я получил 30 сентября 43-го. Т. е. два года я ничего не знал о вас. В этот же день – 30 сентября – я послал тебе телеграмму, поздравляя тебя с именинами. Последние твои письма

от конца сентября 41-го меня привели в отчаяние. Только в октябре я понял, что мы можем расстаться. И тогда я ходил по пустой нашей квартире и ревел, как зверь в клетке. В сентябре месяце, когда видел, что немцы приближаются к вам, я попросился у начальника академии поехать к вам и вывезти вас, ибо убедился, что райвоенкомат ничего не сделает. Однако, мотивируясь блокадой, меня не пустили, несмотря на то, что обещал пробраться через блокаду туда и обратно. Академия долго эвакуировалась. Я уехал в предпоследний день.

27. 11. 41. …Напишите мне: что вам нужно, чтобы уехать оттуда. Пропуск на выезд из Рыльска и пропуск на въезд в Самарканд должны дать вам в Рыльске. Если для этого вам нужно отношение от академии, пишите. Основное – это ваше согласие. Я смогу приехать за вами лишь в январе. Очень много работы здесь. Целую всех. Здравко.

Но вскоре тон папиных писем меняется. Объяснение причин этой перемены придет много-много позже.

Дорогая Вера, я убедился, что всего не напишешь, что лучше договориться о том, как быть дальше… Описывать тебе здешнюю жизнь не стану. Отмечу только то, что нужно будет тебе для ориентации и принятия решения… Домики здесь маленькие, полы сырые, освещение коптилками (каганцами), трамваев нет, есть только ишаки (ослы) и верблюды. Город порядочный, все пешком надо ходить по базарам. Нам дают умеренный натуральный паек по тыловой норме (уменьшенный). Из постели и пр. вещей здесь ничего нет. Из Ленинграда вывез свое зеленое одеяло, маленькую Ингину подушечку и себя в летнем обмундировании зимой. Здесь получил кое-что. Но это пустяки. Все дают мне хозяева. Плачу за комнату 200 руб. в месяц. Посуды у меня нет. Топлива здесь почти нет. Если готовят дома, то тратят по 20 руб. в день на топливо. Изредка, раза два в год, нам дают по 100 кг угля – и все. Женщины в академии только то и знают, что ходить по базарам и готовить…

Мама читала эти строчки осенью 43-го и, конечно, ясно, как я сейчас, осознавала: папа не хочет, чтобы мы ехали в Самарканд. Какое имеет значение, что нет трамваев и надо ходить пешком? Что освещение каганцами? А папа, написав эти строки, вдруг спохватывается на минуту и пишет: «Русских школ здесь много, так что Инга может учиться. В отношении быта здесь можно все-таки устроиться…» Но, поставив точку, продолжает пугать:

Меня беспокоят климат и инфекции. Я вроде южный человек – и то с трудом выдерживаю здесь. Летом убийственная жара, зимой пронизывающая сырость (дожди), сырость на улице, сырость дома, на работе, сырость днем и ночью. С другой стороны – самые разнообразные инфекции, которых мы не знаем. На здешнем кладбище много академических могил. Жена профессора Воячека, сам профессор Волжанский, преподаватели, слушатели, иждивенцы. Слякоть непролазная с ноября по апрель, а с апреля по октябрь – сухость и пыль.

Задумывается, перечитывает написанное и продолжает:

Этим я не хочу сказать, что вы не должны приехать, нет, я хочу, чтобы вы знали условия быта здесь. Да и климат ничего. Приезжают же с севера люди, только они страшно здесь худеют и долго хворают, никто не знает, от чего. Дело не в этом…

И опять сидит опустив голову… Вдруг спохватывается – да вот же главное!

Дело в том, что мы до сих пор занимались по военной программе, а академия летом перестроилась и начала занятия по мирно-временной программе. Это значит, что в декабре кончается последний курс и там будет перерыв на полтора-два года. Но так как война идет и врачи нужны, то нас не будут держать здесь, а отправят на фронт. Или куда нужно. Вот тогда-то и будет плохо. Потому что если уезжает академия, то последняя не оказывает помощь иждивенцам. Но и это ничего, ибо я вам оставлю аттестат, но дело в том, что оставлять вас в Средней Азии без меня мне совсем не хочется.

И вот, наконец, предложение:

Теперь так: если вам остаться в Рыльске, то я смогу попробовать сам приехать из Самарканда на месяц. Если решите ехать сюда, то напишите, сможете ли сами, какие документы для этого. На кафедре из Ленинграда работают здесь Карпенко, Любовь Иосифовна и Элла. Савицкий со своею семьей здесь. Целуй ребят. Очень хочу их видеть. Пиши скорее решение. Целую всех. Здравко.

И еще об этом же:

13.11. 43. Дорогая Вера, …Жоржик советует мне решить вопрос о вашем пребывании на месте, т. е. в Рыльске. И если меня не будет в Самарканде после января, то вас сюда не брать. Я сам

теряюсь и не знаю, что решить. Лучшие наши знакомые советуют мне не везти вас сюда, в город наивысшей инфекции, да еще и по дороге. А с другой стороны – они все уверены, что в апреле будут в Ленинграде.

Папа очень осторожно описывает положение вещей. Действительно – разумнее всего не ехать в Самарканд, дождаться его приезда на месяц, а потом поехать прямо в Ленинград, куда уже будет реэвакуирована академия. Но мама?! Ей даже в голову не может прийти принять такой разумный вариант. После всего пережитого, после освобождения ждать, опять ждать, потом – приезд папы на месяц, и опять ждать? Нет, мама не хочет этого.

9.12. 1943. Дорогая Вера. Получил два твоих заказных и очень сердитых письма. Причиной этой сердитости, я считаю, является недоразумение, скорее – неполучение половины, а может, и больше, моих писем. Ваши письма, по-видимому, лучше доходят, чем мои. В тот же день, как только получил первое извещение, что вы живы, т. е. письмо Гриши, Инги и твое, я пошел к Савицкому, дал ему почитать письма, просил разрешение поехать к вам (1 октября). Однако, хотя он мне посочувствовал и пожелал скорее собраться к вам, он не отпустил, потому что очень много было работы, и обещал, что отпустит после окончания ее, т. е. в начале января. Тогда я и написал вам, что выеду в середине января и буду у вас в начале февраля…. В субботу 4 декабря поздно вечером кончил экзамены, пошел провожать Савицкого и напомнил ему, что мне пора ехать. Он сказал – подать рапорт ему. В понедельник я подал, во вторник, 7-го, рапорт был у Фирсова (он остался за начальника, потому что тот уехал в Москву). Так, видишь ли, теперь Фирсов не отпускает и говорит, что нужно запросить Москву. Какую он Москву будет запрашивать, я не знаю. И не было такого случая, чтобы запрашивали Москву насчет командировки какого-нибудь преподавателя. Что они хотят делать со мной, я не знаю. Но факт один – я не могу ни посылать вам чего-нибудь, ни регулярно письма получать. Подожду, когда этот мифический ответ прибудет, и тогда попрошу разрешить мне выслать вам документы и деньги, чтобы сами приехали. (Некоторые мне говорят, что вся эта моя задержка Фирсовым – это проделки Савицкого.) Вот как обстоит дело. А я так хотел справлять Новый год с вами вместе. И я начинаю бояться, что твои предвидения смогут сбыться и меня могут угнать куда-нибудь. И я детей не увижу. Мне, конечно, все это тяжело и переношу это с болью. Сердце уже снова начало усиленно болеть, бессонница, глаз прыгает и т. д…

…Я вспомнил, что получилось с Андреем (Лукановым – И.М.). По дороге из Ленинграда в Самарканд многим разрешили

отклониться от эшелона, поехать за своими на Урал, Волгу и т. п. и привезти их в Самарканд. Андрей тоже просил, однако ему не разрешили, потому что много работы будет в Самарканде. Гирголав (Гирголав – зав. кафедрой госпитальной хирургии, заместитель главного хирурга фронта. – И.М.) остался в Москве. Когда приехали сюда, Андрей наладил все и попросился опять к своим. Подержали его с месяц и затем, когда он пролежал в клинике, совсем больным разрешили ему ехать. Ему не хотелось тогда, какое-то предчувствие у него было. Советовался со мной. Я видел, что Аня барствует и не хочет ехать одна в Самарканд (а потом смогла), что Андрей боится заболевания, и предложил, чтобы я съездил вместо него. Он не согласился и поехал. И когда сошел с поезда, не стал дожидаться транспорта, пошел пешком и в одной деревне упал и тут же умер. Ты очень интересуешься Аней. Я ей не интересуюсь никак. Могут меня осуждать все за это, но это так. Эта дура, когда я вернулся с фронта (осенью 42-го) и застал ее в Самарканде, стала мне говорить, что вы не живы, убиты, умерли с голода, что я вас больше не увижу и пр. Ну, я и плюнул и решил не знать ее больше. Вот и все. Целую всех вас. Здравко.

Мама как бы оцепенела от ожидания. Прошло всего четыре месяца, как она несколько окрепла и смогла, пошатываясь, пройти километра три-четыре от Поспешевки до Крупца. Прошло всего каких-то два месяца с тех пор, когда, сидя у окна в хате, она говорила мне: «Ингочка, лезу, как собака», – и вытягивала из головы клок волос. В Рыльске волосы мягкие, как шелк, редкие, но уже пробиваются новые, темные. Позже, рассматривая фотографию того времени, мама удивлялась: «Ингочка, смотри, ни одного седого волоса, а тогда казалось – старуха». В Рыльске утихли чирьи, но мама была изможденная, и только широкая кость, прямая спина, широкие плечи не давали возможность понять, до чего же она худа. Лицо с углубившимися морщинами над переносицей, бледность, печать страданий на лице…

Отвыкла ли мама от папы? Не знаю. Наверное. Но я помню, что самое дорогое было – папина карточка, обрезанная по самую шею, папина гимнастерка, при немцах зашитая и теперь вытащенная из подушки. Мама продолжала любить, и ей, как и мне, не приходило в голову, что папа может не приехать за нами. Худенькая мама всю войну была как бы бесплотной. Но если в начале войны она то ходила с Таткой по полям, подбирая картошку, фасоль, то продавала что-то на базаре, после освобождения, мне кажется, вся ее сила уходила на ожидание письма от папы, на ожидание его приезда.

Мама не плакала. Потерянная, она часто сидела на тахте, а может на кровати, и читала, перечитывала папины письма. Они не были похожи ни на те, что папа писал из Ленинграда, после выхода из тюрьмы, ни на те, что папа писал в начале войны. Они были чужими.

Тогда мне даже в голову не могло прийти, что папа не приедет за нами. А сейчас я считаю – с марта 38-го года, когда папа был арестован, по март 44-го, когда папа приехал за нами в Рыльск, родители прожили вместе всего один год – с конца марта 40-го до мая 41-го. Один год за шесть лет!

Беспокойство, обида, ревность и злость изводили маму. Конечно, письма читала и тетя Леля, может, и бабушка. И у всех, у мамы, наверное, тоже, возникало предположение – а нет ли у Здравко другой женщины? Тогда у нас в семье появилось новое слово – ППЖ: полевая походная жена, обидно звучащее, несправедливое, но сложившееся в утешение оставленным и брошенным.

Мама пыталась придать уют нашему новому помещению – из колоды, что в сарае у Зои Тихоновны, был вытащен тети Лели ковер, им занавесили дверь на другую половину дома. Откуда-то появились высокий, резной, до потолка буфет – то ли тети-Лелин, то ли брошенный Долланскими, большой стол. Я помню хорошо только эту первую комнату, с заложенным кирпичом окном. Там всегда было темно. Горел каганец.

Но так и остались – семь кроватей, покрытых разным тряпьем. Я совершенно не помню, где же они стояли. Странно – я помню отчетливо все расположение в доме Пелагеи, Зои Тихоновны, в Поспешевке, в Крупце, но не помню размещение у Долланских, не помню соседей. Да и были ли они, кроме той мамы с дочкой? Пока не настала зима, я все время искала траву с пупырышками. Ими я набивала живот. Голод мучил очень.

Трудно представить, что стало с маминой красотой, но все же знаю, что не тете Леле, а маме сострадали те редкие мужчины, которые появлялись у нас в доме, – Пал Дмитриевич, фельдшер, тот немец, что понес наши вещи… И еще попутчик, военный, который ехал с нами в купе, по дороге в Самарканд.

Был страшный вечер накануне 7 ноября. Жуткий, черный, давящий ужасом. Только что принесли весть, что Киев опять взят немцами. Ощущение, что все рухнуло, еще более придавало мрачность этому ноябрьскому вечеру. А еще днем мы готовились к «утреннику», организованному военкоматом, и гадали, какие будут подарки. Несмотря на поздний час, мы с мамой («только вместе, только вместе») торопимся в военкомат за новостями. Известие, что немцы окрепли и опять возвращаются, лежит такой

тяжкой ношей, таким бременем, что ничего, кроме сугробов и темной улицы, я не вижу. Страх, отчаяние – все начинается заново. И вдруг песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война…

По дороге идут солдаты, колонна за колонной. У меня от их голосов и свиста – восторг, мурашки под рукавом шубы, по спине, и чувствую я, как горят мои глаза. Я встаю на цыпочки, чтобы видеть из-за сугробов быстро шагающих солдат.

– Не высовывайся, – говорит мама, она быстро тащит меня по улице за руку.

А из снежной темноты несется мощный призыв:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!

Спустя сорок с лишним лет папа вспоминает:

«Нагруженный разными подарками, я в марте 44-го прибыл к семье. При встрече наши чувства были такие, как будто мы снова родились. Первый член моей семьи, которого я увидел, был мой 5-летний сын Володя. Он, однако, меня не узнал. Я не отчаялся, так как дочка моя прибежала и, радуясь, громко повторяла своему брату: “Вова, это папа, папа это”. Затем мои дети с радостью прогуливались со мной по улицам, рассказывали, как немцы бомбили, как держали в городской тюрьме, как их разбрасывали по соседним деревням и с какой радостью они встречали освободителей. В апреле сорок четвертого моя семья уже была в Самарканде».

Когда стало ясно, что папа едет в Рыльск и мы все-таки уезжаем, тетя Леля как-то крикнула маме:

– Вера! Не смей так чистить картошку! Ты вместе с кожурой срезаешь половину картошки. Надо скоблить, как я. Ты-то уедешь, а нам еще всю зиму жить!

Накануне папиного приезда тетя Леля опять в чем-то обвинила маму, и мама вдруг кинула в сестру пирожком. Они стояли в темной комнате, освещенной каганцом, и кидали через

стол друг в друга пирожки.

Тетя Леля оставалась опять одна с двумя детьми, без папиного аттестата, без дров, без работы, женой «врага народа, осужденного на десять лет без права переписки». Бабушка еще раньше, кажется в январе, по вызову дяди Жоржика перебралась в Москву, где он находился в то время, а потом вместе с ним в Магнитогорск.

Появления папы совершенно не помню. Помню, мы сидим все вокруг стола в большой светлой комнате, открытой по случаю приезда папы. Тетя Леля вытопила печь ранним утром. Сварила суп. У нас невиданное благоденствие: вот уже несколько месяцев на завтрак вместо кружки кипятка, кусочка хлеба с зубчиком чеснока – картофельный суп. И тетя Леля с гордостью ставит тарелку перед папой. А папа, попробовав, отодвигает от себя тарелку.

– Инга, Горик, посмотрите подарок.

Мы с Гориком стоим затаив дыхание. Папа медленно вынимает из сумки спичечный коробок. Открывает и выкладывает скрюченное, сухое тельце, что-то вроде сухого кузнечика.

– Это скорпион, – говорит папа, – когда скорпион попадает в безвыходное положение (кольцо горящего шпагата), он изворачивается и сам себя жалит в голову.

Я разочарована. Ну что это за подарок? Кроме странных подарков – засушенного скорпиона в спичечной коробке, сумки, полной маленькими фиолетовыми химическими карандашами, отточенными с двух сторон, – папа привез два желтых верблюжьих одеяла, толстых, теплых и колючих. Два желтых одеяла и по сей день у меня. Они стали тоньше, но не перестали быть колючими, служат, напоминая мне о солнечном лете в Самарканде. На них даже кое-где уцелели белые большие пуговицы, пришитые мамой, чтобы пристегивать пододеяльник.

Мама покорно ходит на базар торговать карандашами. Никто не покупает? Папа не верит – ведь после оккупации писать-то нечем!

– Один подошел, сломал пополам – а там пусто, – говорит мама.

Потом долго эти карандаши будут валяться по нашим многочисленным домам, оседая в каждом городе в помойных ведрах, они даже доберутся до Болгарии и какое-то время будут попадаться на глаза, неожиданно выкатываясь откуда-то, напоминая Рыльск.

Мама растеряна. Одно дело продавать вещи, когда немцы, другое – когда приехал муж, майор. Да, папа за время войны изменился.

В мартовский вечер 44-го года темная комната с окном, заложенным еще осенью кирпичом для тепла, освещена каганцом. Папа полулежит, прислонившись спиной к ковру, закрывающему вход на вторую половину дома. Ворот гимнастерки расстегнут, вместо привычных шпал, ко всеобщему удивлению, – погоны. Еще не забыто ни мамой, ни тетей Лелей выражение «золотопогонная сволочь». Папины длинные ноги уходят в темноту под стол. Я рядом с папой, время от времени поднимаю глаза и рассматриваю его. Вид у папы отсутствующий, он поет неизвестную нам песню: «Темная ночь, только пули свистят по степи…»

Мы все притихли, слушаем. Он о чем-то думает, не кажется веселым, я это чувствую. За «Темной ночью» – «Землянка». Неизвестные нам песни, которые сложились, когда мы жили под немцем.

Днем папа ведет меня с Гориком на мельницу – наконец сбылась моя долголетняя мечта. Но, как и все последующие долгие ожидания, мечта не оправдывает себя. Ничего интересного, голый огромный амбар и два камня.

– Жернова, – говорит папа. – Так устроены мельницы: два круга – жернова, между ними крупа. В Самарканде я сам смастерил такую мельницу. Ты ела мамалыгу? Очень вкусная каша.

Я молчу. Отвыкла от папы. Я думаю, что это опять что-то вроде синих карандашей – дешево и противно.

Мы едем в Самарканд. Помню вечер. Темную платформу. Носильщик везет наш скарб. Какие-то тюки. Папа быстро идет впереди, мы за ним. Мы боимся потеряться. Мама тянет за руку Вовку, носильщик спешит где-то сзади. Вдруг папа оборачивается, я вижу злое лицо.

– Ты что? – кричит он маме. – Иди сзади носильщика! Он только это и ждет, вывернет сейчас тележку и все попадает вниз на рельсы! Иди-свищи! Это же разбойники!

Он кричит, ничуть не стесняясь ни идущих мимо в темноте людей, ни самого носильщика. Мама в растерянности оборачивается, носильщик молча перегоняет нас и теперь идет впереди. Я съеживаюсь, мне стыдно.

В Москве я сваливаюсь на чьей-то кровати – и мгновенно засыпаю. Сквозь сон слышу, как кто-то все время играет начало песни: «Широка страна моя родная», и опять – «Широка страна моя родная». Подбирает мелодию, думаю я. И вдруг взрывы.

– Салют! – кричит папа. – Инга, салют!

Я протираю глаза и вижу сказочное зрелище – за крышами домов взметаются яркие разноцветнее огни. Салют!

– Первый салют был, когда освободили Орел, – говорит папа.

На следующий день мы останавливаемся у старинной маминой подруги, о которой я уже писала, у Нади Михеевой. Тогда жизнь только начиналась. Она помнила маму красавицей, независимой и гордой. Теперь мама – истощенная, измотанная, оборванная, из провинции, а Надя – жена профессора Михеева, который вот-вот станет академиком. Папа требует, кричит, заставляет маму позвонить Наде – нам негде ночевать.

– Я не могу, – говорит мама, и лицо ее кривится от боли.

– Звони!

– Здравко, я не могу. Мы так давно не виделись, что я ей скажу?

– Скажешь то, что есть, – грубо говорит папа. – Звони!

И мама с трудом входит в телефонную будку, набирает номер… Нагруженные тюками, мы входим в светлый подъезд. По лестнице навстречу нам легко спускается девушка в широком пальто, на светлых кудряшках – шляпка. Папа, молодой, подтянутый, в новой форме с погонами майора, распахивает перед ней парадное. Девушка промелькнула мимо, не взглянув на нас. И мама заплакала. Она прислонилась к стене в парадном незнакомого дома, в старом вылинявшем пальто, платок сполз на глаза.

– Будто ничего не было… будто ничего не было, – повторяла мама, упираясь лицом в стену.

Мы останавливаемся в роскошной квартире, где много комнат, есть домработница, есть некая Иринка, которая учится в десятом классе, которую мама помнит кривоногой («ноги колесом»), болеющей рахитом, а теперь это стройная, красивая девушка. Но главное – в квартире есть пианино. На половину хозяев нам ходить с Вовкой нельзя. Но вот все расходятся по делам, и мы остаемся в огромной квартире одни. Я, конечно, открываю дверь в большую комнату, замираю на миг от великолепия и подхожу к пианино. Открываю осторожно крышку, белые и черные мерцающие клавиши оказывают магическое действие. Я играю, играю что-то двумя руками, бегая по всей клавиатуре, беря немыслимые аккорды, меняя ритм… Наконец открывается дверь и просовывается голова домработницы – она пришла и что-то делает на кухне.

– Это ты играешь? – удивленно спрашивает она.

Я пугаюсь, опускаю крышку пианино, но она ведет себя, будто ничего особенного не происходит.

– Я думала, это Ириша уже вернулась из школы и занимается.

«Вот как», – думаю я. Я пробираюсь в отведенную нам комнату и жду наказания. Но его нет.

Мы, конечно, сильно одичали за время войны. Папа и мама, в

который уже раз, начинают жить с нуля. Идет привыкание.

Библейской картиной – я на ишаке, сзади узлы, сбоку семейство – папа, мама и Вовка – мы въехали в Самарканд. Скорее, вплыли. Солнечный теплый воздух расступался с каждым шагом ишака, пропуская меня в этот прекрасный, добрый, спокойный мир. Ощущение бесконечности, надежности, уверенности, покоя и тепла было счастьем. Я не видела ни мазанок, на которые указывал папа, ни мутных арыков, ни девочек с множеством косичек, ни толстых узбеков в стеганых халатах и чалмах, сидящих в чайханах. Я не видела ничего. Это было райское ничто. Папа шел рядом, придерживая меня, ишак покачивался подо мной, щедро светило солнце, благостное тепло окружало меня.

В Самарканде у меня образовалась моя семья – я почувствовала свою значимость. В Рыльске я не чувствовала любви, предназначенной лично мне; там было общежитие, все дети общие, и мама дружила с Таткой. В Самарканде я – личность. Папа со мной ходит по городу, показывает Регистан.

– Смотри, Ингуся, – красный мак на крыше.

Яркий мак, стоящий на крыше чего-то голубовато-сине-зеленого, блестящего, с разноцветными украшениями, с цветными витыми колоннами, поражает меня. Возможно, оттуда потом возникнет любовь к персидским миниатюрам, а еще позже – трепет перед старинной русской миниатюрой. Одно время это казалось куда более красивым, чем обычные картины… Мелкие разноцветные орнаменты, замершие в странных позах люди, странные пейзажи…

…В конце восьмидесятых, лежа на берегу Каспийского моря, куда мы приехали вместе с мужем и внучкой на конференцию, я вдруг увидела на уровне глаз чуть колыхавшиеся тонкие стебельки зеленоватой высохшей травы, сквозь которые просвечивало сверкающее синее море, – и узнала ту сине-зеленую сверкающую мозаику на стенах Регистана…

– Смотри сюда, Ингуся, – гробница Тимура.

Гробница Тимура. В голове путаница: Тимур – царь? Я уже слышала про него, про Тимура, в обожаемом довоенном фильме – «Тимур и его команда». Да, тогда я бредила Тимуром, но не злым, хромым и жестоким царем, а мальчиком, немногим старше меня, отважным, красивым и справедливым. Папа говорит и про Тамерлана, непонятно, какое отношение Тимур имеет к Тамерлану. Но вопросов не задаю. Мне неинтересно, я разглядываю зеленоватый прозрачный камень, из которого сделано надгробие. Камень светится то ли сам по себе, то ли солнечный луч пронзает его насквозь. Я осторожно протягиваю

руку и провожу по гладкому холодному камню. Разве бывают такие камни? Единственный камень, с которым я до сих пор имела дело, был кремень; совсем непрозрачный, серый, он был притягателен тем, что при ударе в темноте от него летели искры и пахло паровозной гарью…

Мы ходим на речку Сиабку. Холодная вода, быстро бегущая река. Мы не плаваем, не плещемся – мы идем прямо к водопаду, который обрывается мощным потоком вниз. Папа пробирается под леденящей струей, прижимается к каменной стене, покрытой зеленым мхом, и разбрасывает руки в стороны.

– Ингуся, иди сюда! Только мгновение холодно! Тут уже воды нет! – кричит папа.

Он краснеет телом на ярко-зеленом блестящем мху, вода несется над ним сверкающей сплошной синей стеной. Мне хочется к нему.

– Это опасно, могут быть змеи, – говорит мама.

Папа еще больше разбрасывает руки и уже не зовет меня. Я ступаю в холодную, быстро несущуюся воду и болтаю ногами.

Возвращаемся под вечер. Папа, как всегда, спешит. Опаздываем куда-то. И вот опоздали. Но папа своевольничает, разматывает проволоку, открывает запертые ворота, резные, деревянные, и мы попадаем на улицу, одиноко стоящую среди песков. До сих пор не знаю, что это было. То ли сон, то ли сказка из «Тысячи и одной ночи», из «Аладдина с волшебной лампой», а может быть – из Гауфа…

Жутко. Мы идем по тесной улочке, по обеим сторонам которой комнаты. Иногда комнаты закрыты резными дверями. Я заглядываю в прорези, чужая незнакомая красота, красота необычная, невиданная, из сказки – сине-зеленая блестящая мозаика, камень, ореховое дерево узорчатых дверей.

– Не подходи к дверям, могут быть змеи, – говорит мама, пугливо оглядывая мертвую улицу.

Что это было? Брошенный дворец среди песков? Папа, конечно, рассказывает, но я не запоминаю. На узкой улочке, конец которой виден, но также закрыт воротами, сумеречно, солнца не видно, и от этого еще страшнее и таинственнее. Я спешу пройти мимо заколдованных комнат. Страшно еще и потому, что нет никого – папа сам раскрыл запертые ворота, а вдруг поймают? До сих пор не знаю, что это было. (Предполагаю, что это был Шахи-Зинда – ансамбль мавзолеев на склоне городища Афрасиаб, застроенном еще при Тимуре.) Наконец мы выбираемся наружу. Передо мной пустыня – горячий песок.

– А ты не задерживайся на одном месте, – говорит папа, подпрыгивай.

Я подпрыгиваю, но песок жжет ступни. Я со стоном подскакиваю. Это как идти по стерне. В Рыльске шли как-то по жнивью. Я никак не могла приноровиться, чтобы ступить на стерню и не наколоть ноги.

– О-о-о! – стонала я, схватившись за голову и делая очередной шаг.

– Ну-у-у, актриса. – Тетя Леля говорит, посмеиваясь, но чувствую раздражение. – А как же Горик?

Горик? Не знаю, как Горик. Понятия не имею.

А здесь песок обжигает босые ступни.

– Скачи, скачи, быстро перескакивай с одной ноги на другую. Быстро, быстро! Уже недалеко. Вот уже город.

Никакого города.

– А как же Вова? – говорит мама.

Вовка не плачет, идет. Я скачу, как по раскаленной сковородке, не знаю, как идет Вовка, как идут мама и папа, мне больно.

– Не могу, – плачу я, – очень жжет.

И папа берет меня на руки. Теперь я вижу город, он действительно недалеко.

– Она уже большая, – говорит мама, она недовольна.

С тех пор началось тайное соперничество между папой и мамой. Со временем победит мама. Но это будет спустя несколько лет. Пока я – «папина дочка». Так все говорят.

Пока родители живы, дети остаются детьми. После смерти мамы и папы жизнь стала странной: я стала жить «наполовину» – и здесь, и там, куда ушли они. Ведь были только что здесь, на земле, еще их никто не забыл, тот же дом, квартира, мебель… Не может же быть, чтобы родились, жили и исчезли, будто никто не нуждался в них. Кажется, что они продолжают существовать, только невидимо для меня, но видимо для них. Папа и мама видят, слышат, смотрят где-то в другом мире, который более совершенен, поэтому они видят нас, а мы их – нет.

Я долго, очень долго, на протяжении многих лет, ощущаю эту жизнь моих ушедших родителей рядом, словно за сотканным из воздуха забором, в крупную, колеблющуюся клетку. Я иду по улице, чувствую их за этим забором, они продолжают быть рядом, они все знают и видят. Мама на фотографии на протяжении многих лет говорит со мной. Я по ней проверяю свои поступки – иногда мама улыбается, иногда гордится, иногда хмурится… Однажды, когда у меня случился сердечный приступ и мой перепуганный сын Гешка побежал вызывать «скорую», я, свесившись над тазом, почти теряя сознание, случайно задела взглядом мамину фотографию на стене – мама с искаженным

лицом вываливалась из рамки портрета. Что это было? Я никогда не думала, что такое может быть. Оно являлось само, без зова, без молитвы, являлось и становилось рядом… Теперь портрет молчит. Как я ни вглядываюсь – мама улыбается спокойно и однообразно.

Была и история с папиной карточкой. Однажды в муке прижала ее к горлу и так ходила по квартире и выла, а когда потом отняла, увидела на папином горле большое красное пятно. Оно до сих пор просвечивает на фотографии. Что это?

А мамины горящие, обжигающие глаза на портрете, который я нашла в квартире брата в шкафу среди хлама, вытащила и переложила к себе в чемодан, чтобы повесить его у себя в Черноголовке? Я отшатнулась от неожиданности – мамины глаза горели, горели во тьме комнаты…

В Самарканде война для меня кончилась. Я уже не только не знаю, где 1-й или 2-й Белорусский, 1-й или 2-й Украинский фронты, я об этом забыла, как забыла Горика и тетю Лелю. Самарканд – это «Темная ночь».

Коридор школы, в которой располагалась папина кафедра и где мы поселились, солнечный, длинный, по стенам развешаны плакаты, вдоль стен стоят камеры из толстого стекла для опытов на животных (чтобы газ, который будут пробовать на животных, не попал в комнату). Побольше – для собак, поменьше – для кошек, еще меньше – для белых мышей и морских свинок.

Я скольжу по коридору, залитому солнцем, выложенному крупными черно-белыми квадратам. Туда-сюда. Именно тогда со мной произошел первый мистический случай. В ту весну я была необыкновенно счастлива. После двух лет оккупации, голода, холода, темноты все сказочно перевернулось – исчез голод, возникло забытое электричество, забытое кино, забытые фрукты и папа. И все это счастье было щедро залито ярким солнечным светом. И так однажды, только что прокатившись по гладкому полу длинного школьного коридора, я влетела в класс – нашу комнату, пробралась между столами, уставленными камерами, и закрутилась на одной ноге. «Я всегда буду верить в Бога!» – воскликнула я. И внезапно мне в глаза ударили с плаката, висевшего на стене, слова, выделенные красной краской: «Не всегда». Во дворе мама, поодаль от других женщин, на корточках, раздувает мангалку. Саксаул – новое слово: маленькие толстые кривые веточки, на которых можно приготовить обед. Мама не умеет разводить огонь. Это тетя Леля умеет одной спичкой поджечь несколько наколотых ею лучинок и разжечь поленницу из особо разложенных поленьев. Мама не умеет. Весь двор следит, как мама ложится на землю и дует, дует. Мангалка не

разгорается, саксаул не горит. Все смотрят на изможденную маму, на мамино бедное, выцветшее платье, на редкие, растрепанные волосы. Ведь прошло менее года после тяжелейшей болезни, когда волосы выпадали прядями. Все уже обсудили. Теперь наблюдают, сравнивают. Пятки у мамы черные, шершавые, два года ходила по лесам и по полям босиком…

– Ты меня царапаешь своими пятками, – говорит папа ночью, и мама днем сидит и мажет пятки кислым молоком.

…Тоненький голос вьется, плачет где-то под потолком в черном репродукторе, поет народную узбекскую песню. И вдруг я замираю посреди коридора, я даже ухожу в темный угол. Аккомпанемент – чуть тревожный, но уже наполненный предвкушением счастья, и затем спокойный голос Бернеса. «Темная ночь, только пули свистят по степи…» Песня накрывает меня пуховым одеялом, я цепенею, замираю, растворяюсь в заботе, нежности и защите.

Да, «Темная ночь» – это конец войне, это папа, это Самарканд… Фильмы – «Два бойца», «Воздушный извозчик», «Жила-была девочка», «В шесть часов вечера после войны», «Актриса» – они лечат лучше всяких лекарств, они необходимы больше сахара, *кишмиша* и даже хлеба…

Именно благодаря «Темной ночи» и этим фильмам на всю жизнь остро запечатлелось сладко-горькое, мучительное счастье воспоминаний…

В теплой темноте возвращаемся из летнего кино, куда часто ходим. Немного страшно. Рельсы, лежащие на голой, грязной и пустынной дороге, с редкой «кукушкой», остаются где-то далеко. В темноте переходим арык, идем оврагом, в небе висит серебряный диск луны. Мама говорит, что здесь луна совсем не такая, как в Рыльске.

Как-то из темноты выскочил узбек с ножом, гнался за военным, была замешана девушка. Папа рванулся на помощь… мамин крик:

– Не ходи!

Да, в Самарканде для меня война кончилась, о ней напоминает лишь вереница изувеченных мужчин с гармонью, поющих, просящих милостыню в вагоне. Недовольный шепот пассажиров: «Один выходит, другой входит…» Помню услышанное как-то утром: «Опять нашли на рельсах…» Не говорят, кого нашли, но я знаю – одного из тех, со страшно укороченным телом, что передвигаются днем на маленьких деревянных каталках, отталкиваясь от земли руками. Кто-то из них ночью лег на рельсы.

Папа, который устраивал наш быт всегда по примеру своих

учителей-профессоров, сейчас пытается наверстать упущенное. За всю оккупацию прочитано книги две-три, не больше. В Крупце это была «Мать» Горького.

– Неужели что-то понимаешь? – спрашивала мама.

– Все, – отвечала я.

Но мне были понятны только отдельные слова, смысл же ускользал. А Вовка вообще не видел книг. И вот папа читает Вовке Чуковского – новые стихотворения про Бибигона и Васю Васильчикова. Мне они не нравятся. В них как-то все понарошку. Вот в «Мойдодыре», «Федорином горе», «Телефоне» – все настоящее. Но тех книг нет. Папа диктует мне различные тексты, я делаю много ошибок, мне десять лет, а училась я всего два месяца в Рыльске при немцах да два месяца после освобождения. Сижу за столом, папа расхаживает по комнате с книгой в руках, диктует нараспев… За апрель 1944-го, за месяц, я должна пройти программу 2-го класса.

Папа знакомится с братом, ведь из шести лет Вовкиной жизни папа с ним провел лишь год. И брат сразу взрослеет, встает с четвереньек и из малыша превращается в мальчишку. Вовка открывает для себя мир и недаром бережно хранит воспоминания о Самарканде на протяжении всей своей недолгой жизни. За месяц до смерти он едет из Болгарии в Самарканд. Этот город для него – осознанное счастье благополучной жизни вместе с родителями. Самарканд – невиданная доселе счастливая жизнь. В Самарканде для Вовки очень многое – впервые в жизни. Он, в свою очередь, впервые знакомится с папой, впервые не голодает – и невиданные яства сыплются на него: урюк, изюм, а потом персики, виноград. В восторге он дает волю своей проснувшейся энергии – у него полно друзей, они карабкаются на деревья, бегают, играют в войну…

Папа учит Вовку делать жвачку из стеарина. Чтобы окрасить, ее надо жевать вместе с салатным листом. Получается зеленая жвачка. Не то чтобы вкусно или приятно, но все жуют.

Вовка такой же неугомонный, как папа в детстве. Оттачивает бритвой палку – и перерезает себе вену на ноге, шрам остается на всю жизнь. Долго присматривается к машине, приехавшей во двор, для него это тоже впервые. Прокатиться в машине, он понимает, невозможно. Тихо, будто играя, он ложится поодаль на землю, и когда машина трогается, мгновенно цепляется за бампер. Машина тащит его через весь двор, пока он наконец не догадывается разжать руки. У него повреждено лицо, живот – кровавая рана. Шофер молча несет на вытянутых руках Вовку всего в крови. Ноги у шофера трясутся, он бледен, как и мама.

– Не смотрит за ребенком, – шепчут соседи, и в голосах я

слышу презрение. – И чем она занята?

– А если бы машина дала задний ход? – обращаются к маме.

…Вовка надевает маску обезьяны, прячется в листве дерева, которое рядом с калиткой, и караулит папу. Высовывает обезьянью рожу из чащи листьев и стягивает длинной рукой с папы фуражку. Обезьяна скалит зубы, папа в восторге, смеется, хватает брата на руки, высоко подбрасывает… Мне неприятно. Я не умею дружить, не умею лазить по деревьям. Я потеряла Горика, моего единственного преданного друга. Иногда подходят девчонки, спрашивают, для кого это я завила волосы, не для Борьки ли? Он, как-то пробегая мимо, взял меня под руку. Нет, не для Борьки. Они у меня вьются. А почему раньше не вились? Потому что было сухо, они вьются, когда влажно. Девчонки не верят.

Однажды ночью я проснулась от маминого голоса, она уличала папу, говорила о женщине, которую папа любил, говорила про какие-то письма, про то, что она еще в поезде догадалась, когда папа назвал ее Эллой, говорила, что мы сейчас же уедем. Я застыла в постели. Я подслушала чужую тайну, которую не должна была знать. Больше всего мне хотелось, чтобы родители не догадались, что я это слышу. Но отчаянное желание притвориться спящей мешало мне, я крутилась, скрипела сетка, и чем дольше говорила мама, тем больше я крутилась.

– Перестань крутиться, – неожиданно сказала мама, ничуть не стесняясь, что тайна обнаружена, открыта миру.

Это была помеха счастью. Я принимаю папину сторону, не могу слышать его оправдывающийся голос, которому верю, и раздраженный, злой мамин. Сострадания к маме нет, это потом оно заполонит меня и оторвет от папы на много лет, а тогда – мамин злой голос хочет порушить нашу счастливую жизнь.

«Справедливая» – так называл меня папа. «Ингуся, ты ведь справедливая, так скажи», – обращался он ко мне во время ссор с мамой.

Из рассказа Любови Иосифовны:

– Этот период был очень тяжелый. Даже не понимаю, почему папа вас привез в Самарканд. Ведь мы уже были запакованы. Академия начала реэвакуацию. Не знаю, зачем вез сюда.

Как-то утром приходит мама, села и говорит: «Любовь Иосифовна, а где Элла?» Мне стало худо. Я говорю: «Она уехала к сестрам в Ярославскую область». – «Любовь Иосифовна, я все знаю. Мне все сказала Кудрявцева».

Я маме говорю: «Вера Вячеславовна, вы меня выслушайте. Я не в защиту Здравко Васильевича, я желаю добра вашей семье. Что эти бабы принесли на хвосте, извиняюсь, так они под боком

своих мужей – и то не могут уследить. Вы должны знать одно – у вас есть муж и у ваших детей есть отец. Причем не какой-то рядовой, а счастливая находка. Это такой муж и такой отец, который только и думал, как вас найти. Вы хотите меня послушать? Сделайте вид, что вы ничего не знаете…»

Я с ней проговорила, наверное, три часа. Мама была агрессивна. Она ничего не хотела признавать. Ну, она такой человек. И потом, ревность. Она была очень ревнивая. Очень. И очень прямолинейная. «Что вы говорите, Любовь Иосифовна? Я сейчас забираю детей и уезжаю». Я говорю: «Очень вы сделаете хорошо. Очень хорошо. Допустим, вы можете выбирать, хотите вы этого мужа или не хотите. Но дети тут при чем? У вас есть дети. Вы должны прежде всего думать, имеете ли вы право лишать детей отца. У вас ни специальности, ни денег, ничего… Что вы будете делать? Не будьте бабой. Не будьте глупой женщиной. Вы во главу поставьте то, что имеет ценность. Послушайте и поймите, возьмите себя в руки… Вы подумайте, Элла благородно поступила. Она его безумно любит, но, узнав, что нашлась семья, она бросила институт, уехала». Ну, мама была бескомпромиссная. Она не могла стать на место другого. Она сказала: «Ну и что? Если бы она здесь осталась, все равно Здравко был бы с нами. Значит, он этого не захотел». Я продолжала свое: «Понимаю, что он бы не оставил детей и вас, но наряду с этим и она бы была здесь».

В общем, я ее агитировала, агитировала… «Ну, так вы даете мне слово, что не будете устраивать никаких сцен? И вы будете счастливы, и дети будут счастливы. Ну, так вы даете мне слово?» Она мне слово не дала. Ну, потом кончился мой рабочий день и я ушла домой. Я прихожу на следующее утро и уже вижу, что все то, что я ей говорила, это абсолютно никакого значения не имело. Она папе сказала… и сказала… ну, знаешь… Папа пришел мрачный. Он мне ничего не сказал, но спросил: «Любовь Иосифовна, у вас есть немножко спирта?» – «Есть». Ему нужна была разрядка. Он же вообще ни с кем не делился проблемами. Никому ничего, никогда. Как железный ящик. Как сейф.

Маму встретили в Самарканде враждебно, я это чувствовала. Единственный дом, куда ходили мои родители, был дом Любови Иосифовны. Только там и мама и папа чувствовали себя совершенно свободно. Эта маленькая умная женщина, с тонким лицом и добрым благодарным сердцем, понимала трудное папино положение, о котором мама знала только частично. Была Элла, папина лаборантка, с которой папа жил, пока нас не было, но мама не знала, сколько времени это продолжалось, не знала, любил ли Эллу папа. Любовь Иосифовна знала все. Мы

приходили к ней в маленькую комнатку, которую она занимала с сыном Осиком. Осик тут же брал в руки аккордеон и, раздувая мехи, давал мне возможность перебирать клавиши и подбирать мелодии песен. Любовь Иосифовна ставила чай, фрукты. Папа сидел, свободно откинувшись, мама что-то рассказывала. Меня ничего не интересовало, кроме огромного аккордеона. Под конец Осик, усталый, ложился на кровать, ставил аккордеон себе на грудь, а я, стоя на коленях, продолжала нажимать на клавиши.

Однажды нас позвали в гости. Мама не пошла. Ни кто были эти женщины, ни по какому случаю собрались, я не помню. Но помню очень хорошо, что эти порхающие молодые женщины, шумные, на высоких каблуках, мне определенно не понравились. Я сидела рядом с папой и хмуро наблюдала. Помню, как одна, высокая, худая, вертлявая, все поглядывала на папу и, стоя наискосок, поставив тарелку на стол, вдруг запела:

Сама садик я садила, сама буду поливать,
Сама милого любила, сама буду горевать.

Папа подхватил вместе с остальными. Мне не понравилась ни песня, ни то, как ее пели, ни то, что, окончив пение, эта женщина подмигнула папе, будто старому знакомому, а папа согласно кивнул головой и улыбнулся, то ли соглашаясь, то ли благодаря. В словах песни мне чудился какой-то недобрый обидный намек. Больше мы никогда не бывали там, и кто они, откуда взялись, мне неизвестно. Но неприятный осадок запомнился на всю жизнь. Женщины были омерзительны несхожестью с тихим благородством мамы, они унижали ее и меня тем, что не принимали нас всерьез.

Еще помнится наша встреча с тетей Аней и Инессой. Мы пошли с мамой туда не сразу. Видно, папино отношение к Ане, которое он выразил в письме, передалось и маме. Анна Ивановна была совсем не та «Анна Ванна», что в Ленинграде. Она была в окружении каких-то моложавых незамужних женщин, на нас с Инессой не обращала никакого внимания. Мягкость ее пропала, шел разговор о туфельках: «Как их заказывать? С дырочками на носке – так, чтобы просвечивал чулок, или дырочки сделать постоянного цвета? Но тогда какого – синего или черного?» Мама в этом странном разговоре принять участие не могла. Потом, когда остались одни, мама осторожно спросила, как Аня пережила смерть Андрея, и та резко ответила: «Когда я узнала, что у него была другая женщина, что он шел к нам, только что вырвавшийся из ее объятий, такая меня злость взяла, что я не страдала из-за его смерти». Больше мы к ним не ходили.

В Самарканде мы немножко приоделись, пришла американская помощь. Мне досталась мохнатая вишневая кофточка с перламутровыми большими пуговицами. Маме – два летних платья: серое и сиреневое, в мелкий цветочек. Сиреневое очень шло маме, но село при первой же стирке и со временем досталось мне. Серое платье мама носила много лет. Надо сказать, что мама, не зарабатывая денег, была очень щепетильна в отношении трат на себя. Не помню, чтобы она когда-нибудь выразила желание иметь что-то. Она никогда не красилась, и иногда я чувствовала некое недовольство или, скорее, обиду – женщины ее возраста, но подкрашенные, ухоженные, хорошо одетые, казались привлекательнее, и было очевидно – им небезразлично впечатление, которое они производят. Но столь поразительным было появления мамы во время отдыха, со свежим лицом, не обремененным постоянной заботой, в своем единственном нарядном платье! Вдруг открывалась такая красота, что дух захватывало, и все женские ухищрения других тускнели и исчезали перед этим ликом. Думаю, папа это всегда видел, недаром он называл маму «наша Богородица». Недаром закричит после ее смерти: «Никогда она уже не выйдет и не покажет свое личико!»

Мама простила папу, когда вновь возникла опасность. Опять ночь и шепот:

– Я приказал зарыть кислоту в землю, а мне говорят: «Нарушил инструкцию». И еще будто какие-то бумаги жег… следили в окно.

Рассказ Любови Иосифовны.

– Инга, судьба, конечно, состоит из случайностей. Когда папа уехал за вами, начали готовиться к реэвакуации. Мы с Ксенией Николаевной запаковали все наше имущество. А в числе нашего имущества были ящики, «укладки», наподобие чемодана – для оказания первой помощи. В этих укладках полагалось быть спирту. Конечно, это были просто склянки с надписью. Слушатели ходили с винтовками на площадке, охраняли. Делать там было нечего, они увидели наши укладки, решили, что там спирт, и две или три укладки они вскрыли… Увидели, что нет ничего, и закрыли… но не по правилам. Как на грех, идет мимо этого места начальник академии Велесов. К этому времени папа вернулся, его вызывают и спрашивают: «Почему эти укладки открыты?» А папа говорит: «Я не в курсе». Ему говорят: «Какое вы, материально ответственный, имеете право доверять другим паковать имущество? Написать об этом рапорт начальнику кафедры». Папа отвечает: «Я же уехал не самовольно». Все равно: «Написать рапорт». Ну, папа написал рапорт, отнес Савицкому. А

он был такой: он мог доиться-доиться, а что-нибудь не понравится – и все. Сотрет, как с этой магнитофонной ленты. К папе так хорошо относился – и вдруг… Я думаю, ему не нравилась история с Эллой. Потому что он такой человек, сам он этого не принимает и не понимает, и такой прямолинейный, что ни туда ни сюда… Когда папа этот рапорт принес, Савицкий сказал: «Я тут ничего не могу разобрать. Дайте Любови Иосифовне переписать». Папа пришел на взводе: «Вот, перепишите, Николай Николаевич не может понять, что я написал».

Мне и жалко его, и что делать? Ну переписала, отдала ему. Он отнес. Когда он отдал рапорт, то по форме обратился: «Разрешите идти». Папа говорил, что у Николая Николаевича окно было открыто, а когда он уходил, то не придержал дверь, и дверь хлопнула. Савицкий расценил, что папа специально хлопнул дверью. И сказал: «Вернитесь». Папа вернулся.

Он ему говорит: «Как вы смели хлопнуть дверью?» Папа объяснил. На этом дело не кончилось. Савицкий еще дальше пошел. При первом же посещении Велесова (начальника академии) передал ему этот рапорт, сказал, что когда папа ушел, хлопнул дверью. Тогда они решили, ни больше ни меньше, отчислить папу из академии и оставить его в распоряжении Узбекского военного округа.

Утром рано кто-то постучался в окно. Посмотрела – твоя мама. В полной растерянности, вся в слезах. В ужасном состоянии. Она мне рассказывает эту историю. Я говорю: «Вера Вячеславовна, надо спасать семью. Вы ведь знаете, что Здравко Васильевич не пойдет ни на какие извинения. Он сам пропадет, и семья пропадет, он ляжет костьми, но не поклонится. Он чувствует, что ни в чем не виноват. Вы должны это взять на свои плечи. Возьмите своих детей, сходите к Николаю Николаевичу и расскажите про то, в каком вы положении. Что после всего пережитого остаться в распоряжении Узбекского военного округа – для вас все равно что погибнуть. Вам он поможет».

Тогда мы с мамой отправились к профессору Савицкому. Помню, как шли под густыми тутовыми деревьями, черные ягоды, приторно-сладкие, мягкие, валялись в пыли, я наступала на них босыми ногами, поднимать их, как в первые дни после приезда, уже не хотелось.

– Как вы разрешаете детям подбирать ягоды прямо на улице?

Это маме, это нам, которые забыли, что такое сахар, это Вовке, которого однажды, уже после освобождения, тетя Леля застала стоящим на цыпочках на буфете и пытающимся заглянуть на крышу буфета, где лежало несколько кусочков рафинада.

– Ах ты, паршивец этакий! – воскликнула тетя Леля. – Ты что делаешь?

– Любуюсь, – ответил мой маленький брат.

Черные сладкие ягоды валялись под нашими ногами… Это уже не зеленые пупырышки под листиками…

Мы шли с мамой в тени огромных деревьев, под которыми лежали мягкие треснувшие ягоды, стаи мух взметались вверх, когда я босыми ногами ступала в самую гущу, и из ягод тек темно-красный сок. Мы шли к Савицкому, которого я заранее ненавидела. Я чувствовала – он не любит папу. Нас приняли холодно, и какое-то время мама со мной стояла перед сидящими в креслах супругами Савицкими. Мама, с напряженным лицом, столь напряженным, что, казалось, лицо свела судорога, просила, чтобы папу забрали вместе с академией в Ленинград. Наконец маму усадили, я осталась стоять за спиной мамы, как страж, держась за спинку стула, скрестив ноги, чтобы как-то скрыть измазанные соком раздавленных ягод босые ступни. Я стояла в сарафанчике, сшитом из тряпок, глядя на супругов дерзко и зло. Двое важных, как мне казалось, стариков рассматривали маму. Было ощущение, что маму признали своей, что она понравилась.

– Только для вас, – сказал профессор на прощание.

Когда вернулись домой, мама сказала:

– В Ленинград не возьмут, но в эшелоне со всеми до Москвы.

Да, тогда папа и мама помирились. Савицкий, сам того не зная, помог папе. Мама вспомнила тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый… Опять шепот и долго горит свет в нашей комнате. Очень хорошо помню папины слова: «Подглядывали в комнату, приставив лестницу к окну, говорят, что я что-то сжигал… Говорят, ночью что-то закапывал на школьном дворе…»

Кто поймет, просто ли профессор недоволен, или такая инструкция свыше – уволить или того хуже… Ведь прошло после декабря тридцать девятого всего четыре с половиной года. Слово «трибунал» витает по нашей комнате.

Воспоминание Любови Иосифовны:

– Но, Инга, папа не умел убиваться. Конечно, ему это было больно. Потом, такая ситуация: вдруг оказаться вне академии. Война же еще не кончилась, неизвестно, куда и что… и с такой семьей на руках… и без дома… Но твоего папу так легко не одолеть. Наоборот, он в таких случаях собирался, всегда понимал, что именно надо делать. Всегда! Да, папа был очень деятельный. Очень, очень.

Теперь трудно понять, что случилось тогда в Самарканде – слишком круто и недостойно повел себя Савицкий или

проявилась его давняя антипатия. Савицкий и папа были люди совершенно разного склада. Савицкий – потомственный дворянин, проходивший стажировку в Германии, когда папа только-только поступил в академию, был, я думаю, далек от политики. По всей вероятности, его раздражали папина верность учению Маркса, его горячая вера в социализм. Раздражало и то, что папа, будучи партийным секретарем кафедры, не всегда был согласен с решениями, которые принимал Савицкий как начальник кафедры. Возможно, раздражало и то, что перед началом занятий перед папиной аудиторией разыгрывались сражения, чтобы попасть на его лекции – папа читал лекции блестяще. Лекции Савицкого, хотя насыщенные, были сухи, читал он тихо, слушатели его не любили.

Как я уже упоминала, в папиных письмах осенью 1939-го, после выхода из тюрьмы, проскальзывало явное недоверие к Савицкому. «*На днях сам Савицкий вызвал меня и предложил работать в клинике. Он аргументировался очень ловко. “Будешь, – говорит, – греться в клинике, а то на кафедре всего 4 градуса, а также будешь чаще дежурить по клинике и спать там”. Я ему ответил отказом, но посмотрим, что дальше будет».* Возможно, это недоверие и несовместимость проявились в Самарканде, а предлогом могли быть и история с Эллой, и то, что Советское правительство, расценив политику Болгарии как фактическое ведение войны в лагере Германии, заявило, что будет находиться в состоянии войны с Болгарией.

Пройдет очень много лет, и только в конце 1970-х или в начале 1980-х папа, генерал в отставке, Герой Социалистического Труда, народный врач Болгарии, профессор, автор учебников и биографических книг, пообещает Любови Иосифовне в ответ на ее запрос и даже просьбу:

– Возможно, я напишу Савицкому.

Обиду, страшную, незаживающую рану, наконец затянет время. И после этого незадолго до смерти Савицкого начнется дружеская переписка между Савицким, а впоследствии его вдовой и папой.

А тогда, летом 1944-го, папу выгоняли из его родной академии, с которой была связана вся его жизнь в Советском Союзе, начиная с приезда в 1928 году. Вот что, спустя полвека, написал папа про то время и поворот своей судьбы:

«Академия выехала из Самарканда в конце июля 1944 г. Было время Ясско-Кишиневской операции Красной армии, и был виден конец господства фашистов в Болгарии. Я с семьей остался в Москве».

Каждый переживал по-своему папино увольнение из академии. По дороге в Москву, куда мы ехали вместе с академией, папа замолчал, как когда-то в сороковом после тюрьмы; он или спал на верхней полке, или гулял со мной на остановках. Мы доходили до паровоза, стояли, смотрели, как блестящее черное тело дышит, время от времени выпуская облако пара; останавливались у водокачки, огромная рука поворачивалась, дотягивалась до паровоза, и мы смотрели, как наполняется его нутро водой; машинист, черный от угля, хмуро наблюдал за нами, по пояс свесившись из окна. Потом мы поворачивали обратно, я вся сжималась от страха.

– Зажми уши, – говорил папа, но я знала, что все равно услышу пронзительный, режущий до боли свисток.

Однажды на остановке папа остался спать на полке, я смотрела в окно, мама вышла на базар, Вовка поплелся за ней. Наш состав стоял на втором пути, на первый путь подошел скорый поезд и отгородил перрон. Вовка нагнулся, посмотрел под поезд…

– Вижу мамины ноги, – прошептал братик… и полез под колеса.

Скорый поезд дернулся и медленно тронулся. Папа спал, я смотрела в окно, мама, нервничая, стояла на перроне. Вовка, пригнувшись, сидел под тронувшимся поездом, о чем-то размышляя. Соседи по вагону в шоке наблюдали за этой сценой. Вовка вылез из-под вагона, прежде чем колеса настигли его.

Весь возможный ужас облекся в унизительное пренебрежение: мать ходит по базару, отец валяется на полке, а сына чуть не раздавил поезд. Вся эта история только подтверждала правомерность папиного увольнения.

Нас выгрузили в Москве. Академия поехала дальше, в Ленинград. Мы стояли на перроне, и было на душе нехорошо. Молодая светловолосая женщина злобно-весело сказала, обращаясь к маме:

– Выбросили нас. Просто взяли и выбросили, а сами поехали в Ленинград.

Мама, с несчастным обтянутым лицом, с тонкими косичками на затылке, промолчала. Она не хотела делиться своим горем. Ждала папу, который, как только поезд замедлил ход, спрыгнул с подножки и исчез. Он тоже не хотел делить ни с кем горя.

«Опыт Великой Отечественной войны показал большую необходимость медицинской службы как основного источника пополнения войск личным составом, вылеченным после ранений и заболеваний. Но он показал, что по удельному весу потерь

медицинская служба на фронте занимала второе место. Ясно было, что после ее окончания нужда в медицинских работниках будет еще большая. При этом положении всплыла идея моего однокурсника начальника ГВСУ Красной армии Смирнова Ефима Ивановича о лучшей военно-медицинской подготовке молодых врачебных кадров. Правительство СССР решило создать кафедры военно-медицинской подготовки (ВМП) во всех медицинских институтах страны. Эти кафедры должны были в течение пятилетнего срока обучения передать студентам медицинский опыт войны и так их подготовить, чтобы они прошли свою военную службу, пока обучаются в институте.

В связи с этим ГВСУ Красной армии провело в течение августа 1944 г. специальный курс для подготовки руководителей кафедр ВМП из числа действующих военных врачей. Меня зачислили на этот курс. Лекционная его часть проводилась в библиотеке ЦИУВ (Центральный институт усовершенствования врачей) в Москве. Преподавателями курса были сам Е. И. Смирнов, начальники отделов его управления и почти все главные специалисты Красной армии: Н. Н. Бурденко – по военно-полевой хирургии, М. С. Вовси – по военно-полевой терапии, Ф. Г. Кротков – по военной гигиене, Т. Е. Бодырев – по военной эпидемиологии и др.

По окончании курса я был послан в областной город Астрахань для организации кафедры военно-медицинской подготовки при медицинском институте».

Приехали в Астрахань в сентябре 1944-го. Мы, мама, Вовка и я, долго сидели на вещах посреди вокзальной площади. Незамощенная площадь, пыль, пыль, пыль, ни деревца, ни травинки, серые деревянные скособочившиеся домишки, рыбья чешуя по щиколотку, рыбьи головы и стаи мух… Папа бегал, узнавал, куда и как нас везти.

«Астрахань служила раньше местом ссылок революционеров», – пишет папа. Не знаю, как папа воспринял переезд в Астрахань, – возможно, он заглядывал дальше: «был виден конец господства фашистов в Болгарии», возможно, права была Любовь Иосифовна, – «папа не умел убиваться». Но мама восприняла наш переезд в Астрахань именно так – ссылка.

– Хотелось лечь на землю и завыть во весь голос, – вспоминала мама наш приезд в Астрахань.

Именно тогда, когда мы сидели на вокзальной площади среди мусора и рыбьей чешуи и когда мама еле удерживалась, чтобы не завыть на всю площадь, – наши войска 3-го Украинского фронта вошли в Болгарию.

В это же время спускаются партизаны с гор. На маленьком снимке в Большой Советской энциклопедии в статье «Болгария» –

шеренга партизан, входящих в город, и третья в крайнем ряду – худенькая девочка шестнадцати – семнадцати лет, с автоматом через плечо, наша будущая знакомая Люба, только что вышедшая замуж за Ивана Хариева, командира своего отряда.

– Вера Вячеславовна, – рассказывала Люба маме спустя два года, – вечером надо идти в караул на ночь, залечь в кустах; знаю, Иван должен прийти тоже, и сердце мое стучит… – Она поднимала свои худенькие руки к груди…

…На фотографии, сохранившейся у меня, – моя двоюродная сестра Нора, дочь папиного брата Иордана, в военной форме, в пилотке, держит речь перед собравшимися согражданами. Она тоже спустилась вместе с партизанами в сентябре 44-го. Мы с мамой, конечно, ничего этого не знаем. Что знает папа, неизвестно.

По правде говоря, не только я, но и мама забыли про существование Болгарии. Папа, прожив 18 лет в стране, давшей ему прибежище, разделив полностью судьбу народа и в тюрьме, и во время войны, по моему глубокому убеждению, давно стал русским.

Папа окунулся в организацию кафедры военно-медицинской подготовки в Астрахани. А в то время его опять затребовал Димитров, и опять его не отпустили. «*Для оборудования кафедры я ездил в крупные военно-санитарные склады в Ростов-на-Дону и в Новочеркасск. Эти города мне были знакомы еще с адъюнктских времен, когда я проводил занятия в северокавказских военных лагерях. В руководстве складов встретил знакомых. Это помогло мне создать богато оснащенную кафедру. На этой базе я мог начать работу еще в самом начале 1944/45 учебного года. Позже прислали преподавателей, так что я смог заняться научной работой. Весной 1945 года ВАК СССР утвердил меня доцентом по военной токсикологии.*

В Астрахани я был хорошо устроен – имел отдельную квартиру, получал натуральный паек как кандидат медицинских наук. Здесь дочка моя продолжала после Самарканда школу».

В Астрахани мы поселились в пустующем здании бывшего Медицинского института, до недавнего времени служившего госпиталем. У нас было шесть маленьких комнат с низким потолком, расположенных анфиладой. Комнаты были совершенно пусты, если не считать первой, где стоял диван и обеденный стол, и последней, маленькой, где стояли наши кровати и буржуйка с трубой, выходящей на улицу. В первой жила огромная крыса. Тогда все боялись банды под названием «Черная кошка», наподобие той, что в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя». Видимо, многие расплодившиеся в конце

войны банды носили такое название. Хотя говорили – «та самая, перебралась из Москвы». Папа ездил в командировки, а мама все ночи ходила по длинной анфиладе и сторожила. Однажды поздним вечером кто-то громко крикнул в трубу нашей буржуйки, чем вызвал страшный переполох.

– Что он крикнул? – волновалась мама. – Что хотел?

Для меня наша жизнь в Астрахани опустилась в серую яму. Не помню зимы, осени, не помню весны. Все утонуло в сером небытии. Серые однообразные дни тянулись, не принося радости. Что в Астрахани был кремль, я узнала не так давно. Мы никогда не добирались до Волги, и только накануне отъезда из Астрахани, в августе 45-го, уже под вечер, папа вдруг встрепенулся:

– Надо выкупаться в Волге. Прожили на Волге год и ни разу не окунуться!

Мы втроем (мама отказалась) пошли, шли мы долго.

– Да где же люди купаются? – спрашивал папа.

Найти место, где можно было искупаться, оказалось делом непростым. Стало совершенно темно, и тут папа решился. Он прыгнул в воду прямо под носом корабля, стоявшего у причала. В воду, пахнущую нефтью, с масляными разводами мазута. На палубу вышел пожилой человек в морской форме и, светя фонарем, закричал. Заметив, что я держу гимнастерку с погонами подполковника, кричать перестал, но, перегнувшись через борт, подозрительно, а может, удивляясь, следил, как папа барахтается под самым носом корабля.

– Фу, – сказал папа, поднимаясь на причал, – сплошной мазут. Но все же можно считать – я окунулся в Волгу.

Мы с Вовкой, конечно, в Волгу не окунулись.

Новый, 1945 год запомнился моим первым походом в театр. Я сидела на балконе, далеко внизу в красном свете прожекторов совершалось завораживающее действие, раздвигался занавес, передвигались декорации, возникали люди в странных костюмах. Я абсолютно ничего не понимала, я еще не знала, что близорука, но причастность к волшебству ощущала всем сердцем, и внутри тлел огонек радости: с окончанием спектакля не все оборвется, дома ждет еще одно удовольствие – мы пойдем гулять.

Надо сказать, папа раньше всегда строго соблюдал воскресные прогулки. Нам в воскресенье полагалось вместе гулять – это одни из самых счастливых часов моей жизни. Мир сосредоточивался на нас четверых, мы шли единым, неуязвимым, крепким, сплоченным, свободным целым, целым, которое крепила любовь. Но в Астрахани мы живем как в болоте – мутно, трясина, вода не шевелится, все заросло, подернулось ряской, мы никуда не ходим, к нам – никто или почти никто.

Но в тот день 1-го января мы куда-то собирались. Куда? Не помню.

Вернувшись из театра, я услышала, как папа сказал:

– Да, надо бы идти, но еще обед не готов.

– Ой! – вскрикнула мама. – Две щуки? Тьфу!

Папа рассмеялся, за ним мы. Шутка, шутка возвращалась в наш дом! Папа смеялся. Так это выражение и осталось. Если что не составляло труда сделать – «Две щуки? Тьфу!».

Вообще за мамой числилось несколько крылатых выражений. Первое, которое заставило нас замереть, а потом покатиться со смеху, было такое. Еще до Астрахани, живя в Москве, папа в воскресенье хотел нас прокатить на кораблике. Покинуть Москву, поплыть до какого-то места, кажется, острова, высадиться на полчаса и вернуться. В то воскресенье погода была неважная, моросил дождь. Мама встала коленями на стул, открыла форточку, высунула, послюнив, палец.

– Ветер, – сказала она и, глядя на клочок неба между стенами домов, произнесла: – Небо ненадежное, буря может быть.

Мы покатились со смеху.

– Буря на Москве-реке, – смеялся папа, – и какой слог! Да ты скажи – чего ты боишься? Буря может быть на море, вот там – буря, а здесь, на реке?

Но мама стояла на своем. Тогда папа сказал:

– Ты вообще не любишь гулять, не любишь реку, море…

И мама, спустившись с табурета и глядя в окно, из которого было видно только облупленное крыло нашего дома, задумчиво произнесла:

– Я житель простора, полей, не морей, но горы я тоже люблю.

– Вера, – закричал папа, – ты сама это придумала или это стихи?

В Астрахани пропало слово «трибунал», но вместо этого в нашем доме появилась женщина с бульдожьим лицом, кажется, папина заместительница по кафедре, жена прокурора. Зачем ходит? Конечно, следить. Следить и доносить мужу – это ясно. Прокурор – расшифровываю без труда: это человек в синем костюме, в погонах, высокий, худой и черный, которому ничего не стоит обвинить папу и запрятать в тюрьму. Он всемогущ. Я уже не верю в справедливость, хотя никто об этом не догадывается, даже себе не признаюсь в этом. «Справедливая» – так дразнят меня. «Посмотрите, идет справедливая!» Да, не только папа говорил: «Ингуся, ты ведь справедливая, объясни маме».

Ранней весной 45-го папа, вернувшись из командировки после маминой телеграммы: «Инга болеет, возвращайся скорее», привез подарки: мне – большую куклу с закрывающимися

глазами, в русском народном костюме, а Вовке – резиновую большую собаку-бульдога. Жена прокурора сидела за столом, мы пили чай, мама сказала:

– Покажите подарки, которые привез папа.

Я показала куклу, а Вовка схватил бульдога, сжал его морду и гавкнул. Родители поняли слишком поздно. Лицо у жены прокурора дернулось, она отшатнулась, было ясно – узнала себя. Мама переживала больше папы.

– Может, тебе показалось, что она дернулась? Но действительно – до чего похожа, – смеялся папа.

– Мстительная она или нет? – раздумывала мама. – Что могут придумать? Да все могут придумать. Задержался в Москве… зачем ездил?

Перед отъездом в Москву папа договорился с мамой:

– Если надолго задержусь – шли телеграмму: «Инга болеет».

– Накликали, – говорит папа, возвратившись по телеграмме.

Я действительно заболела. И не какой-то там простудой, а по-настоящему – легкими, с температурой, небольшой, но постоянной.

Не знаю, что мной двигало, может, слова про телеграмму. Только я вместо школы спускалась в подвал нашего дома и там неподвижно стояла в воде, насквозь продуваемая ветром, – несколько часов каждый день. В школу ходить было не противно, я уже освоилась, зубрила дословно про шпат, сланцы и слюду, а также историю, но с наступлением марта мне расхотелось туда ходить. Я это проделывала совершенно спокойно, будто так полагалось – вместо школы спускалась в подвал. Нескольких дней хватило – у меня воспалились железки, поднялась температура, меня отвели на рентген, мама послала заветную телеграмму. Температура держалась более месяца.

В Астрахани папа постепенно отдаляется от меня. Он часто отсутствует, очень занят, а если свободен, то спит днем на раскладушке около раскрытого окна, мухи тучами вьются над ним, он охает, сучит, как младенец, босыми ногами и причмокивает, иногда вдруг вскакивает с выпученными глазами, хватает противогаз, обрывает трубку, натягивает резиновую маску на лицо и опять валится на раскладушку. Мы втроем, не шевелясь, смотрим на чужое лицо, обтянутое противогазом. Шевелиться нельзя – он спросонок может кинуть всем, что попадется под руку.

– Как не задохнется? Как может спать? – недоумевает мама.

Потом просыпается, обводит нас взглядом, вскакивает, наклоняется над тазом, молча хлопает по шее, я лью ему на голову воду из зеленой эмалированной кружки, он нетерпеливо

хлопает опять, показывая, куда лить. Эта кружка, с которой он не расставался во время войны, уже с черной вмятиной на боку и с облупившейся синеватой эмалью внутри, последовала за нами в Болгарию, была с ним до смерти. Сейчас она у меня.

– Ох-ха! Горячо! – кряхтит он.

– Здравко, как можно, такой кипяток, – говорит мама.

Он не слушает, все так же молча хлопает по шее, требуя продолжения. Папина шея длинная и худая, в старости она стала плотной, с глубокой поперечной морщиной на затылке.

В Астрахани мама ходит в библиотеку и читает, читает запоем. Ведь прошло более четырех лет с тех пор, как держала последний раз книгу в руках. Перед сном, уже в кровати, мама читает вслух Лермонтова, Пушкина, Некрасова. Вовка с первых строк распознает поэтов, я равнодушна. Но Гоголь пугает. Не «Вий», не «Красная свитка» – пугает страшный, загадочный колдун, выросший до неба… Кроме Гоголя, пугают «Записки следователя» Шейнина. Гоголь пугал мистическим ужасом, Шейнин пугал полной достоверностью. «Черная кошка» все еще гуляла по Астрахани.

Казалось, война для меня кончилась еще в Самарканде. Но в Астрахани, в серой яме, война опять вспыхнула, и голос Левитана возвещал: ожесточенное сопротивление на подступах к Кёнигсбергу… Потсдаму… при переправе через Шпрее. Из того времени вместе с Кёнигсбергом остался Роттердам. Раскатистое слово, казалось, звучало в астраханской кухоньке торжественным голосом Левитана: «От Советского Информбюро. На западном фронте продолжаются ожесточенные бои на подступах к Роттердаму».

…В середине 1990-х, оказавшись в гостях у моего сына Георгия (Геши) в Голландии, мы поехали в Роттердам. Пока ехали по городу, я с жадностью всматривалась в здания, искала отметины прошлых сражений, смотрела на реку Рейн; мне казалось, именно здесь шли бои, когда мы жили в 44-м в Астрахани. В Роттердаме я хотела посетить русскую церковь и причастить внучку Сашу. Маленькая квартира на первом этаже большого, красного кирпича, с вензелями, дома была переоборудована под церковь. Пока мы с Володей и маленькой Сашей стояли около парадного, на велосипеде, запыхавшись, подкатил потный толстый монах. Он соскочил с велосипеда и устремился в подъезд. Когда я вошла в церковь, он исповедовал, чуть отгородившись занавеской. Мне показалось, что от его разгоряченного лица идет свет, и я стала в очередь на исповедь к нему, православному голландцу, а не к молодому священнику, недавно присланному из России. Я прошла за занавеску и сразу

заплакала.

– Мой сын с семьей живет в Голландии, мне через неделю уезжать. Второй сын в Америке, я только что оттуда… Я не могу без них жить… совершенно не могу…

Я плакала, монах задернул занавеску. Он слушал, внимательно наклонив голову.

– Иногда люди бывают на расстоянии гораздо ближе друг другу, – сказал он на ломаном русском, – расстояние не помеха для любви. Вы молитесь, молитва будет крепить любовь, и у вас там, – он указал вверх, – возникнет такая крепкая связь, которой, может быть, не было, когда вы жили вместе.

Я перестала плакать, поверив ему…

Как ни странно, Дня Победы я не помню. Все-таки память – вещь несовершенная… Вероятно, это было в тот солнечный день, когда мы всей семьей шли в толпе по городу. Именно этот залитый солнцем день запомнился. Все смеялись, кричали, шумели, на одной из улиц у ворот стояла ярко накрашенная женщина, меня она поразила: она никуда не шла, стояла и улыбалась, будто принимала парад, а рядом с ней моя одноклассница Зина. Зина подбежала ко мне и сказала, что это ее тетя. Я чувствовала, что она гордится тетей. Из всего третьего класса я запомнила только Зину, да еще влажные руки моей тихой соседки по парте Нины, она была из Ленинграда, у нее не было зубов, все пропали в блокаду, и было плохо с легкими. Потом по просьбе моих родителей меня пересадили к Зине, у меня тоже неважно было с легкими.

– Это ее тетя? – спросила мама, когда Зина радостно отбежала от нас и опять стала рядом с тетей.

– Да, я про нее рассказывала. У нее очень много мужчин знакомых, они ей помогают.

Папа и мама переглянулись. Спустя какое-то время мама сказала:

– Если тебя будут приглашать в гости, ты не ходи.

Где мы шли, по каким улицам? Вокруг шумели, смеялись. Да, конечно, это был День Победы.

«В конце учебного года выбрал время и отвез детей на Северный Кавказ. В Железноводске встретился с моим болгарским приятелем по Военно-медицинской академии А. М. Мильчевым. Он был начальником одного из санаториев в Железноводске. Так как я ездил незадолго до этого в Москву, то смог проинформировать его о положении в Болгарии, куда он уехал в следующем месяце вместе с женою и двумя сыновьями».

Путешествие на Кавказ разорвало серость и оставило ощущение праздника. С папы будто сняли ношу, он стал быстрым

и легким. Уже брезжил отъезд в Болгарию, о чем мы с Вовкой понятия не имели, но о чем знали родители. На Кавказ мы поехали втроем. Мама осталась в Астрахани. Осталась ждать извещения насчет Болгарии, должна была нас вызвать телеграммой, если бы оно пришло.

В коридоре поезда окно папа решительным рывком опустил вниз, пахнуло паровозной гарью – запахом, столь любимым мной. В Рыльске, будучи еще четырехлетней, я подходила к телеграфному столбу, прикладывал ухо, слушала, как гудят провода, и с наслаждением вдыхала запах, который напоминал запах паровозной гари. Поезд несся, постукивая, мимо зеленых деревьев; опершись на деревянную раму, мы с папой о чем-то весело говорили, как вдруг проводник, проходя мимо, сказала, что из нашего купе доносятся стоны. Папа рванул дверь – между нижними полками на полу в неудобной позе лежал Вовка. Он упал со второй полки и не проснулся. Папа кинулся к нему. Открыв глаза, еще лежа на полу, Вовка улыбнулся и сказал:

– Значит, живой.

Ему снился самолет, его подбили, он падал на землю.

– Живой, – сказал Вовка, не совсем веря своему счастью. Вовке еще не было семи лет.

Запомнился одноэтажный белый дом в саду, утопающий в розовых кустах, – рай земной, там и жил Август Мильчев, с красивой, улыбающейся женой Татьяной Семеновной, она же – Цветана Главинкова; с ней еще в 1923-м году Август гулял по Плевену и отвлекал внимание сторожей в то время, когда комсомольцы воровали оружие со складов.

Все, смеясь, вспоминали болгарские слова. «Скажи, как на болгарском будет юбка: *пола* или *рокля*? Забыла», – смеялась Татьяна Семеновна. «Нет, *рокля* – кажется, платье». Вспоминали, смеясь, прозвище Августа – *Гусьо*.

– Гусьо, Гусьо, – говорил папа, и я путалась, не понимала, как же зовут этого веселого, полного человека.

Мильчев тоже окончил ВМА, но раньше папы на несколько лет. 1937 – 1938-й годы его коснулись лишь тем, что его, комбрига, начальника военно-санитарной службы НКВД в Приволжском военном округе, отослали начальником санатория в Железноводск. До конца уцелеть в те страшные годы не смог даже он – обаятельный, веселый, остроумный, хлебосольный Август Мильчев, ближайший друг Петра Васильевича, сына Василия Коларова. Но выжил, хотя с 1935 года являлся членом Революционного военного трибунала НКВД. Во время войны он – в звании подполковника, начальник военно-эвакуационной больницы и главный хирург. Он лечит тысячи раненых,

возвращает их в строй. Один из них – дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Д. А. Драгунский – в своих мемуарах, напечатанных в 1968 году в «Новом мире», пишет: «В полуразрушенном Железноводске, в военном санатории доктор Мильчев, болгарин по национальности, в 1944 году поставил меня на ноги». В этом же санатории находились и пять военных летчиков, которые осенью 1944-го, перед 9 сентября, приземлились под Пловдивом и задержали поезд в Стамбул с убегающими членами болгарского фашистского правительства.

Вот к нему-то, Августу Мильчеву, летом 1945-го папа и приехал посоветоваться и обсудить обстановку в Болгарии.

Наутро мы забрались на невысокую, но крутую Железную гору, папа неожиданно быстро очутился на дереве, одиноко стоявшем на поляне, поерзал, усаживаясь поплотнее, вынул из кармана гимнастерки губную гармошку и весело заиграл. Я до этого никогда не слышала, чтобы папа играл на губной гармошке, я и видела гармошку впервые. Когда папа наконец слез с дерева, я взяла гармошку, она была небольшая, блестящая, посередине несколько зубчиков было выломано.

– Научи, – сказала я.

Папа показал, куда надо дуть, но я не могла запомнить.

Потом шли вокруг Машука в Пятигорск. Папа рассказывал про Лермонтова. Путь оказался долгим, я еле шла…

Нельзя слушать детей, когда они упираются, не хотят идти в музей, в театр, на концерт, не хотят слушать, что им рассказывают. Я до сих пор слышу время от времени упреки моих сыновей: «Ты подавляла, таскала по концертам, по музеям, а нам не было интересно». Но я помню, как папа сказал однажды:

– Ты что – думаешь, что Сережа шестилетний лучше понимает, что надо? Он, проживший на земле шесть лет, лучше знает, что надо?

Я подумала – папа прав. А теперь уверенно заявляю: ничто из рассказанного или виденного в детстве не пропадает. Все, все оседает в глубине, оно живет до поры, пока какой-либо случай не всколыхнет, и тогда все пережитое и увиденное озаряет прожитую жизнь.

Тогда, в 1945-м году, был домик Лермонтова, тарелочки на стенах, картины, маленькие комнатки, Кольцо-гора, нарзан… был «Провал», на дне которого: «Смотри, Ингуся, голубая вода».



Задний ряд: Василий, его жена Цана (Вылова) с сестрой. *Передний ряд:* Василий, Йордан, Ольга, Здравко на руках у бабушки Параскевы.



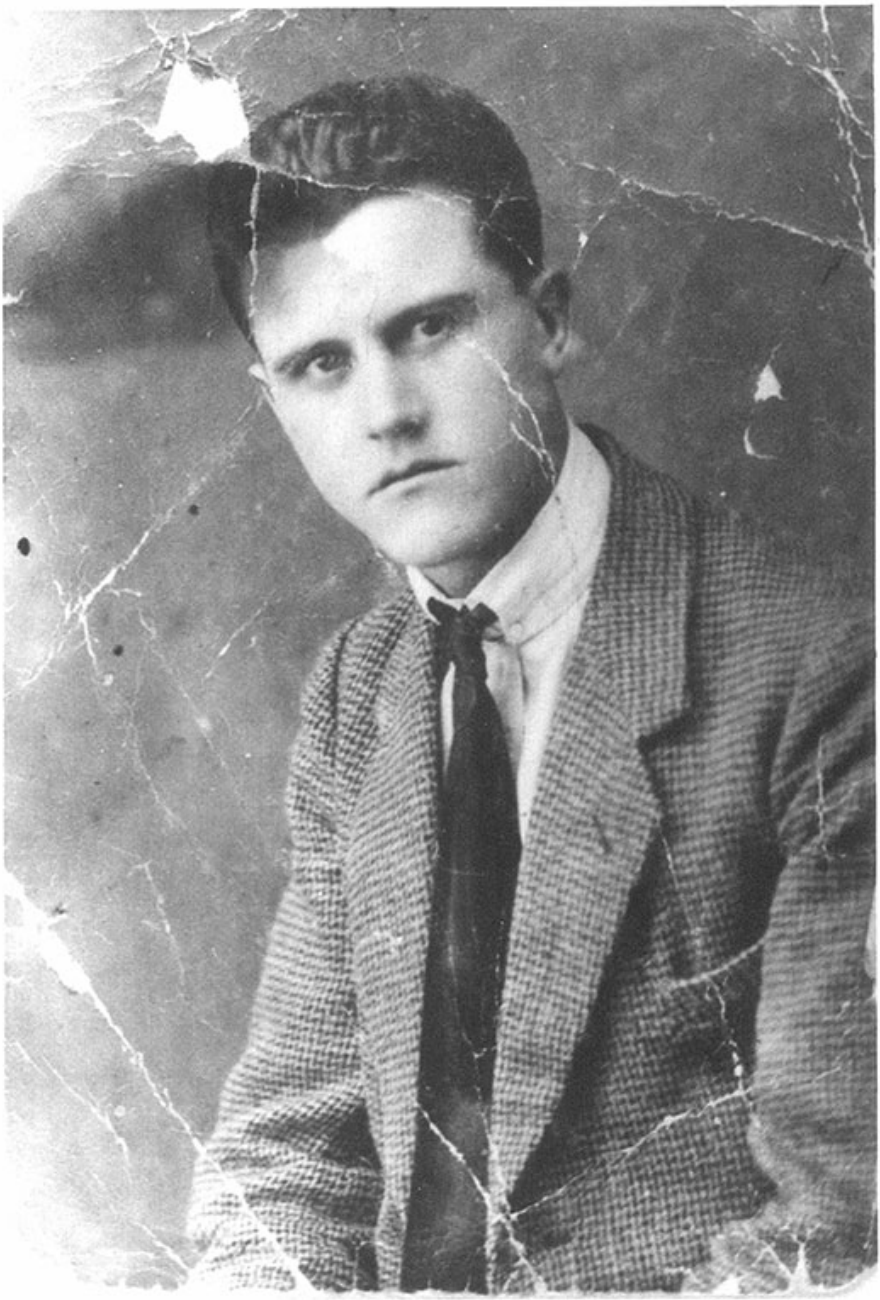
Слева направо: Ольга, Василий, Здравко. *1905 г.*



Ольга Мицова *(сестра Здравко)* с мужем Петром Серафимовым.



Здравко *(в центре)* среди делегатов профсоюзной конференции балканских стран. София, *1926 г.*



Плевна, *июнь 1922 г.,* окончание школы.



Фото с паспорта, с которым Здравко Мицов эмигрирует в СССР *9.10.1927 г.*



Грацкий кружок. *Май 1925 г.* Здравко Мицов – *второй слева.*



Елена Андреева Орловская и Жорж (Георгий) Курдюмов, будущий академик. *1910 г.*



Елизавета Карловна фон Ланге-Драевская. *1871 г.*



Курдюмовы Вячеслав Григорьевич и Ольга Константиновна, урожденная Орловская. *1900 г.*



Екатерина Николаевна Ломан-Коллерт *(тетя Катя)*.



Леля и Вера Курдюмовы. *1910-е гг.*



Ирина Константиновна Курдюмова-Ломан *(тетя Ирочка)* и Вячеслав Вячеславович Курдюмов *(дядя Слава)*.



Здравко Мицов. Военно-медицинская академия. *11.11.1928 г.*



Адъюнкт Военно-медицинской академии.



Спустя два месяца после выхода из тюрьмы *февраль 1940 г.*



Фотография, которую хранила в оккупации Вера Вячеславовна Курдюмова, обрезав по краям, чтобы не видна была форма офицера Красной армии.

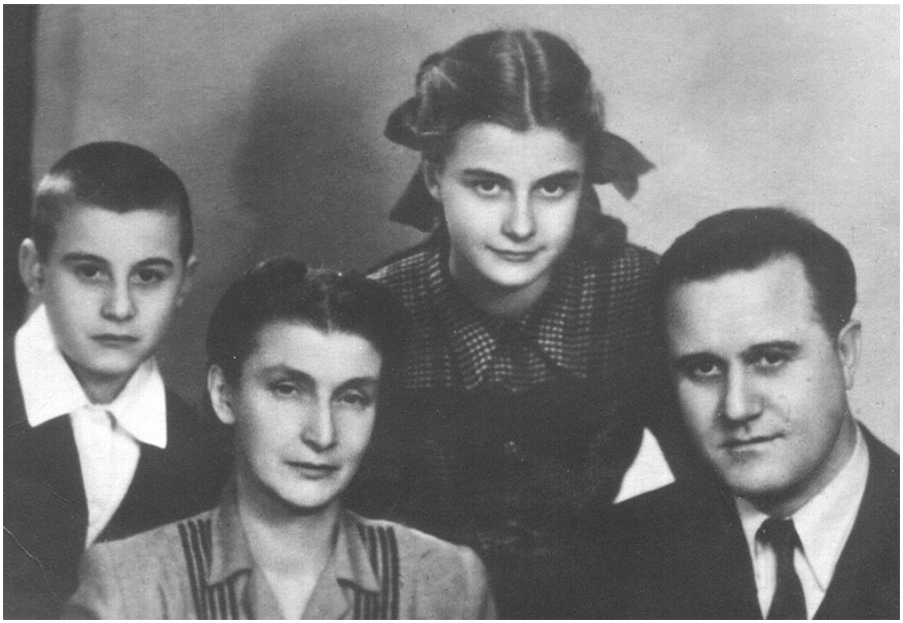


Инга с мамой вскоре после рождения. Севастополь. *1934 г.*





Инга до и после папиного ареста.



Первое фото семьи Мицовых в Болгарии *1948 г.*



Андрей Луканов, друг детства Здравко Мицова. *1930-е гг.*



Здравко Мицов *(в центре) инспектирует* военно-медицинские лагеря. *Конец 1940-х*



Лето 1940 г. Разлив под Ленинградом. *Сидят:* Майя Радайкина, Инесса Луканова, на коленях у папы Инга Мицова, неизвестный, Вера Вячеславовна, Ольга Константиновна Драевская. Стоит Сергей Дмитриевич Радайкин с сыном Валерой на руках.



Любовь Иосифовна Рыскина (Майофис) *1940-е гг.*



Евгения Ивановна Ждановская.



Варвара Николаева Лазарева-Коллерт (тетя Варя).



В Карловых Варах. *Второй справа* – президент Болгарской академии наук Т. Павлов, рядом – Здравко Мицов. *1950-е гг.*



Елена Вячеславовна Засимчук-Курдюмова *(тетя Леля)* и Игорь Константинович *(Горик)* Засимчук. Киев, *1950 г.*



Бабушка *(Ольга Константиновна)*, дедушка *(Вячеслав Григорьевич)*, внучка Таточка *(Татьяна Константиновна Засимчук)*.



Сидят: дядя Слава *(Вячеслав Вячеславович)* Курдюмов с Катюшей на руках, *рядом* бабушка Ольга Константиновна, Ирина Константиновна *(жена дяди Славы)*. *Стоят:* Татьяна Ивановна Стеллецкая *(тетя Тася)*, Георгий Вячеславович Курдюмов *(Жоржик)*, внизу – Игорь и Александр *(Алик)*. Киев, *1949 г.*



Здравко Мицов во время приема экзаменов.



«Здравия желаем, товарищ полковник!» Дружеская фотография сослуживцев. *Начало 1960-х гг.*



Семья Мицовых в Болгарии на отдыхе.



Вера Вячеславовна Мицова-Курдюмова. Начало *1950-х гг.*



Инга с отцом. Сентябрь *1953 г.*, Плевен.



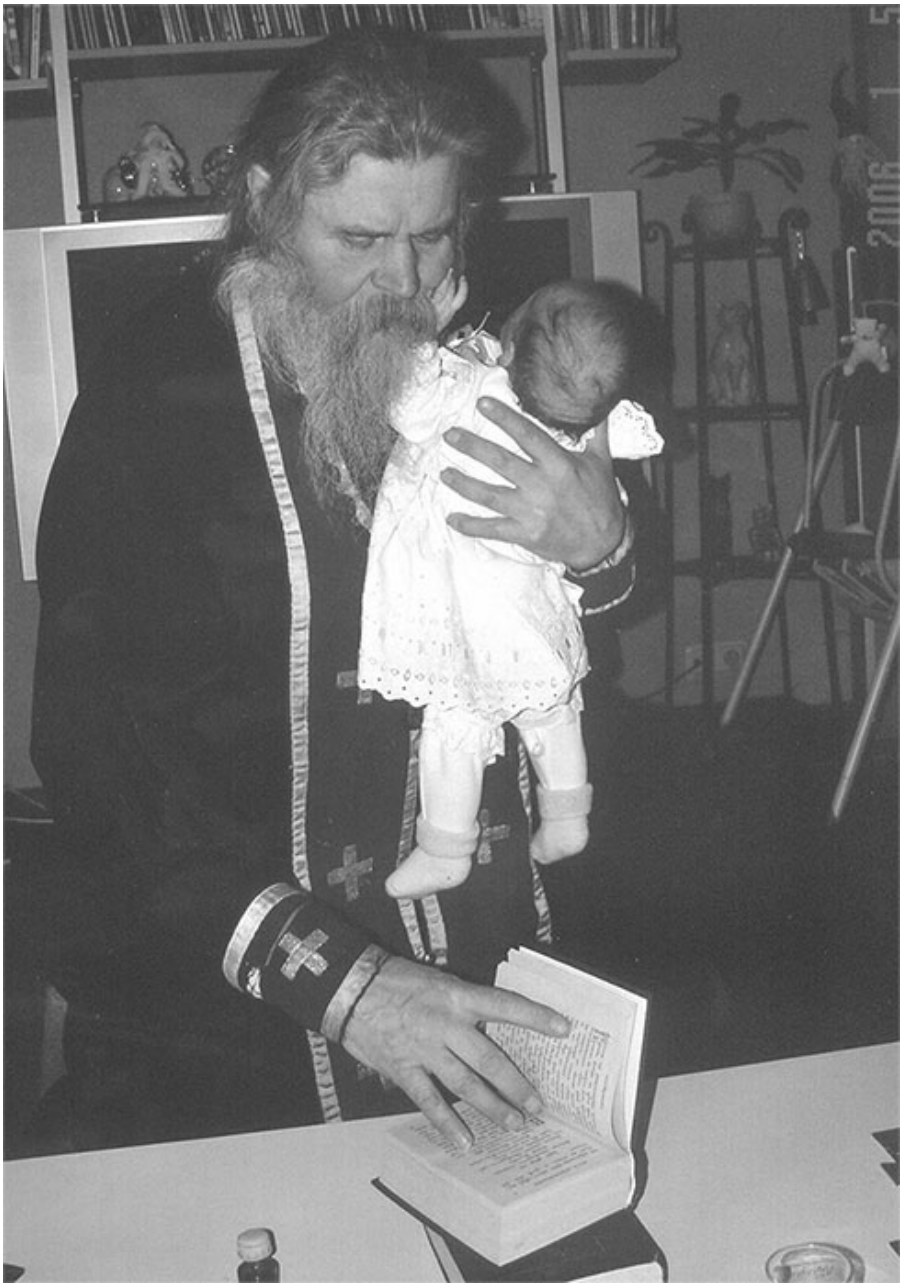
Семья Мицовых-Курдюмовых. *Первый ряд:* Вера Вячеславовна *(сидит)*, Инга с Сергеем на руках, Володя, Здравко. *Сзади* – Владимир Кравченко.



Сыновья Инги Мицовой и Владимира Кравченко – Георгий и Сергей. *1973 г.*



Ольга и Здравко – сыновья Владимира Мицова. *1985 г.*



Свободный брат Инги Мицовой – о. Георгий – крестит Стефанию Кравченко. *2005 г.*



Семья Сергея Кравченко. *Сидят на диване* Сергей и Ксения *(дочь от первого брака)*. Сидят на полу слева направо: Юксия *(жена во втором браке)*, Николай и Алексей *(сыновья от второго брака)*, Екатерина *(дочь от первого брака)*.



Семья Георгия Кравченко. *Сидят слева направо:* Стефания, Георгий, Светлана *(жена)* с Ниной на руках, Александра



Петр Мицов, старший сын о. Георгия, с дочкой Софьей на руках.



Анна Георгиевна Голицына с младшей дочерью Ксенией.



На могиле Георгия Вячеславовича Курдюмова и Татьяны Ивановны Стеллецкой. *Стоят:* Владимир Яковлевич Кравченко и Владислав Георгиевич Курдюмов.



Олег Мицов, младший сын о. Георгия.

В Астрахани нас встретила мама. Стояла страшная жара, и мама говорила, что выжила только благодаря тому, что закутывалась в мокрую простыню. Мама была уже, конечно, не та, что в Самарканде. Постепенно обретала плоть, становилась видимой и даже как-то стала подкрашивать губы, что очень ей шло.

– Получила? – был первый вопрос папы.

– Нет.

Но в качестве утешения рассказала, как она, мучимая сомнениями во время нашего отъезда, отправилась на окраину города по жаре, к известной цыганке, предсказаниям которой верила вся Астрахань.

Гадалка узнает имя – на кого гадают. Мама гадает, конечно, на папу.

– Что-то не пойму, – говорит гадалка. – Что за имя? Думай, думай про себя.

Мама думает, но гадалка не понимает. Она легонько бьет по маминой щеке платком и все равно не понимает.

– Начинается на З… Зиновий? Нет, не понимаю, что-то нерусское…

– Уедешь далеко-далеко. И там будешь жить очень хорошо, – обещает она маме.

– Все вместе? – спрашивает мама.

– Все, все вместе…

Куда это – «далеко-далеко»? Может, она имеет в виду Болгарию?

«В середине сентября 1945 года Астраханский Областной Комитет ВКП(б) вручил мне предписание явиться в отдел кадров ЦК ВКП(б). Я знал, что речь идет об отправке меня в Болгарию. В связи с этим я решил поехать в Москву пароходом по Волге всей семьей. Таким образом, удалось кроме красот увидеть следы войны, особенно – разрушенный Сталинград».

Итак, мы отправлялись в Москву – на пароходе, по Волге! Но поначалу свершилось то, чего так долго ждала мама, – нас обокрали. Не в квартире – на улице, вытащили у папы из планшета только что полученные деньги, когда он, разгоряченный, прибежал в кассу и над головами стоявших в очереди протянул руку за билетами. В результате мы оказались во втором классе вместо первого. У нас была четырехместная каюта, с большим окном на палубу, и туалет, в котором мама каждое утро мыла жабры селедкам. Селедки должны были поправить наше финансовое положение в Москве. Это была папина идея. Ни мне, ни маме она не нравилась. Но делать было нечего: эти селедки, как те карандаши в Рыльске, – последствия папиных изменений за время войны. Селедок у нас был целый мешок. Когда приехали в Москву и остановились на несколько дней у неизвестной мне женщины (по-моему, просто сняли комнату), мама отправлялась на базар торговать селедкой. Я сидела за пианино в полутемной комнате с задернутым плотными плюшевыми занавесками окном. Я пыталась сыграть «Степь да степь кругом…». В отличие от моего сына Сережки, который может с ходу без ошибок сыграть двумя руками известную мелодию, я была лишена такой способности. Вскоре мама вернулась взволнованно-растерянная и, возможно, обрадованная.

– Больше не пойду, – сказала она. – Была облава, милиционер подошел ко мне и говорит: «А вы-то что здесь делаете? Как вам-то не стыдно?» И вместо того чтобы оштрафовать – разломал селедку пополам. И с такой жалостью посмотрел…

Это было естественным повторением истории с химическими карандашами в Рыльске. Целый мешок селедки мы продали женщине, у которой останавливались.

Мы плыли по Волге 16 дней. На пароходе я бегала по палубам, неуверенно заглядывала в кают-компанию. Я предполагала, что это не для пассажиров второго класса, и все же выбирала время, пристраивалась возле рояля, за который, небрежно откинув подол шелкового платья, садилась молодая женщина. Около нее сразу собирался народ, она играла

фокстроты, я завороженно смотрела, как она виртуозно проводила красным ногтем сразу по всем клавишам: тр-р-р-р…

Наконец-то я набрела на нечто необычайно привлекательное – запах! …Они прекрасно пахли, по запаху я и нашла их. Они лежали в только что сколоченных ящиках, пересыпанные стружкой, вдоль правого борта, тесно прижавшись друг к другу. Я подошла ближе. Да, божественный запах! Так могли пахнуть только яблоки. Я просунула палец между жердочек и поскоблила по боку яблока; под ногтем осталась мягкая кожица. Я всунула палец в рот и, оглядевшись, пробралась за ящики, уселась на корточки и стала быстро-быстро сдирать кожуру с яблок. Я ходила туда несколько дней и так освоилась, что уже не оглядывалась, и так наловчилась, что уже сдирала вместе с кожицей и сладкую ароматную мякоть. Но однажды, только я умостилась на корточках и протянула уже привычным жестом руку к ящику, я увидела тень сбоку от меня. Пожилой плотный мужчина в тельняшке смотрел на меня и грозил пальцем. Я выпрямилась во весь рост, высокая, босая, с косичками до пояса, в сатиновом сарафане, сиреневом в темный цветочек, перешитом из подкладки моего довоенного пальто. Молча пробралась между ящиками. Мы не сказали друг другу ни слова.

Медленно плыл наш полупассажирский, полутоварный пароход. Каждые четыре часа отбивали склянки. По вечерам на реке зажигались красные бакены, и в вечернем воздухе притягательно-тревожно разносились пароходные гудки. Теперь, вспоминая наше плавание, я думаю, что Волга – это сама Россия: с севера на юг движется синим мощным потоком, спокойная, как спокоен человек, уверенный в своей силе. Какое счастье, что немцы не перешли Волгу. Какое счастье!

Ни Сталинграда, ни Жигулевских гор я не помню. Сталинград, кажется, проплыли ночью, и папа специально вставал, чтобы посмотреть, а вот Жигули…

– Смотри, сейчас будем проплывать Жигулевские горы.

– Где?

– Да вот.

– Где?

Эти зеленые холмы? Это они называются «горы»?

Папа поет:

Есть на Во-о-лге утес,
Ди-и-ким мо-о-хом зарос
От вершины до самого края….

Голос у папы негромкий, приятный. Он стоит у борта и, не

отрываясь, смотрит на зеленые холмы.

И стои-ит сотни лет,
Весь он мо-о-хом одет,
Ни нужды, ни заботы не зна-ая…

Камышин, Кинешма, Саратов, Кострома – названия городов пахли Волгой. Пароход стоял подолгу, мы сбегали по трапу, отправлялись в город. Считали гудки. После второго гудка бежали обратно.

В Ярославль приплыли днем. Пришвартовались к берегу, на огромной площадке, покрытой асфальтом, высились штабелями уложенные шины. Нас долго не выпускали – шла погрузка. После погрузки папа подхватил меня, и мы помчались в город.

– На главпочтамт, – говорит папа.

Бежать до главпочтамта было неблизко. Мы пробежали в одну сторону, папа меня где-то оставил, исчез, и вот бежим молча обратно. Папа раздосадован и зол. С Волги доносятся гудки парохода, но Волги не видать. Мы бежим уже какими-то задворками, папа все время поглядывает на часы. Вдруг останавливается, что-то подсчитывает и неожиданно сворачивает в распахнутые настежь ворота. «Посторонним вход воспрещен. Стреляю без предупреждения» – и красная стрела. Я это вижу, папа тоже. Он бросает взгляд на мрачные одноэтажные строения во дворе, темные провалы окон и, не замедляя хода, быстро идет по двору.

Я очень хорошо вижу эту картину – высокий худой мужчина в военной форме, с фуражкой в правой руке, и худенькая девочка десяти лет в линялом сарафанчике на лямочках, с косичками до пояса. Вокруг мертвая, затаившаяся тишина, готовая внезапно разразиться грозным окриком и выстрелом. Девочка бежит вприпрыжку, оглядываясь по сторонам, время от времени подскакивает от боли и тихонько охает – опять наступила босой ногой на камень. Но теперь даже речи быть не может, чтобы папа взял на руки, как всего лишь год тому назад в Самарканде; нет, тихие вскрикивания раздражают папу.

– Папа, здесь же запрещено, – плачу я. – Папа, написано: «стреляю», давай обратно.

Я заглядываю папе в лицо, тяну за рукав. Папа, не замедляя шага, выдергивает руку и со всего размаха бьет меня по шее левой рукой.

Сейчас, на берегу Волги, в заброшенном страшном дворе, сером от пыли, я проведу черту между мной и папой. Постепенно эта черта будет утолщаться, пока я совсем не отделю папу от себя.

Только спустя тридцать пять лет чувство крови проснется во мне, заговорит с новой силой, и я буду чувствовать папино настроение, мысли – все смогу определять, лишь коснувшись взглядом, и даже не глядя, по дыханию, по походке…

…В моей жизни есть несколько воспоминаний, от которых мгновенно сжимается сердце и которые тотчас оживают. Вот одно из них.

В 1973 году моему младшему сыну Георгию было пять лет. Георгий – красивое и редкое имя; правда, папа очень противился и говорил: «Что за архаичность?» Я, конечно, не могла предположить, что у него есть совершенно иные соображения. Да, имя прекрасное и редкое, но как придумать уменьшительное? Мы выбрали простое: Геша. Чтобы не повторить уязвимость старшего сына, я старалась развить в младшем самостоятельность. Глупая затея, я ничего не добилась, кроме одного – он вырос с уверенностью, что я его люблю меньше Сережи. Но тогда ему было пять лет. Он был доверчивым и добрым. И совершенно лишен комплексов.

Как-то мы возвращались с ним из Софии, он ходил по вагону, и по смеху, доносившемуся из дальнего конца коридора, я понимала, что он веселит публику. Вдруг я услышала:

– А что же за мама у него?

В купе заглянула Пахмутова, композитор, да, кажется, именно она! Я улыбнулась, но она лишь мельком взглянула на меня. Ей хватило нескольких секунд, чтобы отмежевать меня от Гешки.

Когда ему было пять лет, я ударила его по лицу.

Был жаркий летний день. И настроение было превосходное – Володя с Сережей возвращались с Кавказа. Чтобы скоротать время ожидания, мы с Гешкой сели на велосипеды и отправились на Северное озеро. Ехали, как всегда, по асфальтированной дорожке мимо институтов, доехали до трехглавой сосны, эмблемы нашего города Черноголовки.

– Давай через лес, – сказала я, тормозя, – очень жарко.

Гешке было все равно. Мы съехали с асфальтированной дорожки и въехали в лес. Тропинка забирала вправо, но я не беспокоилась. И вдруг лес внезапно исчез, провалился. Был и нет! Перед нами возникла песчаная холмистая пустыня. Это было неправдоподобно. Откуда пустыня?

Мы втащили велосипеды на песчаную гору, озера не было. Была еще одна гора. Мы упрямо тащили велосипеды, я свой, он свой. Карабкаемся изо всех сил опять на песчаную гору, солнце жжет, слепит, все желто и горячо – и солнце, и песок. Нет! Опять нет! Было, было только вчера. Но сегодня нет. Куда ни глянь –

везде песчаные желтые горы. Мы делаем шаг и тут же катимся вниз. Страшно. Мы на дне глубокой ямы, над нами палящее солнце, а перед нами еще одна песчаная гора. Ни души. Заколдованное место! Откуда такое?!

Гешка привалился спиной к песчаному, холодному в тени откосу, заплакал. Я яростно обернулась и ударила его по лицу.

Маленький, доверчивый человечек, серьезный, с аккуратной русой головкой и большими карими глазами, прижавшись спиной к откосу, смотрит на меня:

– Тут ка-ки-е-то пал-ки ле-та-ют. Я не знаю… будут они меня кусать или нет?

– Это стрекозы, – говорю я, вытирая его слезы. – Это стрекозы.

…Мы приехали в Москву, когда страна все еще переживала победу. Победа везде, во всем, она разлита в лицах людей, в большом количестве военных; папа то и дело подносит руку к козырьку. Гордость переполняет меня. Ожидание чего-то прекрасного тревожит. В Москве я приобщилась к чистому счастью жизни – без сомнений, терзаний, без раздумий. Я не задумываюсь над тем, что такое Болгария, я не понимаю, что покидаю Родину. Впервые я почувствовала бесконечную протяженность жизни, и радость охватила меня. Прежде, и в Ленинграде, и в Самарканде, радость была точечная, я жила минутой.

Москву я, можно сказать, вижу впервые, до этого все приезды состояли из кусочков – куда-то едем на трамвае. Трамвай переполненный, еле втискиваемся, никаких улиц, домов, только трамвайная толпа. А сейчас мы живем в самом сердце Москвы! Памятник Пушкину, внизу Кремлевская стена, и мы живем в старинном доме с витыми украшениями и большими буквами над входом – «Люкс» (это гостиница для политэмигрантов). Наши два окна как раз над вывеской, на втором этаже. У нас большая комната с телефоном и видом на улицу Горького. К–4–10–20 – набираю я и слушаю короткие гудки: занято. Больше звонить некому. Ходим обедать в бывший Английский клуб – через площадь, мимо Пушкина. Проходим маленький скверик, поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж. На площадке между первым и вторым этажом стоит на задних лапах огромный медведь. Возможно, у него горели глаза, и возможно – он в лапах держал поднос. Я чувствую себя избранной. Я – в шерстяном испанском платье, краше которого я не видела за всю свою жизнь, купленном у папиной знакомой Майи Кабакчиевой, встряхиваю косами, легко отодвигаю стул, усаживаюсь за стол, накрытый белой скатертью, и гордо смотрю на идущих по улице Горького.

Всемогущее слово «МОПР» – четыре большие буквы красно-коричневого цвета, как стройный забор, отгородили нас от прошлого. Всесильная организация «МОПР» открывает двери в склад, и папа с мамой выбирают одежду. Мама выбирает пальто, платье, обувь, шляпу, а может, и еще что-то. Для Вовки – пальто, бриджи (детских брюк нет) и обувь. Папа в далекой молодости приехал в Москву в бриджах, теперь его семилетний сын покидал Советский Союз тоже в бриджах, коричневых, в мелкую клеточку. Мама ищет Вовке шапку, шапок нет, и она, сомневаясь, может ли красный берет сойти за мальчишеский (или все же это девичий?), все-таки покупает его в «Детском мире». Однажды в метро берет падает на рельсы, весь перрон кричит, кричат и мама, и Вовка. И возникает женщина, в таком же красном берете, с длинным шестом, и этим шестом, под взглядами платформы: успеет или нет? – подхватывает крючком Вовкин берет. Мне досталось коричневое драповое пальто, в котором я проходила всю последующую зиму в Болгарии.

«В ЦК ВКП(б) мне сказали, что Георгий Димитров затребовал меня для работы в Болгарии, и если я желаю, то ЦК не возражает, а пока надо идти мне в Генеральный штаб. Там мне сказали, что тов. Г. Димитров требовал меня и раньше (в 1941 г. и в 1944 г.), тогда Генштаб меня не пускал, но теперь, когда война закончилась и с Японией, я могу ехать в Болгарию. Однако я обязуюсь там проводить советскую военную доктрину. В связи с этим я остаюсь советским гражданином и за все мое поведение буду отвечать по советским законам.

За подробностями по медицинской линии мне надлежит обратиться в Главное военно-санитарное управление. Здесь мы легко разобрались по вопросу о новых специальных задачах в Болгарии. Е. И. Смирнов сказал мне, что если меня не пустят в болгарскую армию, он поднимет бучу в Генштабе Красной армии. Он предложил мне переслать в Софию несколько вагонов медицинского имущества, в том числе трофейного. При его помощи надо было создать в Софии базу для распространения советской единой военно-полевой медицинской доктрины в Болгарии. Однако секретарь Г. Димитрова Стелла Благоева не согласилась в капиталистической Болгарии (она тогда была монархией) использовать советское имущество. Тогда Е. И. Смирнов дал мне свыше 200 специальных медицинских книг. Я привез их в Софию и сдал в библиотеку ЦК Болгарской Компартии.

После разговора в ГВСУ я попал к тов. Г. Димитрову. Вошел в кабинет. Он непрерывно курил трубку. Разговаривал дружески. Разъяснил мне истинное положение Болгарии и необходимость возвращения. Надо было усилить коммунистическую прослойку в

офицерском корпусе болгарской царской армии. Он знал о состоявшемся разговоре с Василием Коларовым и несколько раз мне повторил: "Делай то, что он тебе приказал, а не то, что ты хочешь". Обещал мне позже отправить семью поездом и обещал, что через год вернусь в Москву защитить докторскую. Встал, подал мне руку со словами: "А сейчас надо тебе ехать. В добрый путь…"»

На протяжении многих лет я слышала от мамы: Здравко никогда бы не поехал в Болгарию, останься он в академии. Никогда я не слыхала о том, что папа обращался к Коларову, которого пытался убедить, что разумнее прежде защитить в СССР докторскую диссертацию и уже тогда вернуться на родину. И вот сейчас читаю слова Димитрова: «Делай то, что он (Коларов) тебе приказал, а не то, что ты хочешь».

В приведенных записках папы посещение ЦК и Георгия Димитрова звучит как парадный рапорт. А начиналось это посещение так. В один прекрасный осенний день мы вчетвером отправились в скверик, что напротив здания ЦК на Старой площади. Обведя нас вокруг памятника Героям Плевны и наскоро что-то рассказав, папа повел нас дальше. Спустившись ниже, он выбрал пустую скамейку и сказал:

– Вера, смотри. Я сейчас войду вот в ту дверь, – он указал на дверь в здании ЦК партии, – и если я не выйду из нее часа через два, ты должна будешь пойти туда и сказать: «Я видела, как мой муж вошел в эту дверь два часа тому назад. Где он?»

Потом папа, в габардиновом плаще, подпоясанный поясом вместо привычного ремня, встал, пересек скверик, пересек улицу и вошел в дверь, на которую указывал. Мы остались в скверике. Я запомнила эту дверь, и хотя мы бегали по аллеям с Вовкой, все время поглядывала на нее. Мама все время просидела как сторожевая собака, не спуская глаз с двери.

Папа вышел. Легко пересек улицу, подошел к нам и, оглянувшись, сказал:

– Поехали.

Конечно, он ничего не забыл из своего прошлого.

Многие, жившие тут же в «Люксе», воевали в Испании. В ту осень 1945 года в Москве я была уязвлена тем, что мой папа не воевал в Испании. Кажется, при чем тут Испания? После нашей только что окончившейся страшной войны? Но я помнила фотографию на открытке, поразившую меня еще в 1936-м в Ленинграде. И в 1945-м я приставала к папе с вопросом: почему? Я подозревала папу в трусости!

… – Инга, сходи за папой, сказал – на пять минут, вот уже два часа прошло.

Маму беспокоит Майя Кабакчиева.

– Интересная, – говорит мама. – Давнишняя папина знакомая. Они и в Россию приехали в один год. Кажется, папа ей нравился. А может, папе она? Муж ее погиб в Испании.

Мама сидит с измученным лицом, и я понимаю, что начинается приступ мигрени.

– Пойди скажи папе, что у меня болит голова.

Я бегу по коридору. Стучу в комнату. Комната уютная, непохожая на гостиничный номер: в этой комнате живут постоянно. За столом сидит папа, веселый и молодой, дома он таким не бывает, и женщина в чем-то красивом. Запоминаются шея, большое декольте и бусы. Вид у обоих счастливый. Я зло смотрю на них и говорю:

– У мамы болит голова.

… – Пьют кофе? – спрашивает мама. – А как же давление? Папа говорил – у Майи высокое давление.

Мама ревновала. Вероятно, Любовь Иосифовна была права, когда говорила, что мама была очень ревнива. Позже, в Болгарии ревность сменилась смирением; если и догадывалась, то молчала. Если в Самарканде мама могла угрожать папе, что уедет с нами, то из Болгарии ехать было абсолютно некуда. Но тогда в Москве мама еще ревновала.

… – Кабакчиев… Кабакчиев, – говорит папа, – Христо Кабакчиев – ученик Благоева. Когда сидел в тюрьме в Болгарии после восстания, красноармейцы вятского гарнизона выбрали его почетным красноармейцем, и каждый вечер в роте, куда его зачислили, на вечерней поверке произносилось его имя. Правофланговый боец из первого ряда торжественно отвечал: «Его нет среди нас, его мучают в буржуазной тюрьме».

…Каково же было мое удивление – верить не хотела: в списках репрессированных в СССР в 1937–1938 годах под номером 315 значился Христо Кабакчиев. Он умер в Москве в 1940 году.

Папа знакомит нас с несколькими болгарами. До этого мама знала лишь Андрея Луканова, Георгия Дубова, Кирчо и Мирчо. Но все они давно исчезли: Андрей умер, Дубов умер, Мирчо расстрелян, Кирчо неизвестно где. В Москве папа ведет нас к сестре Андрея Луканова – Велле, с дочерью которой, Ирмой, я была знакома по Разливу еще в сороковом. Дом Веллы (тогда это была окраина Москвы – очень-очень далеко) запомнился мне тем, что папа несколько раз повторил:

– Напротив Академии наук, почти напротив.

Ничего, кроме старинных ворот и далее какой-то большой клумбы, я не разглядела. Но то, как настойчиво папа показывал

на это здание, заставляло задуматься о значении Академии наук. До сих пор я чувствую робость при взгляде на эти ворота, хотя давно уже Президиум Академии переместился в другое здание у площади Гагарина. Уже давно академики, перед которыми я благоговела, исчезли. Тогда же старинное невысокое здание, стоящее во дворе, смутно связывалось с дядей Жоржиком; он в то время воспринимался мной не как академик, а как особое исключение среди всех моих знакомых.

Ирма кончала десятый класс, была барышня, держалась вежливо, но с высокомерием, откровенно давая понять, что ей до нас нет дела. А Велла – красивая статная дама, легко двигающаяся по комнате. Она свободно ведет разговор, спокойно накрывает на стол, видно, что ей все это привычно, что у нее бывают гости; она много знает и встречается со многими. Я не помню, где она работала тогда, но потом, в Болгарии, она будет какое-то время при ЮНЕСКО, а может – при ООН. Ее отец Тодор Луканов занимал высокий пост в ЦК БКП. И опять меня сражает запись в списках репрессированных в СССР. Под номером 305 значится Тодор Луканов. Я не верю, читаю, перечитываю скудные данные, но все сходится – и год рождения, и место рождения: Плевен… Умер он в Москве в 1946 году.

Меня очень интересовал муж Веллы. Родители еще до этого шептали, что он слепой, ничего не видит, сидит один в темной закрытой комнате. Он короткое время был, кажется, в секретариате Сталина и до конца дней делал все возможное, чтобы о нем забыли. Мне очень хотелось на него посмотреть, но дверь была закрыта, я даже не была уверена, что эта дверь – в ту самую комнату, хотя возможно, что и туда. Все за столом говорили полушепотом. Муж Веллы был русским, он уехал из Москвы вместе с Веллой и дочерью в Болгарию вскоре после нас. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что потом в разговорах шутили, что в Болгарии он прозрел.

Итак, в Москве Болгария постепенно начинает входить в нашу жизнь…

Однажды в наш гостиничный номер, где, кроме четырех кроватей вдоль стен да стола, ничего не было, и даже лампочка под потолком была без абажура, постучала и вошла невысокая женщина – Мара, Мария Федоровна Терпешева.

Тетя Мара тоже возвращается в Болгарию вместе с сыном Валькой. Он старше меня на год, а может – на два. Мне он не нравится – какой-то размазня. Тетя Мара – маленькая, говорит тихим голосом, с приятным акцентом, иногда путает падежи. Говорит она очень аппетитно, так, что, слушая ее, я замираю, и мурашки ползут по телу. Ее муж, журналист, редактор одной из

газет, расстрелян в 1937-м. Она тоже сидела в советской тюрьме, год или два. Мария Федоровна Терпешева, она же – Господинова, Андреева; в газете со списком репрессированных ее номер 182.

Впоследствии в Болгарии тетя Мара будет нашим самым близким человеком, мои родители будут ей полностью доверять.

Да, так как вспоминается то время, осень сорок пятого?

Мы выходим на улицу, становимся частичкой города. Все дрожит, все возбуждены, толпа торопится, спешит куда-то вниз, к Кремлю. Вокруг – неповторимый запах, и мне думается, что это запах счастливых людей, идущих по улице, в глазах которых сияет сознание победы. Высокие дома, серые или желтые. Знакомое по картинке из книги «Почемучка» громадное здание, олицетворяющее, наравне с Кремлем, Москву – гостиница «Москва», мимо которой мы ходим к дяде Жоржику в Новомосковскую гостиницу, где он живет вместе с Тасей и Владиком. Дядя Жоржик, седой, веселый. Встречаю я его как родного, как давно знакомого, он жил во мне благодаря рассказам мамы. С ним тетя Тася, которую я вижу впервые. Тетя Тася ходит на стадион, играет с тренером в теннис, каждое утро уезжает на работу вместе с мужем, на его директорской машине. Она прекрасно одета, и волосы уложены аккуратно. Моя мама, хотя и в мопровском пальто и в мопровском платье, но простоволосая, зубы растеряны, осталось всего двенадцать, худая, измученная. Едет в Болгарию. Куда? На какой срок? Все утешают, и мы играем в игру: «на три года, на три года», «паспорт выдан на три года», «Димитров сказал, можно будет вернуться через год, чтобы дать Здравко защитить докторскую». Еще Владик, мой двоюродный брат. Он очень тихий, очень внимательный. Но от его внимания как-то неудобно.

– Как строго держит Тася Владика, – говорит мама, – как же это возможно! Неужели он ее так боится? У парня сорвали мальчишки шапку с головы, она упала в Москву-реку. Так Владик по берегу, почти отвесному, по скользким камням полез вниз к реке, чтобы выловить шапку. А если бы упал в реку? Неужели так боится матери?

В голосе недоумение. Когда я прихожу к ним, прежде всего разглядываю Владика. Лицо у него немного искривлено, я знаю – это во время войны ему перерезали нерв, когда делали трепанацию черепа. К Владику осторожное, нежное чувство. Мама встречается с Тасей спустя 15 лет – последний раз это было в Ахтырке в 1931 году, а с Жоржиком последний раз – в 1940-м. Папа их видел совсем недавно: когда прошлой зимой приезжал в Москву из Астрахани, останавливался у них. Стелили ему на полу. Голова находилась под столиком, за которым сейчас все

сидят. Ноги тянулись через всю комнату, аж до самого коридора.

Дядя Жоржик чем-то неуловимо отличается от окружающих меня людей. Он спокоен, и около него покой. Несмотря на то что поет, шутит, смеется – около него покой. А папа – возбужденный и радостный, как никогда. Мама притихшая, совсем притихшая. Она едет следом, едет в чужую страну, где нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни Лели. Едет, потому что теперь все равно куда – лишь бы вместе. И пока еще не ломит сердце. Пока только волнение и загадки, как это будет. Это потом начнется мучительная ностальгия. Мучительная до такой степени, что папа, избалованный маминой заботой, сам ежегодно будет отпускать маму на несколько месяцев в Россию ко мне.

В малюсенькой комнате стоит высокая пружинная кровать, маленький диванчик и маленький столик между ними. В этой малюсенькой комнате дядя Жоржик с семьей прожил несколько лет, несмотря на то, что в Киеве у него была огромная пятикомнатная квартира в академическом доме на Тимофеевской. Там жили старики – бабушка, дедушка и отец тети Таси – Иван Петрович Стеллецкий. В то время дядя Жоржик был директором двух институтов – в Москве и в Киеве – и половину времени проводил в Киеве. Он очень хотел остаться в Киеве, но в Москве работа наладилась быстрее, пошли эксперименты, и они остались в этой малюсенькой комнате на несколько лет, пока не переехали, сначала на Можайское шоссе, рядом с кинотеатром «Пионер», а в дальнейшем на площадь Восстания, в высотный дом. В этой малюсенькой комнате мы проводим время по вечерам. Приносим в подарок «балык» – какой-то квадратный кусок, завернутый в вощеную бумагу. Режут, кусочки прозрачные. Я не знаю, что это такое. Но все говорят: «Ах, балык!» Кажется мне, что больше всех рад папа. Мне и Вовке не достается. Помнится, перед отъездом из Астрахани говорилось: «Жоржику – балык». В дыму от сигарет за столом сидят четверо взрослых. Папа и дядя Жоржик курят сигарету за сигаретой, Жоржик поет. Почему-то от папиных и маминых песен всегда грустно, а от этих песен – весело и хочется смеяться и подпевать. Папа подтянутый, веселый, молодой, с погонами подполковника, с Красной Звездой и с медалями на груди.

А мы втроем сидим на высокой кровати; мы с Владиком раскрашиваем картинки, которые купил папа, отгадываем загадки. С той же кровати я, потеряв голову от страха, выскочила за дверь и помчалась по опоясывающему здание коридору. Забежала в неизвестное мне место, к неработающему лифту. Вцепившись руками и уткнувшись головой в сетку лифта, молилась:

– Господи, дорогой Бог, сделай так, чтобы Вовка не умер! Сделай так, чтобы Вовка не умер!

А дело было так. Вовка – «очень шустрый», как говорил, посмеиваясь, дядя Жоржик – от скуки кувыркался на кровати туда-сюда. Все более входя во вкус, не рассчитав, он быстро перекувырнулся, вылетел из кровати, перелетел через спинку… и попал головой в кастрюлю с борщом, стоявшую за кроватью. Вверх ногами, с кастрюлей на голове, Вовка замер в испуге. Все повскакали с мест, а я вылетела в коридор. Когда я вернулась, в комнате все еще продолжали смеяться.

Вовка упорно продолжал осваивать цивилизацию. Здесь, в гостинице, он впервые увидел отдельную ванную комнату, стены которой покрывал блестящий белый гладкий кафель.

Он старался понять, каким образом кафельные плитки держатся на стене, и проявил завидное упорство в достижении этой цели.

Ответ пришел сам, когда плитки одна за другой начали отваливаться. Тогда же Вовка впервые сел в машину – у дяди Жоржика была «Победа». Помню поразившую меня реакцию брата: шофер притормозил у трамвайной остановки, все головы из окон вагонов посмотрели на нас, сверху вниз. Вовка скатился на пол и закрыл голову руками. Это было для меня неожиданно и до сих пор непонятно. По моим представлениям, он должен был гордиться. Тогда же, в машине, несмотря на застенчивость, он успел мимоходом открутить плафон с потолка.

– Когда успел? – крутил головой с насмешливым удивлением дядя Жоржик.

Что еще вспоминается?

Сквозь толпу людей, спешащих вверх, мы спускаемся к Центральному телеграфу, заворачиваем на улицу Грановского, идем узкой пустынной улочкой и останавливаемся у ворот высокого дома. У входа стоит солдат. Мы входим во двор дома, где живет тетя Варя.

Тетя Варя, именем которой папа в открытках военного времени шифровал немцев, пережила блокаду, приехала на время из Ленинграда и сейчас живет в полуподвальном этаже – «но есть, Верочка, все удобства и даже ванна. А наверху живет Буденный». Дядя Леля, сын тети Вари Емельян Николаевич Лазарев, – полковник, сейчас в Германии, он там комендант города, и тетя Варя собирается к нему. Эта ее поездка, вероятно, сыграет не последнюю роль в аресте дяди Лели в 1948 году. Мы ходим к тете Варе только с мамой.

Тетя Варя острит, смеется, угощает чаем из тонких, саксонского фарфора, чашечек и с комическим удивлением

предполагает, что делает Буденный в своих двадцати четырех комнатах.

– Бесконечный топот, много детей, что ли?

Кажется, тогда всплывал разговор о будто бы зарубленной Буденным его первой жене. Якобы примчался разгоряченный с боя: «Ах, нет щей»? И шашка сверкнула, и голова покатилась. Возможно, это я позже услышала в Болгарии. Но что-то такое было и в разговорах тети Вари. Недавно рассказывали по телевизору: в то время, в 1945-м, Буденный жил с горячо любимой и преданной женой. А до этого было что-то. Сказали: первая жена сама застрелилась, вторую сам отвез на Лубянку. Может быть.

Папа прощается с Россией. Привез из Ленинграда оставшиеся там книги, в том числе Большую медицинскую энциклопедию, а мама ходит на базар, скупает книги – Большую советскую энциклопедию, еще первого издания, красную; покупает книги Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, сборник русских поговорок, песен и даже два тома прекрасно изданного еще в тридцатые годы Шекспира в переводе Лозинского. Папа прощается и старается как можно больше показать нам, детям.

В один из воскресных дней мы едем на край Москвы, пытаемся попасть в домик в Филях. Папа показывал Поклонную гору, говорил про Кутузова, Наполеона. С воодушевлением рассказывал про совет в Филях накануне сдачи Москвы. Почему-то то время ощущается очень близким. Домик был закрыт, окна заколочены; заглядывая в щели на окнах, пытаясь хотя бы что-то разглядеть, папа рассказывал:

– Мальчишка твоих лет свесился с печки и слушал военный совет, видел Кутузова и всех генералов, присутствовал при историческом решении сдать Москву.

Я ходила следом и не понимала – то ли папа завидует этому мальчишке, то ли хочет, чтобы я сама завидовала.

Запомнилось и посещение Парка имени Горького. Ничего смешнее «комнаты кривых зеркал» я до тех пор не видела. Мама в комнату не пошла, а папа быстро прошел и вышел. Мы же с Вовкой корчились, хохотали, передразнивали друг друга…

И еще запомнилось колесо обозрения. Мама осталась внизу, мы втроем – папа с Вовкой и я напротив – уселись в кабину. Колесо завертелось, и мы в сумерках медленно начали подъем. Перед нами вставала вечерняя Москва.

– Смотрите, запоминайте, – говорил папа. – Вон внизу река. Вон – Кремль. Красота! С высоты птичьего полета!

Папа прощался.

В последний вечер дядя Жоржик с папой хорошо выпили.

Весело пели песни, и с особенным чувством: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех…»

Я принимала это за неоспоримую истину, как и все сидящие за столом.

Выйдя на Красную площадь, папа пустился в пляс. В длиннополой шинели, руки по швам, он широким шагом, лицом к Кремлю, поскакал по площади в одну сторону:

– «Дворник улицу метет» – это раз-два-три!

– «И какую-то там песнь поет» – это трам-пам-пам. – И поскакал в другую сторону, к нам.

Опять от нас – руки по швам, лицом к Кремлю – быстро поскакал к Историческому музею.

– Здравко, Здравко! – кричала мама. – Милиционер! Тебя заберут!

Но не забрали, даже не свистнули. Папа вспомнил молодость. Папа прощался. Он улетал, а мы должны были через несколько дней ехать поездом. Помню, папа опасался лететь на самолете. Незадолго до этого самолет с деятелем, наиболее близким папе из болгарского руководства, Станке Димитровым (псевдоним Марек)[15] разбился, так и не долетев до Болгарии.

«Еще до отъезда в Болгарию мне вручили орден Красной Звезды, медали и присвоили звание подполковника».

В Болгарию, из которой бежал в 1927 году на пароходе, вцепившись в якорь, *«сиромах»* – несчастный, сирота – возвращался советский подполковник медицинской службы. На заграничном советском паспорте папа снят в военной форме.

А мы через несколько дней вошли в купе, столь заваленное ящиками с книгами, что не только негде было спать – негде ногу было поставить. Мама в растерянности остановилась в дверях.

– Ничего, ничего, сейчас как-то разберутся, – утешал носильщик.

– Какие вы богатые, – говорили другие, – это же надо, столько вещей.

Мы везли медицинскую литературу, что подарил папе его однокурсник, генерал-полковник медицинской службы Смирнов, и ящики с лекарствами. Действительно, еще до отхода поезда как-то разобрались, и в купе даже смогла зайти тетя Тася с коробкой шоколадных конфет. Она сидела рядом с мамой. Мы с Вовкой крутились возле коробки конфет. Мама, в мопровском пальто, растрепанная, плакала. Тетя Тася утешала. Но я видела, что она очень далека от маминых переживаний. Потом стояла на платформе – высокая, худая, элегантная, недосягаемая, в темном пальто и маленькой шляпке. Тетя Тася умела подводить черту. Мама, прильнув к окну, смотрела не отрываясь. Жоржик не

пришел.

Поезд тронулся, и мы поехали в неизвестную Болгарию.

Часть 4. Возвращение в Болгарию

Нашли они желанный брод
И видят брег в пурпурной позолоте…
О, вера светлая в новую жизнь,
Как согреваешь и возвышаешь ты сердца!

Димчо Дебелянов (1887–1916), известный болгарский поэт

Царская Болгария. – Старые товарищи папы. – Наш с мамой приезд в Софию. – Возвращение политэмигрантов из СССР. – Учеба в школе при советском посольстве. – Референдум о форме правления. – Провозглашение республики. – Вывод советских войск из Болгарии. – Гимназия. – Папины родственники. – Отношение к русским. – Смерть Димитрова. – Процесс Трайчо Костова. – Первые годы социалистической Болгарии.

«Когда в 1929–30 гг. проходила вторая генеральная чистка партии, я был на втором курсе Военно-медицинской академии. Председателем комиссии по чистке партии в академии был старый большевик. Сделав разбор моего прохождения партийной чистки, он заключил:

“Товарищ Мицов сейчас учится у нас, а когда закончит, он уедет к себе на Родину и там будет проводить наше правое дело”».

Откуда у председателя комиссии в начале 1930-х была такая уверенность? На мой взгляд, до войны ничто не говорило о возможном возвращении папы на Родину. Но теперь, в 1945-м, после победы, предвидение старого большевика осуществилось.

…15 октября 1945 года самолет с папой и несколькими советскими партийными работниками приземлился в Софии, в аэропорту «Враждебна». Я не знаю, что чувствовал папа, возвратившись на свою родину спустя двадцать два года, но, без сомнения, в его памяти воскресли двадцатые годы, аресты, допросы, пытки в Дирекции полиции, тюрьма… Болгария еще монархия, в стране малолетний царь Симеон. Правда, после свержения монархофашистской диктатуры 9 сентября 1944 года

действует правительство Отечественного фронта, но среди его членов много оппозиционеров. Так, например, военным министром является Дамян Велчев (который активно участвовал в белом терроре в двадцатые годы, с 1923 года состоял в Центральном правлении Военного союза): по его приказу действовал известный каратель капитан Кочо Стоянов. Повернув болгарскую армию против Гитлера, когда войска 3-го Украинского фронта вошли в Болгарию, Велчев издал распоряжение о реабилитации бывших карателей, при условии, что те примут участие в борьбе против фашизма и перейдут под оперативное руководство 3-го Украинского фронта. И хотя это распоряжение уже несколько месяцев как отменено, в то время, как папа сходит с трапа самолета, почти все офицеры из карательных групп 1925 года вернулись с фронта, живы и состоят на военной службе. (Показательный судебный процесс против большинства карателей состоится лишь в 1954 году.)

А 15 октября 1945 года папа в светлом габардиновом плаще, подпоясанный широким поясом, спускается по трапу, замечает на летном поле много людей с лентами «Н.М.» («Народная милиция») на рукавах, протягивает заграничный паспорт подполковника Советской Армии. Вместе с советскими партийными работниками он стремительно направляется к ожидающей их машине. Куда? Конечно, в ЦК БКП. Там он передает специальные поручения ЦК ВКП(б) товарищу Трайчо Костову[16]. В ЦК напряжение постепенно стихает, здесь его окружают старые знакомые – Рубен Аврамов, Елена Димитрова[17], Люба Терпенчарова[18] и многие другие, те, с которыми виделся в последний раз еще в 1920-е годы. Они хлопают папу по плечу, засыпают вопросами. Делятся своей радостью – наконец-то на Родине они могут приложить свои знания и опыт для осуществления той цели, во имя которой отдано столько сил и молодых лет!

Много лет спустя папа напишет:

«Социалистические принципы в лечебном деле Болгарской Народной Армии (БНА) были проведены коллективом болгарских врачей, вернувшихся из СССР, – генералами Петром Коларовым, Августом Мильчевым, Иваном Мариновым и мной. Этот коллектив коммунистов провел энергично организационную, лечебно-профилактическую, учебную и научную работу в БНА, заложил начало в создании новых военно-медицинских кадров».

…Мы с мамой ехали в Болгарию 11 дней. Часто стояли на полустанках, пропускали составы с вагонами; из вагонов, сквозь решетки под самой крышей, выглядывали молодые лица. Не сразу мы поняли, кто там. Мы им махали, что-то кричали – видели:

солдаты возвращаются домой. Вступали в разговоры.

– Власовцы! – крикнул кто-то. – Это власовцы!

И тут мы увидели – через весь вагон крупными буквами мелом написано: «Власовцы».

И все! С сочувствием было покончено. Каждый ребенок тогда знал, что это такое. Предатели! Предатели! – однозначно и никаких сомнений. Впрочем, мама, кажется, испытывала жалость к молодым ребятам. Во всяком случае, я не помню ни слова осуждения в их адрес. А они из вагонов глядели на нас, выкидывали белые, туго свернутые бумажки. Не помню, чтобы кто-то их поднял. Одного парня я запомнила на всю жизнь. Молодой, русый, круглолицый, он внимательно и молча глядел на меня сквозь решетку. А я на него.

Поезда, наполненные власовцами, все шли и шли мимо. Охраны возле вагонов я не помню. «Родина ждет вас! – говорили им советские офицеры там, за границей, в лагерях для военнопленных, освобожденных американцами и англичанами. – Ваши семьи ждут вас!» И пленные верили, выходили из строя и садились в вагоны. На станции Негорелое, именно там, где папа в 1927 году бросился на шею пограничнику Страны Советов, их пересаживали в теплушки, запирали и везли на Колыму и в другие подобные края…

Спустя сорок четыре года после этой трагической встречи в Черноголовку из Америки приехали русские эмигранты первой волны – несколько взрослых и с ними ребята-скауты. Нам позвонили из гостиницы и сказали, что женщина с ребенком отстала от группы, и спросили, не знаем ли мы, куда отправилась группа. Мой муж Володя знал: группа находилась в соседней деревне, где в церкви служили молебен. Женщину эту звали Маша Потапова, она была женой настоятеля русской церкви в Вашингтоне, Виктора Потапова, который долгое время работал на радиостанции «Голос Америки».

Еще по дороге к нам Маша упомянула фамилию Голицыных. Володя ответил:

– Вот мы идем к нам в дом, а там на кухне сидит тоже княжна Голицына (жена нашего сына Сережи).

Маша, конечно, не поверила и, возможно, заподозрила, что это происки КГБ. Какая княжна? Да еще Голицына? Может ли быть такое совпадение? Оказалось – может. Но еще долго, несмотря на то, что наша Аня называла родственников, Маша Потапова не верила – это ясно было написано на ее лице. Только после того, как Аня упомянула тетю Лину, сестру своего деда, Сергея Михайловича Голицына, Маша дрогнула. Тетя Лина (Александра Михайловна Осоргина) была и ее тетей. Муж Маши –

Виктор Потапов – родился в лагере для военнопленных, в Германии. Отец его, власовец, по счастливой случайности не был передан нашим войскам, а оставлен в лагере и потом оказался на американской территории. Позже я, будучи в Америке, познакомилась с Виктором Потаповым. Высокий, прямой, стройный, очень строгий, голубоглазый. Он сам был похож на генерала.

Тогда, в 1989-м, нам было странно и даже возмутительно слышать от Маши, что власовцы воевали не против России, своей родины, а против Сталина, а значит, освобождали страну от коммунистов. По нашей кухне летали искры, когда Аня, я и Володя отстаивали с детства усвоенную истину: Власов – предатель. Сейчас я имею большее представление о трагедии, происходившей тогда, в 1941 году, на Волховском фронте. Но чего не могу до сих пор принять, с чем абсолютно не могу согласиться – это как можно было русским солдатам в 1944-м сражаться на стороне немцев? Я очень хотела съездить в Новгородскую область, похоронить хотя бы одного погибшего солдата, забытого среди болот. Я верю: пока остается непохороненным хотя бы один павший герой, не будет мира в нашей стране. И еще я слышала, что там, на полях сражений осени сорок первого, где лежат кости молодых русских парней, небо особенное. Побродивший по тем болотам уже никогда не забудет трагических судеб попавших в окружение… А осенью сорок пятого те, кто уцелел, ехали мимо нас в заколоченных вагонах с решетками на маленьких оконцах, с огромной, мелом по всему вагону, надписью: «Власовцы».

По дороге в Болгарию произошла невероятная встреча, явно посланная маме свыше. В тот раз состав остановился не на полустанке, а в поле. Мы стояли у открытого окна. Широко расстилалось перед нами поле, вдаль, извиваясь, уходила проселочная дорога. По дороге ехала телега. На телеге, свесив босые ноги, сидел седоватый мужчина в белой нижней рубахе. Вдруг мама рванулась и побежала по вагону с криком:

– Радайкин, Радайкин!

Осторожная мама, постоянно боявшаяся опоздать на поезд, соскочила со ступенек и побежала, не оглядываясь, к телеге.

– Сергей Дмитриевич! Сергей! – кричала всегда сдержанная мама.

Она подскочила к Радайкину и повисла, рыдая, у того на шее. Вся прошлая довоенная жизнь, довоенное счастье, были сейчас сосредоточены в этом человеке – в белой рубашке, с босыми ногами. Мама прощалась с прежней жизнью, прощалась с

родиной, оплакивала четыре года войны.

– Это ваш муж? – набросились на нее попутчики.

– Нет, знакомый.

Ах, мама, мама! Очень рано она причислила себя к пожилым, очень рано попрощалась с молодостью – ей было в сорок пятом немногим более сорока. Часто мама говорила, что некрасивые женщины к старости хорошеют. Естественно, думала я – они всю жизнь привыкли сражаться за свою привлекательность, это в крови. Мама, даром получив все, этого навыка не имела. Она знала, что такое красота, она обладала ею в полной мере, и сохранять жалкое подобие той, прежней, ей было не нужно и смешно.

Мы ехали и ехали, я не очень понимала куда. Болгария неотчетливо представлялась в виде коричневого небольшого коробка. Из чего ткалось такое странное представление? Во-первых, у меня каждое слово имело свой цвет: Болгария – коричневый, Россия – красный, Ленинград – темно-красный, поезд – черный и т. д. Во-вторых, из разговоров я выяснила: Болгария маленькая-маленькая. И вот в представлении смутно вырисовывалось нечто вроде ограниченного коричневого коробка – довесочка к красной России. Настроение было праздничное, в воздухе висело: едем в Болгарию, которая «хороша страна», там наша армия, и там папа строит «новую жизнь». Болгарин – это было как профессия: врач, военный, болгарин…

Однажды я увидела, как из соседнего вагона вышел высокий черноволосый парень, стал перед нашим окном и начал делать на перроне зарядку. Я смотрела на него с уважением. Глядя на то, как он легко сгибается, как выкладывает легко всю кисть перед собой, я думала, что он не ровня мне – я девчонка, совершенно необразованная, передо мной парень, который и образован, и умен, и красив.

– Да это, вероятно, Милен Иванов, – сказала мама.

Он ехал со своей старшей сестрой Майей. Это про них папа писал в письме из Москвы перед началом войны: *«В Москве был у Ивановых. Он отсутствовал всего 3,5 месяца* (сидел в тюрьме. – *И.М.), но нужно сказать, что живут они очень хорошо. Самое важное, что дети очень хорошие у них выросли, блестяще воспитаны, абсолютные отличники. Мальчик играет на скрипке и пианино, девочка на пианино. Играли мне увертюру Глинки “Руслан и Людмила” в четыре руки. Замечательно хорошо».*

Я и вообразить не могла, что всего через пять лет этот парень будет влюблен в меня, летом будет приходить к нам каждый день, зимой писать письма из Москвы, где он учился в Энергетическом институте. Отец Милена, Иван Маринович Иванов, был старше

папы на десять лет, он эмигрировал в Грац в 1923 году, после Сентябрьского восстания. Поразительно, сколь могучая группа болгарских студентов-антифашистов собралась в Австрии в начале двадцатых годов! В 1925 году Иванов был переправлен в Союз, следом за ним была переправлена и его жена Веселина. Закончил 2-й Московский медицинский институт, был призван в РККА, проходил переподготовку в ВМА, в Ленинграде, после чего работал врачом и начальником специальной лаборатории в Военно-химической академии им. К. Е. Ворошилова. Отец Милена узнал о нападении Германии одним из первых в Москве. Утром 22 июня 1941 года Иван Маринович включил радиоприемник – это уже само по себе поразительно: у всех наших знакомых были только черные «тарелки» – громкоговорители. Он «случайно» попал на немецкую волну, услышал шумные рукоплескания и голос Гитлера: «Через несколько дней мы будем в Москве, и Россия будет уничтожена». Речь Молотова он слушал, уже зная о начале войны. Иван Маринович всю войну пробыл в Болгарии. Его переправили туда на подводной лодке «Щука-211» из Севастополя 7 августа 1941-го, вместе с еще четырнадцатью болгарами. Вернулся Иван Маринович в Москву уже в декабре 1944 года, после освобождения Болгарии. Сделал подробный доклад Димитрову, а в мае навсегда покинул Советский Союз и вернулся в Болгарию, где со временем занял руководящий пост. И вот в октябре 1945 года мы вместе с его детьми едем в Софию. Кажется, жена его к тому времени умерла, но точно не помню. Помню только неодобрение и упреки в ее адрес за то, что, будучи больной туберкулезом, голодая, она все же не продала пианино. Или, может быть, голодая, она купила хорошее пианино. Запомнилось это благодаря пианино. Я взвешивала: а как бы я поступила? Я была на стороне матери Милена – пианино было несбыточной мечтой.

Через пять лет в Софии, в 1950 году, Милен много играет у нас на пианино. Я счастлива. Потом мы идем в парк, что напротив нашего дома, Вовка идет за нами, я не вижу ничего в этом странного. Но Евгения Ивановна, мамина близкая приятельница, говорит:

– Вера Вячеславовна, ведь им хочется побыть одним.

Мне вовсе не хотелось. Но Вовка с тех пор не ходил за нами. Когда Милен как-то поцеловал меня в щеку, я осталась совершенно равнодушной, и Милен сказал:

– Значит, еще не настало время.

Жизнь прошла, осталась память, а моя молодость, вероятно, началась с того времени, когда я увидела на каком-то полустанке Милена, делающего зарядку перед нашим окном.

…Итак, мы пересекли румынскую границу. Мы долго удивлялись странностям румын: ездят в вагонах, где верхние полки – маленькие сетки! В голову не приходило, что они для багажа.

– Для детей, что ли? – недоумевали мама и наша соседка Карпачева, тоже русская, ехавшая в Болгарию к мужу, который был, кажется, прокурором. Пробовали и так и этак уложить Вовку и его ровесника Мишку Карпачева. Постелили что-то мягкое, устроили наподобие люльки – ничего из затеи не вышло. Пришлось разложить наши ящики с книгами между сиденьями, и мы все улеглись вповалку.

Переехали на пароме Дунай (тогда мост еще не был построен) и остановились в городе с ласковым названием Русе.

– А первые поезда встречали тортами, цветами и оркестром, – сказала крашеная полная блондинка, выглядывая из окна соседнего купе.

Нет, нас никто не встречал. Крытый темный перрон был пустынным. Вечером того же дня мы были уже в Софии.

Первые несколько дней мы с мамой жили на бульваре Царя-освободителя, в невиданно большой квартире, хозяева которой бежали в 1944 году. В этой квартире временно поселили несколько семей политэмигрантов. Папа ночевал в другом месте. По вечерам он забегал к нам, мы выходили на улицу, осторожно делали несколько шагов по темному бульвару, оглядывая незнакомый город. Прохожих не было. Шли мимо университета, большого белого здания, на котором читались написанные славянской вязью слова: «Климент Охридский», доходили до площади, вымощенной желтой, блестящей в полутьме брусчаткой, в центре площади возвышался на коне император Александр Второй. Шли обратно, проходили мимо нашего дома, стоявшего в глубине маленького садика, доходили до Орлова моста через канал. Дальше начинался парк Борисова Градина. Странное чувство, что началась новая неизведанная жизнь, где все разрешено, где нет законов, меня не оставляло.

Однажды вечером мама припала к окну:

– Пьяный!

Непонятно, чего в крике было больше – тоски по знакомой картине или удивления. На крик собрались все женщины, толпясь, смотрели, как под развесистыми каштанами в темноте шел, покачиваясь, хорошо одетый мужчина.

– Как у нас! Может, наш? Как хорошо одет! Да, как хорошо одет! Совершенно пьяный! Еле идет!

Вскоре мы переселились на чердачное помещение массивного мрачного здания, где располагался ЦК БКП, на улице со

странным для меня названием Врабче. Скрытой угрозой веяло от здания. Ощерившаяся крепость, с редкими окнами на первом этаже, с военным, похожим на рыцаря в доспехах, на выступе, с зарешеченным парадным, выходящим сразу на две улицы. У входа стоял часовой. В обед мы втроем – мама, Вовка и я – спускались во внутренний двор. Длинный, наспех сколоченный стол заливало яркое солнце, и сплошная улыбка черноволосых низкорослых девушек и плотных ребят. До сих пор помню неповторимый вкус болгарской яхнии, с обильной подливкой, которую ели, макая туда куски белого пышного хлеба, и вкус чуть подпорченного необычайно сладкого, янтарного винограда, лежащего в небольших открытых ящиках, поставленных друг на друга. Я поглядывала на улыбающихся, куда-то спешащих ребят свысока, чувство превосходства владело мной. Я была из страны, которой все восхищались.

Папа с нами не обедал. Он обедал в столовой ЦК, размещавшийся в самом здании. В этой столовой происходили долгожданные необыкновенные встречи. Ведь все приехавшие были связаны по подполью, связаны событиями 23-го года, и вот теперь, возмужавшие, постаревшие, прошедшие колоссальную школу жизни, они обнимали друг друга на освобожденной родине. Там впервые со дня начала войны встретился со своими сыновьями полковник Красной армии Атанас Атанасов. Сыновья – Виктор и Эммануил (старшие братья моей самой близкой впоследствии подруги Нади) – исчезли из дома в начале Великой Отечественной войны и всю войну служили в технических подразделениях, обеспечивавших бесперебойную работу аэродромов, одно время соседствовали с эскадрильей «Нормандия – Неман». Рожденные в Советском Союзе, с ярко выраженной русской внешностью (мать Людмила Кирилловна – русская), они так выделялись среди собравшихся в столовой, что однажды Георгий Димитров подошел к ним и спросил, кто они и откуда. «Орлы, орлы», – сказал Димитров.

Сейчас я вижу, как организованно и продуманно начинала создаваться новая социалистическая Болгария. Еще зимой 1944 года по распоряжению Димитрова со всех фронтов начинают стекаться в Москву болгары-эмигранты, находившиеся в действующей Красной армии. Среди них полковник Дяков Матей (Иван Матвеевич Михайлов), майор Август Кабакчиев, Захари Захариев – летчик, Герой Советского Союза, воевавший в Испании, Никола Христов Ходжейков, майор Петр Коларов, сын Василия Коларова, полковник Петр Панчевский, полковник Асен Греков, он же Владимир Григорьевич Нилов, полковник Иван Кинов, он же Иван Афанасьевич Черкезов, – именно ему

Димитров ставит задачу: не допустить ни одного выстрела со стороны болгарской армии против советских войск (что и было выполнено). Все появляются в Болгарии или 8 сентября 1944-го, с бойцами 3-го Украинского фронта, или чуть позже – осенью 44-го, весной 45-го. Все объединены одной целью, преданы единой идее. Военная верхушка впоследствии будет состоять из тех, кто окончил в двадцатые годы Академию имени Фрунзе в Москве. Сознание силы давало новую жизнь, возможность реализации их давнишних целей. Теперь возникали дела и заботы, которые в молодости были отложены на завтра – на будни. И вот теперь наступили эти будни, но каким прекрасным временем оказывались они!

Что испытывала я, оказавшись вместе с папой, но в стране незнакомой, чужой?

Помнится, что во время оккупации стояла передо мной картина белой застывшей земли, будто вместе с зимой застыл Рыльск и наша жизнь остановилась. Сейчас – напротив: под полом нашего чердака бурлило, кипело, мне казалось, весь дом содрогался от напряжения. За нашими стенами строилась новая страна. В осажденной крепости молоты ковали железо – так воспринимается мной жизнь в доме ЦК.

Папа очень скоро появился на нашем чердаке в незнакомом мундире неприятного серо-зеленого цвета, напоминавшем немецкий, с аксельбантами и кортиком, на лезвии которого по-русски было написано: «Съ нами Богъ». Этот кортик хранится у меня до сих пор.

Долго мы разглядывали его вид на жительство («карту») – зеленоватый, из плотной гербовой бумаги прямоугольник с фотографией папы и его именем: «Здравко Василев Мицов». Внизу было темное пятно – отпечаток пальца.

– Как у преступника, – сказала недовольно мама, брезгливо разглядывая «карту».

Вскоре такую же «карту» получила и мама. Мы стали именоваться советскими гражданами с постоянным местожительством в Болгарии.

Узнав, что папа стал полковником, тут же предложила перейти обратно в Советскую Армию – я была уверена, что при переходе из армии в армию автоматически повышают в чине.

– Нет, – сказал папа, смеясь, – это не так просто.

Папа пропадал на работе все дни. Смутно вижу иногда по вечерам склоненную фигуру над самодельным столом, в углу нашей чердачной комнаты. Чаще я засыпала еще до прихода

папы.

Что же сделал папа в ту первую зиму, когда только-только начиналось становление нового государства? Засучив рукава, он занялся подготовкой и перевоспитанием медицинских кадров. Щедро, с отчаянным упорством передавал свои знания, свой опыт малограмотным, необразованным, часто реакционно настроенным соотечественникам. Уже в ноябре *«я начал курс по военно-полевой медицинской доктрине личному составу санитарного управления болгарской* (еще царской – *И.М.) армии».*

«Для расширения и утверждения этой новой для Болгарии доктрины я основал журнал "Военно-санитарное дело", позже переименованный в "Военно-медицинское дело" (бессменным редактором журнала папа будет на протяжении первых десяти лет). *Я также организовал издание в переводе на болгарский язык серии книг "Военно-медицинская библиотека", которые раскрывали сущность советской военно-медицинской доктрины».*

В этой серии вышли десять книг по списку, утвержденному Главным военно-санитарным управлением (ГВСУ) Красной армии. В числе этих книг были: «Основы организации и тактики медицинской службы» Е. И. Смирнова, «Основы организации и тактики медицинской службы действующей армии» М. И. Гурвича, «Медицинская служба войскового района» А. С. Георгиевского, «Военная гигиена» Короткова, «Медицинское снабжение армии» Хренова, «Военно-полевая хирургия» Еланского, «Военно-медицинская экспертиза» Молодцова и др.

«Монографию по военно-полевой терапии я написал сам.

…Одновременно я проводил (только с коммунистами) курс по марксизму-ленинизму на тему "Партия нового типа"».

Сразу по приезде папа привел меня в школу при советском посольстве. Там, сидя в кабинете, он, улыбаясь, показывал наш заграничный советский паспорт, убеждал директрису взять меня в четвертый класс, несмотря на то, что до конца четверти оставалась неделя, не больше.

– Хорошо, – наконец согласилась директриса, – с испытательным сроком.

Вскоре к нам в класс зашел мужчина в штатском.

– А это кто? – указал он на меня.

– Дочь военврача Мицова, – ответила директриса.

Мне не понравился ответ, была неосознанная уверенность, что папа гораздо больше, чем просто военврач. В конце четверти мне выставили по всем предметам тройки, но в классе оставили.

Я невероятно болезненно переживала необходимость ходить в школу. Самым счастливым днем была суббота, а самым

страшным временем – вечер воскресенья. Однажды воскресным вечером, мучимая страшной тоской, я встретила на бульваре мою одноклассницу – уверенную в себе Клару Волкову. Она была отличница, хотя казалась мне недалекой. Возможно, это все усугублялось впечатлением, которое производила ее мать Анна Федоровна. Небольшого роста, шариком, она приходила в школу в домашнем платье, на школьном дворе громко рассказывала нам, четвероклассницам, какой у нее муж красавец («болгарские мужчины – красивы»), как они (где, когда?) после долгой разлуки встретились:

– Девчонки высунулись из вагона, сгорают от любопытства, как будем целоваться, а мы просто подошли друг к другу и пожали руки. Вот так. Никаких сюсюканий.

Вроде и не глупость, но то, как она рассказывала, с каким самодовольством и, главное, кому – четвероклассницам! – все выглядело глупо.

– Инга, Инга, – закричала Клара. – Завтра придешь?

Она бежала навстречу, хорошо одетая, радостная, плотненькая, с накрученными вокруг ушей косичками. До сих пор помню сразившее меня удивление – как можно быть такой беспечно-радостной, когда завтра предстоит идти в школу?

Я не покидаю парты во время перемены, мне страшно сделать шаг по классу. Сижу как приклеенная. У всех какие-то невиданной формы карандаши: маленькие, пузатенькие, с мохнатой кисточкой на конце. У всех – и особенно у этой Клары – необыкновенной красоты пеналы. Там все пишут друг другу в альбомы стихи и рисуют.

– Альбомы? – переспрашивает мама. – Раньше ими увлекались уездные барышни. Неужели все вернулось?

Я, конечно, тоже пишу всякую ерунду в их альбомы изломанным, некрасивым почерком, испытывая отвращение к написанному. На последней странице, в самом углу, пишу: «Кто любит более меня, пусть пишет далее меня». Если это место занято, я заворачиваю уголок на любой странице, пишу: «секрет», а внутри – все то же объяснение в любви. Ни писать красиво, ни рисовать я не умела, как не умела и ничего выдумывать.

Потом и я, конечно, завела альбом в пухлой, будто под нее была подложена вата, отвратительного розового цвета обложке, с голубыми в разводах страницами. На первой странице надлежало что-то нарисовать, я долго думала и нарисовала по линейке нечто подобное коробке. Раскрасила в коричневый цвет.

– Мама, как писать, конфеты или конфекты?

Откуда «конфекты»? Не помню, чтобы так говорили в Рыльске, но, значит, кто-то говорил. Вероятно, бабушка. Мама

отвечает:

– Раньше говорили – конфекты, теперь – конфеты, можно и так и так.

И я пишу на кривом параллелепипеде большими буквами «конфекты» и вижу, до чего это безобразно.

Из небольших окон под самой крышей, где все время гугукали голуби, я смотрела по вечерам в окна противоположного дома. Чужая шикарная жизнь открывалась мне – приглушенный свет лампы под абажуром, девушка в воздушном пеньюаре, расчесывающая черные блестящие волосы, отсвечивающее большое зеркало, разобранная большая кровать и… все? Все. Девушка вставала из-за столика, подходила к окну и недовольно задергивала плотные шторы.

Жизнь в доме ЦК шла своим чередом. Той зимой мы жили очень тихо, папу почти не видели, существовал только переулок Париж, где находилась наша школа, и этот серый дом.

Вовка целыми днями бегал по зданию со своим приятелем Андрюшкой Лукановым, сыном Карло Луканова, в закрытой для посторонних половине, выходившей во двор. Потные, красные, они, запыхавшись, забегали на минуту в нашу комнату что-нибудь схватить поесть и бежали дальше. Мама жила потихоньку, отходя от пережитых потрясений и еще не веря, что начинается совершенно иная жизнь. Заботой ее было накормить нас, за руку отвести Вовку в школу и забрать оттуда. Все первые три года, где бы мы ни жили, мама дважды проделывала этот путь в школу – отводила, потом забирала.

Я старательно делала уроки, становилась отличницей, читала… и все время слышала гул, сотрясающий стены. Однажды я спустилась вниз, завернула за угол и оказалась в незнакомом месте. Я попала в комнату, где сидело много девушек – это была телефонная станция ЦК. Все девушки были в наушниках, перед ними была стена, утыканная гнездами, куда они то и дело вставляли какие-то шпульки. Девушки непрерывно что-то говорили в трубки, слушали, быстро переставляли шпульки из одной ячейки в другую, и по молниеносно мелькавшим рукам, отрывистому говору можно было судить о напряженной работе в доме.

Однажды на чердаке вдруг появился незнакомый человек, непохожий на озабоченных людей вокруг, от него веяло радостью и добротой. Черноволосый, с усами, белозубый, он стоял и улыбался, а в руках держал ящик с лимонами. Я даже испугалась – одна белозубая улыбка среди черных усов. Дядя Петр – муж тети Оли, папиной сестры, – был первый человек «с воли»: из страны, в которую мы приехали, но о которой не имели ни

малейшего понятия. Целый ящик лимонов я, к немалому удивлению всех и восторгу папы, съела одна, вместе с кожурой и без сахара.

– Ингочка, ты что, ешь лимоны без сахара? – спрашивал папа и смеялся. Он был доволен. – Как нуждается в витаминах.

– Без сахара.

Я съела их очень быстро, с кожурой, не разрезая ножом, как яблоко. А дядя Петр сел читать вместе с Вовкой букварь и, пролистав несколько страниц, сказал:

– Вера, Вова не умеет читать, он выучил все наизусть.

На нашем чердаке жила еще одна семья: мать с двумя детьми – Майей и Либкнехтом (Липкой). Имени матери я не помню, ее муж, вероятно, был расстрелян в 1937–1938-м у нас, она и сама была достаточно известная революционерка. Это была грузная, по моим понятиям, старуха, с крупной головой, вечно погруженная в свои мысли. Она мало бывала дома, проходила по нашему широкому со скошенной крышей коридору, не замечая никого вокруг, кажется, она была профессором, а может – просто преподавателем философии. Майю я не помню, а Липка, тоже не по летам грузный, лет на десять старше меня, где-то то ли учился, то ли работал. Доброжелательный, веселый, с ним было легко, он нравился маме и мне. Однажды, не справившись с задачей по арифметике (одна труба вливала в бассейн, другая выливала), я обратилась к нему за помощью. Он долго пыхтел.

– Нет, – сказал он, – без «икса» эту задачу не решить. Ты говоришь, вы не проходили «икс»?

Спустя много-много лет, я уже училась в Ленинградском университете, приехав в Софию на каникулы, услышала:

– Какой ужас! Умерла мать Липки, и теперь Липка и Майя судятся из-за наследства. Конечно, это их семьи – жена или муж – заставили, но какой ужас – брат с сестрой судятся!

Это было одно из тех замечаний мамы, которые врезались на всю жизнь – судиться нельзя, это ужас. Конечно, я и сама это знала, но слова мамы уничтожили даже секундное колебание: после смерти мамы, а впоследствии – смерти папы, я отказывалась от их наследства. Все досталось брату. Судиться было нельзя, нельзя было даже просить. Хотя мысль, что я обделяю своих детей, мучила меня. Единственно, что я просила и в чем мне было отказано, – папины ордена. Даже сейчас, по истечении многих лет мне их не показали. Боюсь так подумать, но, возможно, что они утеряны.

Когда мы приехали в 1945-м, София была небольшим провинциальным городом. Магазинчики маленькие, темные,

грязные, часто размером с комнату. Ни автобусов, ни троллейбусов не было, трамваев всего пять номеров. Дома отапливались печками наподобие «буржуек», практически отсутствовали ванные комнаты, ходили в турецкие бани, ничего похожего с нашими банями не имеющими. Посередине был бассейн, в который полагалось входить после того, как помоешься из маленького тазика, сидя на мраморном или каменном диванчике. Мыло, если и употребляли, то только в конце процедуры, а сначала терли себя рукавицей. Это называлось «снимать кир». Возникало ощущение поразительной чистоты. Но центр города был уютен и красив. Красив и величественен был собор Св. Александра Невского, расписанный Васнецовым, красивы были улицы Оборище и Шипка, с небольшими коттеджами, где жила раньше болгарская аристократия и где поселились в пустующих квартирах многие приехавшие из Советского Союза. Красивы были бульвары, застроенные в начале XX века, вероятно, одним-двумя архитекторами. Белые, с большими окнами, четырех-пятиэтажные дома были похожи, как близнецы, но, выстроившись шеренгой, один к одному, производили впечатление законченного ансамбля. Поражало обилие названий улиц, связанных с русской историей – Генерал Гурко, Граф Игнатьев, Генерал Скобелев, Шипка, Толбухин, – улицы, которые по утрам мыли толстой мощной струей из шланга. А за городом стояла гора Витоша – именно стояла, как одушевленная часть, душа. Да, София была провинциальна, но красива, и половину красоты ее составляла гора Витоша.

…Хотя папа и мама имели советские заграничные паспорта, хотя папа и говорил, что он – подполковник Советской Армии, но я уже как бы отрезала себя от «истинных» русских детей, отцы которых находились в Болгарии вместе с армией. Я была уже не настоящая русская. Это было первым ощущением своей неполноценности.

На зимние каникулы мы поехали сначала в Плевен, о чем я писала раньше, а потом к тете Оле в Варну. Сидячие вагоны, а ехать часов восемь. Второй класс переполнен. На дверях первого класса надпись: для русских офицеров. Папа решительно открывает дверь в первый класс, входит в пустое купе, снимает болгарский китель, сворачивает его, вешает в угол, ложится на диван из красного плюша и сразу засыпает. Мы с мамой и Вовкой садимся на краешек второго дивана. Дверь открывается, входит русский лейтенант, мы испуганно молча смотрим – сейчас нас выставят отсюда, ведь мы уже не чисто русские, папа болгарский полковник.

– А? Что? – поднимает папа голову и медленно опускает ноги на пол.

– Извините, товарищ генерал, извините, товарищ генерал. Я думал…

Лейтенант захлопывает дверь. Мы молчим. Папа опять укладывается на все четыре кресла. Лампасы – вот что ввело лейтенанта в заблуждение. Лампасы болгарского полковника были точно такими же, как у советского генерала, – двойная широкая красная полоса.

То, как решительно открыл лейтенант дверь в первый класс, то, как мы испугались, свидетельствовало: наши военные чувствовали себя победителями, а мы уже были не чисто русскими.

В Варне несколько дней были тоже окрашены в серый цвет, как жизнь на Врабче, как цвет зимнего моря. Погода была необычная для Варны – выпал снег. Около скверика, на углу центральной улицы, у памятника Стефану Караджe, представительному крупному мужчине в высокой болгарской шапке, дежурили извозчики. Высокие коляски с откидным верхом, выстланные белой овчиной.

– Фаэтоны, – сказала мама.

– Фаритоны, – подтвердила я.

Мама посмотрела с удивлением, но ничего не сказала.

В первый же день тетя Оля повела нас показывать город, и вот, выходя из парка, мы увидели движущуюся навстречу нам шеренгу наших солдат. Они перегородили весь бульвар, держали друг друга под руки, были пьяны и шумели. Все шарахались в сторону, теснясь к домам. Я, мама, Вовка, тетя Оля прижались к деревьям.

– Папа, – закричала я, – отойди!

Я очень испугалась. Я забыла, что всего несколько месяцев тому назад папа был подполковником Красной армии, что солдаты, идущие навстречу, должны были бы вытянуться перед ним и отдать честь.

Я забыла, но папа – нет. Ему было больно и стыдно. И он, не говоря ни слова, заложив руки за спину, пошел навстречу. Он шел медленно, с брезгливым выражением, чуть сжав губы, будто не замечая идущих.

– Здравко, не надо, они пьяные, уступи дорогу! Могут толкнуть. – Мама пыталась взять папу за руку.

– *Остави ги* (оставь их), – быстро боязливо проговорила тетя Оля.

– Папа, отойди!

Папа шел, как шел, не замедляя и не ускоряя шага. Улица

замерла. Только пустынный бульвар, отгороженный с обеих сторон высокими деревьями, и во всю ширь шеренга пьяных солдат, что-то кричавших. Папа, в том светлом габардиновом «испанском» плаще, в котором приехал из Советского Союза, шел один посередине бульвара и должен был врезаться в самую гущу. И шеренга дрогнула, солдаты расцепили руки и пропустили папу.

– Здравко *изморен*, – сказала тетя Оля, – *лоше* (плохое) сердце, *лоше*, как у Иордана, – и побежала к стоянке фаэтонов.

Мама возмутилась:

– Ехать всего один квартал.

Но тетя Оля уже бежала, махала руками, возница, в высокой болгарской шапке и болгарском национальном костюме, уже подъезжал. Папа не сопротивлялся. Он сел в фаэтон, тетя Оля закутала его ноги, возница тронул вожжи, и папа проехал один квартал.

По возвращении в Софию мы продолжали осторожно знакомиться с городом и кружили неподалеку от нашего дома. Однажды днем папа подвел нас к собору Александра Невского.

– Как ты думаешь, – обратился папа к маме, – какой высоты этот собор? Ну, примерно? Ну, выше он вашей церкви в Рыльске, что около Лели?

– Покровской? – спросила мама. – Да такой же.

Папа смеялся.

Мама говорила про болгар:

– Здравко, мне кажется, они все говорят об одном и том же, только и слышу: *стотинки, стотинки*. Они все время считают деньги.

Зарплата у папы была, вероятно, небольшая. Он был в этом отношении очень щепетилен. Потом, когда он стал директором института, был главным редактором издаваемого им журнала и заведующим кафедрой в Медицинском институте, он получал зарплату только как директор института – считал неудобным и неэтичным получать деньги в нескольких местах. Я не помню, чтобы мы зимой 1945/46 года что-нибудь покупали. В магазины ходили только в писчебумажные. Эти магазины были окутаны тайной: идешь мимо домов, вдруг вместо окна – стеклянная дверь, к ней ступенька, поднимаешься на ступеньку, толкаешь дверь, раздается мелодичный звук колокольчика, и сразу в темной глубине комнаты возникает хозяин. На прилавках разложены всевозможные пеналы, карандаши, глянцевая, замечательно гладкая бумага разных цветов, открытки… Я тихонько рассматриваю открытку: вечер, лес в снегу, вдалеке бревенчатый домик. Горит окно. И чувствуешь, до чего же уютно там.

– Мама, купи открытку.

Кроме писчебумажных магазинов, меня поражали витрины со стегаными одеялами: пухлые, большие, во все окно, обтянутые атласом, блестящие, как глянцевая бумага. Смешно, но больше всего я чувствовала, что это чужая страна, почему-то именно глядя на витрины, уставленные одеялами. Возможно, это объяснялось тем, что магазины с разноцветными одеялами располагались вдали от нашего района, который был как бы советским пятачком в Софии. Наш дом, в двух шагах – школа, рядом советское посольство, подруги русские, и только магазины с ватными одеялами напоминали, что мы в другой стране. Пока мы прикрываемся теми желтыми верблюжьими, самаркандскими, и папа ругает Таню Мильчеву: писала – ничего сюда не вези, все есть, а теперь оказалось – надо было захватить все, что имели.

Весной мы покинули чердак ЦК и переехали на квартиру около «Русского памятника». Страх и опасения, присутствовавшие осенью и зимой, исчезли.

Весна 46-го помнится мне наполненной хохотом: взявшись под руки, разноцветной шеренгой, мы, ученицы советской школы, идем по улицам Софии, поочередно звоня в домофоны, о которых никто из нас до тех пор понятия нее имел. Кто-нибудь нажимал, и мы, хохоча и весело переговариваясь, совсем не торопясь, удалялись. Прохожие останавливались, качали головами, сторонились, смотрели вслед – среди нас были одетые в ярко-голубые, ярко-розовые блестящие шелковые платья, которые, даже на мой взгляд, очень напоминали наряды крупецкой Фроси.

Во дворе школы, окруженном со всех сторон высокими домами, мы, девчонки четвертого класса, по очереди вбегали в крутящееся кольцо, прыгали через веревочку, тут же выбегали, не задевая веревки, и становилась опять в очередь. Я чувствовала себя легкой, неуязвимой и ловкой, я не портила игры, и это было счастье. Чувство неполноценности пропало. Я была отличницей, все хотели дружить со мной, а некоторые – только со мной.

Тогда я опять столкнулась с Миленом. Он вел у нас перед занятиями зарядку. Милен кончал школу, конечно, был отличником. Но никакого чувства преклонения я уже не испытывала. Я уже совершенно забыла босоногую девчонку в линялом сарафане, перешитом из подкладки довоенного пальто, пытавшуюся сквозь деревянную решетку ящика соскрести кожуру с яблок, хотя с той поры прошло менее года.

Я спокойно шла по улицам Софии на экзамен с красным, выглаженным мамой галстуком на шее, в белой блузке и красном шерстяном жакете, в синей шерстяной плиссированной юбке.

Шла не спеша, на сердце было радостно, спокойно – как перед битвой, исход которой я знала заранее. Я шла на экзамены. Дорога была не ближняя. Выходила на улицу Марии-Луизы, медленно проходила ее, не дойдя до мрачной, всегда закрытой церкви Святая неделя, заворачивала на улицу Левски. Странно: ничего не зная о трагедии, произошедшей в этой церкви двадцать лет тому назад, я боялась проходить мимо, будто дух погребенных под развалинами в страшном апреле 1925 года продолжал жить там. Пересекала скверик, выходила на бульвар Царя-освободителя, пересекала площадь Александра Невского, шла мимо дома ЦК на Врабче и спускалась по переулку Париж к школе. Это ощущение весеннего раннего утра, уверенности в себе, радости жизни и, главное, причастности к России и победе – помню до сих пор, и весь этот период у меня солнечно-яркий.

Летом 1946 года папу назначали начальником Общевойскового института гигиены (Общевойскови хигиенен институт – ОВХИ). Помню, в разговорах у папы проскальзывало, что это никакой не институт, а заброшенная частная бактериологическая лаборатория, с двором, полным мусора и разбросанных бутылок.

Из папиных записок того времени: *«Мой долг был превратить практически неиспользуемое здание в Военно-медицинский институт, необходимый для закрепления основ советской организации и медицинской службы и для создания новых научных кадров по военной медицине в Народной Республике Болгарии».*

Главные темы института папа определил так: войсковое питание, противоэпидемическая и санитарно-химическая защита, организация и тактика медицинской службы и др. Кадры для института папа подбирал и создавал сам.

Со временем этим институтом были созданы высококачественные пищевые концентраты, сохраняющие свои питательные свойства свыше двух лет в любых климатических и географических условиях (полпуда этих концентратов обеспечивали питанием одного солдата в течение десяти дней), походные военно-медицинские лаборатории, высококачественный активированный уголь, поливалентный индивидуальный противохимический пакет, быстродействующий препарат при цианистых интоксикациях, полевые индикаторы боевых отравляющих веществ и др.

«Следы» институтских разработок новой системы питания для солдат в полевых условиях я хорошо помню: в нашей квартире валяются малосимпатичные на вид брикеты каши в коричневой глянцевой обертке, папа предлагает маме варить из них кашу.

За короткое время из заброшенной лаборатории папа создал организацию, авторитет которой так вырос, что на одной из ее первых научных сессий президент Академии наук Болгарии (БАН) Тодор Павлов сам пожелал руководить сессией и заявил, что институт является самым крупным научным институтом в Болгарии.

Одна из научных выездных сессий происходила в Пловдиве. Папа готовил большой доклад. Но время доклада сократили. Для папы было неимоверно трудно, почти невозможно отказаться от намеченного заранее. И, к удивлению присутствующих, он, захлебываясь, проговорил весь доклад в том же объеме, в котором его подготовил. Срывал один за другим плакаты, плакаты падали на пол, но он показал и проговорил все, что хотел! Наша близкая знакомая офтальмолог Татьяна Григорьевна Углова, умная сибирячка, сестра известного ленинградского хирурга Федора Григорьевича Углова, жена болгарского генерал-лейтенанта (бывшего полковника Советской Армии) Ивана Матвеевича Дьякова (Михайлова), была на этой сессии и говорила маме с нескрываемым удивлением:

– Народа было страшно много, зал переполнен, стояли у стенок, пришли слушать Здравко Васильевича. А Здравко Васильевич так быстро говорил, ничего нельзя было понять! И потом – столько плакатов! Висят друг на друге. Покажет один, тут же срывает его, плакат падает к ногам, он не обращает внимания, продолжает рассказывать и демонстрировать другой.

Папа посмеивался, хотя был расстроен:

– Может, и не поняли, но весь доклад обязаны напечатать в трудах сессии, и, значит, кому надо – прочтут и поймут.

Из воспоминания папиного ученика, профессора Младена Аргирова, заведующего кафедрой патологической физиологии при плевенском Высшем медицинском институте (ВМИ): «Все, что внедрил в Научно-исследовательском институте профессор Мицов, было новостью для Болгарии. Научные дискуссии были не только новым событием, но превратили наш институт в один из известных, давая возможность понять, что у нас идет исследовательская работа. Первый собственно болгарский пенициллин был получен у нас под руководством профессора Мицова».

Из воспоминаний старшего научного сотрудника Георгия Шишкова: «Не менее сорока научных работников, часть из которых защитили кандидатские и докторские диссертации, вышли из института профессора Мицова. Через институт, руководимый профессором Мицовым, прошли такие кадры, как профессор Аргиров, профессор Атанас Гиндов, профессор

Братанов, профессор Иван Найденов, профессор Дамян Данчев, профессор Ангел Каладжиев (последний был в течение многих лет преподавателем в Университете Гумбольдта)…»

Папа обрушивает всю свою энергию на развитие и расширение работы института – ведь «холодная война» в самом разгаре (мама каждый день повторяет: «Лишь бы не было войны»). Вот что записал папа про обстановку, в которой работал в то время:

«Когда начались переговоры в Париже о мирных договорах после Второй мировой войны, английские и американские дипломаты инструктировали греческих представителей требовать, чтобы их граница с Болгарией проходила по северным склонам Родопских гор. Это лишило бы болгар самого богатого доброкачественным табаком района, а экспорт табака составлял главную часть валюты болгарского бюджета. Споры по вопросу болгаро-греческой границы угрожали войной. В связи с этим возник вопрос о медицинской защите болгарской действующей армии. Всплыл факт, что во время Первой мировой войны целые дивизии болгарской армии на греческом фронте массово болели малярией и их выводили с фронтовой линии. Учитывая этот факт, я с группой малярилогов и других специалистов нашего Военно-медицинского института определил все малярийные очаги района будущих военных действий: долина рек Струма и Месте, горы Пирин и Беласица. Затем были приняты меры для ликвидации раскрытых очагов.

ОВХИ проводил свои исследования не только в институте, но и в военных гарнизонах, в лагерях, во время походов, на маневрах».

Папа садится на коня, объезжает летние военные лагеря, сидит в седле, завалясь на правый бок, но скачет, скачет; рядом с ним скачут еще три офицера. В него ударяет молния, когда во время грозы он спешит что-то передать по полевому телефону, спасает его лишь лужа под пологом палатки, в которую он свалился и лежал без сознания полчаса, пока его не отыскали.

В 1950 году БАН переименовала ОВХИ в НИВМИ (Научно-исследовательский военно-медицинский институт), предоставила право присваивать научные звания военным врачам и подчинила Институту ученый совет Общевойсковой больницы (ОВБ). Профессора и генералы Высшего военно-медицинского института 1970–1980-х годов получали свои первые научные знания в НИВМИ, в институте, основанном и руководимом папой. Папа писал: *«В течение 10 лет (1946–1955) со дня своего существования НИВМИ конкретизировал советский военно-медицинский опыт у нас и стал научной базой медицинской службы БНА. Это было моей целью и моей наградой».*

За десять лет (1946–1955) этот институт передал военно-медицинскому управлению 63 предложения, большая часть которых была внедрена в жизнь. Впервые в Болгарии были созданы походные лаборатории (токсикологическая, противоэпидемическая, химическая и др.), был осуществлен перевод солдат болгарской армии с углеводистого питания на белковое, введены дифференцированные нормы питания для различных родов войск, антидотные средства, индикаторы БОВ (боевых отравляющих веществ. – *Ред*.) и др. Само помещение института было очень быстро основательно перестроено – около старого здания вскоре возникло новое, с 33 комнатами.

Двор папиного института в скором времени стал парком благодаря стараниям садовника. С ним мы познакомились случайно. Как-то весной 1947-го, а может – осенью 1946-го, мы, как обычно в воскресный день, совершали прогулку. Между высокими кустами, отгораживающими сад от тропинки, по которой мы шли, папа разглядел на маленькой веранде самовар.

– А вот и самовар! – воскликнул обрадованно папа, будто для счастья ему не хватало именно самовара. – Может, самовар тульский?

– Чай пьют, – сказал кто-то из нас.

– А может, и варенье есть?

Из-за кустов послышался приятный женский голос:

– Самовар – не знаю, может, тульский, а вот чай точно настоящий. Милости просим к нашему столу. И варенье есть, свое.

Мы вошли. Хозяевами были русские эмигранты. Они встали навстречу – пожилая женщина, скорее – старушка, небольшого роста, очень чистенькая и беленькая, с седыми волосами, и высокий белоголовый мужчина с седыми усами. В мужчине чувствовалась военная выправка. Это были Лидия Афанасьевна и Борис Ипполитович Туроверовы. Борис Ипполитович был казачий полковник, из армии Врангеля, именно той армии, против членов которой папа вел борьбу в 1920-е годы. Но сейчас все это было забыто.

Мы выпили по чашке чаю, папа хвалил сад. Борис Ипполитович рассказывал про имение, говорил, что с детства любил ухаживать за садом. И тогда папа предложил ему стать у него в институте садовником. И не ошибся. Действительно, заброшенный двор вокруг института превратился в настоящий парк. Впоследствии папа оказал еще одну услугу Борису Ипполитовичу: читая советский медицинский журнал, он натолкнулся на статью некоей Н. И. Туроверовой. Редкая фамилия и инициалы совпадали. Написали в Ленинград.

Получили вскоре ответ, а затем приехала сестра Бориса Ипполитовича – Нина Ипполитовна Туроверова.

Нина Ипполитовна, высокая, худая, с прямой, как у брата, спиной, коротко стриженная, была хирургом, кандидатом медицинских наук. Энергичная и решительная, она прошла все горы, начиная с Кавказа и кончая Тянь-Шанем. Она сдружилась с папой и мамой, много времени проводила вместе с нами. Помню ее слова, возможно последние. Нина Ипполитовна возвращалась в Ленинград, мама, я и Лидия Афанасьевна ее провожали. Стоя на площадке вагона, прощаясь, Нина Ипполитовна сказала:

– В будущем году не приеду. Пойду на Тянь-Шань.

– Вот так свалишься и умрешь где-нибудь в горах одна, – сказала полноватая Лидия Афанасьевна. Ответ последовал незамедлительно:

– Это лучше, чем лежа в кровати.

Недавно случайно наткнулась на телепередачу о казачестве. Президент Российского фонда культуры Никита Михалков рассказывал о поэте Николае Николаевиче Туроверове и между делом сказал, что фамилия Туроверовы – довольно распространенная среди казачества. Я слушаю рассказ о трагедии того периода нашей истории и думаю, что сейчас невозможно даже вообразить столь сильную любовь к Родине. Возможно, правда, надо потерять Родину, чтобы так ее полюбить. И мамина любовь к Родине, и моя любовь, и мой патриотизм были обострены именно этим – мы жили вне России.

Папин институт я помню плохо. Я была там всего несколько раз. Однажды папа привел меня к себе в институт и сообщил, довольно улыбаясь, окружившим нас сотрудникам:

– Вот, дочка прочла в книге, как делаются духи, и пристала – сама хочу сделать!

Я чувствовала – очень гордится, что у него такая дочь. Принесли колбы, собрали перегонный аппарат, обеспечили подогрев, я набросала елочных иголок, и процесс пошел. Получилась зеленоватая жидкость, пахнущая хвоей. Успех! Но после этого случился небольшой конфуз. В кабинете у папы я увидела странный, не очень большой коричневый полированный ящик, с зеленым глазком наверху, узкой стеклянной пластиной с красной стрелкой и обтянутым серой материей диском спереди.

– А это что?

– Как что? Это радио. – Папа уже понял, что сейчас я задам следующий вопрос.

– Как радио? Оно совершенно не похоже на то, что у нас было в Ленинграде.

– То был громкоговоритель, – недовольно сказал папа, оглядывая лица столпившихся сотрудников. – Это радио, по нему можно слушать передачи из разных стран.

– Девочка никогда не видела радио? – кто-то, скрывая злорадство, уже задавал вопрос.

Я хотела сказать: «Никогда», но папа опередил меня:

– Она забыла, – сказал он. – Помнит только громкоговоритель во время войны.

– Да нет… – начала я и осеклась под взглядом папы.

Это радио папа потом забрал к нам домой, и в той же расписке, где перечисляется, что он взял во временное пользование и вернул – две кровати, два одеяла, пистолет, печатную машинку «Мерседес», – значится и радио. Оно сыграло важную роль в моем развитии. У Карло Луканова (председателя Комитета по науке, искусству и культуре) была огромная коллекция классической музыки, он предоставил ее для радиопередач, благодаря этому я познакомилась с классикой. По радио я впервые услышала «Лунную сонату». Помню, я стояла в полутьме холла на коленях перед журнальным столиком, смотрела на зеленый глазок радио и, потрясенная, слушала, как медленно падали один за другим завораживающие звуки. Я не могла шевельнуться. Что это?

– Инга, перестань заноситься, – сказала тетя Мара, беседовавшая тут же с мамой, когда я замахала руками и не ответила на ее вопрос.

Как-то, году в 1947-м, нам предстояло навестить папин институт по случаю праздника 9 сентября. Мама элегантна. Темные волосы уложены валиком вокруг бледного лица. На ней платье из плотного черного шелка, с длинными узкими рукавами, заканчивающимися плиссированными цветочками, сшитое известной в Софии портнихой Зефирой, которая шила чуть ли не самой царице – супруге царя Бориса. Евгения Ивановна (близкая мамина приятельница), увидев маму в черном платье, молча спустилась к себе и, тут же поднявшись, протягивает нитку жемчуга.

– Вы идете в институт Здравко Васильевича? Вера Вячеславовна, наденьте.

– Что вы? Такая дорогая вещь. Он настоящий?

Евгения Ивановна не отвечала. Нитка крупного жемчуга спускается маме на грудь.

Окажись на месте мамы женщина, ценящая папино положение и пользующаяся им, светская, уверенная в себе, – о, с каким бы достоинством, с какой уверенностью она бы восседала за столом! Но у мамы страдальческий вид, лицо напряженное,

растерянное, может, болит голова. Она не хочет идти на праздник. Мама самолюбива и горда, она прекрасно сознает, что не сможет играть роль *Жены Директора*. Нет, не сможет. И не хочется… и неинтересно… Да и не говорит она на болгарском, и вообще не словоохотливая. Мама и я упираемся. Но каждая из нас знает, что идти все же придется.

– Скажи, что у меня болит голова, – говорит мама.

Но папа слушать не хочет. В полковничьем мундире, сильно отяжелевший, он сидит полуобернувшись на стуле около огромного дубового, на заказ сделанного стола и зло, исподлобья, смотрит поочередно то на меня, то на маму. Препирательства длятся уже час. Давно прошли все сроки, давно все «там» собрались.

– Я тоже не пойду, – говорю я, – что я там буду делать?

У меня другие планы – болтаться по улицам с девчонками и громко хохотать. Но то, что мы совершенно неприлично задерживаемся, меня все же беспокоит. И непонятно, как выйти из этого положения. Наконец, мы соглашаемся, и папа вызывает машину. Терпения уже нет, и мы выходим на нашу улочку, горбатую, пустынную, залитую послеобеденным солнцем. Ни души. Только мы – впереди взбешенный папа, время от времени он подергивает правым плечом, будто продолжает удивляться или возмущаться, за ним, немного в стороне, недовольная мама в черных лакированных туфлях на каблуках, а за ней я, тоже в стороне. Мы спускаемся вниз. Стоил, наш шофер, подхватит по дороге. Пересекая первый переулочек, я вдруг заявляю:

– Нет, я, пожалуй, не поеду.

Папа спотыкается и с яростью, прикусив язык, белыми глазами глядит на меня. Какое-то время мы стоим втроем посередине улицы, и я взвешиваю: не слишком ли хватила? Затем молча делаю шаг вперед.

О, как я далеко шагнула от той десятилетней, в линялом сарафанчике, которую когда-то папа ударил по шее!

Сохранилась фотография того времени: папа, пополневший, в штатском, Вовка, маленький, с выпученными глазами, в белой рубашке, мама, в сером костюме, сшитом той же Зефирой, волосы высоко подобраны и уложены парикмахером, и я, радостно улыбающаяся, в темном платье, с кокеткой из испанского платья. На фотографии мама выглядит дамой из прошлого века – так породисто лицо. Ее брат Слава, получив в Киеве фотографию, спрашивает: «А это кто же?» Все остальные узнаваемы, прошло всего два года, как мы покинули Рыльск.

Летом 1946 года, после того как папа стал начальником

института, ему предложили снять квартиру в доме в «Овчей купели», районе Софии рядом с его работой. Отправляясь знакомиться с хозяйкой, папа взял меня, вероятно рассчитывая, что хозяйка скорее согласится сдать квартиру, когда увидит ребенка. Но вышло наоборот. Папа весело говорил, дом папе нравился, да и институт – рукой подать. Я, в сарафане, в какой-то кофточке, с длинными косичками, стояла рядом и молчала. Болгарские девочки так не выглядели.

Вдруг хозяйка спросила:

– Вы русские?

Папа был озадачен, улыбаться перестал:

– Почему вы думаете? Я болгарин.

Хозяйка отвела от меня глаза и сказала:

– У вас мягкий акцент.

Но я точно знала, что отказала нам она именно потому, что увидела во мне русскую девчонку.

После неудачи с квартирой в «Овчей купели» папе нашли квартиру на северо-восточной окраине Софии. Большая квартира – весь второй этаж, ее занимает одна русская эмигрантка, в прошлом певица, Евгения Ивановна Ждановская. В Болгарии тогда проводили такое же «уплотнение жилплощади», как у нас после революции. Дом был прекрасный, нашли его не сразу, у папы было одно требование – «не в центре».

Улица Мосул (название улицы, возможно, осталось еще с турецкого рабства: в честь порта на реке Тигр, который являлся центром большой области Османской империи, ныне в Ираке) была немощеная, вся в колдобинах, она подбрасывала нашу машину, как на волнах. Осенью и зимой напротив «дома судьи» стояла глубокая лужа. «Дом судьи» был вторым по высоте после нашего (то есть в два этажа). Остальные были маленькими, одноэтажными, скрывающимися в садах за заборами. В отличие от «дома судьи», который хотя был и высоким, и большим, но обыкновенным, наш дом заставлял останавливаться прохожих, выглядывать из окон маленького трамвайчика, ходившего в гору через лесопарк, который простирался по ту сторону улицы Мосул. Хозяева с некрасивой прыщавой дочерью Виолеттой занимали первый этаж, в одну из комнат которого выселили Евгению Ивановну. Откуда у хозяина были средства и желание выстроить оригинальный дом с подъездом, обрамленным колоннами, к которому вели с трех сторон широкие полукруглые ступени? Над подъездом, на колоннах, располагался наш огромный балкон, весь увитый лианами и цветущими глициниями. Хозяин до сентября 1944-го содержал на первом этаже и сзади во дворе маленький ресторанчик. Когда мы переехали, оставались еще, как

напоминание, гирлянды разноцветных лампочек, протянутые над двором. Поговаривали, что во дворе-то был действительно ресторанчик, а вот в доме играли в запрещенные азартные игры и что и дом, и «золотишко», которое было у хозяев, оттуда.

Хозяина я плохо помню, высокий, плотный, задумчивый и какой-то потерянный, он в скором времени умер. Хозяйка, худая, верткая, всегда в черном вдовьем платье и черной косынке, была агрессивна. Отношение к новой власти со стороны хозяйки папа описал в письме к маме:

Когда приехал домой, смотрю – на заборе нашего дома множество некрологов, на лестнице стоит гробовая крышка. Оказывается, за то время, пока я был в Варне, наш хозяин успел умереть от воспаления легких после операции. Я постоял около его гроба дома, но не выдержал, т. к. хозяйка сильно ругалась и причитала, говорила, что врачи его убили, что они делали над ним опыты, что в Европе собаке оказывают помощь, а у нас убивают людей в больницах и пр. Я воспользовался приходом попа и в самом начале службы ушел. Когда приехал на кладбище, встретил людей – они уже похоронили. Я посадил хозяйку и Виолетту и отвез их на машине домой.

Дом был почти на окраине Софии, но столь близко от центра, что с балкона явственно слышался гул колоколов храма Александра Невского. Заслышав этот гул в полшестого, я срывалась с места, бежала под гору, садилась на трамвай, на третьей остановке выходила, оттуда – пешком. Вся дорога, от дома до храма, занимала минут 20–30. Странно, мама никогда не задавала вопроса: куда я так стремительно убегаю, в одно и то же время? Вряд ли ей приходило в голову, что я бегаю в церковь.

Спокойнее-то спокойнее нам стало жить после зимы 1945/46 года, но в августе 1946 года в автомобильной катастрофе погиб Петр Абаджиев, который подготовил в 1925 году тот знаменитый «атентат» – покушение на царя в церкви Святая неделя. Он вернулся в Болгарию после 9 сентября полковником Красной армии, окончив Академию Фрунзе, воевал на Халхин-Голе и в Испании. Позже на родине Абаджиева в Тетевене ему поставили памятник. Не знаю, как другие, но я не верю в случайные автомобильные катастрофы, особенно когда они касаются людей известных. А в те времена в это не верили и мои родители.

Осенью 1946-го помнятся поздние папины возвращения домой, скрип калитки, который мы с мамой слышим, уже лежа в кровати. По вечерам мама, с напряженным лицом, тихо ходит с пистолетом в руке по огромной квартире. Чуть отвернув голову, далеко вытянув руку, она открывает дверцы шкафа, заглядывает

под кровати, за двери. Она не умеет стрелять, она не знает, заряжен ли пистолет, но ее мучает страх. Я следую за ней. В стране происходит смена власти, Болгария становится республикой. Однажды я застала в нашем холле невысокую черноволосую девушку Ванку, неизвестно откуда явившуюся. Наш большой обеденный стол был завален красными бюллетенями с надписью «Отечествен фронт».

– Они отвернулись, а я туда – целый мешок этих бюллетеней! – смеялась Ванка.

Что за «Отечествен фронт», красные плакаты которого были развешаны по всей Софии? Почему надо было подсыпать эти бюллетени? Все прошло мимо меня. А оказывается – 8 сентября прошел всенародный референдум о форме правления, и 92 процента его участников высказались за ликвидацию монархии. 15 сентября 1946 года Болгария провозглашена Народной Республикой. 22 ноября сформировано новое правительство Отечественного фронта, его возглавляет Димитров. Военный министр уже не Велчев, о котором уже говорилось, нет, в правительстве Димитрова военном министром стал Георгий Дамянов, он же – товарищ Белов, член Заграничного бюро ЦК БКП, бывший заведующий отделом в Коминтерне. Начальником Генерального штаба назначен Иван Кинов, окончивший Академию Фрунзе, а затем и Академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова (кстати, номер Кинова в списках репрессированных в СССР – 124). Асен Греков, окончивший вместе с Киновым и Дамяновым Академию им. Фрунзе, тоже занимает большой пост в военном министерстве (его номер в том же списке 17). Август Мильчев теперь начальник Общевойсковой больницы в Софии и личный врач Василия Коларова, Иван Маринов (отец Милена) – начальник медицинского управления в Болгарской народной армии. Вероятно, тогда же, а может, чуть позже Карло Луканов и стал председателем Комитета по науке, искусству, культуре.

Поздней осенью 1946-го страха уже не было, по утрам я выскакивала из квартиры в школьной форме – коричневом платье с белым воротничком и черном переднике, с красным галстуком на шее, с двумя косичками до пояса, откусывая на ходу хлеб с колбасой. Случайно или намеренно, только каждым ранним утром, когда я сбегала по винтовой лестнице со второго этажа, скользя рукой по извивающемуся лакированному туловищу змеи – перилам, потом по змеиной голове, обязательно засовывая палец в открытую пасть, и, огибая дом, подбегала к ажурной чугунной калитке. Там, придерживая калитку рукой, стояла Евгения. Когда я впервые увидела ее, с высоко зачесанными

полуседыми волосами, заколотыми маленькими костяными гребнями, с большими, навыкате, голубыми глазами, невысокую и очень полную, я весело ей улыбнулась:

– Доброе утро.

Она тут же радостно-пытливо взглянула на меня и ответила:

– Здравствуй!

И я побежала вниз под горку, а передо мной, как обруч, разбрызгивая радугу, мчалось счастье.

Ах, этот ежедневный бег в школу по утренней бело-розовой Софии, будоражащий чистый воздух, чуть отдающий тлеющей листвой, школа, радостные лица, замирание, пока учительница водит ручкой по журналу! Медленное возвращение из школы. В распахнутом пальто, уже по теплым, согретым солнцем улицам, поднимаюсь в гору. Чуть уставшая, бросаю портфель, скидываю пальто, мне не хочется говорить, что сегодня я получила четверку, я молчу, надеюсь, мама не спросит. Сажусь за стол, кухня залита солнцем, вдали синеет Витоша. И вдруг из-под пола доносится медленное, задумчивое: «Мы сидели с тобой у заснувшей реки, тихо с песней проплыли домой рыбаки… Солнца луч золотой за рекой догорал, и тебе я тогда ничего не сказал…». Поет Коля, ученик Евгении Ивановны, она его любит, говорит про него: «Очень хорош голос, но пьет». «И теперь, в эти дни, я, как прежде, один….» – голос Коли. «Та-а-а-та-та… та-а-а-та-та…» – вступает Евгения Ивановна. Аккомпанемент обрывается, какое-то время тишина, и вдруг, как факел, пронизывая наш этаж, к небу устремляется голос Евгении Ивановны: «А-а-а-а!» – это она показывает, как надо брать ноту.

«Отворил я окно, стало душно невмочь, опустился пред ним на колени…» Сейчас, стоит мне заслышать романсы Чайковского, встает предо мной моя комната, залитая солнцем, окно открыто в сад, и во всю душевную ширь несутся раскаты аккомпанемента и голос, поющий: «Благословляю вас, леса, долины, реки, горы, воды…»

К нам в гости время от времени приезжал кто-нибудь из болгарских родственников. Тогда многие приезжали с просьбами – кому-то надо устроиться на работу, кого-то уложить в больницу, кому-то помочь с деньгами. Их вначале было много, часто заезжали, но некоторые, появившись однажды, исчезали и больше не появлялись. Одним из мелькнувших был некий Асен из Плевны. Кем он приходился папе, не знаю. Он явился к нам эдаким франтом: черный костюм, черные, начищенные до блеска туфли, белая рубашка. Как болгары говорили – «официально» одетый. Возможно, он был даже не из Плевны, а из близлежащего

села. С какой просьбой явился Асен, не знаю, но помню забавный случай.

Асен сидел на диване, покачивая ногой в черной туфле. Мама что-то принесла поесть. Поставив на стол и уже выходя из комнаты, она услышала:

– Алло! Алло!

Мама не сразу поняла, что это относится к ней.

– Алло! – раздалось снова.

Мама оглянулась. Асен сидел на диване все в той же величественной позе господина и указывал пальцем на пол. Мама взглянула – на полу лежал носовой платок, который она уронила, выходя из комнаты. Мама рассказывала, смеясь:

– «Алло! Алло!» – и не по имени, и не вскочил, чтобы поднять! «Алло!»

Это взбесило папу, и Асен исчез на следующий день, больше мы о нем никогда не слышали.

Одна из болгарских родственниц, Стефка, которой мама симпатизировала, приезжала регулярно к нам в течение нескольких лет с сыном Красимиром, больным гидроцефалией. Впервые они появились, когда Красимиру было лет пять, пугала его голова – огромная, как у взрослого человека, и огромный лоб, нависающий надбровными дугами над синими большими глазами. Стефка очень плакала, мама ее жалела. Папа устроил его в больницу, и наш хороший знакомый, прекрасный врач Ганчо Савов сделал несколько операций – просверливал небольшие, с копеечную монету, дырки в черепной коробке, чтобы, как я понимала, жидкость выходила. Красимир навсегда остался, конечно, инвалидом, но все же выполнять какую-то работу мог. В первый же приезд Стефка очень была удивлена, что мы знаем, что такое пианино.

– Разве в России есть пианино?

Это позже, после поездок в СССР, болгары очень быстро выяснили, что нужно отсюда привозить, – в этом они ориентировались гораздо лучше нас: часы, мотоциклы, инструменты, магнитофоны… Этим они интересовались гораздо больше нас, и благодаря этому стало появляться нечто вроде уважения. И все равно… Недавно на одной из фотографий, заснятых моим сыном Гешей в Болгарии, где он с семьей отдыхал и встречался с родственниками, я увидела знакомую усмешку – смесь превосходства с брезгливостью. О, эта усмешка, которую я уже успела забыть! Презрение и неуважение – к кому, к русским? Почему? Откуда у жителей Болгарии вдруг прорывалось это низкое желание продемонстрировать превосходство, неуважение и даже презрение? И к кому – к представителям страны, к

которой должны были бы, по крайней мере, сохранить благодарность за свое освобождение от турецкого рабства? Меня это ранило и возмущало с молодых лет, я многое в болгарском менталитете «видела насквозь» – ведь я-то была частичкой их по крови и по плоти, я смотрела изнутри, как мой папа. Утверждаю: это – от глупости, ущербности и необразованности. Папу это ранило так же, как и меня. «Головастики», – говорил папа, иногда пожимая плечами, иногда еле сдерживая раздражение. Почему «головастики»? Недавно, года три тому назад, оказавшись в Болгарии, наблюдая какую-то сцену, я вдруг, совершенно неожиданно, произнесла это же: «Головастики». И только сейчас поняла, что папа вкладывал в это понятие: недоразвитые, еще не лягушки. Мама, по доброте душевной, этого пренебрежения не замечала.

…Пианино привезли вечером, неожиданно для меня.

– Сейчас внесут пианино. Где поставим?

Я выскочила на лестницу, внизу топтались грузчики, приноравливаясь к нашей неудобной винтовой лестнице. Зажав рот рукой, побежала в комнату, спряталась за дверь и, выворачивая от радости руки, пыталась укусить себя за локоть.

Я продвигалась, по мнению Евгении Ивановны, необыкновенно быстро – но ведь и лет мне было уже много. Очень скоро я стала играть сонатины Клементи, «Детский альбом» Чайковского. Мама тоже вспомнила молодость и села за пианино. Из Киева приходили бандероли с репертуаром маминой молодости – вальсы «Оборванные струны», «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии». Все ноты были куплены бабушкой, некоторые – в том же издании, которым пользовалась 16-летняя мама. На обложках была изображена полноватая красавица с распущенными волосами, в сползающей с плеча белой сорочке, с невинным взглядом широко раскрытых глаз. Она утопала в цветах. Бабушка писала маме: «Голубка моя! Нашла тебе “Хабанеру” для пения и для фортепиано. Моя приятельница мне играла, очень хорошо. Ты просишь “Лесную сказку”. Ищу и просила моих знакомых. Как найду, вышлю…»

Я мамин репертуар не играла, я его немножко презирала, скорее всего из-за картинок, а кроме того, я плохо читала с листа. Учить я предпочитала другое. Мне бабушка прислала этюды Черни, Ганон, все сонаты моего любимого Бетховена. Однажды летним вечером мама села за пианино, она проиграла все вальсы, а потом заиграла песню, тогда очень модную, тоже присланную бабушкой, – «Я по свету немало хаживал». В комнате было полутемно, только горели свечи на пианино, дверь на балкон была открыта, мама аккомпанировала, я пела.

– Нет, это радио, – сказала Евгения Ивановна, которую позвала хозяйка. Они стояли прямо под нашим балконом.

– Да нет же, это у Мицовых, – утверждали хозяйка и ее дочь.

С каким воодушевлением, с какой гордостью я выплескивала в теплую темноту: «…жил в землянках, в окопах, в тайге… Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске… Но всегда я привык гордиться и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

Большинство маминых знакомых в Болгарии были русские эмигранты первой волны. Мама была даже знакома с фрейлиной императрицы, я помню – это была сухая, когда-то высокая, а теперь согнутая, очень худая старуха, с трясущейся головой, с неподражаемым петербургским голосом и выговором.

– Вера, – говорила тетя Мара Терпешева, – у тебя все знакомые – русские белогвардейцы.

Часто мы ходили в гости к Масалитиновым.

– Масалитиновы! – воскликнула Евгения Ивановна, испытующе взглянула на нас и добавила: – Это очень известная в актерском мире фамилия.

Не помню, с кем в той семье дружила мама, но помню: как-то зашел разговор о том, что в Княжеве (район на окраине Софии) есть русский женский монастырь и одна из монашенок – чуть ли не племянница императора. В разговоре проскакивало намеком, что там она в наибольшей безопасности. Позже я ее видела, молодую, красивую, стройную девушку с замечательным открытым тихим лицом. Чернобровая, черноволосая, черноглазая. В монашеском одеянии.

– Я тоже хочу стать монахиней, – сказала я, стоя ко всем спиной и разглядывая какой-то очень красивый шкафчик из красного дерева с множеством фотографий. Мама посмотрела с удивлением и недоверчиво. Этого она не знала за мной и не чувствовала.

– Монахиней быть очень трудно, – сказал кто-то из взрослых. – Это могут немногие.

Я понимала, что трудно, но трудности тогда и сейчас выглядели по-разному. Тогда я долгое время взвешивала: смогла бы я стать монахиней и что меня так привлекает в этом? Я понимала – не только вера в Бога, а тихое, уединенное житье, сосредоточенное на чем-то высшем. Это было прекрасно.

Но вот как быть с любовью? С любовью, которая мне очень долгое время представлялась основой жизни? Как же быть? И все-таки я долго размышляла. Мама говорила недовольно, явно не веря и удивляясь:

– Ну что ты придумала?

Близкой знакомой была и Елена Александровна Белковская, приехавшая в Болгарию следом за мужем, известным архитектором, еще до Октябрьской революции. Сама Елена Александровна окончила училище Штиглица в Петербурге, была хорошей художницей. У меня сохранились две ее акварели – на одной надпись со старинным правописанием через ять. Елену Александровну очень беспокоила мысль о судьбе ее имущества – не прекрасной старинной обстановки, а писем и фотографий. Родственники давно умершего мужа были ей совершенно чужими.

– Ингочка, – говорила Елена Александровна, – возьми себе хотя бы несколько моих фотографий. Как представлю их среди мусора во дворе…

На фотографии, которая сохранилась у меня, Елена Александровна в Бретани. Тоненькая высокая девушка, в шляпе с большими полями, в длинном легком платье с широким поясом. Она стоит на берегу моря. 1914 год.

Но самой близкой, можно сказать – родной, конечно, была Евгения Ивановна. От нее мы впервые услышали имя Бунина, его стихотворения она читала мне, от нее услышали про Яковлеву, последнюю любовь Маяковского, от нее услышали и многое-многое другое.

Евгения Ивановна была личностью необыкновенной и оставила след и воспоминания на всю жизнь. Для мамы она со временем стала близким человеком, в какой-то степени заменив мать, а моя мама в некоторой степени заменила Евгении Ивановне дочь. Про Евгению Ивановну говорили маме разное – и то, что ее отец был выкрест (крещеный еврей. – *Ред.)*, и то, что он же был… жандармский полковник. О! Жандармский – это не просто полковник! Вместе с мужем, известным басом, певшим когда-то в «Ла Скала», Евгением Ждановским, она оставила Россию в 1929-м, когда ее мужа, окончившего с золотой медалью Московскую консерваторию, послали на стажировку в Италию. Перемещаясь по Европе, они остановились в Болгарии, где и осели. Осели именно в этом, только что выстроенном доме, в начале тридцатых годов. Говорили, что Евгения Ивановна была старше своего мужа на десять лет и что, конечно, это она настояла, чтобы они не вернулись в Россию. Евгения Ждановского, как изменника родины, арестовали невероятно быстро, на следующий день после того, как наши войска вошли в Болгарию. Первое время Евгения Ивановна надеялась на возвращение мужа, откуда-то она знала, что он в лагерях под Москвой. Но спустя некоторое время, как-то днем, она, задыхаясь, поднялась к маме и сказала:

– Вера Вячеславовна, муж умер.

Она горько плакала.

– Может, это неправда? – Мама утешала.

– Нет, – сказала Евгения Ивановна. – У нас был уговор, если он упомянет про ключ, значит, ему угрожает смерть.

Как она узнала – мне это осталось неизвестным. Сейчас я думаю, что, возможно, была какая-то связь с родственниками, оставшимися в Москве.

Евгения Ивановна, конечно, не упускала случая кольнуть новыми порядками в стране:

– Отменить Бога – и вместо икон навешать в каждом углу портреты человека? Неужели это лучше?

Мама с улыбкой рассказывала об этих разговорах папе. В ее интонации я улавливала полное согласие с мнением Евгении Ивановны. «Вот уж контра!» – усмехался папа.

Теперь я понимаю: в маме жило два человека: один знал цену Сталину, другой ее знать не хотел – и этот другой вывешивал на 9 сентября, на 7 ноября, на 1-е мая на нашем огромном балконе, увитом глициниями, очень красивый индейский цветной ковер с вытканным на нем индейским богом Вицли-Пуцли. Именно на его изображение мама прикрепляла большой портрет вождя. Портрет был виден даже из маленького трамвайчика, остановка которого была в парке напротив нашего дома. Мама перестала так делать только после того, как Евгения Ивановна обратила внимание, что из-под портрета Иосифа Виссарионовича торчат маленькие толстые ножки Вицли-Пуцли. Евгения Ивановна сказала:

– А вы не боитесь, Вера Вячеславовна, что это могут истолковать не так, как бы вам хотелось?

И мама испугалась. Портрет вместе с ковром вывешивался в течение нескольких лет, и никто не обращал на это внимания, но после слов Евгении Ивановны первое, что бросалось в глаза, – это коротенькие толстые ножки мексиканского бога, обутые в национальные чувяки, торчащие как раз из-под груди Сталина.

Помню тихое возмущение и удивление Евгении Ивановны после посещения мной оперы «Евгений Онегин»:

– Чтобы в четырнадцать лет – никакого впечатления? – говорила она полушепотом маме.

Я слышала и молчала. Опера потрясла меня, я не хотела ни с кем обсуждать это, я затаилась. Партию Татьяны я знала наизусть. По радио, как уже говорилось, часто передавали арии из опер. Я пела вместе с Шумской «Письмо Татьяны», вместе с Обуховой – арию Далилы, вместе с Казанцевой – концерт Глиэра для голоса с оркестром. Мне очень нравился голос Казанцевой, но однажды Евгения Ивановна, застав меня за слушанием этого концерта, оседлала стул лицом к его спинке и, внимательно вслушиваясь, вдруг возмущенно сказала:

– Ну разве так можно? Что ни высокая нота, то фальшь! – Она резко отодвигает стул и медленно плывет к выходу, бросив на ходу: – Страшно фальшивит, не может держать верх.

Когда в Болгарию приехала Зара Долуханова, мы с папой пошли на ее концерт. Все были тогда в восторге, и папа был тоже в восторге и возбужденно, восторженно повторял:

– Какая культура! Поет на всех языках, прекрасно представила русскую культуру! Пусть знают!

Папа был горд и благодарен Долухановой, они вместе делали одно дело – представляли Советскую страну. Но Евгения Ивановна, услышав пение Зары Долухановой, сказала:

– Все это прекрасно, но голос поставлен неправильно, она не продержится долго, голос пропадет.

Евгения Ивановна не могла слушать «Бориса Годунова». Как только раздавалось: «Достиг я высшей власти…», она тут же, под каким-нибудь предлогом, поднималась и быстро уходила. Эту партию готовил ее муж, Евгений Ждановский. За несколько дней до премьеры его арестовали. Сама Евгения Ивановна, как и он, тоже пела в театре «Ла Скала», но бросила:

– Вера Вячеславовна, в Италии к певицам относятся как к женщинам легкого поведения.

В 1954 или 1955 году Евгения Ивановна (эта «контра») плачет на мамином плече, рыдает так, что сотрясается все ее грузное тело: она прощается с мамой – уезжает в Советскую Россию. В страну, о которой знает очень много страшного из эмигрантской прессы. Ей уже далеко за шестьдесят, а может – за семьдесят, и даже мама уговаривает ее не ехать. Нет, она едет. И чтобы скрыть это рвущее душу желание вернуться на родину, хоть глазком взглянуть, она говорит:

– Нет, Вера Вячеславовна, лучше сейчас, когда всех вежливо приглашают. А то потом будет по-другому. Не спросят.

Ох, эта любовь к России русских эмигрантов первой волны! Эта любовь моей мамы, моя, папина… Я не могу понять, что надо было сделать, как изуродовать народ, чтобы по истечении всего-то полувека слышать это презрительное, чудовищное название:

«совок».

На прощание Евгения Ивановна оставила маме икону Сергия Радонежского – литографию 1905 года. Эта икона сначала живет у мамы, теперь она у меня, она ничуть не постарела, так же выглядит, как сто лет тому назад.

Евгения Ивановна умрет в Алма-Ате, года через два, где будет работать концертмейстером в оперном театре вместе со своим любимым учеником Колей (к сожалению, не помню его фамилию).

Мама потихоньку привыкала к новой жизни. Странно, но папа, кажется, вовсе не стремился вводить маму в круг своих старых, еще прежних времен, знакомых. Он понимал, что ни по характеру, ни по воспитанию, ни по восприятию они не совместимы. Мама не была знакома ни с Тагаровым, ни с Милушевым, ни другими членами грацкой «четы». Однажды произошло неожиданное мимолетное знакомство с Буби – Николой Вылковым.

Позвонили в дверь. Дело было днем, папа был на работе. Мама только что вычистила из печки золу. Подпоясанная юбкой, переделанной в фартук, измазанный на животе сажей, мама пошла открывать. В дверях стоял элегантный господин. Он приятно улыбался.

– Господин Мицов дома? – спросил он по-болгарски.

– Нет, он *на работа*, – сказала мама на болгаро-русском.

Кстати, мама так и не научилась говорить по-болгарски, употребляя болгарские слова, она их и склоняла, и спрягала. Но ее все понимали. Читала она, конечно, свободно и даже очень ценила Вазова. Да, так в тот день мама ответила:

– Нет, он (а может быть, «*той*», что значит «он») *на работа*.

Господин не уходил. Все так же приятно улыбаясь, он задал следующий вопрос:

– А госпожа Мицова в *къщи*?

– Госпожа – это я, – ответила мама.

Буби повернулся и ушел. Больше он у нас не появлялся.

Все встречи старых друзей происходили в ресторанах. Единственный болгарский дом, куда мы ходили, был дом Савовых.

Однажды мама, получив по карточкам пуд муки, решила ее просеять – тогда еще не были забыты рыльские навыки. В течение нескольких часов мама трясла ситом. В результате у нее воспалился нерв до такой степени, что она не могла встать с постели. Даже уложив тяжелую – пудовую – руку рядом с собой, как не принадлежащую ей часть тела, мама, такая терпеливая, плакала. Врачей было много, но боль не отступала. И вот пришел

Савов. Он задал вопрос:

– Что вы делали?

Мама пролепетала:

– Просеивала муку.

– Зачем?

На это мама ничего не ответила.

– Сколько времени это продолжалось?

– Несколько часов.

Савов помолчал, внимательно посмотрел в лицо мамы и достал шприц. Он всадил маме огромную дозу новокаина, прямо в локоть. Боль прошла. С тех пор мама поверила Савову.

Елена Савова была 27-летняя красавица. Мама подозревала, что она нравится папе, и ревновала. Помню, как при прощании, стоя в коридоре, папа положил руку на плечо мамы и тут же с комическим ужасом отдернул – ощутив ватную подушку (вставные ватные плечи – такова была послевоенная мода), чем вызвал смех Елены. О! Мама ему потом долго выговаривала:

– Ты что, не знал, что сейчас носят «подушки»? Зачем выставляешь меня на посмешище?

Елена, русоволосая, с огромными серыми глазами, потом оставит прекрасного человека, прекрасного хирурга, полковника Ганчо Савова и выйдет замуж за какого-то генерала, старше ее. Сделает карьеру – станет представительницей НРБ в ЮНЕСКО. Но тогда, в сороковых, когда мы были у них в гостях, Савовы, обнявшись, смеясь, показывали шкаф с двойной перегородкой. Рассказывали, как в сорок третьем приходили с обыском именно в ту ночь, когда у них ночевал Добри Терпешев, командующий партизанскими отрядами (дядя тети Мары), как они быстро засовывали его в шкаф и он стоял, вжавшись в стену, за перегородкой, не смея шелохнуться.

Да, лет через двадцать Елена стала важной дамой. Однажды, уже в шестидесятых, мы с мамой встретили Елену на базаре. Она только что приехала из Парижа. Стоя перед великолепной дамой, не по-болгарски элегантной, я почувствовала, что власть изменилась: папину партию приехавших из Союза сменили. У власти теперь были те, кто участвовал в партизанском движении во время войны.

В 1947 году, в разгар «холодной войны», папа создает военно-медицинскую кафедру при Софийском медицинском институте. Надо думать, что все это давалось ох как трудно. Папа позже запишет: «*Исполнение моей задачи после возвращения из Советского Союза в Болгарию вынуждало преодолевать бесчисленные препятствия».*

Папиной целью, конечно, являлось сделать кафедру по военно-медицинской подготовке по типу советских. *«Таким образом решалось одновременно две задачи: подготовка молодых болгарских врачей для войны и массовое и прочное внедрение основ советской медицины в болгарские врачебные кадры.*

На кафедре ВМП преподавали 6 военных и 12 военно-медицинских предметов. По окончании второго курса студенты летом проходили 45-дневную строевую подготовку. По окончании пятого курса студенты медики, стоматологи и фармацевты проходили специальный 6-недельный военно-медицинский лагерь, где в учебно-боевой обстановке реально проводили медицинское обеспечение стрелкового полка в наступлении при фактически развернутом ПМП (полковой медицинский пункт. – И.М.) и эвакуации условно пострадавших на учебный ДМП (дивизионный медицинский пункт. – И.М.)».

Надо сказать, я слышала, что папа читает лекции блестяще, а злые языки поговаривают, что профессор Мицов хочет из Медицинского института сделать Военно-медицинскую академию. Однажды я присутствовала на папиной лекции. Была весна. Огромный амфитеатр, застекленный с двух сторон, был заполнен до отказа. Я с трудом нашла место в предпоследнем ряду. Вынула из сумки и положила перед собой листочек бумаги и ручку. На сцене стоял стол, на нем какой-то предмет, прикрытый белой салфеткой. Папа в белом халате, возбужденный, радостный, что-то быстро говорил, легко двигаясь по сцене. Папин голос, казалось, был таким же легким и свежим, как воздух за окном. Приблизившись к столу, папа сдернул салфетку, и я увидела подопытного кролика, сидевшего, плотно прижав уши. Папа что-то произносит и в подтверждение своих слов артистично, точно рассчитанным движением втыкает какие-то две пластинки за ушами кролика, и тот мгновенно замирает. Раздались восторженные аплодисменты. Потом папа скажет маме, как Ингочка внимательно слушала и даже что-то записывала. И я вздохну. Папа, как всегда, думал обо мне лучше.

«Кафедра ВМП развила усиленную научно-исследовательскую работу. Значительной частью тематика НИВМИ стала тематикой и кафедры. Под моим руководством и с моим участием кафедра ВМП выпустила три тома научных работ.

Наградой мне служил тот факт, что после трехлетнего опыта со дня существования кафедры по военно-медицинской подготовке студентов болгарское правительство по постановлению Министерского совета от 10 ноября 1950 года решило ввести военную подготовку студентов во всех высших учебных заведениях в Болгарии».

Не меньшей наградой для папы было то, что за 15-летнее существование кафедры (1947–1962 гг.) она дала 7 тысяч младших полковых врачей и дивизионных ординаторов, которые составляли 60 процентов от общего числа всех врачей в Болгарии.

«Авторитет созданного мной Военно-медицинского института и военно-медицинской кафедры давал мне большое моральное удовлетворение».

Вероятно, это случилось в самом начале 1960-х. Уже у меня был сын Сережка. Уже Червенкова исключили из партии. Мы приехали в Китин – курортный городок на южном побережье моря, в дом отдыха при Медицинской академии. Приехали мы туда группой. Среди отдыхающих не было человека, который бы не знал папу, многим папа помогал, многие были его учениками, проходя военно-медицинскую подготовку. Лето было жарким, июль. Мама на пляж не ходила, мы втроем сидели обособленной группой. Папа, сидя, читал. Мы с Сережкой укрывались под большим зонтиком. Время от времени к нам подсаживался Коко, Константин, муж моей троюродной сестры Марианны, из Плевена. Коко – высокий, интересный. Марианны в то лето с ним не было, она страдала грыжей позвоночника. Коко подсаживался и начинал неприятный для меня разговор: какой бедный русский язык, как много заимствований из иностранного. Я сразу ощетинивалась, раздражалась:

– А у вас? – кричала я. – Да у вас что ни слово – то иностранное: вместо «благодаря» – «мерси, мерси», вместо… вместо… – От злости у меня выскакивали все примеры. Я злилась еще больше: – Асансьор![19] – кричала я. – Это что, болгарское слово?

Коко, медленно, снисходительно улыбаясь, говорил:

– А лифт – это русское слово?

– Русское! – кричала я.

– Нет, – говорил он, – лифт – это английское. И машин у вас нет, все украли у немцев. «Победа» – ведь это «Опель».

Я его ненавидела. Но этим противостояние не кончилось.

Настало время отъезда, и накануне отъезда всем стало известно, что подписан приказ и папину кафедру по военно-медицинской подготовке закрывают. Конечно, папа был очень эрудирован в своей области – токсикологии – и читал, как я уже упоминала, свои лекции блестяще, артистично сопровождая демонстрацией опытов, читал под аплодисменты студентов. Впоследствии я встречала очень многих выпускников Медицинского института, которые, на мой взгляд, искренне радовались при виде папы и относились к нему с большим почтением. Большинство старой профессуры, несмотря на то, что

получили образование в основном в Германии и, уж конечно, не разделяли политических взглядов папы, тоже относились к папе с большим уважением. Но в то лето все было не так. В день отъезда, позавтракав, мы направились к автобусу, который должен был нас везти то ли на вокзал – километров тридцать, то ли до самой Софии. Не помню. Дорога казалась длинной. Когда мы вошли вчетвером в автобус, все уже сидели на местах, и на нас молча были устремлены тридцать пар глаз. Мы огляделись – посередине автобуса было свободно одно сиденье, только одно.

– Садитесь, – сказал папа нам.

Мы прошли и сели. Я взяла Сережку на руки, папа спросил у мамы газету. Автобус уже трогался, папа стоял около нас, возможно, тогда он еще надеялся, что кто-то уступит место, мама искала газету, нашла, протянула папе, автобус тронулся – и папа, улыбаясь, оглядел сидящих, постелил газету на ступеньках автобуса и сел. Так он проехал всю дорогу. Ему было шестьдесят лет. Он был старше всех. Мама, поджав губы, бледная, поглядывала на папу.

– У него же больная печень, от тряски будет обострение, – сказала она мне шепотом.

Если не все, то почти все находившиеся в автобусе были его ученики, и среди них был тот самый родственник Коко, который годился папе в сыновья. Но никто не встал, никто не предложил место.

Эту поездку в нагретом автобусе, переполненном злыми неблагодарными людьми, папу, трясущегося на ступеньках, я не забуду никогда. Теперь, правда, вместо злобы и презрения испытываю я к этим людям нечто вроде сожаления – ну не одарил их Бог ни умом, ни добротой.

В связи с организацией новой кафедры надо было подготовить преподавательские кадры и выпустить учебники по новым для Болгарии предметам. Лично папой написаны пять оригинальных учебников: «Санитарно-химическая защита», «Военная токсикология и патология, клиника и терапия поражений атомного и химического оружия», «Военно-полевая терапия», «Организация и тактика медицинской службы» и «Наставление для медицинской службы Болгарской народной армии».

Всю жизнь первое, что я видела, входя в папин кабинет, – это склоненную голову над бумагами, сначала черноволосую, на тонкой шее, потом постепенно лысеющую, шея матерела, на ней все явственно прорезывалась морщина. Все это отмечалось мимоходом, не задевая сердца, и только под конец жизни

блестящая, отполированная, розовая лысина с хорошо промытой глубокой складкой на шее вызывала во мне щемящую нежность. Папа отправлял нас отдыхать, а сам оставался в Софии – он писал учебники. С каким напряжением, в каком бешеном темпе писались учебники, монографии, я узнала сейчас, читая папины письма маме, но тогда, в Софии, во время их написания, я просто не смела прерывать его работу и, открыв дверь в кабинет и видя склоненный над столом затылок, тут же тихо уходила. Вот выдержки из нескольких писем:

…Мне осталось написать 180 страниц (первая редакция), а мой отпуск кончается 17 октября. Явно не успею закончить до конца отпуска и не знаю, что буду делать. По договору должен сдать ее в ноябре. В общем, ужас. Сегодня получил путевку на Витошу – дом отдыха ВВС, но вряд ли там моя продуктивность увеличится до такой степени, чтобы я мог закончить все до конца отпуска. Я пишу 4 страницы в день, а чтобы кончить до 17-го, мне надо писать по 18 страниц, что, конечно, из области космических скоростей, с которыми я не знаком.

…С моим учебником дело идет медленно – много новых концепций появилось у советских авторов… Мне осталось написать еще две главы: патогенез лучевой болезни и профилактика и лечение ее. Мой договорной срок – 30 ноября. Я смогу написать оставшиеся главы, но мне нужно еще два раза их отредактировать и перепечатать. А на это у меня времени никак не хватит. И не знаю, что делать. Нажимаю, чтобы первый вариант сделать полностью. Всю кафедру втянул в техническую работу – указатели, содержание, проверки, пропущенные тексты из рукописи и т. д. Сегодня приехал из Советского Союза Аргиров, хочу его втянуть в просмотр книжки по существу, хотя он говорит, что мы здесь на правильном пути. Сегодня вышел выпуск кафедры под моей редакцией, на одну треть с моим материалом – монография (коллективная) по ранним формам лучевой болезни в объеме 240 печатных страниц в научных трудах института. На неделе будем рассылать по демократическим странам…

…Пишу (и с ума схожу, что опаздываю), отношу на кафедру, оттуда беру напечатанное, тащу домой и т. д. Вот уже 200 страниц написал, идет к половине третьей сотни, но если бы и 300 страниц было бы у них – это только половина необходимого объема. Но даже если бы все напечатал, то это был бы лишь первый вариант, а мне положено три, только после этого я смогу сдать в редакцию (Аргиров сошел с ума – работает, как стихия).

Мы уезжали отдыхать на море, папа оставался дома. Три окна в эркере папиного кабинета были открыты настежь, утреннее солнце заливало огромный письменный стол и разложенные на нем бумаги. На бумагах, развалясь, лежал кот Васька. Он делил с папой одиночество. Васька был огромным котом и маминым любимцем. Когда папин шофер Стоил, деревенский парень, впервые увидел Ваську, он долго ходил за ним, приглядывался и наконец изрек: «Нет, это не кот, это собака». По повадкам Васька и правда был похож на собаку. Привязанный к маме, он поджидал ее возвращение с базара, сидя на парапете балкона. Еще издали, завидев маму, он стремглав спускался по лианам, выбегал на улицу, мчался до первого переулка, потом важно шел рядом у левой ноги, задрав хвост.

После того, как в 1942 году умер Иордан, папин брат, бездетная тетя Оля, не доверяя воспитание детей Павлине, жене Иордана, забрала детей Иордана, Нору и Владко, к себе (Нору в 1942 году исключили из гимназии за революционную деятельность, тогда у Иордана и случился инфаркт, он умер). В Варне тете Оле удалось восстановить Нору в гимназии, в 1944 году Нора ушла к партизанам в горы, и, как я уже писала, сохранилась фотография – Нора в шинели и пилотке произносит речь перед согражданами. Надо сказать, что Нора была самой близкой мне родственницей в Болгарии – умная, добрая, спокойная, начисто лишенная тщеславия и самомнения. Она очень отличалась от остальных родственников, была похожа, как ни смешно это звучит, на русскую, и вот сейчас я думаю – именно такой была и Цана. Нора потом защитила кандидатскую диссертацию, одно время жила в Москве, где училась в докторантуре. Личная ее судьба сложилась трагично.

С 1946 года, после того как Нора поступила в университет и уехала в Софию, летние месяцы мы проводили у тети Оли в Варне. Первый раз тетя Оля пригласила нас с Вовкой без мамы. У папы с сестрой были сложные отношения. Вероятно, Ольга хотела играть роль старшей сестры. Но папа помнил детство. И вспоминаются мне слова, сказанные мне папой уже перед смертью: «Сестра злая была, потрясающе злая, любила только свой род». (Но и тетя Оля, пробыв у нас дня три, на четвертый говорила: «Со Здравко можешь жить только ты, Вера. Страшно тяжелый человек. Не встречала ничего подобного».)

В Варне, в комнате, где мы спали с Вовкой, на маленьком столике постоянно стояли в вазочке несколько гвоздик, источавших тонкий характерный аромат. В течение многих лет, почувствовав запах гвоздик, я мгновенно вспоминала прохладную комнату с белыми стенами, с большими старинными портретами,

с плотно задергивающимися белыми шторами на окнах. Вспоминалась большая кухня со скошенным потолком. В углу кухни, на маленьком стульчике очень прямо сидит всегда аккуратно причесанная и подкрашенная у парикмахера черноволосая тетя Оля, рядом – ее вечная подруга, худенькая Фанче, для которой тетя Оля неоспоримый авторитет. Они медленно пьют из маленьких чашек черный кофе, сваренный Фанче.

– Ну-ка, загляни в чашку, – говорит тетя Оля.

С утра я смотрела на барометр – барометр был особенный: маленький домик висел на стене, и из него поочередно выходили то женщина в национальном костюме, то мужчина. Женщина предвещала плохую погоду, мужчина – хорошую. Если выходил мужчина, мы с тетей Олей и Вовкой отправлялись на море, если женщина – я шла в парк. Я брала огромный том Шекспира, из двухтомника, приобретенного еще в Москве, и там, сидя на одном из кресел, поставленных в ряд, одно к одному, в аллее над пляжем, я читала пьесы Шекспира. Что-то я понимала, что-то нет, но само имя – Шекспир! – и прекрасные иллюстрации возвышали меня в моих глазах. Я боялась уединяться, только однажды села одна на скамейку, стоящую под большим раскидистым деревом, села там потому, что весь пейзаж напоминал мне иллюстрацию к пьесе «Сон в летнюю ночь». Сразу же ко мне подсел какой-то мужчина. Вопросы: неужели я все это читаю и сколько же мне лет? Я осторожно отвечала, улыбалась, но больше никогда не садилась одна.

И в 1947 году к нашему отдыху присоединилась мама. К ужасу тети Оли, она стала с нами ходить не на платный пляж, где в кабинках пахло косметикой, где был теплый душ, где каждое утро чистили песок и где вповалку лежали темные тела, а на «цыганский», бесплатный, тонкой полоской окаймляющий море под высоким берегом, заросшим акациями. Там была естественная малюсенькая бухточка. Мы с Вовкой плескались у берега, там я и научилась плавать. Никто из болгар на этот пляж не ходил. И то, что мы ходили на «цыганский» пляж, где, кроме нас, никто не купался, и то, что мама сидела в платье на берегу, объяснялось отсутствием денег. У нас, сколько помню, денег никогда не хватало, и родители жили очень скромно. Хотя папа был не только директором большого института – он еще заведовал кафедрой и был редактором журнала. Но, как я уже писала, папа считал, что за руководство кафедрой и редакторство денег не должен получать, и не получал. Только под конец жизни, когда у всех его знакомых и бывших товарищей образовалась изрядная собственность вроде больших квартир и дач, только

тогда, уже выйдя в отставку, папа изменил своему принципу и стал получать деньги везде – и на кафедре, и за книги, издаваемые и написанные им. Через двадцать пять лет после возвращения на родину, за тринадцать лет до маминой смерти, он купит небольшую двухкомнатную квартиру, купит землю и построит под Софией, в Горной Бане, малюсенькую, дорогую мне дачу. А уже в наследство Вовке оставит прекрасную огромную квартиру и деньги, на которые наследники, разрушив завещанную мне дачку («Ингочка, чтобы ты могла жить летом здесь, не зависи ни от кого», – слова папы), начнут возводить там большой дом, строительство которого закончат, уже после смерти брата, его жена Султана – Таня – и дочь Оля. Но все это будет потом, в конце восьмидесятых.

Мама сидела в сереньком, в мелкий цветочек шелковом платье на песке и смотрела, щурясь от солнца. Она не купалась. На груди платье застегивалось большой брошкой с голубовато-серым камнем, подарком тети Оли. Я взглядывала на маму, стараясь понять, отчего так напряжено лицо? Не начинается ли мигрень?

– Смотри, мама, я плыву, разденься, окунись. Ты плавала когда-то? – кричала я, быстро-быстро перебирая руками и стуча ногами по воде.

– Так умею, – улыбалась мама. – Папа всегда говорил, что я плаваю по-собачьи.

Сейчас модно говорить о трудностях переходного возраста. Мой возраст, вернее, мое самосознание, выражающееся в сопротивлении маме, в несогласии с ее советами, продолжалось полгода, не больше. Помню, все меня раздражало – все ее просьбы, все ее замечания. Но вот однажды, в солнечный летний день, мама вошла ко мне в комнату и, постояв молча некоторое время, предложила убрать в ящиках письменного стола. Я, стоя спиной к ней, грубо возразила. И мама тихо сказала: «Что ж ты, Ингочка! Что бы я ни сказала, все тебя раздражает. Все время грубишь».

Я не подняла головы, не обернулась, но услышала боль и недоумение в голосе, и жалость затопила меня. Мой переходной возраст кончился. С тех пор началась моя болезненная любовь к маме.

По вечерам мы все ходили гулять в парк. Тетя Оля надевала темно-красное шелковое платье в мелкий белый горошек, с белым маленьким воротничком, мама – очень элегантное (кажется, мопровское) платье коричневого шелка со стальным отливом и мелкой зеленоватой вышивкой по отвороту, и мы шли гулять. Как-то, возвращаясь из парка, Вовка вдруг сорвался с места и,

проскользнув среди гуляющих, мгновенно исчез.

– Что случилось? – Тетя Оля испуганно недоумевала.

Как мог Вовка забыть, что мы должны, как обычно, зайти в ярко освещенную *сладкарницу*, тут же на бульваре, и там, расположившись за маленьким столиком, съесть *баклаву* или *молиби*, подкрашенный крем, и еще что-нибудь.

– Куда он побежал? Что случилось? Заблудится! Он побежал в совершенно другую сторону, – повторяла тетя Оля, поводя гордо вскинутой головой во все стороны.

Оказалось, Вовка увидел свою учительницу. Тетя Оля была сражена.

– Как это так? Когда мои ученики меня видят, они подбегают ко мне, здороваются, радуются. Что же это за учительница, от которой побежал Вова?

Недавно, разбирая письма, я натолкнулась на аттестаты Вовки за три класса. С упрямой последовательностью во всех аттестатах по всем предметам стояли тройки, исключение составляли пятерка по поведению и двойка по арифметике во второй четверти второго класса.

– *Твой* сын, – говорил папа, делая ударение на «твой». – Известно, как ты ходила в школу: брала кусок хлеба, отрезала большой кусок сала, шла в школу, там все съедала и возвращалась домой.

Иногда, осердясь, папа обзывал Вовку «поспешевским хамом». Папа перестал интересоваться Вовкиной учебой до такой степени, что не знал, в каком он классе.

С какой завистью я читаю про семьи, где братья и сестры любят друг друга и дружны! У нас ничего подобного не было. Мы с Вовкой находились в непрерывной войне. То он выбрасывал мои ноты в окно, то мы с упоением дрались. Я таскала его за чуб, а когда он подстригся, какое-то время пребывала в замешательстве, не сразу сообразив, что можно ухватить за уши. Но дрались мы лишь до тех пор, пока я не поняла, что с этого дня победа никогда не будет за мной. Мы не умели играть с ним ни в какие игры – всегда поднимался крик: «Он (или она) жульничает!» Папа привез пинг-понг из Чехии, и мы, расставив обеденный стол в холле, закрепили сетку и начали игру. Несколько минут мы были довольны, даже горды, и тут кто-то, не помню, я или он, крикнул: «Жульничаешь!» И мячик стукнулся о стену, ракетки полетели друг в друга, игра окончилась навсегда.

Единственный раз я почувствовала нестерпимую жалость к Вовке. Это уже было в последних классах, когда учительница мне сказала: «Что же ты, отличница, а не можешь брату помочь. У него по геометрии двойка». Слова, сказанные посторонним, на

какое-то время проникли в сердце, и мне стало страшно жаль моего брата. Я пришла домой и долго плакала, лежа на кровати. Но помогать не помогла. У него была осенью переэкзаменовка.

Вовка, безалаберный, ленивый, компанейский, любимый своими приятелями, легко и радостно смеющийся, знавший огромное количество анекдотов, после смерти мамы защитил докторскую диссертацию – и это был первый шаг к смерти. Умирая, мама просила его – «Вовочка, защити диссертацию». И он обещал. Он очень волновался перед защитой, и тогда у него случился первый инфаркт.

Мой брат, к которому я была совершенно равнодушна, – более того, которого презирала за его, как мне казалось, мещанство, за нелюбовь к чтению, за отсутствие интереса к музыке, за насмешки над моей верой в Бога, – мой родной брат защитил докторскую диссертацию в сорок шесть лет. А я, отличница, окончившая Ленинградский университет, работающая в одном из крупнейших научных институтов страны, к этому возрасту смогла защитить только кандидатскую.

Папа приезжал на море дней на десять. Он, конечно, ходил на платный пляж. Сохранилась фотография того времени – папа, широко шагая, возвращается с пляжа, в белом костюме, в белой рубашке, белых туфлях. Он после приезда в Болгарию очень поправился, весил более ста килограммов, и, наконец, опомнившись, стал снижать вес прогулками. После обеда, когда мы спали, поднимался в гору, шел по самому пеклу мимо виноградников, спускался к морю… Он успевал загореть больше нас, проводя на пляже всего по нескольку минут – три минуты на правом боку, три на левом, три на спине и три на груди. Он уезжал из Варны удивительно загоревший. Я всегда поражалась:

– Как это ты смог за такое время стать таким черным?

Папа, довольный, смеялся.

Пожалуй, именно тогда, летом 1947-го, и началась моя бескомпромиссная борьба с папой.

…Мы сидели за столом у тети Оли. Папа, довольный, расслабленный, откинувшись на спинку дивана, медленно что-то тянул из рюмки. Его ублажала сестра, Фанче помогала. На десерт был арбуз. Арбуз, нарезанный на дольки, очищенные от кожуры. Было удобно нанизывать квадратный кусочек арбуза на вилку и опускать в рот. И вот, лакомясь арбузом, папа насмешливо сказал маме что-то вроде этого:

– Хотя бы готовить научилась, ничего не умеешь.

Всегда в присутствии своей родни он смотрел на маму их оценивающе-скептическими глазами и, переживая за ее кажущиеся или действительные промахи, становился груб. В

ответ я крикнула:

– Ты напился как свинья!

Тетя Оля, с выправкой учительницы, в нарядном платье, застыла с чашечкой кофе в руках. Такое сказать отцу! А папа широко улыбнулся:

– Инга любит делать замечания. Она у нас будет учительницей, как ты.

В то время я уже стала оценивать папу по его отношению к маме. Я подозревала, что папа не любит маму, не выносила его грубости. Уверенность в том, что мама живет лишь мной, а у папы есть другая, интересная жизнь, лишала меня жалости к нему. Я полностью, во всем, стала на сторону мамы, даже и не пыталась вникать в причины, мотивы папиных вспышек. Теперь-то мне ясно, что причиной всего была папина ревность – ведь он, конечно, видел, что я всегда принимаю мамину сторону, чувствовал, что я ее люблю больше. Что-то странное, необъяснимое было в моем восприятии папы. Он никогда не поднял на меня руку после того случая в Ярославле, никогда не обижал. Он только кричал, кричал от бессилия, от несправедливости, от невозможности достучаться, докричаться до моего сердца. Он уже никогда не говорил, как раньше: «Ингочка, ты справедливая. Скажи маме…» Он терзался, грубил, кричал, устраивал истерики…

Помню один из первых скандалов. Папа кричит, и я чувствую, что вот-вот упаду на пол и забьюсь в судорогах. Мы тихо выходим с мамой на улицу, оставляем папу наедине с его криком, с его отчаянием. Идем в парк, там тихими голосами убаюкиваем друг друга, волнение успокаивается, все медленнее звучат голоса, все тише. И вот, наконец, волнение улеглось. Можно возвращаться. Мы входим в наш дом, папа лежит у себя в кабинете, отвернувшись к стене.

– Вера, – скажет он потом, – когда вы ушли, я долго плакал.

Папа плакал!

Можно ли представить, что человек такой силы воли, человек, презиравший опасность, вбегавший на Альпы за четыре часа, вытерпевший издевательства в тюрьмах, – плакал потому, что его не взяли с собой гулять? Потому, что его не любит дочь? Можно ли представить такое?

Вот таким был мой папа. Нежное, ранимое сердце, скрытое под криком и грубостью.

– Папа очень изменился в Болгарии, – говорила мама.

– А в России он не кричал?

– Нет, никогда, – качала мама головой.

Как измеряется цена человеку? Чем? Его деяниями? В

молитве Василия Великого говорится: «Не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя». Жили люди, любили, служили друг другу, старались что-то сделать, участвовали всем сердцем в жизни – и вот, спустя всего несколько лет, их будто и не было. Страх нападает на меня. Жизнь бессмысленна, если все уходит со смертью. Тогда все позволено, и вижу я, что ценность человека измеряется только запасом любви к ближнему, это мерило души. Душа, наполненная любовью, – только она и имеет возможность продолжать существование. Мы в ответе за все. За каждый поступок и за каждое слово, и память предлагает нам обдумать, зачем мы жили. Что мы сделали со своей жизнью? Было ли у нас назначение, и выполнили ли мы его? Есть ли целостный смысл в нашей жизни или она состоит из нагромождения случайностей и нелепостей? И сейчас я думаю, что мама ушла из жизни на шесть лет раньше папы, оставив меня наедине с ним, чтобы я не умерла от угрызения совести. После смерти мамы я всю любовь отдала папе. И он, надеюсь, знал это.

За год до смерти папа напишет:

Но зато я на 83-м году своей жизни узнал, что моя любимая единственная дочка только на 51-м году своей жизни поняла, что ее отец обыкновенный человек. Интересно, кем я был для тебя раньше? Еще печальнее, что мой сын, живущий со мной (и ему скоро 50 лет) знает меня почти только со слов твоей мамы. Причина для этого печального для меня состояния я сам, ибо уступал Вере, чтобы она вас больше любила. Потому и ты и Вова знаете меня больше с маминых слов, чем по собственным наблюдениям. И моя собственная жизнь подтверждает поговорку: «Какое зло человек сам себе делает, не может ему никто на свете сделать».

В 1947 году папа уезжает в Карловы Вары – его первая заграничная поездка из Болгарии. От того времени сохранилась фотография. Так получилось, что в альбоме у меня она и фотография после выхода папы из тюрьмы расположились рядом. Листая альбом, я, пораженная, остановилась. На одной – человек, на лице которого явно отражается мерзкое сознание позора, приниженности и полной беспомощности.

А рядом, на другой – господин, в прекрасном костюме, сидит на траве, рядом с ним профессор-чех, у них в руках по кружке пива, лица их оживлены и умны, но главное – в их лицах ощущение свободы и радости жизни.

Таким папа уезжал в Чехословакию. Мы делаем заказы. Вскоре он нам напишет: «*Халат, чтобы подошел и на дедку, и на бабку, и на внучку, я и сам бы хотел купить, но такого не видел».*

Потом, после его возвращения, стоим вокруг, заглядываем в

чемодан, ждем, смотрим. В тот раз папа привез ракетки для пинг-понга, мячики, сетку и прекрасный чешский сервиз, частично сохраненный мной до сих пор. В последующие годы будет много таких дней и вечеров, когда мы будем толпиться возле раскрытого чемодана, а папа будет по очереди одаривать нас. А потом, усталый, раздраженный тем, что вдали от дома мы все казались ему гораздо лучше, начнет грубить и кричать. Что-то ему в нас не нравится, чем-то обижен. Он кричит, ругается. Как и ожидание возле чемодана, это – неотъемлемое условие папиного возвращения.

Но в тот раз скандал был особенный. Уезжая на месяц в Карловы Вары, папа оставил маме изрядную сумму денег. Мама, на радостях, кинулась по магазинам. Она растратила все вмиг, и три недели до папиного приезда мы ели каждый день вермишель, заправленную помидорами. Вид белой, лоснящейся от воды вермишели и разбросанных среди нее мелких кусочков красных помидоров я помню до сих пор. Как и вкус. Папа приехал, мама приносила показать какие-то огромные трусы, трусы поменьше, и еще меньшие, рубашки, простыни, возможно – одеяло.

– Ты что? Все деньги потратила на говенные трусы? – закричал папа.

Пришлось признаться, что да, на трусы и на белье. Эту выставку трусов я помню, они были развешаны по холлу как вещественное доказательство.

В те первые годы папа носится по Болгарии, и вместе с ним мы. Он счастлив. Не видел прежде свою страну – лишь Плевен, ближайшие села, София, Лом, вдали горный массив – Стара Планина, или Балкан. И все! А что за Балканом? Родопы, Пирин, Рила – этого папа не видел, как не видел Несебр, Клиссуру, Копривщицу. Сейчас он наверстывает упущенное, и прекрасная страна открывается нам.

Каждым воскресным утром мы покидаем Софию. Перед нами высятся горы, я с тоской наблюдаю, как расстояние до них сокращается, и думаю: еще жить мне пятнадцать минут, десять… потом начнутся повороты. Меня укачивает до потери сознания. Я закрываю глаза, напрягаюсь изо всех сил и стараюсь представить прямую дорогу вместо бесконечного серпантина…

– «Мерседес» взлетает на четвертой скорости на гору в сорок градусов! – В голосе папы гордость, он рукой показывает наклон горы. – На четвертой передаче!

…Мы мчимся вдоль гор по прямой, пустынной, обсаженной высокими тополями проселочной дороге. Папа за рулем, он отстранил шофера Стоила. Машина летит. Мы втроем, мама, я и

Вовка, вытянув шеи, с напряжением вглядываемся в приближающийся огромный воз сена, который тащат волы. Высоко на возу сидит мальчик. Не снижая скорости, мы проскакиваем мимо, задеваем воз, клок сена падает на дорогу, следом за сеном с воза скатывается мальчишка, а за мальчишкой падает весь стог, и телега переворачивается.

– От страху, – говорит папа, не останавливаясь.

Машина виляет.

– Ты что все время виляешь! – кричит мама.

– Это я кочки объезжаю.

О, это «я кочки объезжаю» будет жить у нас долго. Это вроде маминого «небо ненадежное – буря может быть».

…Стоил за рулем, мы мчимся на свадьбу в деревню – папина лаборантка Дофина выходит замуж, уже полдень, мы сильно опаздываем. На том берегу уже гудят *гайды*, танцуют *хоро*.

– Стоил, давай через реку, вон уже дом, – говорит папа, глядя на мелкую, но широкую речку.

– Товарищ полковник, вот там мост, совсем недалеко.

– Да что ты! Вода по колено! Дно каменистое, возьмем на скорости!

Мы застреваем на середине реки, свадьба стопорится, хоро останавливается, люди толпятся на противоположном берегу и смотрят, как мы друг за другом по колено в воде бредем к берегу, а посередине реки стоит наш черный «Мерседес» и Стоил ходит вокруг. Потом машину вытаскивает пара волов.

Там, на свадьбе, где все нам были, казалось, искренне рады, мама сделала мне замечание. Чем больше я вспоминаю, тем больше понимаю, насколько мама была похожа на дядю Жоржика. Никакой аффектации, она только сказала:

– Что же ты себя так ведешь? Так пионерки и девочки из Советского Союза себя не ведут. Что ты ни с кем не разговариваешь? Чем гордишься? Ведешь себя как барышня дореволюционная.

Мне было неприятно и очень странно услышать от мамы упоминание: «пионерка», сравнение с дореволюционной барышней, но я действительно была горда и неприступна. Нет, не была, не была я простой, улыбающейся, разговорчивой, особенно с людьми, которые мне были неинтересны. Из пушкинских сестер Лариных идеалом у меня была Татьяна, а вовсе не Ольга.

…В Софии папа впервые дает «задний ход» и сворачивает газетный киоск. Газеты сыплются на тротуар, тут же лежит свернутая будка, из вороха газет высовывается голова старика.

– Что же это? Что? – Он разгребает руками газеты, он ошеломлен, бормочет и никак не может выбраться из вороха

газет. Вовка умирает со смеху, папа выскакивает из машины, сует какие-то деньги старику, мы срываемся с места и исчезаем.

…Впереди река и мост. Папа отстраняет шофера Стоила, садится за руль, но его темперамент мешает: мы влетаем на полной скорости на мост и свозим весь бок машины. Мама кричит:

– Если ты сейчас же не дашь руль Стоилу, я открою дверь и выскочу на ходу.

Кажется, папа и сам испугался. Потом признался: «Вот так угробил бы вас всех». С тех пор он за руль не садился.

Надо сказать, что при всей жертвенной любви мамы, при всей ее заботе, она не терпела насилия над собой. Опишу для примера одно происшествие, случившееся уже в 1970-е. Мама, папа, я, мой муж Володя, сыновья – Сережка и Гешка отдыхали на Витоше в доме ВВС (Военно-воздушных сил). «Вэвээсик» – так называли этот дом мои сыновья. Каждый день мы совершали прогулки. Уже родителям было за семьдесят. Но мама ходила везде с нами.

– Что я буду сидеть одна? – говорила мама.

Папа рассчитывал наш маршрут, вначале мы поднимались по хорошо утрамбованной, сглаживающий подъем дорожке, потом отдыхали, затем начинался спуск. На все уходило часа четыре. Однажды мы поднялись на плато, пошли по нему. Папа хотел показать открывающийся вид на Софию с небольшой вершины, острой, как пика. Мне тоже очень хотелось взглянуть оттуда, так как именно эта вершина и придавала Витоше вид застывшего вулкана. Приблизились к вершине и увидели, что небольшое расстояние наверх надо пройти по камням.

– Не пойду, – сказала мама.

– Пойдешь.

– Нет, Здравко, я не пойду. Я посижу здесь.

– Пойдешь.

Папе очень хотелось показать маме вид.

– Сказала – не пойду.

Ребята уже давно поднялись наверх. Пошли и мы с Володей, оставив их препирающимися. Когда мы любовались видом, из-за бугра показались двое – впереди папа, за ним мама с плотно закрытыми глазами. Папа тащил маму за руку.

– Гляди, – сказал папа, подводя маму к обрыву.

Мама, еще крепче зажмурив глаза, отвернув голову, вырвала руку.

– Тьфу на твою красоту! – крикнула она.

И, повернувшись спиной, начала быстро спускаться.

– Вера, – закричал отец, – камнем догоню!

Ребята так и покатились со смеху – это надо же такое:

«Камнем догоню!» Мама, молча, не оборачиваясь, продолжала удаляться.

В тот раз они были на равных. Они часто были на равных. Маме папа был по плечу, мне нет. Я боялась, что он меня сломает. Я очень дорожила своей душой. Но ведь, говорят, кто дорожит душой, тот ее и потеряет. Мама душой не дорожила, она просто любила.

А с тех пор эта вершина Витоши стала именоваться у нас «Плевательная вышка».

В 1948 году наши войска покидали Болгарию. И вместе с этим закрывалась наша родная школа при посольстве. Для всех ребят, приехавших из Советского Союза, это была трагедия. Помню, как-то вечером дома я слышу мамин голос:

– Ингочке будет очень трудно. Ведь у нее все подруги уезжают.

– Что, у нее все подруги русские? – спрашивает папа.

– Да. Галя Иноземцева, Зоя Ильвовская, Кира Клименко… Самые близкие – русские.

– Болгарская гимназия… – говорит папа задумчиво. – Она же и языка не знает.

Недавно, перепечатывая письма папы этого времени, я натолкнулась на слова:

Что с вашей школой будет, не узнавал. Слыхал только, что положение без изменения, хотя 3 раза идет кино в школе (при посольстве) для немногих из оставшихся здесь. Мне говорили некоторые подать заявление Димитрову об открытии болгарской школы, в которой бы обучались только русские (т. е. – вы) по болгарской программе и на болгарском языке.

В Софии, как я уже писала, было много улиц, связанных с именами русских. Названия улиц вроде бы отражали какую-то память и благодарность, но я не чувствовала этого среди встречавшихся людей. Не знаю, связано ли это с тем, что наши войска оставили Болгарию или нет, но помню сразившую меня наглость одной продавщицы. Тогда в Софии были еще карточки, у нас была большая норма, и мы получали много хлеба. Однажды пошла в магазин я. Магазин был небольшой, вроде комнаты, расположен недалеко от нас в доме, стоявшем внизу на параллельной улице. Я встала в очередь, очередь была большая, выходила на улицу, но двигалась быстро. Каждый, выходя, нес белый, пахучий, мягкий, очень вкусный хлеб. Когда я уже была у прилавка, женщина, что стояла передо мной, долго укладывала хлеб в сумку, собирала карточки, пересчитывала деньги. Продавщица, с копной крашенных хной волос, окинув меня

взглядом, взяла мои четыре карточки, большими ножницами отрезала у меня купоны на два дня и отдала карточки мне. Женщина впереди все еще копалась. Когда она наконец отошла, продавщица протянула руку за карточками и тут же презрительно отшвырнула:

– У тебя уже все выбрано за это число.

– Как же так! Вы только что отрезали, – сказала я по-русски.

Она смотрела зло и презрительно.

– Где? Где твои купоны? – говорила она, ловко сбрасывая их в открытый внизу ящик. – Врешь! Маленькая, а врешь! Рускиня!

Я чувствовала, что очередь на ее стороне. Я еле дошла до дома, строя всевозможные планы мщения. Папу, папу надо послать! Щеки у меня горели, казалось, мне надавали при людях пощечин. Как она кричала! Самое обидное было, что она кричала «Рускиня!».

В один из сентябрьских дней 1948 года, когда небо столь ярко-синее, а листья столь золотые, что невольно вспоминается моя любимая картина «Мадонна Лита», мы сидели с мамой у папы в кабинете, я делала уроки, мама штопала. Одно из трех окон в эркере было распахнуто, и вдруг на подоконник опустился белый голубь. Мама сразу встала.

– Нехорошо, – произнесла она. – Это нехороший знак.

На следующий день мы получили телеграмму: в Киеве скончался дедушка Вячеслав Григорьевич Курдюмов.

Мне кажется, мама не очень переживала смерть отца, но в церковь сходила и свечку поставила. Мама рассталась с отцом еще в 1925 году. И встретились они только однажды – в Севастополе, на непродолжительное время.

Меня эта смерть в то время – увы! – не коснулась. Тогда я уже была занята своей жизнью. Я жила, переполненная гордостью за нашу победу, любовью к Родине… Страдания, перенесенные моей Родиной, заставляли меня еще крепче ее любить. Те же чувства, вероятно, испытывала моя мама, и чем больше проходило времени, тем больше любовь разрасталась, тем сильнее становилась ностальгия. Все чаще во сне я бежала по набережной Ленинграда, проводя рукой по шершавым парапетам, все чаще летала над спящим Рыльском, в синем свете, с маленькими редкими огоньками, разбросанными на горах. И бесконечная радость охватывала меня, радость столь сильная, что я просыпалась. Песни, звучавшие все время по радио, возвращали в прошедшие времена. «Ночь коротка, спят облака…» – и сразу встает перед глазами полуразрушенный дом, только что освобожденный нашими, и когда мама говорила: «Леля пишет, что сейчас труднее, чем в Поспешевке. Тогда хоть картошка

была», – я не слушала. Не хотела знать, что в моей стране, на моей родине, в Рыльске, она голодает вместе с Гориком, как во время войны.

В нашем доме в Софии продолжал звучать вальс «На сопках Маньчжурии», и я сострадала нашим героям, которые спят в земле. «Спите, бойцы, спите спокойным сном… спите, герои, память о вас родина-мать хранит». А «Дунайские волны», «Оборванные струны», «Амурские волны» – это мама. И наконец, сонаты Бетховена – это я. Нет, не смогу описать это ни с чем не сравнимое счастье – белые тугие клавиши, приглушенный свет в холле, открытая настежь дверь на балкон и льющиеся звуки из-под пальцев… Тайна, тайна жизни открывалась мне в те вечера, и эта тайна сулила счастье.

Темнота за окном, шелест ветвей, запах глициний, тишина на улице, только изредка визг маленького трамвайчика на повороте… Именно с той квартиры и начинается моя солнечная пора жизни в Софии. Я созрела для полного счастья.

С осени 1948 года я пошла в болгарскую «девическую гимназию», и последующие два года учебы выветрились из памяти, провалились, как провалилась память о нашей жизни в Астрахани.

Я опять сижу как приклеенная за партой, за два года, проведенных в болгарской гимназии, я ни разу не осмелилась пересечь класс и подойти к окну. И хотя я выучила болгарский язык и хотя успеваемость у меня отличная, я чужая.

Из этих лет осталось два-три воспоминания. Обязательный забег по улицам на 24-е мая, в День Кирилла и Мефодия. Забегу предшествует девичий оркестр. Старшеклассницы, в белых блузках и темных юбках, гордо вышагивая, исполняют марш на длинных, изогнутых, как лебединая шея, серебряных трубах. Но это все мимо меня. Я чужая.

Я, красная, распаренная, под улюлюканье мальчишек на забеге по улицам уже не бегу – плетусь в самом конце, во рту у меня вкус ржавого железа, а дома кровь идет носом, и мама кладет мне под спину связку ключей.

Вспоминается наша химичка, Младенова: «Соль растворяется в холодной и горячей воде одинаково. Запомните. Если мама скажет: быстрее, быстрее сыпь соль в горячую воду, чтобы скорее растворилась, – это неверно. Сахар же растворяется в горячей воде гораздо быстрее». И до сих пор, когда моя рука тянется к солонке, я вижу высокую, мужеподобную химичку, в черном халате: «Соль растворяется в горячей и холодной воде с одинаковой скоростью…»

Из всех предметов осталась в памяти литература, ее

преподавала учительница Карайиванова, как мне казалось – старушка, а на самом деле – женщина лет пятидесяти, невысокая, с добрым лицом и спокойным голосом. Она любила меня и подарила на прощание книгу на русском языке Тырковой-Вильямс о Пушкине. Спустя много-много лет я узнала, что Тыркова – специалист-пушкинист, но в Советском Союзе непризнанный. На уроках я с интересом слушала разбор болгарских народных песен – болгарский народный фольклор. Народные песни – больше ничего у болгар и не было, но эти песни, полные скорби, заполненные жизнью в турецкой неволе, были прекрасны. Карайиванова живет неподалеку от нас, в небольшом собственном доме, увешанном картинами. У Карайивановой есть сын, он архитектор, в него влюблена одна из учениц, зеленоглазая, тихая, белозубая, черноволосая девочка с ярким румянцем. Она мне рассказывает, как иногда приходит к Карайивановой, они соседи, и застает там ее сына… В ее рассказе звучит обреченность. Мы с этой девочкой как-то вместе выступаем на большом молодежном празднике в парке бывшей семинарии, а сейчас – летнем театре. Я пою «Зачем тебя я, милый мой, узнала…». Мне аплодируют, вызывают, стучат, свистят, кричат «бис», но я прячусь, не выхожу – я знаю, как переживал свой первый успех Пушкин, и считаю, что так и следует поступать. И тут выходит она и нежным голосом поет: «Песнь моя, лети по свету…» И аплодисменты, адресованные мне, стихают.

И еще помню нашу физкультурницу:

– Твоя фамилия Мицова? Ты дочь полковника Мицова? Ты вправду его дочь? Твой папа профессор Мицов?

Она полна удивления, смотрит недоверчиво…

– Папа твой… – Она не доканчивает, но я чувствую в голосе восхищение моим папой.

– Да, да, – кричит кто-то, – это ее отец, я ее видела в машине «Мерседес» вместе с ним.

Идет второй год обучения в болгарской гимназии. Мне по-прежнему кажется – я одна здесь из нашей посольской школы. Но в гимназическом хоре я неожиданно встречаю Иру Червенкову и Надю Живкову (К Тодору Живкову, генеральному секретарю БКП и председателю Совета министров НРБ не имеет никакого отношения – просто однофамилица). Они старше меня года на три. Обе голубоглазые, с лицами, свидетельствующими и об уме, и о характере.

Надя Живкова поразила меня еще четыре года тому назад в школе при посольстве. Надя, из 7-го класса, сбегала по лестнице. Красивая, с толстой каштановой косой, веселая. Навстречу бежал

парень, похожий на героя моего детства, Тимура, вероятно, ее одноклассник. На площадке, у большого окна, он преградил ей дорогу, схватил за руку, и Надя остановилась. Они стояли и смеялись, держась за руки, я стояла несколькими ступеньками ниже, пригвожденная счастьем двоих.

Надя Живкова была самой близкой подругой Иры Червенковой с 1945 года. Отличницы, они выступали в художественной самодеятельности, танцевали, разыгрывали спектакли.

Они рады мне, особенно Ира, улыбаются, но я робею. Они недосягаемы для меня. И все-таки мы становимся рядом, они чуть правее и на ступеньку выше. И Надя и Ира поют вторыми голосами, я – первым. Но я, прислушиваясь к ним, сползаю, сползаю на второй.

И вдруг Надя, красавица Надя исчезает из хора. Не приходит на занятия и Ира Червенкова. А в нашем классе появляется девочка, похожая на встрепанного воробушка. Она очень тихая и, как и я, на перемене не встает с места. К ней подходят, разговаривают, до меня долетает не совсем понятное: «генерал Врачев… в тюрьме…» Я совершенно забыла 37-й, 38-й годы, забыла 39-й, я не понимаю: коммунист? генерал? в тюрьме?

– Ты знаешь его? – спрашивают меня.

– Нет, я не знаю. Не слышала.

– Не слышала – потому что не из Советского Союза.

– Но он же коммунист? Известный генерал. Руководитель военной разведки – генерал Петр Врачев!

Я не знаю. А она сидит, тихая, сжавшаяся в комочек. Серенькая. К ней у всех очень нежное отношение. И говорят с ней тихо. «Его скоро выпустят, тут какая-то ошибка». Так говорят ученицы, так говорят и учителя.

Надя Живкова… генерал Петр Врачев… Да, я долго ничего не знала и не интересовалась.

Из того времени, лета 1949-го, всплыл в памяти папин испуг, иначе не скажешь.

Это было во время нашего путешествия по Болгарии, мы – папа, Вовка и я – двигались на юг, в сторону то ли Греции, то ли Турции. Папа связал это путешествие со своими исследованиями, кажется касающимися малярии. Заночевали в выжженном от жары городке, где папе выделили комнату в каком-то административном здании. Поставили три кровати. Кровать папина стояла рядом с моей, он лег и захрапел, я не могла уснуть, но разбудить боялась. Стала тянуть за край его простыни. Только он захрапит, я ка-а-к дерну!

– А? Что? – Он вскакивает, оглядывается.

Я притворяюсь спящей. Он уляжется, и мгновенно раздается вновь захлебывающийся храп. Я терплю какое-то время, потом опять со злостью дергаю за край простыни, и опять:

– А? Что?

Он наклоняется, заглядывает под кровать и наконец понимает. Ложится на спину и молчит.

Так вот утром, за завтраком, мы узнали, что в этом городе ночью произошел взрыв на химическом заводе.

– Диверсия, – говорят папе.

Помню, папа сразу посуровел. Мы вышли на улицу и сели под чахлое дерево, задыхаясь от жары и какой-то тяжелой пыли, и папа проговорил:

– Нехорошо, что мы оказались здесь в это время.

Его тревога мгновенно передалась мне, и вместе с тревогой – удивление: как же здесь не знают папу?

– Надо уехать, как можно скорее, – сказал папа, но к нам уже подходили.

В одно мгновение собралось и побурело его лицо, когда к нам подошли двое, показали папе раскрытое удостоверение, и папа, с уже забытым мною напряженно-зависимым видом, отправился следом за ними, на ходу бросив нам с Вовкой:

– Сидите здесь! Никуда не уходите!

Довольно долго мы сидели с Вовкой на солнцепеке, неподалеку от дома, где папу допрашивали и проверяли документы. Наконец, он вышел к нам своей обычной стремительной походкой, вытирая лоб. Мы сразу покинули тот город.

Сейчас я думаю, что папа еще год назад, в январе 1948-го, должен был насторожиться, прочитав в «Правде» заявление Димитрова на пресс-конференции в Бухаресте: *«Что касается проблемы федерации, то в Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Чехословакии, Польше, Венгрии, возможно, в Греции, наши народы могут сами принять решение. Именно они решат, создавать ли федерацию или конфедерацию, где и как это должно осуществиться».* Что это? *«Сами»*? Как такое напечатали? Спустя десять дней папа читает в передовице «Правды»: *«Мы опубликовали заявление товарища Димитрова, однако это не означает, что мы разделяем его мнение. Совсем наоборот, мы считаем, что эти страны не нуждаются в навязываемой федерации или конфедерации. Единственное, в чем они нуждаются, – это в усилении и защите своего суверенитета и своей независимости».*

Папа всегда меня удивлял тем, как внимательно прочитывал передовицу в газете, отыскивая скрытый смысл за ее скупыми

строчками. Он-то понимал: передовица в «Правде» – это не заявление редактора, это – указание самого Сталина, и по тону передовицы ясно: Сталин разъярен. Я пожимала плечами: папа накручивает сам, ничего такого я не вижу.

Теперь-то я знаю: в январе 1949 года, ровно через год после своего неосмотрительного заявления, Димитрова уже не было в Софии. Он в очередной раз поехал на лечение в Советский Союз, но оттуда не вернулся. Конечно, его кончина вполне может быть естественной (учитывая его состояние здоровья), но последовала она слишком… своевременно. Тогда ходили самые разные, порой дикие слухи[20], однако достоверно ничего не было известно. Долгое время о Димитрове не было официальных сообщений, пока в апреле 1949 года в прессе не появилось короткое сообщение о том, что он заболел и находится на лечении в Советском Союзе. Но папа связывал это странное исчезновение Димитрова с резкой отповедью ему в «Правде» год тому назад.

Думаю, что я понимаю людей, которых не коснулись 37–38-й годы и которые говорят: «Мы ничего не знали». Не знали – во многом потому, что не хотели знать. Я в 1949 году ничего не знала именно поэтому: это меня не касается, не может коснуться, я не хочу знать. Но застревает в памяти имя, которое до сих пор у нас не произносилось, и тон, которым произносится это имя, – сочувствующий тон. Я слышу: «Казнь через повешение». Это ударяет напоминанием о Средневековье – палач, табурет, петля. Но ударяет только на мгновение. Кажется, в четырехлетнем возрасте я была более понятливой. Да, я долго ничего не знала и не интересовалась.

Я сижу на корточках перед радио, смотрю в зеленый глазок и слушаю: «Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград…» – поет Георгий Виноградов.

– В Ленинграде пошли по второму кругу, – шепчет тетя Мара. – Сейчас наверняка арестовали бы опять. Арестовали все партийное руководство города, арестованы профессора, преподаватели. Арестован Кузнецов[21], – говорит тетя Мара.

Папа, мама и тетя Мара сидят в холле, телефон мама прикрыла подушкой. Мне кажется, что все известия приносит тетя Мара – ее дядя, Добри Терпешев, член политбюро. Может быть, папа тоже все знает, но разговоры ведутся, когда приходит тетя Мара. Папа молчит. Сидит опустив голову, уголки губ опущены, лоб собран в морщины, будто он с удивлением разглядывает свою жизнь и она ему не нравится. А может, заглядывает в будущее и то ему тоже не нравится, как не нравится ему и настоящее.

– Так что не очень-то жалейте, что вы здесь, – тихо говорит

тетя Мара своим характерным, чуть шершавым и одновременно мягким голосом.

На миг замечаю, что в комнате полумрак, наша шестиламповая итальянская люстра не горит, свет идет из раскрытой печки, красные стены холла окружают нас неприятным забором. «…А смуглянка-молдаванка по тропинке в лес пошла», – поет Виноградов.

– Димитров пропал, говорят – в Москве. Но ничего в газетах не пишут.

Папа продолжает сидеть, свесив руки между ног, опустив голову. Он ничего не произносит. И вдруг до меня долетает неизвестное имя: Трайчо Костов. Странное имя запоминается. Меня поражает и имя, и то, каким тоном произносит его тетя Мара – с уважением.

– Его пытают, слышали крики, – шепчет тетя Мара.

Виноградов продолжает петь, но от слова «пытают» мне делается как-то нехорошо. Это не может иметь отношения к нам, но кого-то пытают. Пытают, пытают какого-то Трайчо Костова, имя которого я слышу впервые.

– Говорят, в первую же ночь в трубу, по которой подают воздух, стали заливать воду и пригрозили: если не подпишет показания, утопят, – шепчет тетя Мара.

Они говорят тихо, склонившись над столом, в комнате темно – только зеленый глазок радиоприемника и красный отсвет из печки.

– Ингочка, иди к себе в комнату, – говорит мама.

– Инга, иди отсюда, – говорит и тетя Мара.

Теперь я думаю: что чувствовала Мара Терпешева? Иван Кинов? Асен Греков? Атанас Атанасов? Август Кабакчиев? Те, кто сидел в тридцатых годах в наших тюрьмах, а сейчас стоят у власти? Они-то хорошо понимают, что стоит за строками: «процесс над предателем, капиталистическим наемником».

Что чувствовал мой папа? Стыд? Страх? И опять я радуюсь, что папа дважды отказывался от учебы в партийных университетах, которое ему сулило быстрое продвижение по службе. Я страшно рада, что, по его словам, он «остался верен своей скромной профессии». Кто может знать, как сложилась бы его судьба, если бы вместо мирной профессии, написания книг, учебников, организаций института и кафедры он включился бы в политическую деятельность?

Как читает папа газетные материалы, содержание которых так напоминает ему процесс Бухарина перед его собственным арестом в 1938-м? Он внимательно вчитывается в газетные строчки, где клеймят Трайчо Костова, преданного коммуниста, –

папе ли это не знать? Ведь он пересекался с Трайчо Костовым в 1927 году в софийской тюрьме. Ждет ли папа ареста? Все может случиться. Ведь арестовали же Живкова, отца Нади, девочки из нашей школы, приехавшего, как и папа, из СССР. Арестовали вместе или вслед за Трайчо Костовым.

Отца Нади Живковой… Уже теперь, недавно, я узнала, что он тоже прошел через папин канал в двадцатые годы. Доходили слухи, что мать Нади Живковой просила о помощи Иру Червенкову, может, и ее мать, Елену Димитрову, а может – и самого Червенкова… Отец Нади, Живков, оставался в тюрьме. Не знаю, когда это произошло, но его выпустили.

Теперь я многое знаю о том процессе: Трайчо Костов сломался на четвертом месяце и подписал протокол допроса. «Процесс № 1891/1949 против изменников Родины, шпионов и саботажников группы Трайчо Костова» проходил с 7 по 14 декабря 1949 года в Софии в Большом зале Центрального Дома Народной Армии. В зале, конечно, и Георгий Дамянов, и Вылко Червенков, и Василий Коларов. Нет только Димитрова. Димитров скончался в Москве спустя две недели после ареста Трайчо Костова[22]. Процесс открытый, показательный, в зале много иностранных журналистов. Заседание суда транслируется по радио.

– Я признаю себя виновным в националистическом уклоне в отношении Советского Союза, которое заслуживает самого сурового осуждения, – начал Трайчо Костов. – Я не признаю себя виновным в том, что капитулировал перед фашистской полицией, в том, что я был завербован английской секретной службой, и в заговорщической деятельности вместе с кликой Тито. Я не подтверждаю эти показания, сделанные во время предварительного следствия.

Он продолжает отказываться от одного пункта обвинения за другим. Идет трансляция. Председатель суда прерывает выступление Костова. Его выводят из зала заседания и продолжают оглашать протокол признаний, выбитых из Костова в тюрьме госбезопасности. 14 декабря 1949 года одиннадцати обвиняемым было предоставлено последнее слово.

– В своем последнем слове перед глубокоуважаемым судом, – сказал Трайчо Костов, – я считаю своим сознательным долгом заявить суду и тем самым и болгарской общественности, что я никогда не находился на службе английских шпионских служб, никогда не участвовал в заговорщических планах Тито и его клики, что всегда испытывал к Советскому Союзу уважение и почтение.

Костова прерывают, и охрана силой усаживает его на скамью

подсудимых. Оглашают приговор – «смертная казнь через повешение».

И вот по прошествии полувека я читаю, что в ночь перед казнью к Трайчо Костову в камеру спускается Червенков и говорит: «Болгарские и советские товарищи знают, что ты не можешь быть ни шпионом, ни преступником. Но я апеллирую к твоей верности коммунистической партии и предлагаю отозвать свой отказ: позорный приговор послужит только международному рабочему движению, а жизнь тебе будет сохранена». И на следующий день в газетах появляется факсимиле Трайчо Костова: «Прошение о помиловании в Президиум Национального Собрания. Я признаю все обвинения, выдвинутые против меня судом, и подтверждаю целиком и полностью свои показания, сделанные во время предварительного следствия… Я искренне сожалею о своем поведении, которое можно объяснить только крайним нервным напряжением, и прошу Вас… отменить вынесенный мне приговор и заменить его пожизненным строгим тюремным заключением».

На следующий день, 16 декабря 1949 года, Президиум отклонил прошение Костова о помиловании как необоснованное. Приговор был приведен в исполнение в этот же вечер.

Недавно я прочитала у Солженицына в «Круге первом» такие слова про Трайчо Костова, которые автор вложил в уста Сталина:

«…В морду Трайчо Костова, в окровавленную морду… Они все троцкисты, но как маскировались! Куна хоть расшлепали в 37-м, а Костов еще десять дней тому назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов, каких врагов заставляли топтать самих себя, и такой срыв в процессе Костова! Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах, – а на публичном заседании ото всего отказаться!.. При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? Где партийная совесть? Где же пролетарская солидарность? Жаловаться империалистам! Ну, хорошо. Ты не виноват, – но умри так, чтобы была польза коммунизму».

Все это узнаю я спустя полвека, и мне страшно. А Люба Терпенчарова? Та девушка, фотографию которой я так прилежно рассматривала в папиной книге? Люба Терпенчарова, у которой была явка ЦК в 1926 году в Софии, куда явился папа из Вены? Которая потом стала женой Трайчо Костова, после того как его выпустили из тюрьмы в 1929 году? Я открываю папину книгу и вижу: Люба Терпенчарова умерла в 1959 году, дожила до посмертной реабилитации своего мужа. Открываю Большую советскую энциклопедию, нахожу Трайчо Костова, но в статье нет ни слова о том процессе. Ищу Червенкова – а его, руководившего

страной после смерти Димитрова на протяжении шести-семи лет, главы партии и главы правительства, – его нет. Нет такой фамилии.

А из тех, прошлых, времен, навсегда запомнился очень характерный эпизод при нашей случайной кратковременной встрече с Живковыми. Очень хорошо помню картину, которая и сейчас стоит перед моими глазами. Это было уже в пятидесятых. Мы втроем – мама, папа и я – возвращались с прогулки. Шли по парку, ранее носившему название «Борисова градина»; уставшие, мы срезали путь и поднимались по аллее, ведущей мимо плавательного бассейна. Навстречу нам шли трое: Надя, ее я сразу узнала, – та же девушка, с большим бантом, приколотым сзади к каштановым косам, ее мать, высокая, представительная дама, горбоносая, с очень прямой спиной, в белой блузке, с широкими рукавами, с камеей на груди, и рядом – невысокого роста мужчина. Издали было видно: идут русские.

– Они только что вернулись из Союза, – сказала мама. – Кажется, они собираются переехать туда.

В этот момент Живковы свернули на боковую дорожку.

– По-моему, они нас не хотели видеть, – сказала мама.

Папа промолчал. Мама повторила:

– Мне кажется, они нас заметили.

Надина мать демонстрировала свое презрение, обиду и горькое возмущение поведением всех, кто приехал из СССР и не заступился за ее мужа. Папа молчал. Я не почувствовала, что он огорчен или расстроен, скорее наоборот – кажется, он был рад. Тогда мне не пришло в голову сопоставить только что увиденное с состоянием нашей семьи в 1939-м, после папиного освобождения. Ведь папу тогда никто не защитил, никто ему не помог. А он сам? Он… Он ведь фактически «подставил себя», выступив тогда, в 1938-м, в разгар террора и партийных чисток, в защиту своего однокурсника поляка-политэмигранта Оскара Геринга. А мог ли он сделать что-либо, помочь кому-либо сейчас, во время репрессий в Болгарии? Недавно, просматривая двухтомник «Плечом к плечу, сердцем к сердцу» (болгарская книга, изданная Партиздатом в Софии в 1984 году, в ней опубликовано несколько папиных статей с воспоминаниями о его болгарских знакомых и друзьях, служивших в Красной армии), я натолкнулась на воспоминания Хелды Боевой об ее отце. Боев – болгарин, эмигрировавший, как и папа, в СССР, известный советский разведчик. Читая очень скупые воспоминания дочери, я обращаю внимание на слова: «Отец получил самый высокий советский орден, орден Ленина, который помог ему остаться невредимым в столь сложных ситуациях». Странные слова:

значит, сложные ситуации были. И я вспомнила: однажды, в конце сороковых годов, в нашем доме на улице Мосул появилась странная пара – женщина с девочкой моих лет. Они разместились в мансарде, где ютилась семья брата хозяйки Борислава. Мне было непонятно, что это за люди – вроде из СССР, что-то упоминается и про другие страны, у меня четкое впечатление: они не такие, как мы. Имя у девочки не русское (мне ли удивляться!), почему-то в нашу школу она не ходит. Помнится, мама недоумевала: что делает по целым дням девочка, не выходя из дома? Мы с ней не общаемся, как не общаемся и с ее матерью. Я не помню, чтобы они выходили на улицу. Поселились они у нас на чердаке, конечно, при содействии папы – иначе и быть не могло. Прожили какое-то время, потом исчезли. Вспоминается фамилия – Боев. Вероятно, это были жена и дочь Христо Боева. (Но это только мое предположение!) И кажется мне, что их появление в нашем доме было связано с напряженной обстановкой в Болгарии. Не прятал ли папа в то тревожное время семью уважаемого им человека? Человека, которому верил и которого считал верным их общему делу. Я думаю, что было именно так. И вспоминаются слова, сказанные мне в упрек в Ленинграде одним из болгарских студентов: «Верно, ты не знаешь, каким авторитетом пользуется твой отец на Родине, раз так себя ведешь». Авторитет этот складывался не только из его знаний и занимаемых постов, но и из готовности прийти на помощь тем, кто в его помощи нуждался. Полковник Мицов – это звучало как пароль, свидетельство честности и бескорыстности.

По времени есть еще одно странное совпадение. Вдруг у нас появляется жена Ивана Винарова, генерал-лейтенанта, тоже бывшего разведчика. Галина Петровна приходит, дружелюбная, улыбается, как старая знакомая. Приходит раз, другой. Винаров принадлежит к кругу людей близких к власти: папа все еще полковник, а он – генерал-лейтенант, папа – ученый, Винаров же – разведчик, вращается среди верхушки военной знати. И вдруг визит жены?! Помню мамино напряжение при визите этой дамы, хотя, рассказывая папе, мама недоумевала и посмеивалась: «Никогда не только не приходила, слова не молвила при встречах, а тут сидит подолгу, пьет чай, рассказывает, что у мужа какие-то неприятности, предлагает дружить… видно, что-то понадобилось от тебя. Как только все поправится – больше не придет». – И мама засмеялась. Папа, слушая рассказ мамы, хранил молчание. Возможно, папа принял участие в его судьбе (хотя, помню, он его не любил). В скором времени Винаров опять вернулся на прежнее место (а может, просто успокоился). Надо ли писать, что больше жена Винарова не появлялась у нас ни разу до

конца жизни.

Теперь, как мне кажется, я могу сделать вывод: в то время, в конце сороковых или в начале пятидесятых, и одному и другому из этих людей угрожала какая-то опасность, может – опала или неприятность, и оба искали поддержку и даже защиту у папы. Папа не занимал такого положения, как они, не встречался запросто с членами правительства, как делали те двое. Но у него они искали поддержку – пусть даже просто моральную, а возможно – и более конкретную. У него, у человека с большим авторитетом, человека честного, справедливого, мужественного. Конечно, в круге болгар-эмигрантов было известно, как тогда, в 1938 году, папа выступил в защиту Геринга. И очевидно, люди знали, что он остался прежним. Никуда не могла деться эта черта папиного характера – быть честным, бескорыстным, справедливым, мужественным.

Однажды в январе 1950-го к нам пришла тетя Мара.

– Вера, – сказала она, – какая ты счастливая. Живешь за спиной Здравко, как за каменной стеной. Ничего не знаешь.

Тетя Мара выглядела испуганной и подавленной.

– Добри (Добри Терпешева. – *И.М.)* вывели из Политбюро, – сказала она, садясь за стол, – и сняли с поста зам. Председателя Совета Министров. За связь с Трайчо Костовым. Старик перепуган. Ожидает ареста. Мне кажется, за мной тоже следят.

До конца своей жизни тетя Мара уверяла, что за ней следят. Она рассказывала, как она вешает на двери веревочки, протягивает нити по комнатам, а когда возвращается – все это порвано.

– Это уже психическое расстройство, – говорил папа. – Наша Мара немножко «тю-тю».

Но все это мимо меня. Я с увлечением занимаюсь музыкой. Уже играю сонаты Бетховена, играю Мендельсона, играю Шопена… Я сижу за пианино, немножко пахнет нафталином, вокруг все замерло, и только музыкальная стихия словно обволакивает меня, отрывает от земли, погружает в какой-то нездешний мир. В замершей тишине плещется у ног Венецианский канал. Тихо подкрадываются волны, поднятые веслом гондольера. Высокая белая дверь из коридора открывается, и тихо входит мама, в руках совок, фартук испачкан золой. Она останавливается за спиной, слушает. Нет, не передать мне того ощущения счастья. За спиной стоит мама и слушает, как я играю.

– Ингочка, тебе задали «Венецианского гондольера»? Я тоже его играла, – чуть смущенно говорит она. – Но больше любила другого. У Мендельсона их два.

Я сейчас часто укоряю себя за то, что уделяла много внимания себе и во многом обделила своих детей. И не могу ответить на вопрос, что правильнее – матери проживать свою собственную жизнь параллельно с жизнью детей или жизнь детей и должна составлять жизнь матери? На этот вопрос я ответа не имею. Но что любовь детей возникает именно к матери, которая живет их жизнью, – это мне ясно. Жизнь мамы была полностью подчинена нашим интересам, я ее не очень впускала в свою легкомысленную, эгоистичную, довольно пустую жизнь, наполненную бесконечными увлечениями, болтовней. Она и не вмешивалась, она просто служила мне, как служила папе, и это тихое служение, не требующее благодарности, и есть, на мой взгляд, проявление истинной любви.

– Вера Вячеславовна, – говорила Евгения Ивановна, – вы так любите своих детей, что если бы они были преступниками и убийцами, вы бы все это скрыли и простили.

– Да, – отвечала мама, – простила бы и скрыла.

Часть 5. Дети

«Благословите судьбу, если у вас была юность, (одной молодости недостаточно на это), благословите ее вдвое, если у вас был тогда друг».

А. И. Герцен

Школа с преподаванием на русском языке в Софии. – Юность. – Поездка на учебу в Ленинград. – Володя Червенков. – Обстоятельства его гибели. – Встречи с Ирой Червенковой в Софии и в Москве. – Слежка. – Тайны Червенкова-старшего. – Воспоминания Татьяны Товстухи-Шмидт о Димитрове.

В 1950 году открывают школу с преподаванием на русском языке, по русской программе. Мне шестнадцать, семнадцать, восемнадцать…

Трудно вспомнить, из чего ткалось то неповторимое время… На всех фотографиях у меня – в глазах, в походке, в повороте головы – всепоглощающее счастье. Я попала в струю – мы шли общим потоком, еще не прошла эйфория Победы, нас объединяла история, сознание, что страна, из которой мы приехали, самая сильная и, конечно, самая лучшая. Эта общность, поток, который нес нас, составлял немалую толику моего счастья. Мне трудно представить, как проходила бы моя юность в Рыльске, Ленинграде. Нет, ощущение счастья – это еще и положение отца, огромная квартира, южные вечера, южный, пропитанный запахом цветов ветер, особо для нас открытая школа, невиданные иностранные машины – «шевроле», «бьюик»… и полная уверенность, что мы – представители самой прекрасной страны в мире.

Мы живем компанией – Огнян Иванов, Надя Атанасова, Дина Топалова, Мирчо Иванов, Чавдар Дамянов, Рэд (Ренольд) Йовчев, Эмиль Дерменджиев…

– О! Эмиль! «Орлов нос»! – И брат со смехом приставляет руку к носу. – Он каждый вечер прячется на нашей улице!

«Орлов нос» – это Вовка острит, намекая на известную достопримечательность Софии – Орлов мост и большой нос Эмиля.

Милен, Лида Стоянова, Миля Грамчева, Вовка Манавский… Юрка Царвуланов, который неожиданно поцеловал меня в щеку как-то в полдень на нашей улице, запах кожи от его куртки…

– Когда ты краснеешь, от тебя совершенно нельзя отвести глаз.

– Ино! Ино! – поет он, когда мы идем по парку.

– Что он поет? Как он смеет? Вместо «О, моя Нино!» поет: «Ино! О моя Ино!» Как ты позволяешь? – шипят Надя и Динка.

А мне приятно и немного смешно. Они не чувствуют – он тоже влюблен. Я это чувствую, у меня нюх. Наутро в школе Мирчо повторяет наш разговор с мамой вчера на нашем балконе. О! И он тоже!

Я выбегаю на балкон в теплый осенний вечер, я только что кончила играть и кричу маме:

– Мама, эта соната – лучшая из всего, что я играю! Это уже серьезно!

Я точно знаю, что вот там, в углу, на заборе, в тени дерева сидят Мирчо и Огнян и мои слова адресованы не маме, а им…

Надина мама, Людмила Кирилловна, говорит:

– Что делать другим? Все ребята влюблены в Ингу…

А спустя год:

– Вы уже разбились на пары? Рано. Значит, все разрушится. На пары рано разбиваться.

Она права. Мы рано разбились на пары. Ранние связи неустойчивы, не сумели окрепнуть, быстро порвались. Мы – я, Надя и Динка – уехали учиться в Россию, и наши жизни не складывались легко и безболезненно. За нашими спинами не было родителей. А в другой компании, тоже приехавших из России, – на пары разбиваться не спешили, и вот Веса, тоненькая, умная, изящная Веса, остается в Болгарии и, как говорят, «удачно» выходит замуж за маленького, толстенького, очень важного парня, на которого я никогда не обратила бы внимания, – за сына военного министра Ивана Михайлова. Спустя лет пятнадцать мы пьем у нее чай, Веса с большим достоинством указывает что-то домработнице… рассказывает про дачу в Бояне… Это уже когда меня жизнь сильно потрепала, когда мы скитаемся с мужем, бездомные, по Риге с маленьким сыном Сережкой, которого я безумно люблю и которого мне безумно жаль. У нас нет надежды на квартиру, у меня полным ходом идет неврастения… Папа мне пишет:

В твоем письме такой же тон, как и в последний раз, когда тебя видел. Тон смирения. Почему ты выбрала такой смиренный стиль поведения? Неужели он дает тебе больше, чем утвердительный тон? Или этот твой смиренный тон от боязни

жизни? Надо хорошо оценить, выяснить, что выгодно тебе в твоей жизни – зубастость или смирение, что больше соответствует твоему уму, твоим возможностям и твоим интересам.

…Ингочка, вижу я, что ты хоть и одна и далеко от нас жила, но не приспособилась ты к жизни. Только береги свое здоровье! Самое важное – здоровье. При наличии его все наладится. А потому надо быть несколько поуступчивей, снисходительней к человеческим мерзостям. Ведь люди-то разные, но все же люди. И с ними надо жить.

…Но до этого еще десять лет. А пока – я купаюсь, купаюсь в любви.

Милен пишет зимой из Москвы, присылает свои фотографии; я, боясь сделать ошибку, отвечаю и спрашиваю: «А что надо ставить после слова “знаешь”?» «Запятую», – указано в ответном письме.

Суматошное, прекрасное время! И вот уже опять карнавал, и опять Евгения Ивановна на мою ночную голубую фланелевую рубашку нашивает золотую полосу, усыпанную блестящими камнями, а на голову – кокошник: камни переливаются, я – царевна! А ведь в шестом классе, в школе при посольстве, всех удивляло: как это – шестиклассница – и царица карнавала? Сейчас все по-другому… Я отличница, на всех вечерах играю на пианино и пою, со мной все хотят дружить, меня всегда вызывают к доске, когда приезжают из Москвы в нашу школу с инспекцией, учителя меня выделяют, меня знает вся школа, моя фотография висит на стене, правда, недолго: кто-то ее крадет. Я знаю, что царю по праву, и все принимают это.

Летом я ждала приезда Милена, мы проводили с ним дни сначала в Софии, потом он стал приезжать в Банки, где мы снимали дачу. Милен приезжал к нам почти каждый день. Он прекрасно играл не только на фортепиано, но и на аккордеоне. «Что-то замерло все до рассвета…» – эта песня ассоциируется каждый раз с летом 1950-го, широкой лестницей, ведущей в сад, особенным легким воздухом – недаром там находился санаторий для сердечников.

Вторую половину дачи снимает мать Динки Топаловой – Анна Федоровна. Она у меня вызывает отторжение. Полная, высокая, шумная, Анна Федоровна с утра уезжает на работу и, улыбаясь, говорит:

– Оставляю Диночку на ваше попечение.

Я чувствую в ней порок. Матери, легко смотрящие на измену мужьям, часто определяют этим несчастную жизнь своих дочерей в замужестве. Отца Динки я не помню, он окончил в Москве

Институт красной профессуры и преподавал в какой-то софийской академии. Папа отзывался о нем пренебрежительно. Да и я, глядя на их безалаберную жизнь, не могла представить Павла (так звала его Динкина мать, на самом деле его звали Панайотом) ученым. Просмотрев списки репрессированных в 1930-е годы в СССР, я там не нашла Панайота Топалова.

А ниже по улице снимает целый дом семья Нади Афанасьевой, и у входа дежурит солдат. Отец Нади – заместитель военного министра, генерал-лейтенант.

Мальчишки-одноклассники приезжали к нам на весь день из Софии, и с ними Милен, лет на пять-шесть старше, на голову выше их – в прямом и переносном смысле слова. Мне нравился Милен, но, видно, еще не пришла пора. Я была счастлива и его присутствием, и теплой ночью, и запахом ветров, и особенно – мелодиями и словами песен, которые пахли другой жизнью, московской, взрослой…

…На Волге широкой, на стрелке далекой,
Гудками кого-то зовет пароход…

Целые дни мы проводили в бассейне с минеральной водой, лежали на солнце, прыгали с вышки, а вечерами гуляли.

Наша компания состояла наполовину из ребят, лишенных отцов, – и Мирчо, и Огнян, и Юрка, и Рэд… И скорее всего, те были расстреляны. Есть ли они в списках репрессированных, я не знаю (в Советском Союзе болгарские эмигранты почти все носили русские имена и фамилии). Выжившие занимали высокое положение. Но родители нас не интересовали. Хотя однажды что-то всплыло в наших разговорах. Теплым летним вечером мы весело шли уже устоявшейся компанией мимо загородных коттеджей, затаившихся в садах. Высокие деревья качали над нами свои широкие кроны. Мы спускались вниз, к центру курорта. Милен играл на аккордеоне и пел: «Что-то замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь…» Юрка Царвуланов, невысокий, уверенный, был скрытен, зол и умен, жил с отчимом и носил его фамилию, но кто был отчим, чем занимался, я не знала, кажется, он был связан с госбезопасностью. Вдруг Юрка ни с того ни с сего спросил: «А как вы думаете, кто бы выдержал пытки? Ведь очень мало людей, которые могут выдержать пытки и не выдать». И Милен, понимая, что вопрос адресован ему, старшему среди нас, ответил: «Да, таких людей мало. В этом случае лучше ничего не знать». Мне тогда этот ответ показался малодушным.

Отец Милена, как я уже упоминала, был в 1941 году

переправлен в Болгарию на подводной лодке. Если я не путаю, все его товарищи были пойманы и расстреляны. Поговаривали с плохо скрытым удивлением: «Из одиннадцати человек уцелел только он один». В конце лета Милен уехал в Москву, где учился в Энергетическом институте, а я неожиданно влюбилась. Это случилось осенью, 9 сентября 1950 года.

Это был Вовка Червенков, студент Энергетического института в Москве. Он учился вместе с Миленом…

Описать, что чувствовала я, очень трудно – счастье не оставляет зарубок, в отличие от горя. Я не помню подробностей. Просто я была в другом мире – и этот мир был более реальный, чем окружающая действительность, в этом мире я жила, дышала, думала. Ничего не осталось от того времени – лишь несколько эпизодов. Спустя много-много лет я скажу его сестре Ире:

– Знаешь, Володя был похож на Высоцкого, – и увижу, как вспыхнут удивлением и благодарностью ее глаза, и услышу:

– Я думала, это знаю только я.

Но тогда еще Высоцкий не был артистом, а Вовка задержался в Софии и проводил с нами все вечера.

…Я вошла – и все поплыло кругом: музыка, танцы, горели щеки, я, плохо танцуя, старалась вести сама и наступала партнерам на ноги. Но была уверена – я лучше всех. И каждый мальчишка здесь это знал. Я не очень-то говорила, но много хохотала. Моя кровь играла со мной, неслась по телу, отражалась в плавящихся от счастья, чуть покрасневших глазах и пылающих щеках. Рэд – я его немного презирала, подозревая в нем сводника, – подошел и спросил:

– Почему у тебя сегодня так горят щеки?

– Всегда горят, – ответила я.

– Не-е-е-т, – принужденно засмеялся Рэд, качая головой, – это… неспроста. Кто-то, наверное, нравится. Да?

И вот среди шума и гвалта, среди толчеи, кто-то сказал: «Тише», включил радио, и мы услышали приветственную речь от имени правительства, обращенную к нам поименно. Кто-то, может Рэд, сказал:

– Да это же Вовка Червенков специально записал речь на магнитофон, всунул магнитофон в приемник, он его специально разобрал для этого!

Официантки приносили на подносах еду, я не притрагивалась. Я подсознательно чувствовала, что все в первую очередь делается для меня и что кто-то невидимо дирижирует весельем. Я хохотала, была опьянена предчувствием, во мне дрожала каждая косточка.

– Как тебе понравился Володя Червенков? – спросила Динка.

– А кто из них?

– Как? Тот высокий, со шрамом, в очках.

– А-а-а…

Я не заметила Володю в тот вечер.

Его не смущало, что он старше всех нас лет на пять. Казалось, ему доставляло удовольствие общение с нами. В конце сентября Володя уезжал в Москву. Накануне отъезда мы всей гурьбой шли по бульвару, Володя, обернувшись ко мне, сказал:

– В кинотеатре, в доме, где живет Мильчев, идет фильм «Жди меня». Пошли?

И опять мне показалось, что этот фильм, о котором я никогда не слышала и который нигде не шел, будет показан специально в честь отъезда Володи по его просьбе. Я не помню никого в зале, кроме наших ребят, расположившихся в третьем ряду. Помню, как вслед за мной потянулись остальные, но рядом осталось пустое кресло. Последним прошел Володя и сел рядом со мной. «Сколько б ни было в мире разлук, в этот дом я привык приходить», – запела Серова. И в это время я осознала, что Володя, сидящий со мной рядом, мне дорог до слез. Кажется, тогда впервые я почувствовала его отличие от окружавших меня ребят, его скрытую печаль и неприкаянность.

После кино, чуть отстав от всех, Володя протянул мне ладонь, на ладони лежала маленькая аккуратненькая желтоватая пуля.

– Это от моего пистолета, – сказал Володя. – Если вы перестанете думать обо мне, то верните мне пулю, и я все пойму.

Спустя месяц мама, улыбаясь, протянула мне бело-голубой конверт авиапочты. Внизу мелким почерком было написано: Москва, Нижне-Кисловский, Червенков. Я молча взяла конверт и ушла в свою комнату. Прислонившись спиной к двери, я поднесла конверт к лицу, вдыхая незнакомый запах Москвы и сладкий запах почтового клея. Нераспечатанный конверт с моим адресом, моей фамилией, стоял на пианино до самого вечера. Я играла бетховенские сонаты, настольная лампа освещала ноты, в комнате был розовый полумрак, я играла, дожидаясь, когда все улягутся спать.

И вот, наконец, последний раз я поднесла конверт к лицу, вдохнула запах и вскрыла. Оттуда выпали два маленьких бело-зеленоватых чуть светящихся голубя… Я приколола одного из них на свою школьную форму, а другого зажала в руке. Без обращения письмо начиналось словами: «Не сердитесь, к лучшему, память вам не мучая, я пишу от случая до другого случая…» Да, это был Володя, с его застенчивостью, тихим юмором, всепониманием и добротой. «Письма пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные… Чтобы вам не бедствовать, не

возить их тачкою, будут путешествовать с вами тонкой пачкою, а замужней станете, обо мне заплачете…» Тут я споткнулась и перевела дыхание. Будущее внезапно открылось и ударило меня, уже медленнее я дочитала: «…От него, ревнивого, заперевшись в комнате, вы меня, ленивого, добрым словом вспомните. Скажете, что к лучшему, память вам не мучая, он писал от случая до другого случая».

Я словно выпила до конца стихи, ощущая пугающий осадок на дне. «Это не мои стихи, – писал Володя, – а Симонова». Какое это имело значение? Они были написаны *его* рукой и для *меня*.

Два лета – 1951 и 1952 года. Вроде это не имеет отношения к папе. Но почему же, почему вспоминается именно папа – не мама? Почему воспоминания о маме пропали, исчезли? И вспоминается моя первая, такая робкая любовь – и папино грубое вмешательство?

Лето 1951-го – это Варна, сияющее море, ослепительное солнце, красный песок волейбольной площадки, маленький ресторанчик над морем, с танцевальной площадкой, на которой, впрочем, никто не танцевал. Но ярче всего вспоминается сияющая ширь моря, сулящая бесконечность счастья. Я с утра надевала шерстяной, синий с желтым купальник и шла на море. Вокруг сидели и лежали наши ребята и девчонки – Надя, Дина, Мирчо, Рэд, Огнян, брат мой Вовка. Они что-то говорили, я ждала опустив голову. Ждала, поджав под себя ноги, пересыпая песок из руки в руку. Вот-вот раздастся грохот, и красный мотоцикл остановится наверху, в тени небольших деревьев, и Володя, в голубой рубашке и в светлых брюках, спустится к нам. Иногда, не дождавшись его, я бросалась в море, плыла, еле сдерживая дрожь, раздвигая сверкающую воду, плыла прямо на солнце, заплывала далеко. Море стлалось подо мной, и я улыбалась, раздвигая руками солоноватую воду, согретую солнцем, глядела на свои вытянутые, чуть зеленоватые руки под водой, и радость охватывала меня. Сейчас я поверну обратно и увижу наверху, среди низкорослых акаций, красный мотоцикл.

Он отдыхал тут же, неподалеку, в бывшем царском дворце – в Евксенограде. Иногда он приплывал на маленьком одноместном катере. Катер выныривал из-за мыса в синем пустынном море, он рвался к берегу, как норовистый конь. Я смотрела, изо всех сил старалась скрыть ликующее, гнущее к земле, счастье.

Соленый воздух, солнце, синяя, бескрайняя ширь – это все была я, это все жило и переливалось во мне, мешалось с любовью, это был единый прекрасный мир.

Однажды моторная лодка заглохла, и Володю я не видела целое утро – вместе с катером его потащили обратно на буксире.

В то лето к нам на некоторое время примкнул Янчев, он учился во ВГИКе на режиссера. Янчев снимал всех нас и вместе, и по отдельности, то на камнях в море, то на берегу, но нет ни одного снимка с Володей. Сейчас я с удивлением вспоминаю, что Володя и не купался.

– Володя, – кричал Янчев, – погляди на Ингин профиль! Инга, – кричал Янчев мне, – ну-ка повернись!

– Куда? – Я не понимала.

– Что там профиль! – слышала я.

– Нет, особенно профиль, – настаивал Янчев.

После обеда ребята играли в волейбол. Однажды мяч угодил мне прямо в лицо. Володя мгновенно перемахнул через загородку и, взяв мое лицо в руки, под отчаянный свист мальчишек покрыл поцелуями, приговаривая:

– Тебе не больно, родная моя…

Я стояла, безжизненно опустив руки. Я ничего не чувствовала, кроме изумления.

Вечером я надевала одно из двух имеющихся у меня платьев (синее в разводах, с большим воротником наподобие матросского, или «шотландку», красно-желто-зеленую, с вырезом на груди в виде каре). Шла в ресторанчик, вдыхая запах моря и сухой травы, огибала дзот, со времен войны оставшийся на мысу, вступала под высокие деревья, проходила тропинкой между кустами акаций. Внизу шумело море, я выходила на площадку ресторанчика и… полностью погружалась в присутствие Володи. Вокруг сидели наши ребята, шутили, смеялись, стол был уставлен едой. Я молчала, изредка мельком взглядывая на Володю.

Потом Володя шел меня провожать. Мы шли обратно мимо кустов акаций, я уже не слышала моря… вот Володя коснулся моей руки… Случайно или нет? Вот поддержал под локоть… Соприкоснулись плечами… Иногда он убирал мои растрепанные волосы со лба, но я не помню, чтобы мы целовались. Я шла, широко раскрыв глаза, и молчала. Проходили дзот, и вот уже мое крыльцо.

Нет, не помню, чтобы мы с ним целовались. Но счастье душило меня, и наутро я ходила, осторожно переступая, точно несла кувшин на голове, боясь расплескать красную, как кровь, тягучую и жаркую любовь, которая переполняла меня. Да, по утрам любовь гнула меня к земле, наливала тело ртутью, ручейки ртути текли по рукам, стекали по пальцам. Я то и дело замирала, будто пускала корни в землю. Ах, только бы оставили меня в покое! Только бы замереть на вчерашнем ощущении прикосновения Володиной руки, только бы никто не заглянул в душу. Я понимала, что нельзя себя так вести – как не умеющая

говорить, как немая, но ничего с собой поделать не могла…

Не знаю, почему он согласился поехать к Наде Живковой, только очень хорошо помню, как мы, возбужденные, загорелые и счастливые, вывалились из Володиной машины и открыли калитку в маленький дворик, увитый виноградом. Рэд спросил Надю. К нам по ступенькам террасы спустилась высокая горбоносая женщина, с неправильным, но мгновенно запоминающимся лицом. На белой блузке сияла камея. Надя к нам не вышла. Женщина медленно обошла нас, каждому пожав руку, но, казалось, не заметила Володю.

– Вы не узнали меня? – спросил Володя, улыбаясь.

Она не ответила. И я заметила, как Володя отступил к забору за спины ребят и покраснел.

То было время, когда уже казнили Трайчо Костова, время, когда Надин отец еще сидел в тюрьме, а Червенков-старший был у власти в стране.

Я уезжала из Варны вместе с мамой, папой и братом. Володя еще оставался на неделю. Он пришел на вокзал меня проводить, и почему-то мне это не показалось странным. Еще ни один парень не смел показываться рядом со мной в присутствии папы. Я в столбняке смотрела на Володю из окна вагона. А Володя не верил, что мы поедем в вагоне второго класса, и несколько раз повторил, как ему жалко меня: «Не будешь всю ночь спать». Я прошла по вагону и стала в дверях. Володя, сутулясь, подошел ко мне, снизу вверх смотрел на меня, сквозь улыбку просвечивала печаль. Папа возник неожиданно, протянул руку и со всей силы захлопнул тяжелую кованую дверь вагона. Я успела отскочить. Сквозь решетку на двери я успела заметить, как Володя улыбнулся. Поезд тронулся.

…А через несколько дней в открытое окно моей софийской комнаты влетел гудок паровоза. Победный, радостный, как летнее утро, гудок летящего поезда пронесся через всю Софию, Бояново, Симеоново, пронесся над загородными садами и маленькими виллами и влетел в мое окно. Таким радостным гудок мог быть только в одном случае.

«Володя приехал», – подумала я.

…Зимой Володя должен был приехать из Москвы на каникулы. Я ждала его 23 января. Хорошо помню вечер 21-го. За окном в темноте тихо падал снег, раскаленная печка тяжело гудела. Папа сидел за обеденным столом, спиной ко мне, и что-то писал. Красный с черным листок календаря – день смерти Ленина, в таком же цвете наш холл: красные стены, черное пятно огромной печки, черный уголь, черный телефон. Я перевернула

листок и замерла: «Сейчас прозвучали б слова чудотворца, чтоб нам умереть – и его разбудят, плотина улиц в распашку растворится, и с песней на смерть ринутся люди. Но нету чудес и мечтать о них нечего…» Эти стихи читал мне Володя перед отъездом. «Он в Софии», – подумала я. Зазвонил телефон, я сняла трубку, Володя сказал:

– Прилетел на два дня раньше. Можешь выйти?

В тот вечер меня могли бы убить, я бы воскресла – и все равно бы увидела Володю.

Папа мне запрещал выходить из дому после восьми. Если я, гуляя, задерживалась всего на пять минут, он ставил часы перед мамой, заложив руки за спину, шагал по холлу взад и вперед и то и дело спрашивал: «Ну, где твоя дочь?»

Я взглянула на часы на стене, было полдевятого. Я тихо обошла папу, вышла в коридор, тихо оделась и ушла. Странно, но встречу я не помню. Сквер, снежок, слабый свет фонаря, глаза… Когда я вернулась, из-за закрытой двери раздался папин голос:

– Иди, откуда пришла.

Я не удивилась, не испугалась – это не имело никакого значения. Я спустилась в подвал и там простояла всю ночь, с неподвижным от счастья лицом, кажется, я даже не переступила с ноги на ногу. Часов в восемь утра я направилась к Наде Афанасьевой.

У Надьки поднялся переполох, Людмила Кирилловна шепталась с Атанасом Эммануиловичем, они звонили родителям, через какое-то время я вернулась домой.

Той зимой мы ходили с ним в театр. Я готовилась, душила затылок, волосы, душила за ушами, надевала новую, в ту зиму купленную мне коричневую цигейку с беретом. Володя, глядя сверху на меня, посмеивался над моим «взрослым» видом. Но платье было школьное, полудетское. Мы встречались у входа. Я, не замечая никого, с сознанием собственной исключительности следовала за Володей. Мы садились в правительственную ложу – и молчали. Володя время от времени осторожно выглядывал из-за портьер, я сидела не шевелясь, прислушиваясь только к его движениям. Зал, жужжа, постепенно заполнялся. Вступали вразнобой протяжные, будто на ощупь, голоса скрипок, их подхватывали виолончели, альты… Нестройный хор, доносящийся со сцены, таинственное приготовление волновало меня. Потом занавес с тихим шелестом полз по сцене, в лицо дул прохладный ветерок, запах кулис, смешанный с запахом свежеструганых досок пола, доносился до меня. Я всматривалась в сцену, ни на минуту не забывая, что за мной, рядом, сидит Володя. Так в молчании мы просиживали спектакли.

Однажды после спектакля мы шли по пустынной, плохо освещенной улице. Оставалось много времени в запасе, я была спокойна – дойти до трамвая, проехать три остановки, потом подняться по нашей вымершей улочке… А там… Там ждать, ждать, когда Володина рука будто невзначай коснется меня. На противоположной стороне улицы, у подъезда дома, где жил Володя, стояла небольшая машина, я обратила на нее внимание лишь после того, как Володя замедлил шаг.

Дверь в машине открылась и закрылась. Володя остановился, и даже в свете слабых уличных фонарей я увидела, как он покраснел.

– Это мама, – сказал он. – Ты дойдешь сама?

– Конечно, конечно.

– Мы обычно в субботу уезжаем за город.

«Мама его любила больше меня, – скажет мне его сестра Ира спустя тридцать лет. – Они были очень похожи».

И еще однажды он бросит меня ради ожидавшей его мамы. Это случится летом, он торопился меня подвезти до дома и успеть к себе на обед. Взглянув на часы, он сказал: «Не успеваю, мама ждет, прости». Он выскочил из машины, посадил меня в автобус и, целуя руки, на ходу всунул мне огромную пачку денег: «На билет». Помню изумленное лицо кондукторши…

Что Володя Червенков «ухаживает за мной», как говорили в те времена (сейчас, по-моему, такого выражения нет), знали все. Однажды той же зимой мы медленно шли в гору по нашей темной улице, возвращаясь из театра, прошли единственный фонарь, освещавший Вишневый переулок; до нашего дома оставалось несколько шагов. Там, в тени дерева, росшего в углу нашего двора, мы остановились. Неожиданно железная резная калитка со скрипом отворилась, и к нам бросилась женщина. Я узнала ее. Это была Клавдия Григорьевна, русская, эмигрировавшая в Болгарию в 1939-м, когда Бессарабию присоединили к Советскому Союзу. Она недавно поселилась в доме и занимала одну из комнат на первом этаже. Она выскочила из калитки, сделала несколько шагов и упала к ногам испуганного Володи. Тот бросился ее поднимать. Клавдия Григорьевна просила защитить кого-то – кажется, мужа, может быть, сына – не помню. Эта отчаявшаяся женщина не вызвала во мне ничего, кроме смущения и недовольства. Смущения – потому что обнаружилось, что в нашем доме знают, чей сын Володя; и недовольства – оттого что прервали трепетное ожидание: вдруг Володина рука протянется ко мне и он, будто в шутку, откинет косы в сторону или просто, будто ненароком, случайно коснется моей руки…

Но вот я кончаю школу. Мне шьют прекрасное серое, в

зеленую елочку, пальто с капюшоном (материал папа привез из Австрии). По утрам я брызгаю на пальто привезенные из Москвы Володей духи. На шее у меня ярко-желтый с голубым земным шаром шелковый платок, подаренный тем же Володей, а на черном переднике – голубь, который светится, – тоже его подарок. Вся София знает, что в меня влюблен Вовка Червенков! Но никто не знает, как счастлива я. И вот выпускной вечер.

Мама бегает по магазинам, ищет материал на выпускное платье, находит что-то бледно-синее в разводах, и вся София судачит:

– Мицова собирается выдавать замуж Ингу за Червенкова, все магазины обегала.

На выпускном вечере я играю в четыре руки с Кларой Волковой вальс Глинки. Она хочет быть первой, поэтому занимает место учительницы и садится слева от меня, я нервничаю, а Евгения Ивановна мудро говорит:

– Инга, это же гораздо интереснее. Ты ведешь мелодию, она тебе аккомпанирует.

И вот мы играем пять, десять, пятнадцать минут…

– Самое отвратительное выступление – нескончаемое! – говорят ребята, которых привел в нашу школу Чавдар Дамянов, красивый, точно греческий бог, сын председателя Президиума Народного Собрания.

Чавдара я побаиваюсь – уж очень красив. И молчалив. И холоден. Он часто бывает с нами, я понимаю – он оказывает внимание Наде, моей самой близкой и любимой подруге. Надя очень мила, у нее прекрасные косы, прекрасные глаза, курносый нос, маленькие ножки. Но я не верю Чавдару. Я не понимаю его молчаливости и подозреваю, что это – от глупости.

В конце программы – вновь выступаю я. Песня выбрана не случайно. Все должны понять, что сердце мое принадлежит Вовке Червенкову, принадлежит до самой гробовой доски, и я его жду… он приедет…

За дальнею околицей, за молодыми вязами,
Мы с милым расставаясь, клялись в любви своей…
……
А милый мне из города все пишет в каждой весточке:
Ты не горюй, любимая, я скоро возвращусь.

Так пою я и перебираю косу на груди. Эта песня прямо про меня и про Вовку Червенкова.

Да, долго мне пришлось расплачиваться за это легкомысленное, но такое счастливое время… Долгой

неврастенией… Совсем неготовая к неудачам, я вхожу в жизнь весной пятьдесят второго.

Лето 1952 года началось с неприятности. Я отдыхала, как всегда, на море возле Варны, в месте, которое носило название «Курорт Дружба», а сейчас называется «Константин и Елена». Мы жили с мамой и моим братом Вовкой, рядом с нами жила Надя Афанасьева со своим братом Борькой – приятелем моего Вовки. Володя Червенков написал, что будет ждать меня у входа в парк в Варне в шесть часов вечера. И мы с Надей отправились задолго до шести в Варну.

На колоннах при входе в парк висели фотографии дворца Евксиноград, где жил Володя. Однажды он показал мне свое окно. Я только мельком взглянула, но запомнила окно рядом с башенкой. Почему-то я не поверила ему тогда, показалось, что произнес он это, лишь чтобы обратить на себя внимание.

Мы с Надей простояли час у этих колонн, расцвеченных видами дворца. Еще полчаса. Никто не пришел. Мы кинулись к дому моей тети Оли, потом, испугавшись, что мама будет волноваться, решили возвращаться к себе в «Дружбу». На автобус мы опоздали и пошли пешком. Пройти надо было километров восемь, может – двенадцать. Страха совершенно не было. Мы вышли за город, разулись и пошли босиком, держа туфли в руках. Дорога была совершенно пустынна – ни машин, ни людей. Прошли остановку «Акация», прошли «Почту», остановку «Траката», название которой у меня почему-то связывалось с Древним Римом (Фракия), на изгибе внизу открылось море, освещенное луной, и внизу, среди зелени, возникли четыре узорчатые башенки дворца Евксиноград.

– Прошли половину пути, – сказала я.

Из-за поворота вдруг медленно выехал мотоцикл. Он осветил нас фарами, вильнул, чуть замедлил и без того медленный, неуверенный ход, казалось, сейчас остановится. Мелькнула мысль – это Володя. Но мы продолжали идти не останавливаясь, мотоцикл, еще раз вильнув, поехал дальше.

– Может, это Володя? – спросила Надя.

И только когда смолк звук мотоцикла, я опомнилась. Но я не кинулась вдогонку, не замахала руками, не закричала.

Да, лето, когда я уже окончила школу и собиралась ехать учиться дальше в Советский Союз, уже не было счастливым. Оно очень быстро стало несчастным. Сейчас трудно вспомнить, когда я осознала это. Может, сразу в первый неудачный вечер, может – позже. Но на всю жизнь у меня осталась примета: долго ждешь, мечтаешь – никогда ничего не произойдет, а если и произойдет, то будет так плохо, что лучше бы и не происходило. В то лето из

нашей школьной компании остались только Надя и Мирчо. Все куда-то разъехались, уже не было по вечерам игры в волейбол, Володя почти не приезжал по утрам, у него гостил приятель по институту – Владимир Мильчев, сын Августа Мильчева. Я по утрам плавала с Мирчо, но так далеко, как я, он не заплывал, боялся судорог, хотя в купальные трусы на такой случай была воткнута булавка.

Но вечерами, как прошлым летом, я, Надя и Мирчо шли тропинкой в ресторанчик, где ждали нас Володя, Рэд, Янчев, Мильчев. Однажды, проходя мимо двухэтажной гостиницы, темной, деревянной, окруженной кустами акаций так плотно, что тропинка шла почти впритык к зданию, Мирчо между прочим сказал:

– Здесь у Вовки Червенкова есть комната.

– Где? – спросила я. – Зачем?

Мирчо промолчал.

Мы все усаживались за составленные вместе столы, Володя по-прежнему и заказывал и платил. По-прежнему играл оркестрик. Огромные тополя вокруг площадки закрывали светлое от луны небо. Ресторанчик освещался несколькими лампочками, развешанными на проводах, протянутых из угла в угол.

Вскоре в нашем ресторанчике стала постоянно появляться шумная компания девушек. Они тоже сидели за составленными вместе столами, сначала в дальнем от нас углу, потом все ближе, пока не переместились по соседству. И часто за нашим столом повисало молчание, и мы смотрели на них. Они вели себя уверенно, смеялись, кричали и поглядывали на Володю. Мне они казались грубыми, крикливыми и напоминали молодых кобылиц. По-моему, я даже это высказала вслух. Но ребята не поддержали меня.

– Чем они тебе не нравятся? Красивые, веселые.

Прошло несколько дней. Я чувствовала – что-то происходит. Однажды рано утром я спускалась к морю в своем синем с желтым купальнике, который я любила и знала, что он мне идет. Неожиданно из прибрежных кустов акации вышел Володя:

– Чуть свет, а я у ваших ног, – сказал он, кланяясь и улыбаясь.

Тон был развязный, чужой. Я попыталась ответить в том же тоне, но не получилось:

– Вы так рано? Или и не ложились?

– Сранья, сранья! – закричал то ли Рэд, то ли Янчев, выходя следом за Володей.

Возможно, именно тогда я осознала, что от Володи идет свет – так не похож он был даже сейчас на тех, кто вышел следом. Ведь скажу же я Ире спустя полвека: «Володя не был похож на других,

от него шел свет». – «Это у него от мамы, – ответит Ира, ничуть не удивляясь, – они были очень похожи, а от мамы – это все знали – шел свет».

Мы стояли и разговаривали, я – в купальнике, они – одетые по-вечернему, в брюках и рубашках. Похоже, купаться не собирались. Вскоре они уехали. Володя обещал приехать вечером.

Семь часов, восемь. Я вышла на веранду, села на перила и посмотрела в сторону поля, за которым пролегало шоссе. Тишина, только знойно поют цикады, и время от времени то явственнее, то приглушеннее сквозь теплый ночной воздух доносятся звуки оркестрика из ресторанчика.

Девять часов. Луна уже поднялась над морем, но я вижу только побелевшее небо над деревьями, скрывающими от меня ресторанчик.

Десять часов. Уже побелевшая луна висит в небе, пустынное поле передо мной блестит колючками и листьями чертополоха. Изредка, перекрывая пение цикад и шум моря, ветер доносит звуки оркестрика.

Одиннадцать… Двенадцать…

Володя не приехал и наутро.

Вторая ночь.

Теперь я уже понимаю, что Володя в ресторанчике. Музыка, то еле слышная, пробивающаяся сквозь шум моря, то вдруг отчетливая, принесенная ветром, говорит мне о другой жизни – о той, которая идет в ресторанчике под небом, окруженным огромными тополями, где пахнет акациями, где на маленькой площадке полукругом располагаются столики… Сегодня, купаясь в море, Мирчо нырнул, и у него лопнула барабанная перепонка. Его увезли в больницу. Кто-то сказал – очень больно. Почему не у меня? Почему я не сломала ногу или руку? Какая ерунда эта физическая боль! Какая смешная, ничтожная ерунда! Какая мелочь по сравнению с той мукой, которая терзает меня!

Настала третья ночь.

Я все еще надеюсь.

Я прислушиваюсь к каждому шороху, я даже не вижу неба, не слышу моря. Я слышу только то, что может донести какую-то весть о Володе: чуть слышная музыка ресторанчика, чуть слышный шорох за верандой, тихий шелест листьев. Запах акаций, звуки оркестра – то, что прошлым летом будоражило кровь, все это сейчас враждебно, как враждебен Владимир Мильчев. Почему-то я думаю, что все дело в нем. Это он, Мильчев, насмеялся над Володиным увлечением, он видит во мне ту босоногую девчонку в линялом сарафане, перешитом из подкладки довоенного пальто, с облепленным болячками ртом, ту

девчонку, которую семь лет тому назад мимоходом, с брезгливостью, заметил в своем доме в Железноводске. Но возможно, я все это придумала, возможно, Мильчев ни при чем. Но тень! Тень, которую я отчетливо видела вчера, кто-то подглядывал, кто-то проверял – сижу ли я на своем посту? Я чувствую злорадство и насмешку. Знает ли об этом Володя?

– Вот уж не думала, что так можно любить в восемнадцать лет, – говорит мама, смущенно улыбаясь, входя днем в комнату и заставая меня лежащей на кровати лицом к стене. – Или это самолюбие?

На третью ночь раздался звук мотоцикла, остановившегося под нашим окном. Его слышала Надя, слышала мама, но не слышала я. Я, сморенная горем, заснула. Утром на мои упреки – почему не разбудила? – мама отвечала:

– Я думала, ты слышишь.

– Как ты могла не сказать? Не разбудить? – кричала я.

– Я думала, ты слышишь.

Мама считала меня гордой. Нет, я не слышала. Но возможно, я тогда уже приняла решение.

Мы уехали, не дожидаясь срока. Вероятно, на следующий день. В Софии я собрала все письма Володины, их было двадцать три, вложила в конверт пульку от его пистолета («когда вы перестанете думать обо мне…») – и отослала по его адресу. Я так никогда и не узнала, получил ли он эти письма.

Двадцать три письма! Я рвала, кромсала, как ненужное тряпье, свое счастье. Так можно только в молодости. Гамсун, Гамсун играл и со мной. Только в молодости мы имеем силы быть столь непримиримыми, столь решительными.

После того как мы расстались, я все это, что сейчас описала, погребла под толстым слоем пепла. Я была уверена: не любил он меня никогда. Но спустя полстолетия его сестра Ира скажет мне:

– Мы ничего о вас не знали. Только потом дошли слухи…

Значит, говорили о нас, что-то существовало реально.

Следующее лето 1953-го, приехав из Ленинграда после первого курса, я вместе с мамой и братом проводила на море. Я много плавала, заплывая так далеко, что папе дали знать в Софию. Из военного министерства за его подписью пришла телеграмма с запретом плавать далеко. Потом приехал и сам папа. Рана моя затянулась, и я была счастлива с мамой и папой. Однажды, собираясь на море, я увидела Володю, прогуливающегося перед нашим домом. Я взглянула с удивлением и спокойно обошла его стороной. На следующий вечер он появился вновь. Володя бродил один перед нашим

домом. Мама сказала:

– Ингочка, ты бы вышла, что же он ходит один?

Я промолчала.

Через несколько дней на нашем доме неожиданно появилось объявление, что будет показан фильм о выступлении грузинского ансамбля в Софии. Года два тому назад мы с Володей, стиснутые толпой, стояли на площади Александра Невского; внизу, на площади Народного Собрания, у памятника Царю-освободителю соорудили сцену, и на ней под открытым небом выступал этот грузинский ансамбль. Красота танцев меня поразила, я в возбуждении вставала на цыпочки, аплодировала. Володя беспокоился, что я из-за близорукости не все вижу, вынул картонный билет от метро, проделал в нем маленькую дырочку и дал мне. Видно стало лучше. Никогда ни до, ни после у нас в доме отдыха – а тем более прямо перед нашим домом – не показывали фильмов. Сейчас я думаю, что это организовал Володя, как когда-то организовал просмотр фильма «Жди меня». Как всегда, круг замкнулся. Любовь начиналась на просмотре фильма «Жди меня» и закончилась на показе фильма «Выступление грузинского ансамбля».

Тогда у нашего дома натянули экран, расставили несколько скамеек. Еще издали я заметила высокую, чуть сутуловатую фигуру Володи, неуверенно он приблизился, поклонился папе и сел на скамейку рядом с ним. Папа не повернул головы. Я тоже. Сзади было несколько человек. Спереди несколько. Но на нашей скамейке мы были втроем. Посередине папа, справа от него я, слева Володя. Папа сидел насупившись, раздувшись от возмущения. Тихий Володя сидел не рядом со мной, а рядом с не замечающим его папой. Я не чувствовала ни удовлетворенного самолюбия, ни сожаления. Ничего. Володя перестал существовать.

Слишком большим было горе, слишком долго оно тянулось. Возможно, сложилось бы все по-другому, если бы не предыдущая встреча в Москве…

Тогда, после страшного лета 1952-го, осенью я уже была студенткой Ленинградского университета и приехала в Москву на октябрьские праздники. Милен пригласил в свою компанию. Я согласилась, ничего не подозревая, и оказалась за столом вместе с Володей Червенковым и его новой девушкой Тамарой, студенткой консерватории. Девушка, с косами вокруг головы, высокомерно царила за столом, пела высоким и сильным голосом: «Ох ты мисяц, мисяченько», улыбалась аплодисментам, а я сидела напротив, изредка ловя торжествующие взгляды Милена, и механически отшвыривала голову какого-то незнакомого парня,

пытающегося пристроится на моем плече.

Из письма маме из Ленинграда, осенью 52-го:

Вовка (Червенков. – И.М.) появился на вечере с какой-то девушкой, довольно красивой, хорошо одетой, молоденькой. Увидев меня он, по-моему, растерялся. Мне, мамочка, стоило большого усилия, чтобы не закричать. Я так прикусила у себя губу изнутри, что только боязнь прокусить ее насквозь заставила меня разжать зубы. Я вся тряслась. Может, не будем больше никогда об этом говорить? А? Давай? Хотя бы на первое время не вспоминать о Володе и ничего про него не писать. Хорошо? То, что Бог делает, – все к лучшему. Хотя в Бога я не верю, но в эту поговорку хочу поверить. А то слишком трудно жить.

Милен отомстил по полной мере. До сих пор без ужаса не могу вспомнить тот бесконечный вечер, свое оцепенение, ожидание – когда же наконец откроют метро? На Володю я взглянула лишь однажды – он накидывал на плечи Тамары белый меховой жакет. Ужасно воспоминание, как я спускаюсь по узкой лестнице, и Володя, проводивший Тамару, взбегает навстречу расходящимся по домам гостям и вдруг останавливается, увидев меня, и в возникшей тишине я, с разбитым сердцем, прохожу, не взглянув, не замедлив шага, мимо него, вжавшегося в стену. А потом озноб, холодное темное утро, одиночество, метро, отчаяние и квартира дяди Жоржика, где Владик все время ставил мне вальс Хачатуряна к драме «Маскарад». Все переплелось в одну отчаянную муку, которую подогревал, разрывая сердце, этот вальс, наполненный ожиданием трагедии и ужаса. Боль длилась год. Год я ходила стиснув зубы, год дрожала мелким ознобом. Год не смеялась. Через год моя любовь свернулась, как вареный белок. Поэтому летом 1953 года, сидя рядом с Володей на скамейке, я уже не чувствовала ничего.

В последний раз я увидела Володю спустя несколько лет. К тому времени он уже развелся с Тамарой и женился на Кремене, дочери болгарского академика Ходжиолова. Я знала Кремену. Она была красива, но мне она была несимпатична – про нее плохо говорили. Мы с папой куда-то быстро шли; папа, молодой, в рубашке с короткими рукавами, весело слушал меня. Я говорила ему про тогдашнюю молодежь, за что-то ее осуждала. Слова «нищие духом», которые я произнесла, будто имела на то право, будто до конца понимая их значение, повисли в воздухе. Володя шел навстречу и улыбался. Такой же худой, загорелый, с прежним шрамом на правой щеке. Все это я охватила махом, лишь взглянув на него. Во мне поднялась нежность к его неприкаянному виду, и, глядя на его радостно улыбающееся лицо, я кивнула в ответ. Папа

с ним не поздоровался. Помню склоненную фигуру, будто он хотел упасть или поклониться. Он был в песочного цвета легких брюках и такого же цвета рубашке. Неприятно было думать, что он живет на этой улице с этой Кременой. Полная уверенность, что они друг другу не нужны.

Володю, мстя его отцу, убили спустя шесть лет.

Узнала я о Володиной смерти случайно. Был жаркий летний день, пятница. Измотанные жарой, нагруженные сумками, мы с мамой возвращались с базара и ждали трамвай в душной тени огромного, по-прежнему внушающего ужас собора Святая неделя. И вдруг я увидела на стене некролог, Володино имя и фамилию, набранные огромными черными буквами, слова о трагической гибели, произошедшей некоторое время назад, незнакомые подписи. Огромный некролог, набранный жирным черным шрифтом, с фамилией, известной каждому в городе, бросал вызов со стен собора. В то время отец Володи был уже не у власти, без работы, заклейменный, но неарестованный, он тихо жил как пенсионер.

– Разве ты не знала? – с тревогой повернулась ко мне мама. – Вывалился пьяный из окна… Говорят, «сам» (Червенков-старший. – *И.М.)* выл на кладбище, как собака.

Ира, сестра Володи, впоследствии отрицала это – «отец не плакал».

Но тогда моя тихая мама не только не скрывала, но подчеркивала грубость слов.

Я молчала. На кладбище я не пошла. Володя давно уже был забыт. Он не существовал.

Прошло со смерти Володи двадцать лет. И вдруг – сон. До сих пор мне непонятно – откуда? Я давно уже похоронила Володю, жила в ином мире, никогда не вспоминала о нем. Даже тогда, в 1952-м, когда год ходила сжав зубы, была уверена, что Володя – только маленький эпизод в моей жизни. Что будет еще много-много встреч.

Сон ворвался в мою жизнь неожиданно, живой – реальнее яви, необыкновенно осязаемый, выпуклый, такой, что я видела запотевшее стекло в бокале, ощущала вкус вина, а главное – узнала Володю, лица которого никогда не могла вспомнить. Я ощущала тепло и понимание, которое исходило от Володи, и на всем протяжении сна ни разу не вспомнила, что Володи вот уже двадцать лет как нет на земле.

В полутемной спальне он, сидя на стуле, смотрел, как я застилаю постель. Кровать была двуспальной. Было неловко, что он вынужден смотреть, как я убираю нашу с мужем постель, но я подумала: «Пусть знает. Так надо», и, наклонившись, поправила

две подушки в цветных наволочках. Темное вязаное покрывало с кистями, с орнаментом посередине, никак не натягивалось, я перегнулась через кровать, чтобы поправить его концы, и тут заметила, что положила его поперек. «Как испанская шаль», – сказала я, сдергивая покрывало и набрасывая на голову. Подбоченилась и притопнула ногой. Я была смелее и кокетливее, чем тогда. Володя смотрел на меня и улыбался, и я увидела, что все еще нравлюсь ему. Потом он, привстав со стула, наклонился над бортиком кровати и помог расправить концы покрывала. Он заметно поплотнел и стал будто меньше ростом. Но волосы были все такие же темные и мягкие. И глаза, как мне показалось в полутьме спальни, были такие же синие. В прихожей раздались шаги, я крикнула: «Папа?» Володя поморщился. Но я повторила: «Папа!» Я торопилась ввести его в свою жизнь, я делала то, что не смогла сделать тридцать с лишним лет тому назад. «Познакомься! – кричала я. – Знаешь, кто это? Знаешь?» Володя улыбнулся, будто извиняясь за мой тон, и, привстав, протянул руку: «Вова», – сказал он. «Володя», – поправила я и удивилась, что можно представить его, не упоминая, чей он сын. Внезапно вся квартира наполнилась людьми. В спальню протиснулся двоюродный брат. «Игорь», – представила я его. Затем заглянул второй брат. «Владик! Заправь рубашку!» – закричала я, но Владик, смешно изогнувшись, будто опасаясь, что я его стукну, выскользнул в коридор. Я видела, что Володе приятны мои родственники. Мы пошли в темный кабинет мужа. Братья с отцом были уже там. На большом письменном столе стояла бутылка с вином. Я протянула руку, увидела капельки на стекле рюмки и ощутила кисловатый вкус вина. Теперь я сидела в кресле, а Володя стоял рядом и смотрел на меня. Я была счастлива. Мне казалось, что моя тоска о любви в течение всей жизни была сосредоточена в его облике. И с этим ощущением тоски и счастья я проснулась.

Сон смял время, веревка, державшая занавес, лопнула, я сделала шаг за кулисы и огляделась. Там был мир, и мир живой. И в него я ступила зимой 1985-го. Этой зимой я приехала к отцу в Софию, мамы уже не было в живых.

– Хочу позвонить Ире Червенковой, – сказала я папе, – но брат категорически запретил. Говорит, будут неприятности. За Ирой следят.

– Пусть идет к черту! – Глаза отца гневно сверкнули. – Я здесь хозяин!

Кряхтя, он выбрался из глубокого кожаного кресла и, чуть расставив руки для равновесия, направился к телефону. Откашлявшись, набрал номер, представился, сказал, что написал

книгу, где несколько страниц посвящено Ириной маме, сказал, что хочет эту книгу подарить Ире, и в конце разговора упомянул обо мне и протянул трубку.

Почему спустя двадцать лет после смерти Володи у меня возникло такое неожиданное желание?

– Ира, – сказала я, будто не было тридцатилетнего молчания, будто мы с ней когда-то дружили. – Где похоронен Володя?

И я услышала, как у нее перехватило дыхание.

– Двадцать второй участок, – заторопилась она. – Двадцать второй, – твердила она, голос был тихий. – Я могу подъехать.

Встретились мы с Ирой на трамвайной остановке. Я сидела на скамейке и пыталась читать. Когда подходил трамвай, надевала очки и внимательно смотрела. Она сказала, что будет в синем. Рядом на скамейке лежали два букета желтых хризантем. На часах было без четверти двенадцать. Я встала, взяла букеты, перешла на другую сторону и купила огромную еловую ветку.

«Не важно, если покажусь Ире смешной, не важно».

Я опять села на скамейку и почувствовала, как дрожат ноги. Трамвай подошел, отъехал, я сняла очки и тут увидела стоящую рядом на остановке женщину, настолько непохожую на других, что я сразу встала. Синяя фигурка, перепоясанная ремнем, в вязаном синем берете шестидесятых годов. Широкое лицо было припухшим.

– Наверное, если бы встретились в городе, то прошли бы мимо, – сказала она.

Две черные доски из мрамора. Володина мать, Володин отец, Володя, немного в стороне мать Димитрова, бабушка Иры и Володи – «баба Параскева».

– Сегодня ровно двадцать лет и три месяца, – сказала Ира. – Когда он умер, ему было тридцать пять.

На мраморной плите, у самой земли, сбоку, была прикреплена маленькая фотография. Ее можно было заметить, лишь подойдя вплотную к могиле.

– Я забыла его лицо, – сказала я, склоняясь над фотографией. – Я забыла его лицо.

– Конечно, конечно…

Я провела пальцем по снимку.

– Какие глаза, – пробормотала я.

Я обернулась и увидела, что Ира плачет. И тут я поняла, что припухшее лицо – это след прошедшей ночи.

– Тебе нехорошо? – спросила Ира. В голосе звучала забота, но выражение лица осталось прежним.

– Нет. Нервы. Сердце у меня здоровое.

– Ему здесь не хватало людей.

Я кивнула:

– Да-да-да…

– Когда он вернулся, он стал работать инженером, все первые электростанции – это все Володя строил. Он и его ребята. Тогда он работал как одержимый. А потом… – Ира глядела вопрошающе, – а потом… Ему здесь нечего было делать.

– Да-да-да… – Сердце немного отпустило, и я убрала руку с чужой ограды.

Ира взяла резиновую лейку, обошла могилу матери, полила мраморную плиту, потом полила могилу отца и немного, что осталось, вылила на плиту, под которой лежал Володя.

– Расскажи про него.

– Я ведь ничего не знала про вас, лишь потом дошли слухи.

Я смотрела в сторону.

– Расскажи про него, – повторила я.

– Ну, он окончил институт… Потом…

– Знаю, женился на пианистке.

– Да, на Тамаре. Они прожили… – Ира задумалась, – три года. Тамара уехала.

Казалось, наши глаза косят и мы никак не можем попасть в глаза друг друга.

– Потом он опять женился.

Я кивнула:

– У него остался сын.

– Откуда? Нет? Ира глянула мне в глаза, и я увидела, как широкое заржавевшее лицо шевельнулось, заскрипело и открылось. В глазах зарождалось чудо.

– Мне сказали, – растерялась я. Я видела, что она все еще надеется.

– Нет, – сказала Ира наконец, – у него не было детей. Кремена очень быстро вышла замуж. Почти сразу после Володиной смерти.

Рука, державшая лейку, дрожала.

Блеклое солнце освещало город мертвых. Запах морозного воздуха, чистый и хрупкий, который встречал меня по утрам, когда я, опаздывая в школу, выходила на остановку раньше, чтобы пробежать мимо дома, в котором жил Володя, ударил по нервам.

– Расскажи, как он погиб, – попросила я.

– Его убили! – вскрикнула Ира, и опять я увидела страдание и вопрос: верю ли?

– Если бы ты знала, как велось следствие, – шептала Ира. – Родители слегли. Для них важно было одно – Володи нет. Я бегала по следователям. Показания свидетелей противоречили одно другому. Они путались, врали. Я на это указывала. К

следующему приходу они это подправляли. Я будто помогала им сфабриковать что-то похожее на правду. Хозяин квартиры, где все это происходило, был в отъезде. Как попал ключ к девушкам, установить не удалось. Девушек не нашли. Я бегала по следователям, мне все время казалось, что я ступаю по земле, под которой лежит Володя. «Надо подождать, – советовал мне человек, которому я верила. – Сейчас ничего не докажешь».

Ира шептала, не отрывая от меня взгляда.

– Именно накануне приехал с визитом Тито. У него с отцом были счеты. Может – это совпало. Может – хотели отомстить отцу. Был сентябрь. Мама с папой были на море. Володя жил на даче. В тот день он очень нервничал. В город не собирался. В пять часов раздался телефонный звонок. Кто звонил – установить не удалось. Его куда-то позвали. Володя долго отказывался. Наконец согласился. Машину, как всегда, оставил на площади…

Ирино лицо скривила гримаса, и она надолго замолчала.

– Потом его видели в ресторане. Он кого-то искал. Не нашел. Потом в другом… – Ира шептала, время от времени оглядываясь.

…В пять часов утра Володя с компанией остановился у дома с двумя большими арками, который полукругом выходил сразу на две улицы. Трамваи еще не ходили. Володя стоял, как всегда, немного сутулясь, опустив руки, порываясь уйти. Черный, после бессонной ночи, он видел серый осенний рассвет, черный асфальт, пять улиц, уходящих в темноту, и черные полукружия балконов, нависающие над головой. Улицы, расходясь в разные стороны, казалось, чуть раскачивались, как воткнутые в тело шпаги. Людей не было. Только пять подвыпивших мужчин и три девушки.

– Я пошел, – сказал Володя, обводя всех близорукими синими глазами.

– Слушай. Я тут живу. – Одна из девушек взяла Володю под руку. Кто-то из мужчин дружески хлопнул по плечу.

– Решай. Чашечка кофе сейчас – это хорошо. Давай. А потом – напротив, как раз в шесть откроют кафе, суп *шкембе-чорба* очень хорош в таком состоянии, а потом я тебя провожу.

Через полчаса женщина с первого этажа услышала тяжелый стук за окном и топот ног по лестнице. Она выглянула в окно: на ее балконе, изуродованный, в неудобной позе лежал Володя. Он умер через четыре часа, не приходя в сознание. На руках у Иры.

Я медленно шла по кладбищу, отсчитывая участки, боясь заблудиться. Тонкие ветви деревьев рисовали на светлом меркнущем небе черный погребальный орнамент. Володина кровь, пролитая на бетон балкона, была искуплением за отца.

Плячка – вот что я услышала вслед за известием о Володиной смерти. Отвратительное слово, само его звучание уже содержало в себе его значение – кровавую добычу. Доисторическим ужасом веяло от этого слова, кровавым следом на мокрой траве.

Володя был *плячкой*. Его бросили под ноги Иосипу Броз Тито, впервые после восстановления отношений с Югославией приехавшему тогда в Болгарию.

Знала ли Ира, что творилось в стране, когда у власти стоял сначала Георгий Димитров, ее дядя, а потом ее отец – Вылко Червенков? Не могла не знать. Процесс над Трайчо Костовым обсуждался во всех газетах. А отец ее подруги Нади Живковой? И в разговорах Володи проскальзывало насмешливое удивление неожиданной смертью Димитрова. Помню, шли по скверу, мавзолей уже был выстроен и высился белым кубом слева за деревьями. Володя предложил зайти в мавзолей, но он был закрыт, и тогда Володя сказал с нескрываемой насмешкой: «Поехал здоровым, только отдохнуть…»

Мне хотелось еще раз пройти мимо Володиной могилы. Я свернула с дороги и тут увидела *их*. Двое мужчин шли со мной в ногу, по параллельной аллее. Лживые спины, обтянутые светлыми плащами, шли рядом. Я оглянулась – никого. Тишина. Только Ирин шепот в ушах:

– Нехорошо, что они видят, что ты мне что-то передаешь.

Только шорох за спиной. Как я могла забыть? Не обратить внимания? Да, Ира подняла папину книгу и помахала ей высоко над головой, давая возможность *им*, это я сейчас поняла, разглядеть ее и сфотографировать.

– Пусть видят, что не рукопись, – так, кажется, сказала она. – Отец оставил рукопись. Они боятся, что я ее переправлю в Москву. – Кажется, она даже полистала папину книгу и потрясла ею.

Я вспомнила, как вздрогнула Ира, как быстро обернулась на шум, когда рассказывала про смерть Володи, и как успокоилась, когда увидела женщину в черном, опустившуюся на колени у соседней могилы.

– Возвращайся по этой тропинке, – шептала она. – Здесь самая близкая дорога. Хочешь, я пойду с тобой?

Нет, конечно, я этого не хотела. Я хотела побыть с мамой наедине. Но как же я могла не обратить внимание на ее слова?

Я взглянула налево, я опять *их* не видела, но *они* рыскали где-то рядом. Нюхали. Шли по следу. Словно это были те, из прошлого, словно только что выскочили из дома, оставив лежать там Володю.

К Володе я не пошла, прошла быстро прямо на трамвайную

остановку. На остановке никого не было. Улица казалась пустынной, за спиной высилась высокая кладбищенская ограда, закрывая уходящее солнце. Огромный детина с тяжелым лицом оторвался от ларька напротив, где я несколько часов назад покупала цветы, сейчас уже закрытого, и двинулся на меня. Не дойдя шага четыре, он приостановился на рельсах, не сводя с меня глаз. На груди у него что-то сверкнуло. Я почувствовала легкую тошноту. Мне показалось, он щелкнул фотоаппаратом, не двигая руками. Тут же я услышала трамвай. Он завизжал на повороте и распахнул двери.

Длинный, округлый, как тюбик от пасты, трамвай, покачиваясь, двигался по городу. Я вглядывалась в лица окружающих, пытаясь выделить сверстников, и не видела. Город был чужой. Казалось, что единственно, кто уцелел из того времени, – это были *они. Они* были бессмертны. Просто я этого раньше не знала.

Город стал чужим. Невозможно было представить, что когда-то я бегала по этим улицам, спешила в школу. С этим городом меня связывал лишь старик, который, я знала, сейчас сидит за письменным столом и пишет, склонив лобастую голову, в очах с толстыми линзами, делающими огромными его черные глаза. Пишет своим мелким четким почерком. Время от времени он встает и медленно идет на кухню, чтобы поставить чайник или принять лекарство. И трамваи, проходящие мимо, и магазины, в которые мне предстоит зайти, и телефонные будки – все это мой старый папа. Теперь, может, и сам не верит, что это он, худой и легкий, с копной черных вьющихся волос, встретил девушку на явке в Белграде, которая стала потом матерью Володи и Иры. У девушки был длинная коса и светящееся лицо.

Проехали дом, в котором убили Володю. Я заглянула в арку. Пусто. Я вышла из трамвая. Уже заметно стемнело. Огромный детина, перегнав меня, быстро побежал по лестнице акведука, на середине остановился, оглянулся.

Когда я открыла дверь, папа стоял в коридоре. Глаза его были черны и злы. Он поднял кулаки и закричал:

– Сумасшедшая! Где ходишь! Что случилось?

Очки блестели слезами.

– Тс-с-с-с, – сказала я. – Тс-с-с!

Я обняла его за шею, и мы пошли пить чай на кухню. Потом он ушел в кабинет, сел за стол. Я пошла за ним, взяла одну из тех его книг, что отдала Ире, лежащих стопкой, села в кресло. Я искала портрет Володиной матери. На меня спокойно смотрела красивая девушка с длинной русой косой. Лицо девушки светилось.

– Этот свет, – сказала Ира, – у Володи от мамы. Мама светилась. Это знали все. Мама любила Володю больше, чем меня. Они были очень похожи.

Я подняла глаза и взглянула на папу. Я хорошо видела его затылок с аккуратно подстриженными седыми волосами, большую розовую лысину. Глубокая складка вдавливалась в шею, разрезая ее поперек.

– Папа, – сказала я тихо, – мне кажется, за мной следили. Это возможно?

Отец повернул голову, розовый высокий лоб был прорезан двумя глубокими морщинами. Он внимательно глянул на меня.

– Возможно, – отозвался он. – Но, если так, то *они* должны были зайти следом за тобой и все расспросить у портье. Кто сегодня дежурил? Кто дежурил? – закричал папа.

На следующее утро я вышла из дома, меня притягивало место, где погиб Володя. Неприятный, размеренный стук, как удар метронома или шарканье подошв по асфальту, раздавался по пустынной улице за моей спиной. За мной шли. Оглянуться было страшно. Я вышла за остановку от дома, где убили Володю, перешла улицу и вошла в телефонную будку. Усмехнувшись, подумала, что по всем законам детективного жанра сейчас в соседней будке должен появиться мужчина в светлом плаще. Я повесила сумку на крючок и сняла трубку. Дверь в соседней будке открылась, и мужчина в светлом плаще вошел в нее.

Я вышла из будки и пошла в сторону того дома. Я шла по бульвару, навстречу шли люди, перегоняли, спешили. Через три минуты до дома, где убили Володю, оставалось несколько шагов. Ребристый, с темными полукружиями больших длинных балконов, он был угрожающе уверен в себе. В арке дома, загораживая проход, стояли друг против друга двое рослых мужчин в светлых одинаковых плащах. Они курили. Я прошла мимо, ощущая на себе их взгляды. Заходить в дом я не посмела. Даже не посмела оглянуться и проверить, стоят ли *они* и в другой арке.

За мной ходили два дня. *Они* назойливо давали понять – мы здесь! *Они* входили в соседние телефонные будки, громко размеренно топали за спиной, вскакивали за мной в трамвай, стояли у киосков, поджидая меня. *Их* было много. Меня запугивали, и я испугалась.

Очень страшно, когда за тобой следят, страшно даже тогда, когда ты находишься в дружеской стране, имеешь паспорт гражданина Советского Союза, имеешь у себя за спиной отца – признанного в этой стране героя, известного профессора и генерала.

Страшно.

А как же папа в Австрии? В Болгарии? Только начинающий жизнь! Неужели вера в то, что дело свято, пересиливала страх? И я думаю, сколько долгих ночей провел он, вздрагивая от малейшего шума. Как тревожно билось сердце! А утром, вновь подвластный долгу, в гордом сознании справедливости своей борьбы, он продолжал свое дело. Можно ли до конца постичь это состояние тревоги и мужества, страдания и гордости, цепенящего ужаса и высокого благородства?

Папу Господь миловал. Он умел пересиливать страх, не боялся. Не боялся ни в Болгарии, ни в Австрии, ни в Югославии в 1920-е годы. Не боялся в 1950-е, когда Червенков был у власти, когда папа, мало сказать – игнорировал, скорее, преследовал нашу любовь с Володей. Не боялся и в 1980-е, когда Червенков умер, а Ира, оставшаяся единственной на свете из всей семьи Димитровых – Червенковых, была под неприкрытым надзором госбезопасности.

Сам Вылко Червенков пережил сына и жену. Его часто можно было встретить, когда он прогуливался по набережной канала. Он остался по-своему верным делу партии; восстановленный в ее рядах, широко образованный (окончил две академии), обладавший огромным опытом, он так и не был востребован и привлечен для какой-либо работы до конца жизни. О чем он думал? Вероятно, ему было что сказать, и он это сделал – оставив своей дочери Ире рукопись, которую так боялись хозяева *тех*, кто следил за Ирой. И *тех*, кто ходил за мной. Недавно я узнала, что в Болгарии в 2000 году вышла книга Вылко Червенкова «О себе и о своем времени».

– А почему она хотела передать тебе рукопись? – спросили меня недавно, прочитав эти мои страницы. – Почему хотела, чтобы ты перевезла ее в Россию? Почему не отправила в Америку? Там бы ее напечатали…

Получается, я не смогла описать, донести до сознания современных читателей одну из важнейших свойств характера, духовного мира окружавших меня людей. Не смогла четко обрисовать ни Ирин образ, ни свой, ни моих приятелей по школе. Мы все были романтиками и идеалистами, унаследовав эти качества от своих отцов. Ни о какой Америке Ира просто не могла думать – она продолжала верить и оставаться преданной своей Родине, Советскому Союзу.

Вылко Червенков умер через пятнадцать лет после своего сына Володи, в один год с моей мамой… Он ушел сам – отказался от каталки, ушел от Иры по больничному коридору, скрылся навсегда за стеклянными дверями операционной. Высокий,

прямой, с огромной копной седых волос, он спокойно шел, заложив руки за спину, как и в молодости, готовый к смерти. Дочь пряталась за портьерой, мучимая вначале страхом: чтобы не увидел (он запретил дочери приходить в больницу), потом – надеждой:

– Видел он меня, видел, знал, что пришла.

Спустя несколько лет Ира Червенкова приехала в Москву. Темным ноябрьским вечером я привела ее к своей приятельнице, о которой уже писала – Тане Товстухе-Шмидт. Танина мать в давние 1930–1940-е дружила с женой Георгия Димитрова, Ириной теткой, краснощекой, пухлой австрийкой Розой Юльевной. Димитров с семьей после Лейпцигского процесса жил в том же Доме на набережной, что и Таня, в соседнем подъезде.

Они были похожи – Таня и Ира. Обе худые, высокие, в очках. Глаза глядели внимательно-спокойно, будто проверяли отклик на каждое слово. И какие-то тихие.

Мы сидели в большой Таниной комнате и пили чай; блюдца и чашки сервиза были раскрашены в разные тона серо-жемчужного цвета, но с одним и тем же повторяющимся рисунком, одной и той же веточкой, правда, в разном ракурсе. Я думала, что эти чашки – из Кремля, как и стулья, на которых мы сидели. Я знала, что снизу на них написано: «Кремль. Малый дворец».

– Это осталось с тех давних двадцатых, когда Димины родители жили в Кремле, – тихо говорила Таня, расставляя чашки. – Родители Димы жили в Кремле. В двадцатые годы в Кремле многие жили. Я ходила в Кремль уже потом, когда была война. В 1942 году было очень голодно, и нас взяла к себе жена Орджоникидзе. Помню запах бульона – по всему Кремлю запах бульона. И там давали пирожки. Пирожки, – повторила она, чуть улыбаясь и вкусно произнося «пирожки». – После смерти отца у нас была пенсия пятьсот рублей по старому, то есть пятьдесят рублей. Но потом мама стала получать паек. Мама после смерти отца считала, что мы не вправе получать паек. Уговорила маму получать паек жена Бонч-Бруевича. Помню, мы шли по Каменному мосту, говорили про паек. Я не очень понимала. От Бонч-Бруевич остались воспоминания. Странные воспоминания, – усмехнулась тихо Таня, – у нее тряслась голова и сыпалась пудра с носа в тарелку.

– Мы уезжали из Москвы только на три недели – с девятого по тридцатое декабря. Самое страшное время мы высидели в Москве. Пятнадцатого – шестнадцатого октября была самая большая паника.

Говорила Таня со значением, доверительно. Казалось,

никогда не забудешь ее слов.

– Наверное, это тогда, когда Москва оказалась без защиты. Когда прислали на помощь Жукова, – сказала я.

– Не знаю, может быть, – сделала она ударение на «не знаю», и я почувствовала неуместность своего вмешательства.

– Помнишь, – обратилась Таня к Ире, – тогда были заминированы все мосты через Москву и мы переехали на Полянку? Мы же жили на острове. Если бы вошли немцы, мосты должны были быть все взорваны.

Ира молчала.

– С какого года вы жили в «Доме на набережной»? – спросила я.

– Как только построили – с 1931-го. Сначала жили в меньшей квартире, а потом переехали в эту. Ее до нас занимал помощник Ягоды, кажется. Мы уезжали в Чистополь. А когда я узнала уже после смерти мамы, в 1953 году, что Цветаева умерла рядом, то просто проклинала себя, чувствовала себя виноватой в ее смерти. У меня две вины, одна – это смерть Цветаевой.

– Господи, но почему же?

– Я в детстве была очень честолюбива. Это потом я пришла к решению, что все-таки лучше быть просто доброй. А тогда я думала, что мне все по плечу. Я была уверена – если бы поехала, то спасла бы ее.

Ира слушала молча.

– Мама попала к Сталину – в Зубалово, когда отец готовил сталинские работы для собрания сочинений. В Зубалове отец работал со Сталиным. Надежда Сергеевна Аллилуева очаровала маму. Мама тогда ждала меня. Потом Надежда Сергеевна звонила маме, рекомендовала ей врачей – это за месяц-полтора до ее ухода из жизни. Даже какие-то вещи Светланины[23] передавала… Отец, конечно, знал очень много… он отбирал сталинские материалы. Далеко не все было опубликовано. После смерти отца все бумаги у нас были изъяты.

Я слушала внимательно, мне было интересно. Передо мной сидели две женщины, живые свидетели событий, о которых я только читала в книгах. Мне интересно было бы узнать что-нибудь о Димитрове, но Ира отмалчивалась. Я думала, что сюда, в квартиру этого дома, с окнами, выходящими на набережную, переехал Димитров после Лейпцигского процесса, о котором в моей голове были очень скудные воспоминания; помню лишь рассказы папы с восторженными отзывами о поведении Димитрова на процессе, про то, как он стучал кулаком по столу… Да еще я вспомнила рассказ писателя Сергея Михайловича Голицына, дедушки Ани Голицыной, моей первой невестки.

Художник Павел Корин, которому поручили написать портрет Димитрова, приехал к нему в санаторий «Архангельское» (под Москвой) познакомиться. Во время их прогулки по парку и беседы Корин, желая разговорить Димитрова, сравнил подстриженные деревья с изящными дамами в кринолинах, на что последовала реплика: «А мы все эти буржуазные дамы повесим на эти деревья!» Корин после этого нашел предлог и отказался писать портрет, уверив, что ему понадобится сеансов двадцать. Сергей Михайлович показал нам текст реплики Димитрова, списанный из книги отзывов почетных гостей, хранящейся в музее Архангельского (в книгу Димитров его написал с характерными для иностранца орфографическими ошибками).

Подсвеченный Кремль высился в темноте за окном, как на миниатюре Палеха. Таня с Ирой вспоминали, а я сидела и представляла огромную квартиру с окнами на набережную, тогда еще не поделенную на множество маленьких комнат… Как живой и энергичный человек с огромной головой, с седоватыми вьющимися волосами быстро и молча проходил к себе в огромный кабинет, а Ира, Таня и Володя тихо сидели под роялем или на белой медвежьей шкуре. Таня положила на стол фотографии своего свекра вместе с Лениным и Сталиным, фотографию заседания Совнаркома в восемнадцатом году, записку Сталина, фотографию, на которой случайно оказались рядом Танин и Димин отцы – Иван Товстуха и Василий Шмидт. Все, что осталось от тех лет. Они тихо перебирали события, а я, слушая их, представляла, как под Москвой, на Николиной горе, в «Соснах», в 1930-е годы, Володя с девочками ехал выбирать елку. Их везли по заснеженному лесу в санях с бубенчиками, и ребята поглядывали по сторонам, вдыхая запах лошадиного пота. А потом в жарко натопленной даче клеили елочные игрушки, старательно загибая в обозначенных пунктиром местах. Все это напоминало мне мою любимую повесть в детстве – «Чук и Гек». Они перебирали события, а я, с красными после бессонной ночной работы глазами, вышла на кухню, где звучал голос Высоцкого. В тот вечер телевидение устроило вечер его памяти. Высоцкий пел, я не отрывала глаз от экрана, а когда повернула голову – обомлела: прямо на меня смотрел из окна Таниной кухни Свердлов. Оказалось, что в соседнем подъезде жили внуки Свердлова, окна одной из комнат, в которой висел огромный, во весь рост, подсвеченный портрет Свердлова, были прямо напротив.

Я вернулась обратно в комнату, опустошенная от голоса Высоцкого, его лица и песен, села, устало подперев голову руками. Тогда я и сказала Ире:

– Знаешь, Володя был похож на Высоцкого.

И тогда я прочла в Ирином взгляде жалость и растерянность.

– Я думала, что это знала лишь я, – сказала Ира.

Таня рассказывала:

– Роза Юльевна меня очень любила. Их девятилетний сын Митя был младше меня на год, но был в меня влюблен. Мы с ним дружили. Он умер от дифтерита, во время войны. Когда он умер, мы как-то пошли с мамой на Новодевичье кладбище, и там мама оставила меня на его могиле, у памятника, а сама куда-то отошла. Там и застала меня Роза Юльевна. Я сидела на мраморной плите и перебирала цветы. Она склонилась ко мне, обняла и заплакала. Роза Юльевна очень любила меня, – повторила Таня.

– Больше у них детей не было, – сказала Ира. – Они усыновили сначала девочку, а потом – Бойко.

В тот вечер мне приоткрылась возможность, о которой я никогда не думала – жить вместе с Володей, сложись все иначе. И еще приоткрылась та сторона жизни Димитрова, о которой я никогда не задумывалась. Хотя я неоднократно слышала про Димитрова от папы, он для меня являлся некой отвлеченной фигурой – вроде памятника на Большой Полянке. Теперь же он встал живым: родной дядя Володи и Иры, любивший своих племянников, муж не болгарки, не русской, а розовощекой австрийки, мечтающий иметь детей, переживший смерть единственного сына и усыновивший болгарского мальчика Бойко, вечно занятый, решительный, спешащий, много куривший…

Часть 6. Из Болгарии в Россию и обратно

«Недаром русские ты с детства
помнил звуки и их сберег в себе
сочувствием живым….»

Ф. И. Тютчев

Учеба в Советском Союзе. – Встречи с родственниками в Киеве и Москве. – Ленинградские впечатления. – Смерть Сталина, поездка в Москву. – Донос. – Болгарское землячество. – Речь Хрущева на XX съезде. – Поездки мамы и папы в СССР. – Кончина бабушки и дедушки, рассказ об их жизни. – Моя дальнейшая судьба: я остаюсь в России!

Осенью 1952-го я приехала на учебу в СССР. Мне казалось, что это первый шаг к воссоединению всей семьи. На протяжении семи лет – после того, как мы покинули Россию – постоянно шли разговоры о возвращении. Я не задумываюсь, как это осуществить, но твердо верю: «Первый шаг сделан».

Из моего письма:

Когда подъезжали к Киеву, у меня тряслись ноги. Вышла на перрон, прошла вдоль поезда и никого не нашла. Уже возвращаясь, отчаявшись, я вдруг встретила невысокого парня с довольно длинным носом. Мы бросились друг к другу – это был Горик. После я увидела всех, даже Ольгу Герасимовну. Тетя Леля очень старенькая и маленькая, дядя Слава тоже. Они все время только и повторяли: «Ингочка, Ингочка». Тетя Ира такая же, как на карточке, Алика я бы не узнала. Катюша большая, хорошенькая, с косичками. Татка крупная, сдержанная и, видимо, очень не хочет уезжать из Киева. Горик поступил в Политехнический. Дядя Жоржик, тетя Тася сейчас на море. Владику сделали очередную операцию, но она не помогла. Сейчас он отдыхает с врачом тоже на море. Тете Леле надо бы что-нибудь купить, она, видимо, за собой совсем не следит. Сделайте что-нибудь для них. Прошу очень. Бабушки на вокзале не было, она, как только узнала, что я еду, выехала в Москву встретить меня.

Вот так встречала меня Россия, так встречали мои родные, с которыми я прожила большую часть своего детства, так встречали меня те, кого я стала забывать, о жизни которых на протяжении

восьми лет почти ничего не знала и кому не сострадала.

Первое свидание – несколько минут после одиннадцати лет разлуки. Но в летние каникулы 1953-го по дороге домой в Софию я заезжаю в Киев и впервые после Рыльска (те десять минут осенью – не в счет) встречаюсь с тетей Лелей, Гориком, Таткой. Тетя Леля, моя родная тетка, мое детство, стоит на перроне – будто и не было расставания. Я обнимаю тетку, она обнимает меня:

– Как долго мы не виделись, Ингочка, как долго.

Все тот же пучок серых волос на затылке, все тот же чуть насмешливый взгляд. Теперь я уже выше ее ростом.

– Как же ты с таким огромным чемоданом? Кто же тебе его носит?

– А всегда кто-нибудь находится, – отвечаю я. – Я как-то об этом не думаю.

– Копия Ольги Константиновны, – смеется тетя Леля, глядя на меня. – Копия.

Татка согласно кивает, с любопытством рассматривая меня. Горика, моего друга детства, я уже совершенно не помню. У нас нет интереса друг к другу. А вот Татка берет меня под руку. Я чувствую, что она меня не принимает всерьез, приглядываюсь и думаю, что мы с ней непохожи. Она уже замужем, но муж где-то то ли в Брянске, то ли в Чернигове. Татка окончила Пищевой институт (как говорит тетя Леля – «ближе к хлебу, все может случиться»). Крупная, с гордо поднятой головой, хорошо одетая (Лена Звонарева, ее школьная подруга по Рыльску, теперь лучшая в Киеве портниха), Татка уверенно направляется к стоянке такси.

– Костельная, четыре, – говорит она, – академический дом, но въезд во двор со стороны площади Революции.

Они теперь живут на Костельной. Прежнюю, огромную пятикомнатную квартиру на Тимофеевской дядя Жоржик сдал, как только перестал быть директором института в Киеве. Как жили тетя Леля и Горик в Рыльске одиннадцать лет после нашего отъезда? (Таточка почти сразу переехала в Киев, поступила в институт). В 1946–1947-м – голодали. Очень голодали. Как в оккупации. Снять комнату не было денег – снимали «угол», отгораживаясь от хозяйки занавеской. Зимой стена промерзала, покрывалась инеем… Но все это я узнаю потом.

А сейчас я мучительно завидую теткиному дому, наблюдая их жизнь в Киеве. Тут так плотно все спаяно – тетя Леля, Горик, бабушка и Таткино, совершенно отличное от моего, поведение, очень независимое, гордое, уверенное… Да и весь дом, весь прекрасный город, Софийский собор, площадь Богдана Хмельницкого, Андреевская церковь… Но самое главное – они у

себя на Родине. А я, я – иностранка.

Тетя Леля только год как переехала в Киев – в Рыльске ждали золотую медаль Горика, с которой он без экзаменов поступил в киевский Политехнический институт. Поселившись в старинном академическом доме, тетя Леля осталась точно такой же – тот же пучок полуседых волос, тот же чуть насмешливый взгляд, та же улыбочка, хмыкание, вечная самокрутка. В очках, подвязанных веревочкой, читает газеты, чуть усмехаясь, смотрит на мир. Спит на сундуке в коридоре. Квартирка маленькая – с согласия дяди Жоржика от нее отрезали комнату и кухню для соседа-академика. Дядя Жоржик бывает только наездами. В его отсутствие комнату занимает бабушка. Там большое окно, тюлевые занавески, большой старинный письменный стол, уставленный фотографиями в рамках, большая высокая кровать, старинный буфет, лампа с абажуром на столе, люстра под потолком, портьеры на двухстворчатых высоких дверях. Атмосфера квартиры, каким-то образом перенесенная из XIX века, определяется именно этой комнатой. Очень чисто, светло и порядок, все лежит на своих местах. Другие комнаты маленькие, с простыми кроватями, простыми обеденным и письменным столами.

К моему удивлению, здесь часто смеются, острословят, и тон задают тетя Леля и Татка. У нас дома не смеялись. Смеялась я с подругами, смеялся Вовка с друзьями, но в доме была тишина и напряженность. Тишину вносит мама, она не умеет шутить, не умеет играть. Напряженность вносит всегда занятый папа. Возможно, в этом и сказывается его сила. Вся квартира слушает только его, квартира заполнена им.

Напротив теткиного дома – знаменитая Владимирская горка, всего через год туда будет ходить гулять няня с Таткиным сыном Димкой. Белокурый Димка, улыбающийся, с лучистыми добрыми глазами, в летней рубашонке, держит обеими руками полосатую шапочку над головой.

– Это наша надежда, – скажет мне про него мой двоюродный брат Владик.

На холмах лежит город, пропитанный историей, и история эта отражается в глазах людей, в окнах домов, в церквях. Кажется, что воздух здесь гораздо плотнее и жизнь осмысленнее; здесь совсем другой дух – совсем не то что в Болгарии. Я остро чувствую провинциальность Софии. Гораздо позже, в Англии, я вновь ощутила нечто подобное – казалось, над этой страной расстилается небо, пропитанное всесильным разумом. Напротив – какой пустотой веяло с небес над Каспийским морем… Человеческий дух создает атмосферу, и эта атмосфера накрывает

людей. Наверно, это Вернадский и назвал ноосферой.

Вечером мы едем с бабушкой к дяде Славе в Голосеево, на киевскую окраину. Бабушка вдруг становится увереннее, и я понимаю, что ей не так-то легко жить с дочерью: здесь, у дяди Славы, я вижу, как бабушка располагается по-хозяйски, садится за стол, берет дядю Славу под руку, прижимается головой к его груди. Ирочка, простоволосая, подвязанная старой юбкой, ставит на стол какие-то банки, бутылки.

– Что же ты такая худая? – спрашивает меня дядя Слава. – Что вы там едите?

– Совсем тростиночка, – говорит бабушка. – Как? Верочка не каждый день готовит суп? Как же без супа?

«Верочка, Веруша, Верусенька» – за столом так и сыплется.

– Как же они еще называли твою мамашу? – спрашивал потом папа, когда я в Софии рассказывала про эту встречу.

– Верушенька.

Дядя Слава (он так похож на маму) предупреждает каждое мое движение. Мы все сидим за столом – бабушка, Ирочка, Алик, Гарик, маленькая «послевоенная» Катюша… Все «рыльские» выжили, только тетя Катя умерла, лежит где-то в Путивле.

– Мама умерла, – говорит Ирочка. – Мы страшно голодали, хлеб зарабатывали тем, что я рисовала игральные карты. Под конец мама весь хлеб отдавала Алику. Когда она умерла, мне не во что было ее обуть, ноги распухли от голода. Не было даже тапочек. Она умерла ночью, я сидела рядом, на полу, в комнате холодно, я замерзла, легла с мамой рядом, так и пролежали мы с ней вдвоем до утра. А утром – кто похоронит? Где взять гроб? Кто отвезет?

Родная моя тетя Катя, к которой я любила ходить с мамой на Васильевский остров! В ее шикарный дом, в единственную комнату, оставленную ей из всей квартиры. Веселая, кокетливая, образованная, безалаберная, влюбчивая, добрая… Как она, пока не пришли немцы, рвалась из Рыльска обратно в Ленинград! А папа ей писал: «Здесь не будет лучше». Кто знает? Сестра ее, тетя Варя, выжила в блокаду. Тетя Катя умерла от голода не в родном Ленинграде, а в Путивле, в какой-то избе, везли ее на телеге, в ногах сидела Ирочка.

– Когда Слава нашел нас, то начали получать что-то по солдатскому аттестату. Спас нас Гриша. Он демобилизовался раньше, Слава еще год был военнослужащим. Гриша приехал и забрал к себе в Днепродзержинск. Мы были кожа да кости, покрыты коростой. Если бы не Гриша, верно, не выжили бы. Ну а потом Жоржик перевез сюда. Слава работает напротив в

институте, и квартиру дал институт.

Ирочка смотрит на меня глубоко запавшими серыми глазами, мне ее жалко, она все понимает, как я, но люблю я больше мою тетку Лелю… Она мне – теплый бок, к которому можно прижаться, и не важно, понимает ли она меня. Теплый, родной бок.

Я что-то рассказываю про Париж. Я тогда, начитавшись французов, изучала Париж по картам, знала улицы, музеи. Рассказываю с такими подробностями, что дядя Слава спрашивает:

– Ингочка, ты и там была?

И я чувствую, как высоко он нас поставил: мы – в другом мире, мы и в Париже могли быть. Сам он рассказывает про Будапешт, где воевал, как венгры их ненавидели.

– Воды не давали. Изнываешь, хочешь напиться, подойдешь к колодцу – большими буквами: «ящур», везде «ящур».

У дяди Славы медаль за взятие Будапешта.

Потом я пою. Нет, права, права была тетя Леля, называя меня «актрисой». «Не брани меня, родная», – пою я и, закончив, плачу. Отчего? Считаю, это входит в образ. Бабушка соскакивает со стула, подбегает ко мне, глаза блестят от любопытства.

– Что? Несчастная любовь?

Она тоже, видно, замечает нашу похожесть.

– Несчастная любовь?

– Нет, – мотаю я головой. Я совершенно уверена в тот момент: не было у меня несчастной любви. Я забыла про Володю.

Они возятся со мной, как с дорогой хрупкой вазой. Бабушка остается ночевать у дяди Славы, а меня идут провожать.

– Как же Ингочка поедет одна?

Дядя Слава, болезненно застенчивый, сильно пьющий, бежит наперерез проезжающей мимо машине, чтобы остановить ее, и я вижу смущение от несвойственного ему поступка. Желание посадить меня в машину сильнее смущения. Мой дядечка Слава, прошедший всю войну сапером, из всего батальона выживший один, кавалер всех солдатских медалей, в том числе «За отвагу», бежит следом за машиной, машет руками, а спина выражает страшную растерянность и стеснение. Это, может быть, вторая режущая душу боль: тогда, в тридцать восьмом, – красный след от сдвинутой буденовки на папином лбу и протяжный вздох, сейчас – задранный пиджак на спине бегущего за машиной дядечки Славы.

Кого же бабушка любит больше всех? Дядю Славу? Маму? Дядю Жоржика? Каждого по-своему. Но совершенно ясно, кого не любит: мою тетю Лелю, свою старшую дочь. Между тетей Лелей и

бабушкой не было не только любви, но и симпатии. Боготворившая своего отца, моего деда, тетя Леля не любила мать и не скрывала это.

Эта встреча, как я уже упоминала, состоялась летом 1953-го, по дороге домой, куда я ехала на каникулы. А осенью 1952-го ежедневно на протяжении недели бабушка выходила на перрон Киевского вокзала в Москве с большим букетом и ждала меня. Ни она, ни я не знали точное время прибытия. Не встретив, она каждый раз отдавала букет дежурной по вокзалу. Когда я приехала, рядом с бабушкой стояла одетая по форме дежурная.

– Ваша бабушка, – сказала она мне, – ждет не дождется, когда же приедет ее внучка.

Бабушка нарядная – в чем-то белом, светлой шляпке, с палкой и букетом. А потом мы поехали к Жоржику, на Можайское шоссе, и там бабушка старалась, конечно, напоить меня крепким чаем с пирожными. Удивляясь моей худобе, сетовала на то, что домработница в отпуске («а тебе бы надо что-то горячее»), расспрашивала про маму; почему-то понижая голос, рассказывала, каких успехов добился Жоржик («и академик, и лауреат!»), и пыталась включить телевизор. Телевизор тогда был еще редкость: маленький экран и перед ним увеличительная линза. Но я, воспитанная на «Аленьком цветочке», не удивлялась этому новшеству, как не удивилась спустя много лет маленькому магнитофону, который дядя Жоржик привез из Японии. Помню, как он, помахивая рукой, в которой был зажат магнитофон, прошелся по комнате. Я слышала музыку, смотрела на его лукаво улыбающееся лицо и ничего не понимала – откуда музыка? А может, в его доме так и надо? Во мне крепко жила уверенность, что существует много чудес на свете.

– Что же это такое? – сокрушалась бабушка. – Вчера же включался! Я смотрела «Лебединое озеро».

Она крутила что-то, садилась, потом опять вскакивала. А я, путая «ты» и «вы» – забыла, как к ней обращалась в Рыльске, – рассказывала про нашу жизнь в Болгарии. Наконец телевизор заработал, и мы с ней посмотрели «Три сестры» и «Сердца четырех». А вечером, к огорчению и недоумению бабушки, я поехала ночевать в общежитие на Дорогомиловской, куда нас всех приехавших из Софии, поселили.

Из моего письма маме:

…бабушка, она очень подвижная, остроумная и веселая, но, видимо, плохо себя чувствует. Мама, ты себе не представляешь, как она тебя любит… если можешь, приезжай скорее к нам. Здесь тебя все очень ждут, бабушка боится, что не дождется тебя.

Бабушке тогда было семьдесят четыре года. Немногим более чем мне сейчас. И я знаю, что это нелегко – мчаться из Киева в Москву, каждый день ездить на вокзал.

Осенью 1952-го Москва будоражила свежим незнакомым запахом. Перегораживая тротуар, мы шли, веселые, взявшись под руки, – Милька, Клара, Динка, Надя, Веса, я. И как тогда, в 1946-м, в Софии, болгары сторонились нас, так теперь сторонились и глядели нам вслед москвичи. Мы были хорошо – «по-заграничному» – одеты, встречные нас оглядывали, слышалось: «иностранки», но потом они останавливались в недоумении – ведь выговор наш был чисто русский.

Из письма:

Нас, меня и Надю, знакомил с Москвой Милен. Были на Красной площади, на улице Горького, около Большого театра, завтра пойдем в Третьяковскую галерею.

Но меня не оставляют учиться в Москве, посылают в Ленинград, бросают в совершенно новую для меня среду. Кто знает, как бы сложилась моя судьба, останься я тогда в Москве, где дядя Жоржик, тетя Тася, Владик, вся наша софийская компания, где Володя Червенков. Нет, меня бросают – как слепого кутенка в воду. Я должна одна пройти путь, для меня нелегкий, мне хочется бросить все и бежать, бежать без оглядки домой, под крыло родителей. Но я не могу себе этого позволить. Цель моя не только учеба – цель моя перетащить сюда родителей. Вернуть их в Россию.

Привыкание шло медленно и тяжело. Тут все сплелось – и измена Володи, и одиночество, и совершенно иные условия существования, и страшная тоска по дому.

За окном серое, цвета застиранного белья, ленинградское утро, такой же свет будет в течение всего короткого дня. Тихо говорит репродуктор. Девчонки (их семь в моей комнате в общежитии на Мытне) встали, шумят, горит лампочка в двести свечей под потолком. Немки, Гизела и Лиебгард, гогочут, они только что умылись до пояса холодной водой в умывалке. Китаянка тихо одевается. Нина, Маша и Лера завтракают в складчину тут же, рядом с моей кроватью, за единственным столом. Моя кровать – в шаге от двери. Накрывшись с головой одеялом, жду, когда они уйдут на лекции. Я неделю как вернулась с ноябрьских праздников из Москвы (где, по милости Милена, увидела воочию измену Володи), меня бьет дрожь и днем и ночью. И днем и ночью живу стиснув зубы, так что утром едва разжимаю рот. Я, которой мама говорила: «Ингочка, ну что

ты, как дурочка, все время смеешься», – не смеюсь. Я не смеюсь целый год.

Я страдаю от застенчивости, я не могу крикнуть: «не шумите», не могу раздеться, пока в комнате горит свет. Сколько раз по вечерам я выхожу из читалки, иду по длинному, обшарпанному, темному коридору, дохожу до нашей комнаты – и если из-под двери пробивается полоска света, разворачиваюсь и тихо бреду обратно в читалку. Китаянка, кажется, одна присматривается ко мне.

– Ты боишься ответственности, – говорит она, – ты не можешь сделать замечание.

Гизела и Лиебгард открыто презирают меня и что-то говорят оскорбительное, когда я расчесываю косы в присутствии их немецких парней. А я с трудом переношу немецкую отрывистую речь и режущий ухо смех. Рыльские воспоминания, казалось канувшие навсегда, оживают во мне.

Нина и Маша были на фронте. Обе были замужем, мужья убиты. Нина и Маша были намного старше нас всех. Маша, тоненькая, тихая, часто плачет, учеба ей дается с трудом. Нина – маленькая, верткая, похожая на обезьянку.

– Я думала – такой счастливой быть невозможно, – рассказывает Нина, и ее морщинистое лицо сияет. – Война кончалась, мы уже в Германии. У нас с Алешей кровать была – хоть поперек ложись. А покрывало! И вот Алеша улетит на задание, а я верчусь на кровати так и эдак – то поперек лягу, то вдоль, то наискосок. Считаю часы. Наконец возвращаются. Мы все выбегаем на аэродром. Улетели девять, возвращаются семь. И каждая думает: «Кто? Кто?»

С Машей и Ниной я делюсь кофточками, блузками, Маша благодарит, а Нина перед отъездом на каникулы крадет у меня синий вязаный шерстяной жакет и Володин платок – ярко-желтый с синим глобусом посередине, прекрасный платок. С исчезновением платка у меня ничего не осталось на память от Володи.

Я пишу родителям:

Мамочка, если бы ты знала, как я хочу очутиться там у вас и отдохнуть от всего этого. Этим летом поедем отдыхать туда, где нет людей…

Папа, я только теперь очень хорошо поняла твои слова, которые ты мне говорил два года тому назад: «Ближе родителей у тебя никого не было и не может быть».

Дорогая мамочка! Милая моя! За что ты меня так любишь? Прекрасная, самая лучшая из тех, кого я знала, знаю и буду знать.

Я исполню все твои наставления, будь спокойна. Когда со мной может что-нибудь случиться, то я думаю прежде всего о тебе. И больше всего боюсь за тебя. Недавно девчонки рассуждали об именах, и мне показалось, что самое красивое имя твое и оно так идет тебе. Удивилась, как я раньше этого не замечала. Если у меня когда-нибудь будет дочка, то и речи не может быть о другом имени.

Каждый день я бегаю по Биржевому мосту, пересекаю площадь перед Биржей и попадаю в красное длинное здание бывших «12 коллегий», а теперь – университета. Я тороплюсь на лекции, стараюсь незаметно проскочить вместе со всеми в лекционный зал. Но однажды я опаздываю, меня охватывает дикий страх, я не могу заставить себя войти в переполненный зал и выдержать сто пар глаз, устремленных на меня. Я пробегаю мимо двери, ведущей в аудиторию, бегу, будто Меньшиков от плети Петра, биологический факультет кончается, начинается геологический, я поворачиваю назад. Ноги дрожат, с головой творится что-то невообразимое – кажется, сейчас грохнусь в обморок. Я делаю шаг, дверь в аудиторию открывается мне навстречу.

– Тебе сюда?

– Да, – киваю я.

Глаза. Глаза, глаза, как в болоте, наполненном лягушками. Только глаза, сверху донизу, от первого ряда до последнего… Все смотрят на меня. Согнувшись, я проскакиваю к первому свободному сиденью и чувствую, как этот сотрясающий меня страх начинает спадать – я слилась с толпой. В перерыве ко мне поворачивается Люся Вдовиченко и протягивает бутерброд с ливерной колбасой. Эта щупленькая беленькая девочка полюбила меня. Не знаю, за что, скорее всего – она чувствовала во мне отчаяние. Потомственная ленинградка, она держалась не то чтобы стеснительно, но тихо и незаметно, ни с кем не сближаясь. Ее разговоры, ее облик и отличное от остальных поведение напоминали мне героинь Достоевского. Я рассказывала про дом, шмыгая носом. Она приглашала в гости. Целовала мне руки. Рассказывала про свою не очень счастливую жизнь. Кажется, она жила только с бабушкой. Какую опасность я увидела в дружбе с этой чистой, тихой, худенькой девочкой? Боязнь потерять свободу? Боязнь связать себя? Да. Возможно. Больше всего я дорожила своей независимостью. Но, скорее всего, нервы не выдерживали такого накала откровенности. И я бросила Люсю. Помню ее большие голубые глаза, обращенные ко мне, когда я села на лекции далеко позади от нее. И все же она какое-то время

все еще продолжала подходить ко мне и протягивать завтрак. Презирая себя, я впивалась зубами в пахучий бутерброд. Я все еще не могла себя заставить зайти в столовую, по утрам я забегала в магазин, покупала две булочки, покрытые чем-то сладким, – вроде плюшек из детства, засовывала их в карман пальто и потихоньку доставала кусочек за кусочком. На ходу съедала.

Я не люблю биологию, мне неинтересно на лекциях. Я брожу по Ленинграду, спускаюсь к Неве и долго стою на серых, истертых Невой ступенях, смотрю и смотрю на Исаакий, трогаю сфинксов, замираю при виде Адмиралтейства, меня мучит запах свежего асфальта, запах «сорокового года», вливавшийся тогда в наши окна на Ломанском. Брожу по Невскому, по набережным, и моя рука не отрывается от гранитных парапетов. Мчусь на улицу Карла Маркса, разыскиваю дом, где началась моя сознательная жизнь, спрашиваю у оторопевших стражей: где же находится кафедра боевых отравляющих веществ, на которой работал мой папа? Штаб ВМА… «Кресты»… Гороховая улица… Помню шепот мамы: «Проклятая улица, на Гороховой – дом НКВД». Да, Гороховая, в то время – улица Дзержинского, еще связана с арестом папы.

А спустя много лет она для меня стала еще и местом, где стоял дом Парфена Рогожина с зарезанной Настасьей Филипповной. Брожу вдоль каналов… Я хочу найти могилу Володи Курдюмова – маминого брата, образ которого живет до сих пор во мне, и могилу моей прабабушки Елены Андреевны Орловской-Драевской. Я не знаю, что ждет меня на разоренном после блокады кладбище. Выхожу на последней остановке трамвая задолго до сумерек, вокруг никого. Брожу среди могил, некоторые надписи и даже деревянные кресты уцелели. Останавливаюсь у каждого завалившегося деревянного заборчика, у каждого заросшего холмика, но, конечно, ничего не нахожу. Когда я рассказываю дяде Жоржику о моей поездке на кладбище, он внимательно смотрит на меня:

– Зряшная затея, там, по-моему, и ограды-то не было.

Из моего письма:

Я часто гуляю по Ленинграду – одной легче, вспоминаю, как мы жили здесь вместе. Утешаю себя тем, что лет двадцать пять тому назад вы тоже сюда приехали, не зная никого. Странно, я так скучала по Ленинграду, так часто видела во сне, но, оказывается, я люблю и Софию, в которой вы живете. Как хорошо, что вы не отдали Вовку в Суворовское, ни к чему ему, пока есть возможность, жить без родителей.

Ходила к тете Варе. К Радайкиным я обязательно схожу и

спрошу про книги, которые нужны папе.

Тетя Варя, Варвара Николаевна Лазарева-Коллерт, жила рядом с Мариинским театром в одной квартире с артисткой этого театра – и любовницей дяди Мити, которую тетя Варя называла «золотая рыбка». Трудно, конечно, было представить тетю Варю в роли пушкинской старухи, но она была неподвижна. Незадолго до этого сломала шейку бедра и теперь заполняла время, слушая радио, принимая гостей и рисуя. Вся комната была увешана пейзажами, разрисована была даже большая, до потолка, печка, которая находилась в ногах кровати, и таким образом, вместо белого кафеля взору тети Вари каждое утро открывался веселый весенний лес, пронизанный солнцем. Тетя Варя была красива, весела и остроумна, седой локон кокетливо падал на лоб. С удовольствием передавала слова врача: «Да. Да. Я понимаю, паспортная ошибка. Вместо возраста – 57, написали 75. Бывает».

Именно у тети Вари я в первый и, возможно, единственный раз увидела воочию, что такое воспитанные люди. Я стала ходить к ней с самого моего приезда в Ленинград, об этом просила моя бабушка (тетя Варя – ее сестра), и каждый раз для меня это было нешуточное испытание. Мое самолюбие страдало, гордость была уязвлена, я не могла не осознавать огромную разницу в уме, остроумии, светскости, образованности и воспитанности между собой и людьми, посещающими тетю Варю. Я входила в ее квартиру, уже заранее готовая к испытаниям. Проходила темную прихожую, мимо всегда плотно закрытой двери в комнату актрисы и оказывалась в залитой электрическим светом небольшой комнате тети Вари. Радостная улыбка освещала ее лицо, меня усаживали за стол. Там сидел дядя Митя Лазарев, мамин троюродный брат, который в далекие 1920-е ухаживал за мамой, высокий, худощавый, старомодно-галантный. Профессор Ленинградского университета, он был женат на племяннице художницы Зинаиды Серебряковой (вот откуда картины Лансере, Бенуа, самой Зинаиды, висевшие в их квартире на Малом проспекте, который тогда назывался проспектом Щорса). Сидела тетя Неля (дочь тети Вари), приехавшая погостить, и четвероюродная моя сестра Катя, дочь дяди Мити. Их-то я и боялась. Тетя Неля говорила решительно, низким голосом, курила, моя сентиментальность ее не вдохновляла. Сын ее, а мой четвероюродный брат Сергей Сперанский тоже часто оказывался за столом, он был главным архитектором Ленинграда. Его жена меня раздражала снисходительными вопросами: «Как вам понравился Ленинград?» «Это про мой-то Ленинград», – думала я с возмущением и отвечала отрывисто, односложно и зло, не

уступая тете Неле: «Понравился». Я смущалась, и глаза выдавали меня, когда разговор заходил о политике. Я была патриотична во всем, верила всему, о чем писали в газетах, и, слушая их, думала: вот это да! Настоящие контрреволюционеры! Я широко раскрывала глаза, молчала, а тетя Неля спрашивала со смехом тетю Варю:

– Ты не знаешь, за кого ты голосовала в последний раз? А кто у нас депутат?

И следовал ответ:

– Не знаю. В глаза не видела.

Люстра ярко освещала смеющееся лицо тети Вари. Но в основном разговор шел о литературе, искусстве. Назывались имена, о которых я не слышала. Катя, моя ровесница, разговаривала наравне со взрослыми. Я молчала и краснела. Тетя Варя замечала и переводила разговор на близкие мне темы – расспрашивала про семью. Но тетя Неля, жившая с 1929 года где-то под Москвой, в Жаворонках, вместе со своей подругой Натусей, у которой был расстрелян муж после первого процесса Промпартии[24], совсем не интересовалась моими рассказами (и не старалась делать вид, что это ее интересует). А я, рассказывая о маме, плакала от жалости к ней. Я была уверена, что мамина жизнь давно кончилась и что живет сейчас она только моей жизнью. Однажды, расплакавшись в присутствии гостей, я никак не могла остановиться. Тетя Варя, глядя на мою жалкую попытку вытереть нос, глаза и рот, не прибегая к помощи платка, спокойно сказала:

– Ингочка, пойди в ванную и умойся.

Когда я вернулась в комнату, я была поражена – в ней сидели другие люди, которые не заметили ни моего отсутствия, ни моего возвращения и, уж конечно, абсолютно не помнили, о чем мы говорили до этого. Мелькнула и тут же пропала сумасшедшая мысль: пока я сидела на краешке ванны и утиралась полотенцем, те гости ушли и пришли другие. Разговор шел на совершенно отвлеченную тему. Я была поражена и очень благодарна.

Тете Варе, возможно, хотелось поговорить и на другие темы. Она рассказывала, как она долго выглядела девочкой, как любила прыгать прямо в сад через окно и, уже будучи беременной на третьем месяце, допрыгалась – у нее случился выкидыш. Она рассказывала про Полтавское имение и про то, что там вишни и галушки прыгали прямо в рот. А я сидела и удивлялась. Но, не помня Гоголя, я понимала всю красоту *той* жизни – когда галушки прыгают сами в рот, а вишневые деревья заглядывают в окно. Тетя Варя заводила разговор о любви. Я смутно помнила из разговоров мамы и тети Лели, что у тети Вари был муж Николай

Емельянович Лазарев и так называемый Друзя, тоже профессор Казанского университета, который жил постоянно в семье тети Вари; помнила я и то, что это вызывало недоумение, всякие предположения и даже насмешки. С того времени сохранилась карточка: двое седоватых, очень представительных мужчин, один – муж, другой, моложе, – Друзя, и тетя Варя между ними. Взгляд у Друзи был надменным, и мне казалось: он сознавал свое странное положение. Как-то на замечание тети Вари, что можно позволять за собой ухаживать, можно и поощрять ухаживание, можно и целоваться, но нельзя допускать главное – тут она подняла палец и лукаво и внимательно взглянула на меня с кровати. А я? Я спросила:

– А что же главное?

Помню изумление, мелькнувшие на лице тети Вари. Слева, где сидели Нелечка и Катя, раздался какой-то шум; тетя Варя стрельнула глазами влево, стерла с лица изумление и ответила:

– Нельзя позволять себя целовать в губы, – и испытующе посмотрела, проверяя, поняла ли я.

Я была удовлетворена. Всего за несколько дней до этого я проходила медицинский осмотр в университете. Стоя в кабине рентгеновского кабинета, такого привычного с детства, прижимаясь голой грудью к прохладному экрану, я услышала вопрос:

– Вы были беременны?

– Нет, – не задумываясь, ответила я.

Врач за кабиной что-то молча записывала.

– Впрочем, не знаю, – весело сказала я.

Я услышала какой-то шум, и врач сказала:

– Поглядите на меня.

Я выглянула из кабины, прикрыв голую грудь скрещенными руками, и встретила изумленный внимательный взгляд. Сильно перегнувшись, так что одна ножка стула повисла в воздухе, врач смотрела на меня:

– Как не знаете?

– Ну, может, он рассосался, – сказала я, легко выскакивая из кабины.

В проеме соседней комнаты возникли треугольники нескольких белых шапочек. Кто-то приставал на цыпочки, кто-то подскакивал, заглядывая в кабинет. Я одевалась.

– Нет, – сказала врач, опуская голову, – так не бывает.

– Не бывает?

– Не бывает.

И я сказала «спасибо, до свидания» и ушла. Сейчас мне просто невозможно объяснить мое тогдашнее полное невежество

в такого рода вопросах. Ну не писал об этом Толстой. Не писал Достоевский. Но я-то училась на биологическом! И прихожу я к печальному выводу: нет, не была я умна. Чем жила? О чем думала?

Через три года я напишу маме:

Умерла тетя Варя. От грудной жабы. Получила я письмо от дяди Мити, где он мне это сообщил. На Нелечку было жалко смотреть, особенно когда гроб заколачивали. Тете Варе вечером сделалось плохо, вызвали дядю Митю, и он пробыл до конца. Умерла тетя Варя в 3 часа дня. Я вспомнила слова цыганки, что у меня умрет женщина, не очень близкая родственница.

Когда умерла тетя Варя, меня пригласили на отпевание в Никольский собор. Я попала в полупустой храм и растерялась. Среди колонн прохаживались, тихо переговариваясь, люди эпохи Анны Карениной: прекрасные женщины в длинных манто и шляпах с полями, породистые высокие мужчины в распахнутых меховых шубах, мех был и снизу и сверху (потом узнала, что это и есть доха, так часто описываемая в русской литературе). Из-за волнения, растерянности и застенчивости я не подошла к тете Варе. Я не имела сил пересечь церковь под взглядами этих господ. Я спряталась за одну из колонн, постояла, постояла и ушла. Вероятно, там был и дядя Леля, Емельян Николаевич Лазарев, дорогой, прекрасный человек, не оставлявший нас в трудные 1938 и 1941 годы. К тому времени он уже был выпущен из тюрьмы. Но я так его и не увидела. Вскоре он умер.

Посещение Радайкиных помню очень смутно. С волнением я крутанула треугольный металлический звонок – давно забытое мной устройство, которое я видела только в Ленинграде.

Сергей Дмитриевич и Рахиль Моисеевна встретили меня в той комнате, которую я помнила с детства, еще с четырехлетнего возраста, где я простаивала перед патефоном, глядя на черную пластинку, на блестящий микрофон, а оттуда неслось: «На закате ходит парень возле дома моего…» Вероятно, они расспрашивали о родителях. И хотя я договорилась заранее по телефону, Майи дома не оказалось, и у меня создалось впечатление, что отослали ее, чтобы, не дай бог, не восстановились у нас отношения. Она тоже где-то училась, кажется, в техникуме. Нет, и у Радайкина, единственного папиного друга на кафедре Савицкого, того самого, которого мама случайно встретила во время нашего переезда в Болгарию, когда он ехал за семьей, которого так горячо обнимала, места мне не было. Комната была роднее, чем ее обитатели.

Еще по приезде моем в Ленинград мама просила: «Узнай про

Любу Маляревскую, жива ли она?» Я нашла ее. Мама Любы смотрела на меня со страхом, оглядывала мою одежду, угощала супом и удивлялась, что я его хвалю. А я, соскучившись по домашней еде, ела и не переставая нахваливала. Она смотрела недоверчиво и только повторяла: «Что же тут особенного – капуста, морковь…» Что делала Люба, я не помню, по-моему, она не произнесла ни слова.

Подобная атмосфера была поначалу и при моем визите к ленинградским родственникам Туроверовых, наших софийских знакомых. Я поднялась по широкой, с большими пролетами лестнице, старого петербургского дома на Фонтанке. Позвонила.

Из письма:

Только что вернулась от родных Бориса Ипполитовича Туроверова. Нины Ипполитовны не было дома. (Это мой первый визит к Нине Ипполитовне, только-только налаживались ее отношения с братом в Софии.) Мне открыл пожилой мужчина, похожий на Б.И., – оказалось, брат. Его жена чем-то напомнила тетю Тасю. Сначала они меня встретили с опаской… Брат Б. И. заявил, что был когда-то у него брат, но пропал без вести и теперь его нет. Я опешила и заявила, что Борис Ипполитович жив. Потом разговорились.

В Ленинграде не было домов, кроме дома тети Вари, где меня встречали бы без опаски – «иностранка», «связь с заграницей». Жажда теплоты и внимания мучает меня, и вот я еду в Москву.

Я уже встречалась с дядей Жоржиком, тетей Тасей и Владиком еще осенью, в те страшные октябрьские праздники, которые я, по милости Милена, провела в его студенческой компании, в обществе Володи Червенкова и его девушки Тамары. Дядя Жоржик по сравнению с моими родителями, которых был старше на год, тогда показался мне очень молодым, красивым и веселым. С удивлением наблюдала я, как он легко вальсирует с одной знакомой, пришедшей в гости (мои родители никогда не танцевали.) Я не очень помню обстановку в квартире на Можайском шоссе. Помню пианино, круглый стол; при входе, рядом с дверью, в углублении наподобие алькова стояла двуспальная кровать, альков задергивался плотной портьерой, очень красивый большой эркер, около которого стоял письменный стол и какие-то цветы. В другой комнате обстановка состояла из кроватей, стульев и «разборчивого» шкафа. (Шкаф был страшно тяжелый, его еле втащили на третий этаж, но потом пришел мастер, поглядел и сказал: «А шкаф-то разборчивый». Дядя Жоржик, обожавший разные словечки, тут же включил его в свое собрание.) В этой комнате жили Владик, Иван Петрович, к

тому времени перевезенный из Киева, и домработница Настасья Ивановна, которую я по ошибке назвала Настасьей Петровной, на что сразу откликнулся дядя Жоржик: «Что? Что? Михайло Иванович, Настасья Петровна и маленький Мишутка?» И я поймала строгий взгляд тети Таси, устремленный на мужа. Я чувствовала готовность дяди Жоржика подметить смешное и посмеяться и тем самым снять с меня оцепенение. Я рассказывала, как однажды тонула, как меня спасали, и вместо «спасатель» сказала «спаситель» (так по-болгарски назывался работник охраны на морском пляже). Жоржик так и всколыхнулся: «Что-что? Спаситель?» И опять я поймала строгий взгляд тети Таси. А я так запуталась, что уже не понимала разницы между словами «спасатель» и «Спаситель». Ошалев от своих ошибок, застенчивости и их доброжелательности, я села за пианино и, щедро нажимая на педаль, сыграла одну из сонат Бетховена.

А зимой 1953-го, в феврале, я с ними ездила на дачу в «Пионерском». Утром, выйдя на улицу, остановилась, пораженная. За полем стоял оцепеневший березовый лес, покрытый инеем. Ничего подобного я до тех пор не видала.

– Что это? Что это? – закричала я, указывая на лес, стоявший за полем. Я была слегка близорукой.

Дядя Жоржик даже растерялся:

– Где?

– Вот там, за полем?

– Лес.

По-моему он был поражен. Из писем:

Приехала в Москву, там меня встречали тетя Тася и дядя Жоржик. Когда была у дяди Жоржика, то опять была очарована их семьей. О таких только в книгах пишут[25]*. Тетя Тася так заботится обо мне, что можно подумать, что я ее дочка. Бабушка хотела приехать на мой день рождения, но думаю, ей не следует. Бабушка все ждет тебя, мамочка.*

Здравствуй, мой дорогой папа! Как тебе не стыдно говорить, что ты никому не нужен и все тебя забыли. Если бы ты знал, как я соскучилась по тебе и как часто мечтаю приехать и поделиться всем, чему я выучилась здесь. Я иногда только и учусь для того, чтобы было что рассказать тебе, когда приеду домой…

…Сейчас три часа ночи, в Софии у вас – два. Ты, может быть, сидишь у себя в кабинете в своей пижаме, занимаешься, а мама и Володя спят. Счастливые вы все там вместе.

Задыхаясь от слез на «Бесприданнице» с Алисовой, которая на сцене была гораздо лучше, чем в фильме, я выскочила в фойе, и

дежурная сказала:

– Вот, девушки, не надо влюбляться. А то потом слезы.

В отличие от папы, в воспоминаниях которого я насчитала более ста фамилий его преподавателей, я, сколько ни силюсь, не могу вспомнить никого. Разве что молодого Турбина и Тимореву. Первого – потому что он приехал в ЛГУ из провинции (кажется, из Минска) и блестяще прочитал первую лекцию по генетике. Ему устроили овацию. Турбин предлагал мне остаться у него на кафедре. Ну а Тимореву (совместно со своим мужем Фришем) написала наш учебник по физике, которую я абсолютно не понимала и даже не представляла, как можно ее сдать, не вызубрив… На экзамене достался билет, я с ходу написала какую-то формулу. Принимал у меня экзамен незнакомый преподаватель, и сидящая рядом Тимореву изменилась в лице, когда увидела в моей зачетке пятерку.

– Но она пишет формулы с ходу, – оправдывался экзаменатор.

Тимореву, даже не взглянув на меня, попросила еще что-то написать при ней, прекрасно понимая, что знать я это не могу. Но я написала, абсолютно не понимая, что это за формула.

– Вот видите, – сказал мой экзаменатор.

Так я и вышла из аудитории с пятеркой в зачетке, запомнив навсегда это страшное словосочетание – «Фриш и Тимореву». Это была единственная пятерка в нашей группе.

Дорогой папа, мне приснился сон – как будто мы едем на пароходе, ты подошел ко мне и спрашиваешь, что я делаю. А когда узнал, то засмеялся и сказал, что если бы я получила по марксизму четверку, то надо было бы пересдавать, а по зоологии можно не пересдавать.

В начале марта 1953 года я, стоя в очереди за сардельками в буфете университетского общежития на Мытнинской, услышала несшийся из репродуктора торжественно-скорбный голос.

– Если что случится, я еду в Москву! – крикнула я.

– И я с тобой, – тут же откликнулась с другого столика студентка с филфака Миля Грамчева.

Случилось. Три дня нагнетался ужас конца света, три дня мы с замиранием сердца вслушивались в интонации диктора. Случилось.

Из моего письма:

Если бы вы знали, с каким вниманием и надеждой мы слушали все бюллетени. Их всего было 3. Когда объявили 3-й бюллетень, второй за один день, то уже совсем стало ясно, что дело серьезно. Я тогда и сказала, что если что-нибудь случится, я поеду в Москву.

Это было в четверг вечером. В пятницу утром в 6 часов объявили о смерти товарища Сталина. Все плакали, оделись и сидели молча. Особенно плакала китаянка, плакали немцы. Миля заняла деньги, и мы поехали на вокзал. Приехали мы на вокзал в 9.10, а в 9. 25 мы уже уехали поездом, который шел до Москвы 25 часов. В 2 часа уже вышло постановление никого не пускать в Москву. Несмотря на это, поезда были переполнены. Сидели и на 2-й и на 3-й полках. По трое. А на нижних по 7–8 человек. Выйти из вагона было невозможно, т. к. в проходах стояли. Поехали к Наде, в общежитие Тимирязевской академии, страшно далеко, и там сказали нам, что мы не попадем в Колонный зал. Надя пыталась пройти с 5 часов дня до 6 утра, ее чудом не раздавили. Она была на Трубной площади, где произошла страшная давка. В Москве творится какой-то ужас – бегают толпы и не знают, как пройти к Колонному залу… Все-таки мы с Милей решили попытаться.

Протолкавшись бестолково полдня на улице Горького, с маниакальной настойчивостью выскакивая из толпы, стоящей шпалерами вдоль тротуара, пытаясь присоединиться к непрерывно идущим группам с транспарантами, венками и портретами, без конца оттесняемая конной милицией, я наконец поняла, что здесь делать нечего. Пытаясь в очередной раз пристроиться в хвост шедшей представительной делегации, я попала под огромную белую лошадь. Сквозь слезы я увидела, как высоко надо мной милиционер поднял нагайку, вяло испугалась, услышала крик Мили, несшийся откуда-то со стороны, и выскочила на тротуар.

Из моего письма:

Мы не смогли уехать в тот же день. На другое утро встали в 6 часов и поехали на вокзал. Там была масса студентов из Ленинграда. Мы простояли до 10.15 за билетами, достали, а в 12 дня решили еще раз попытать счастья. Поехали мы на метро, сошли на Кировской. Спросили у милиционеров, они нас послали на Охотный ряд. Поднялись на эскалаторе на Охотный ряд, все выходы из метро были оцеплены. Я подбежала к милиционеру, стала одного просить, но он сказал, что от него не зависит. Послал к начальнику. Я подбежала к нему, стала просить, сказала, что мы ленинградцы, студенты, пропустили занятия, заняли деньги, уезжаем через час. И так и не видели товарища Сталина. Он сначала не хотел пускать, сказал, что только по пропускам. Я не выдержала и стала реветь. Он пустил. Мы выбежали из метро, протиснулись через машины, которые стояли нос к носу в три ряда, и вышли на площадь рядом с Колонным залом. Нас поставили вместе с военными в колонну. Мы прошли за каких-нибудь 20

минут. Все здание Госплана было уставлено цветами, весь Дом Союзов также. Их не было только там, где шел народ. Когда мы дошли до зала, где лежал тов. Сталин, то мы с Милькой плакали навзрыд.

Приехали мы из Москвы в 5 часов. Занятий почти не было. Около каждого репродуктора стояли люди. Толпы. Вся Пушкинская площадь, Дворцовая, Университетская набережная были забиты народом. Стал транспорт. Завыли сирены. Многие плакали, и мне показалось, что ленинградцы больше всех поняли все. После был митинг.

Все это написано по горячим следам. А в памяти осталось вот что.

Медленно текла толпа по четыре человека в ряд. Я шла третьей. Первое, что я увидела, войдя в зал, – вдали затемненный угол, откуда доносились звуки рояля. Какое-то время я всматривалась в этот угол. Потом, повернув голову, я заметила, что люди смотрят влево, и, проходя, оборачиваются назад. Я тоже начала смотреть влево но, шаря глазами по цветам, по каким-то возвышениям, я никак не могла отыскать *того*, из-за которого приехала. Я его не увидела. И даже никак не могла понять, куда надо смотреть. Так я и прошла мимо. Плача и прощаясь. Я была близорука.

Вот так я участвовала в тех знаменательных событиях – похоронах «величайшего вождя человечества», «величайшего гения всех времен и народов» – как только ни величали его тогда… Мы – и я, и Надя, и Милька – искренне (думаю, не мы одни) переживали смерть Сталина, как драму, как потерю близкого человека. Хотя в моей жизни уже хватало поводов, чтобы задуматься и кое-что осознать. Ведь моего папу арестовывали и он два года сидел в ленинградской тюрьме, хотя был невиновен. Знала я и о других похожих трагедиях наших близких – родных и знакомых. А «дело врачей»?

Когда я впервые услышала о вредительстве врачей по радио, стоя в очереди в буфете общежития, где репродуктор не выключался, мне стало страшно. Меня давила вся обстановка – темнота за окном, холод, бесстрастный, но тем не менее пугающий голос диктора, упоминание известной мне фамилии Вовси, которую папа всегда произносил с уважением… Казалось, свет вокруг померк. Медленно я направилась к столу с тарелкой, на которой лежали две сардельки, 30 граммов масла, кусочек хлеба, стакан чая и булочка. Села за пустой стол и продолжала вслушиваться. Я не думала, что это неправда. Но было страшно. И, как сейчас помню, о враче по фамилии Тимашук я думала с

отвращением. Тогда я даже не могла представить, что теряющий власть Сталин терял, вероятно, и разум; не знала, что управление страной ускользало из рук Сталина…

За окном стоял зимний вечер. Нет, я не вспомнила 1938-й, но мне стало физически плохо. Вероятно, все-таки прав был один знакомый, который утверждал, что у меня умное сердце. Не ум, а сердце…

А после возвращения с похорон нас с Милькой вызвали в болгарское землячество и сказали, что мы нарушили советский закон. Ранее жившие в СССР не имели права быть посланными болгарским правительством на учебу в Советский Союз без принятия болгарского гражданства. Не отказываясь от советского гражданства, мы стали гражданами Болгарии, то есть иностранцами, и не имели права без разрешения выезжать далее чем за сто километров. Донесла о нашей поездке Клара.

– Признаю, что нарушила, – сказала я, – но никогда не буду раскаиваться, что попрощалась с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

– Вероятно, ты не знаешь, каким авторитетом пользуется твой отец у себя на Родине, раз так себя ведешь.

Это было больнее всего. Мне вынесли выговор.

Дорогой мой папа. Я думала много над твоим письмом и вообще над всей этой историей. Прежде всего, наверное, надо тебе более толково передать содержание собрания. Мать Клары звонила вам и говорила, что нас с Милькой ругали, а Клару хвалили. Да, это отчасти правда. Хвалили. Но за что? За то, что она настоящая карьеристка. За то, что она умеет прикрывать свои (если они у нее есть) мысли льстивыми словами, за то, что она умеет очень здорово приспосабливаться. Так думаю я, так думают многие. Но когда они начинают высказывать свои мысли вслух, то получается все наоборот. Клара сознательная, она поняла роль коллектива, приняла авторитет и т. д. Ты понял, что нельзя горячиться, высказывать многое вслух, на каком году жизни? Я это поняла на двадцатом. Я, конечно, не стану Кларой. Мне это противно. Меня воспитали, в отличие от нее, честным человеком. Но я не буду больше такой наивной дурочкой. Мне совершенно ясно, что чем больше я буду ругаться, тем больше наживу врагов. Ничего не исправлю. Ничего не докажу. Бороться действительно надо не так, и прежде всего надо научиться выдержке.

Папа отвечает:

Из-за отсутствия личного достоинства и жизненного такта у твоих знакомых ты не горюй. Будь внимательной со свой оценкой.

Они часть коллектива. Ты будь здорова и катайся на коньках.

С болгарским землячеством у меня не сложились отношения. Ничего даже близко похожего на те, которые были у папы в тридцатых годах, когда председателем был Крум Бычваров – он же Бочаров, – когда собирались на квартире у Дубова-Крычмарского. Я не только не чувствовала себя болгаркой, но и не видела в студентах из Болгарии ничего, достойного уважения. Я не хожу или хожу очень редко на собрания, меня ругают, что я веду себя как буржуазная дама. Что это значит? Одеваюсь не так, на шее у меня цепочка. Да это же подарил папа! Но главное, я не верю ни одному слову, я чувствую ложь, чувствую лицемерие. Мне кажется, я их вижу насквозь. И то, что я там вижу, не только не нравится, а вызывает во мне чувство отторжения. Мало ли что у меня паспорт болгарский! Я всю жизнь была русской!

Мамочка, если есть надежда приехать в скором времени, то приезжай скорее. Бабушка болела, я еще не знаю, что с ней было, но дядя Жоржик и тетя Тася вылетели туда. Я до того испугалась, что ничего не могла делать, побежала на почту, дала телеграмму, пришел ответ, что бабушке сейчас лучше, что она просит не беспокоиться и ждет от меня письмо. Я ей вчера сразу же послала. Мамуленька, ты мне в письме пиши и о бабушке или для бабушки. Я ей буду пересылать.

Дни текут, похожие друг на друга. С утра лекции. Вечером занятия в читалке. Но у меня долгое время сохраняется школьная привычка – учить только к экзаменам или коллоквиумам. Всегда что-то оставалось недоученным, но я уговаривала себя – если попадется билет, которого я не знаю, то я попрошу спрашивать по всему курсу. Такого билета мне ни разу не попалось, и отметки у меня, особенно на первых трех курсах, были почти все пятерки. В промежутках между занятиями я бегаю в филармонию, на лекции при филармонии, на концерты, в театры, на лекции в Академию художеств. Я знаю все уголки в Эрмитаже и до сих пор помню, на какой стене висит «Даная», где висит «Саския», где «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа». Смешно и странно, но любовь к природе я тоже приобрела в Эрмитаже – подолгу вглядываясь в картины Коро. Из художников я больше всех люблю Рембрандта, потом Эль Греко, а импрессионистов – кажется, всех без исключения.

Из писем – о том, что меня занимает.

Русский музей. Вечером длинная лекция по Брюллову. Последнее

время бегаю в филармонию. Концерт Вагнера, а потом концерт Шопена. Слушала Когана, была на органном концерте. Слушала – Шестую симфонию Чайковского, впервые – «Неоконченную симфонию» Шуберта, Первый концерт Чайковского, «Крейцерову сонату». По абонементу разбирали «Евгения Онегина», завтра «Пиковую даму». Была лекция по Чайковскому, разбирали «Ромео и Джульетту» и «Франческо да Римини». Что за прелесть эти вещи! Не знаю, писала ли я вам, что у нас только на одного Чайковского положено одиннадцать лекций. Лекции иногда длятся по пять часов.

Я пойду на Лемешева, на Безродного и какую-то румынскую певицу – это все гастроли. Дочитываю «Пятнадцатилетнего капитана» на французском.

Что смотрела? Смотрела «Мачеху» по Бальзаку, «Евгению Гранде» с Турчаниновой, «Мещанин во дворянстве» и «Эмилию Галотти» в исполнении «Комеди Франсез.

Я впитываю, впитываю эту жизнь, так непохожую на жизнь в Софии, и незаметно для меня совершается скачок – прекрасный город, его величие и красота обрушиваются на меня. Главным становится не учеба в университете, главное – это Эрмитаж, Русский музей, филармония, Кировский театр… Невиданный и неслыханный мир открывается мне в музеях Ленинграда, его театрах, концертных залах. Впервые слушаю «Реквием» Верди. Но оказывается, успеваю не на все: я удивляюсь, когда моя однокурсница Ира Васильевых, приехавшая, кажется, из Перми, наша отличница, с необыкновенно одухотворенным лицом говорит: «А ты слышала “Реквием” Моцарта? Нет? Мы всю ночь простояли за билетами». А я об этом не знала!

…Я лью слезы на «Сирано де Бержераке».

– Вот здесь сидела Анна Каренина, и никто не подошел к ней, – говорю я, оглядывая красного бархата ложи Мариинского театра, и сидящая передо мной в ложе дама оборачивается и улыбается мне.

– Сколько же ты ходила в этом году в театр? – спрашивает дядя Жоржик, оказавшись в Ленинграде на конференции.

– Спектаклей двадцать пять просмотрела, – говорю я, и он смотрит с удивлением. Он не задает вопрос: а как же учеба? Он смотрит с удивлением и, улыбаясь, качает головой: «Да-а-а-а».

Дядя Жоржик с тетей Тасей приехали в Ленинград на конференцию, остановились в гостинице «Астория». Я лежала со страшной гнойной ангиной. Их посещение взбудоражило весь этаж моего общежития на Мытнинской. Никто не мог поверить, что у меня такие родственники. Приходили и спрашивали: «К

тебе приезжали? Действительно твой дядя? А кто они такие?»

Теперь представляю наш длинный темный коридор, обшарпанную лестницу, умывалку, совместную с туалетными кабинками, со всегда распахнутой дверью в коридор, из которой несется сильный запах хлорки, снующих студенток в коротких ситцевых халатиках. И вдруг появляются двое высоких, красивых, элегантно одетых людей – тетя Тася в сером летнем пальто и синей шляпке, дядя Жоржик в светлом летнем пальто, с букетом фиалок в руке… Они идут медленно по коридору, они из другого мира. Это всем понятно. Седовласый, с веселыми карими глазами мужчина, и красивая высокая дама. Они медленно продвигались по коридору, разыскивая мою комнату. Но больше всего поразило моих девчонок уважительное к ним отношение со стороны столь важной пары.

Из моих писем той поры:

Папа отчаялся в моей заинтересованности биологией. Но я думаю, что у меня она со временем разовьется, т. к. становится все интереснее. Мы ходили в ФИН (физиологический институт), работали на собаках – так там очень интересно.

Папа говорит, что я все о музыке, а об университете ничего. Но я все-таки опять напишу о музыке. Последняя лекция была о Бетховене. Играли 1-ю сонату, ту часть, которую ты, мамочка, больше всего любила. Почему папа сказал, что я живу черт-те чем, а не разумом?

Мамочка, ты спрашиваешь про Шишкина (Володя Червенков – И.М.). Я ничего не знаю, да, по правде, и не хочу. Про Милена не знаю тоже, собирается ли он жениться или нет. Он что-то говорил Наде, что хочет, но еще не решил. Надя ему советовала поторопиться, а то там не найдет таких. Он указал на мою фотографию и спросил: «Почему? Смотри, какая красавица». Все это ерунда, я все дальше и дальше отхожу от наших бывших мальчишек.

У меня сейчас внутри происходит борьба, да какая! Я иногда жалею, что рядом со мной никого нет. Толком не с кем посоветоваться. Я не знаю, что лучше – остаться такой или измениться в сторону Татки и Нади, хотя бы немного.

По вечерам в субботу на первом этаже, в помещении, напоминавшем подвал, устраивались танцы. Помнится длинный коридор, звучала «Риорита». Я, в черненьком узеньком платьице с белым воротничком, вхожу в большую комнату, за рядом незавешенных окон почти на уровне тротуара – непроглядная темень, под потолком висит одинокая яркая лампа без абажура. Крутятся пары…

Как-то раз меня пригласил высокий черноволосый парень в тельняшке, поверх которой был надет пиджак, с пустым левым рукавом. Я протанцевала с ним один танец, он пригласил опять, потом опять… Так продолжалось несколько вечеров. Парень был высокий, худощавый, с правильными чертами окаменевшего лица. Танцевал он хорошо, легко и крепко держал меня правой рукой, пустой рукав его пиджака носился за нами, когда мы кружились в вальсе. В какой-то раз, когда он опять пригласил меня, он сказал:

– Вы отличаетесь от других.

Жизнь уже начала свою работу, и я уже понимала, что не самая лучшая, не самая красивая, не самая умная и вообще не самая-самая…

– Ничем не отличаюсь.

– На протяжении нескольких вечеров вы доказали, что не похожи на других.

Я пугаюсь объяснения и, когда он отделяется от стенки и уверенно подходит ко мне в следующий раз, я говорю:

– Я не танцую.

Парень кричит:

– Почему? Почему?

Он рвется побить то ли меня, то ли моего партнера.

– Пьяный, – брезгливо говорят немцы.

Однажды на танцах меня приглашает чех – высокий, худощавый парень, простого вида. После танцев, как мне стало известно потом, он сказал: «Или она уже через все прошла и опытная, или она еще совершенно ничего не знает». Чтобы доказать мою испорченность, чех, имя которого мне до сих пор произносить противно, выстраивает такую сцену – мы гуляем с ним на Стрелке, уже весна, белые ночи. В открытом скверике полукругом стоят скамейки. Чех время от времени, будто играя, толкает на скамейку, склоняется надо мной, и тогда из-за колонн Биржи раздается свист. Так повторяется несколько раз – я валюсь на скамейку, он склоняется надо мной, и пронзительный свист. Мне все равно. Мне абсолютно безразлично. Я его не люблю. Я не верю его объяснениям. Но я все еще не понимаю, что он старается доказать на глазах своих сограждан, спрятавшихся за колонами Биржи.

– Они мне не верят, что я могу любить, – говорит он.

Вспоминать об этом противно, теперь-то я все понимаю.

Раз в неделю я бегаю на Главпочтамт. Поздним вечером мы с Риткой, моей самой любимой подругой, рыжеволосой, с характерным «сибирским» разрезом голубоватых глаз, безалаберной, умной, веселой, не очень счастливой сиротой,

бежим через Биржевой мост, пересекаем Стрелку, через Дворцовый мост, через Дворцовую площадь и вот уже входим под арку Главного штаба. На почтамте мы просиживаем иногда час, ожидая связи с Софией. Потом медленно возвращаемся. Страха никакого. Никаких опасений.

Из письма:

Скоро, скоро я вас увижу. Это доходит до помешательства. Я столько раз за день вспоминаю вас, что мне уже, наверное, перестали верить. Одна ты, мамочка, конечно, веришь мне. Потому что, я думаю, сильней твоей любви ни у одного человека нет. Осталось мне до отъезда десять дней.

На протяжении всей моей жизни расставания с родителями были для меня убийственны, я умирала от жалости к маме. Незабываемая картина: я в окне вагона, мама на перроне, рядом, конечно, и папа и Вовка, но я вижу только маму. Мы обе не плачем, напряженно всматриваемся друг в друга, сила взгляда такова, что кажется, протянут канат. Серые напряженные глаза… Я будто касаюсь трепещущей плоти, я вбираю в себя этот взгляд так, что до сих пор, как наяву, ясно вижу серые глаза, наполненные до краев любовью и болью. Прижав ко рту руку, смотрю не отрываясь. На протяжении двадцати пяти лет каждый раз, расставаясь с мамой, я прощалась навсегда. И только единственный раз – за четыре месяца до ее смерти – я попрощалась спокойно, уверенная, что через два месяца она приедет ко мне. Единственный раз.

Вошла в купе, и когда поезд тронулся, я заревела белугой. После испугалась, что люди сбегутся. Куда ни посмотришь, все напоминало, что из дома только что уехала, и уехала на год. Везде были, мамочка, твои руки… Раньше я просто любила, а теперь стала осознавать, за что. В общем, получилось как у Леонардо да Винчи: «Любовь есть дочь великого Познания».

Я только час как покинула Софию. Мелькают 23 туннеля, потом Червен Бряг, потом Плевен, с крытым темным перроном, потом Русе, мост, и все. Я все дальше и дальше от дома.

Проходит год, два, три… Мне девятнадцать, двадцать, двадцать два… Все политические события того десятилетия после смерти Сталина, произведшие переворот в жизни страны, – мимо меня. Папа в этом возрасте чего только не видел, с чем только не сталкивался! И организация первого антифашистского восстания, и тюрьмы, и лишения, и главное – сознание, для чего и во имя чего живет. А на мне природа отдыхает. Я, как ни странно,

потеряла интерес к происходящему в стране после прекращения дела врачей и их реабилитации. Ведь совсем недавно я была потрясена коварством тех, фамилии которых запомнились с детства и произносились папой с благоговением. После их реабилитации – перестала верить тому, что говорят по радио и пишут в газетах. Даже слухи, что «ленинградское дело» тоже было сфабриковано, оставили меня равнодушной. Я даже проглядела арест и расстрел Берии. Проглядела я и приход Хрущева.

Первое событие, заставившее меня очнуться и заинтересоваться не только родителями, университетом, Ленинградом, был XX съезд партии. «*Это – как вторая революция по значению. Это вторая революция»,* – пишу я в Софию.

14 марта 1956 года на механико-математическом факультете ЛГУ, в самой большой аудитории, которая была забита до отказа студентами, один из членов парткома в течение четырех часов зачитывал доклад Хрущева на XX съезде. Я не помню большой радости – скорее, боль и растерянность. Признать, что на протяжении долгих лет страной руководил преступник, было мне не по плечу. Я просто постаралась не думать. Я испытывала и испытываю боль. Боль за страну, боль за погубленную идею. Боль – и еще стыд.

Последнее время, когда иду по Ленинграду и думаю, что надо будет уехать отсюда, и, быть может, никогда не вернуться, становится так страшно. Я, кажется, несчастнейший человек. Я люблю две несовместимые вещи. Это трагедия. Я все больше и больше привыкаю к Ленинграду, к общежитию, к группе. Я не знаю, как я буду жить без этого. Без русских людей. Мне никогда не везло. Любила искусство, музыку, литературу – пошла на биологический. Любила свою родину, а вынуждена буду жить далеко.

Вот оно, нарастающее ощущение подлинной трагедии: скоро заканчивается моя учеба в Ленинграде и нужно возвращаться в Болгарию – но для меня ясна невозможность, неприемлемость прежней жизни и возврата к ней. Надо остаться в России. Я не знаю, как это осуществить, но так надо, и иначе нельзя. Выход нашелся сам собой. Я встретила прекрасного парня. Только что вышел закон, разрешающий советским гражданам браки с иностранцами. Я могла выйти замуж за поляка, чеха, немца, румына, наконец, за болгарина. Но об этом не могло быть и речи. Я выходила замуж за талантливого веселого парня, не побоявшегося испортить свою карьеру, женившись на иностранке.

Дорогой мой папа.

Мы никогда не разговаривали с тобой на такие темы, хотя ты всегда в общем все знал. Я тебя всегда немножко стеснялась и слишком уважала, чтобы занимать тебя своей болтовней. Даже в Карловых Варах (летом 1955-го папа взял меня с собой в Карловы Вары) я тебе ничего не говорила, хотя знала, что ты догадываешься. Там я еще больше к тебе привыкла, узнала и полюбила. Мне было очень трудно расставаться с тобой, и я страшно завидовала Володе, который все время с вами и который может получать от тебя основное направление. Я это почувствовала, побыв с тобой двадцать дней, когда ты знакомил меня с вещами с совсем иной стороны и заставлял гораздо больше вдумываться. Даже в вопросах искусства ты оказался несравненно сильнее меня. Помнишь «Рапсодию в синем» или «Высокие Татры»? Мне было бы очень обидно, если бы ты все написанное здесь отнес к «прохиндейству». Если ты меня действительно знаешь, то так никогда не подумаешь.

Тебе мама, наверное, сказала, что я собираюсь выходить замуж. Университет я закончу… вы с мамой до сих пор самые дорогие для меня люди.

Наступала жизнь, которую я сознательно выбрала. Я оставалась в России. Теперь надо было перетащить сюда остальных. Я пишу:

Я мечтаю показать Вовке Ленинград. Мы бы здесь с ним все обошли.

…Надо тебе, Вовка, обязательно сюда приехать, а то ты отстаешь в своем общем развитии. Я бы тебя здесь обучила многому.

…Я очень расстроилась, что Вовка не приедет, и прошу вас: сделайте все возможное, чтобы он приехал. Дорогу и все остальное беру на себя.

Хочу в середине июня поехать в Москву насчет Вовки. Но боюсь, что ему надо сдавать экзамены и что мой приезд не поможет. Хочу написать Жоржику, попросить, чтобы узнали, надо ли сдавать экзамены и когда. Если бы Вовка сел на второй курс, то, вероятно, не надо было бы сдавать. Вам надо прислать мне все Вовкины документы, справку, что он советский подданный, копию с метрики, предметы, какие он прошел, и отметки. Больше всего боюсь, что надо сдавать экзамены, до этого они не зачислят…

Сейчас я пытаюсь понять, как это случилось, что, несмотря на свою болезненную любовь к маме, к дому, бросила все и осталась в России? Что заставило меня думать только о жизни в России?

Ведь я же была счастлива в Болгарии. Улеглась ностальгия первых лет, да и какая ностальгия может быть у ребенка? Но была. И проявлялась – вставал во сне Ленинград, бежала по гранитной набережной, летала над спящим Рыльском. Может быть, любовь к Родине – это как любовь к родителям? И нечего искать объяснения – Россия была моей плотью, моей кровью.

Тяжелейшая история выбора между страной и страстно любимыми людьми мне представится мне еще раз, и я с точностью повторю выбор.

Сережа живет в США. Моя любовь к сыну сравнима с любовью к родителям. Всякий раз, уезжая от него, я не знаю, куда спрятаться от боли, я ухожу из дома, захожу к малознакомым людям, раскладываю бесконечно пасьянс, я не знаю, как ощутить свою реальность – я не живу, живет боль, доводящая меня до сумасшествия. И все же на протяжении семнадцати лет повторяется та же история. При бесконечной любви к сыну, я предпочитаю свою страну. Остаться там… жить вместе… а любовь к отеческим гробам? Да и где они, отеческие гробы?! Мама в Болгарии, папа в Болгарии… Я не знаю ответа. Что-то выше меня и моего понимания, что-то неподвластное разуму двигало и движет мной.

Недавно я прочитала у Тургенева: «В жилах его текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столь много веков недоступного влиянию иностранной породы». Неужели от дедушки, предки которого были на протяжении веков из духовного звания? От мамы, которая так любила Родину? Так тосковала? И только за несколько лет до смерти мама сказала: «Знаешь, я привыкла к Болгарии и полюбила ее». Но на это потребовалось тридцать пять лет. И все же я помнила завещание мамы – похоронить только на русском кладбище.

Странно и то, что я никогда не слышала от папы возражений на мамины предложения – вернуться в Россию. Родители не скрывали свое желание вернуться в Россию, но приезжавшие оттуда старались отрезвить их. Первое, что они говорили, – где вы будете жить? Ну дадут квартирку. Но разве такую? Две комнаты. Не больше. Где вы все разместитесь? И вы думаете, что Здравко (или Здравко Васильевич) будет пользоваться таким же уважением и занимать такое же положение? Но все эти соображения, высказанные посторонними, останавливали мечтания на несколько дней – не больше.

Я всю жизнь считала – нет, не удалось мне возвратить в Россию моих родителей. Но сейчас вдруг понимаю – все же до какой-то степени удалось: мама после моего замужества ежегодно

приезжала и жила в своей стране по нескольку месяцев. И папа тоже. Реже, конечно, но он приезжал не только из-за желания увидеть внуков, их он видел каждое лето, не только на годовщины празднования академии, нет, он был полон идей, он связывал свои занятия с работами российских ученых, он продолжал учиться в России, продолжал дружить и встречаться с людьми, которых уважал, которым доверял. В Болгарии у папы, говорю это с полной ответственностью, не было ни единого друга, с которым бы он мог поделиться своими мыслями и переживаниями, кроме мамы. Под конец жизни окрепла его связь с давним грацким кружком – с Тогаровым, Буби. Но Буби критиковал политику СССР, а папа, все понимая, не мог это принять. Да, любовь к стране напоминает любовь к матери, отцу, сыновьям – можно видеть недостатки, но это не имеет никакого значения. И высказанные замечания посторонних никогда не найдут отклика в душе, а могут вызвать только боль.

Мама после 1945 года в первый раз приехала в Россию только в конце 1953-го, и оформление поездки к себе на Родину для нее, советской гражданки с постоянным местожительством в Болгарии, было делом нелегким. Омерзительный осадок от посещения советского посольства в Софии оставался долго.

Оглядев маму без улыбки, ее пропустили в пустую приемную. Ждать пришлось около часа. Никто не выходил из-за плотно закрытой двери, никто не входил. Наконец маму пригласили. В комнате царил полумрак. Она пошла по ковровой дорожке к столу, за которым сидел сотрудник посольства. Сотрудник не сводил с нее строгих неулыбчивых глаз.

– Зачем вам надо ехать в Союз? – Сотрудник направил лампу на маму.

Мама объяснила. Умирает мать, давно не виделись.

– Как вы оказались во время войны в оккупации? – Голос звучал откуда-то сбоку.

Мама повернула голову и увидела сидящего в тени еще одного сотрудника. Вопрос задал он. Мама знала, что это уязвимое место, но написала в биографии все, как есть. Сразу почувствовав себя виновной, мама принялась рассказывать. Она волновалась, голос звучал неестественно, я бы не сказала – заискивающе, это качество маме было незнакомо, но, против воли, виновато. Все вновь и вновь она объясняла, зачем ей надо ехать в Киев, почему именно сейчас, как оказалась в оккупации, почему не эвакуировалась.

Когда допрос окончился и мама, чувствуя себя униженной, оплеванной, виноватой, опять пошла к выходу по той же красной

ковровой дорожке, она увидела, что за ее спиной, на диване, сидел еще один человек.

– Что же они думали – что я побегу? Или буду стрелять? Будто я какая-то преступница, – рассказывала мама папе.

Папа молчал. Он-то понимал, что мама побывала на перекрестном допросе.

И вот зимой в конце 1953 года мама приезжает в Киев. Она проводит с бабушкой все время. Чтобы описать нежность, которую испытывала моя бабушка к моей маме, я приведу только несколько строк из ее многочисленных писем:

Моя родненькая, дорогая, любименькая моя Верушечка!

Голубочка моя, как я тебе благодарна за тепленькие и хорошенькие туфельки. Сейчас я хожу дома в них, моя голубочка, и это чудно, что ты обо мне позаботилась и прислала своей старенькой, никуда уже не годной мамочке, и знаешь, как мне все дорого, что ты присылаешь. Все вещи я ношу с такой любовью…

Бабушка положила маму в своей комнате. Тетя Леля спала на сундуке в коридоре.

С того времени сохранилась фотография в доме дяди Славы. Мама, с измученным, строгим лицом, напряженно смотрит в объектив. Ее правая рука лежит на сердце. Понятно, что сердце тянет, болит, понятно и то, что она не жалуется. Волосы, полуседые, серые, под цвет шерстяного жакета, как всегда, лежат в беспорядке. Она уже выслушала рассказы Лели о жизни в Рыльске, она видит, как тяжело живет Слава. Она прощается с матерью. И мама не знает, когда еще придется свидеться. Столь долго ожидаемая встреча с родными, с Родиной дается нелегко. Рядом с мамой улыбающийся, счастливый Слава, дети Славы, Ирочка.

Папа шлет письмо:

Дорогая Ольга Константиновна!

Примите, прошу, привет от далекого своего зятя. Если я виновен чем перед Вами, то простите меня. Ведь если и грубил, так это было давно, в молодости моей, а в ту пору человек бывает самонадеянный и потому невоздержанный, грубоватый. Я был очень благодарен Вам, так как Вы часто писали нам, а это помогало Вере жить на чужбине. Ясное дело, что я заинтересован в том, чтобы Вы еще жили долго и чтобы были здоровы и продолжали нам писать. Я надеюсь, что вы дождетесь, чтобы и я смог Вас увидеть, как Вас увидела Вера. Ведь я все еще надеюсь, что и мне удастся приехать в Россию, хоть на короткое время. Так что держитесь, чтобы увиделись. Сердечный привет. Здравко.

Дорогая Ингочка,

…Мамаша в любом случае должна побывать в Ленинграде. Прошу, вызови ее. Она не может оторваться от бабушки. Когда еще она увидит этот великий город?

Но вместо этого, сдав сессию, приезжаю в Киев я. Бабушка умирает, но я не чувствую потрясения. Бабушка в январе и феврале по-прежнему по утрам крутит свои папильотки и, смеясь, рассказывает, как врач не слушал ее, все время поворачивал голову к моей фотографии, стоявшей рядом на письменном столе: «Ну до чего же хороша!»

– Зажилась, – смеялась бабушка. – Он это, конечно, не произносил вслух, вслух произносил: «Ну что вы хотите? Сколько вам лет? Ничего страшного. Согласно возрасту».

Недавно один из кардиологов нашей поликлиники повторила мне эти слова: «Вы знаете, с каким стенозом приходят ко мне тридцатилетние? Что Вы хотите? Для вашего возраста…» Я засмеялась.

Последний раз я видела бабушку в феврале 1954-го. Каникулы кончились, я возвращалась в университет. Бабушка, поддерживаемая тетей Лелей, спустилась на один марш по широкой лестнице, и я, садясь в такси, видела ее в огромной раме лестничного окна – в ситцевом халатике в мелкий цветочек. Она еле стояла, опершись на тетю Лелю, и махала мне белым платочком. Темные-темные глаза, белые-белые пышные волосы и белый платочек в слабой руке.

За несколько дней до смерти бабушке начали колоть пантопон. Это что-то вроде наркотика. У нее болело за грудиной, но никто не сделал кардиограмму, никто не дал нитроглицерин. Отчего она умерла? Вскрытия не было. К вечеру боли усиливались, бабушка просила:

– Леля, позови Наденьку, пусть сделает укол.

Сестра спускалась, они переглядывались с тетей Лелей, качали головами – да, она привыкает к наркотикам. Надо бросить колоть.

«Никогда не забуду, как я не находила себе места, когда узнала о бабушкиной смерти», – пишу я в Софию.

Бабушка умерла 8 апреля 1954 года. Мама к тому времени вернулась в Софию, оставив бабушку на попечение тети Лели. Через несколько лет мама скажет мне:

– Насколько же ты лучше меня. Ты отложила свой отъезд, не смогла меня оставить, когда у меня был приступ головной боли, а я бросила умирающую маму.

Э-э-э! Мамочка! Произнося эти слова, ты не знала ничего о

ждущем тебя конце, когда я, поддавшись на якобы разумные уговоры брата, не поехала в чужой город, где ты лежала с инфарктом. Брат писал: «Сейчас за мамой хороший уход, ты приезжай, когда ее выпишут из больницы, тогда потребуется твоя помощь». Сердце говорило – поезжай, скорее, беги, торопись! Жизнь состоит из мелочей, не замеченных поначалу, но часто оставляющих рубец на сердце. Произнося слова о том, что я лучше, мама забыла, как я в 1948-м бросила ее в квартире, когда у нее был приступ жесточайшей мигрени. «Тебе что-нибудь нужно? Нет? Тогда я пойду, меня ждет Надька». Мама не повернула головы, лишь прикрыла глаза.

Когда я вернулась, мама лежала чуть порозовевшая, в ногах у нее, опустив голову, сидел папа, около кровати стоял таз. «Ингочка, – сказала мама, – такая боль была, потом началась рвота, пошла носом кровь и стало легче». Папа поднял голову и через силу сказал: «Даже звери не бросают родителей, когда они больны».

Бабушку отпевали во Владимирском соборе и похоронили на Байковом кладбище, рядом с дедушкой, на могилу которого она часто ходила с Таточкой.

Моя бабушка, Ольга Константиновна Орловская-Драевская, с которой мы во время войны ходили по деревням и просили милостыню, которая сразу выпорхнула в Магнитогорск, к Жоржу, как только освободили Рыльск, в Киеве наконец обрела счастье, так давно ускользавшее от нее. Бабушка помолодела, завела несколько красивых шляп, белые платья, обширный круг знакомств, в основном среди матерей академиков. Жоржик выделял ей отдельно деньги. Веселая, легкая на подъем, бабушка ходила в гости, рассказывала анекдоты, делала подарки. Ее все любили за легкий нрав, за постоянное желание сделать что-либо приятное: «О, Ольга Константиновна – душа общества!»

Пробую одним словом подвести итог бабушкиной жизни – не получается. Молчаливая в доме, где ее никто не слушает, остроумная и веселая – в гостях. Она не ведет хозяйства, не заботится о семье, но всегда оказывается в том месте, где нужна. В Севастополе дежурит у постели мамы, лежащей в бреду. Во время папиного ареста оказывается с нами, нянчит Вовку, посещает папу в тюрьме… и все же папа пишет, что с ней может жить только моя мама. Легкая, подвижная – а ходит с палкой, поднимая ее высоко над собой, она останавливала машины и, не спеша, мелкими шажками пересекала Крещатик. Она ходила в гости, приглашала к себе и распоряжалась, кому что принести: тебе – торт, тебе – пироги, тебе – коробку конфет… Веселая – а

тетя Тася рассказывает: «Приедет, поживет немного и начинает плакать. “Вас кто-то обидел?” – “Нет”. – “Так что же вы плачете?” Очень много плакала». Дети дяди Славы – Алик и Гарик – замирали в восторге, вспоминая ее телефонные обращения: «Пожалуйста, машину для матери академика Курдюмова». Это было совершенно естественным – как и то, что она во время войны побиралась со мной по деревням, стучала палкой в чужое окно и говорила: «Подайте, Христа ради, эвакуированным из Ленинграда». Я не знаю, читала ли она, ходила ли в кино, чем заполняла жизнь. Она была как ребенок, так я ее и воспринимала, смеялась вместе с ней и плакала вместе. Вероятно, права была тетя Леля – мы с ней во многом похожи.

После ее смерти дядя Жоржик скажет: «Она выполняла очень нужное дело – держала всех под наблюдением и знала, кому и как надо помочь». А дядя Слава писал маме: «*Верочка, я так часто вспоминаю нашу мамочку. Прихожу к Леле, и все мне кажется, что откроется дверь в ее комнату, тихо поманит она меня рукой, откроет шкафчик и нальет мне стопочку вина. А в карман обязательно положит что-то сладкое для ребят. Я часто вспоминаю ее и плачу*». После смерти она часто являлась во сне маме, мама бежала в церковь и ставила свечку. «Вера Вячеславовна, ваш муж такой большой коммунист, а вы – в церковь? Не боитесь, что у него будут неприятности?» – «Я хожу в дальнюю церковь, там меня никто не знает. Но поставлю свечку – и мама не снится долгое время».

Странно, вспоминая бабушку, я вижу, как от нее идет свет. Она светилась, как светился дядя Жоржик. А от тети Лели, которая всю жизнь служила другим, не имела своей жизни – света не вижу.

На мне кончается женская линия, тянущаяся от прабабушки Елены Андреевны Орловской. Елена Андреевна – первая. Ее дочери, Ольга и Мария – вторые (у Марии девочек не было). Ее внучки от Ольги Константиновны – Вера и Елена – третьи. Ее правнучки от Веры и Елены – Таточка и я. Таточка уже умерла. И у нее и у меня – сыновья.

Хочется рассказать и о моем дедушке, Вячеславе Григорьевиче Курдюмове, так и оставшемся для меня незнакомым. По воспоминаниям его старшего сына, Георгия Вячеславовича (Жоржика), дедушка был большой труженик. Во время жизни в Рыльске – с утра после окончания треб он шел в гимназию, где преподавал до обеда географию, историю и Закон Божий, после небольшого отдыха дома работал до вечера в саду. Дедушка был прекрасный садовод, и огромный ухоженный сад с редкими породами фруктовых деревьев часто потом снился его

детям.

В 1932 году, помыкавшись по стране, он приехал в Днепропетровск к Жоржику и поселился в их единственной малюсенькой комнатке, в которой прожил несколько лет.

– Приехал, чтобы защитить своего «мягкого» Жоржичка, от меня, «жесткой», – так или похоже говорила тетя Тася. – И кровати, Ингочка, в узенькой комнатке стояли одна против другой – на одной мы с Жоржем, на другой Вячеслав Григорьевич.

Да, тут уж ничего не скажешь! Такое могли вынести лишь тетя Тася и дядя Жоржик.

Именно тогда и состоялась единственная моя встреча с дедом. В 1934 году он приехал к моим родителям в Севастополь. Мне было полгода. Взяв на руки, дед стал меня подбрасывать, я, в рубашечке до пояса, смеялась от удовольствия, улыбался и дед. И вдруг:

– Ах ты, паршивка! Вера, возьми ее.

Мама, смеясь, рассказывала:

– Ты, в рубашечке до пояса, от восторга нафуркала прямо деду в штаны.

Увы, больше никакой связи с дедушкой у меня не было. Знаю только, что в Севастополе мама отдала отцу папин подарок – отрез «чертовой кожи» на брюки. Отрез, который «ножом будешь резать – не порвешь». Вот и все. Сколько пробыл дедушка у нас, не знаю. Не думаю, что долго. Мама была занята мной и папой. А дед-то, может, и приехал помочь, но оказался лишним.

Сейчас, когда я рассматриваю фотографии дедушки в молодости, меня поражает не только его красота, свойственная жителям средней полосы, курским, орловским: тонкое лицо, прямой нос, – но и открытые, чистые, глубокие глаза.

Кажется, в 1935 году дядя Жоржик в Днепропетровске получил большую – четырехкомнатную – квартиру в новом «доме для специалистов». Из воспоминаний Горика, Игоря Константиновича Засимчука: *«Многокомнатная квартира дяди Жоржика была густо заселена: кроме него, тети Таси (его жены) и Владика (их сына), в ней жил отец дяди Жоржика и родители тети Таси – Анна Александровна и Иван Петрович. По воскресным дням вся многолюдная семья собиралась за большим обеденным столом, за которым “властвовал” дедушка Вячеслав Григорьевич. Помню, в день моего рождения – мне исполнилось 5 лет* (именно в это время Жоржик пригласил тетю Лелю с детьми к себе, мы с бабушкой поехали в Ленинград, мама осталась в Рыльске с Вовкой, папа сидел в «Крестах», а Константин Герасимович, отец Горика, уже, вероятно, был расстрелян) – *он выбрал из десертной вазы самую большую и красивую грушу, протянул ее мне через стол и сказал:*

“На! Поздравляю!”»

Больше всех дедушка, конечно, любил Жоржика, гордился сыном (еще до войны Жоржик уже был академиком АН УССР). Из всех внуков дед больше всех любил Владика. Это он, можно сказать, спас внука, когда во время войны, после трепанации черепа (осложнение после скарлатины), Владика привезли домой и, положив в кроватку, оставили на какое-то время одного. Беспокойный мой дед вошел в комнату, где лежал шестилетний Владик, и увидел, что тот плавает в крови – открылось кровотечение. Достать машину вечером в Магнитогорске было нелегко, но все же достали. Владик помнит, как его везли на машине, голову держала его мама, каждая встряска вызывала жгучую боль.

И. К. Засимчук (Горик) вспоминает: *«Личность деда, не понятая мной до конца, представляется мне немного противоречивой и даже трагичной. В период моего общения с ним не было никаких внешних признаков религиозности. Дети его выросли скорее атеистами, за исключением, может быть, Веры»* (моей мамы – *И.М.)*. Несомненно, он был человеком, аналитически мыслящим. Именно по настоянию моего деда его младший брат, Александр Григорьевич Курдюмов, не стал продолжать многовековую традицию Курдюмовых – быть священнослужителями. Дед воспротивился решительно: и Александр поступил в Харьковский университет на математический факультет, а заодно и в консерваторию. (Курдюмовы все были очень музыкальны – на пианино играли бабушка, мама, Жоржик, Володя, дед играл на флейте.) Александр Григорьевич Курдюмов во время Гражданской войны вступил в белую армию, и следы его затерялись.

Надо сказать, что всех внуков интересовало – был ли дед верующим? Я подолгу вглядывалась в фотографии деда, старалась понять – оставался ли он верующим после закрытия церкви. И вот совершенно случайно – хотя говорят, что «случайно» не бывает – нахожу, возможно, единственное письмо деда к маме в Болгарию, за полгода до его смерти:

Дорогая Верочка, не сердись на меня и не обижайся, что я почти никогда не пишу тебе. Но, признаться, мне это сейчас достаточно трудно – вижу плохо, руки, особенно пальцы, слушаются плохо, хочешь писать одну букву, а выходит другая. Правда, особенно часто я никогда не писал. Хотя мысли еще и не путаются и еще не забываюсь, но соображать уже стал плохо. Ведь мне уже 76-й год. Ноги тоже стали плохо служить. Я теперь почти никуда не выхожу, а сижу больше дома. Правда, меня это не очень тяготит, так как я почти всегда был домосед. На судьбу не

ропщу. Благодаря Жоржику мы все без нужды. Очень жаль, что теперь вряд ли когда придется увидеться. Особенно жаль, что Володю я совсем не видел в натуре. Тогда так неудачно сложилось, что вы не могли заехать в Киев, как предполагали. Крепко, крепко всех целую: детям шлю мое благословение, пусть будут счастливы и здоровы. Здравке мой сердечный привет. Еще раз всех крепко целую и желаю быть здоровыми и счастливыми. Мама попутно обо всем напишет подробнее. Папа и дедушка.

Долго я сидела, пораженная этим неожиданным «приветом» с того света. Это письмо с благословением и еще одно его высказывание меня убеждает: да, оставался верующим, несмотря на свой едкий, резкий характер. Он не любил власти, не любил советский строй – это чувствовалось, но напрямую он об этом никогда не говорил. Примирение с властью произошло во время Великой Отечественной войны, когда Вячеслав Григорьевич очень переживал отступление наших войск и внимательно следил за событиями. Сталина он называл не иначе как «Мудрый», что, конечно, означало насмешку. И вот, когда во время войны были открыты церкви, дед произнес, указывая вверх пальцем: «Мудрому *там* за это многое простится». Так сказать мог только человек, который знал и верил, что существует это «там».

Отрывок из записок Игоря Засимчука:

«Дед меня не слишком жаловал и, по-моему, весьма критически относился к моему жизненному потенциалу. Для меня это было несколько непривычным, поскольку в те годы и до окончания школы я был круглым отличником. Но дедушка смотрел не в табель, а в корень. И по-видимому, истинных достоинств в перспективе моего формирования не находил. У нас с ним бывали разговоры на историко-политические темы. Он был большим знатоком истории России, Древней Греции, Рима и человеком, аналитически мыслящим. Случалось, что я провоцировал деда на споры, в которых пытался доказать достоинства социализма, колхозного строя и прочих атрибутов советской действительности. Самое смешное, что, живя в провинции, общаясь не только с городскими, но и сельскими ребятами, я уже достаточно знал о бесправном и бедственном положении колхозников. Да и опыт моей семьи должен был бы меня чему-то научить. Но я оценивал это в соответствии с официальной демагогией: отдельные случаи имеют место… виноваты фашисты и империалисты… вот если бы не война… Послушав мои разглагольствования, дед как-то сказал: “Дурак, у тебя отца ни за что расстреляли, а ты как попугай…” Однажды он шутливо высказался в мой адрес примерно так: “Трепач, толку не будет, будет политработником”. По-видимому,

дедушка ошибся только в конкретике. Я запомнил еще одно, более масштабное его пророчество о том, что Н. С. Хрущев, бывший тогда первым секретарем компартии Украины, станет преемником Сталина. Тогда мало кто мог предположить такое».

Масштабное пророчество подтвердилось, а вот в отношении внука дед ошибся: Игорь Засимчук, Горик, – доктор физико-математических наук.

Умер дедушка, как я уже писала, 14 сентября 1948 года. У дедушки был рак легкого.

Моя легкая бабушка за неделю до смерти дедушки, с которым она фактически рассталась еще в 1928 году и встретилась только в конце 1943-го, в Магнитогорске, замолчала.

Дядю Жоржика не беспокоили, они с тетей Тасей отдыхали в Сочи, как обычно, в сентябре. Но накануне смерти дедушки туда все же послали телеграмму. В последний день мой дед молча сидел, откинув голову на подушки дивана. На фотографии того времени видно исхудавшее лицо, огромные, прозрачные, бездонные измученные глаза, старческая тонкая шея, выглядывающая из отложного воротника. Самолет из Сочи должен был прилететь около шести. За два часа до прилета дяди Жоржика дедушка попросил тетю Лелю подняться на пятый этаж – там жила медицинская сестра. Сделали укол. Мука его последнего часа выражалась не в стонах, не в жалобах, не в беспамятстве – он поминутно взглядывал на часы. Он ждал Жоржа. Откинувшись на подушки дивана, он то и дело поворачивал голову налево, где наверху на стене висели часы, отворачивался и через минуту опять обращал взгляд вверх налево. Дед мой, на протяжении почти тридцати лет службы на каждой литургии просивший «смерть безболезненну, мирну, непостыдну… и доброго ответа на Страшном судище Христовом…», умирал в страшных муках, но «непостыдно». «Рак легкого – и ни единого стона», – рассказывала тетя Леля. Жоржика дед не дождался. Самолет опоздал на полчаса, может, больше.

Осталась фотография, запечатлевшая похороны. Гроб стоит на улице, напоминающей улицы Рыльска, – широкая улица, поросшая травой. Вдали стоит грузовик. Не у кого спросить, что за улица. Около дедушки столпились бабушка, Жоржик, Слава, тетя Леля, Таточка, Ирочка, тетя Тася… Фотография плохонькая, любительская, но и на ней видно, что бабушка, опустив голову, плачет, тетя Леля, моя сильная тетя Леля, не плачет, но вся ее поза говорит о страдании. Она кажется одинокой и вся поглощена прощанием. Дядя Жоржик – со слов тети Лели – окаменел. Он

тоже не плачет. Видно, что плачет дядя Слава. Перед тем как опустить гроб в могилу, человек, руководивший похоронами, поднял руку, в руке сверкнула бритва, и он на глазах у всех провел бритвой по костюму дедушки.

– Иначе разроют могилу.

Дедушку отпевали во Владимирском соборе. Похоронили на центральном Байковском кладбище. Туда же, как я уже писала, через шесть лет положат бабушку, через 24 года их любимую внучку Таточку, а следом за Таточкой, через четырнадцать лет, и тетю Лелю. Все они, кроме бабушки, умерли в сентябре.

Дедушка – 14-го, Таточка – 21-го, тетя Леля – 27-го.

Второй раз мама приехала в Россию весной 1956 года, уже в Ленинград, ко мне. Увидев ее в окне вагона, я изумилась – за зиму мама превратилась в старушку. Зима для нее была трудная, она беспрерывно болела, и папа настоял, чтобы она съездила в Ленинград.

А в Ленинграде мама расцвела. Одетая в драповое коричневое пальто, сшитое хорошим портным, в красивой косынке, с заграничной сумкой… Нет, мама никогда не была элегантна. Но когда мы шли с ней той весной рядом, смотрели на нее, не на меня.

Мама была в Ленинграде впервые после войны и в последний раз в своей жизни. Оказавшись в Ленинграде, не обремененная семьей, не обремененная тревогами, счастливая самим городом, который страстно любила, мама вспомнила молодость и помолодела.

Навестила Любу Малеревскую. Ах, Люба!

– Вот если бы найти Бэбу Капилевич, – сказала мама по возвращении от Любы, и по тону ее, и по тому, как она вздохнула, вернувшись, я поняла, что встреча не удалась.

Возможно, Люба вместе с матерью, с которой жила, смотрели на маму теми же испуганными глазами, что и на меня, когда я по просьбе мамы как-то к ним зашла.

Ходила в дом на Зверинской, 36, где начиналась их совместная с папой жизнь, где жили Клюевы. Все они умерли в блокаду. Об этом поведала та же Ираида Гигорьевна Дубова, продолжавшая жить в том же доме на Зверинской.

Наше посещение Радайкиных с мамой помню очень смутно, но из того факта, что мы были там только один раз, я могу сделать вывод: нам там не очень были рады. Помню шепот: «Сын в плаванье на подводной лодке. Ушел на полгода. Плавает на Северном полюсе. Всю зиму подо льдом. Это секрет строжайший, не дай бог кому-либо сказать».

Навещала тетю Варю, это был прощальный визит мамы к

своей тетке. Я не очень помню встречу. Помню только, что мама переживала, что привезла тете Варе маленький подарочек – шелковый носовой платок, в уголке которого была вышита крестиком болгарка в национальном костюме с розочкой в руке.

– Верочка, платки дарить нельзя, – сказала тетя Варя. – Это к расставанию. Я тебе должна дать денежку. – И она протянула маме несколько копеек.

Несмотря на денежку, больше они не встретятся.

Еще был визит, полуофициальный, – маме надо было навестить жену одного папиного знакомого генерала. Генерал отсутствовал, был в командировке. Жену, как и самого генерала, мама не знала, но пошла с удовольствием. «Саможива» (не знаю, изобретенное ли это слово папой, или оно существует на каком-то языке) – упрекал папа маму, которая не была очень общительной, хотя сам папа не выносил, если, приходя домой, не заставал маму на месте. Но в Ленинграде мама ходила в гости каждый вечер, и делала это с удовольствием. Меня это поражало, даже несколько раздражало тем, что наносило вред идеальному образу. Оказывается, мама могла жить и без меня и у нее могли быть другие интересы. И вот она отправилась в незнакомый дом. Вернулась, когда уже было темно. Вернулась встревоженная, но ничего не рассказала. А наутро, как только пробило 10 часов, мама побежала звонить по телефону и попросила, чтобы я была рядом. Мама звонила вчерашней генеральше. Услышав ответное «алло», мама так обрадовалась, что хотела тут же повесить трубку, но удержалась. Генеральша сокрушалась, что мама так поспешно ушла и она не сообразила предложить ей взаймы деньги («ведь у вас, наверное, нет русских денег» и т. д). Очень приглашала заходить: «Мы так с вами прекрасно провели вечер». Мама благодарила. Но, повесив трубку, сказала: «Ни за что». И рассказала «Достоевскую» историю.

Генеральша жила в обычном петербургском доме, с непременной аркой, ведущей во двор; огромная квартира находилась прямо над аркой, и поэтому все полы в квартире были устланы коврами. Хозяйка, довольная своей судьбой, приятная, доброжелательная и веселая, угощала маму. Они пили чай с тортом и смотрели телевизор. Внезапно в тишине большой квартиры со стороны коридора раздался щелчок дверного замка. Генеральша встрепенулась, вскочила со стула и со словами: «Что это?» – быстро вышла в коридор. Мама, сразу похолодевшая, осталась на месте. И вдруг, повернув голову к двери, мама явственно увидела за дверью вжавшегося в стену высокого мужчину, с волосами, торчащими «ежиком». На маму он не смотрел. Мама замерла, не подавая голоса, отвела глаза и, дрожа

всем телом, уставилась в телевизор. В пустой и сразу притихшей квартире слышны были быстрые шаги хозяйки. Через какое-то время она вошла в комнату со смехом:

– Это, видно, был холодильник.

Мама скосила глаза – за дверью никого не было. «Я его видела так ясно и так отчетливо, – говорила мама впоследствии, – даже видела его каждый волосок, бледное, напряженное лицо, черный костюм». Но тогда мама стала прощаться, никакие уговоры генеральши остаться у нее переночевать («Уже поздно, завтра не спеша позавтракаем, наговоримся, и вы поедете к своей дочке») на маму не действовали. Мама думала лишь об одном – унести ноги, и как можно скорее. Не помнила, как проскочила темную арку, как выскочила на улицу и оказалась в троллейбусе. Напрасно она уверяла себя, что, обнаружив себя щелчком, застав в квартире вместо одной женщины двух, злодей покинул квартиру. Когда вернулась домой, звонить постеснялась, постеснялась и утром сказать, что видела, – примут за сумасшедшую. Не спав всю ночь, воображая историю, описанную Достоевским, мама наконец дождалась десяти часов.

После этих визитов, всегда скрытная, или, скорее, стыдливая, мама вдруг сказала:

– Давай сходим к Шуре Синельникову, – и странно засмеялась.

На следующий день мы поехали туда. Улица была пустынна и тиха. Типичная улица старого Петербурга с высокими, сплошь стоящими домами. Была прекрасная погода, и воздух в переулке казался серо-жемчужным. Дом тоже серый с большими трехстворчатыми окнами.

– Вот это его квартира. – Мама указала на два окна в бельэтаже, занавешенных тюлевыми занавесками. Мы прошли мимо окон, дошли до конца дома.

– А что я ему скажу? – спросила мама.

Я молча пожала плечами. Меня это не интересовало Мы пошли обратно и теперь уже вдвоем стали смотреть на окна.

– Может быть, он женат?

Я удивилась тому, что это может ей казаться сомнительным. Мы опять повернули и опять посмотрели на окна. Вышел дворник и стал в проеме арки.

– Давай зайдем, – сказала я.

Мама не решалась.

– Может, у него жена… Дети… Что я скажу?

– Спросишь Синельникова, – сказала я, не понимая ее волнения.

– Нет, – сказала мама не очень решительно. – Мы уже здесь так долго ходим. Если жена видела, что она подумала?

Я не могла понять эту нерешительность. Более того, вызывала недоумение эта нерешительность при возможной встрече двух пожилых людей, видевшихся-то в последний раз лет двадцать пять тому назад. Мы ходили долго. И как на зло, на улице не было ни одного прохожего. Никто не входил под арку, не входил во двор, где было парадное. Стало смеркаться. Мы упорно ходили взад и вперед, даже не доходя до угла дома. Ходили прямо под окнами. Час. Я не понимала, что на моих глазах мама пыталась робко встретиться со своей молодостью.

На следующий день мама сказала:

– Знаешь, мне кажется, я видела Шуру Синельникова, в метро. Я ехала в метро, и как раз на той остановке он вошел, сел и все время смотрел на меня. Очень похож. – И, видя мое недоверие, повторила: – Очень похож. И на той остановке.

Я поняла, что она опять ездила туда и опять не решилась. Это был прощальный визит к человеку, двадцать с лишним лет тому назад горячо любившему маму.

…Жизнь постепенно входила в новое русло. Начали развиваться контакты между СССР и Болгарией не только на уровне политического и хозяйственного руководства стран. Возникали и научные связи – в частности, и по медицинской линии.

Папа приехал в Россию впервые после 1945-го только в 1957-м: на празднование 25-летия со дня окончания Военно-медицинской академии. По пути в Ленинград папа заезжает в Киев. Сразу по приезде в Советский Союз, еще в Киеве, он наводит справки, как перевести Вовку учиться в Киев. Это желание перевести сына, студента Софийского медицинского института, учиться в Советский Союз лишний раз показывает: да, хотели мои родители возвращения, не теряли еще надежду.

Из папиных писем:

…Я ходил в здешний медицинский институт, говорил с директором насчет Вовиного перевода сюда. Он сказал, что нужно для этого разрешение Министерства культуры. Вове надо будет пересдать экзамены по анатомии, физиологии и т. д.

…Дорогая мамаша Вера,

Я думал уехать из Киева вчера, но задержал Слава. В субботу вечером мы с Гориком поехали к Славе, а его не оказалось дома. Поехал на банкет (одного старого мастера переводят на пенсию). Видел Иру и ребят, а также новый телевизор. Ира выложила на

стол все свои банки с вареньем. Пили чай, вернулись домой с Гориком в 12 ночи. Дети у Иры очень хорошие. Слава приехал вчера, после обеда. С ним разговаривали до 9 часов. Физически он изменился, постарел, похудел, но душевно ничуть – все ищет правду. По его пониманию, здесь – так же, как и у нас в последнее время. Передавал приветы и просил меня «любить Верочку, она очень хорошая, мне кажется – она святая»».

…Я обошел значительную часть Киева. Ходил второй раз на кладбище с Гориком и видел могилу стариков. Прошел пешком от моста Патона до Подола, т. е. по всей набережной, в подножие Владимирской горки. Видел все водные станции, пляжи, мосты, речной вокзал. Сегодня выходной день для Лавры, но я прошел и рассмотрел ее. Главная колокольня высокая, почти 100 м в основании, стены 30 метров толщины. Самый красивый собор, Успенский, разрушен немцами. Видел место, где похоронены Кочубей и Искра.

Леля торопит, чтобы не опоздал на поезд…

Сейчас я думаю: как папа встретился с Савицким? Как вошел в родное здание академии? Видел ли Эллу?

Тогда, в 1957 году, папа в Ленинграде имел вид пристыженный, растерянный, казалось, он не знает ни как себя вести, ни что говорить, и это состояние каким-то образом сообщилось его костюму: всегда прекрасно одетый, в Ленинграде он производил впечатление среднего провинциала. И кажется мне, что так долго ожидаемая встреча не была радостной.

Где он останавливался в 1957-м, я не знала – где-то жил поблизости от меня. Я предполагала – на Зверинской, у Ираиды Григорьевны Дубовой.

– Пойдем пообедаем, – сказал он мне.

Это была забегаловка по соседству с общежитием, одноэтажная летняя постройка со множеством пластмассовых столов. Народу было мало. Папа смотрит на меня неуверенно, долго считает деньги и платит за какую-то похлебку, какие-то биточки с серыми макаронами и компот. Я беру жирные оловянные ложки, вилки… Все это мы несем на подносе к столу. Стол в разводах. Молча, не глядя на папу, я ковыряю биточки. Он ест и поглядывает на меня. Мимо ходят какие-то полупьяные типы. Смотрят на меня. Отодвинув тарелку, я встаю из-за стола, направляюсь к двери, какой-то мужчина, пошатываясь, идет за мной, что-то говорит. Папа догоняет меня уже в дверях и виновато заглядывает в лицо…

– Я здесь рядом остановился, – говорит он. – Поэтому и

привел тебя сюда.

Уже позднее я узнала от своей самой близкой университетской подруги Ритки, Маргариты Петровны Чесноковой, что папа просил у нее взаймы. Я была поражена. Значит, папа метался в поисках денег и почему-то из всех знакомых выбрал именно ее!

Ритка вызвала меня к себе в Ленинград, где она преподавала в университете, в 1986-м, через полгода после папиной смерти. У нее рак, но она не знает об этом. Говорить с ней – как ступать по тонкому льду: она еле держится от слабости, от боли, от сомнений, и я увожу, увожу ее в те далекие студенческие годы, когда мы были молоды.

– Я очень боялась твоего приезда, – быстро говорит рыжеволосая Ритка, лежа на кровати, – ты и я вместе – это же цунами! Я боялась, что не выдержу, случится истерика. Но вот сейчас мне кажется, ты всегда была со мной и всегда сидела на фоне этих книжных полок, глядела глазами Оранты[26], поджав под себя ноги.

Ритка рассказывает мне про свою жизнь и вдруг говорит:

– Тогда твой папа просил меня достать ему денег.

– Не может быть, – шепчу я. – Не может быть.

Я не верю, я потрясена.

– Он был очень, очень смущен, просил не говорить тебе ни в коем случае, сказал, что деньги срочно нужны и что, как только вернется в Болгарию, перешлет сразу. Мы встретились с ним на Балтийском вокзале. Он туда пришел, а я приехала из Петергофа.

– Где же ты достала?

Я слушаю и не верю: папа униженно просил мою Ритку, у которой кроме книг – ничего, которая ходит в страшном зеленом пальто, не запахивающемся на груди? Бедный мой папа!

Начиная с 1957 года папа приезжает в Россию почти каждый год и, конечно, обязательно посещает юбилейные праздники по случаю окончания академии – через каждые пять лет. Эпизод из последнего приезда в Ленинград – когда отмечали 50 лет его выпуска – запечатлен на фотографии, помещенной в «Ленинградской правде»: на фоне главного штаба академии папа, в генеральской шинели, сидит среди своих сокурсников, расположившихся полукругом вокруг него. Кажется, именно тогда он произносит речь, отчитываясь перед альма-матер за всю свою жизнь.

Я могу понять, откуда горячая любовь к Родине у мамы, у меня. Но у папы? Откуда эта преданность и любовь? Самой большой похвалой до самой смерти у папы было: «Это – настоящий русак!» «Руса-а-ак», – говорил он, растягивая слово и

тоном давая понять, что вкладывал в это понятие: умный, порядочный, широкий, интеллигентный, скромный… И хочется повторить слова, написанные папой незадолго до смерти: «*У меня есть все основания утверждать, что любовь к России я не только впитал с материнским молоком, но что это была та начальная сила, которая дала толчок и которой можно объяснить сущность всей моей жизни».*

Часть 7. Середина века: жизнь в Болгарии

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала —
Мне и вправду везло.
Только этого мало…

Все, что сбыться могло,
не как лист пятипалый
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

А. А. Тарковский

Папа, мама и Володя без меня в Софии. – Визиты в Болгарию. – Папины знакомые по Коминтерну выходят на свободу. – Неизвестные подробности репрессий. – Папин учебник «Патология, клиника и терапия поражений от атомного и химического оружия». – Вклад папы в медицинскую науку. – Перемены в Болгарии: Червенкова-старшего сменил Тодор Живков. – Рождение моих сыновей – старшего Сергея и младшего Георгия.

С 1952 года, после моего отъезда в Россию, жизнь в Софии потекла без меня. Мой брат окончил школу и поступил в медицинский институт. Папа дружил с Вовкой – тот мог запросто войти к нему в кабинет, усесться в кресло и болтать на разные темы, ничуть не смущаясь, что отрывает папу от работы. А эта болтовня, которой я стеснялась, ради которой никогда бы не посмела вот так бесцеремонно обратить на себя внимание, она-то и была общением и порождала близость, такую дорогую для меня, такую желанную. У меня двое взрослых сыновей, и теперь я это понимаю. Да здравствует чепуха, будь благословенна шутка, болтовня! Вовка приходил и к маме в комнату, садился на кровать в ногах, прерывал ее постоянное чтение и говорил часами. О чем? Я так не умела. Я не умела шутить, я не умела просто болтать.

Именно в то время Вовка придумывает прозвища: начинает звать папу *Дембо*, маму – *Мэц* или *баба Мэца*, а меня – *Крети* (от слова «кретинка»). Он чувствует себя любимым сыном. Теперь,

под конец жизни, банальная аксиома: все родители любят своих детей – не представляется мне столь уж очевидной. Как сказал Л. Н. Толстой, «сколько голов – столько и сортов любви». Мои родители обладали редким даром любить.

– Дембо, Дембо, – говорит Вовка и входит в кабинет. – Дембо, десять левов дай-ка.

Папа, отрывая взгляд от бумаг, смотрит на сына, медленно вынимает кошелек из ящика письменного стола и отсчитывает нужную сумму.

– И книжку антифашистскую, ты же все равно ею не пользуешься.

В трамвае Вовка небрежно показывает эту книжку (документ антифашиста), дающую право на бесплатный проезд. Он, родившийся в 1938-м, не опасается кондукторов и контролеров.

И так день за днем. Да, в Софии жизнь шла без меня. Так же светило солнце, так же прекрасен был неповторимый софийский воздух, цвела глициния, свешиваясь большими синими и белыми гроздьями с балкона, и огромная агава на парапете разбрасывала в стороны свои острые мясистые листья. В углу балкона возвышался огромный фикус, посередине – плетеные кресла и столик. По утрам мама ходила на базар, торопилась сготовить обед, потом ложилась, и тут приходил папа. Мама спешила навстречу.

– А ты все вылеживаешься, рыльская принцесса? Все романчики почитываешь? – шутя говорил папа, оглядывая маму, снимая шинель.

В Болгарии, как во всех южных странах, рабочий день начинается рано. Вся семья вставала в шесть-семь часов утра. В холле, хранившем тепло вчерашнего вечера, зажигалась старинная итальянская люстра. (Огромную чугунную печку мама топит только после возвращения с базара.) Все быстро умываются холодной водой на кухне – если колонка в ванной опять испортилась. Пьют чай. Папа держит серебряный подстаканник с надписью: «Дорогому папе от Инги» (подарок, купленный с первой стипендии; а потом ежегодная просьба привезти стаканы – в Болгарии их не было).

– Ох-ха! – громко вздыхает папа. Но ни маму, ни Вовку это не раздражает. Напротив, через несколько лет я услышу «ох-ха» из уст брата.

Мужчины уходят один за другим. Сначала Вовка, потом папа. Вовка спешит на лекции, папа – на работу, сначала в институт, потом на кафедру. Быстро спускаются с горки, садятся в трамвай. Папа – в шинели, посередине фуражки – выпуклость от его макушки. До сих пор екает сердце, когда по телевизору вижу

военного того времени – та же выправка, та же манера быстро шагать, та же шинель.

Летом на кафедре я встречала невысокую, полноватую женщину, в белой кофточке, – секретаря Кузманову. Мы не испытываем симпатии друг к другу. Мне кажется, она улыбается папе слишком фамильярно, передо мной – заискивает, но безуспешно: я вижу хитрую, моложавую женщину, крашеную блондинку, старающуюся понравиться папе. В институте папу ждут Аргиров, Шишков… Папа работает. В два часа звонок:

– Вера, что на обед?

…Папа, голодный, быстро ест горячую котлету, давится, глотает.

– Ты – как пес, – смеется мама.

Вовка тоже прибегает голодный, вбегает на кухню, и оттуда доносится звон крышек. Потом тяжелой походкой идет к себе в комнату, ложится на кровать, накрывается с головой старинным тканым мексиканским ковром с изображением бога Вицли-Пуцли. Спит долго. Мама входит в комнату:

– Вова, вставай, пора заниматься.

Он встает, умывается, причесывается и отправляется на прогулку. С кем он проводит время, никто не знает. В один прекрасный день в квартире появляются несколько молодых людей, его знакомых. Папе хватает одного взгляда.

– Что это за люди?

– О, это прекрасные ребята, они обещают меня устроить…

– Эти ребята – из Внутреннего министерства (МВД. – *Ред.*), ты не успеешь оглянуться, как они тебя завербуют!

Вовка кричит:

– Ты всегда со своей подозрительностью! Ты не веришь людям! Это прекрасные ребята! Они обещали…

– Дурак! Они тебя запутают так, что ты потом не вывернешься! Чтоб духу их здесь не было!

И молодые парни, гладкие, без отличительных черт, исчезают.

Папа после обеда тоже ложится спать. Потом садится за стол, он торопится – пишет учебник.

Но вот приезжаю я. Все изменяется. Вовка где-то в тени, на втором плане. Я царю в доме, мне и в голову не приходит, что весь год с родителями, которые сейчас заняты мной, проводит брат. Сейчас мама – это уже одно целое не с папой, а со мной. Папа пытается примкнуть к нашему союзу, но безрезультатно.

Я была уверена – мамина жизнь кончается с моим отъездом. Теперь, читая папины письма, я вижу – любил папа маму и мама любила его, это была благополучная семья. Но тогда я считала,

что мама несчастна. Именно в это время моя любовь к ней становится немного болезненной. В чужой стране мама по-прежнему одна: с ней общается лишь тетя Мара. Папа с утра до ночи занят. У него насыщенная жизнь, он радостен и весел. А мама? И боль к маме терзает меня.

Папа не знает, как ко мне подступиться, старается изо всех сил! И вот он повязывает фартук, закатывает рукава и готовит мясной рулет с запеченным внутрь желтком, нарезает на ломтики.

– Как в ресторане, – гордо говорит он, и я сразу настораживаюсь, думая: «Ты ходишь в ресторан, а мама сидит одна». Мне искренне жаль маму.

…– Мама, такой, как ты, нет на свете. Ты самая добрая, ты никогда не кричишь, ты о всех заботишься…

Мы идем вдоль канала, по улице Евлогия Георгиева, в русскую библиотеку, в Дом болгаро-советской дружбы, я держу ее под руку:

– Ты совершенно не думаешь о себе, не жалеешь себя…

Я говорю и говорю, а мама смущенно слушает, потом поворачивается ко мне:

– Ну, ты уж меня просто святой сделала.

Я смотрю – лицо, не тронутое косметикой, широкие серые брови, чуть влажные, продолговатые, странного разреза глаза… Если изображать, как выглядит душа, – я бы нарисовала лицо моей мамы…

Ей неловко, она не привыкла к таким нежностям. Потом эта нежность, так сильно прорвавшаяся в мои первые каникулы в Болгарии, станет сдержаннее, а потом и вовсе исчезнет… Я больше никогда не проведу по ее голове рукой, никогда не поцелую, никогда не назову ласково.

«Я что-то часто плачу», – пишет она мне в 1970-е годы. Но мне уже сорок лет, у меня дети. Я ее люблю все так же, но словно стесняюсь – будто кто наложил запрет. Но даже сейчас чувствую маму, мягкую, теплую, руки морщинистые, с большим ногтем на большом пальце правой руки, мокрый передник, чуть выпирающий живот…

Она идет всегда чуть впереди, и я чувствую себя защищенной – мама прикрывает от неизвестной угрозы. Мама широкоплечая, с прямой спиной, уверенная. Мы спускаемся под горку на базар к «Римской стене» ранним утром, и нет никого счастливее меня. Мне не надо кино, не нужны мальчишки, мне не нужно ничего для счастья, достаточно этого мгновения – мы идем вместе на базар, и я, когда хочу, могу заглянуть в ее глаза…

Мама смеется. Потом ходим по базару, я несу вторую сумку.

Обратно возвращаемся на трамвае, я вижу, что мама устала. Знаю, что сейчас примется готовить обед. Мы обедаем, спим, читаем, гуляем. Каждое воскресенье мы идем на прогулку, это, как и в детстве, – счастье. Мы выходим из дому и направляемся к автобусной остановке. Сегодня мы едем в Симеоново – село, расположенное у подножия Витоши. Дорога идет сначала парком, потом коричневым лесом без травы, земля покрыта сухими листьями, в которых шуршат неизвестные мне птицы, выезжаем в поле, и тут перед нами вырастает Витоша. Покрытая лесом конусообразная гора, с отрогами и скалами. Автобус останавливается на маленькой площади в центре села. Белые, очень чистые каменные домики, с чистыми стеклами, с небольшими садиками за заборами. Идем кривыми улочками, улицы пустынны, иногда замечаем любопытный взгляд из окна. Наконец, выходим в поле. И тут наступает счастье. Слева возвышается зеленая Витоша, ее невысокие отроги, внизу справа – София в жарком мареве. Тропинка вьется среди сухой пахучей травы. Папа впереди, мы с мамой сзади. Что нужно человеку? Кому как. Мне нужно было именно это: единое, объединенное целое, скрепленное любовью, и красота вокруг. Возможно, это и есть рай… Мы огибаем темнеющие склоны Витоши и выходим к «Холодильнику» – так называется трамвайная остановка.

– В следующее воскресенье поднимемся на Алеко, – говорит папа. – Отсюда идет подъемник прямо на Алеко. А там и до Черного верха недалеко.

Алеко. В хижине мы пьем чай из трав. Потом начинаем спуск. Пахнет разогретой хвоей и только что срубленной сосной, лежащей на поляне. На красном стволе – смоляные слезы. Мы вдыхаем аромат смолы и входим в прохладную тень. Мы ищем короткий спуск. Внизу какой-то домик, направляемся туда. При входе на скамейке спит солдат. Папа спрашивает, как пройти, солдат, чуть приоткрыв сонные глаза, что-то бормочет. Глядит на меня. И вдруг папин крик:

– Встать, когда с тобой разговаривают!

Солдат чуть колеблется, потом поднимается. Я на стороне папы – стоит пожилой полковник. Я забываю, что солдат этого не знает. Молодой, в мятой гимнастерке, сонный, он бормочет что-то нечленораздельное…

Спускаемся, дорога вьется, сначала ели, сосны, потом грецкий орех. Папа срывает несколько широколапых листьев, протягивает мне:

– Придешь домой, положи в таз, потом опусти ноги – усталости как не бывало!

Я вдыхаю необычный терпкий запах. Где-то срезаем дорогу,

спускаемся по крутой тропинке, наконец, вот и трамвай. Я устала, у меня одна мысль – как дойти до дому…

В конце пятидесятых и в начале шестидесятых папа обошел пешком все горы Болгарии. Обожал детские маршруты. Завел дружбу со множеством школьников, они писали ему письма, присылали самодельные подарки… Он шагал вместе с ребятами от хижины к хижине, переход занимал не более пяти часов, в хижине их ждал обед и отдых. Прекрасное время, прекрасные горы – Пирин, Рила, Родопы.

Однажды он отстал от группы. Наверно, очень устал. Он не жаловался и не вдавался в подробности, но я думаю – случилось что-то наподобие заплыва в море летом 1928-го. До ближайшей хижины, где поход кончался, оставалось еще несколько часов ходьбы. Школьники со своей руководительницей ушли вперед.

Он шел по плато Стара-Планина. Далеко внизу вдоль серой полоски шоссе цепочкой расположились старинные опрятные городки. Еле виднелись белые домишки под красными черепичными крышами. Прямо под ним лежал городок Сопот (не путать с городом Сопот в Польше. – *Ред.)*. Папа остановился, опершись на палку, смотрел вниз.

Город Сопот – родина Ивана Вазова (классик болгарской литературы. – *Ред.)*. Когда-то мы с папой и Вовкой на фаэтоне прокатились по этому пустынному шоссе, обсаженному высокими ракитами. Слева возвышалась Стара-Планина. Весело цокали копыта, ветерок обдувал лицо, сиденья, обитые темно-красным бархатом, мягко покачивались. Никогда, ни до, ни после этого, я не ездила так долго на лошадях. Проезжали городок за городком – Сопот… Левски… Калофер… Папа декламировал стихи Вазова:

Гус на костре сожжен, но пламя
ночь мировую осветило,
и ярче темными ночами
сверкает грозных молний сила.

Того, что никогда не гаснет,
не погасить вам, о тираны!
Гонимый вами свет – ужасней
вас поразит огнем вулкана!

Здесь все мгновенно, скоротечно, —
те, что живут, и те, что жили,
престолы, царства, вы – не вечны,
и черви вас съедят в могиле.

Лишь вечен свет один нетленный
в огромной мировой пустыне,
наш мир возник с ним во вселенной
и с ним не пропадет, не сгинет…

Во мраке он горит светлее, —
его не погасить могилой,
и свет, убитый в Прометее,
горит в Вольтере с новой силой…

(Перевод М. Зенкевича)

А сейчас папа все еще стоял на гребне. Сопот близко, кажется – рукой подать. Он сделал шаг и ступил с тропинки вниз. Сделал еще один шаг… и вдруг осознал, что следующий шаг будет последним – он безудержно покатится вниз. Осторожно он сел на землю. Было единственное желание – каким-то образом задержаться на этом месте и не покатиться вниз, как на салазках.

– Гляди, – услышал он, – сейчас этот сумасшедший полетит вниз, костей не соберешь.

В разреженном горном воздухе голоса четко доносились до папы. Папа мрачно взглянул влево. Два пастуха, опершись на палки, смотрели на него. Внизу все так же краснели крыши домов, там шла спокойная жизнь, люди ходили по дворам, готовили ужин, никто знать не знал, что там, на горе, сидит пожилой человек в брезентовой куртке, с сумкой через плечо, и с жадностью оглядывает город внизу. Ни деревца. Ни кустика. Крутизна и скользкая трава.

– Нет, ты гляди, гляди, – услышал он опять, – давай подождем. Этот сейчас полетит.

Папа сидел, вжавшись в землю. Он и сам понимал, что может сорваться вниз. Время шло. Упершись пятками в уходящий вниз склон, папа раздумывал и наконец принял решение. Пастухи молчали. То ли ушли, то ли наблюдали и все еще ожидали увидеть занимательное зрелище. Уцепившись за высокие метельчатые травы, папа осторожно вытянул правую ногу, вжал пятку в землю, медленно подтянул левую… и чуть-чуть сполз вниз. Через час-другой, а может и через три, он оказался в городе Сопот.

…В Карловы Вары папа ездит чуть ли не ежегодно. Летом 1954-го папа взял с собой и меня. В аэропорту перед отлетом собралась большая группа болгарских военных, папа весело что-то говорил мне, радостно здороваясь с попутчиками. По залу быстрым шагом шел незнакомый мне военный, кивая направо и

налево. Он, радостно улыбаясь, подошел к папе, протянул руку, папа отвечал таким же радостным рукопожатием. Военный прошел дальше. Мимолетное дружеское приветствие. А я вдруг увидела: на ладони у папы, как приклеенная, осталась тоненькая бумажка.

– Папа, что это?

Я была потрясена: незнакомый мне человек мимоходом на глазах у всех незаметно передал папе записку!

– А ты что ж думала? – Папа, продолжая улыбаться, засовывал руку в карман. – Что у меня не осталось навыков конспирации? Тут все друг за другом следят.

Что это было? По всей вероятности, чей-нибудь телефон или адрес, о котором почему-то они оба не хотели говорить в присутствии всех.

Мы живем с папой в центре Карловых Вар, в отеле «Пупп» (в то время – «Москва») вместе со всеми приезжими из демократических стран. Шикарный отель с красной плюшевой мебелью, позолотой, с огромными зеркалами от пола до потолка. Папа предупредил, пока нас оформляли:

– Поднимешься по этой лестнице и поверни сразу налево. А то в прошлом году твоя Надя вошла в зеркало.

Я ничего не поняла. Поднялась по ступенькам и остановилась на большой площадке. Справа и слева уходили вверх две широкие прекрасные лестницы. Лестница справа влекла меня точно магнитом, я сделала шаг и, глядя на свое отражение, двинулась туда. Но остановилась вовремя. В прошлом году Надя этого сделать не успела.

Дважды в день мы ходим пить воду в «Колоннаду». Мне это напоминает романы Тургенева.

Мы ходим с папой в обувные магазины, и там впервые в моей жизни продавщица, встав на колени, надевает мне обувь на мои широкие некрасивые ступни. Ездим в Терезин.

Приехавшие из Советского Союза живут отдельно, помнится – в «Интернационале». Это разделение мне представляется непреодолимой преградой, хотя я сама только что из Ленинграда. Я уязвлена – «советские» не хотят нас признавать своими! Но папа этого не чувствует, он дружит со всеми, ходит в гости. В следующем году, вместе с мамой, знакомится с космонавтом Германом Титовым, с которым потом долгое время поддерживает переписку (в Москве мы были у него в гостях). Папа поднимается в гору, идет в отель, кричит во все горло: «Браво Михайлову!», знаменитому оперному басу, который выступает только в «Интернационале».

– Почему вы не хотите с нами видеться? Зачем вы его

удерживаете? – сказала мне интересная молодая русская женщина, кажется, врач.

Нет, папа, в отличие от меня, не чувствует себя ущербным, он числит себя русским, хотя вот уже десять лет как покинул Советский Союз.

– Мы так хорошо проводили время со Здравко Васильевичем, у нас создался кружок, он столько знает! Вы знаете, что ваш отец очень интересный человек? Столько нам рассказывал! Какие экскурсии нам устраивал! Он все тут знает! – говорит дама из «Интернационаля».

Я смотрю на ее красивое лицо. И даже не ревную, мне просто она не нужна. Мне хватает папы. И он остается только со мной. Вдвоем с ним, почти всегда молча, мы ходим пить воду, обедаем, покупаем мне обувь… Ходим на концерты. Всюду только вдвоем. На выставке собак вдруг слышу что-то особенное в голосе папы: «Пинчеры – полицейские собаки, они натренированы на людей». – «Где?» – «Вот эти». Я останавливаюсь, разглядываю. Я тогда ничего не знала ни про Альпы, ни про переходы границы, ни про восстание в Вене. Но по голосу понимаю – папа знаком с ними не понаслышке. Полицейские собаки… Черные, с острыми ушами, гладкие, без шерсти, тощий хвост… Такими рисуют чертей в церквях.

В Праге папа занят, все дни пропадает где-то по работе, а я, получив в подарок путеводитель, целые дни брожу по городу. Когда мы уже едем в аэропорт, я называю папе одну достопримечательность за другой, он удивляется и радуется: когда успела?

…После 1956 года к нам в Софию стали приезжать выпущенные из лагерей папины знакомые. Приезжает Кирчо Кирчев, давнишний друг, с паспортом которого папа был арестован в 1926 году в Югославии. «Кирчо-Мирчо» – так звала я в детстве его и Мирчо (который был расстрелян в Москве в 1938 году). Кирчо, арестованный вместе с папой в 1938 году, подписал все, что требовали; сначала он сидел в тюрьме, потом в лагере, потом, кажется, был в ссылке, где познакомился с Соней, женой расстрелянного крупного партийного деятеля, не помню его фамилии. Она сидела как ЖВН – жена врага народа. Соня, высокая крупная еврейка, была прекрасным врачом. Очень скоро Кирчо стал директором Профилактического института в Овчей Купели, на окраине Софии, а главным врачом там стала работать Соня. Впоследствии мама ежегодно там проводила курс реабилитации, полностью доверяла Соне и очень ценила ее. Спустя несколько лет чета Кирчевых возвратилась в Москву, где Соне вернули квартиру (правда, не ту, из которой увели ее

первого мужа, а маленькую, двухкомнатную, рядом с университетом).

Приезжает из Варшавы Оскар Геринг. Именно от Оскара я узнаю о выступлении папы на партийном собрании осенью 1937 году – в его, Геринга, защиту. Оскар приезжает с женой Верой Владимировной – тоже врачом и тоже из лагеря. Геринга в Польше встречают как героя, он получает огромную квартиру в центре Варшавы, работает врачом (или начальником больницы), редактором научного журнала. Плотный, светловолосый, ниже папы, он был весел и остроумен. Чувствовалось, как он торопится наверстать упущенное. В отличие от папы, он живет на широкую ногу. Я не помню большого расположения папы к Оскару. Они очень разные. Но Геринг все помнит и благодарен папе. Оскар с супругой стали приезжать на лето почти каждый год, им понравилась Болгария.

Из папиных писем маме:

…Геринг зарабатывает много, но и хворает очень. Когда поднимались по нашей горке, он каждые 10 шагов останавливался, и цвет лица его менялся точно как у Андрея (Луканова – И.М.)…

…У Геринга был сильный сердечный приступ в Варне, его «скорая помощь» увезла в больницу. В тот же вечер Вера Владимировна (его жена) звонила мне. Оскар просил позвонить в Варшаву и узнать, как там дети, и сообщить ему на следующее утро. (Геринг думал, что у него третий инфаркт и, значит, смерть.) На следующий день я позвонил в Варну, просил профессора по сердечным болезням посмотреть Геринга, оказалось, что не инфаркт. Вчера Геринг прилетел в Софию, во вторник летят в Варшаву со всеми мерами предосторожности. Геринг предлагает тебе из Москвы поехать через Варшаву, а мне встретиться с тобой у них, где большая квартира и т. д. Договорились до того, что я напишу 1–2 статьи, он их напечатает у себя, заплатит мне, и если этого будет достаточно, тогда поедем в гости к ним. На неделю, дней на десять. Это будет не раньше весны будущего года (если доживем мы с тобой до весны).

Но папа с мамой так и не воспользовались приглашением. Вместо себя папа отправляет меня с братом. Варшава не произвела никакого впечатления, уж очень центральные улицы были похожи на Крещатик или Ленинский проспект. Осталось воспоминание о стене, в которой было замуровано сердце Шопена, да сильно накрашенные польки всех возрастов. Меня это сбивало с толку, я не могла определить, где кончается краска и начинается естественная красота.

После 1956-го я впервые слышу некоторые подробности

папиного пребывания в тюрьме. Но не от него. При всех воспоминаниях папа сидит молча, опустив голову, изредка вскидывая на меня черные глаза. А в Варне, в доме отдыха, я знакомлюсь с несколькими ЖВН. Сидя на пляже, я слушаю рассказы Анны Семеновны, москвички с Чистых прудов, жены расстрелянного мужа-болгарина (не помню ее фамилии) про лагеря. Простая, моложавая, низкорослая, плотная веселая женщина. Она с восторгом вспоминает лагеря где-то в Казахстане. Рассказывает о женах «врагов народа», в ее голосе не чувствуется страдания, напротив – восхищение. «Какие красавицы, умницы, образованные! Я никогда не встретила бы таких, не окажись в лагере. Многие из них жили в Париже, жены послов, жены маршалов. Можно сказать, я окончила там университет – чего только они не знали: историю, стихи, рисовали, лепили, пели… У многих были дети от охранников. Так мы для них построили ясли, художницы расписали их, понаделали игрушек – таких яслей, я уверена, и в Москве не было. А летом как выйдут на работу в купальниках, в шляпах с широкими полями, охрана свешивается с вышек, слюнки текут, молчат. Смотрят, смотрят…» А за этими рассказами мельком произносилось: «Сыну в Москве, во дворе, какали прямо в рот – вот тебе, сын врага народа!» – «Как какали?!» – «Да просто – несколько мальчишек держали, а один какал».

В то же время, а может, чуть позже, в Варну приехала очень интересная болгарка, поселилась в нашем доме отдыха. Худая, высокая, с очень прямой спиной, густые черные волосы падали на плечи. Я думала, что она именно из тех, кто так поражал воображение охранников в лагерях. Проходила, не здороваясь, гордо-грозно молчаливая. Одета была прекрасно. Говорили, что приехала из Швейцарии, куда ее пригласили после отсидки в наших лагерях. Она приехала с мужем – бывшим охранником. Ей кто-то в Швейцарии подарил «мерседес». «Мерседес» действительно был невиданный, последней модели: сверкал снаружи никелем и стеклами, песочного цвета, внутри обит кожей. Как-то она пригласила меня с детьми прокатиться. Ее муж сел за руль, она рядом, и мы покатили. Странно и немного жутко было смотреть на эту пару. За всю дорогу они не обменялись ни словом.

Приезжают те, кто был «на лесоповале». Я встретилась с одним из них уже после смерти мамы, в Варне, в доме отдыха ЦК. Папа за несколько месяцев до того получил звание Героя Социалистического Труда. Выходя утром с папой на прогулку, мы столкнулись с высоким пожилым мужчиной. Он чуть кивнул папе и обратился ко мне:

– Вот дают «Героя», – сказал он хмуро, – а тем, кто был на лесоповале… Вы знаете, что такое лесоповал? Как валят лес, зимой, в мороз? Каждый день, голодные, больные…

Он держал дверь и не пропускал нас, будто собирался высказать все неудовольствие именно нам и сейчас.

– «Герой», – сказал он, пожимая плечами. – За что?

Папа чуть подвинул его плечом, и мы вышли в парк.

– Кто это? – спросила я.

– Да один… Видишь, недоволен, что не ему дали «Героя».

Сейчас, просматривая списки репрессированных в Советском Союзе, я отметила, что вместе с папой были выпущены на свободу еще до войны очень многие болгары – те, кто в 1944-м вошли в Болгарию вместе с 3-м Украинским фронтом, и те, кто приехал с нами осенью 1945-го. Не знаю, с чем связано их освобождение: с тем ли, что они не подписали протокол допроса, или с заменой Ежова на Берию, или со сменой политического курса – ведь когда папу сажали, газеты были переполнены статьями о все разраставшемся фашизме в Германии, и обвинялся он как немецкий шпион, а когда папу выпустили, ситуация поменялась. Я представляю папино удивление, когда он в свое первое утро после освобождения, 1 декабря 1939 года, раскрыл газету «Правда» в комнате у дяди Славы и наткнулся на речь Гитлера. Только что в сентябре был подписан пакт Молотова – Риббентропа, о чем папа, сидя в тюрьме, конечно, ничего не мог знать.

Со времени моего отъезда в 1952 году я почти совсем не знаю, чем занимается папа. Наверное, как всегда, занят, руководит институтом, заведует кафедрой в Медицинской академии, читает лекции…

Должна признаться, что я не интересовалась папиной наукой, более того – не верила в ее серьезность. Уж очень большое место в ней было отведено марксистско-ленинским воззрениям. Он работал в то время, когда уже в разгаре была «холодная война», на «научном фронте» это выражалось повсеместным утверждением российского и советского приоритета в науке и технике, насаждением, на самом примитивном уровне, принципов «самой передовой» идеологии во всех научных направлениях – от языкознания до физики. Уже произошел лысенковский погром в биологии, взялись за химию – громили теорию резонанса, физику спасла только необходимость разработки атомной бомбы… К стыду моему, должна сказать, что папа разделял идеи Лысенко. Он не был специалистом в этой области, он всецело полагался на оценку этой науки, официально принятую в стране, которой он служил. Я даже сомневалась, упоминать ли об этом? Но вот,

разбирая свои университетские письма, я натолкнулась на строчки…

Дорогой папа!

…Также интересна лекция и по введению в биологию. Читает ее профессор Тонков, у него много работ, он лауреат Сталинской премии. Он нам очень часто говорит о Лепешинской. Говорит, что теперь установлен новый взгляд на деление клеток. Клетка, отмирая, частично превращается в живое вещество, формируются две особи. Происходит диалектический скачок из клеточного состояния в неклеточное.

И читали это с кафедры Ленинградского университета!

Для папы было важно, чтобы в основе лежали принципы диалектического материализма. Как-то, вероятно, после выхода труда Сталина «Марксизм и языкознание», папа рассказывал мне про Марра, известного языковеда, которого громил Сталин. Помнится, что папа упомянул про обращение Марра в восемнадцатом году к ученым, в котором тот предлагал немедленно заняться подлинной наукой, основанной на настоящем материализме, на переходе количества в качество. Это было, несомненно, папино кредо и в его научной работе, и характерно, что он отдавал должное единомышленникам – даже попавшим, как Марр, в опалу. Помню его торжество после открытия Уотсоном и Криком структуры ДНК в виде двойной спирали. Я не очень интересовалась этим, но папа, возбужденный и торжествующий, соорудил мне для показа из бумаги две спирали и рассуждал на тему, что именно это лишний раз доказывает весь ход исторического процесса. Я очень хорошо помню разгоряченное лицо папы, руку, держащую спираль, и демонстрацию, как очередной виток оказывается в том же расположении, но уже выше, а значит – совершеннее. Я отнеслась тогда к этому возбуждению скептически – не поняла, что папа воспринял это как торжество диалектического материализма: ведь развитие именно по спирали – в русле марксистско-ленинской философии.

Слава богу, что научная работа моего папы не была связана ни с генетикой, ни с теоретической химией! И все же доставалось от него и химикам, и за что? Конечно, за теорию резонанса! Вот что он как-то написал мне:

Дорогая Ингочка, я вернулся из отпуска в октябре. Затем началась у нас в институте научная сессия, а параллельно с этим шел мой курс лекционный в академии. На сессии в нашем институте было заслушано 43 доклада. 26 докладов были, так

сказать, «павловскими» (постановка и интерпретация), 10 – с мичуринской тематикой, 7 – химических и фармацевтических. Самые отсталые у нас – это химики, они считают, что учение Бутлерова это агитация, а сами теорию резонанса тайком исповедуют. Часть химиков мы уже 5 лет как перевели на рельсы биохимии успешно. Они-то и дают мичуринские постановки и трактовки. Большинство из них участвует в разработке старой проблемы нашего института – проблемы питания. Они изучают сохранение, старение питания и пр…. Нам легче изучать вопрос питания с павловских позиций, т. е. окружающую среду с ее раздражителями, в их количественном и качественном развитии, сезонном изменении и пр.

Вообще, я не думала, что папе удалось сделать в Болгарии что-то выдающееся. Он был послан в Болгарию для внедрения достижений советской военной медицины и внедрил изучение военно-медицинских дисциплин, ознакомил Болгарию с советской медициной, равной которой, особенно в области военно-полевой хирургии, в то время не было в целом мире. Папа был бескорыстен и образован и сделал в то время то, чего никто на его месте сделать бы не смог.

Однако этим его вклад в болгарскую медицинскую науку не исчерпывается. Несомненно, он думал продолжать свои довоенные исследования по токсикологии, но невозможно было развивать эту науку в Болгарии, когда даже в его родной Военно-медицинской академии она существовала под грифом «секретно». Но сейчас я обнаружила, что в конце 1950-х, после первого своего выезда в СССР, папа пишет учебник «Патология, клиника и терапия поражений атомного и химического оружия». В предисловии к этому учебнику сказано:

«Содержание настоящего труда охватывает вопросы двух молодых медицинских дисциплин. Одна из них – военная токсикология – возникла как результат Первой мировой войны, другая – так называемая радиационная медицина – оформилась после Второй мировой войны. Две дисциплины изучают новые и сложные вопросы поражений от химического и атомного оружия и различных их комбинаций.

В основе настоящего труда лежит материал лекционных курсов и практических занятий, преподаваемый студентам при Высшем медицинском институте в Софии, а также часть материалов научных исследований кафедрального коллектива, проведенных в текущем десятилетии и опубликованных в виде коллективных монографий по вопросам поражения фосгеноксимом, табуном и ионизирующей радиацией. В учебной и научной работе

использованы данные, почерпнутые из советской литературы и западных изданий».

Я подсчитала: из более чем 200 ссылок, приведенных в конце учебника, есть десять знакомых мне фамилий папиных сотрудников – тех фамилий, которые почему-то осели у меня в голове, и столько же знакомых мне фамилий советских ученых. Множество ссылок есть и на папины работы. Не знаю, как в других странах, но в Китае выказывали большой интерес к его работам, связанным как с облучением, так и с химическими поражениями; эта его книга по защите от радиоактивных поражений стояла в витринах магазинов в Пекине.

На первой странице учебника, который хранится у меня, папиным почерком написано: «На память внуку». 18 января 1960 года в Софии у меня родился сын. За месяц до родов папа мне писал:

Дорогая Ингочка… тебе, наверное, трудно сейчас дышать, пора налаживать дыхание, это самое важное… Из письма ясно вижу: ты не боишься родов. Это очень хорошо…

За полчаса до рождения Сережки папа вошел ко мне в палату. Он сел рядом со мной на стул, в белом халате, накинутом на китель. Вошла сестра:

– Это что такое? Вы как сюда попали?

– Профессор Мицов, профессор Мицов… это его дочь.

Папа принес шоколадку, уговаривал съесть.

– Силы, тебе нужны еще будут силы…

Я что-то ему отвечала. Как только закрылась за ним дверь, внизу у меня что-то лопнуло, живот опал. Я заорала:

– Ребенок? Ребенок? Лопнул?

– Воды отошли! На стол! Быстро! Ребенок идет!

Поддерживая под руки, меня повели в другую комнату. Сережа выскочил пулей. Я умоляла:

– Догоните папу, скажите, что я родила…

Хотела успокоить, была уверена, что он еще не успел покинуть здание. Никто не шевельнулся. Всего за пять, нет – за три минуты до этого врач сказал:

– Она родит к утру.

Папа, вернувшись домой, тоже сказал:

– К утру. Но Ингочка уже заговаривается.

Сережа был крепким, и массажистка, которая приходила каждый вечер, говорила:

– Яко дете! Яко, яко – посмотрите: две недели, а он пытается поднять голову!

Массажистка клала Сережу на наш большой обеденный стол в

холле, с края которого были разложены в несколько слоев пеленки, от печки шел жар, около нее стояла ванночка с теплой водой. Ни я, ни мама купать первые дни не решались. Выкупав, массажистка массировала Сережку и приговаривала:

– Яко дете!

Потом я пеленала. Папа молча, весь напрягшись, сидел рядом, внимательно наблюдая за каждым моим движением.

– Нет, ты посмотри! – обращался он к маме. – Она спит на ходу!

Я не спала, я была предельно внимательна, я боялась что-нибудь сделать не так. Этот страх у меня останется на долгое время, я не освобожусь от него даже после рождения второго сына, Гешки…

Однажды папа зашел к нам в комнату – родительскую спальню, которую отдали мне с Сережей. Я только что покормила, горел ночничок, в комнате сильно пахло апельсинами, я сосала апельсин и читала книгу.

– Вот эта картина! – вскричал папа, стоя в дверях. – Ингуся! Вот это тяга к знанию!

Папа, как всегда, думал обо мне лучше и преувеличивал.

Начало 1960-х прочно связано с Сережей. Мама часто ездит ко мне в Ригу, где я живу с мужем и с маленьким Сережкой и работаю в Институте экспериментальной медицины. Приезжает и папа, возвращаясь из Китая, где его принимали с почетом (в Китае он был дважды). Впечатление, произведенное папой на китайских ученых, было значительным: недавно в Болгарии мне рассказали, что спустя много лет после посещения папой Китая один китайский ученый, чудовищно перевирая папину фамилию, усиленно расспрашивал про него.

Папа пишет мне в Ригу:

Дорогая Ингочка. Забыл тебе сообщить о вопросах, по которым выступал в Китае. Первый вопрос был насчет динамики гипоксии при остром токсическом отеке легких и радиационных поражениях. Обыкновенно считалось, что снижение содержания кислорода в крови идет непрерывно, т. е. по нисходящей прямой. В течение почти 20-летней работы на сотнях собак я видел, что это снижение не непрерывное, что оно идет не по прямой, а по зигзагообразной кривой – т. е. снижение с относительным повышением. Поэтому то, что ранее считалось ошибкой в методике, теперь представляется закономерностью, отражающей силы сопротивления организма и единство двух основных… процессов с преимущественным доминированием одного из них. Графически этот патофизиологический процесс гипоксии лучше всего выражается спиралевидной кривой, что дает возможность

думать о диалектическом характере кислородного голодания организма, дает возможность прогнозировать степень гипоксии не только биохимическими определениями содержания кислорода в крови, но и сделать то же самое при помощи математического подсчета. С другой стороны, спираль показывает и непрерывность гипоксического процесса, и его взаимообусловленность (постепенный переход от количественных к качественным изменениям). В то же время, если нисходящий характер спирали… изображает патологический процесс (понижение содержания кислорода), то восходящий характер спирали изображает терапевтический процесс (повышение содержания кислорода) в артериальной и венозной крови. С другой стороны, спиралевидная кривая, отображающая свойства организма, его биологический ритм, связывает частный гипоксический процесс с общим ритмом организма, а последний – с пульсирующей формой жизни, окружающей природы (день и ночь, приливы и отливы, времена года и пр.).

Второй вопрос был о ранней диагностике при поражении организма химическими (боевыми) отравляющими веществами или ионизирующей радиацией. Раньше считали, что скрытые явления латентного периода интоксикации клинически не обнаруживаются и что острая лучевая болезнь начинается через 2–3 часа или дня после облучения организма. На сотнях животных мы убедились, что можно определить «скрытое» явление и при помощи клинической методики и что радиационное поражение организма начинается сразу после облучения и даже во время облучения. Этот вопрос ранней диагностики имеет практическое значение – обеспечивает своевременное лечение.

Третий вопрос был – лечебно-профилактическое значение смешанного пищевого режима при поражениях ионизирующей радиацией организма с преобладанием белков животного происхождения. Под воздействием радиационного процесса – радиолиза – разрушаются белки организма, денатурируются, инактивируются реактивные группы белковой молекулы. Мы определили это, исследуя… аминогруппы полярографом Хайровского (чех, получивший недавно Нобелевскую премию). Вряд ли китайцы были довольны этим вопросом, т. к. у них господствует углеводистая пища – слабо очень у них развито скотоводство. Но зато они были очень рады четвертому вопросу моего доклада: патогенетическая терапия при поражении фосфорорганическими соединениями. У китайцев широкое применение находит фосфор при обработке хлопковых полей. На кафедре мы получили терапевтическое средство, спасающее организм при десятикратных смертельных дозах.

Это – уже будто специально для меня предоставленный отчет. Папа всегда преувеличивал мои достоинства, я же его достижения и уровень его знаний принижала. А в этом отчете есть все: это вовсе не только марксистское кредо, здесь – строго научный эксперимент и результат!

Столь подробное изложение содержания доклада в письме ко мне показывает, что папа еще не потерял веры в меня, но, наставляя, он уже определил мое место: средний научный работник. Об этом – в другом его письме:

Ингуся!

Для массы научных работников – среднего человека – остается тактика: осада, т. е. постепенное взятие крепости. Биология – часть медицины, и биолог может разрабатывать медицинские вопросы. Если что напишешь, Ингочка, то публикуй, т. к. к защите нужно иметь, кроме диссертационной, еще и другие работы. Тебе, Ингочка, трудно, во-первых, из-за твоего характера и, во-вторых, из-за того, что ты не состоишь в организации, которая могла бы тебе помочь. Не будь крайней индивидуалисткой и не осложняй себе жизнь. Надо ладить с людьми.

В Болгарии начались политические перемены. Червенков постепенно терял власть. Приехав как-то летом на каникулы, я услышала, что у власти теперь Тодор Живков, один из лидеров болгарского партизанского движения времен войны.

Вероятно, тогда же, в середине 1950-х, начальником института, созданного и преобразованного папой, назначают другого. Я не знаю, что послужило причиной такого решения, но не помню, чтобы это вызвало в папе протест. В те же годы он перестает быть и редактором основанного им журнала.

В 1962 году закрывают и кафедру военно-медицинской подготовки.

«Со времени основания кафедры в 1947 году до ее закрытия в 1962 году было выпущено 7500 медицинских офицеров запаса, что составляло больше половины всего количества врачей Болгарии. Получилось так, что все необходимые для войскового района Болгарской действующей армии 1200 врачей были подготовлены у нас на кафедре, на каждого из них имелся резерв в количестве двух подготовленных на кафедре врачей. Кроме того, на каждого 4-го врача в тылу страны приходился один врач, обученный на кафедре ВМП».

Мама возмущалась:

– Все организует, наладит, а потом передает другому.

Папе вроде безразлично. Ему кажется: он свое дело сделал, и

принимается за другое.

«…Впоследствии я возглавил новую кафедру при Высшем Военно-медицинском институте в Софии – “Медицинская защита”, по вопросам патологии, клиники, терапии поражений боевым и отравляющими и боевыми радиоактивными веществами.

Кроме учебной работы, коллектив кафедры занимался и научно-исследовательской работой. Главной задачей этой кафедры я считал создание средства, защищающего организм от лучевой энергии. Такое средство я создал на основе лиофилизированного (т. е. высушенного и сконцентрированного) болгарского кислого молока, содержащего целебные бактерии, выявленные в нем еще в 1903 году великим Мечниковым – “лактобактериум булгарикум”, или “болгарскую палочку”. Полученный таким способом препарат обладает профилактическими лечебными свойствами при острой лучевой болезни и сохраняет эти свойства в течение многих лет. Для приготовления лиофилизированного кислого молока мне необходим был специальный аппарат – лиофилизатор. Без помощи Кабакчиева я бы этот аппарат не получил и не смог бы достигнуть того, чего хотел».

Член ЦК БКП генерал-полковник Август Кабакчиев вспоминает: «Когда профессор Мицов работал над свойствами и получением сухого кислого молока, он пришел ко мне и попросил содействия. Я ознакомил, будучи зам. министра обороны, остальное руководство, и ему выделили средства для приобретения необходимой аппаратуры и предоставили помещение в Общевоенной больнице, которое он с большим трудом превратил в научную лабораторию».

Папа вспоминает:

«Аппараты, на которых лиофилизировали болгарское кислое молоко, были немецкие. Я получил их при содействии Вильгельма Пика, с которым был знаком еще до поступления в ВМА – по линии революционной борьбы в Европе».

Папа ставит опыты на кроликах, на мышках, на собаках, облученных гамма-лучами. С полной очевидностью доказано, что употребление сухого болгарского кислого молока оказывает положительный эффект. Он прослеживает зависимость эффекта от различных климатических и географических условий, в которых это кислое молоко было произведено. Посетил Ленинград, Москву, Киев, Прагу, Берлин, где заквашивал местное молоко сухим болгарским. Полученные результаты его обнадеживают, и он начинает опыты над больными раком молочной железы, которые после оперативного вмешательства и

сопутствующего ему облучения рентгеном получали в легкой степени лучевую болезнь.

Из письма к маме от 4 октября 1964 г.

…Я приехал из Варны утром 28 сентября, заехал домой, переоделся и поехал на работу, т. е. на сессию. Доклад мой прошел хорошо. Интереснее было то, что состоялась большая выставка и мое сухое кислое молоко произвело большое впечатление на большое начальство. Просто сенсация. С середины октября мне предстоит провести проверку моей многолетней работы на людях – здоровых и больных. В связи с этим мне надо будет выходить из дому в 6 утра.

После многолетней разработки этого средства и испытания на собаках и людях папа в 1965 году привозит в СССР значительное количество препарата и сдает… куда? Конечно, в лабораторию № 1 ВМА, с необходимым объяснением о методах и результатах его применения. Год спустя ТАСС сообщает, что советские космонавты употребляют лиофилизированную пищу на базе бацилус булгарикус. Частным порядком папа узнает, что в качестве очень полноценной пищи используют этот препарат подводники ГДР. Некоторые врачи используют этот препарат при лечении раковых больных.

Из письма маме: 7 февраля 1967 г.:

…Моя статья в «Работническом деле» вышла. Предложили мне самому ее сократить наполовину. Она все равно вышла не маленькая. Отзывы о ней пока очень хорошие – как от профессоров и академиков, так и от министров и простых людей. Плохо то, что матери просят для своих хилых детей у меня препарат, я их отсылаю к Кузмовой. Киножурнал с моей рожей вышел. Показывают меня в новой (немецкой) лаборатории, показывают немного Николова и Витанова – насчет детского питания, но о них не говорят ни слова. Только мою фамилию рассусоливает диктор. Всю работу очень хвалят, хотя завода еще нет. Хорошо то, что говорят правду – получено все (продукты и лекарственные препараты показывают на экране) только лабораторно. Перед кинотеатром дано содержание нового журнала с отметкой о моей светлости и т. д. Вова и Таня ходили сегодня смотреть. Вова говорит, что все очень хорошо, но что я очень толстый, т. к. надел белый халат поверх военного кителя… Вова доволен, что его отец стал киноартистом и т. п.

Что означал в то время киножурнал? Перед началом каждого сеанса обязательно показывался документальный фильм, минут

на десять, демонстрирующий важнейшие политические, хозяйственные новости, достижения науки, культуры, спорта в стране и мире. И вот по всей Болгарии в этих журналах было рассказано о папином открытии, показали его самого и назвали его фамилию!

В 1963 году папа удостоен звания «заслуженный врач», а в 1978 году – звания «народный врач» Народной республики Болгарии. По распоряжению генерала Кабакчиева в военном ведомстве зарегистрировано открытие биологического эффекта сухого кислого болгарского молока.

Ничего этого я не знаю – или слушаю вполуха, когда рассказывают. Я папиной работой не интересуюсь, более того – не придаю ей никакого значения. А оказывается, в то время, когда я рожала, страдала, переезжала из Риги в Черноголовку, когда была поглощена своей жизнью, мой шестидесятилетний отец работал в полную силу и добился серьезных научных достижений. Однако так сложились обстоятельства, что несколько позже я соприкоснулась с очень близкой, фактически той же медицинской тематикой и ее результатами.

Где-то уже в середине семидесятых, спустя десять лет после описанных событий, сотрудница, работавшая со мной, обратилась ко мне с просьбой:

– Инга, не можешь ли достать анабол? Его производит в Болгарии доктор Богданов.

Сотрудницу звали Таня Авилова, она с год как появилась у нас в лаборатории.

– У мужа рак. Его оперировали, сейчас облучают, может помочь анабол. Опухоль была на тонкой ножке, есть надежда, что не будет метастазов.

Так я впервые услыхала об анаболе и о болгарском докторе Иване Богданове, который примерно в это время произвел выделение активной вытяжки из сухого кислого молока и использовал изготовленный на ее основе препарат как лечебное средство для онкологических больных. В Болгарии это лекарство было названо «анабол». Я немедленно связалась с папой (папа к тому времени уже был давно на пенсии), он сразу откликнулся, связался с Богдановым и прислал пакет сухого препарата «анабол». Врачи, наблюдая, как Танин муж переносит химиотерапию и облучение, говорили:

– Мы не спрашиваем, что вы пьете, но продолжайте пить.

Потом последовала просьба об анаболе для девушки Оли, с раком кости. Оле анабол помог больше, чем Авилову, – она жива, правда, ногу ей пришлось ампутировать, но трудоспособность она сохранила. Потом обратилась Вера Аракчеева, ее сестра тоже

выжила. За сестрой Веры последовала моя близкая подруга Юля Глотова. Всех, кому был нужен анабол, я теперь уже не помню. Просили и из Москвы, и из других городов. И каждому папа доставал это прекрасное лекарство и регулярно присылал. Никогда никакой ревности, никаких претензий к Богданову папа не выражал – хотя анабол и являлся «близким родственником» препаратов, полученных и использованных папой в его работе.

Доктор Иван Богданов, как и папа, хотел поставить производство на поток, но ему, как и папе, это не удалось. Больные жаждали, просили, но миновать главу советской онкологии академика Блохина было невозможно. Блохин был против, настаивая на продолжительном испытательном сроке и предоставлении более очищенного препарата. И заводское производство анабола так и не было осуществлено.

Недавно от своей близкой подруги в Америке Вивы Ладыженской я узнала, что в это же время (в семидесятые – восьмидесятые годы) в Москве известный математик Кронрод со своей женой, тоже математиком, активно занимались распространением аналогичного препарата, именовавшегося милилом. Это был общественный канал доставки целебного медицинского средства – никакого официального, государственного доступа к этому болгарскому лекарству не было. Присылал милил в запаянных ампулах тот же доктор Иван Богданов, Кронроды раздавали его больным раком, из содержимого в ампулах по специальной технологии квасили молоко, и оно помогало очень многим людям выжить. В картотеке пользователей у четы Кронродов насчитывалось 5 тысяч человек. Одним из них был детский друг моего сына Сережи – Саша Ладыженский, он заболел раком в юношеском возрасте, и ему ампутировали ногу. Спасала от метастазов именно эта закваска молока, за ампулой которой ежемесячно ездила его мать Бронислава из Риги в Москву. Самоотверженная благотворительность Кронродов была сокрушена мгновенно: как только до медицинского начальства дошли сведения, что действует частный канал распространения средства, которое, по утверждениям распространителей, помогает раковым больным, – и это многократно проверено, однако не принято официально. Против Кронрода даже возбудили уголовное дело – формально обвинения связали с отсутствием у него медицинского образования. Спасло его от уголовной ответственности лишь успешное доказательство того, что он оказывал помощь безвозмездно. Однако здоровье Александра Кронрода было в этой борьбе с властями подорвано, и он вскоре скончался. Надо ли говорить, что вся картотека больных была уничтожена, доставка

препарата прекратилась, пользователи были предоставлены сами себе. У вышеупомянутого Саши Ладыженского вскоре поползли метастазы по всему телу, долго он не прожил.

Я не знаю, насколько продвинулись в Болгарии с применением анабола и родственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, каковы успехи. Знаю лишь, что в этом направлении активно работает сын доктора Ивана Богданова Асен. И я очень горда тем, что мой папа провел важные исследования в этой же области и получил обнадеживающие результаты. …Я открываю написанный им учебник «Патология, клиника и терапия пораженных атомным и химическим оружием», изданный в Софии в 1961 году, и нахожу уже там данные о положительных результатах воздействия кислого болгарского молока на развитие лучевой болезни у подопытных животных. А в 1964 году он со своими сотрудниками уже приступил в военной больнице к работам по воздействию продукта лиофилизирования (то есть высушенного, концентрированного кислого молока) на последствия рентгенотерапии у людей, больных раком. Работы, имея положительные результаты, продолжались в течение нескольких лет до выхода папы на пенсию.

В апреле 1968 года у меня родился второй сын – Егорка, он же Гешка (уменьшительное от Георгия). Рождение его происходило более болезненно, чем моего первого сына Сережи. Уже не было рядом папы, я лежала в родильном доме, что у Покровских ворот – для рожениц, имеющих патологию. Я стала старше на восемь лет.

Изнемогая от боли, я только просила дать передохнуть. И мне, наконец, вкололи что-то, отчего я впала в прострацию. Помню сквозь пелену склонившееся ко мне лицо то ли врача, то ли медицинской сестры. «Выпиваете?» – спросила она. «Что?» «Выпиваете?» «Нет», – замотала я головой. И меня бросили. Я лежала почти без сознания, звала на помощь. Не знаю, сколько прошло времени, я слышала, как позвякивают ложками о тарелки в соседней комнате. Уж не помню, когда и как, но, наконец, опять с криками, меня поволокли на стол. Хорошо помню, что Гешка не сразу закричал, и я, пытаясь приподнять голову, спросила: «Почему ребенок молчит? У него асфиксия?» И только я спросила, как раздался крик! А потом меня положили под ослепительную лампу. Я проваливалась в небытие, но тут же ослепительный свет выдергивал меня оттуда, я открывала глаза и мечтала лишь об одном – чтобы кто-то подошел ко мне и протер лицо мокрым полотенцем. Теперь я думаю, что вот так горела лампа в тюрьме у

папы в камере, не давая забыться ни на минуту.

За месяц до рождения Гешки мы с Володей переселились к дяде Жоржику в Москву, оставив Сережку на попечение моей мамы, приехавшей из Болгарии. Так вот, за месяц до рождения Гешки мы явились в высотный дом в квартиру Курдюмовых и прожили там с Володей этот месяц. И ни разу за этот срок я не почувствовала ни тени неудовольствия, хотя две раскладушки перегораживали одну из трех (проходных) комнат и, конечно, наше присутствие мешало налаженному быту моих дяди и тети.

В 1968 году папа приехал в командировку в СССР вместе с моим братом Вовкой. Остановились у меня, в Черноголовке. Именно тогда происходили известные события в Чехословакии. Мы все были напряжены – ведь это непосредственно касалось нас, нашей жизни в Болгарии. А что, если все повернется вспять? Мне были безразличны все слова о самостоятельности и свободе – и когда объявили по радио, что наши танки вошли в Прагу, папа обнял Вовку, а я вздохнула облегченно. Мы были счастливы.

Те годы опять наполнены дружбой между отцом и сыном. Вовка, который всегда учился плохо (как папа говорил: «он не переходит из класса в класс, а переваливается»), вдруг изменился. Из папиных писем того времени:

…Прежде всего о Вове. Стажер-лекарь он ничего: интересуется, дежурит, почитывает, посещает хорошо. Я уже не смею называть его студентом, до того он важный. Однако на столе у него полно детских игрушек. Он с ними не играет, но любуется. Чудак!

…Вовин доклад прошел хорошо, даже очень (я присутствовал). На конференции присутствовало очень много специалистов, физиологов, фармакологов, старших научных сотрудников, доцентов, профессоров, академиков. Вот перед всей этой публикой Вова встал на трибуне, спокойно и толково докладывал 25 минут… На следующий день иностранные делегаты ходили к нему на кафедру и там долго разговаривали с ним. Конечно, он больше всего понравился русским и больше всего помощи получил от них… После доклада дома Вова был как одурманенный. Большое было напряжение.

…Вовина диссертация окончательно прошла через кафедру. Теперь он ее печатает, делает рисунки, бегает как угорелый. Да и часы учебные берет, чтобы подзаработать. Он тебя в субботу на воскресенье видел во сне мертвой и так плакал и был встревожен, забегал ко мне в воскресенье.

А что же я? Мои письма того времени заполнены подробными

описаниями проделок сначала Сережи, потом Егорки. Сейчас, когда оглядываюсь на то время, мне стыдно. Кажется, все осуществилось, о чем я мечтала: попала в крупный научный центр, работаю в известном институте в Черноголовке, наши знакомые – из числа крупнейших физиков страны, у нас прекрасная квартира… Все мои мечтания и мольбы были осуществлены. Но я оказалась не готова к этому. Из письма к папе:

…Я твердо знаю, что мне надо изменить жизнь. Больше так – изо дня в день жить только следующим днем и ничего дальше не видеть – я не хочу. Я как-то подумала, что умирать, ничего не сделав и ничего не оставив после себя, очень страшно. Прожить бессмысленно жизнь – что может быть страшнее? Я хочу что-то делать, но не знаю, как подступиться. У меня нет таланта, у меня почти нет способностей и довольно ограниченный ум, у меня мало характера, и я совершенно не умею жить с людьми. Если бы я была детским врачом, я бы, может, нашла свое место – больших способностей тут не надо, надо только быть человеком. Для ученого нужен талант и много, много времени. А откуда взять это время? Ведь, кроме того, надо не потерять детей, следить за собой и заниматься домашними делами. Не знаю, как мне выйти из этого круга. Конечно, все не вытянуть, надо взять самое главное. А что это главное? Я хочу быть настоящей матерью для Сережи и Гешки, хочу, чтобы они росли настоящим людьми, знающими и умеющими. А это значит: надо отдавать каждый день по 3–4 часа. Я не знаю, как расширить свое рабочее время. И плохо то, что я устаю даже от ничегонеделания или делания бесполезных, бессмысленных вещей.

Часть 8. На пенсии

Путь, нами избранный, был нелегок, мы шли… Я дошел не до цели, а до того места, где дороги идут под гору, и невольно ищу твоей руки, чтобы вместе выйти, и пожать ее, и сказать, грустно улыбаясь: «Вот и все!»

А. И. Герцен

Папа в отставке: генерал-майор, народный врач, профессор. – Организация юбилейных болгаро-советских сессий. – Книги. – Сценарий фильма. – Пироговские мероприятия и маршруты. – Открытие парка-музея Пирогова под Плевной. – Семья брата Володи. – Беда с мамой. – 1970-е годы: уход из жизни родственников в Советском Союзе и Болгарии.

«…В конце 1972-го я вышел в отставку, став генерал-майором болгарской армии, профессором и народным врачом. У меня было уже 150 научных работ и полсотни учеников – профессоров, доцентов, старших научных сотрудников, кандидатов и докторов наук».

Я так привыкла видеть папу всегда занятым делом, что в голову не приходит: как это он на пенсии? Как же он будет жить без работы?

– С ужасом думаю, – говорила мама, – что папу выведут на пенсию. Он ведь не может без работы. Его это погубит.

Папа тогда был еще крепким, стариком так и не стал, хотя спустя всего полгода ему должно было исполниться 70 лет. Он выходил по утрам в генеральской шинели или, чаще, в коричневом тяжелом драповом пальто, в коричневой же шляпе. Мама провожала его, стоя на балконе или глядя из окна своей комнаты. Он легко пересекал улицу, срезая угол, спешил на трамвай, подергивая в нетерпении или для придания решительности и бодрости, левым плечом.

– Ты знаешь, – говорила мама, – если папа что-то решил, то сделает. Не посмотрит ни на какие препятствия. Ему буду отказывать – он будет выходить в дверь и возвращаться через окно.

В голосе мамы чуть заметная гордость и удивление. «Как это

неинтеллигентно», – думала я.

Начиналось время, наполненное огромной работой, ее размах, масштаб я смогла оценить только теперь, при сборе материалов для этой книги. Как же много сделал в это десятилетие мой отец!

Началось с организации юбилейной болгаро-советской научной сессии Болгарской академии наук и Академии наук СССР. Из письма маме:

8.10.72. Здравствуй, Вера! Все время мое ушло на подготовку и проведение юбилейной сессии. Я ее придумал, другие считали, что не выйдет (инертные ученые не придут, советские не пришлют видных ученых, не отпустят космонавта и т. д.). Одна Цола Драгойчева верила. Невозможно рассказывать о процессе подготовки и проведения сессии – это вроде ходить невооруженному ночью по вражеской территории. Такое чувство бывало у меня. Зато отдохнул, когда приехали все русские – деловые, умные и скромные люди, такие, какими я их знаю. Болгарские академики и профессора, физики, руководители Союза научных работников открыто признают, что не помнят такой сессии (Большой зал Академии наук был переполнен). Задавалось много вопросов (в аудитории не было фарша из студентов). Говорят, что я – «солнце, которое осветило СНР» (Союз научных работников. – И.М.), и пр. «Хариевцы» и «насковцы» не только не пришли, но и людей не пустили, вопреки тому, что были приглашены. Космонавт (Быковский. – И.М.) очень симпатичный парень, на мой взгляд – он не менее обаятельный, чем Юрий Гагарин. Академик С. Н. Вернов хорошо знает Жоржика. Жалеет его: «Брат в Киеве умер». Значит, знает.

Дня за три до сессии у меня ночью начались сильные боли в средних пальцах правой ноги. Сильная режущая боль внезапными частыми ударами и судороги, потрясающие все тело. И сердце разрывалось, я с ума сходил. Перепробовал все лекарства, которые были у меня, – ничего не помогало. Всю ночь не мог глаз сомкнуть. Часов в 7 утра заснул. Проснулся в 9, думал позвать невропатолога, ибо на больном месте не было ни опухоли, ни красноты, ни жара, только кожа чуть бледная. Боли не стихли, но стали слабее и реже. Прочел всю медицинскую энциклопедию, даже твою хозяйственную энциклопедию. Часов в 12 позвонила Оленька (внучка, дочь Володи. – И.М.), пригласила обедать, было воскресенье. Я ей сказал, что не могу ходить. Она позвала Вову. Тот сказал, что подозревает кое-что, что могло быть у меня, и что он через час перезвонит. Он нашел очень хорошее лекарство – их аптека была дежурной. Оказывается, у меня был приступ

подагры. Я каждый день ел мясо – куплю 1–2 кг, запеку и ем. Вот тебе и мясо! Теперь сижу только на молоке, масле и зелени. Напугал меня этот приступ. Но к сессии я был более-менее работоспособен.

Сессия была посвящена пятнадцатилетию эры космонавтики и 55-летию Октябрьской революции. Из короткого папиного письма видно, как это трудно – организовывать международную встречу, особенно в одиночку. Особенно когда тебя не все понимают и принимают. «Хариевцы» и «насковцы» – это папины недруги. Про Наскова я знаю только понаслышке, кажется, он был прихвостнем Хариева. Про Хариева знаю больше. Я уже писала, что в Большой советской энциклопедии в статье «Болгария» на фотографии запечатлен отряд партизан в сентябре 1944 года. В четвертом ряду крайняя справа – молодая девушка с автоматом через плечо. Это – Люба Хариева. Как она гордилась свои мужем в первые годы нашего знакомства! И красивый, и бывший партизан, и успешный в работе. Помню, как мне были близки ее слова накануне отъезда мужа (его, как когда-то папу, послали учиться в Ленинград в ВМА). Маленькая, тоненькая, почти девочка, она что-то укладывала в чемодан и плакала. Мука расставания – это было мне знакомо, как знакомо и то, что она рассказывала: «Казалось, два месяца его каникул – это много, но еще до их начала я начала плакать, предчувствуя этот день. Как быстро прошло время, опять он уезжает на год!» Мы сидели с мамой, смотрели на ее тонкие обнаженные руки, на большие черные заплаканные глаза. Нам было жаль ее.

Через год или два она скажет совсем другое: «Вера Вячеславовна, я его ненавижу. Он мне изменяет, он насмехается надо мной… Он не стыдится приводить женщин прямо к нам в дом, ложиться с ними в нашу постель, я потом стираю за ними простыни…». Она развелась с Хариевым. Потом занималась общественной работой. Мы с ней потеряли связь еще до их развода. Хариев, окончив ВМА, стал папиным начальником. Я не помню, какую должность он занимал – кажется, он руководил медицинской службой в Военном министерстве. И он стал папиным врагом.

Другое дело, в которое папа погрузился целиком, связано с именем давно забытого человека. Это был первый встреченный папой русский парень, веривший в светлое будущее, его соратник по Плевне. Прошло пятьдесят наполненных событиями лет, но папе не давала покоя мысль: погибший герой неизвестно где погребен…

В предисловии к книге «Митрофан Васильевич Шелепугин» папа пишет:

«Как скромный сотрудник Шелепугина тогда и как медицинский работник и советский воспитанник в настоящее время, считаю своим долгом преподнести свои давнишние воспоминания… сопровожденные объективными данными. Для написания книги я использовал материалы Центрального государственного исторического архива в Софии, архива ЦК Советского Красного Креста, некоторых отделов Главного архивного управления при Совете Министров СССР, архива Министерства иностранных дел [СССР], [Государственной] библиотеки [СССР] им. Ленина и др.

София, февраль 1973 г.»

Потребовалось четыре года для розыска материалов, но *«полученные результаты оправдали все усилия и проделанный мною путь длиной в двенадцать тысяч километров “на земле, в небесах и на море”».*

Член Центрального бюро Союза возвращения на родину (Совнарод), бывший белый офицер, Шелепугин в то время, когда папа был секретарем комсомольской организации в Плевне, преданно служил новой России. Шелепугин содействовал развалу остатков армии Врангеля и возвращению офицеров и солдат на родину. В 1922 году при участии папы Шелепугин достал и отправил в Москву архив генерала Кутепова, командующего белогвардейскими частями в Болгарии. До весны 1923 года в Советский Союз уехали более 11 000 русских эмигрантов. По этому поводу газета «Таймс» от 10 января 1923 года писала, что значительная часть белогвардейских офицеров в Болгарии стала жертвой большевистской пропаганды.

Я приведу несколько отрывков из папиной книги.

«Любимым выражением Шелепугина было: “Я уеду, когда отправлю всех”.

Шелепугин был высокого роста, синеглазый, с застенчивой располагающей улыбкой, с русыми длинными волосами, расчесанными на пробор. Выправка у него была военная, ходил очень прямо, широко шагая, быстро, размахивая руками. Когда убеждал кого-нибудь, говорил тихо, задушевно, без жестикуляции. Но если сердился, опускал голову, сосредоточенно глядел в сторону, чтобы не проблеснул гнев или несогласие в его глазах. Он появляется незаметно, тихо и начинает осторожные разговоры с отдельными белогвардейскими военными… Чтобы умами участников белой армии завладело советское сознание, необходимы были не только уравновешенность, такт, но и умение проникнуть в сердца солдатской массы…

Тихо шепчущаяся группа, сосредоточенный вид слушателей, их задушевные, тихо заданные вопросы, благодушный вид Шелепугина – вся эта встреча походила на собеседование апостола с учениками.

В то время мы считали, что работаем очень много. Но наша занятость ни в какой мере не могла сравниться с деятельностью Шелепугина. В его кипучей деятельности не было места ни для прогулок, ни для отдыха. Когда очень уставал, он выпивал бутылку водки и ложился спать. А когда просыпался, выходил во двор дома 13 на улице «Х. Димитров», где жил, набирал ведро холодной воды из колодца, погружал туда голову и после этого работал целую ночь…»

А вот незабываемая встреча с посланцем из Москвы.

«Однажды Митрофан мне сказал:

– Хочешь увидеть настоящего большевика? Только тогда мы должны переночевать в твоем доме.

…Они разговаривали, а меня била дрожь. Большевик рассказывал о трудных конспиративных условиях в Югославии, о беспокойстве, которое создают белогвардейские террористические организации в Болгарии».

Потрясение от встречи было столь сильным, что папа запомнил мельчайшие подробности – утром, когда его мать принесла горячие лепешки, гость сказал: «А это татарские лепешки, я их ел недавно в Бессарабии».

«Как-то вечером Шелепугин прибежал в партийный клуб возбужденный, позвал меня и на бегу рассказал, что, по сведениям их “разведки”, в городе находится член террористической организации, что он пытается скрыться, но мы должны его поймать. Мы бежали по темным улицам города, выбежали за город, прошли напрямик через виноградники. Быстрота, с которой двигались, большая сосредоточенность, то, с каким напряженным вниманием Митрофан всматривался в темноту, как прислушивался, – все указывало на то, что он очень заинтересован в поимке террориста. Но мы опоздали. Террорист скрылся. После этого Шелепугин ходил вооруженным, и его охраняли два человека из Совнарода, а часто и наши комсомольцы…»

Его арестовали 12 июня 1923 года, на следующий день после того, как первое антифашистское восстание было подавлено. А через три недели, 6 июля, после обеда в городе ударил набат: сообщили, что найден неопознанный труп около «Кожухарской чешмы»[27].

Шелепугин лежал лицом к земле, крови не было. Небольшие раны на ногах, возможно, от скальпеля, и шесть глубоких ножевых ран на спине. Всего 26 ножевых ранений. Его пытали, он молчал. Последний, смертоносный удар был нанесен прямо в сердце. *«И до сих пор не знают точное место, где лежат его кости – где-то рядом с кладбищем».*

Пятьдесят лет папа хранит в памяти все, что связано с Шелепугиным. И едва появляется возможность, при содействии советского посольства в Софии и Исполнительного комитета[28] Советского Красного Креста папа едет в родной город Шелепугина – Воронеж. Там выступает по местному телевидению, встречается с его родными и близкими. Узнает адрес двоюродной сестры в Москве, связывается с сестрой Шелепугина на Украине, с племянницей в Эстонии и с невестой в Латвии, Серафимой Евтимовной Рябовой. Папа находит фотографию, по которой заказывает скульптору памятник в Плевене, наконец, пишет и издает о нем книгу (на болгарском языке). Смутно вспоминаю, как папа был обрадован, когда ему удалось разыскать в архиве нужные документы. В частности, телеграмму протеста народного комиссара иностранных дел СССР Чичерина болгарскому министру-председателю Ал. Цанкову от 10.8.1923 года (Чичерин требовал расследования гибели М. В. Шелепугина, компенсации его родителям и пр.), обращение его заместителя Литвинова к Фр. Нансену[29], ответ Нансена, заявление арестованного М. В. Шелепугина в Плевенской окружной прокуратуре от 3.7.1923 года, рапорт полномочного представителя Советского Красного Креста в Болгарии от 9.9.1923 года. Он выявил и статью «К убийству Шелепугина» в газете «Новая Россия», а также некролог в газете «Воронежская коммуна». Именно после этого в 1972 года удалось получить согласие Советского правительства на создание памятника.

Из письма маме:

20 ноября 1973 г… В Плевене сделали очень хороший скверик для бюстапамятника Шелепугина. После открытия его плевенские комсомольцы каждый вечер в течение целого месяца стихийно группами ходили смотреть его…

Тогда же папа издал книжку – «Миссия Советского Красного Креста в капиталистической Болгарии». Видимо, собирая материалы для книжки о Шелепугине, папа натолкнулся и на другие интересные факты.

В это время родители уже жили на улице Галичица в девятиэтажном доме, мама была счастлива. Они переехали в 1966 году, когда хозяйка наконец смогла по суду выселить их из своего

дома на Мосуле, где они прожили 20 лет. Папа купил небольшую квартиру; выбирая этаж – пятый, он руководствовался только возможностью любоваться прекрасным видом из окон.

– Для папы, ты знаешь, – говорила мама, – самое главное – вид.

Родители тогда еще были крепкие, мама не могла ожидать, что именно пять этажей, сто ступенек, окажутся для нее роковыми.

А вид действительно был прекрасен – на Витошу и на ее предгорья. По вечерам подножие Витоши усеивалось огоньками дач и сел, и мой сын Сережа, потрясенный в детстве моими рассказами про вулканы и картиной «Гибель Помпеи», внимательно присматривался к ним: не собирается ли гора извергаться? Как бы между прочим, он заводил разговор о том, была ли Витоша вулканом.

– Да, да, – отвечали мы, подогревая интерес к естествознанию.

– А может вулкан проснуться? – пугался он.

– Что ты! – спохватывались мы. – Витоша – давно потухший вулкан, она была вулканом, может, миллион лет назад.

Квартира была маленькая – всего две комнаты с большим длинным коридором, уставленным до потолка книжными полками, ванной, отделанной синим кафелем, и двумя балконами. Но главное – было центральное отопление и горячая вода. Мама была рада и, как когда-то очень давно, при моем рождении, запела.

– Нам с папой хватает, – говорила она. – И убирать уже ту квартиру было трудно.

Но теперь раз в месяц к маме приходила женщина и очень тщательно, по-болгарски, все выметала, скоблила, мыла ковры и т. д. В папину комнату попала большая часть прежней мебели. Кроме дивана, на котором он спал, посередине комнаты стоял большой обеденный стол, за ним, у огромного окна – письменный стол, слева – книжный шкаф, справа – буфет, два кожаных кресла (кожаный диван поставили на кухню). В маминой комнате стояли две кровати; над одной из них (напротив той, где спала мама) висел «иконостас» (как говорил папа) – фотографии мои и моих детей. Стоял маленький круглый стол под флорентийской люстрой, деревянной, но позолоченной под бронзу (сейчас она у меня), в углу у окна – столик с телевизором. Еще был большой шкаф из светлого дуба, откуда мама вынимала пахнущее лавандой постельное белье. Из него ночью 1 января 1980 года я выну мамины вещи, чтобы одеть ее…

В начале 1970-х мы (моя семья – Володя, Сережа и Геша)

приезжали в Софию, и я сразу же устремлялась в Горну Баню. Там, в предместье Софии, на горе Люлин, папа выстроил домик, «бунгало» – виллу «Вера». Мы его красили олифой, выложили дорожку камнями. Для меня это был рай. Жизнь в Горной Бане на протяжении нескольких лет была счастьем. По утрам София внизу тонула в жарком мареве.

– Будет тридцать два градуса сегодня, не меньше, – говорила мама.

Жара ее и удерживала на даче. Она не любила деревни, любила город. Ее терзала тоска. Она всегда настигала ее ранним утром, часа в четыре, и пока она не принималась за дело, тоска не отступала. А здесь по утрам не надо было бежать в магазин, торопиться с завтраком, потом идти на базар…

Солнце где-то за Витошей, Витоша нависает зеленой массой, внизу белеет София в мутном мареве.

– Сегодня опять жара, – говорит мама.

Августовское солнце заливает желто-белую траву. Трава сверкает на солнце, слепит глаза. Двор уходит вниз, кончается забором, за которым виднеется двухэтажный дом под красной черепичной крышей. В доме живет всегда спешащий куда-то, рыжий, с всклокоченными волосами Пешо. Иногда мы переговариваемся с ним через забор. Далеко внизу лежит голубоватая София с торчащими, как спичечные коробки, высокими белыми домами, гораздо красивее отсюда, чем вблизи. В саду у нас еще нет деревьев, только у самого забора, за которым никто не живет, – большая плакучая ива. В ее тени мы по вечерам пьем чай. Да на границе с Пешо – маленький, еще тщедушный грецкий орех, но листья уже источают терпкий, ни на что не похожий запах. Рядом с калиткой – кипарис, он уже большой. Все деревья посажены папой. Под домом цветут розы. Огромные, прекрасные розы.

Я думаю, что общий человеческий закон – чем красивее и благороднее человек, тем меньше он требует – распространяется и на розы. Розы – это единственные цветы, которые прижились у нас.

Из домика доносится концерт Рахманинова – это мама включила радио и сейчас в маленькой кухоньке готовит обед. И я знаю, что уже остывают коржи, смазанные кремом, – каждый день мама печет торт.

Тишину нарушает побрякивание колокольчиков. Нет, кроме крика петуха, есть еще на земле звук, несущий умиротворение и радость, – это звяканье колокольчиков: поблизости пробирается стадо овец. Сережка с Гешкой где-то бегают, мне не надо идти с ними гулять, я замираю в тени дома и впитываю тишину.

Посередине двора стоит наша палатка – там спим мы с Володей. По ночам сквозь занавески, пошитые мамой, с веранды на нас льется уютный красно-желтый свет. Веранда большая, обшита досками, на стене висят три картины тети Вари – пейзажи, писанные маслом. Открываешь дверь – и замираешь: веранда, кажется, парит над землей, наполненная солнечным воздухом, и будто шепот солнца – непрерывное жужжание пчел. Посередине стол, покрытый зеленой скатертью. Папа сидит на раскаленной веранде – пишет.

– Здравко, как ты можешь? Неужели не жарко?

Нет, не жарко, и после обеда на той же веранде папа ложится спать. Мы разбредаемся кто куда, а вечером, когда жара спадает, идем в горы. Поднимаемся наверх, проходим последние дачи, потешаемся над названием улицы – «Буйный поток» – и выходим на поляну. Идем тропинкой. Солнце спускается за Софией, а мы идем в кабачок, одиноко стоящий на поляне у крутого подъема к вершине Люлина. Сережка и Гешка сбегают обратно вниз, мы идем не спеша.

Пройдет всего года три, и мама уже не сможет не только подняться сюда, но даже пройти всего несколько шагов от дома к ручью, не обмелевавшему даже в жару под сенью широколиственных вязов.

– Мама, там так красиво, всего несколько шагов, и подъема почти нет, – упрашиваю я.

– Но все-таки есть, – улыбается мама. И она не идет.

По вечерам на веранде мы играем в домино, мы с мамой всегда проигрываем. Мирно звучат цикады, в открытую дверь вливается прохладный ночной воздух.

– Здравко, ты закрыл калитку на засов?

Мама и папа. Мысли о смерти нет, есть только наслаждение минутой покоя, тихой ночью, черным звездным небом, мигающими внизу огоньками города и тишиной, разлитой вокруг. Иногда, подчеркивая тишину, за деревьями, во дворе через дорогу вдруг звякнет посуда.

Вовка и Таня приезжали редко. И всегда Таня начинала разговор, который бесил меня:

– Вот Арнаудова приехала из Сирии и купила прекрасный апартамент…

На следующий год Арнаудова, которую никто из нас не знал, покупала «луксозную» легковую машину. В то время Таня постоянно вступала в спор, ругая все русское (может, от ревности), не разрешала своей дочери Оле говорить по-русски. Очень ревниво относилась она и к знаниям и сообразительности моего Сережи. Помню, мы спускались с Люлина (у подножия этой

горы и была расположена наша дача). Уже темнело, я что-то спросила у ребят, Оля не знала, а Сережа ответил сразу. И тут я с ужасом заметила, как Таня, продолжая идти, как ни в чем не бывало, молча щиплет Олину ногу, раз… другой… третий… А та молчит. Мы спешили вниз, а Таня все щипала и щипала Олину ногу. Оле было шесть лет.

Но приближается день отъезда. Стук поезда, проходящего внизу вечером, всегда в одно и то же время, болью отзывается во мне – скоро, скоро все кончится, пора уезжать. И тоска, тоска до физической боли сжимает мне сердце.

Я просыпаюсь в палатке, выглядываю наружу, всматриваюсь в небо, и сердце разрывается от жалости: «Мама опять остается одна». В голову не приходит, что мама вовсе не одна, что она уже устала, что после нас они с папой едут в санаторий. Меня мучают кошмары по ночам. А однажды, на рассвете, я проснулась от пения – над палаткой пропорхнула птица. Жаворонок или соловей? Мне всегда казались странными слова Джульетты: «Нет, то не соловей, то жаворонок звонкий, предвестник утра». Как можно сравнивать? Оказалось – можно.

И опять я живу воспоминаниями о лете. И наконец, оно приходит. Эти счастливые годы, такие быстротечные, оставляют яркую память и редкое ощущение истинного счастья на всю жизнь. Всего несколько лет…

В те же 1970-е папа организовал поездку в Австрию, по местам, где в двадцатые годы болгарские студенты активно участвовали в революционной борьбе. Доктор Методий Кузманов, который был секретарем редакционного комитета бывших антифашистов в Австрии, вспоминает:

«Прошло много лет с тех пор, как работали в Граце. Болгария имела многих атташе по печати и полномочных министров, но ни один из них не сообразил рассказать о болгарских студентах в эти тревожные годы и о риске, сопровождавшем их работу. Единственно, профессор Здравко Мицов на одной из наших ежегодных встреч предложил экскурсию в Австрию в 1975 году, и пять человек поехали в Грац и Вену, чтобы встретиться с австрийцами-антифашистами, с которыми работали еще в то время. Это путешествие останется памятным в моей жизни разговорами, встречами, мы отсняли 1500 метров киноленты и сделали множество магнитофонных записей, которые находятся в Музее сопротивления в Болгарии».

Подошло время заняться и наследием Пирогова. Из папиных записок:

«Теперь (в 1970-е. – *И.М.) я решил работать над вопросами*

участия русских медицинских работников в освобождении Болгарии от османского ига. Разыскал все места, где Н. И. Пирогов побывал в Болгарии во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. При финансовой помощи Болгарского Красного Креста были воздвигнуты в память Пирогова 26 обелисков и несколько ротонд с надписями. Единственный самостоятельный, поставленный болгарами медицинский памятник – среди 400 русских памятников в Болгарии – это памятник в Плевене».

Да, в освобожденной от турецкого рабства Болгарии все памятники павшим воинам поставлены самими русскими – и только в Плевене, доверху наполненный костями погибших, высится прекрасный мавзолей, построенный на средства болгар. Папа решает, что следует напомнить о том далеком прошлом.

Как мы издевались над ним! «Ох уж этот твой Пирогов, – говорила мама. – Житья от него нет». Папа в это время ездил по всей стране, с точностью военного изучал местность, историю и расставлял небольшие пирамиды из фанеры с красным крестом наверху и надписью, сообщающей, что здесь был Пирогов в 1877 году, здесь – в 1878-м. Здесь была больница, где он сам оперировал. Папа мог говорить о Пирогове часами, но слушали мы вполуха. Сейчас, наверное, уже ничего не осталось от этих обелисков, да и что могло остаться – крашеная красная фанера с красным крестом и полумесяцем наверху, за железной резной решеткой?

Доктор Кирилл Игнатов, многолетний министр здравоохранения, впоследствии – председатель Болгарского Красного Креста, вспоминает:

«В связи со столетием участия великого ученого-медика академика Н. И. Пирогова в Русско-турецкой войне и пребывания его в Болгарии, по инициативе и при активном участии профессора Мицова был создан Пироговский комитет.

Профессор Мицов нашел и описал путь Пирогова в Болгарии и определил места его пребывания. В 1974 году предложил ЦК Болгарского Красного Креста создать и поставить обелиски, которые и были поставлены в 1977 году на всех местах, где были перевязочные пункты и лазареты – в Плевенском, Русенском, Велико-Тырновском округах, которые посещал Пирогов. Под руководством профессора Мицова был создан музей на месте, где в 1877 году была расположена русская военная больница № 69, около села Бохот, в которой Пирогов работал наиболее продолжительное время. Музей "Полевая больница" был торжественно открыт осенью 1977 года. Профессор Мицов – организатор и сценарист документального фильма о Пирогове,

снятого в СССР и Болгарии Красным Крестом».

У меня хранятся четыре книги о Пирогове, написанные папой, отражающие разные этапы деятельности великого хирурга, профессора Военно-медицинкой академии. Но вот – очередное потрясение, когда я недавно, в феврале 2006 года, узнала, что папа написал сценарий для документального фильма о Пирогове. Раздался телефонный звонок:

– Завтра по «Культуре» будут показывать фильм о Пирогове. Здравко Васильевич – сценарист этого фильма. Ты знаешь?

Я не верила.

– Ты что-то путаешь.

И вот теперь, изучая попавшие в мои руки папины письма и воспоминания о нем, я узнала: да, все точно, папа писал сценарий, и фильм был снят… А тогда, когда он этим занимался, – тогда я неслась, летела, спешила куда-то, о папиной жизни не зная ничего…

Где-то в начале 1970-х мы встречали приехавших из Киева мою двоюродную сестру Таточку с Госей, ее вторым сыном, ровесником Сережи. Софийский вокзал был для меня связан только с горестными расставаниями и никогда со встречей. Радость встречи начиналась с Русе, к Плевену начиналось нетерпение и достигало апогея, когда, проскочив 23 туннеля, поезд выскакивал в софийскую долину… Колеса стучат весело, мелькают вагоны, стоящие на запасных путях, вот уже и маленькие грязноватые улочки, маленькие домишки, мелькнул трамвай… Мама с растерянными, радостно-напряженными глазами… Вокзала не существует, вокзал кончается в тот момент, когда я выскакиваю на перрон, минута – не больше. Зато прощание – невыносимые муки на перроне, вглядывание в лицо мамы… Всегда кажется, что я вижу ее в последний раз. Наверно, я перенесла смерть мамы и не умерла потому, что боль прощаний повторялась ежегодно – с 1952 по 1978 год. И после ее смерти эта боль растянулась на годы и родила во мне ощущение двух параллельных миров, существование которых я чувствовала очень остро: мира, где находилась я, и мира, куда ушла мама.

Но тогда я стояла рядом с мамой, спокойно вглядываясь в мелькавшие мимо вагоны. Через несколько дней после встречи папа увез всех нас в Плевен, оставив маму в Софии. Нас приняли как гостей – кормили в прохладном ресторане, поселили в домике в Кайлыке, под Плевеном. Это был небольшой одноэтажный дом, предназначенный для отдыха партийных деятелей – пропитанный палящим солнцем, с тихими голосами прислуги, с жужжанием пчел за воздушными занавесками, с

яркими болгарскими шерстяными коврами. Мы провели в этом доме дня два, а потом папа повез нас в горы. Нам предоставили маленький автобус. Будто спущенный только что с конвейера, автобус сверкал, подушки были чистыми, мягкими. Шофер, молодой парень, тоже как новенький, радостно улыбался, будто ему доставляло необыкновенное удовольствие везти нас в горы.

Шофер едет очень быстро, но аккуратно по шоссе Плевен – Ловеч. По дороге папа попросил свернуть на проселочную дорогу. Было видно, что папа неоднократно бывал здесь. Недоезжая села Бохот, он велел остановить машину. Мы вышли неохотно – собрались в горы, а тут папа – вечно он со своими рассказами. И жара.

Мне в голову не приходит, что это и есть папина Родина, что он вырос здесь и только 18 лет провел в России. Я-то полагаю, что Плевен для него – почти как для меня: интересно, но не родное. А село Бохот – и вовсе непонятно зачем.

– Бохот, – говорит папа и усмехается. – Бохот… При турках до освободительной войны жили в землянках. Но село было большое, до двухсот жителей, и школа была.

Папа говорит, а я смотрю на село. Большие двухэтажные каменные дома, красные черепичные крыши. Дома мне очень нравятся, чувствую, как в них тихо и прохладно, окна плотно задернуты белыми полотняными шторами, в комнатах на полу коврики, в полутемной кухне отливают золотом медные котелки… Я оглядываюсь в поисках тени – мы стоим прямо на дороге, неподалеку от автобуса. Папа в форме, расстегнул китель, снял фуражку, медленно вытирает голову.

– В Бохоте было много вязов, русский художник нарисовал под этими вязами отдыхающих русских офицеров, и сейчас есть старинный вяз, он объявлен историческим памятником и охраняется.

Папа показывает куда-то вдаль, опять снимает фуражку, в голосе я слышу вопрос – не хотим ли посмотреть? Но никто не двигается с места. Из всех только, кажется, Татка слушает внимательно. Сережа стоит со скучающим видом, крутит какую-то травинку во рту, смотрит рассеянно. Может, что-то и слышит, но непохоже. Гося, с очень аккуратной головой («европейский череп» – говорит, смеясь, Татка), светловолосый, смотрит полусонными голубыми глазами.

Папа продолжает:

– Бохот вошел в историю Русско-турецкой войны тем, что во второй, решающей фазе войны стал центром действующей русской армии. Здесь располагалась главная квартира главнокомандующего русской Дунайской армией с 8 октября по 7

января 1978 года. Вот там была коновязь, поблизости – юрта русского главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича. Можно и сейчас увидеть множество окопов и землянок того времени, остатки, конечно, вокруг села. В Бохот приезжали Гурко, Тотлебен, Скобелев, Куропаткин, а также военный корреспондент Немирович-Данченко…

– Немирович-Данченко? – переспрашиваю я. – Это кто же? Тот самый?

Папа кивает, не останавливаясь. Он понимает: остановись – и все сразу поплетутся к автобусу.

– …Военный историк Сологуб и художник Верещагин. Сюда часто приезжал до падения Плевена царь Александр Второй, из главной «русской квартиры», что находилась в селе Пордим. В Бохот доставляли на допрос плененных турецких пашей.

«Ну, папа увлекся», – думаю я и оглядываюсь, где бы присесть. Но присесть негде, автобус стоит поодаль, хорошо, что шофер догадался поставить его под дерево, а вот мы стоим на солнцепеке, и кажется, папа так и будет говорить. «А лицо красное, – продолжаю думать я, – но он не замечает, он весь ушел в то время, он видит, как привозили на допрос какого-то турецкого пашу».

– Махмед Хевзи, – говорит папа.

Господи, как это умещается в голове и зачем мне-то это надо? Сережка уже давно сел на жухлую траву, и рядом с ним Гося. Они время от времени взглядывают на папу, но я не думаю, что они что-нибудь слышат.

– Сразу после взятия села Горни Дыбник, 12 октября 1877 года, привезли сюда на допрос этого пашу. Но самое главное, друзья, почему я остановился и мучаю вас на жаре? Я здесь хочу организовать музей-парк в честь Пирогова.

Папа хмыкает и наконец умолкает.

– Да, – говорит он после молчания, – здесь была больница, номер 69. От Балкана (Арабаконак, Мургаш[30]) до Плевны другой русской больницы не было.

– Где была больница? – спрашивает то ли Татка, то ли Володя.

Папа оживляется:

– Вот там, на южной стороне склона. И до сих пор эту местность называют «болница».

Папа оглядывается, он рад, он рад всему – и тому, что мы стоим и слушаем, и тому, что есть кому рассказать, и летнему утру, и прекрасному виду, открывающемуся на цепь балканских гор, он рад, и лицо его оживлено и молодо.

– Эта больница под номером 69 принимала тысячи раненых.

При взятии сел Горни Дыбник, Телиш… При взятии Плевена эта русская больница была переполнена турками. С 15 октября Пирогов лично оперировал раненых в Бохотской больнице.

– Сколько же ему было лет? – спрашиваю я.

Я не очень доверяю точности папиного изложения. Родился Пирогов в 1810 году, в 1877-м – 67 лет?

– Он сортировал, эвакуировал, перевязывал, а в трудных случаях сам оперировал. Таким образом, через его руки прошло за две недели до пяти тысяч раненых.

– Тут, куда ни глянь, в окрестностях Плевена Пирогов бывал везде.

«Господи, – думаю я, – папа, почему ты так прилепился к Пирогову, который жил сто лет тому назад? Зачем ты хочешь открыть музей-парк? Кому все это нужно? Пройдет пять лет, не больше, и пирамидки сгниют, надпись сотрется, ограду снимут и поставят у себя во дворах. Никто, никто, кроме тебя, не вспомнит, что здесь оперировал великий хирург Пирогов…». Смотрю на папу и вижу, что он совсем не думает об этом. Его увлекает перспектива увековечить имя великого хирурга, он считает это своим долгом. Своим долгом перед историей, перед Военно-медицинской академией, перед русскими воинами, положившими столько голов здесь за освобождение Болгарии. Даже сейчас я не произношу: «за *его* родину» – нет, по моему глубокому убеждению, его родина – это Россия. Наша совместная жизнь началась в 1934-м в Ленинграде. Нет, он русский. Я смотрю на папу, и мне его жаль. Я не слышу, о чем он так сейчас горячо говорит, но зато вижу, что никого это не интересует, все устали и пора ехать.

– Папа, поехали, – говорю я. – Поехали, жарко.

Папа чуть приметно вздрагивает, будто я протянула канат на его пути и он с разбегу останавливается. Оглядывает всех вопросительно и на всех лицах читает желание отправиться в горы. Папа еще раз оглядывает местность, что-то оценивает, но мы уже гуськом медленно направляемся к автобусу.

…Помню, как в Софии, в квартире на Галичице, за ужином, папа говорил, ясно сознавая, что для нас это не представляет интереса, но говорил возбужденно, немного хриплым, чуть задыхающимся голосом:

– В Бяла была квартира императора Александра… После форсирования Дуная у Свиштова 27 июня 1877 года войска разделились на три отряда, на три главных направления: западное, восточное и южное (главый, или передний отряд). Восточным командовал наследник престола. Первой задачей было занять оборонительные позиции на реке Янтра: захватить

каменный мост через Янтру и помешать туркам укрепиться в селе Бяла. И с пятого июля, когда взяли село, до декабря оно было главным опорным пунктом восточного отряда. Когда русские взяли село Бяла, то болгары вышли навстречу на мост Кольо Фичето. Тожественно встречали.

Папа умолкает и о чем-то задумывается. Я вижу, как Володя отводит глаза и хочет встать из-за стола, но не решается. Гешка не слушает, положив голову на стол, катает машинку, внимательно ее рассматривая. Мама то входит, то выходит. Она ставит чай, приносит еще горячий пирог.

– Здравко, есть будешь или только пить чай? – спрашивает мама.

Папа вскидывает голову.

– А что есть? – с интересом спрашивает он.

– Ну что?.. – В голосе мамы еле слышное раздражение. – Брынза, кашкавал… что еще?

– А от обеда что-нибудь осталось?

– Разогреть? – спрашивает мама, и в голосе я уже не слышу раздражения. Папа доволен. Кивает. Он обводит нас взглядом и продолжает:

– До тринадцатого августа в селе Бяла жил Александр Второй, военный министр Милютин, граф Игнатьев, художник Ковалевский, историк Сологуб, врач Боткин…

– Граф Игнатьев – это тот, чья улица?

– Тот, – недовольно отвечает папа, он не любит когда его перебивают. Но Володя не замечает:

– А «Пятьдесят лет в строю»[31] – это его книга? Или его сына?

Мы подсчитываем… Но папа не хочет отклоняться.

– Главная русская квартира расположилась в доме местного турецкого управляющего. На втором этаже – император, военный министр, придворный лекарь, на первом – генералы. Полковники жили в палатках.

Папа увлекается, спешит как можно скорее и полнее донести то, что знает, донести, чтобы запомнили… Он повышает голос и говорит отчетливо, все быстрее:

– После военного совета 2 августа 1877 года происходят изменения – передний отряд направляется к Балкану, Шипке, – поясняет он, чтобы мы поняли, – восточный занимает оборонительную позицию, а западный прекращает наступление. Вызывают русскую императорскую гвардию из Петербурга. Девятого августа жители Бяла устраивают известное «беленско хоро».

«Что такое? Плясали они, что ли? И почему оно известное? – но я не спрашиваю, я слушаю, как мама на кухне гремит

кастрюлей, тарелками, и украдкой смотрю на часы. Поздно, уже скоро надо ребят укладывать спать. Но папа увлечен:

– На нем присутствует лично Александр Второй. В первые дни ноября Пирогов приезжает в Бяла. Здесь он проверяет временную больницу номер 56, она была расположена на левом берегу Янтры, южнее моста Кольо Фичето. Умерших от тифа, по совету Боткина, топили вместе с носилками в Янтре. В Бяла умерли от тифа русские сестры милосердия Мария Неелова и Юлия Вревская.

– Разве они не в Плевене умерли? – Мне кажется, папа что-то путает.

– Нет, в Бяла.

– Да я же помню, их могила в Плевене, – настаиваю я. – Еще в первую зиму, как приехали в Болгарию, мы с Норой ходили на могилу, я помню надпись: «Баронесса Юлия Вревская»…

Папа усмехается:

– Ты что думаешь, я могу спутать, где похоронены баронесса Вревская и Неелова?

Он не сердится, только удивляется. Мама приносит и ставит перед папой тарелку с фаршированными перцами.

– Здравко, детям пора спать.

Я смотрю на маму и вижу, как она устала, но не встаю, чтобы помочь. Мы пьем чай, потом мама убирает посуду, складывает в раковину, я укладываю детей в маминой спальне и, когда захожу на кухню, вижу маму, лежащую на маленьком кожаном диване, ноги задраны на валик. Мама смеется:

– Нет сил раздвинуть диван. Буду так спать.

– Мама, дай я раздвину.

– Нет, мне так удобно. Потуши свет, Ингочка.

У папы еще долго горит зеленая настольная лампа, он возбужден разговором и что-то то ли читает, то ли пишет.

«По случаю столетия пребывания Пирогова в Болгарии в начале 1977 года в Плевне была проведена юбилейная болгаро-советская научная сессия. Был показан новый документальный фильм о Пирогове, розданы юбилейные Пироговские бронзовые медали и был открыт парк-музей Пирогова в окрестностях Плевена».

Инициатором и главным организатором и этой юбилейной сессии выступает мой семидесятипятилетний отец. Подготовка длилась долго. Необходимо было найти средства, все согласовать… Из переписки с профессором ВМА генерал-лейтенантом А. С. Георгиевским:

5 марта 1976 г., Черноголовка.

…В Москве я говорил по пироговским делам с Г. Д. Петровым, т. к. большое письмо, которое я привез Б. В. Петровскому[32] *от болгарского минздрава, Петровский передал Петрову с указанием представить соображения по участию советской стороны в конференции в октябре 1977 г. в Болгарии… Проф. Петров считает вопрос празднования 100-летия пребывания Пирогова в Болгарии очень важным, считает, что участие ВМА должны устроить через маршала Гречко*[33]*. Он – Петров – считает, что Петровский должен занять очень важное место и как хирург, и как председатель Пироговской комиссии в СССР в деле празднования Пирогова в Болгарии.*

13. 9. 77.

Дорогой Анатолий Сергеевич!

…Сегодня получил список участников нашей Пироговской сессии, тезисы докладов. В связи с этим я Вас прошу выслать мне окончательные формулировки докладов и их авторов, сообщить продолжительность докладов, характер их иллюстраций. По одному экземпляру каждого доклада необходимо оставить нам. Если сможете привезти А. М. Карпучека, то пусть он возьмет, какие возможно, экспонаты Вашего музея для демонстрации, а еще лучше, если сфотографирует уголок Пирогова Вашего музея и оставит его нам для фонотеки болгарского «Парка-музея Пирогова». Я снова прошу Вас сообщить форму одежды Ваших военных участников в нашей сессии. Жму Вашу соавторскую руку. Здравко Мицов.

Ответ Георгиевского:

22 сентября 1977 г.

Дорогой Здравко Васильевич!

Сегодня получил ваше письмо и сразу отвечаю. Как я Вам уже сообщал, от нашей академии делегируются три профессора: Н. Г. Иванов, А. С. Георгиевский, И. С. Колесников. Темы докладов определены двоим делегатам: Иванов – «Участие Санкт-Петербургской медико-хирургической академии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.»; Георгиевский – «Боевое содружество русских и болгарских медиков в освободительной войне на Балканах в 1877–1878 гг.». Каждый доклад рассчитан на 25 мин.

Кстати сказать, в сем докладе я намерен сказать, что он базируется на материалах исследования, завершенного совместно с Вами.

…И последние два вопроса:

1. На конференции мы будем участвовать в военной форме.

2. Фоторепродукции пироговских экспонатов, имеющихся в академии, мы привезем с собой в дар «Парку-музею Н. И. Пирогова».

Крепко обнимаю. Прошу передать сердечный привет Вере Вячеславовне. Надеюсь на скорую встречу.

У меня случайно оказалась фотография того времени – папа, с несколькими военными в генеральских мундирах, профессорами ВМА, стремительно шагает по летному полю. Такой спаянной дружбой, таким крепким содружеством и единением веет от этого мимолетного снимка, сделанного кем-то впопыхах!

У меня есть несколько документов и писем, немного отражающих совместную деятельность папы и Анатолия Сергеевича Георгиевского. По случаю столетия освобождения Болгарии папа совместно с Георгиевским написал монографию – «Медицинская общественность и военная медицина во время Освободительной войны на Балканах в 1877–1878 гг.». Книга была прекрасно издана, большого формата, на прекрасной мелованной бумаге, с рисунками, картами сражений. Впоследствии она была переведена на болгарский язык.

5 марта 1976 г, Черноголовка.

Я вернулся из Ленинграда 14 февраля, а 16-го заболел ангиной (хотя у меня миндалины давно удалены и я десятилетиями не болел ангиной, но на месте миндалин оформилась злостная лакунарная ангина). Я почти три недели был вне строя. Однако нет худа без добра: я успел за время выздоровления написать в окончательном виде две главы – 3 и 6.

Из Болгарии вышлю Вам страницы некоторых источников, цитированных в тексте. Думаю к главе 3 дать карту – Болгария – Дунай – Константинополь, с обозначением мест, о которых идет речь в тексте 3 главы. К 6 главе думаю дать фотографию Эрисмана и Преселкова (а лучше здесь дать фотографию Мляковского, но у меня ее нет). Разговаривал с проф. Петровым Г. Д. Он считает нашу книгу очень важной, своевременной… Считает, что очень удачно получилось с участием болгарина…

Сегодня ночью мы с Верой Вячеславовной садимся в поезд и через Вадул-Серет едем в Софию. Вам обоим мы посылаем самые сердечные поздравления и благопожелания. Ваш преданный Здравко Мицов.

3.4.1976

Дорогой Здравко Васильевич!

Сейчас идет чистовая перепечатка 14 главы, о которой я Вам писал в последнем письме. Меня очень беспокоит Ваше молчание. Времени для завершения нашей работы над монографией осталось очень мало. Сообщите мне сразу, когда и каким образом послали мне весь остальной материал. Сердечный привет Вере Вячеславовне. Крепко жму руку Вашу.

Беспокойство не было напрасным: случилась беда с мамой, и папа надолго отошел от дел и замолчал.

Да, в марте 1976 года папа умолк, умолк надолго. Его настигает удар судьбы, это первый звоночек… какой там звоночек – обвал! Он вдруг осознает, что ничего дороже мамы у него нет. Жизнь кончается.

По возвращении из Москвы в Софию случилось то, что описано в единственном оставшемся от мамы письме. Сохраняя на протяжении всей жизни письма папы и мои, мама уничтожала свои (в Софии порвала все сохраненные письма, адресованные папе, в Черноголовке все сохраненные письма, адресованные мне). Я нашла лишь одно, спустя тридцать лет после описываемых событий, среди писем, адресованных маминому брату Жоржу, в пачке, перевязанной ленточкой:

Дорогие Тася и Жоржик!

А тут случилось со мной ночью. Было у меня высокое очень давление. Вызвали «скорую помощь». Сделали укол. Я ночью пошла в уборную и упала, потеряла сознание, ударилась о дверь и разбила голову. Здравко, увидя меня такой, в крови и без дыхания, так кричал, что прибежали соседи и сверху и снизу. Заставил 10 дней лежать. Рана на голове заросла. Сегодня ровно три недели. На улицу еще не хожу. Здравко так испугался. Я его просто не узнаю. Все сидит со мной и часто плачет. Это так на него не похоже. А нежности, что я вижу от него сейчас, я не видела за 45 лет столько. Никогда не был так нежен, даже в молодости. Никогда не уходит из дому, чтобы меня не поцеловать. Он говорит, что надломилось у него что-то. Бесконечно вспоминает об этом. Я без слез не могу на него смотреть. «Много видел страшного в тюрьмах, видел, как били, но ничего страшнее этого не видел», – говорит. – «Это я тебя воскресил. Я так кричал, что вытащил с того света!»

Хорошо, что Володя здесь. Он заходит часто и все чем-нибудь развеселит нас. А Здравко забросил всю свою работу. Вот такие дела у нас невеселые. Может, завтра выйдем немного погулять. Я раньше думала, что если я умру, то Инге будет тяжелее всего, и боялась за нее. А теперь, глядя на Здравко, испугалась. Ну, вот и

все. Инге ничего не говорите. Целую вас. Вера.

В марте, по возвращении из Черноголовки, у мамы поднялось давление. В тот страшный вечер, в ту страшную ночь меня не было рядом. Чужие люди поднимали маму с пола, переносили на кровать, оттирали пол от маминой крови, успокаивали папу. Папа лежал на полу рядом с мамой и страшно кричал:

– Вера! Вера! Не может быть, чтобы ты умерла! Этого не может быть!

Мама слышала – где-то далеко-далеко чей-то голос, страдая, кого-то звал.

– Вера! Вера! – Папа дул маме в лицо, целовал, кричал в рот и в уши. Люди, сбежавшиеся на крик, говорили, что это было душераздирающее зрелище. Папу с трудом оторвали от мамы, он встал, набрал номер:

– Вовочка, мама умерла.

Вовка с этой мыслью прожил полчаса, пока добежал до их дома. Соседи перенесли маму на кровать. Кровь все шла, вся подушка была пропитана кровью. Папа думал, что кровь из ушей, из носа. Потом понял, что рассечена голова. Когда Вова прибежал, мама уже пришла в себя. Вова протер ей лицо. Был совершенно белый, но присутствия духа не потерял. А папа плакал и не мог остановиться. И потом, если вспоминал – начинал плакать.

Это было началом конца. И хотя и папа и мама понимали, что конец неотвратимо надвигается, все же не думали, что он наступит так скоро. Одна из главных милостей Божьих – это то, что Он скрывает от нас будущее.

Семидесятые годы начинают один за другим забирать близких.

В 1970-е умирают дядя Петр и тетя Оля Мицова – его жена и папина сестра.

Дядя Петр, веселый, добрый и обаятельный человек, умер летом 1972-го. В это время я с семьей отдыхала под Варной, меня вызвали запиской. Я помчалась в Варну, в новую квартиру на втором этаже небольшого трехэтажного дома, в переулке у главной улицы, как раз напротив дома, где мы проводили лето 1947–1948 годов. Квартиру тетя Оля и дядя Петр построили незадолго до этого. Тогда действовал закон – нельзя было иметь более одной комнаты на человека. И люди исхитрялись – строили большие комнаты, ставили раздвижные двери или отгораживались плотными занавесями. Так, у тети Оли фактически было три комнаты, но считалось, что всего лишь кухня (огромная) и маленькая комната. Дядя Петр лежал на столе

в «кухне», сейчас отгороженной плотной коричневой занавесью. Вокруг горели свечи и сидели люди. Тетя Оля, с распухшим лицом, в черном, сидела у изголовья. Она не плакала, мутно взглянув на меня, кивнула головой. Подойти к ней и обнять ее я не решилась. Меня усадили тут же. Тихо переговаривались старушки. Мигали свечи, было душно и пахло ладаном. Через какое-то время я потеряла сознание. Меня под руки вывели в маленькую комнату. Вызвали «скорую помощь», сказали, что слабое сердце, и на «скорой помощи» отвезли обратно в дом отдыха, где ждала моя семья – муж Володя с сыновьями. На похоронах я не присутствовала.

За несколько месяцев до смерти тети Оли папа писал маме:

Моя мама (Цана – И.М.) 11 февраля уже сорок лет как умерла, Оля будет устраивать ей поминки. Хотел послать ей денег, но она отказалась. Больше хочет, чтобы я присутствовал на поминках. Не знаю, смогу ли поехать.

Тетя Оля последние годы очень страдала от приступов астмы. Она умерла в Рождественский сочельник 1974 года, а на Крещение у ее племянницы Норы родился внук. Рождение внука помогло Норе перенести смерть горячо любимой тети, которая заменила ей мать.

В 1970-е смерть начинает забирать второе и третье поколение Курдюмовых. Дядя Слава был первым, Татка – второй, мама – третьей. Все они умерли в этом десятилетии.

Дядя Слава, Вячеслав Вячеславович Курдюмов, умер в 1972 году. Последней заботой дяди Славы за два дня до смерти, единственной заботой его, спокойно принимающего кончину, было – не умереть 9 сентября.

– Катюша, – говорил он своей дочери Кате, – мне бы не умереть в твой день рождения. А то на всю жизнь тебе испорчу этот день.

Он был очень плох. Катя смотрела в лицо отца и плакала.

И опять я думаю – чем же измеряется цена человеческой жизни?

– Я безвольный, – часто повторял дядя Слава.

Перед смертью собрав всю волю (может, и хранил ее для последнего дня?), он перевалил через день рождения Катюши, 9 сентября, заставил себя пережить еще день. Дядя Слава умер 10-го. Благородное, спокойное лицо («меня все здесь принимают за профессора», – смеялся он), но на предвоенной фотокарточке его лицо какое-то виноватое и немного растерянное. И только на фотографиях, снятых на войне, в солдатском обмундировании, с медалями на груди, дядя Слава кажется веселым и уверенным. На

войне он был нужен наравне со всеми.

Таточка, моя двоюродная сестра, умница, веселая, на протяжении всей жизни близкий, родной человек, последний год провела в больнице. Болезнь помирила ее с мужем Ростиславом. Татка довольно давно, по неизвестной мне причине, «воевала» со своим мужем, объединившись с тетей Лелей. Довоевались до того, что устроили в доме на Костельной сущий ад. Ростислав однажды, купив игрушечный автомат, пришел домой, направил его на тетю Лелю и стал стрелять. «Он, Ингочка, сумасшедший, – рассказывала тетя Леля. – Ходит по комнате вокруг нас с автоматом и та-та-та». Болезнь сблизила Таточку с Ростиславом, открыла его глубокую преданность и любовь – в течение последнего года все свое свободное время проводил у ее постели. К концу Таточка могла лежать только на животе. Диагноз так и не был поставлен – то ли рассеянный склероз, то ли опухоль… Она умерла в сентябре 1973 года.

Это десятилетие было одним из самых печальных в моей жизни…

Однажды у папы внезапно начался непонятный приступ – стали падать давление, пульс и температура. Папа, испуганный, пришел к нам с мамой в комнату и лег на мамину кровать. Лежал и смотрел на нас круглыми темными глазами. Приехал врач, сделал кардиограмму, предложил забрать в больницу; папа отказался, сказал, чтобы не трогали, ему дали какое-то лекарство, может, сделали укол.

А я ушла. Ушла, оставив маму наедине с папой. Я ушла прогуляться. И бродила по Софии, зашла в русский книжный магазин, помню – выйдя из магазина, проходя мимо судебной палаты, вдруг подумала: а как там папа? Выйдя на улицу Марии-Луизы, прогулочным шагом пересекла ее, миновала торговую улицу Левски и через скверик, обойдя мавзолей Димитрова, вышла на улицу Царя-освободителя, в то время – Русский бульвар. Я направлялась к церкви Св. Александра Невского. Но была столь необразованна, что когда меня спросили, за что я хочу заплатить, за молебен или панихиду, – сразу не смогла ответить.

– Жив он или нет? – спрашивала меня женщина в черном платке, высунувшись из окошечка.

– Кто? – Я растерялась. – Жив, конечно, жив.

– За молебен, – сказала женщина, поворачивая голову к кому-то за ее спиной.

Я постояла в огромном храме, поставила свечку, послушала пение. Когда я вернулась домой, папа лежал, как и прежде, на правом боку, спиной к стене.

Я села против папы на кровать. Он, глядя на меня, сказал:

– Какой же я был дурак!

– Ингочка ходила в церковь, молилась, – сказала мама.

– Какой же я был дурак, – повторил папа, не отрывая взгляда от меня. – Какой же я был дурак…

Я не понимала, что он хочет этим сказать. А говорил он, вероятно, вот о чем: «Как странно, что я ее так долго любил… она никогда меня не понимала, никогда не любила… Как я любил ее, как всю жизнь добивался ее любви. И вот сейчас, на семидесятом году жизни, я понял одну очевидную истину: нельзя завоевать то, чего не существует. Она меня никогда не любила». Папа тогда подвел черту.

В августе 1976-го, после того, как Сережа поступил учиться в Физико-технический институт, мы – Гешка, Сережка и я – приехали в Софию. Мама страдала гипертонией и стенокардией. И сколько вечеров я провела, измеряя давление, вглядываясь в испуганное белое лицо! Я жму, жму грушу, пульс слабый, и чтобы не ошибиться, сначала ловлю нижнюю границу. Сто восемьдесят на сто.

– Сто шестьдесят на девяносто, – говорю я и чувствую, как весь мир пропадает, остается только белое лицо на подушке, оголенная до локтя рука и за стеной – притихший папа.

– Ингочка, ты говоришь неправду, чтобы успокоить меня. Или оно действительно упало?

Из моего дневника:

«8 августа 1976 г.

У мамы вчера в три часа начался приступ. За грудиной началась боль, которая быстро нарастала. Мама сначала крепилась, ходила, собирала вещи и думала ехать с нами в Горную Баню, но потом легла и уже не встала. Когда надвигалась боль, лицо обтягивалось, становилось старушечьим и серые глаза, исполненные муки, смотрели на меня. Папа торопил меня, хотел обеспечить покой, я с ребятами уехала. Наша вилла “Вера”, притихшая, стояла на горе, окна были закрыты деревянными решетчатыми ставнями. На столе на террасе лежал забытый мамой валидол, на раковине во дворе, под разросшимся кленом, висела зеленая тряпочка. И забытый валидол, и зеленая тряпочка – все, что осталось от занавески, некогда висевшей в моей комнате, сообщали об одном – счастливое прошлое ушло навсегда.

Я закрываю ставни, запираю двери, и мы ложимся все в одной комнате. Ночью я встаю, подхожу к окну, смотрю сквозь щели в деревянных ставнях, слушаю, как гудит единственный фонарь напротив дома, и смотрю на пустую, мертвую улицу, уходящую вверх, залитую белым светом. Ужас предчувствия, что жить маме осталось недолго, не оставляет меня».

С того дня, как с мамой случился приступ, я все время чего-то боюсь. Я сижу у ворот на самом верху нашего двора, и тень от ворот закрывает меня, мне не жарко. Я смотрю на город. На горизонте, в голубоватом небе, виднеется телевизионная башня. Я не отрываю глаз от нее. Эта башня – средоточие муки, неподалеку от нее дом, где лежит мама.

Передо мной ее лицо – с выражением страдания и одухотворенности. Мамина одухотворенность, всегда лежавшая печатью на лице – это любовь ко мне, к моим детям, забота и беспокойство о нас и никогда о себе. А с тех пор как мама последний год начала принимать элениум, лицо стало спокойнее. Вот эта вернувшаяся одухотворенность пугает меня больше всего.

Сквозь открытое окно видна пустая веранда. Дети ушли в парк кататься на самокате. Я вспоминаю, что сказал Иисус: «Предоставьте мертвым хоронить мертвых». Но это трудно, это невозможно, когда видишь родных, думаю я и вдруг чувствую близкую угрозу. Рыжеволосый парень, одетый в странный голубоватый комбинезон, быстро, не отрывая взгляда от меня, поднимается вдоль забора по улице слева. Он огибает забор, подходит ко мне, лицо его искажает гримаса ненависти, и он, через забор, приседая, кричит:

– Махайся от тука! (Убирайся отсюда!)

Лицо злобно, весь вид странен, от него отделяет лишь высокий забор из железной сетки, мельком замечаю – тяжелая деревянная калитка на засове. Парень делает какое-то движение руками, и кажется, что сейчас расстегнет на плече лямки и штаны упадут к его ногам. На улице никого. Никого вокруг. Только яркое безжалостное солнце. Я с ужасом не могу оторвать от него глаз, а он незаметно исчезает. Потом ночью я все жду, не сплю, смотрю в прорези ставней – нет ли его.

Я здесь чужая – «рускиня». И никто не догадывается, что во мне половина болгарской крови. Меня не любят. Дни проходят. Мы все еще на даче. То, что раньше было счастьем, сейчас подчеркивает муку: мы с мамой будто разорваны пополам – она там лежит в постели, я здесь. Разговоры вертятся о смерти. Умер неожиданно судья, наш сосед по даче. У него участок через дорогу от нас. Двор сделан со вкусом, цветов немного, но все красиво, в глубине двора стоит домик, еще меньше нашего, в одну комнату. Два предыдущих лета, когда у нас было весело, жили все вместе, судья со своей сестрой, пожилой женщиной, со строгим красивым лицом, выше брата, утром проходили мимо нас. Он шел с трудом, медленно, останавливался, приподнимал соломенную шляпу. Они никогда не оставались ночевать здесь.

Сегодня я видела его сестру, она в трауре, поздравила меня с приездом. Сказала, что прошло сорок дней со дня смерти брата. Говорила и плакала.

Внизу стучит поезд, напоминает – скоро уезжать. Пришли мои дети. Ничего не случилось. Несколько раз спустились с горы на самокате, они в восторге…

Письмо от папы:

6 февраля 1979 г.

Здравствуй, Инга!.. Мамаша твоя в хорошем здоровье. Гипертонию свою она лечит хорошо. В последнее время ее мучают перебои сердца, но мы смогли достать хорошие антиаритмические лекарства, и она очухалась…

Если доживем до мая месяца, то попытаемся приехать к вам, повидаться с вашим студентом.

Я закончил одну книжку в 15 печатных листов «Болгарские медики-антифашисты за границей» (Австрия 1920–1945 гг.). Министр здравоохранения предложил издательству выпустить ее (года через два).

Наша мамаша страдает гипертонией и стенокардией, а я сердцем и глазами. Операция на снятие катаракты длилась 11 минут, но восстановление оперированного глаза длится уже 4 месяца. Все-таки на днях получу очки для оперированного (левого) глаза и начну тренироваться и глядеть. Читаю и пишу правым глазом. У него тоже прогрессирующая катаракта. Теперь его закрою и начну работать левым глазом, пока правый глаз подготовится к операции (летом или осенью)… Привет всем. Папа.

И словно из далекой папиной молодости доносится его голос в письме к Сереже. Из времени, когда он в Сережином возрасте был переполнен искренней верой в возможность светлого будущего, когда, покинув провинциальную Болгарию, хватал, хватал на лету образование в Австрии и Советском Союзе. Это письмо, наставление Сереже на всю жизнь, наподобие тех, что когда-то во время войны папа писал мне и маме перед тем, как поехать на фронт.

Здравствуй, мой дорогой первый внук Сережа!

Я тебе писал, что в двадцатые годы жизни человека (студента) создается та интеллектуальная база человека (ученого), на которой он проводит всю свою дальнейшую жизнь. Я, Сережа, старый университетский преподаватель – десятилетиями занимался со студентами и аспирантами, и у меня большой опыт. Последние два студенческих года и трехгодичная аспирантура, т. е. твои предстоящие 5 лет, являются решающими для всей твоей

жизни.

Когда в прошлом году я был у вас, то говорил тебе, что твоя товарищеская среда мне не нравится, что она нищая духом, а порой уголовная, что твои черноголовские друзья – люди с животными инстинктами – пить и развратничать. Вино и развлечения вечные. Их можно использовать всегда, т. е. и после окончания твоих предстоящих 5 лет. А уничтожить свои решающие годы жизни – это самоубийство. Ты еще молодой, Сережа, тебе нельзя растрачиваться, тем более с такими друзьями, как твои прошлогодние. Ты студент, и тебе надо получать, брать, а не давать, как ты раздаешь своим фатальным друзьям.

Для того чтобы ты успел в жизни вообще, тебе надо успеть еще теперь в вузе. А для этого тебе нужны хорошие друзья, хорошие товарищи, такая среда – или, как вы часто неправильно говорите – компания.

Будущая твоя компания, т. е. товарищеская среда, должна быть трудолюбивая, ученолюбивая, интеллектуальная и высокоэтичная. Она может быть небольшой (4–5 человек), например – один физик (ты), один математик, один литературовед, один музыкант. Основным качеством этих людей должна быть высокая моральная ценность. Ты такую, Сережа, можешь найти и постепенно присоединиться к ним. А такую среду ты можешь и сам создать – тоже постепенно. У тебя все данные – ты выдающийся мальчик, начитанный, знающий литературу, даже пишущий, владеющий музыкой (хотя и эстрадной), ориентируешься в английском, морально чистый парень. Не нужно, чтобы ты был вожаком этой компании. Ты можешь быть и на самом последнем месте в такой группе, важно, чтобы ты мог обогащаться в этой группе, т. е. чтобы мог получать в ней познания, чужой опыт, товарищескую критику и помощь. Взаимоотношения твои с членами хорошей товарищеской группы должны быть исполнены терпения и наблюдательности… Основное, что надо делать в этой компании, – это шлифовать свое мышление в области своей специальности…

Беда твоя в том, что ты не смог создать себе нормальную среду. Когда был школьником, главная твоя среда была родительская и ты развивался очень хорошо, а когда стал студентом, ты отошел от своих родителей, остался без руля и ветрил и не мог устроиться в хорошей студенческой среде. И так как ты малоинициативный человек, представился случай – и тебя потянула мутная волна недоделанных твоих сверстников, которые влекут тебя к духовной гибели…

Из письма к Сереже от 3 апреля 1981 г.

…Как создать тебе товарищескую группу? Для этого нет рецептов. Надо иметь нюх, надо быть наблюдательным и критичным и советоваться с родителями. Выберешь себе ряд лиц и будешь присматриваться молча к ним в течение месяцев. Когда соберешь один состав группы, начнешь его уточнять. А можешь присоединиться к существующей хорошей студенческой группе, а потом видоизменять ее состав, в общем – улучшать ее и т. д. Можешь привлечь к себе часть хороших людей из уже существующей группы и пр.

Я повторяю: ты, Сережка, выдающийся мальчик. Во всяком случае, у тебя много данных, чтобы стал таким. Ты и литературу знаешь, любишь писать, разбираешься в музыке, ты также смыслишь и теоретически, во всяком случае – ориентируешься в качестве теоретических взглядов и пр. Если ты будешь и хорошим специалистом (для чего необходимо много читать, а не делать только дипломную работу), то ты сделаешься сильным человеком, чем будет обеспечена твоя жизнь и жизнь твоей будущей семьи. Однако при всех твоих успехах в создании собственной студенческой среды, самая надежная твоя база – это твоя семья, твои родители, и с ними ты должен делиться по всем вопросам. Они тебе не изменят и всегда тебе честно помогут.

Сережка, сделай мне радость – подбери себе хороших друзей. Ты мой первый внук, и я глубоко заинтересован, чтобы твоя будущая жизнь была хорошая – сильная, богатая, энергичная.

Я в феврале и марте лежал в больнице. Теперь нахожусь в сердечном санатории в Банке. Если хорошо поправлюсь, то мечтаю в мае поехать к вам в Черноголовку. Прошу тебя передать Гешке мои сердечные поздравления по случаю его дня рождения. Жалею, что не могу послать ему подарок.

Сережа, прошу простить мне мои ошибки в письме. Я после падения в феврале расстроил себе нервную систему и, когда пишу по-русски, думаю по-болгарски и путаю. С другой стороны, я давно хотел поделиться по поводу твоих успехов в институте.

Обнимаю тебя и целую крепко. Дедушка.

Папа мог бы быть удовлетворен: Сережа – профессор физики в Бостоне (США), автор ряда широко известных экспериментальных работ по актуальным проблемам физики конденсированного состояния. Также папа мог быть доволен и успехами младшего внука – Георгия. Он защитил диссертацию в 25 лет, получил приглашения в ряд известных университетов (в том числе и в Кембридж), но изменил сферу деятельности. Сейчас работает в одной из отечественных фирм.

И вот письмо, написанное за полгода до маминой смерти. Папа обеспокоен – он не понимает, почему я, так любившая маму, молчу.

24. 6.1979 г.

Здравствуй, дорогая Ингочка!

Ты очень редко пишешь, и мы беспокоимся. Напиши перед вашим отъездом к нам! Мама твоя пишет тебе часто. Решил и я написать тебе, авось ты мое письмо получишь… Мы послали Сереже туфли и носки, а тебе немного анабола. Не знаю, получили ли вы их? Напиши, а то мамаша твоя только бегает по почтальонам – спрашивает письма от тебя.

Не совсем хорошо, что вы собираетесь так поздно приехать к нам… Я жду рецензию на мою книгу из Института истории БКП. Если будет положительной, сяду ее исправлять… Напиши маме своей! Ждем вас. Привет 4-курснику, его брату и отцу. Будь здорова. Папа.

Часть 9. Прощание с мамой

Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.

Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной….

21-й Псалом

Снова в Софии. – Роковая поездка мамы. – Больница. – Последний день. – Ее кончина. – Похороны на русском кладбище. – Отъезд с папой в Черноголовку. – Встречи с родственниками в Киеве и Москве. – Отъезд в Болгарию.

Вечером в сочельник, 24 декабря 1979 года, я выскочила на пустынный софийский перрон. Сосед, пытавшийся за мной ухаживать по дороге, вынес мой чемодан. Странным мне показался черный свет, который окутал меня, как только я ступила на перрон. Озираясь по сторонам, я не заметила, как ко мне подошел простого вида невысокий мужчина. Спросил, поеду ли я на такси. Я все вертела головой и ничего не отвечала.

– Да ты не бойся. Никто не встречает? Телефон знаешь? Стотинки есть? Нет?

Он дал мне две монетки по две стотинки и исчез. Я подхватила чемодан и направилась к телефону.

В сентябре, всего четыре месяца тому назад, я на этом перроне впервые в жизни спокойно попрощалась с мамой, уверенная, что через три месяца снова ее увижу. Мама, расправив плечи, в шелковом костюме, с завитыми волосами, повязанными шелковым платком, уверенно стояла передо мной, и мы говорили, что у папы плохи дела. Мы недоговаривали, но каждая думала, что он скоро умрет и тогда мама переедет ко мне. Говорили, что папа в ноябре ляжет в санаторий, и мама, ничего не сказав папе, на то время приедет ко мне, по пути заедет повидаться с Лелей, Ирочкой и Гришей в Киев.

Сентябрь, октябрь – я ждала маму. Шестого ноября мне позвонили из Киева. Кто-то – тетя Леля или Горик – сказал:

– Мы все вышли к поезду, но Вера не приехала, ее сняли с поезда на границе.

Случилось это вот как. Впервые за пятьдесят лет совместной

жизни мама решила обмануть папу, потихоньку купила билет, выправила визу, все перестирала, перегладила, собрала папу в санаторий, накупила подарки в Киев и нам в Черноголовку… Рок гнал маму – поехать на Родину. На один месяц, пока папа будет в санатории.

В день отъезда мама почувствовала боль в сердце; в вагоне, прижавшись спиной к стенке купе, держась за сердце, сосала валидол. Я хорошо вижу ее лицо, искаженное страданием. Поезд ехал час, два, три. Первая остановка – папина родина, город Плевен. Русский врач, оказавшийся в вагоне, настаивал, чтобы мама сошла. Но в Киеве ждали тетя Леля, Горик, Ирочка, Гриша; в Черноголовке ждала я. Нет, не могла она вот так выйти и не доехать до Родины. На болгарской границе, в городе Русе, на перроне маму ждала «скорая помощь». Мама пролежала в больнице месяц. Папа по-прежнему ничего не знал – мой брат Володя берег его покой. В день возвращения папы из санатория Вова слетал в Русе и привез маму. В начале декабря я получила подряд несколько телеграмм от папы. Он писал, чтобы я приезжала, потом звонил по телефону, говорил, что мама опять в больнице, я не понимала – почему опять? Папа, не объясняя, настаивал, чтобы я летела самолетом…

И вот через четыре месяца я опять на этом перроне, окутанная черным облаком. Запаслась седуксеном, чтобы не терять голову от страха, и полна решимости выходить маму. Встречал меня Вовка, но опоздал и пробежал мимо, когда я стояла у телефона. Папа на вокзал не приехал. По дороге я расспрашивала про маму, брат был сдержан. Он знал гораздо больше, чем рассказывал. Это потом он скажет: «Она поцеловала мне руки. Мне…» – и заплачет.

Мы ехали в такси по празднично сверкающей Софии, я цепенела, была рассеянна, не давал покоя этот странный темный свет, который окутывал меня. Что я могу написать о тех тридцати днях, когда мама лежала одна в больнице в Русе, в незнакомом городе, а я продолжала жить в Черноголовке как ни в чем не бывало? Ни-че-го! От тех дней осталась серая пустота. И еще фотография, снятая 10 ноября. 10 ноября! После того, как узнала, что маму сняли с поезда, после того, как помчалась в Лавру, к Сергию. На фотографии мы с Сережей, Гешкой и Олей Менчуковой, нашей приятельницей, стоим у огромной, слепленной нами снежной бабы. На груди у бабы висят разноцветные бусы. Лицо бабы раскрашено синей и красной краской. У меня довольное лицо.

Я не пошла в первый же вечер к маме, отложив встречу на утро. В больнице говорила о пустяках – о шапке из куницы,

которая шла мне, о сапогах, привезенных мне мужем из Германии. Говоря всю эту чушь, я перехватывала недоуменные взгляды соседок по палате. Из посещений на всю жизнь осталось только одно впечатление – первое: я открыла дверь в палату, и белая-белая мамина головка безропотно, стыдливо-испуганно откинулась на подушку под раздраженный окрик санитарки.

Через несколько дней мы забрали маму из больницы, на чем настоял папа. Видимо, папа все уже понял. А может быть, он настоял на возвращении домой, ибо верил в приметы и надеялся этим уберечь маму. Если все вместе и дома на Новый год – то так будет целый год.

– В больницу пришла сама, – сказала мне мама, улыбаясь, – домой возвращаюсь на носилках.

Я шла следом за носилками. Черное облако прикрывало нас с мамой, и я ее плохо видела. На носилках маму и внесли в дом.

– Вот и встретились мы с тобой, Верушка, – сказал папа, еще в коридоре склоняясь над мамой и обнимая ее, не дожидаясь, когда переложат на кровать.

Белая голова с розоватым широким пробором, с мягкими, как старый шелк, волосами лежала на подушке. Лежа на спине, мама смотрела на меня.

– Дай мне очки, – попросила мама. – Как я рада, что ты приехала. Это и есть счастье, и больше мне ничего не нужно.

Мама была спокойна, только глаза как-то особенно светились. Она почти ничего не говорила, но все время, не отрываясь, смотрела. Две глубокие вертикальные морщины над переносицей, коричневые, стариковские пятна – два на лбу и одно на щеке, белое худое лицо, серые глаза. Она была покойна и тиха.

Декабрьское солнце заглядывало в окно. Комната с розовыми стенами, с позолоченной флорентийской люстрой, с большим, во всю стену, окном, с фотографиями моими и моих детей на противоположной стене («мамашин иконостас») казалась отделенной от всего мира. Здесь мы жили, когда летом приезжали всей семьей, а мама перебиралась на кухню. На этой кровати спала я. Мама вынимала из огромного шкафа пахнущие свежестью и лавандой простыни, постиранные ею и высушенные на балконе. На этой кровати я, лежа ранним летним утром, слышала, как мама осторожно ступает за дверью, как позвякивают тарелки на кухне.

Пришел известный врач, старой закалки, дальний папин родственник, учившийся еще в Вене, из тех, кто велит показать язык, щупает пульс. Маленький, достающий только до моего плеча, доктор Николов ходил взад-вперед по ковру, огибая круглый столик, и что-то говорил, успокаивая. Папа, за ночь став

еще большим, нависал в дверях над комнатой и неуверенно исподлобья улыбался, но не произносил ни слова. Я следила за темным пятном, мелькавшим по комнате, и ждала, когда врач уйдет.

– Кардиограмма хорошая, нужен уход и покой. Мы еще погуляем с вами!

Я верю: врач говорит правду. Когда он ушел, я села в ногах у мамы.

– Пока ты не выздоровеешь, я никуда не уеду. У нас теперь будет столько времени. Я буду все время с тобой.

Я глядела в белое худое лицо, покрытое мелкими морщинками, и выражение одухотворенности, всегда свойственное маме, которое в последнее время стало исчезать, а сейчас вернулось, пугало больше всего.

– Пока ты не выздоровеешь, я никуда не уеду, – повторяла я.

«Это займет месяца три, – думала я, – мама встанет на ноги, дома Володя как-нибудь справится с Сережей и Гешкой». Я не могла вообразить, что всего через несколько часов, вечером, я пойду по темным улицам вниз, под горку, в особняк доктора Николова. Я буду идти, не страшась темных пустынных незнакомых улиц; совершенно иной, отупляющий страх будет владеть мной. В квартире я оставила маму с папой, и у мамы неуклонно падает давление. Я иду вдоль ограды какого-то парка, силуэты темных голых стволов и ветвей высятся надо мной. Нахожу дом, звоню в парадное, долго стою на ступенях. Не открывают. Наконец на пороге возникает пожилая женщина, вероятно, жена доктора Николова.

– Позовите доктора, – говорю я, – у мамы падает давление.

Женщина медленно поднимается по деревянной широкой лестнице на второй этаж. Ее долго нет. Я жду, темное облако со мной, и я не понимаю: то ли это темнота вошла со мной с улицы, то ли они уже легли спать и потушили свет. Наконец она спускается.

– Доктор сказал – дайте кофе.

…Бледное худое лицо, две глубокие вертикальные морщины над переносицей, коричневые старческие пятна – два больших под правым глазом и одно маленькое на щеке. Ни облачка страха, обиды, раздражения. Ни тени сострадания к самой себе. Взгляд, быть может, чуть более спокойный, чем всегда.

– Ты мне расскажешь про свою жизнь. Я напишу про тебя.

– Что же я могу рассказать? Ты лучше папу расспроси, я ведь ничего не сделала.

– Ничего не сделала, – с недоумением повторила мама, – а жизнь прошла так быстро. Так быстро, – говорила она медленно и

удивленно, пытаясь передать это ощущение мне, – будто только вчера ходила в школу. Удивительно быстро.

Меня испугала интонация. И хотя я лишь коснулась взглядом глаз мамы, чтобы она не прочла тревогу, из серых ее глаз на меня хлынула обжигающая клокочущая лава. Вся жизнь, вся мука расставаний, вся любовь, невысказанная и стыдливо прятавшаяся, – все вылилось, как из разверзшегося жерла. Сколько это длилось? Мгновение? Час? Мы – я и мама – осторожно заглядывали в оставляемый мир. Вот девочка в белой пелерине, в клетчатом платьице… Девушка шестнадцати лет, с короткой стрижкой под мальчика, с завитым чубом, закрывающим половину лица, – это уже революция и, значит, никаких гимназий, на ней – забота обо всей огромной семье: стирает, готовит, печет хлеб, таскает воду из колодца («Сколько я воды перетаскала из колодца! Но на коромысле так и не научилась»)… Девушка в мужской широкополой шляпе, бегающая через две ступеньки вверх по лестнице, с независимым взглядом, с папиросой в руках… Молодая женщина с лицом Мадонны, со мной на коленях – веха, с которой начиналась совместная жизнь, которая обозначалась словами: «Я без маминой мякоти жить не могу»… Женщина с пучком темных волос, с бледным, худым, будто обтесанным лицом, после ареста папы… Уже немолодая женщина, чуть улыбающаяся, глядящая прямо в душу…

Мы смотрели в белый мир, будто запорошенный снегом. Опять рождалась одна плоть. Одна плоть, хрупкая, как яйцо, – одно существо. Мы глядели друг на друга и молчали. Мне все казалось, что между мной и мамой раскинулись прозрачные сети, свесившиеся с потолка, отделяющие меня от мамы. Сквозь сеть я вглядывалась в лицо, лежащее на подушке, и видела девочку с двумя бантами на распущенных волосах. Поражала не красота девочки, а тихий, радостно глядящий мне в душу взгляд. В нем было уже все то, что дало бы полное основание сказать, перефразировав слова мопассановского Бернара: «Думаю, что я была хорошей матерью и женой». Но вместо этого мама повторила:

– Ты лучше папу расспроси, у него такая богатая жизнь, столько событий, так много сделал.

– Ингочка, – сказала мама позднее, – я хочу тебе дать адрес женщины, с которой лежала в больнице. Ее потом выписали, но она каждый день приходила навещать меня. Ты ее обязательно поблагодари, а то скажет: «Вот какая нахалка, даже не вспомнила», – и мама засмеялась, не отрывая головы от подушки.

– Тебе тогда было лучше, чем сейчас? – спросила я, боясь напугать маму и стараясь, чтобы голос звучал как можно суше.

– Я тогда ходила, – мама виновато улыбнулась, – врач удивлялся, как быстро я начала ходить. Это случилось, когда меня выписали первый раз домой. Вова привез меня домой, а лифт не работал…

Мама замолчала и как-то виновато поглядела на меня.

– Что?!

– Тише, тише, – просила мама, – да, не работал, и я поднялась…

– Что?!

Но я уже знала, что услышу.

– Я поднялась на пятый этаж, – сказала мама, все так же виновато, – но я отдыхала на каждой ступеньке.

Значит, это второй инфаркт и меня папа вызвал после него. Мама спокойно, может – спокойнее, чем обычно, не отрываясь, смотрела на меня.

– Врач сказал, когда меня увезли в больницу: «Это ваши сто ступенек».

– Идиот! Идиот! – повторяла я, раскачивалась на стуле, прижав руки к животу. – Почему же он не позвал кого-нибудь? Зачем тебе надо было подниматься?

– Тише, тише, – просила мама, улыбаясь. – Папа возвращался в этот день из санатория, он хотел сделать ему сюрприз. Папа ведь все это время думал, что я дома, он не знал о моей болезни.

Теперь я думаю, что мама тогда уже понимала, что это конец, что плохи ее дела. Прозрение, что это конец, на минуту пронзило и меня. Потом опять наступило какое-то помутнение.

Я точно знала – этого бы не случилось, если бы я была с ней. Как я могла поддаться разумным, казалось бы, и настойчивым доводам брата в начале ноября?!

– Сейчас не приезжай, за мамой хороший уход в больнице, приезжай, когда мама будет дома. Тогда понадобится помощь, – говорил он мне.

Я послушалась. Хотя знала, что сердце у меня умнее рассудка. Знала, всем сердцем знала – надо ехать. И вот в результате – сто ступенек…

Потом мы с папой пошли в аптеку. И как только вышли из дома, темное облако двинулось следом, окрашивая наши лица в черный цвет. Мы молча шли по залитому солнцем городу. Я держала папу под руку. В голове еще звучали слова врача: «Кардиограмма хорошая, нужен режим и лекарства». Вышли на площадь. И тут стало заметно, как встречные люди торопливо обходят нас, стараясь не задеть даже взглядом. Мы катили свое горе, как ребенка в коляске, и темное облако все мазало и мазало наши лица черной краской. В аптеке с нами заговорили шепотом.

В ящике тумбочки у меня по сей день хранится рецепт, выписанный 31 декабря 1979 года Вере Мицовой доктором Николовым.

За время нашего отсутствия мамина комната как-то изменилась, стала будто больше и прозрачнее, а кровать обособилась и теперь уже прочно отгородилась чем-то вроде сетки. Мама тоже изменилась, стала еще белее, легче и бесплотнее. Она, улыбаясь сказала, что, пока мы гуляли, у нее заработал желудок, и она легко с этим справилась сама. Я, стоя посередине комнаты, стараясь голосом отодвинуть что-то, чему не верила, чего не понимала, но что так стремительно надвинулось во время нашего отсутствия, сухо проговорила:

– Ну, конечно, это трава подействовала, – и прочла в глазах мамы тихий упрек.

Я прошла на кухню, постояла в растерянности, вернулась и, не доходя до кровати, сказала:

– Я сварила курицу. Может, еще макароны… к ней?

Мама глядела на меня, будто что-то припоминая.

– Ингочка, – сказала она наконец, – все это уже было. Ты так же неуверенно вошла, остановилась и сказала, что сварила курицу. И так же неуверенно спросила про макароны. Это уже все было.

Волосы на моей руке встали дыбом.

– Дай мне крылышко, – сказала мама, почему-то виновато улыбаясь.

Прошло много лет со дня ее смерти. Недавно будто кто-то смилостивился – и я забыла, почему я не дала маме то, что она просила; но все эти годы я не могла прикоснуться к куриному крылышку, не могла видеть его, не проклиная себя за тот свой отказ – вместо крылышка я тогда дала ей белое мясо.

День померк и стал клониться к вечеру. Последний день уходил в вечность. Я вышла на балкон. Было удивительно тихо. Я оцепенело смотрела, как угасал зимний день. Это был знакомый мир. А я опускалась сейчас в другой, неизвестный, который находился в маминой комнате. Там на кровати лежала не мама, там лежала я. Это моя жизнь сейчас уходила, прощаясь с землей… В прозрачном воздухе краснели черепицы крыш. Прошел час. Может, больше. Зимний вечер кончался. Последний день на земле тихо входил в вечность.

– Ингочка, – позвала мама, – ты бы посидела со мной. – И опять в ее глазах, ставших огромными и светящимися, я увидела недоумение и укор.

– У нас теперь столько будет времени, – сказала я. – Я буду все время с тобой. Ты мне расскажешь про свою жизнь, и я

напишу о тебе.

Теперь существовало три мира: один – в который мы обе заглядывали утром, уже очень далекий, другой – на кровати, где все время что-то менялось, третий – на кухне, куда я опять вышла. Мне опять показалось, что я лежу в комнате вместе с мамой. Я зажгла свет и ясно увидела, как по воздуху, мимо кухонного балкона, прямо в окно мамы проплыло темное облако. И опять волоски на руке встали дыбом. Я вошла в комнату, бросила взгляд на окно, опустилась на кровать и замерла.

В маминых глазах, всегда наполненных заботой, сейчас разливался покой. Она лежала на спине и смотрела огромными светящимися глазами на меня.

– Ты расскажешь мне про дом в Рыльске, начертишь план всех комнат, чтобы я лучше представляла твое детство. Про ваш огромный сад. Про то, как тебе два раза в год шили форму – летнюю и зимнюю. Что у тебя была форма вишневого цвета. Про то, как учитель сказал тебе: «Умная голова дураку досталась», как тебя дразнили: «Задери нос выше».

Облако, темное облако стояло между мной и мамой, придавая всему нереальный вид.

– Расскажешь, как познакомилась с папой.

Я пыталась навязать маме свою волю. Но облако, темное облако стояло между нами. Белая-белая голова лежала на подушке. Худое прозрачное лицо со знакомыми морщинками. Мама все смотрела не отрываясь на меня. И вдруг ее рука поднялась к вороту ночной рубашки, и она стала быстро-быстро что-то поправлять, двигая рукой сверху вниз, будто хотела снять с себя невидимые нити.

– Ты что делаешь?! – крикнула я.

Будто строгим криком можно было остановить то, о чем знала уже материнская рука.

Мама испуганно отдернула руку, глянула на меня, и ужас, который она прочла на моем лице, заставил ее отвести глаза, а я поняла, что думаем мы об одном. Непонятное выражение – «обираться перед смертью» – вдруг стало очевидным.

Передо мной открывалась тайна, о которой я не предполагала. Тайна была везде – и в сетях, раскинувшихся между мной и мамой, и в темном облаке, только что проплывшем в комнату, и в лихорадочно бессмысленном движении маминой руки. Мы обе касались чего-то неведомого, невидимого, но существующего так же реально, как эта комната.

Вечером забежал брат. Не помню, сколько он пробыл. Вообще я не помню в тот вечер никого, кроме мамы. Кажется, папа находился все время в своей комнате; затаился и ждал, сидя один

в темноте. Он все понимал. Вероятно, знание владело и мной, только было погребено под черным облаком, скрыто за пологом, отделявшим все больше и больше маму от меня, пряталось в той неразберихе – где мама и где я.

Брат убежал к себе домой со словами:

– Если что случится – звони.

…За окном взорвалась ракета и осветила красным светом кровать, маму и меня. Наступал Новый год.

– Веруха, – сказал радостно папа, входя в комнату. – С Новым годом тебя! Раз вместе встретили Новый год, значит, и жить целый год вместе! Мы еще с тобой поживем!

И он склонился к маме, чуть оторвав ее от постели, обнял ее. За окном гремел салют. Всполохи, как от молний, то и дело пронизывали комнату. Папа ушел.

Ночничок синим светом освещал спальню. Я лежала, отвернувшись к стенке, и слушала быстрое, быстрое, очень быстрое дыхание мамы. Странно быстрое, будто она торопилась надышаться… Это потом я узнаю, что это дыхание имеет особое название – «чейн-стоксово» – и обозначает скорую смерть.

Теперь черное облако заполнило всю комнату, и синий свет ночничка еле пробивался сквозь него.

– Мама, – позвала шепотом я, – давай померяю давление.

– Померь, деточка, что-то я потею.

Давление падало. Новый год уже шел по земле два часа. Вероятно, папа вызвал «скорую». Приехали папины ученики. С почтением прошли в комнату. Тихо, шепотом говорили. Папа сидел в ногах у мамы, возвышаясь молчаливой черной глыбой. Я стояла посередине кухни. Кардиограмма нормальная. Давление продолжало падать. В маминой комнате что-то все время делали, мама лежала, уже вся окутанная проводами, присосками, время от времени ей давали дышать кислородом, мерили давление. Прошел еще один час. Теперь в комнате был такой мрак, что я не видела маму… Услышала голос папы:

– Снимите все.

Медицинская сестра, склонившись над мамой, стала снимать присоски и провода. Папа уже держал мамину голову у себя на коленях, чуть приподнимая ее. Кто-то сказал:

– Кислород кончается.

И еще:

– Давление сорок…

Я вышла на лестницу за баллоном. Облако шло со мной, не отпуская ни на минуту. На улице в черном небе то и дело взрывались ракеты. Я пробиралась сквозь стоявшие в ряд машины, искала «скорую», облако мешало, я видела только

всполохи праздничного салюта на темном небе. Шофер спал, привалившись к стенке.

– Нет кислорода больше, – раздраженно-сонно сказал шофер. – Все. Кончился.

Я попыталась открыть дверцу и ничего не увидела. Кажется, там действительно не было баллонов. Ощупью я пошла обратно. Облако стало таким тяжелым, что я еле поднялась на пятый этаж, оно придавливало к каждой ступени, заставляя то и дело останавливаться.

Лицо мамы неузнаваемо изменилось. Она задыхалась, выплевывая воздух. Папа все так же держал голову мамы на коленях, немного ее приподняв. С искаженного лица серые глаза смотрели прямо, не отрываясь, на меня. Я прошла мимо маминого взгляда по коридору, остановилась посередине кухни и, наконец, сделав несколько шагов, вошла в комнату. Я не увидела ни папу, ни врача, ни сестры, ни самой комнаты. Это был другой мир, и он не имел никакого отношения ко мне. В комнате, будто оторванная от пола, высоко стояла кровать, залитая светом, на кровати лежала мама и спокойно, чуть улыбаясь, из-под прикрытых век смотрела на меня. От черного облака в комнате не осталось и следа. Сестра и врач что-то говорили, извинялись, папу уводили под руки.

Это не имело ко мне никакого отношения. В моем мире была кровать, залитая светом, и на ней мама.

– Голубушка моя, – сказала я, склоняясь к маме, вглядываясь в ее спокойное лицо. – Голубушка моя, вот и кончилось все. Ты больше не мучаешься.

Мама глядела на меня и улыбалась.

– Сейчас я тебя одену, моя родная, – сказала я и открыла шкаф.

Ослепительный праздничный свет разливался по комнате. Всего несколько часов, даже несколько минут тому назад мама могла сказать: «Думаю, что я была хорошей дочерью, женой и матерью». Но не сказала. И уже не скажет. Только завтра исподволь вспомнятся странные слова: «Не увидеться нам больше на *этом* свете»… Будто я когда-то задумывалась о существовании *другого*.

Я открыла шкаф, все время глядя на маму, а она, как всегда, спокойно смотрела на меня и улыбалась.

– Сейчас я тебя одену, моя родная.

Я достала белье и стала одевать маму.

Наутро, 1 января 1980 года, разразилась снежная буря. Снег валил хлопьями, дороги замело. Я закрыла дверь в мамину

комнату, и мы с папой спрятались в столовой-кабинете. Мысль о том, что тело мамы лежит в квартире, а сама она – *там*, не давала жить. Я не могла ни входить в ту комнату, ни проходить мимо, хотя так спокойно одевала ее и разговаривала с ней всего несколько часов тому назад.

Мы не вышли с папой из его комнаты, когда маму выносили из квартиры. Вовка, прибежавший к нам, встретил уже завернутую в простыню маму, которую несли два санитара.

– Я увидел ее, и это было самое страшное, – сказал он, входя в квартиру.

Папа лежал на диване, я, сидя рядом на стуле, вливала ему в рот седуксен из ампулы, он стекал по подбородку вместе со слюной. Галя, мамина знакомая, растирала мне кулачками спину, и я думала, что впредь именно так надо помогать – растирать спину. Из Варны прилетела Нора, она уже не застала маму в квартире.

– Я не знала, что ты так малодушна, – сказала мне Нора.

На дворе продолжала бушевать буря, день тонул во мраке. Я помнила две вещи: надо спасти папу и надо похоронить маму там, где она хотела, – на русском кладбище.

– На русском кладбище не хоронят, – сказал Вовка, – там нет места. Куда ты собираешься?

– Я должна похоронить маму там, где она хотела.

– Уже вырыли могилу в конце общего кладбища, в новой его части. Что же – закапывать обратно?

– Закапывать.

– Но они не будут это делать!

Приехал на машине Мето, брат Володиной жены Султаны. Напоенная седуксеном, думая, что вот-вот умру, я села с ним в машину. На кладбище я вытащила все деньги, что у меня были, и сунула мужику, оказавшемуся в сторожке. Даже сквозь пелену, отделявшую меня от мира, я поняла, что он потрясен суммой.

Хоронили мы маму на следующий день, то есть на второй. Не дождались третьего. Трусили… В морге было много народа. Стеклянная высокая перегородка окружает нас с мамой, мы как бы находимся с ней в стеклянной комнате, залитой светом. После этих двух темных дней опять возник яркий свет, который идет неизвестно откуда, но который так ярок, что я наконец хорошо вижу маму. Сюда можно зайти и другим, но сейчас я с мамой одна. Сквозь стекло следят за нами люди…

– Родная моя, – говорю я, ходя по кругу, обходя со всех сторон гроб. – Какая же ты холодная, но я тебя накрою. Вот видишь, ты в голубой кофточке, которая так тебе нравилась. Сейчас я тебя еще накрою…

Я сняла с шеи белый пуховой платок и накрыла маме грудь. Потом я взяла еще один платок – очень красивый синий шерстяной мамин платок, вероятно, я его привезла из дома – и укрыла мамины ноги.

– Платки ей не нужны – За стеклом, в полумраке, мелькают пронзительные женские глаза.

Я все хожу одна вокруг гроба, поправляю платки, разговариваю. Я не плачу, я опять знаю – мама все слышит и простила меня. Она улыбается мне.

Потом был большой зал, и в этом зале я уже не помню маму, но чтобы не ушли из памяти последние мгновения маминого пребывания на земле, неизвестный фотограф запечатлел несколько моментов. На первом снимке папа, грузный, в генеральской парадной шинели, широко раскинув руки, пытается обнять лежащую маму. Вот-вот он вырвет ее из гроба. Вовка, во всем темном, позади папы, он поглощен заботой суметь удержать папу, если тот начнет падать. Я у маминого изголовья, в темных очках, в руках у меня скомканный носовой платок. Сейчас мое внимание тоже сосредоточено на папе. Я только-только оторвалась от мамы, смотрю на папу, я настороже, и руки мои протянуты к папе, я наготове. А внизу, в гробу, лежит в цветах наша мама, видна ее белая-белая голова и белое лицо. В ногах у мамы стоит Нора, склонив голову, она прощается с мамой, она не видит, что папа вот-вот вырвет маму из гроба, не слышит его рыданий… А сзади, на втором плане, спокойно проходят Галя и ее муж Минчо, наши знакомые…

Фотограф схватил очень выразительную композицию. Если бы я была художником, то ухватилась бы за эту выразительную картину прощания.

На второй фотографии виден кусочек гроба, мамино лицо уже закрыто, на переднем плане – сосед по дому полковник Дончев и еще несколько незнакомых мужчин выносят гроб. А по ступеням я, вцепившись обеими руками в папу, свожу его по лестнице. Я держу папу, как ребенка, делающего первый шаг. В левой руке папа высоко держит фуражку, прижимая ее к груди. Черные похоронные дроги, толпа, снег… Мы, шатаясь, приближаемся… И тут папу останавливают:

– Генерал Мицов…

Я вижу генеральскую шинель, знаки различия; папа, качаясь, хватает кого-то за руку, припадает к груди, я стою рядом.

– Жена… – плачет папа. – Жена…

Слезы катятся по генеральской шинели.

…Когда через несколько дней после смерти мамы мы с папой пришли к Вале Терпешеву, сыну тети Мары, он, открыв дверь,

сказал:

– Проходите, Вера Вячеславовна.

Я стала похожа на маму…

А в тот день, на похоронах, я сидела на чьей-то могиле и слушала безучастно, как засыпают мамин гроб. Я опять не помню папу. Я опять была одна. Могильщик постарался – выбрал-таки место на русском кладбище, где находилась чья-то заброшенная могила. Замечаю удивленные взгляды, брошенные в мою сторону, но не шевелюсь. Столько раз, обдумывая предстоящее прощание с мамой, я считала этот момент самым тяжелым – но сейчас, в среду, 2 января 1980 года, сижу согнувшись на чьем-то могильном камне и даже не смотрю в ту сторону, где засыпают гроб.

Снег все продолжал валить, и земля скоро покрылась белым пухом. Мама осталась лежать, а мы вернулись домой.

Может, в тот же вечер, а может, позже, я начала раздавать мамины вещи, оставив себе наволочку от маленькой подушечки, на которой она умирала, и ее серые шерстяные носки, которые я сняла с нее ночью 1 января.

– Никогда не слышала о таком обычае, – говорит мне Славка, папина родственница, забирая мамины вещи. Она долго не верит, что я ей отдаю пальто, и говорит: – А ты, Инга? Пальто дорогое…

Норе я отдаю мамин темно-зеленый шерстяной сарафан, сшитый из папиного военного отреза. Янтарная брошка, в виде треугольника, приколота маминой рукой.

– Инга, может, оставишь брошку? – спрашивает Нора.

После похорон мы торопились покинуть эту квартиру, уехать в Черноголовку, но необходимо было выполнить некоторые формальности. Предстояло посещение нотариальной конторы. Пошли куда-то в небольшое двухэтажное желтое здание, расположенное рядом с «Черной тетей» – так когда-то давно восьмилетний Вовка назвал памятник патриарху Евтимию, стоящий на углу одноименной улицы. Папа, шатаясь, еле переступая, с трудом дыша, поднимался на второй этаж. Было полным-полно народа, мы, повиснув на подоконнике, заполняли какие-то бумажки, и я подписала отказ от наследства.

Мы прожили в Софии две недели. Что помнится из тех двух недель? Помню, когда папа начинал плакать, я неизменно говорила:

– Вот, гляди, мама смотрит из угла, смотри, она вон там. Ей тяжело видеть, как ты плачешь.

Папа поднимал голову, и ищущий взгляд обращался к тому углу, потом опускал голову, но плакать переставал.

Что еще помнится? Помнится, как я решила накануне

Рождества, в сочельник, как всегда, погадать. Этому правилу я следовала на протяжении двадцати лет, с тех пор как подожгла бумагу, лежащую на тарелке, и тень, отбрасываемая на стену, ясно нарисовала младенца, лежащего на спине с поднятыми ручками и ножками. Через десять дней родился Сережка. А 6 января 1980 года я прошла тихо на кухню, смяла бумагу, положила ее на перевернутую тарелку и, открыв дверь, тихо вошла в мамину комнату. Черная пустота разверзлась передо мной. Стоя у двери, не зажигая свет, я подожгла бумагу и зажгла свечку. Бумага вдруг заискрилась и вспыхнула множеством звездочек… Так длилось несколько минут. Не было тени, передо мной была небольшая горсточка пепла, вспыхивающая то здесь, то там яркими огоньками. Я смотрела не двигаясь, и мысль, что душа мамы еще витает в комнате, мучила меня. Так я простояла несколько минут в оцепенении, пока странный фейерверк не потух.

Вот, кажется, и все, что помнится из тех двух недель, которые мы провели с папой в Софии после смерти мамы.

Нет, не все. Однажды, перед отъездом, торопясь в магазин, я встретила соседку с четвертого этажа, Дончеву. Высокая, прямая, с сухим лицом, вероятно, моего возраста, может – чуть старше, учительница. Муж ее был полковником, это он на переднем плане фотографии несет мамин гроб. Я поздоровалась и хотела пройти мимо.

– Нет, – сказала Дончева, заступая мне дорогу, – я хочу вам что-то сказать. Я хочу, чтобы вы знали это. Ваша мама была необыкновенным человеком. Такие не рождаются каждый день.

Я кивнула. Боже, как хорошо я знала это. Но Дончева не верила мне.

– Как вы могли так быстро похоронить ее? Никому не сказали! Почему не дали возможность попрощаться всем жильцам нашего дома? Ее так все уважали.

Мы стояли на тротуаре, чистом от снега, под большими, раскинувшими сухие ветви деревьями, она смотрела на меня, и во взгляде я ясно читала презрение. Я молчала. Я знала, что такое была мама, я страстно любила ее, я попрощалась с мамой за всех живущих в том доме.

А потом был Киев. Мы оказались на том самом вокзале… Прошло всего два месяца с небольшим, как на перрон выходили встречать маму тетя Леля и Горик… но мама в то время уже лежала в Русе в больнице. В вагон вошел мой дядя Гриша, папа двинулся навстречу. Они шли по коридору навстречу – оба семидесятишестилетние старики. Я вижу спину папы, который, пошатываясь, будто ощупью, идет по коридору вагона СВ,

залитому светом, чистому, узкому, сверкающему полированными дверьми, и слышу громкий плач навзрыд, вижу, как клонится папа на Гришино плечо, и кажется мне, что сейчас он упадет и сердце его не выдержит и разорвется. Из купе выглядывают и тут же прячутся перепуганные лица.

– Веруша умерла, Верочка, – рыдает папа.

Он кажется совсем дряхлым стариком, и видно, что он наконец встретил человека, который понимает его горе. Папа рыдал, я уже не могла сказать: «Смотри в угол, там мама». Я наливала лекарство, Гриша что-то говорил, папа постепенно затихал, но этот отчаянный плач старого человека в генеральском мундире забыть невозможно.

Восемнадцатого января, в день рождения Сережи, мы приехали в Москву. На перроне стоял Володя с замерзшим, окоченевшим Гешкой. Сережи, любимого внука, на вокзале не было.

– А где Сережка? – спросил папа.

Сережа появился только вечером, сияющий и довольный, в сопровождении Нади, его первой девушки. Появился этаким всеобщим любимцем, излучающим свет, среди потонувших во мраке людей. Так мне и запомнился этот вечер, двадцатилетие со дня рождения Сережи, на которое мы спешили с папой. Появление двух молодых людей не вызвало во мне радости, папа уже не бросился на шею к Сереже и не зарыдал. Его горе Сережа не разделял.

Я давно замечала, что смерть дорогого человека меняет жизнь оставшихся на земле к лучшему, будто ушедший имеет возможность помочь. Но у нас случилось наоборот. Со смертью мамы все повалилось. Сережа все больше удалялся, ничего не понимал, и глаза его стали как две непроницаемые маслины. В Болгарии Оля, дочь моего брата, тоже загуляла, и Вовка время от времени яростно лепил ей пощечины. Через полтора года в нашей семье произойдет страшная трагедия, связанная с Сережей, через пять лет у моего брата случится инфаркт, еще через год мой муж Володя увлечется молодой женщиной. Через шесть лет умрет папа, еще через два года умрет брат Вовка. За семь лет со дня маминой смерти я потеряю папу, брата, тетю Лелю, умрет моя подруга Юля, в Ленинграде умрет Ритка, близкий человек… Начавшееся смертью мамы десятилетие будет на протяжении восьми лет годами потерь. Уйдут близкие нам, дорогие люди. Умрут Шальниковы – Ольга Григорьевна и Александр Иосифович, умрет мать Владимира Львовича Броуде – Мария Григорьевна Антокольская, которая перед смертью целовала мне руки и просила взять к себе, но я в то время была на грани

помешательства от собственной беды; умрет Дима Шмидт. Помню, что тогда я очень чувствовала приближение чьей-нибудь смерти: вдруг возникал запах еловых веток, смешанный с тлением, и я говорила:

– Скоро кто-то умрет.

И действительно – кто-то умирал, и мы хоронили.

Сразу по возвращении домой из Софии я взяла отпуск на десять дней и каждый день уходила на лыжах часа на два в лес. Погода стояла морозная, градусов двадцать. Помню, как я вдруг увидела окружающий мир – яркое, очень яркое голубое небо, красные стволы сосен… Прошел месяц со смерти мамы. Помню, как однажды вечером я села за пианино и заиграла похоронный марш Шопена. Вдруг дверь отворилась, и вошел папа. Он глянул черными запавшими глазами, походил взад-вперед по комнате, шаркая домашними туфлями, и, ничего не сказав, ушел. Я подумала, что он хотел сказать: «Как ты можешь? Перестань». Но все же доиграла марш до конца.

Папа почти все время лежал в дальней комнате. Он здесь не был ни генералом, ни профессором, ни народным врачом, здесь он был дедом, отцом, тестем… и вдовцом. Приходя с работы, я знала, что папа ждет, чтобы я заглянула к нему. Поднималась на лифте, тихонько открывала дверь в сумрачную квартиру, надеясь, что папа не услышит. Тихо сбрасывала шубу, шныряла по комнатам, в ванную, на кухню. А папа все ждал и, прислушиваясь к моим шагам, наверно, думал: «Как далеко ушла прошлая жизнь! Я звонил по телефону, спрашивал: “Вера, что на обед?” – и стоило мне открыть дверь, на пороге возникала Вера. Как пошло с первого дня нашей жизни, так и продолжалось до последнего… Теперь она больше никогда не выйдет и не покажет свое личико. Нет Веры. При Вере было все совершенно по-другому».

Да, мама десять раз бы зашла, спросила, хочет ли он обедать, не проголодался ли, не нужно ли чего… Уход его матери Цаны в 1927-м был первым. Уход Веры, его жены, моей мамы, в 1980-м – наверное, последним. И тогда и сейчас его покинул единственный преданный, любивший и все понимавший человек, между этими смертями – вся его жизнь. Тогда, давно, в 27-м, он был смел, полон сил, нацелен на борьбу. Вон как он спасался на якоре! Затем – Вена, Москва, новая жизнь. С какой яростью он накинулся на учебу! А сейчас… Нет его Веры… А дети – есть они или нет?

Папа, так и не дождавшись меня, вдруг вырастал в открытом проеме двери кухни и, неуверенно двигаясь, занимал свое место у окна. Чувствовала, как папа исподлобья взглядывает на меня, упорно ждет рассказа о том, что делала, чем был занята, но я

отделывалась ничего не значащими фразами. Папа возвращался в свою комнату, закрывал дверь. Я с облегчением вздыхала, смахивала посуду в раковину, вытирала стол и, чувствуя страшную усталость, сидела некоторое время в одиночестве.

После смерти мамы я физически ощутила себя на краю пропасти, в первом ряду, я словно закрывала всех – собой. Но я чувствовала, что с такой ответственностью не справляюсь. Потрясение от потери мамы подействовало на меня странным образом: при каждом неожиданном звуке, будь то телефонный звонок, звонок в дверь, какой-нибудь крик, или просто кто-то вдруг неожиданно обращался ко мне, я начинала подскакивать на месте и размахивать руками. Со временем размахивание руками и подскакивание исчезли, но вздрагивание осталось на всю жизнь.

– Ты, мама, как курица: она не умеет ни летать, ни бегать, а только машет крыльями, – говорил Гешка.

Вечером мы выходили с папой гулять. Мы являли довольно жалкое зрелище – двое осиротевших людей бредут по улицам, я поддерживала папу под руку. Безрадостные серые дома окружали нас. Было холодно, скользко, темно, у наших дверей, как из трубы, всегда дул ветер. Я пугалась, вскрикивала, когда папа спотыкался; он, не стесняясь прохожих, кричал на меня…

Но жизнь, хромая и припадая то на одну ногу, то на другую, шла. Я металась между работой и домом, папа был недоволен, с Сережей была потеряна связь, Гешка был брошен. Чтобы как-то отмежеваться, обрести независимость, убрать постоянное чувство вины, я изобрела способ – писать. И тогда я написала первый свой рассказ:

Четырнадцать часов из жизни женщины

Проснувшись сегодня, я поняла, что меня переехало судьбы колесо. Было без четверти восемь, а на работе полагалось быть в половине девятого. Разные части моего тела были беспорядочно разбросаны по кровати. Душа же не парила над останками, а вяло лежала на подушке и сквозь серую муть тоскливо пыталась собрать телекинезом все воедино. В восемь часов все, что удалось собрать, поднялось и отправилось под душ. Я не уверена, что кое-какие части моего тела, не успевшие доползти, не были выброшены моим мужем, убиравшим постель.

Взглянув на часы, я покончила с колебаниями насчет завтрака и выскочила из дома. Было двадцать пять минут девятого.

Через стеклянную дверь я увидела силуэты наших сотрудников во главе с начальником. Все сидели на своих местах. Не успела нижняя половина моего тела следом за верхней протиснуться в дверь, как начальник сказал:

– Только что была проверка, тебе придется писать объяснительную записку.

Он посмотрел в мою сторону, но ничего не увидел, так как я проворно спряталась в дот.

– Я собираюсь пойти на семинар, – сказала я, чуть-чуть выглядывая из дота, – там для меня интересный доклад Диденко.

Ответом было молчание. Я надела темные очки, прикрыла амбразуры и вышла. Входя в зал, я услышала:

– Скорость реакции будет тем больше, чем больше положительный заряд на молекуле азота…

Говорил незнакомый женский голос.

– Кто это?

– Это зачитывают рецензию на статью Диденко.

– Когда же она успела доложить? – Я почувствовала удар, снаряд таки угодил в мой дот.

– Доклады поменяли местами, она докладывала первая.

Началась дискуссия, и я подняла руку к голове. На месте. Да и что было ее щупать? Очки ведь держатся. Тут что-то другое. Перед глазами вдруг всплыл чайный гриб из банки, что стояла в кухне на подоконнике. Гриб плавал перед глазами и мерзко подмигивал. Он на что-то подло намекал, что-то напоминал. Я опять дотронулась до головы. Гриб исчез, и вместе с ним исчезла странная, пугающая легкость в голове.

Дискуссия продолжалась. Тихо закрыв дверь, я покинула зал. Начальник вроде только меня и ждал.

– Я прошу составить план на год.

– Ты прекрасно знаешь мой план – писать диссертацию.

– Э-э-э-э! – накалялся мой начальник экспоненциальным «э-э-э». – У нас для всех права одинаковые! Никто не позволит писать диссертацию год.

– У соискателей есть права! – Я выскочила из дота и взмахнула картонной шпагой. – Им дают… время… кажется, три месяца…

– Пиши заявление в дирекцию, разрешат не ходить на работу – пиши себе диссертацию, а нет – пиши ее в свободное от работы время.

«Свободное от работы время! Свободное от работы время!» Шпага моя выпала из рук и сломалась.

– Сегодня после обеда выделяем кофактор, так что разморозь белок и готовь растворы.

Зазвонил телефон.

– Мамка, я сегодня в школу иду? – услышала я бас моего младшего сына.

– Конечно.

– Тогда мне нужна справка от врача.

– Пожалуйста, сходи сам.

– Ну уж нет. Я тогда не пойду в школу.

– Хорошо, – быстро сказала я, – подходи в двенадцать к поликлинике, – и быстро повесила трубку.

В четверть первого я подбежала к поликлинике, младший сын стоял на улице и был похож на противотанковые надолбы. Зацепившись за одну из них, я вбежала в поликлинику и побежала по коридору. Поле брошено, ни врачей, ни сестер, ни мам с детьми. Я повернула назад. В конце коридора стоял младший, ощерившийся орудиями броненосец. Броненосец дал залп:

– В школу не иду! Ты опоздала!

Мы пошли домой.

Балансируя между грудой грязных тарелок, вилок, чашек, ложек, остатков завтрака, я принялась разогревать обед.

– Что это? – спросил дед, уставившись в тарелку.

– Курица.

– Ты что, специально ее маскируешь? Почему, когда курицу мне подают в санатории, я сразу понимаю, что это курица? А у тебя она больше похожа на рыбу. Нет, – сказал дед, отодвигая тарелку, – она совершенно пережарена.

Дробинки застревали в сердце, курица, похожая на рыбу, действительно была пережарена.

– Ну что ж, – сказала я, легко улыбаясь, – отдам ее собаке.

– Ты готовишь не для собаки.

Дед был непреклонен.

Без четверти два я села и стала следить за красной секундной стрелкой, она быстро бежала по циферблату. Пора было отправляться на работу. На кухне была относительная чистота. Семья была относительно накормлена, но разные части моего тела, им только дай волю, поползли по укромным местам, чтобы вздремнуть. Тут я вспомнила про чайный гриб. Банка, как всегда, стояла на подоконнике, но гриб почему-то вяло лежал на дне. Что-то неприятно кольнуло меня. Я отвернулась. А душа, квохча, как курица, собирала свое войско под крыло, и в два-десять, раздираемая жалостью и долгом, повела пошатывающуюся армию на работу.

Выделение кофактора требовало собранности, внимания, физических сил и везения. Все это, как вексель, было предъявлено

мне, как только я вступила в лабораторию. Загремели фанфары, ударили барабаны, я включила третью скорость. «О-о-о!» – закричали все части моего тела, и я пошла-поехала. Как пулемет, строчил насос, в дымовой завесе пролитого азота скрылся (о, если бы навсегда!) мой начальник, «так-так-так» – стучали мои каблучки. Шоколадное драже белка таяло, как уходящий под воду аквалангист, булькал аргон, капала колонка. Каждая часть моего тела приобрела вынужденную автономность: руки взвешивали, растворяли, капали, прокалывали, ноги бегали вверх-вниз. Крутилась центрифуга, крутилась я, 1000 g, обрушившиеся на меня, полностью раздавили мое тело к половине седьмого. Вдавленная в спинку старого колченогого кресла, я перестала существовать, оставив вместо себя тень.

– Так себе, – сказал начальник, разглядывая плоды моего труда, – ты ничего не перепутала? Сколько раз я тебе говорил – записывай все в журнал!

Тень молчала, а душа была занята, она выковыривала тело из спинки стула.

– Вот когда я отрабатывал методику, у меня получался раствор темно-коричневого цвета.

– Хиханьки, – сказала душа, на минуту отвлекшись от своего занятия.

Через час я пришла домой.

«Протопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык», – взревела квартира, как только я открыла дверь. Разбредшееся по прихожей стадо башмаков притопывало в такт.

– А, мамка! Пришла! – сказал старший сын, появляясь в дверях большой комнаты и выплескивая на меня еще более оглушительный рев.

– А у меня живот болит! – сказал он, широко улыбаясь.

Молча я посигналила ему фарами и, наклонившись, принялась загонять башмаки по стойлам. Мягкий, как Страшила, старший скрылся за дверью.

«И ты, нелегкая маманя, хочешь истины в стакане, не лечение-е-е-е-е!» – прогудела комната.

– Хочу, – ответила я и прошла на кухню.

– А что на ужин? – спросил дед, появляясь в дверях. – Опять яйца? Утром яйца, вечером яйца…

– Утром яйца были в виде каши и творога, – сказала я.

– А у меня живот болит! – Улыбка старшего повисла в дверях кухни.

Две черные маслины, улыбаясь, уставились на меня. Сосредоточенно порывшись внутри, душа достала чувствительный щуп и направила его на старшего. Понять бы, что

творится в его душе? И почему болит живот? Старой конструкции щуп мгновенно увяз в соломе и никакой информации не извлек. От напряжения тело начало вибрировать, дрожащие части цеплялись за все, что попадалось по пути. Язык зацепился за младшего.

– В школу не ходил, – крутился язык во рту, – музыкой не занимался?

Младший стоял посередине своей комнаты, уверенный в своей правоте.

– В школу не ходил из-за тебя, ты же справку не достала. Музыкой не занимался, но еще восемь часов.

Все вещи младшего, вся его комната были на его стороне. Строили рожи желтые тетради, криво ухмылялись учебники, нагло развалившись на кровати, дразнилась зеленая школьная сумка, из приоткрытой коробки зло выглядывал железный конструктор. Один сын был неподвижен. Среди гражданского хаоса своей комнаты он представлял собой безупречную стройную архитектуру военной крепости.

«Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей!» – кричала большая комната.

Часы показывали половину девятого, если сейчас не выйти с дедом, он уже не погуляет.

– Пошли гулять! – сказала я деду.

Огромный дед безропотно пошел одеваться. Осторожно, под руку я свела его с крыльца.

– Надо было не выходить, поздно, ничего не видно. – Сквозь толстые линзы огромные глаза неодобрительно глядели на меня.

«Глиняный Колосс!»

– Какая ты неорганизованная! Все откладываешь! Ничего не успеваешь!

Увлекшись, дед споткнулся.

– А-а-а-а! – закричала я. – Не рассыпайся! Не рассыпайся!

– Оставь свою гнусную театральность! Гнусные, ненатуральные крики!

Глиняный Колосс исчез, передо мной возвышалась разъяренная статуя Командора. Командор поднял жезл и стукнул об землю:

– Ты не для дома, Инга, ты для цирка!

Жезл поднимался и опускался перед моими глазами.

Раз, два, три, четыре… Волшебство кончилось. Железный Командор опять был Глиняным Колоссом. Взяв его под руку, я повела деда в парк.

В девять, когда я с укрощенным дедом открыла дверь, проникновенный голос из комнаты старшего страстно зашептал:

– Who knows how long I've loved you?

– O, I know, I know, – ответила я, поддерживая разговор, но душа уже летела по квартире.

Домочадцы находились в неустойчивом равновесии. В ненадежно защищенном дверьми и книгами замке укрылся муж. На пианино, прикрыв глаза, лежал младший. В своей комнате, по-турецки сидя на ковре, улыбался старший. С ними страстно и бесцеремонно беседовал иностранец, вызывая в муже неукротимую безысходную злобу, а в сыновьях – сомнамбулический кайф.

– Чай пить будете? – крикнула я в квартиру.

– Oh, sure, together! – ответил мне иностранец.

Я поставила чайник на плиту, плотно прикрыла дверь, включила телевизор и принялась готовить обед на завтра. В половине десятого равновесие стало более устойчивым. Чужестранец все же устал и заглох, муж растворился в дыму сигарет среди книг и бумаг, младший, объявив перемирие до утра, потушил огни, старший, надежно укутав солому, пошел пройтись с собакой. Дед задумался. Настало свободное от работы время. Я села за стол и раскрыла папку. Первые прочитанные строчки мне ничего не сказали, впрочем, как вторые и третьи.

– Во даешь! – устало сказала душа. – Давай еще раз!

Во первых строках – ничего, во вторых и в третьих тоже ничего.

– Еще разок или как? – печально спросила душа и надолго умолкла.

А тело уже опиралось на спинку стула, вытягивало ноги, закрывало глаза. И тут передо мной опять возник чайный гриб. Он, как медуза, плавал перед глазами, улыбался, причмокивал, манил…

Мы с душой тяжело смотрели на него. Сейчас мы с ней знали: он напоминал заспиртованный мозг, хранившийся у нас на стеллаже в лаборатории. А он все плавал, гнусно улыбаясь. Наконец, тело встало и медленно побрело на кухню. Банка на подоконнике была пуста.

– Володя! – страшно закричала я. – Где он? Куда ты его дел?

– В чем я опять виноват? – глядя мимо меня, спросил муж, медленно появляясь в дверях кухни.

– Гриб! Куда делся гриб?

– Он последнее время все время лежал на дне, стал похож черт знает на что, я только что выбросил его в мусоропровод. На что он тебе сдался?

Папа писал об этом времени Вовке:

«Тут все пишут: Володя научные труды, Инга и Сережа – рассказы, все писатели (и я с ними), и только Гешка – читатель: читает много и постоянно».

Двадцать четвертого января, в день рождения тети Таси, мы поехали к дяде Жоржику. Папа, в генеральской парадной шинели, которая совсем не шла к неуверенной походке старика, вошел, пошатываясь, в большой вестибюль высотного здания на площади Восстания. Мы шли следом, поднялись на лифте, обитом красным деревом с зеркалами, прошли по огромному коридору, где всегда стоял запах дорогой еды и свежесваренного крепкого кофе, позвонили. Жоржик спросил «Кто?» своим тихим голосом и открыл дверь. Папа и Жоржик крепко обнялись. Но папа не повис у него на шее, не заплакал. Он крепился и подчинялся особому укладу этого дома, где всегда все было в порядке. Папа сидел за прекрасно сервированным столом и тихо, с несвойственным ему спокойствием, рассказывал, как умирала мама. И только по округлившимся, ставшим совсем черными глазам я видела, как ему тяжело. Всегда веселый Жоржик притих, казалось, стал на цыпочки у постели тяжелобольного, слушал молча папу. Вероятно, Гриша ему сообщил про плач в вагоне.

Девятого февраля мы опять поехали к Жоржу, теперь на дачу. Папу притягивали мамины братья. Была суббота. Был сороковой день после маминой кончины. Папа, в отличие от меня, прекрасно понимал значение «сороковин», как этот день называют болгары. Поездка за 120 километров от Черноголовки, через всю Москву, развлекла папу, и он уже не был таким отрешенно-печальным и мог говорить и на другие темы.

То, что папа понимал значение сорокового дня со дня смерти, было для меня неожиданностью. Видимо, я и здесь ошибалась – папа был гораздо ближе к Богу, чем представлялось мне. В нашем доме никогда не говорили о вере. Папа знал, что мама ходит в церковь, знал, что я хожу. Но никогда не позволял себе насмешки, никогда вопросы веры не обсуждались. Теперь я думаю, что папа допускал возможность существования другого мира. То, что папа был суеверен, верил в сны – это точно.

– Здравко, – говорила мама, – я сегодня видела во сне мясо.

– Мясо? – задумывался папа, и наш поход на Витошу откладывался.

Мясо – это к болезни. Он боялся, что у меня – не у него – при перегрузке случится аневризма аорты. Он будто предчувствовал эту аневризму, и она случилась – только не у меня, а у мамы.

– Ты почему вернулся? – спрашивала мама папу, который только что вышел из дому, торопясь по важному делу.

Папа, злой, красный, плевался:

– Открываю дверь, а навстречу баба. Да не только баба, а еще и с пустым помойным ведром. Тьфу.

В связи с суевериями я вспомнила, как мы с папой поехали в гости к космонавту Герману Титову. Мы приехали к нему на Мосфильмовскую к обеду. Тамара, жена Германа Титова, уже накрыла на стол. За столом, кроме нас и Титовых, оказался прекрасный парень, впрочем, не такой уж и парень – моих лет, летчик-испытатель, полковник. Кажется, по имени Сергей. Оказавшись среди людей совершенно другого склада, чем ученые, которых я считала наиболее достойными уважения, я была поражена. Эти два человека – Титов и особенно летчик-испытатель – поразили меня: поразила простота и отвага, ум и скромность, веселость и открытость. И никакого снобизма. Летчик говорил о суеверии.

– Есть приметы, в которые мы абсолютно верим, и огромное количество случаев тому подтверждение.

– Например? – спросила я, смеясь.

– Если, например, в первый раз я уложил парашют в определенной последовательности и полет прошел удачно, я никогда не поменяю порядок.

Я слушала с удивлением. Я понимала, что эти люди смотрят в глаза смерти, и поэтому к их словам надо прислушиваться. После их примеров мне не показались уж столь смешными папина вера в сны и приметы.

Из моих записок того времени:

«Завтра будет 40 дней со дня маминой смерти. Дни с 18 января по сегодняшний так были наполнены событиями, трагедией и истериками, что отодвинули мамину смерть гораздо дальше, чем на 40 дней. У меня сердце переполнено жалостью к Сереже и маме. Но ни один из них об этом не знает, и одному из них она уже не нужна.

Я никогда до смерти мамы не думала о потустороннем мире и поэтому никак не могла себя к этому подготовить. Но как только мама умерла, в меня вошла, иначе не скажешь – именно вошла мысль, что мамина душа жива. Я плакала, переживала, еле передвигалась, но я абсолютно не верила в ее смерть. Слова формировались бессознательно в фразу “она ушла с этого света”. Я пережила ее смерть – а раньше думала, что умру или сойду с ума, спокойно пережила, когда ее закапывали, – а раньше думала, что умру. Бог наградил меня верой, я не могу это объяснить, но я абсолютно верю, верю… Недавно вдруг почувствовала, как мама удаляется от меня, и я, благодаря папе, вспомнила христианский

обычай – 40 дней.

Это, вероятно, и называется религиозным опытом.

…Позавчера, 27 февраля, папа пошел гулять один, упал, стал подниматься, упал опять и сломал ногу в голени. На сломанной ноге пришел домой. Врачи говорят – перелом хороший, и когда я это повторяю, то папа отвечает: "Оставь прилагательные, а употребляй существительные". Я знаю свою вину в случившемся, вначале я винила себя больше. Но я не запретила категорически папе выходить одному, потому что видела, что он стал различать дорогу, у него пропал страх, изменилась походка. Точно могу сказать, что не перестала запрещать не для облегчения своей участи, а для улучшения его самочувствия. Но я забыла про лед, и в этом моя вина. Все же я Гешке сказала: "Мы сделали с тобой злое дело: я – потому что не запретила ему выходить одному, ты – потому что не настоял, чтобы пошел с тобой".»

Папа быстро поправлялся, близилась весна, он стал выходить на балкон. Я, закутав ему ноги, усаживала его в кресло на солнце. Именно тогда он погрузился в работу: по предложению моего мужа Володи он написал свои воспоминания о Военно-медицинской академии. Он описывал события пятидесятилетней давности, помня имена всех преподавателей, их манеру говорить, их внешность… Первый экземпляр этой рукописи папа отдал в музей Военно-медицинской академии, третий я вывезла из Болгарии после папиной смерти. И описание учебы в ВМА взято именно из этих записок весны 1980 года. В марте 1980 года папа начал постепенно возвращаться к привычному для него образу жизни – сидеть за столом и писать.

Первого мая мы с Володей и сыновья отправились плавать на байдарках по реке Шерна, и тогда-то, в наше отсутствие, папа и подружился с нашими друзьями – Сережей и Наташей Милейко. Надо сказать, что из всех наших черноголовских знакомых только они приняли и поняли папу, и папа к ним чувствовал расположение. Папа, оставшийся дома в одиночестве, был приглашен к ним в гости, они выпили с Сережей, и папа, так долго молчавший, наконец заговорил. Наташа уже давно ушла спать, а они сидели, попивали вино, и папа, воодушевившись, рассказывал и про восстание в Вене, и про Грац, и про восстание в Плевне. Уже после отъезда папы Сережа Милейко упоминал какие-то подробности, я слушала с удивлением и интересом. Я ничего этого не знала – из жизни моего собственного отца!

– Ты знаешь, Здравко Васильевич рассказывал, как они в Австрии голодали и как он покупал конину и ею кормил студентов…

Рассказ про какую-то драку… Какая драка? При чем здесь конина? В моей памяти после этого рассказа Сережи Милейко остались странные образы: в полутемном низком помещении, в людской свалке, летали над головами тарелки, со звоном бились о стены, мелькали факелы, лошадиные головы…

– Папа, что ты рассказывал Милейко?

Он обрадовался, заторопился…

– Сейчас я тебе расскажу…

– Нет, сначала поужинаем…

Ничего этого я тогда не знала – и узнала спустя много-много лет из папиной книги, посвященной мне.

Пока папа жил у нас, мы не очень заботились о том, чтобы познакомить его с интересными местами Подмосковья. Я, кажется, возила папу только в Абрамцево. Там, в музее, мы дождались экскурсовода, я завязала на папиных туфлях шлепанцы, и мы вместе с группой вошли в здание. Не успели мы пройти прихожую и войти в первую комнату, как папа сел на большой, желтоватой кожи, диван. Я стояла рядом. И вдруг экскурсовод прервала речь и закричала:

– Что вы делаете? Кто вам разрешил сидеть на этом диване? На этом диване сидел Гоголь! Сейчас же встаньте!

Она кричала, возмущалась, пожимала плечами. Папа не шевельнулся, он сидел опустив голову, положив руки на палку. Я сказала:

– Ну, так что же? Вы что – не видите, что ему надо отдохнуть?

Экскурсовод поглядела на папу, на меня и не сказала более ни слова. Когда группа перешла в другую комнату, папа, кряхтя, встал, и мы пошли следом.

Незадолго до отъезда папы в Болгарию, девятого мая, Милейко предложил съездить: «Ну, скажем, в Переславль, к ботику Петра». Как только мы сели с папой в нашу машину, Милейко на своей рванул и помчался. Вцепившись в руль, я понеслась за ним, пытаясь удержать машину. Я никогда на такой скорости не ездила.

– Какая скорость? – спросил папа.

– Сто двадцать.

Папа хмыкнул. Но ни разу не сделал мне замечаний, сидел молча. Промчались по Загорску, мимо Троице-Сергиевой лавры. Где-то за городом, на обочине, остановились, чуть взобравшись на холмик, Сережа расставил столик, Наташа постелила скатерть. Папа, который три месяца тому назад был разбитым стариком, плакал, еле передвигался, сейчас, пусть и не счастливый, но уже возвращающийся к жизни, сидел с нами за столиком. Мы поели и потом очень быстро оказались в Переславле-Залесском.

По левую руку блеснул Горицкий монастырь. Спустившись с горки, я следом за Милейко свернула налево. Справа расстилалось темное Плещеево озеро.

– Здесь рыба водилась какая-то особенная, – сказала я папе, кивая направо, – ее подавали к царскому столу. Озеро, говорят, очень глубокое. Существует даже поверье, что под землей оно соединено… забыла с чем…

Озеро лежало в нескольких метрах от нас, берег был замусорен, мы не стали подходить нему, а сразу направились вверх, к ботику Петра. Папа шел еле-еле, задыхаясь, часто останавливаясь.

– Здравко Васильевич, – сказал Сережа, – вот здесь Петр построил первый русский корабль. Сам рубил, сам строил.

Мы обошли домик, в котором находился ботик, вход был закрыт. Посидели на скамеечке, потом проехали в город и остановились напротив памятника Александру Невскому, рядом крепко и спокойно стоял небольшой белый Спасо-Преображенский собор.

– Александр Невский, – начала я рассказывать, – родился в Переславле, умер, возвращаясь из Орды. Воевал на севере со шведами, а с татарами дружил. Татары его и отравили. Он умер уже по дороге домой, в Городце на Волге. Перед смертью принял схиму. По преданию, когда уже лежал мертвый, ему в руки начали вставлять свечу, вдруг его рука протянулась, и пальцы сами обхватили свечу. А похоронили его в Рождественском монастыре во Владимире. Только…

– Инга, – сказал Сережа, – ты что-то путаешь, он лежит в Александро-Невской лавре.

– Это Петр Первый, – я оглянулась в ту сторону, где на горе стоял ботик, – это он перенес мощи Александра Невского в Петербург.

Сережа громко засмеялся. Этим он был похож на папу. Папа тоже так смеялся – громко и чуть делано.

Потом, выехав за город, опять где-то остановились, и Наташа очень аппетитно разложила еду на скатерти. Папа был весел и доволен. Сережа сказал:

– Я тут по дороге видел указатель на Александров. А не заехать ли нам туда и возвратиться через Киржач?

Мы опять со скоростью 120 ринулись в Александров. В Александров мы приехали уже часов в пять. Облупленные стены Кремля, облупленная арка, ведущая во двор. Кассы еще были открыты, и мы вошли в Кремль – в музей. Вид был неприглядный, но от всего веяло стариной. Стариной пахнуло от колокольни, от крепостных белых стен, от пустынной аллеи между высокими

деревьями, в кроне которых шумели галки. Я молча оглядывала двор. Да, присутствие Ивана Грозного очень ощущалось.

Вот здесь Иван Грозный, накинув поверх царского кафтана монашескую рясу, поднимался по узким ступеням колокольни и звонил в колокол. Вместе с Малютой… Почему-то представлялось, как он раскачивается вместе с веревкой и хохочет…

Мы медленно шли по аллее, на деревьях громко кричали галки. Приземистый собор стоял посередине двора. Было видно, что как его поставили на этом месте при Иване Грозном, так он и не колыхнулся, лишь ушел немного в землю. К входу в собор вела узкая, очень крутая лестница. Мне невероятно захотелось зайти туда, но я даже не знала, открыт ли он.

– Открыт, открыт, – сказала какая-то женщина, проходя мимо.

– Я поставлю свечку. – Я смотрела на папу и искала скамейку, куда его посадить.

Но папа покачал головой. С решительным, сосредоточенным видом он направился к лестнице. Медленно, очень медленно, выбрасывая палку вперед, качаясь, он карабкался по узким стертым ступеням.

Собор был великолепен, расписан снизу доверху, с позолоченными воротами, вывезенными Иваном то ли из Новгорода, то ли из Суздаля. В полутьме собора, в неверном свете свечей огромные темные фрески, казалось, были пропитаны присутствием Грозного-царя, а ведь впускать в церковь его не хотелось, более того – не должно было бы ему быть в церкви, не полагалось. Но отовсюду, куда бы я ни бросала взгляд – со стен, со старинных красно-темных фресок, – дышал Иван. Он цеплялся за стропила, перелетал с места на место, висел на стропилах и глядел из каждой фрески.

«Почему в церкви? – думала я. – Ведь он грешник, такой изверг…»

Но не это, нет, не это потрясло меня. Папа прошел в центр, остановился, не замечая ни ворот, ни росписи, он стоял, опершись на палку, и смотрел прямо перед собой. Тихим голосом кто-то читал молитву. Я купила свечи, папа взял одну из моих рук и уверенно, не крестясь, зажег свечу и поставил к иконе. Запел хор. Папа, выпрямившись, не шевелясь, глядел вперед, казалось, он наконец достиг цели и теперь отдыхал.

– Пошли, – сказала я, – лучше вернуться засветло. Скоро стемнеет.

В мае папа уехал от нас.

Часть 10. Последние годы папы

«Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это – доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?»

Екклесиаст

Переезд папы на новую квартиру вместе с семьей Володи. – Его письма. – Отдых с папой в Варне. – Правительственная больница. – Вещие сны. – Папин приезд в Ленинград на 50-летие окончания ВМА. – Последний папин год. – Выступление по Болгарскому телевидению. – Известие о моем сводном брате. – Похороны отца. – Прощание.

…Как-то я смотрела передачу с участием Наталии Бехтеревой. Она рассказывала о своем посещении Ванги и о том, как та, помолчав, сказала, что мать Бехтеревой (давно умершая) присутствует при их свидании. Рассказывала, как видела катившуюся по щеке слезу на портрете своего покойного мужа, как тот после смерти стоял под ее окнами… Академик Наталия Бехтерева, директор Института мозга, без улыбки, спокойно произнесла эти слова перед стомиллионной аудиторией. Лицо у Бехтеревой запоминающееся, спокойное, лицо очень сильного и умного человека. Чувствовалось, что она знает намного больше, чем рассказывает. Я слушаю, вглядываюсь в это лицо и думаю, что явственное ощущение присутствия папы на нашей даче в начале августа 2005 года – не плод моего лихорадочного воображения.

Да, вероятно, папа в тот вечер, в начале августа 2005 года, был у меня, и я, как всегда, его разочаровала. Я полулежала на кровати в своей комнате на даче; стены, обитые вагонкой, слегка краснели в свете настенного бра; в комнате стоял полумрак. Дверь в коридорчик, ведущий в темную комнату, была полуоткрыта. Передо мной над книжными полками висел большой портрет мамы, написанный Ольгой Менчуковой еще в начале 1970-х; краски сильно выцвели, но позволяли разглядеть мамину напряженную позу, ее глаза, смотрящие вдаль. В тот вечер я, зараженная каким-то вирусом, подхваченным от внучек Саши и Нины, только приступила к перепечатыванию папиных

писем. Письма эти были из 50-х годов – того времени, когда я была занята собой, папа – своим делом, взаимопонимания у нас не было; во всяком случае, с моей стороны понимание папы начисто отсутствовало. За окном уже было темно, улочка за широко разросшейся осиной под окном стала совершенно тихой. Володя заглянул ко мне справиться о здоровье. Я стала читать ему только что перепечатанное папино письмо. Володя, уже собирающийся выйти из комнаты и задержанный чтением письма, вдруг произнес:

– Здравко Васильевич здесь.

Он, кажется, произнес это, не отдавая себе отчета. Володя не только никогда не разделял моих странных необъяснимых видений, но всем своим видом всегда показывал их несостоятельность. И вот в тот вечер слова, произнесенные Володей, лучше всех доказательств подтвердили реальность моих ощущений. Он высказал то, что так явственно чувствовала я. В тот тихий августовский вечер я повторила свою тридцатилетней давности ошибку: когда мама явилась мне во сне и стала тихонько в уголке темного квадрата, в голубой кофточке и белой блузке, я, поглядев на маму, сказала:

– Нет, уйди! Нет еще сил смотреть на тебя.

И сейчас, в августовский вечер, я говорю папе:

– Нет, мне тяжело с тобой, трудно дышать, ты заполнил собой всю комнату, не оставив нам с Володей места.

И он исчезает, и я больше не чувствую его.

До этого папа совершенно явно появился в моей квартире только однажды – в 1991 году, когда я, потрясенная происходящими событиями, преодолевая опасения и страх, отправилась 23 февраля на запрещенный митинг в Москву и, вернувшись с грандиозного стотысячного шествия от Парка культуры по Садовой и улице Горького к Манежу, успела выступить на местном черноголовском митинге. В тот вечер в моей квартире собрались несколько знакомых, и, рассказывая о грандиозном шествии по Москве многих тысяч людей, опьяненных демократическими чаяниями, я вдруг увидела, как ожил папин портрет на стене.

Трудно объяснить, почему я вдруг взглянула в ту сторону, где уже совершенно привычно и незаметно висел папин портрет. Что-то шевельнулось, прошло дуновение, смутно, будто сквозь пелену, показалось, что ожил папин портрет, и я почувствовала папино присутствие. Это было столь ощутимо, что сидевшая рядом со мной Наташа Короткова взглянула на меня и прошептала:

– Мне кажется, твой папа здесь.

Да, он был с нами, сидел в генеральском мундире, положив худые, тонкие, столь знакомые руки на ручки кресла; у него был радостный вид – вероятно, в моем чаянии свободы он узнавал себя.

Этот портрет заказала я Гордееву, художнику из «двадцатки» – группы художников, выставлявших свои работы в Доме культуры на Малой Грузинской в Москве. Гордеев умел переносить на холст сходство с оригиналом. Он написал его за несколько сеансов, приезжая в Черноголовку. Папа остался недоволен портретом. Ему хотелось, чтобы портрет подвел явственнее итог жизни и чтобы, кроме генеральского мундира, колодки с множеством орденов, золотой звезды героя, было что-то еще.

– Что это он меня изобразил как какого-то угрюмого пьяницу? Поставил за спиной быклицу!

Расписная красно-коричневая быклица – болгарская расписная деревянная фляга – очень хорошо оживляла серый генеральский мундир. Но папа был недоволен, и тогда Гордеев замазал быклицу и вместо нее поставил на угол буфета Плевенский мавзолей, который он никогда не видел. Мавзолей скорее напоминал церковь, покрытую белой глазурью. Мавзолей был справа, а слева, под чеканкой с римской церковью в Несебре, Гордеев пририсовал по настоянию папы портрет Пирогова. Пирогов, написанный черной краской, испортил картину, он выделялся чужеродным пятном, но папа настоял. Позже, тоже в Черноголовке, художник из Ногинска напишет папу «в позе главнокомандующего». Этот портрет будет висеть в новой квартире в Софии, в холле, справа от двери, напротив дивана, над кожаным креслом. В отличие от Гордеева, ногинский художник не сумел передать сходства. Не знаю, где сейчас висит этот портрет, сомневаюсь, что на прежнем месте. Возможно, что теперь он не показался бы мне столь чужим, но я не переступала порога той квартиры после смерти брата.

Мама исчезла из моих снов на многие десятилетия, хотя продолжала жить в портрете, как я уже писала, и появлялась невидимо в дни моего рождения. Хорошо помню, как я ехала в Москве по Ленинскому проспекту, возвращаясь из Института кристаллографии. Мысли мои были заняты только что произошедшим разговором с академиком Николаем Андреевичем Киселевым, специалистом по электронной микроскопии. Вдруг, недоезжая Октябрьской площади, где раньше был магазин «Мелодия», я ощутила, что мама сидит на заднем сиденье. Ее присутствие было столь ощутимо, что я заговорила с ней.

– Родная моя, – сказала я, – откуда ты? Почему сейчас? Что

случилось?

И только после поворота на Садовое кольцо, когда мама исчезла, я вспомнила: да сегодня же 25 февраля – день моего рождения.

Не знаю, явится ли папа еще или исчез навсегда, ведь ждать еще с десяток лет я уже вряд ли смогу. Но вот эти письма, порядка тридцати, написанные папой мне, воскрешают последние шесть лет…

…Моему отцу 77 лет. Я вижу, как он, надев генеральский мундир, ходит хлопотать насчет квартиры. С напряженным взглядом спускается на лифте, выходит из парадного, но он уже не передергивает в нетерпении плечом, не шагает быстро, легко и уверенно. Идет старый человек, он спешит на трамвай. Потом медленно, чуть хриплым голосом (эмфизема легких) объясняет свое положение после смерти мамы: жить один не может, нужна большая квартира, чтобы жить вместе с сыном. …Или, аккуратно зачесав назад редкие седые волосы, надев прекрасно сшитый костюм, едет в редакцию или в Министерство здравоохранения и там, улыбаясь, с несколько растерянным, но так же напряженным взглядом, ведет переговоры насчет издания книги, насчет создания Парка-музея Пирогова… Дома пишет мне письма… Ходит в банк – пересылает мне деньги… Мамы не стало. Обвалилась прежняя жизнь. Началось другое – другие соседи, другой дом, другая комната… По вечерам на новой квартире зажигается свет настольной зеленой лампы в окне девятого этажа, в окне, которое я, приезжая в Софию в последующие годы, безошибочно с первого взгляда нахожу среди множества других. Папа живет.

Я привожу отрывки из папиных писем, полученных после его отъезда из Черноголовки в Болгарию, – знаю, что лучше я не напишу.

26.5. 80

Здравствуй, Инга, в Киеве неожиданно меня встретили Леля, Гриша, Горик, Игорь с женою и Славина дочь. Они засыпали меня тюльпанами, а Леля дала мне килограмм котлет горячих. Котлеты я съел до Софии, а твою курицу выбросил, а красные тюльпаны положил на могилу мамы еще 18-го…

В Софии меня встретили Вова, Таня и Здравко. Пока они спят у меня, а Вова приносит мне кушать из хорошей столовой.

Насчет квартиры: военные отказали – нет у них больших квартир и пр. Теперь я подаю заявление на получение 4–х комнатной квартиры в высотном зданиц, что напротив Вовиной квартиры…

7.6. 80

Здравствуй, дорогая Ингочка…

За три недели я был три раза на кладбище – один раз с Норой, два раза с Вовой и Таней.

Моя книжка о Пирогове в Болгарии печатается, возможно, в июне дадут вторую корректуру. Статью об участии русских медиков в национальном освобождении Болгарии напечатают скоро. Архитектурный план «Музея Пирогова» с января месяца ждал меня, недавно большая комиссия Красного Креста рассматривала и приняла… В связи с этим мне придется ехать в Плевну, чтобы проагитировать там начальство… 9 июня ложусь в правительственную больницу…

23.6. 80

Здравствуй, дорогая Ингочка. Я тебе 6 июня через Внешторгбанк послал 100 лев и буду посылать ежемесячно до конца года. Таким образом, с сентября месяца ты сможешь взять себе домработницу. Этим только я смогу помочь тебе, чтобы ты могла отдыхать и готовиться к защите диссертации, да и Володя сможет разгрузиться от домашних хлопот.

5. 7. 80

Здравствуй, дорогая Ингочка.

В воскресенье 29 июня отметили 6 месяцев со смерти мамы. На кладбище были Людмила Кирилловна, Пенева, Валя Алымова, Клавдия Григорьевна с дочерью, Петкова, Дончев с женой, Мара, Минчо (Галя в Тырново), Веса, Владко, Слава, баба Катя с родственницей, Оля, Таня, Здравко, Вова и я.

Угощались на маминой могиле за упокой ее души. Было много цветов. Я благодарил присутствующих за то, что пришли, упомянул о прекрасных качествах нашей мамы и зарыдал, а Здравко подбежал ко мне и обнял меня. Мара держала прекрасную речь, а Людмила Кирилловна предложила стать на колени перед маминой могилой в течение минуты. Посторонний русский старик произнес прочувственную речь над маминой могилой…

6. 7. 80

Дорогой Жоржик.

Посылаю тебе некролог Веры по случаю ее блаженной смерти.

Я начал соображать, что Вера хорошо умерла. Ей было 76 лет, но она была в полном сознании, она сознательно говорила, умно смотрела, хорошо слушала, свободно самообслуживалась и умерла на моих руках, в окружении своих детей, медленно закрывая глаза.

Верина смерть – моя самая большая потеря…

Здравствуй, дорогая Ингочка.

Мы начали перевозить вещи из моей старой квартиры на новую. Некоторые вещи пойдут на дачу. Несмотря на эту удачу с квартирой, я в связи с переездом непрерывно рыдаю, оплакиваю каждую мамину вещь и пр. Просто запсиховал. Успокаиваюсь, когда вижу, что все идет хорошо. Рад, что сейчас могу Вове помочь, а не после моей смерти.

Вышла последняя корректура моей книги «Пирогов в Болгарии».

13 августа 80 г.

Здравствуй, Ингочка моя!

…Ты привези мне вызов. Я не знаю, какие у меня будут возможности, но хочу его иметь в распоряжении. Привези мне мою рукопись, которую Георгиевский прислал тебе.

20.9.80

Инга, пошел на почту отправлять тебе письмо и в почтовом ящике нашел твое письмо на новый мой адрес. Вернулся и решил ответить тебе на твое письмо от 13 сентября.

Прежде всего, мне хорошо, что ты нашла меня на моем новом месте. Я обрадовался этому до слез. Шкаф мамин перенесли, собственно вещи в шкафу, а шкаф нам некуда девать. Люстра из маминой комнаты висит теперь в моей новой комнате. Стол и буфет, а также кожаный диван хорошо разместились в теперешней нашей столовой, там же находится и люстра, которая была в моей комнате. Даже горшок с любимым маминым белым цветочком теперь стоит в моей комнате. Он пока еще хорошо цветет.

Я, Ингочка, адаптируюсь к новой квартире, к новым очкам, к зубным протезам, к возрасту. Ждем тебя. Целую. Папа.

10.10.80

Здравствуй, дорогая Ингочка.

Я покоя не знаю. Был в Плевне и толкнул дело с Пироговским музеем. Сегодня возвращаю последнюю корректуру моей книжки «Пирогов в Болгарии» – даны все 26 обелисков в Болгарии в качестве признательности Болгарии делу Пирогова у нас, т. е. признательность русским военным чинам.

Я закончил книгу о студентах в Австрии в 1920–1945 гг. Веду переговоры с Партиздатом о ее издании… Ты мне привези вызов, а здесь разберемся…

Подошла пора нашей с папой очередной встречи в Болгарии. Он пишет:

Здравствуй, Ингочка!

Спешу сообщить тебе, что получил две путевки в Варну в Дом отдыха ЦКБ КП. Срок путевки с 7 ноября. Прошу не опаздывать.

Мою книжку о 25-летней антифашистской деятельности болгарских студентов в Австрии принял Партиздат на 1983 г., я ее посвятил тебе. Не знаю, утвердят ли мое посвящение редактора.

Когда я приехала в начале ноября в Софию, было слякотно и шел мокрый снег. На второй день мы уехали с папой в Варну.

Дом наш стоял на самом берегу, прямо от него начинался пляж. Пляжем, конечно, никто не пользовался: ноябрь. У нас был двухкомнатный номер. Рано утром, еще до восхода солнца, я вставала, не зажигая света, быстро натягивала спортивный костюм и выбегала в серое свежее, пахнущее морем утро. Я легко бежала по асфальтированной дорожке, смотрела на градусник, потом по твердому с ночи песку бежала к морю. Я бежала к каменной гряде, уходящей в море, перебиралась по камням как можно дальше; живое солнце выплывало из моря, и я была счастлива.

Утром папа делал процедуры, я сидела на балконе и читала, после обеда мы шли на прогулку. Так нас и заснял фотограф. Мы идем по причалу, сзади наш пятиэтажный дом, с одноэтажной, сплошь стеклянной пристроечкой – это наша столовая. Я держу папу под руку, папа прекрасно одет, на нем темные брюки, серый пиджак, поверх легкое пальто в мелкую клеточку. Он в галстуке и белой рубашке. Я в клетчатой зелено-желтой юбке, в бежевом замшевом жакете, на груди длинная связка крупных янтарных бус. Я даже выгляжу элегантной. Я спокойно смотрю в объектив, сдержанно улыбаясь, но выражение лица, поза – все говорит о том, что я счастлива моментом: я с папой, я дружу с ним, я люблю его, он мне дорог. И я опять у папы за спиной, хотя и крепко держу его под руку…

Я уехала к себе домой, папа остался в Софии. Время шло, он слабел, вот что он написал мне весной 1982 года.

Здравствуй, дорогая Ингочка.

Спасибо за вашу семейную телеграмму по случаю моего дня рождения. Сережа меня радует. Он серьезный, умный, работоспособный, скромный, веселый, вообще нормальный, хотя немного скрытный.

Я рад, что у Гешки прогресс, ты пишешь – «скачок». У него прогресс не только в школьной успеваемости, но и в области сознательности вообще. У него явный положительный рост –

скачок. Да и пора этому пришла.

Партиздат выслал мне мою рукопись с ответом рецензентов и предложений. Я решил изменить заглавие – вместо «интернационалисты» – назвать «Благоевские орлы в Австрии».

Сижу я дома, не выхожу, потому что скользко на улице. Однако беда нашла меня и дома. 24 февраля в 3 часа утра проснулся от боли в сердце. Как всегда, принял таблетку нитроглицерина, но когда закрывал склянку, видел, что одна таблетка выпала на одеяло, и я взял да и проглотил и ее. Сразу после этого встал и пошел в уборную. Там упал в обморок. Когда пришел в себя, чувствовал боль во всем теле и видел, что руки в крови. Закричал, пришел Вова, затащил меня в кровать, почистил, дал лекарства, вызвал «скорую». Хотел отвезти меня в «пироговскую», но утром отвезли в «правительственную». Здесь пролежал 10 дней, не двигаясь. Потом провели сложнейшие исследования головы, черепа, шейного позвонка, головного мозга, затем сердце, кровообращение конечностей и пр. Слава богу, органических поражений не было. Разрешили двигаться, ходить осторожно и пр. Теперь я лечу сердце, диабет и зубы. 17 марта кончаются все исследования. Меня выпишут, адаптируюсь дома до конца марта, а в апреле проведу дней 20 в санатории. Ясно, что в Черноголовку попаду в начале мая. А там посижу месяца два. Таковы планы.

Межу прочим, я упал в обморок по той причине, по которой наша мама упала в коридоре в 1976 году – быстрое снижение давления из-за лекарства. Только беду маме причинили врачи, а я сам себе сделал это.

Памятник маме сделан хорошо. Из белого мрамора. В голове елка, в ногах – береза. Все русское. Привет всем дома. Папа.

Наша жизнь в Черноголовке более-менее упорядочилась. Сережа делал дипломную работу в Москве в Институте физических проблем, он съездил на каникулы в звенигородский пансионат, где познакомился с Аней Голицыной, своей будущей женой. И в марте я смогла вылететь к папе в Варну. Он еще настолько был крепок, что до Варны добрался сам. Прилетела я рано и утром уже была в санатории. Я вошла к нему в номер, он повернул голову из-за стола, я провела рукой по блестящей лысине и поцеловала в шею.

– Ты уже здесь, Ингуся?

И потекли мои счастливые дни.

Это было время моих вещих снов. Мама охраняла меня. Вчера я прослушала передачу, на мой взгляд, несерьезную – про ангела-хранителя. Единственно, что меня тронуло – так это то, что

ангелом-хранителем может быть и умерший близкий человек. Однажды, в то страшное для нас лето 81-го года, когда силы мои были на исходе, лежа на балконе на тахте, отвернувшись к серой кирпичной стене, я взмолилась:

– Мама! Помоги!

В полусне я увидела на маминой могильной плите ее руку, ее рука высунулась из-под земли и будто барельеф спокойно лежала на белом мраморе, по локоть, по ту самую *мякоть*, без которой я раньше не могла жить. Это было видение.

И вот здесь, в Варне, в первые же дни, когда я бегала по берегу моря, пытаясь погрузиться в ощущение, что море стало моим, моей собакой, моим другом, бегала и бегала по утрам, в одну из ночей я увидела сон. Но прежде чем рассказать этот сон папе, я сказала ему, когда мы гуляли вдоль моря:

– Знаешь, каждый день рождения мама ко мне приходит.

Я смотрела на папу и не увидела ни недоверия, ни удивления – только горькую задумчивость. Значит, он не будет насмехаться надо мной, и тогда я сказала:

– Знаешь, с Сережей все-все будет хорошо. Сегодня я видела удивительный сон:

Я иду вдоль по полю с сыном моим Гешкой, справа течет голубая прозрачная река, вдруг перед нами зависает неподвижно птица. Величиной с ворону и темная. Я поражаюсь, что птица неподвижно висит, и вдруг птица исчезает, а гораздо ближе, немного сзади появляется мама. Она на белой, «онегинской» скамье с витой спинкой, почему-то вниз головой, одетая в белую блузку и голубую кофточку. Я бегу к ней и думаю, что-то с ней случилось. И сразу меня успокаивает мысль: раз я ее так вижу, значит, ей там хорошо. Подбегаю и вижу, что она не одна, рядом с ней сидит Богородица. Мама наклоняется и бросает вниз голубой платок, который, медленно кружась, покрывает меня.

Папа смотрит внимательно прямо в глаза и молчит. Потом мы идем и не заговариваем больше об этом.

Тогда же я сделала вторую попытку и написала второй рассказ.

В Черноголовку мы приехали с папой в конце марта, а в начале апреля он отправился в Ленинград на 50-летие окончания академии, я сопровождала его.

Папа был в Ленинграде в последний раз. Я просмотрела книжку выпускников 1932 года, из 170 слушателей к тому времени осталось в живых 64.

К моему удивлению, папин выпуск был в основном его

возраста, то есть кончали академию уже взрослыми людьми, в возрасте двадцати восьми – тридцати лет.

Умер Оскар Геринг, умер Баранов Сергей Арсеньевич, который когда-то на занятиях по латинскому языку, указывая папе на латинское *N*, говорил: «Это я знаю, это номер, а вот этого, – указывая на обозначение хлора, – не знаю». Умер Прошкин Игнатий Силантьевич, который тогда не знал ни того ни другого. Но был жив Объедков Виктор Трофимович, бывший пастух, который на вопрос профессора, державшего пинцетом кожу трупа: «Что это?», – ответил: «Шкура». К Вите Объедкову папа на первом курсе во время каникул ездил в Тамбовскую деревню по заснеженным лесам, возница гнал лошадей, поминутно оглядываясь – в лесу водились волки.

Был жив генерал-полковник Смирнов Ефим Иванович, которого папа, при своем независимом характере, можно сказать, боготворил.

Организатором встречи были Сергей Сергеевич Поггенполь и Симон Нахимович Черномордик. Я помню эти имена – вероятно, каждую встречу организовывали именно они, в нашей семье часто звучали эти фамилии. До сих пор у меня хранятся две бандероли с ленинградским адресом Поггенполя и бийским адресом Объедкова. По просьбе папы я должна была отослать его книги, даже запаковала, обвязала бечевкой – и не отправила, папа был прав, когда говорил: «Какая же ты неорганизованная». Они лежат в шкафу, потемневшие от времени, и рука у меня не поднимается развязать эти бечевки, распечатать их и посмотреть – что за книги папа пересылал со мной.

От этого последнего посещения академии осталась фотография, размытый снимок в газете: участники встречи сидят перед зданием Главного штаба академии, я насчитала всего человек двадцать. В первом ряду, в середине, сидит папа: в генеральской шинели, улыбаясь, сложив руки на животе.

Нас поселили во дворе Академии, за сплошным железным забором, куда можно было пройти только по пропускам. Поселили в двухэтажном коттедже, на первом этаже, в двух комнатах, нас там же и кормили – и весь дом пропах дорогой кухней. Папа почти все время лежал, но когда я попыталась бросить его и промчаться по Ленинграду, он забеспокоился:

– Куда?

– К Пушкину.

Папа оживился, привстал на кровати:

– Возьми меня, Ингочка, с собой.

Я была убита. Куда с ним по автобусам, он еле поднимает ноги, потом идти до музея, а сначала к Финляндскому вокзалу…

И он будет висеть на мне. Нет, это невозможно.

– Папа, это невозможно, – сказала я. – Это далеко, ты устанешь, ступеньки в автобусе такие высокие.

Он глядел на меня грустно, глаза были маленькими и печальными.

– Высокие ступеньки? – переспросил он.

– Ну да, потом очередь.

– Ничего, – сказал он, – как-нибудь.

– Нам же надо в два часа быть здесь, у тебя заседание, ты устанешь.

– Мне бы так хотелось. Я никогда там не был…

– Не успеем.

Я была неумолима. Страх, что я испорчу себе эту прогулку, сделал меня беспощадной.

Папа почувствовал.

– Я очень быстро обернусь, – сказала я. – Всего час, максимум полтора.

Впервые так решительно отказала папе в его просьбе, хотя чувствовала, как ему хочется посетить квартиру Пушкина. Всю дорогу, торопясь к Пушкину, я видела, как папа обреченно укладывался на кровать, повторяя:

– Через час ты уже вернешься, Ингуся?

Я бежала по Литейному мосту – черные, с выпуклой грудью русалки, круто изогнувшись, смотрели на меня, держа в руках вензель, как щит. Эти черные женщины были как раз на уровне моего роста, когда мне было четыре года, и мама, крепко держа за руку, спешила по мосту, а в пролетах между черными головами синела Нева.

Меня гипнотизируют головы, глаза, грудь. Меня тянет Троицкий мост, Лебяжья канавка, красные свечи Ростральных колонн. Под мостом, как белые медведи, громоздятся льдины. Они тяжело выпрыгивают из воды, крошатся и вновь, кружась, пропадают в синей Неве.

Я бежала по набережной, то и дело касаясь, как в детстве, шершавого парапета.

Надо мной было необычно ярко-голубое небо, как будто Господь открыл второй этаж, почти всегда заколоченный, и этот голубой этаж устанавливал сейчас прямую связь с вечностью.

Дом Пушкина немного перестроен. Изящный дом, вход из-под арки. Ряд окон на улицу, ряд во двор. В какую дверь выходил он перед дуэлью, в какую его внесли? И где упала Наталия Николаевна, увидев его? Во дворе стоит небольшой памятник. Гений, знающий себе цену и так легко носящий свою гениальность, что этим вводил в заблуждение многих. «Я тогда

понятия не имел», – что-то такое спустя годы вроде сказал Дантес. Я сажусь на скамейку и смотрю, смотрю на небольшого роста черного человека в черном котелке. Душа гения спрятана в теле светского повесы.

Еще раз прошла по мосту, скосив глаза на окна Пушкина. Не может быть, чтобы его рука не касалась перил этого моста. Дом, выходящий на Лебяжью канавку, – лимонный, холодный, с коричневым орнаментом, во втором этаже ряд огромных черных окон, как ряд важных дам на балу, в огромных прекрасных головных уборах. Я спустилась по лесенке под мост, оттуда сильно пахнуло уборной, быстро поднялась и побежала обратно, касаясь рукой гранита, и единственными моими спутниками была Нева, вдруг освободившаяся ото льда, и напротив – скелет Петропавловской крепости, страшный и мертвый.

Стоя на остановке против Михайловского замка, я пропускала автобус за автобусом. Тревожно-красный, с синими закатными окнами, с серой большой широкой лестницей, с наваленным грязноватым снегом, замок проглядывался сквозь кружевную графику деревьев. Размытое отражение колебалось в воде.

Вечером я сижу в нашем номере, жду папу с праздника и смотрю по телевизору «Сильфиду». Нева за окном, музыка, балет, Пушкин, моя молодость… В студенчестве меня отделяло от детства всего 12 лет, тогда казалось – вечность, а сейчас от студенчества отделяет 30 лет.

Меня лихорадит от красоты города, от непривычной защищенности папой не в Болгарии, а в СССР. Здесь все так почтительны со мной, так уважают папу. Как я мечтала, как старалась перетянуть их с мамой сюда. Не вышло. И предчувствие скорого конца вдруг переполняет меня и отделяет эту комнату от всего мира. Я уже не смотрю балет, я не чувствую Неву, я жду, жду папу.

Назавтра мы идем на обед к Георгиевскому. Выходим через черный ход, часовой в будке отдает честь, и мы оказываемся неподалеку от дома, где начиналось мое детство.

Папа торопится, наваливается на меня, и я вижу, как он нервничает. Но мне очень хочется зайти в дом, где начиналось мое детство.

– Раз ты так хочешь, идем, я тебе покажу окна. Здесь был деревянный дом, он сгорел в войну. Здесь этого прохода не было.

– Где?

Я осматриваюсь в растерянности – деревянного дома я не помню.

– Что с тобой говорить, – сердится отец, – бестолковая. Ничего не понимаешь. Этого, этого. – Он останавливается и зло

топает ногой.

– Вот из этого окна.

– Какого?

– Вот из этого. Что тебе объяснять? Ничего не понимаешь. С навесом два окна – это большая комната, а рядом маленькая. Спальня. Вот из этого окна ты глядела, а здесь во дворе была маленькая собачка, и она лаяла, а ты кричала… как же ты кричала… – приостанавливается отец. – «Не лай, папа спит».

Но я помню дословно: «Авка, молчать, папа спит!»

– А в соседней комнате жил доносчик. Вот его окно.

– Да, я знаю. Зак. А где дверь черного хода?

– Оставь, – машет рукой отец, – теперь нет черного хода, квартира поделена, и на одну половину входят с той стороны, на другую – отсюда.

– Но где эта дверь?

Я не говорю – «дверь, откуда тебя вывели в ту весеннюю мартовскую ночь», я просто спрашиваю: где эта дверь?

Я оглядываю двор, заметенный снегом. Где-то здесь стоял воронок, да, мама могла видеть. Или нет? Раз прохода не было, то как могла въехать сюда машина? Или папу увели не с черного хода, а по широкой парадной лестнице?

Я не спрашиваю. Только оглядываю двор. Что из того, что он кричит? Я теперь это принимаю, будто это обычный способ разговора. Но как меня пугал это крик раньше! Иногда я просто заболевала от крика. Однажды в Софии со мной случились судороги, и тогда родители испугались. А я, только судороги кончились, пошла в церковь, которая была еще со времен турок: от природы небольшая, она находилась наполовину под землей. Но дух там был нужный, и я простояла в полутьме какое-то время, молясь за них. Иногда я боялась, что нервы не выдержат и я сойду с ума. Я не могла и подумать, чтобы выйти замуж за человека, хоть чем-то напоминающего папу.

Итак, мы идем к Георгиевскому в дом, где жили мы после того, как папу выпустили из тюрьмы. Папа спешит, поминутно оглядывается. Идти скользко. Наконец мы входим в дом.

Квартира Георгиевского большая, гораздо больше той нашей. Конечно, не двухкомнатная, ведь она на генеральской половине. Сам Георгиевский – высокий, худощавый, с узким интеллигентным лицом. Жена – невысокая, полноватая блондинка, она появилась недавно, после смерти его первой жены. Она в кружевной кофточке, волосы аккуратно уложены, пухлые пальцы в кольцах. Мне кажется, что я вижу ее насквозь – ее жизнь состоит в том, чтобы накормить своего генерал-

лейтенанта, устроить уютное гнездышко, закрепить свалившееся на нее счастье и понравиться всем знакомым Георгиевского.

Посередине комнаты большой стол, весь уставленный цветами, – зимний сад.

– Людмила Алексеевна – великий садовод, – улыбаясь, говорит Анатолий Сергеевич. – Она всех в доме снабжает цветами. Это она нанесла на зиму с балкона оранжерею.

– Предполагая, что задержусь у дочери, я забрал с собой свою работу «Чудесный доктор» и на днях закончил ее вторую часть, – говорит папа. – Надо начинать третью часть: «Внуки Чудесного доктора». Анатолий Сергеевич, мне необходима литература, содержащая данные о вернувшихся в строй до 1 сентября 1944 года раненых и больных 3-го Украинского фронта, освобождавших Болгарию. Не можешь ли помочь мне чем-нибудь? Книга Ефима Ивановича Смирнова «Война и военная медицина», которую он дал мне в прошлом году, помогает лишь частично. Нет ли необходимого мне материала в Военно-медицинском музее и как мне его получить?

Я слушаю вполуха, хвалю: действительно, очень вкусный торт, довольная Людмила Алексеевна крупным детским почерком пишет мне рецепт.

– Людмила Алексеевна у нас кулинарка – всех женщин снабжает рецептами, – говорит Анатолий Сергеевич.

А я думаю: чем же так она отличается от мамы? Ведь мамина жизнь тоже состояла в том, чтобы накормить, заботиться… Она довольна собой. Она в восторге от себя, от хрусталя, от дорогой мебели, от положения жены генерал-лейтенанта. Она принадлежит к избранным – и это ясно читается на румяном круглом лице. Мамино лицо – это застенчивая скромность, сдержанный, невысказанный ум, ум – не «высоколобый», не высокопарный, просто никогда мама не могла сказать глупость. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), хирург, причисленный к лику святых, издавший книгу по гнойной хирургии и удостоенный Сталинской премии, написал еще одну книгу – «Дух, душа, тело»; в ней он, ссылаясь на свой опыт и на религиозный опыт старцев, утверждает, что именно в сердце содержится и ум и душа. У мамы было мудрое сердце.

– Пока я здесь, – говорит папа усталым голосом, – постараюсь выполнить просьбу болгарского Партиздата: чтобы советское издательство выпустило в 1983 году болгарскую книгу «Рамо до рамо, сърце до сърце» («Плечом к плечу, сердцем к сердцу»). Книга – о 27 живых болгарах, бывших политэмигрантах, служивших в Советской Армии до 1945-го, а затем в Болгарии в Народной армии, в том числе и обо мне.

Мы так долго сидим у Георгиевского, а ведь нас ждет еще Любовь Иосифовна, папа просит позвонить ей и сказать, что мы задерживаемся. Наконец, мы приезжаем к ней. Любовь Иосифовна явно расстроена. До отхода поезда менее часа. Папа даже не хочет раздеваться. Но у Любови Иосифовны тоже все приготовлено к ужину. Мы присаживаемся за стол. Папа нервничает, просит сына Любови Иосифовны – которого мы помним как мальчика Осика, а теперь это взрослый мужчина – вызвать такси и проводить нас.

Билетов в двухместное купе СВ нет, но папа настаивает, и его вместе со мной помещают в двухместное купе проводников. Дверь в купе папа немедленно закрывает. Он явно нервничает, серый, напряженный. Он долго сидит, привалившись спиной к стенке, не раздеваясь, словно чего-то ожидая. И только спустя какое-то время после отхода поезда неуверенно поднимается, я помогаю ему снять шинель, нам приносят чай.

Только когда после этого прошло пятнадцать лет, я поняла причину папиного страха, ужасного стариковского страха и волнения в тот приезд. Попробую сейчас рассказать об этом, хотя многого я не знаю, о многом лишь догадываюсь.

…Спустя четыре месяца после папиной смерти, однажды в декабрьский день 1986 года я сидела у Любови Иосифовны.

– Я не знаю, смогу ли я тебе быть полезной? Значит, ты хочешь узнать про папу? А что?

– Все, – сказала я.

Она посмотрела внимательно и задумчиво своими сплошь карими глазами. Глаза были внимательные и грустные.

Я держала в руках магнитофон и записывала подряд все, что рассказывала старушка, полулежащая на постели. В комнате пахло валокардином, горела настольная лампа, было полутемно. Любовь Иосифовна откидывается на спинку стула и смотрит на меня. Она утомлена и немножко задыхается.

– Устали?

– Я-то что! Вот тебя, наверно, утомила. Я ничего.

– Как у вас с давлением?

– Ну, наверное, сейчас поднялось, – говорит она с трудом. – Да это ничего. Ты очень стала похожа на маму, – продолжала Любовь Иосифовна. – Вот только глаза у тебя, мне казалось, были серые. – Она испытующе смотрит на меня.

– Нет, – смеюсь я. – Карие.

– Вот и смеешься, как мама, – разглядывая меня, говорит Любовь Иосифовна.

Как смеялась мама? Я не помню. Мне ее смех, очень редкий,

казался обыкновенным, без каких-либо особенностей, просто смех, естественный, не то что похмыкивание тети Лели или громкий папин хохот. Мамин смех был незаметный.

– А как мама вам показалась в Самарканде? Очень постарела?

Любовь Иосифовна какое-то время молчит.

– Нет. Похудела, конечно, а так ничего.

– Эшелон папин добирался очень долго, – говорит она. – Когда приехали, по крепости разнесся слух сразу: «Приехал третий курс». Первое время папа жил у нас.

– А Элла приехала?

– Элла тоже.

Любовь Иосифовна, подобравшись, говорит строго:

– Она ехала с папой в эшелоне. Папа первое время жил у нас.

– И она тоже у вас жила?

– Да, тоже. Папа спал в комнате с Осиком, а Элла со мной. Элла была очень достойная женщина. Очень достойная женщина. Она потом окончила институт и работала врачом.

– А дети у нее были? Дети у нее были?

Я удивляюсь чужому тихому голосу, задавшему неожиданный для меня вопрос.

– Были, – так же тихо отвечает Любовь Иосифовна.

– А кто? – еще тише спрашиваю.

– Сын.

Разговор шепотом, будто боимся потревожить кого-то, напоминает мне страшную сцену из «Идиота» – в спальне Рогожина, где за пологом лежит зарезанная Настасья Филипповна. Петербургский дом, полутемная комната, два человека, склоняясь друг к другу, говорят все тише и тише. Как будто уже заранее знают ответ. Ужасный ответ.

– А как его зовут?

– Георгий.

Сердце почему-то останавливается. Медлит, молчит, потом начинает опять стучать.

– А фамилия? – совсем тихо спрашиваю я.

Любовь Иосифовна с вызовом твердо глядит мне в глаза:

– Мицов.

– А отчество? – глупо спрашиваю я.

Любовь Иосифовна пожимает плечами и удивленно смотрит на меня.

Сердце опять останавливается и на этот раз долго молчит. Потом стучит, опять затихает. Это – как аккомпанемент нашего разговора. То, что я услышала, столь ужасно, столь невероятно, что я начинаю плакать. Слезы льются, сердце то бьется, то не бьется, а я плачу, тихо, закрыв лицо руками. Меня мучит

страшная жалость к этому неизвестному мне человеку.

– Когда он родился? – тихо спрашиваю я.

– В сорок четвертом году.

– Папа знал?

Любовь Иосифовна молчит.

– Папа знал? Папа знал?

Она молчит. Слезы у меня льются без остановки, как в кино. Сердце вытворяет что-то страшное. Странно, что так быстро откликнулось сердце. Будто полоснули ножом.

– На кого он похож?

– Я его не видела. Только когда он был маленький. Начинал ходить. Тогда был похож на папу. Такие же черные глаза. Рос он трудным ребенком. Кажется, не получил высшего образования.

– Как же папа мог? Почему он им не помогал?

– Откуда ты знаешь? – вскидывает голову Любовь Иосифовна и смотрит на меня своими сплошь коричневыми, без прожилок, глазами.

– Так он знал?

Любовь Иосифовна молчит. Она встает, подходит к столику, нагибается и достает пачку писем. Вынимает одно и протягивает мне. «Прошу, – я бегу глазами… мамин почерк… крупные буквы… без знаков препинания, – только правду… был ли у Эллы ребенок?»

Бегу дальше: «Раздался звонок… Здравко был в Плевене… подошла я… назвался Георгием Мицовым, сказал: “Сын из Ленинграда”… Прошу… приняли бы…»

Медленно складываю письмо. Как жалко этого неизвестного мне человека. И он имел право быть счастливым, знать отца, видеть, общаться… Ничего не получил. Несчастное дитя. Я забываю, что ему уже 42 года – это мужик. Наверняка огромный, черный мужик. И по-видимому, совершенно чужой.

– А мама? Мама знала? – спрашиваю я.

Любовь Иосифовна протягивает руку за спину и достает конверт. Это ответ на мамино письмо. Я читаю и понимаю: мама не хотела прочесть между строк то, что написала Любовь Иосифовна в ответ на ее запрос. «Слава богу! – думаю я. – Слава богу!»

Но вот, спустя почти двадцать лет после этого разговора, ни с того ни с сего возникает на моем столе мамино письмо, и там большими и четкими буквами, без знаков препинания, было написано: «Значит, у Эллы был сын. Я это прочла между строк». Откуда это письмо? Я своими глазами видела у Любови Иосифовны совершенно другое!

Мама знала! И узнала это она за год до смерти!

– Для меня не имеет большое значение кровное родство, – говорит Любовь Иосифовна. – Мне важно, чтобы была духовная близость.

– Нет, для меня огромное значение имеет кровное родство. Кровь очень важна. – Я качаю головой и вытираю ладонью лицо.

– В этом мы с тобой расходимся, значит. Элла была очень достойная женщина. Как только она узнала, что вы приезжаете, она уехала к своим родным в Ярославскую область.

Боже! Какую вину я чувствую перед этим человеком! Я опять начинаю плакать.

– Твоей вины здесь никакой нет, – говорит Любовь Иосифовна и глядит на меня. – Твоей вины нет.

– Нет, я чувствую. У нас был отец, а у него – нет. Я крала его время и внимание. Боже! Как он мог ожесточиться! Как мог! Что из него получилось?

– Элла много ездила по стране. Работала долгое время на Севере. Заведовала туберкулезным санаторием. Она стала очень хорошим врачом. А ребенка воспитывала ее сестра.

Какой ужас!

– Она любила папу?

– Очень. И сейчас его любит. Она, наверное, не знает, что он умер. Откуда?

Боже, какой кошмар! И слезы опять начинают катиться по моему лицу.

– Она так и не вышла замуж.

– А они виделись?

– Не знаю.

– Когда папа приезжал в Ленинград?

– Он очень долго не приезжал.

И вдруг я поняла, что мне страшно жалко не этого неизвестного моего брата, а папу и маму. Страшно жалко их обоих. Особенно папу.

– Они ему не были дороги.

– Наверное. Хотя точно сказать нельзя. Он не хотел впутывать вас.

– Он их не любил!

– Этого тоже сказать нельзя. Ему было трудно – это ясно. Он отрезал раз и навсегда.

– Когда он приезжал в Ленинград?

– Каждый год.

– Нет!

– Каждый год.

– Нет! Они ему были не нужны! Но я надеюсь, Господи! Я надеюсь, что он им помогал… купил квартиру…

– Вряд ли. Большая сумма сказалась бы на вас.

– Как?

– Вы бы заметили.

– Нет! Нет! Нет! Он боялся потерять нашу любовь и потому молчал.

– Он мог сказать после смерти мамы. Разве ты стала бы хуже к нему относиться? И он знал это.

– После смерти мамы он не мог! Из-за мамы! Это было бы предательство! Он постоянно чувствовал вину перед мамой. И после смерти ее… он так переживал! Ни за что!

– Может быть.

– Знаю, что они виделись в шестьдесят седьмом году, когда он приезжал на тридцатипятилетие академии. Он мне говорил, что она была там.

– А сына он видел?

– Не знаю. – Любовь Иосифовна не поднимает головы.

…Не знаю, удастся ли мне сформулировать или описать то, что я пережила и перечувствовала, когда мой сын Сережка ушел из своей первой семьи, будучи почти том же возрасте, что и папа в Самарканде, имея двух дочерей, Кате – 20, Ксюше – 15 лет… Отложились заповеди в моем сердце или, менее пафосно, в сознании: не прелюбодействуй… не убий… чти отца и мать… Сережин уход из семьи я ощутила как грех, поставив его наравне с «не убий». Теперь, с высоты своих лет, вижу: самой сильной страсти, которую, кажется, невозможно превозмочь, срок не более трех лет. И утверждаю: разрывать брачные узы – грех. И впервые понимаю, что браки совершаются на небесах.

Чувствовал ли папа что-либо подобное тогда, в далеком 1944 году, когда Эллу, ожидающую ребенка, отвез к ее родным, оставил, покинул и поехал за нами в Рыльск?

Только спустя пятнадцать лет после этого разговора с Любовью Иосифовной у меня хватило смелости набрать номер, который я разыскала в папиной записной книжке под инициалами «ЭИЛ» – звучало как название какого-либо института – Элла Ивановна Линдберг. Вернее, я набирала номер много раз, но, услышав ответ, быстро бросала трубку. А в тот осенний день 2000 года меня что-то подхватило с кресла, не раздумывая, я набрала номер, услышала мужской голос и спросила Эллу.

– Бабушка в деревне.

– А ты кто?

– Я Петя.

– А как твоя фамилия?

– Мицов.

– Вот как, – засмеялась я. – Какое совпадение – моя фамилия

тоже Мицова. Редкое совпадение. А где папа?

– Папа тоже в деревне.

Интересно, что же они там делают? Временно, что ли? Уехали на лето? Поехал за матерью?

– Хотите, я дам вам телефон бабушки и папы?

– Хочу.

Я набирала номер Эллы и, пока набирала, подумала: при чем тут Элла? Мне нужен брат! И две последние цифры, которые отличали один номер от другого, я набрала уже от телефона Георгия.

Ответил родной голос.

– Здравия желаю!

Папино выражение!

…После долгого разговора я, наконец смеясь, задала вопрос:

– А чем ты занимаешься там?

– Я священник.

Чего угодно я могла ожидать, только не этого! Чтобы папин сын был священником?! Я знала, что моя тяга к церкви, к Богу была от мамы, в маминых предках по отцовской линии насчитывалось несколько поколений священнослужителей. Но чтобы со стороны папы?!

– И давно?

Тот же глуховатый голос, голос доброго человека, чем-то напоминающий папин в старости, сказал:

– С восемьдесят седьмого.

Значит, спустя год после смерти папы.

Это был мне несказанный подарок свыше. Несколько дней я ходила и повторяла с удивлением:

– За что? За что мне все это?

К тому времени мой брат Вовка, Владимир Здравкович Мицов, уже двенадцать лет как покоился на Софийском кладбище вместе с мамой и папой.

Эллу я увидела спустя много лет, в 2003 году. Я поднялась по покосившейся лесенке в деревенский домик, прошла кухню, не разбирая, что вокруг, и оказалась в комнате. На кровати около маленького окна в легком халатике сидела старушка, свесив ноги. Она улыбалась. Я наклонилась, и мы поцеловались. Что-то говорили, кажется, она вспоминала меня босоногой девчонкой, в сорок первом, перед войной, когда я приходила к папе на кафедру.

Я смотрела в огромные прозрачные глаза и думала – как бы отнеслась мама к такому визиту? Ничего, кроме нежности, любви и благодарности к этой голубоглазой старушке я не испытывала. Это был привет от папы. Я слушала ее, удивлялась глубине ее

чистых глаз и все время просила у мамы прощения.

– Я не боюсь умереть, – говорила Элла, улыбаясь. – Я знаю, меня там встретит Серафим Саровский. Из всех святых я его люблю больше всего. У меня и гроб приготовлен, стоит на чердаке. Но вот Господь все не забирает.

Элла Ивановна Линдберг умерла в конце декабря 2005 года. Отпевал ее Георгий, в своей церкви Воскресения Словущего, что в селе Теребени, Псковской области. Неподалеку от Пушкинских Гор.

А тогда, в 1982 году, в последний наш приезд с папой в Ленинград, случилось вот что. Услышала я это из уст Валентины, жены Георгия. Узнав из газет о приезде папы, она пришла вместе со своим сыном Петей и устроила скандал папе перед стенами академии. Она толкала папу, кричала… Петя, папин внук, ходил неподалеку с игрушечным ружьем.

А папа? Папа сказал, что нет у него сына Георгия.

После смерти папы мне приснился сон, очень яркий, каждая черточка была прорисована. Мы едем с папой в трамвае. Трамвай старый, довоенный – деревянные грязно-желтые лавки по бокам, болтающиеся черные ручки-петли наверху. Кроме нас – никого. Вагон останавливается на огромной, пустынной площади, залитой солнцем. Папа быстро выходит из трамвая и стремительно, уверенно, по-молодому, будто опаздывает, делает несколько шагов по сверкающей площади. Трамвай трогается, и я вижу, как внезапно ноги у него подрубаются по колено, папа, как самаркандский послевоенный «обрубок», стоит растерянно на культяпках, не в силах сделать шаг. Безногий калека стоит одиноко на по-прежнему пустынной площади. Сон был – мало сказать неприятный. И еще тогда я подумала: папу не приняли Там, Наверху. Сейчас я думаю – не приняли не потому, что он, может быть, кого-то убил, а именно из-за тех страшных слов, произнесенных тогда, в марте 1982 года, в Ленинграде.

Но вернемся теперь к тому времени, когда папа был еще живым. Жизнь его уже клонилась к закату.

13.04. 83

Здравствуй Ингочка,

Я тебе сказал, что собирался приехать в апреле, но меня задержали для получения грамоты и «Золотой Звезды». Их будет мне вручать Тодор Живков, и он назначил для этого срок 14 апреля утром. Окружной комитет партии Плевны тоже решил меня чествовать 14-го, только вечером. Смогу ли ехать в Плевну? Меня

14-го рано утром ждет профессор, который оперировал мой глаз.

…Целую тебя. Папа.

А вот и послание от руководителя Болгарии тех лет Тодора Живкова:

Профессору Здравко Василеву Мицову, улица Чарльз Дарвин, 25, бл. 2. София.

Товарищ Мицов! Примите мои самые сердечные поздравления по случаю присвоения Вам звания Героя Социалистического Труда и Вашего восьмидесятилетия. Наша партия высоко ценит Вашу научно-преподавательскую, врачебную и общественно-политическую деятельность и Ваш вклад по внедрению советского опыта в области медицинской науки и здравоохранения.

Жму Вашу руку, уважаемый товарищ Мицов, и желаю Вам долгих лет здравия, бодрости и новых творческих успехов. Поздравляю с наградой, поздравляю с счастливым восьмидесятилетием.

Ваш Тодор Живков.

Несколько лет у меня валялась на пианино газета с поздравлением Живкова. Да, Живков – хорошо, Герой – хорошо. Не помню, показала ли я эту газету сыновьям. Но сейчас почему же так сжимается сердце от слов: «товарищ», «жму руку»? Эти слова словно возвращают в те далекие двадцатые годы, когда слово «товарищ» означало близкого и дорогого человека, когда пожатие руки означало поддержку и преданность. Бескорыстное служение своему делу и идее, это дело породившей. И вот в конце жизни – «Товарищ, жму Вашу руку».

Плевенская общественность отмечала папино 80-летие 14 апреля. Я пересчитала, сколько было ответственных партийных чинов на этом заседании, включая членов ЦК партии, – 9. Папа принимал поздравления, ему преподносили цветы, зачитывали поздравительные телеграммы, был заслушан доклад о его деятельности. Возможно, папа был счастлив. Он сидел, прислушиваясь к словам, старался выглядеть не хилым, в конце встал, твердо подошел к трибуне, старческим хриплым голосом произнес:

– Доволен я своей жизнью. Знаю, что мой вечно ищущий дух не даст мне вести спокойную жизнь пенсионера. Пока глаза мои видят, пока грудь дышит, у меня будет чем заняться. И я уверен, что времени мне не хватит, чтобы осуществить свои мечты. И думаю, что в этом и скрыто мое большое, истинное человеческое счастье.

Сейчас мне трудно и страшно читать свои записки тех лет. Я старилась, сходила с ума, пыталась удержать молодость, проваливалась… проваливалась. Это был год страшных переживаний, сильно отдававший сумасшествием. Параллельно шло несколько жизней – дом, заброшенный папа, который приехал к нам пожить, растерянно наблюдая наш семейный разлад.

Его время уходило… уходило. Он был одинок. С его всепониманием, всевидением, с его вспыльчивостью, нетерпимостью, он забился в своей комнате. Уже не было претензий:

– Что это? Курица? Почему она у тебя похожа на рыбу?

От того лета осталось только одно воспоминание, связанное с папой.

Мы приехали в Москву к Сереже. Была весна. Воскресенье. Папа, в генеральском мундире, тяжело сидел за столом, оглядывая маленькую кухоньку, где мы с трудом разместились, молча исподлобья следил за Аней, разливавшей чай, за Сережей, сидящим рядом, поджавшим под себя ногу на стуле. То, что папа видел, расстраивало его своей бедностью, неустроенностью. В своей комнате спала Катюша, папина первая правнучка. Ей не было еще и года. Мы с Володей спешили.

– Пора ехать, – сказал Володя, который давно стоял в дверях.

Я поддержала его:

– Папа, пора, пора ехать.

Видно было, что папе хочется еще побыть с Сережей, расспросить его о работе, приглядеться к нему, проникнуть внутрь – как мне сейчас хочется понять, что на сердце у моих детей. Приглядеться, прислушаться… Но нет человека, который бы понял что-то, если сам не пережил. Воображением я не обладала. Я видела только одно – Володя недоволен, нервничает, торопится, и я стала подпевать:

– Папа, поехали.

Он все еще прощался, заглядывал в комнату своей правнучки Кати. Папа отдавал себе отчет, что он не бессмертен. Знал: эта встреча – в последний раз.

– Папа, Володе надо работать.

Папа неохотно встал, он прощался, прощался навсегда с правнучкой, навсегда с внуком, с невесткой… а мы уже спешили вниз по лестнице. Я с раздражением оглядывалась – идет ли он следом, он все еще стоял на площадке. Я вышла на улицу, хлопнув дверью. Папа не понимает, что у нас есть своя жизнь, у нас мало времени на рассиживание, на разговоры. Володя уже сидел в машине, я, злясь, поджидала, стоя рядом. Тугая дверь

открылась, папа сделал шаг, увидел меня, заспешил, споткнулся и упал. Он лежал боком на асфальте, в своем генеральском мундире, и не вставал. Я подбежала к нему. Он встал, сел молча в машину. На лице его отразилось угрюмо-брезгливое выражение, хорошо знакомое мне, которое так отлично передал на портрете художник Гордеев.

Тогда же папа прощался с новыми родственниками – родителями Ани Голицыной, жены Сережи, – Георгием Сергеевичем и Людмилой Васильевной. Мы сидели в их квартире на Профсоюзной, в большом красном доме (этот архитектурный ансамбль именуется в округе Царским селом). Георгий Сергеевич – крупный ученый, академик, директор института – что-то рассказывал: спокойно, медленно, тихо. Людмила Васильевна шумно его перебивала. Эти люди были истинные представители русской интеллигенции. Георгий Сергеевич смягчал свою прекрасную насыщенную речь неуловимой улыбкой, отчего не так чувствовалось его превосходство. В темноватом холле, уставленном книжными полками, висело несколько картин, кажется, художника Иллариона Голицына, двоюродного брата Георгия Сергеевича. Мы пили чай, и папа, посмеиваясь, вспоминал, как в молодости он боролся с представителями дворянства и буржуазии и вообразить не мог, что под конец жизни будет пить чай с князем Голицыным и дружески беседовать.

И еще из того года осталось воспоминание. В начале сентября, когда папа уже вернулся в Софию, когда я чудом выжила, у меня чуть было не случился инсульт, я кричала папе в трубку:

– Папочка, родной! Ты один у меня остался!

И слышала в ответ родной радостный голос:

– Ингуся! Сколько же ты хочешь? Конечно один.

Я опять была маленькой, я села под гордеевским портретом, прижалась головой к папиной руке, лежащей на подлокотнике кресла. Я опять была маленькой.

Страшен мне последний папин год на земле. Чем старее папа, тем больше нуждается во внимании – и тем меньше его получает. Я будто забыла о смерти мамы. Живу своими нуждами, своими страстями, отложив раскаяние на будущее. Можно сказать, я забыла папу. Я приведу два папиных письма, написанных в апреле, присланных на московский адрес Сережи, с примечательной припиской в конце: «Мое письмо – отчет твоей маме. Надо ей его медленно читать и хотя бы два раза его перечитывать, чтобы правильно его понять». Он не пишет прямо:

«Пойми – мне скоро умирать». Он пишет: «…твоей маме надо медленно его читать, перечитывать, чтобы его понять». Папа в больнице. На мои легкомысленные предложения приехать к нам: «Садись на самолет, и через два часа ты у нас, ничего с собой не бери – только портфель с лекарствами, он ведь не такой тяжелый», – папа только неуверенно улыбается. Он уже не может. Не может даже «только с портфелем».

24. 06. 85

Здравствуй, дорогой Сережа! Посылаю письмо твоей маме, чтобы она наверняка его получила. Я лежу в больнице давно. Здесь очень хорошо – чисто, светло, тихо, хорошее лечение и отличное питание. Врачи высококвалифицированные, персонал, знающий свое дело, культурный и воспитанный. Меня скоро переведут в горный правительственный санаторий – солнце, горный воздух и дорожки для сердечных больных. Я в палате площадью 45 кв. м, пол покрыт ковром, обеденный столик, радио, телевизор, телефон, балкон в парк на Витошу. Рядом за стеной уборная, умывальник и большая ванна с белыми и черными плитками. В палате световая и звуковая сигнализация для вызова мед. персонала. В палате две кровати, но я один. Мой врач – главный консультант Тодора Живкова …Ты и Аня можете приехать сюда в сентябре и в октябре. Я к вам не смогу приехать. Мое письмо – отчет твоей маме. Надо ей его медленно читать и хотя бы два раза его перечитывать, чтобы правильно его понять.

Привет всем Кравченковым и Голицыным. Твой дедушка Здравко.

24. 6. 85

Здравствуй Ингочка!

Ты бесстыдно долго не писала… Я думал, что Сережа, Аня и Катя побудут в Софии в августе, а ты и Гешка – в июле. Володя в сентябре. Поэтому постоянно вам твердил: как только получите мои вызовы, сразу подавайте в ОВИР.

Папа хочет со всеми проститься… Но приезжаю только я на две недели, в декабре 1985 года. В мае еду в Ялту, осенью – в Киев, потом в Прибалтику, и только в декабре очередь доходит до папы. Как прошли эти ничтожные две недели моего присутствия в Софии? Как? Что я помню? Я перечитываю папины письма и отчетливо слышу его делано спокойный, хрипловатый, усталый голос. Он рассказывает, приостанавливается, задумывается, и я замолкаю вместе с ним.

«Вова блестяще защитил свою докторскую диссертацию. 10

июня был утвержден ВАКом… Мои дела приблизительно такие: больше всего меня интересует выход в печать моих книг. Это оказалось не только муторное, но и трудное дело. По всей видимости, из печати в этом году выйдут три мои книги:

“Советский русский в Плевен”, “Прекрасный доктор”, “Нелегальный канал” – в ноябре – твоя книжка.

Кроме того, мною написана книга по вашей (твоей и Володиной идее) “Два 40-летия Плевны”, 240 стр.

Я подготовил материал для одной книги – “Первое вооруженное антифашистское восстание в мире”. У меня нет возможности писать ее – плохое зрение, поэтому думаю диктовать ее какому-нибудь умному человеку. Хочу диктовать талантливому публицисту, но он работает в ЦК БКП, пишет о людях, у него чрезвычайно много заказов свыше.

Теперь пишу статью для партийной газеты “Работническо дело”. Когда я сказал об этом редактору (медицинскому), тот спросил меня о заголовке, и при названии редактор ахнул в трубку и закричал: “Посылай! Посылай!” Если напечатают эту статью (Стратегическое значение советской медицины во время Отечественной войны), то я стану Джон Ридом, конечно, в медицинском отношении, и болгарским Джон Ридом.

А теперь расскажу тебе про одно “чудо”».

Я не знаю, что папа вкладывает в слово «чудо». Но что бы он ни вкладывал в это понятие, я понимаю однозначно – папе была дана возможность попрощаться всенародно со своей Родиной за год до смерти. И он это сделал блестяще.

И теперь я уже не только слышу папу, я вижу его воочию. Он сидит немного напряженно, в темном костюме, галстук в тон рубашки, не сводя глаз с собеседника, глаза от напряжения круглые и чуть задумчивые, папа изучает и оценивает собеседника.

«Чтобы ты поняла это “чудо”, надо тебе сказать, что по Болгарскому телевидению каждое воскресенье в 19.20 до 19.50 идет передача “Собеседник по желанию”, т. е. редактор, хороший политик, психолог, расспрашивает утвержденного свыше человека, а последний отвечает редактору без предварительной подготовки в прямом эфире. Я вообще не хотел идти, т. к. этот редактор ковыряет душу собеседника, хочет показать себя знатоком по всем специальностям, показаться умнее собеседника и подзапутать его, показывая, что собеседник врет или не знает твердо то, о чем говорит. Меня убеждали, что мое собеседование будет связано с празднованием 9 Мая, на что я ответил, что меня с группой болгар, служивших в Советской Армии и участвующих в ВОВ, в генеральском мундире и орденами, снимали еще в апреле, чтобы

всех нас показали по телевидению (что и было сделано) 9 мая. Но мне пояснили, что то было по линии военной, а сейчас меня хотят показать по гражданской, по случаю 40-летия со дня победы над Германией, гитлерофашизмом и японским милитаризмом. На экране я буду в штатском костюме и без орденов и колодок, и меня хотят показать одного, и то не 9 мая, а 5 мая. Я согласился. Надо отметить, что весьма трудно берут "собеседников" и что очень многие с большой охотой желают любой ценой попасть на экран перед всей Болгарией.

Эта передача собирает больше всего зрителей, и потому о том, кто будет "собеседником по желанию", за несколько дней до передачи сообщают газеты и телевидение. Обыкновенно со всеми его титулами (а их у меня немало). Таким образом, кроме постоянных зрителей этой передачи (несколько миллионов), меня смотрели и знакомые и незнакомые, военные, медики, краснокрестовцы, ученые, коммунисты, русские, в Софии и провинции. В некоторых местах люди собирались группами – военные медики, ученые, генералы и т. п. по общежитиям, клубам, по домам. В некоторых селах заранее сообщали по местному радио (парторганизация родного села Дубова, погибшего в Ленинграде в 42 г., и т. д.).

И как передача кончилась, наш номер телефона на Дарвине и Самокове до 12 часов ночи не умолкал. Но сперва о самой передаче. На экране за столом два человека, один против другого. Редактор, известный в Болгарии, успешный руководитель расспроса, еще с первого вопроса встретил замечание со стороны собеседника (никогда не случавшейся факт). Он спросил, какие цифры имеет ваша жизнь? Я вытаращил глаза и сказал: "Не понимаю, что за цифры. Могу назвать этапы моей жизни – их четыре: 1. Первые 20 лет в моем родном городе. 2. Политэмиграция – три года в Австрии и 3. – 18 лет в Советском Союзе. 4. 40 лет в Софии. Мне 82 года. 53 года я был врачом, 44 года в армии, из них 17 лет в Советской Армии". (Редактор хотел взять меня в шоры, по мнению людей, но это ему не удалось, номер не прошел.) Этот факт очень понравился зрителям, ибо он развенчивал его авторитет. Потом он задал мне вопросы, связанные с победой над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом (главная часть моего собеседования). Я сразу ответил, что в победе большую роль сыграла медицинская служба Красной армии, т. к. она вернула в строй 72 % раненых и 90,6 % больных. А эти цифры означают несколько миллионов опытных бойцов, составляющих новую советскую действующую армию, освободившую 10 стран Европы от фашизма. Упомянул, что половина мед. работников состояла из женщин, работающих как в глубоком тылу, так и на передовой

линии.

Потом редактор меня спросил, что я скажу про русского человека. Я сердито посмотрел на него и закричал (о, как я вижу папу, привстающего в возмущении, седые волосы аккуратно зачесаны назад, большой покрасневший лоб и вытаращенные круглые темные глаза, он чуть-чуть играет на публику. – *И.М.): "Что вы спрашиваете меня об этом, когда вы неделю назад, после поездки в Москву, разговаривали, показывали по телевидению в Софии русских людей? Деловые, героичные, скромные, искренние, патриоты и бескорыстные интернационалисты, борцы против империализма".*

Редактор смутился, спрятал голову в плечи и замолчал. (Потом зрители мне с радостью говорили, что редактор не мог скрыть признания своего поражения. Его, как и меня, освещали многочисленные специалисты-электротехники.)

Потом начались вопросы биографического характера, участие мое в антифашистских восстаниях. Ответил: в двух вооруженных восстаниях – в Болгарии в 23-м и в Вене в 27-м. Затем спросил, сидел ли я. Я ему сказал: в Плевне в окружной тюрьме, в Софии в Центральной, в Белграде в Центральной, в Загребе в старинной Габсбургской и в Вене в следственной (о пяти тюрьмах в Ленинграде папа умолчал). *Он мне показал мою нашумевшую здесь книгу (посвященную Сереже), затем показал фотографии болгар, которых я переводил ночью через нелегальный канал. При каждой фотографии он меня спрашивал – узнаете? Я вскрикивал, привставал и ясно говорил, кто это. Оказалось, что все они были элитой болгарских коммунистов, которые после обучения в СССР повели БКП и Болгарское государство по социалистическому пути.*

Редактор не расспрашивал меня о научной работе, но я ему показал некоторые мои печатные труды, например, совместную с Георгиевским книгу, московское издание и др. и сказал, что за 12 лет как пенсионер написал 11 книг и десяток статей.

Наконец, редактор приступи к моей семейной жизни. Спросил: "Ваша жена русская?" Я ему ответил: "Настоящая, потомственная. С ней я прожил 49 лет, от нее у меня дочка в Москве и сын в Софии, и имею трех внуков и одну внучку и одну правнучку в Москве".

Таков был примерно мой разговор на экране перед всей Болгарией.

Есть люди, которые привыкли к телевизионной передаче, но я бывал только группами, а один – впервые. И когда меня вогнали в телевизионную камеру, я крикнул: "Это фаустовский кабинет, где выскакивает Мефистофель", – это до начала передачи.

А теперь об отзывах. Все говорили, что смотрели с

восхищением и облегчением. С восхищением – потому что я говорил очень живо, в полный голос, с энтузиазмом и ясным открытым лицом, а с облегчением потому что все собеседники говорили со стеснением, напряжением (не забыть, что зазубрил), абстрактно, хотели показаться умными, героичными, большими людьми, преследовали цель продвижения на работе или в жизни, а я говорил открыто, по понятным вопросам, откровенно, искренно, без задних мыслей о революционной деятельности, которую делал совершенно бескорыстно с детских лет до настоящих дней. То есть говорил деловито о верных фактах, говорил ясно и коротко. Неврологи, следившие, говорили, что реакции мои были быстрые и точные, а народ говорил, что ему был "кайф" (удовольствие), что мое выступление было чудесно, и жена одного профессора (Янкова, ухо-горло-нос) сказала: "бонбонче" (конфетка). Некоторые женщины плакали, когда я говорил о смерти твоей мамы, а другие – когда я говорил, что некогда мне в молодости было учиться танцевать, мои сослуживцы рассказывали, как я наступал им на ноги, когда веселились на кафедре и в институте.

Особенно довольными остался медицинский персонал, говоря, что я не только хорошо представил их, но и защитил. Они гордятся мной.

Пенсионеры говорили, что убедил их, что можно и надо работать на старости лет. Политработники из Института истории БКП, сказали, что я политических ошибок не сделал. Действительно, я начальство не трогал и за тридцать минут никого не обругал.

А теперь о последствиях телевизионного собеседования. Прежде всего – тысячи поздравлений по телефону, письма, посещения, некоторые хотели видеть меня во весь рост (я сидел за столом) и заходили ко мне домой, пришла болгарский профессор-токсиколог, которая была в Китае, и там ее расспрашивали обо мне с неправильным произношением моей фамилии, но она догадалась. Китайцы меня помнят (я выступал там с докладом по токсикологии) и сказали, что и сегодня читают мою книгу по военной токсикологии. (Книга моя продавалась в их книжных магазинах, когда я был в Китае в 1961 году.) Приходил и поздравлял меня и спецкор Болгарского радио, который записывал мои ответы на партийные вопросы на пленку для золотого фонда.

Кроме этого, было сделано предложение о повторении собеседования. Русские в Болгарии хотят, чтобы перевели собеседование на русский язык, а некоторые хотят, чтобы собеседование со мной передали по Интервидению – для всех соц. стран.

Моя популярность необыкновенно увеличилась. Меня

останавливают и подзывают на улицах, говорят обо мне в автобусах, в поездах, в больницах. Но и авторитет мой повысился. Видные болгары звонили мне по телефону и объявляли себя моими почитателями. Вот уже два месяца прошло, а обо мне все говорят: "Тот, который выступал по телевидению собеседником".

Зрители давали мне 60 лет.

Я лежу в больнице правительственной. Пришел 16 мая получать лекарства, а лечащий врач сделал ЭКГ и сразу приковал к кровати. Я никак не хотел, т. к. предстояло мне выступление вместе с сов. мед. делегацией (Блохин и др. русские "персона грата"), но меня не выпустили. Оказалось, что мое сердце начало плохо питаться кровью, и мне помогли. Но я перегрузил сердце (ходил больше нормы), и меня снова пригвоздили к кровати. Снова меня подняли, но заболело сухожилие левой ноги, и я не мог двигаться. Теперь собираются послать меня в горный санаторий Владая на 20 дней. Так что я буду дома к середине июля.

Ты приезжай в августе с Гешкой или сама. Сережа и Аня пусть приезжают в начале октября, а Володя свободно может приехать в сентябре.

Извиняюсь за плохо написанное письмо. Привет все вам. Целую, папа».

Больше писем за 1985 год у меня не сохранилось. В декабре я приехала в Софию, и мы с папой впервые никуда не поехали. Остались в Софии. Что помнится с того пребывания? Почему так страшно вспоминать те декабрьские дни?

Все пространство, весь объем квартиры был заполнен шатающимся, придерживающимся за стены коридора стариком. В тренировочном синем костюме, чуть обвисшем на коленях, так что было понятно, какие худые и слабые ноги держат все еще массивное тело, стариком с изумленно, как у ребенка, беспомощно, как у ребенка, широко раскрытыми глазами, со столь же быстро, как у ребенка, меняющимся настроением. Зеленый круг от абажура на столе, сверкающая розовая лысина – больно ударяли по сердцу, когда я входила к нему. Погладить еще раз, погладить, потрогать лысину. Я входила, он не сразу оборачивался, все еще что-то дописывал, потом поворачивался, и я видела сквозь толстые линзы чуть отрешенный, но уже внимательный взгляд огромных черных зрачков из-под торчащих серых бровей. Иногда я успевала провести ладонью по лысине, прежде чем он повернется ко мне. Когда я открывала дверь, он кричал ломким стариковским голосом:

– Инга?

Я видела, что папа очень ослаб. Вовка с Таней перебрались на

их старую квартиру, рядом, на улице Самоков, напротив папиного дома, там жили их дети Оля и Здравко с бабушкой. Мы остались с папой одни в огромной квартире. Спала в столовой на черном кожаном диване, на котором когда-то спала мама (он когда-то стоял на кухне). Сейчас диван был покрыт красным пушистым, неприятно блестящим покрывалом, подчеркивающим, что оно не из овечьей шерсти, а сделано где-то на фабрике в Севлиево. Все мне казалось безвкусным и в холле, где пол покрывал купленный Вовой ковер, с ярко-красным орнаментом. Там же висел папин портрет, на котором папа, непохожий на себя, в парадной форме с множеством орденов, сидел в позе то ли военачальника, то ли Ивана Петровича Павлова с картины Нестерова. Только в спальне Вовы и Тани царил холодный порядок – белые хрустальные ночнички, белые, пушистые, шерстяные коврики, белое покрывало, большая картина над кроватью – зимний пейзаж в горах, тоже в белых тонах. В папином кабинете все осталось, как на прежней квартире, – библиотека из дуба, тот же огромный письменный стол, диван, застланный зеленым пушистым шерстяным покрывалом, зеленая настольная лампа на столе, свет которой в одиноком окне многоэтажного дома я видела еще с улицы, черное кожаное кресло. Только люстра была новая – та, что висела в папиной комнате в прежней квартире на Галичице, теперь висела в холле, а у папы в кабинете – «какой-то плевок», как он говорил. По утрам я слышала тихие, неуверенные шаги, он ходил в кухню, смежную со столовой, звякал чайником, и я слышала, как он пьет, подставив носик чайника ко рту. Прежнего «ох-ха» не было. Он тихо ставил чайник на место и, если я его не окликала, так же тихо и очень осторожно возвращался к себе в комнату.

Я все еще не сознавала, что ему очень плохо.

– Пошли гулять, – говорила я.

Он смотрел неуверенно на меня, потом покорно шел одеваться. Мы выходили на улицу, я брала его под руку, перебирались через рельсы, проходили медленно, дворами, часто останавливаясь, пересекали скверик, выходили на кривую улочку, проходили мимо изящного небольшого дома японского посольства. Один раз дошли до парка. Деревья высились через дорогу перед нами сплошной стеной, кричали галки. Было часов пять зимнего вечера. В светлом, чуть морозном воздухе верхушки деревьев четко выделялись сухими ветками. Папа даже не перешел улочку, отделявшую нас от парка. Он стоял, смотрел вдоль улицы, смотрел на деревья, я держала его под руку.

– Спасибо тебе, Ингуся. Я думал, что больше их никогда не увижу.

– Это все твои прогулки, – скажет мне брат после смерти папы. – Вскрытие показало, что у него было столь изношенное сердце, что врачи удивлялись, как он вообще ходил. А ты все: «Гулять, гулять», приедешь на две недели, разбалуешь, навредишь… «Гулять!»

Но я помнила, как в одну из прогулок папа мне сказал, глядя на деревья парка:

– Спасибо тебе, Ингуся.

Однажды мы с папой по его делам оказались в центре Софии. Приехали на такси. Папа заходил в редакцию. Выйдя на площадь, я попыталась остановить машину. Такси мчались мимо, и стоило мне остановить какую-нибудь, шоферы со злобной гримасой, услышав мой русский акцент, срывались с места.

– На стоянку, – кричали они, – на стоянку.

Папа еле держался, я посадила его на какой-то выступ в стене здания, видела – он еле держится, изо всех сил опираясь на палку. Мимо шла толпа, папа полусидел в тяжелом драповом пальто, в коричневой шляпе, опершись на палку. Кажется, он ничего не видел. Я пересекла площадь, подбежала к милиционеру. Я плакала и умоляла его:

– Вот там, под колоннами, сидит старый человек. Он так много сделал для Болгарии, но я не могу остановить ни одну машину. Никто не хочет везти. Помогите, ради бога, остановите машину. Он – Герой Болгарии, профессор, генерал, народный врач…

Милиционер отрешенно слушал мое бормотание, я уже плакала навзрыд, боясь оглянуться назад. Наконец милиционер протянул руку, и машина остановилась.

Я побежала к папе. Он с трудом встал, медленно, повиснув на мне, побрел к машине. *«Моя популярность необыкновенно увеличилась. Меня останавливают и подзывают на улицах, говорят обо мне в автобусах, в поездах, в больницах»,* – боже, это было всего полгода назад.

На следующее утро я попросила Вову привезти готовый тираж папиной книги. Эта книга несколько раз меняла заглавие – «Болгарские орлы в Австрии», «Интернационалисты 20-х годов», но выходила она под названием «Нелегальный канал». И была посвящена мне.

– Для папы это важно.

Вовка с раздражением выслушал мою просьбу:

– Мне некогда заниматься его делами. Он сидит и все время придумывает себе дело, а у меня и так их полно.

– Папа очень хочет, – сказала я.

– Нет, – ответил брат.

И я поехала сама.

Книг было 450. Я зашла в редакцию с уже оплаченной квитанцией, протянула двум девушкам.

– Интересно, – сказала одна из них, принимая от меня квитанцию, – кто эти книги купил?

И, увидев подпись плательщика, рассмеялась мне в лицо. Я забрала книги, перенесла их в такси. Потом подняла к папе в квартиру.

– Спасибо, Ингочка, спасибо.

Он сидел в кожаном кресле у себя в комнате и перелистывал одну книгу за другой.

Ночью я, уже лежа на диване, прочитала книгу от корки до корки. Я читала, вроде все понимала, но в голове осталось немного. Скорее, я читала не из интереса, а чтобы доставить папе удовольствие. И вот только спустя двадцать лет с той зимы я по-настоящему прочитала ее. Я часто думаю: Господь хранил меня, если бы умерла раньше – не сделал бы того или иного. Если бы умерла раньше – не прочитала бы эту папину книгу, посвященную мне.

Утром папа спросил:

– Ну, как?

– Очень интересно.

Папа ожидал вопросов. Но я не расспрашивала, подробности не выпытывала, и, конечно, он понял, что не так уж мне было интересно.

Я сказала папе:

– Хочу позвонить Ире Червенковой, но Вовка не разрешает, говорит – за Ирой следят, у него могут быть неприятности. Телефон прослушивается.

– Пусть идет к черту, – сказал папа, – я здесь хозяин.

Он позвонил, и тогда мы встретились с Ирой. Но об этой встрече я уже писала.

Что вспоминается больше всего? Папины глаза, карие, иногда черные, огромные из-за линз, брови, по-прежнему тонкие, но поредевшие… Взгляд, беспомощный и растерянный… Розовая лысина, тонкие ноги в спортивном синем костюме, узкие белые руки, выпуклые ногти… Но чаще вспоминается повернутая ко мне голова, когда я вхожу в его комнату, и его чуть растерянный, внимательный взгляд.

Я шастала по магазинам, покупала для дома подарки, купила мужу жакет, хороший, вязаный, и, надев его на себя, показала папе. Он провел рукой по рукаву жакета и неуверенно сказал:

– Мне бы такой тоже был нужен.

Папа сидел и подписывал книги, одну за другой. Справа на столе лежали уже подписанные книги, слева – ожидающие очереди.

– Вот эти возьмешь с собой, – сказал он. – Отошлешь из Черноголовки – это в Бийск, это в Ленинград, это в Москву… Ты отдала книгу Ире Червенковой?

– Да, конечно.

– Завтра с утра отнесем книгу Малееву. Он здесь недалеко. Я хочу сам ее вложить в почтовый ящик.

Утром мы вышли из дому. Был морозный зимний ясный день. Воздух – сохранившийся в воспоминаниях с детства, необыкновенно чистый, бодрящий, прозрачный, подталкивал, помогал быстро идти дворами, скверами к неизвестному дому.

Я вела отца под руку. Мы перешли насыпь и оказались против темного четырехэтажного дома, длинного, с большими балконами. На третьем этаже, где сушилось белье, была квартира, выстроенная братом. В его квартиру я некогда приходила с мамой и отцом. То была другая эпоха – эпоха счастья, беззаботного и эгоистического. Мы садились в большой комнате за стол, я обязательно рядом с мамой, тут же бегали мои сыновья. Тогда я приходила принцессой, царицей, владычицей, собственницей мамы и папы. Папа был с нами, наш, но в стороне, ибо невозможно, противно природе было бы спаять пять душ воедино. С мамой мы были единое целое, а папа, такой большой, казался маленьким рядом с нами. Мы сидели за столом положенное время, говорили, ели, потом вставали и дружно уходили. Я и мама, мои сыновья и отец. Для того чтобы сесть на трамвай, мы поднимались по высокой узкой лестнице на эстакаду. Постепенно эта лестница становилась все большим препятствием к посещению брата, постепенно отмирало мамино сердце, и лестница превращалась в ненавистную угрозу жизни.

Пересекли двор дома брата. Папа двигался мелкими быстрыми шагами, все более торопясь и наклоняясь вперед. Дышал он тоже часто, молча и быстро хватал воздух.

– Давай передохнем, ты сегодня слабый.

– Откуда знаешь? – спросил он, останавливаясь и с одобрением взглядывая на меня.

– Чувствую.

– Оставь, – отмахнулся отец, – у меня есть цель, и я должен достигнуть ее.

И он двинулся мелкими шажками вперед.

– У меня есть цель, – говорил он, задыхаясь и быстро стуча палкой.

Высокий старик, с таким близким, волевым лицом, в драповом коричневом пальто и коричневой шляпе. Я боялась, что не удержу его, если начнет падать.

– Сядем на скамейку, – сказала я, чувствуя, как ему тяжело. – Сядь, вон скамейка.

Мы пересекали маленький то ли скверик, то ли детскую площадку. Шли, срезая угол, дворами, чтобы сократить путь.

– Сядь, – повторила я, – подожди. Всего десять минут. Я сама сбегаю, опущу книгу в почтовый ящик.

– Куда? – спросил он, наклонившись вперед и опираясь на палку.

– Вон скамейка.

– А дойду? – спросил он, глядя на меня из-под толстых линз огромными растерянными глазами.

И я почувствовала, как все внутри оборвалось, отлетело куда-то в тартарары. До скамейки было шагов тридцать.

– Ты что? – сказала я. – Пошли.

Разве можно описать то зимнее утро в южном городе, без снега, папу в тяжелом драповом пальто, вытянутые трубочкой губы, растерянные, уже не глядящие на меня глаза. Мы дошли до скамейки, и тут он взглянул на меня. «Он боится остаться один», – поняла я.

– Я быстро, – сказала я, дотрагиваясь до его плеча. – Ты не успеешь досчитать до ста. Ведь это вот тот дом? Я бегом.

Я усадила его на скамейку, а сама бросилась в незнакомый дом, через дворы. Когда я вернулась, отец уже не так был перетянут пружиной, немного расслабился, он выставил вперед палку, опершись на нее обеими руками, о чем-то думал.

– Нашла? – спросил он.

Я кивнула. Он нехотя встал, я опять взяла его под руку, и мы пошли медленно домой. Теперь отец шел не спеша, стуча палкой. Он сделал то, что хотел. Последняя его книга, посвященная мне, только вчера принесенная из издательства, подписанная, была доставлена по адресу. Теперь тот неизвестный мне человек рано или поздно ее получит. В том, что прочтет, я не была уверена.

– Ты положила книгу? Нашла дом?

А потом наступил день отъезда.

В то утро папа очень нервничал. В большой квартире, где у папы был отдельный вход на его половину, сейчас мы собрались в общей большой комнате. Папа, в костюме для выхода, ходил по безвкусному дорогому ковру, приобретенному Вовкой и Таней. Ходил от двери до балкона и обратно, между креслом и диваном, над которым висел тот его неудачный парадный портрет, писанный маслом. Лицо у папы было красным. Он молчал. Но

ходил туда-сюда, не присаживаясь, даже не шатаясь, но несколько суетливо. Туда-сюда. Иногда он взглядывал на меня. До моего выезда из дому оставалось не более получаса. Вовка отозвал меня в сторону и зашептал тут же в комнате, в которой туда и сюда ходил папа:

– Я тебя прошу, он тебя послушает, у меня сегодня трудный день, кафедра, потом лекции… я не могу… если он поедет, все сорвется… он ведь сам ничего не может… придется провожать… Прошу тебя, скажи ему, чтобы остался дома… Не ездил на вокзал.

Я наклонила голову, чтобы не видеть лица брата.

– Начнет кричать, капризничать…

Папа продолжал ходить. Я колебалась. Я смотрела на молчаливо шагающего папу, на его напряженное, красное лицо. Он вопросительно-растерянно взглянул на меня, и я поняла, что он все знает. Лицо его стало багроветь, но он, не останавливаясь, все продолжал ходить. Я подошла к нему и взяла его за руку.

– Папа, не надо провожать меня. Останься дома.

– Нет, – сказал он, – я поеду. – Лицо стало жалким.

– Останься. Тебе вредно волноваться.

– Нет, Ингочка, я хочу тебя проводить.

За спиной, у окна возвышался Вовка. Папа стоял передо мной. Всегда независимый, он сейчас полностью зависел от нас.

– Так уже было, – сказала я, обнимая его и целуя в шею, – ты как-то меня не провожал, а потом встретил.

Я знала, о чем он думает: «Если не провожу – так и не встречу». У него, как и у меня, все замыкалось в круг.

– Так уже было? – неуверенно спросил папа.

– Да, было, – подтвердила я. – Было.

Если бы знать, что это были последние слова, последний взгляд, последнее касание… Я не знала. Папа знал.

Говорят, отец после моего отъезда зимой очень изменился, затих, перестал ругаться.

Святые всегда чувствовали свою смерть за полгода. Но папе, умершему в июле, откуда было в тот день декабря, когда я возвращалась в Черноголовку, знать о своей кончине?

Последнее письмо.

7 апреля 86 г.

Здравствуй, дорогая моя Ингусенька! Второй месяц я лежу в правительственной больнице: аритмия и стенокардия, сердечные беспокойства, т. е. внезапные боли в сердце. Здесь в больнице помогли, но ходьбу не могут наладить. Налаживают, но очень медленно, т. е. долго будут лечить мои ноги. Так что вопрос моего приезда к вам в мае отпадает, поэтому придется вам приехать ко

мне.

…Привет всем. Целую тебя. Твой папа.

Со времени детства вспоминалось мне порой, болезненно, до стона, как я, в вязаном шерстяном сером костюмчике, с маленькими кармашками, открыла тяжелую, обитую кожей дверь и вышла на лестничную площадку. Сидя у решетки перил, следила, как тяжело поднимается отец по белым широким ступеням старого петербургского дома. Это было в тот день, когда его исключили из партии. Вздох тяжкий, который человек может себе позволить лишь наедине, вздох обреченности и смирения – первая подсмотренная боль, красная полоса на высоком лбу – след от сдвинутой буденовки.

А сейчас, в июле 1986-го, неделю назад, – тот же высокий лоб был белым, со следами царапин. Папа раздирал лоб, чтобы не кричать. Всего полчаса. От без двадцати двенадцать до десяти минут первого ночи. Но между приступами удушья успел сказать суетящимся вокруг врачам в реанимационной машине:

– Оставьте меня. Не видите – это агония.

Через двадцать четыре часа после этого я возвращалась со своей подругой Анаит с ее дачи. Был поздний вечер 9 июля 1986 года. Шоссе было пустынно. Навстречу из-за поворота показалась машина.

– Это Севан, – сказала Анаит.

Машина притормозила, разворачиваясь перед нами, и в свете фар нашей машины я увидела мужа рядом с Севаном – напряженная шея, напряженная голова.

– Будет ругаться, что так поздно, – сказала я, выходя из машины.

Володя сказал другое:

– Умер Здравко Васильевич.

Я упала сразу.

– Он не знал, как я его любила! Он не знал, как я его любила!

– Знал он, – сказал Володя.

Анаит сказала:

– Так можно убить человека.

– Господи! – кричала я, воздев руки к темному беззвездному небу. – Если Ты существуешь, сделай, ничего больше не попрошу, сделай, чтобы он услышал, как я его люблю! Я хочу видеть твои глаза, папа! Твои глаза! На секунду!

Вокруг была тишина, темно. Где-то поодаль стояли Володя, Анаит и Севан.

Началась новая эпоха. Земля уменьшилась, бескрайняя земля уменьшилась, обвалилась часть, и стала видна черная пропасть в

никуда.

Все это случилось прямо на повороте, на черном куске гудрона, валявшемся на шоссе, в двух шагах от остановки «Стояново».

С тех пор не было случая, чтобы, проехав мимо этой остановки, одиноко стоящей на шоссе в лесу, и завидев маленький пятачок рядом, покрытый асфальтом, я не вспомнила бы тот вечер 9 июля 1986 года.

А через день мы с Володей вылетели в Софию. Я в черном костюме, в черных колготках и черных туфлях, с красным распухшим лицом. Анаит, забраковав весь мой гардероб, дала свой костюм – она считала, что так подобает выглядеть дочери генерала. Мы летели в первом классе, других билетов уже не было, я устроила какую-то истерическую перебранку со стюардессой, и та смолчала, потому что другая кивнула на мое черное одеяние.

Увидела я папу уже в морге. Я гладила его лоб, высокий и мудрый, а он лежал и улыбался.

– Господи, яви ему, как я его любила. Услышь меня, мой родной, мой самый близкий, дорогой мой человек! Ты улыбаешься? Значит, услышал? Ты меня слышишь? Ох, не корчи рожи, не корчи, не кривись, не надо, они сейчас уйдут, не будут мешать. Не корчи, не сердись.

– Он не корчит рожи, – сказал подошедший Володя. – Он лежит спокойно, и знал он, как ты его любила. Видишь, какое мудрое лицо.

Лоб, который я помню с детства, раньше, чем руки, глаза, голос. Высокий лоб, красноватый, с двумя глубокими морщинами…

Я смотрела на папу, он чуть улыбался, и улыбка была добрая, и лицо было доброе и, Володя правду сказал, – мудрое.

– В тот раз впервые оставил ключи от дома, – сказал брат. – Всегда, куда бы не уезжал, – всегда брал. В этот раз не взял.

Вовка замолчал, и какое-то время мы втроем, не отрываясь, смотрели на папу.

– Уже на носилках, – сказал брат, – он протянул мне руки и сказал: «Хорошую жизнь мы прожили с тобой».

Брату, не мне! Господи! Может, в этих словах и заключается весь смысл дарованной нам жизни?

А потом был лафет, толпа. Нет, сначала я стояла с распухшим лицом, рядом возвышался брат, люди, подходя и выражая сочувствие, быстро проходили мимо, старались не встречаться со мной глазами. Один за другим шли солдаты и несли на подушечках ордена. Я, кажется, шла прямо за лафетом, держась

рукой за гроб. Потом салют. Незнакомые солдаты, незнакомые люди окружали меня, и все казалось совершенно формальным, бездушным, недостойным папы. А потом солдаты построились и прошли быстрым маршем, равняясь на могилу. Я опустилась на колени, и они проходили мимо и смотрели на меня.

А потом…

Потом все в голове перепуталось, я думала, что сотрясение мозга может произойти не только от удара, но и от горя. Я не могла восстановить последовательность событий, вытащить из происходящего, что главное, а что нет. Все провалилось, и очнулась я только через месяц, когда мы с Гешкой и Володей отправились на машине в Латвию.

Мы ехали мимо коричневых озер, и один раз, остановившись прямо у дороги, я бросилась в озеро и поплыла в коричневой, густой, как масло, воде. Что-то нереальное было во всей картине – высокие деревья, стоящие вокруг небольшого озера, коричневая, будто масло, вода, странный коричневый закат. Я раздвигала руками темную воду, смотрела в небо, сквозь деревья пробивались лучи заходящего солнца. Все было странно, темно и загадочно, будто давным-давно отснято на коричневую пленку.

Уже в сумерках, когда озера мелькали повсюду, справа и слева, одно за другим, мы свернули с шоссе, поехали по проселочной дороге и остановились у одиноко стоявшего на берегу дома.

Напротив дома сидел старик и доил корову. Володя направился к нему, старик обернулся, и я увидела… папу.

Я пошла вдоль поля, уходя в темноту. Посередине Латгалии, за 2500 км от Болгарии, в поле сидел старик, доил корову и был поразительно похож на папу.

Это что-нибудь да значило.

Старик выделил нам половину дома. Две комнаты, есть телевизор, газ, комнаты очень чистые, наполненный воздухом. Вдоль дороги – аллея кленов, столь огромных, что каждый по отдельности – роща.

– Когда посадили эти клены?

– А кто его знает. Когда я приехал сюда в тридцатом году, они уже были большие. – И пошел, не оборачиваясь в дом.

– Кто тебе помогает? – спросила я.

– Кто? Кто? Сам. Надо – и идешь.

Ничего не значащая фраза – два слова: «надо – и идешь», но они ранят, будто удар под дых.

«Знали бы ваши чертовы комсомольцы, как мы не за плату, не за славу, не за страх, надо – и идешь». – Огромные круглые глаза

смотрят гневно на меня…

Высокие горы. Ночь. Парень молодой и ловкий в клетчатом спортивном костюме перебегает от дерева к дереву… Почему-то из всего прошедшего я вижу всегда одну картину: темную ночь, тропинку в лесу, уходящую вверх, и тонкую, сильную фигуру отца, готового ко всему. Я не вижу ни забастовок, ни тюрем, ни демонстраций – только одинокую фигуру, быстро поднимающуюся в гору в темном лесу.

– Как у вас хорошо, – говорю я.

– Хорошо, так оставайся. – Я слышу папины интонации.

Он испытующе глядит на меня. Потом отворачивается.

– Купи дом вот этот, – указывает он на соседний пустующий дом, где на застрехе свил себе гнездо аист. – Купи и живи, – говорит он твердо и вновь поворачивается.

А я пытливо все вглядываюсь ему в глаза, пытаясь понять, кто это произнес и чье желание он выражает. Вчера, когда мы обедали, накрыв ящик клеенкой, сидя перед окнами, старик вышел из дома.

– Вот как бывает в жизни, – сказал он.

– Что это? – спросил Володя.

Но я уже видела, что старик достал фотографии.

– Садитесь, поешьте с нами, очень вкусная каша, с яблоками, – предложила я.

– Я уже ел.

Он сел, осторожно опускаясь на доску, положенную на два чурбана. Я вытерла руки и протянулась к фотографиям.

– Вот так бывает в жизни. – повторил он. – Это мой сын. Вот уже три года нет. – Старик сразу заплакал, поджимая губы и часто дыша.

– Все от баб, – сказал он, утирая слезы. – Это же не человек. Я скажу: из тысячи – одна бывает порядочная. И то не из каждой тысячи. Сын выпил, так ты, если человек, помоги ему. Собери за него сено. А она нет, – старик опять заплакал, – взяла из дома ушла, бросила его одного. А утром приходит, а он мертвый.

Старик, всхлипывая, вытирал слезы рукой.

– Потом кричала. Так ты кричи и люби, когда живой, – сказал он, переставая плакать и вытирая слезы.

Я смотрела удивленно – мой отец не плакал. Только когда умерла мама. «Вера! Вера!» – рыдал он, и слезы катились по его генеральскому мундиру. Мне бы тогда понять, как он стар.

– Инфаркт?

– Да, откуда знаешь? – спросил он, помолчав.

Я не ответила.

Старик протягивал фотографию за фотографией.

– А невестка в молодости еще хуже была, злая, – сказал я. – Сейчас подобрела.

– Откуда знаешь? – вскинулся старик, глядя внимательно из-под очков.

– Вижу, – сказала я.

– Понастроили домов, откуда народу-то столько, – говорил старик, недовольно поводя головой. – Всем что-то надо. Кричат, толкаются. Всем надо в город, а жить-то негде. Ты в городе живешь?

– Нет, – сказала я… – У меня умер отец.

Старик кивнул.

– Да ты себя-то побереги, – сказал он, ласково и твердо взглядывая на меня. – Я, как увидел, сразу понял. Мне тоже уже пора.

Он обводит мутными глазами дома.

– Сил нет. Хватит. Пожил. Помру – похоронят. Что я только не видел на свете! Колхоз все отобрал. Пропал труд. Сейчас работать не хотят. Атомку бы на них. Я молодой сильный был. Что я только не видел на свете, чего только не пережил. – Старик сокрушенно качает головой и поджимает губы. – Что только не видел. Было большое хозяйство, все отобрали. Остался дом… судили за изнасилование. У меня были две свидетельницы – жена и ее тетка. Берут меня на суд, а я там и говорю, – старик заплакал, – «Господи, ты все видишь, сделай по праву», только это и сказал – и меня оправдали. – Старик вытирал слезы, улыбался. – А ее приговорили к штрафу. Ограбили меня, все отобрали, коровы, лошади, свиньи, овцы… Был на военной службе.

Старик опускает голову, так что становится видна блестящая лысина.

– Да ты себя-то пожалей, – говорит он опять, взглядывая на меня.

Он полез в карман и вынул еще фотографии.

– А вот это кто? – старик чуть улыбался.

Молодой русый парень, на фоне гор, с тросточкой, с незнакомым лицом.

– Это ты, – сказала я.

– Ваша милость. – Старик удовлетворенно кивнул и галантно поклонился.

Папин жест, папина интонация и папино выражение. Папины горы.

– А вот «моя», – сказал он, медленно протягивая руку.

Две фотографии на паспорт, лицо, повторенное дважды. Горбоносая старуха важно и твердо взглянула на меня.

– Как ее звали? – спросила я, внимательно вглядываясь в лицо.

– Вера.

– Что?! – Я беспомощно оглянулась по сторонам.

– Вера! – вдруг заорал старик. – Вера!

Володя бросил есть и взглянул на меня.

– У меня что – то с нервами плохо, – сказала я, откидываясь на спинку скамейки.

– Да вижу. – Узкие проницательные глаза за стеклами очков. – Вижу. Как только видел, сразу понял. Вчера как посмотрел, как плачешь, разнервничался, спать не мог, – рубит он рукой по воздуху и опускает горько голову, так что видна лысина.

Старик сидит, положив руки на колени, рассеянно смотрит по сторонам, думая о чем-то.

Бабочка вьется надо мной, садится на колени, а вчера, когда складывали поленницу, слетела с дров на мою руку и так сидела, закрывая и открывая крылья.

– Что за звук? – спросил Гешка.

Крылья со старческим вздохом и кряхтеньем открывались и закрывались. Мы стояли и смотрели – сложенные белым парусом крылья и размашистые красно-коричневые открытые ладони.

Во всем этом я хочу видеть присутствие отца. До сорока дней осталось всего два полных дня. Солнце прячется за тучу, и я загадываю: если папа видит, то солнце еще выглянет над землей, прежде чем зайти. И сквозь тучу, сплошь темной полосой накрывшей небо, начинает вываливаться красная капля солнца. Висит посередине тучи кровавая, все возрастающая тяжелеющая капля, замерев красным слезящимся глазом.

– Не страдай, – говорю я. – Не страдай. Не надо так краснеть.

И солнце бледнеет. Постепенно из кроваво-алого, цвета живой крови, превращается в бледновато-серую свернутую тень.

«Непонятно, как он двигался, – сказал врач после вскрытия. – Мышца совсем не снабжалась кровью».

Отца разрезали, исполосовали, растерзали сердце, а я все еще ищу его на Земле.

Я приеду в Софию еще дважды – на похороны брата и на первую годовщину его смерти. Остановлюсь уже не в папиной квартире, порога которой поклянусь не переступать после разговора о наследстве, а у Володиной дочери Ольги. Именно в те дни в Румынии начнутся беспорядки – что-то вроде то ли восстания против Чаушеску, то ли революции, по телевизору будут показывать стрельбу в Бухаресте, убитых, мятущуюся толпу. Я заколеблюсь, буду страшиться – ехать или переждать,

съезжу на вокзал, расспрошу русских проводников, только что проехавших Бухарест, и вот ранним утром, все еще колеблясь, за несколько часов до отхода поезда, ехать или нет, мимоходом, перед тем, как зайти в ванную, включу на кухне радио – и услышу голос папы.

Старческий, задыхающийся от усилий передать то, что его волнует, голос. Зажав рот рукой, я опущусь на стул напротив двери в кухню и так замру. Голос то взвивался вверх, задыхаясь, то обрывался хрипом. Папа слал мне привет своим старческим, натужным голосом, стараясь побороть немощь и слабость, отец не умел говорить спокойно и размеренно, он увлекался, горячился, заново переживая все, что воскрешал словами. В декабрьское утро 1989 года я сидела согнувшись на стуле в коридоре, прижав руки ко рту, и слушала голос. Сколько это длилось? Полчаса? Десять минут? Я сорвалась со стула, схватила телефон, стала звонить единственному человеку, которого это могло обрадовать, – Норе. Папа все говорил, я набирала номер, но дозвониться в Варну не смогла. Свидетелей этого чуда не осталось. Вот так: в день отъезда, перепуганная, колеблющаяся, я мимоходом включила до тех пор молчавшее радио, попала именно на ту программу и услышала голос папы. Папа прощался со мной, словно давая знать: «Поезжай, будь спокойна, ничего не случится». И, встав, потрясенная, я поехала на вокзал. Потом кто-то из знакомых, кажется, Валя Терпешев, сын тети Мары, достанет мне эту запись, и она будет лежать в шкафу в Черноголовке. Я буду включать ее и, не выслушав и нескольких слов, – выключать. Он рассказывал об июньском восстании 1923 года…

В Бухаресте проводники подняли ступени, заперли вагон, задраили шторы, потушили свет. Мы простояли несколько часов в центре Бухареста. Доносились откуда-то выстрелы. Я была спокойна, как и утром, сидела, прижавшись спиной к стенке купе, время от времени отодвигала краешек шторы, выглядывала на пустынный перрон. Я думала, что вижу Бухарест в последний раз и в Софию больше не вернусь.

Вместо заключения. Старик
Рассказ

Женщина в черном платье медленно пробиралась сквозь толпу – слепое черное пятно на сетчатке глаза в яркий солнечный день. Платье висело темной тряпкой, ноги от жары вспотели, и ремешки сандалий врезались в красные вспухшие косточки. Вокруг – толпа с покупками, свертками, мороженым. Жарко. Женщина только что покинула дом, где все пространство, вся атмосфера были пропитаны ее отцом. Широко раскрытые глаза, чуть приоткрытый от усилий рот, распростертые руки, придерживающиеся за стены длинного коридора, неуверенные шаги, позвякивание чайника на кухне – отец пил, припав к носику чайника, тихое «ох-ха», зеленый круг лампы на столе, листы бумаги, книги, рукописи… тишина. Глубокое кожаное кресло, беспомощные, немного растерянные глаза из-под тонких кустистых бровей.

Женщина свернула в пустынную улочку, подбираясь к трамвайной остановке. Узкая лестница вела на эстакаду. Бетонная стена отбрасывала тень. Она остановилась у стены с клочьями объявлений, инстинктивно чувствуя себя здесь более уместной. В ярком летнем городе, стоя у облупленной сены, она думала, что земля со смертью отца обвалилась оврагом, открылась зияющая пропасть.

Подошел трамвай, покачиваясь длинным вагоном. Сердце немного отпустило. Проехали качели. Сюда, на площадку, залитую солнцем, она приходила. Здесь бегал ее старший сын, когда трамвай еще здесь не ходил, а был просто лесопарк. Здесь на качелях сына ужалила пчела, он страшно плакал, и она вынула жало. Какое отношение это имело к отцу? Тогда время еще шло медленно. Каждый день был днем размеренного счастья. Отец оставался где-то в стороне со своими делами, думами, претензиями, грубостью, криком и возмущением. И только иногда поражало – откуда отец все про нее знает? В сумочке лежала записная книжка отца, в книжке с оборванной наполовину корочкой, разбухшей от записей, будто дела раздвинули страницы, есть периодически повторяющаяся запись, мелким убористым почерком – ее приезд в гости, ее самой и детей, расходы, покупки, отдых, подарки, все с точностью военного человека, привыкшего к порядку.

Трамвай ехал, покачиваясь. Кусты парка, серые от пыли, казались неживыми. Странно было их видеть такими. Проехали

мимо телевизионной вышки. Здесь отца записывали, он рассказывал о восстании в 1923 году. А может, еще о чем-то. Она так и не удосужилась узнать, о чем. Там хранятся записи, можно его увидеть живым.

Женщина думала, что в этом городе она в последний раз, и еще думала, что смерть приходит постепенно. Постепенно человек переходит в иной мир, и дело не в старости, в угасании желаний, омертвении души, в физической немощи – смерть начинается, когда твоя плоть и кровь – отец и мать – уходят в иной мир и забирают с собой часть твоей жизни. Они унесут с собой часть жизни, которая никогда никому не будет известна и интересна, и принесут воспоминания, которые начнут приобщать тебя к тому свету.

Опять стало трудно дышать. Трамвай ввинчивался в центр города. Женщина вышла на следующей остановке. Снующая звенящая толпа обрушилась на нее.

И тут она увидела старика. Высокий старик в спортивном костюме и в соломенной шляпе неуверенно пробирался сквозь толпу. Остановился, выставив вперед палку, медленно повернул голову, опять пошел. Женщина шла, не отрывая взгляда от неуверенно движущейся фигуры. Старик осторожно ощупывал тротуар палкой, и только сейчас женщина поняла, как он стар.

«Я хочу видеть его глаза! Хочу видеть его глаза! Он не знал, как я его любила, он не знал и уже никогда не узнает!»

Худые, слабые и непослушные, ватные ноги неуверенно делали шаг за шагом. Палка помогала старику. Время от времени он останавливался, то ли передыхал, то ли пытался сориентироваться. Он останавливался на согнутых ногах, медленно поворачивал голову, и женщина видела, что на старике очки. Она шла, не отрывая глаз от такой знакомой фигуры. Рука, держащая палку, должна быть белой, с выпуклыми, крупными, очень толстыми ногтями, аккуратно подстриженными ею. Отец вечно бранился и кричал, когда она несмело откусывала щипчиками кусочки ногтей. Палка была блестящая, в черных разводах, с черной ручкой. Старик медленно ощупывал тротуар ею, и опять женщина подумала: до чего же он стар. Старик остановился и повернул голову. Она не поняла, что он рассматривает, но знала, что за толстыми линзами огромные черные зрачки смотрят внимательно и чуть сердито. Она торопилась взглянуть в лицо. «Головастики», – вспомнила она. «Головастики», – согласно кивнула. К старику подошла какая-то женщина. Старик спрашивал о чем-то, женщина указывала куда-то рукой.

Женщина смотрела, не отрываясь, на старика. Он снял шляпу

и вытер лоб. На лбу, который ей помнился с детства, раньше, чем руки, глаза, голос, на высоком красноватом лбу – две мягкие глубокие морщины.

– Когда она отойдет, я подойду и возьму его за руку. Сейчас я подойду, возьму его за руку, и мы пойдем, беседуя, одна душа и два тела. Я буду терпеливо поддерживать его и сносить его брань, мы будем время от времени останавливаться, он – чтобы перевести дыхание, а я, – чтобы задать очередной вопрос.

Главные действующие лица и их родственные связи

Здравко Васильевич МИЦОВ (1903–1986)	**Вера Вячеславовна КУРДЮМОВА-МИЦОВА (1903–1980)**
Родители Здравко Мицова: Василий Мицов (ум. 1906) и Цана Вылова (ум. 1927).	**Родители Веры Курдюмовой: Вячеслав Григорьевич Курдюмов (1873–1948) и Ольга Константиновна Орловская-Драевская (1878–1954).**
Братья и сестра Здравко Мицова: Василий; Владимир; Ольга (замужем за Петром Серафимовым); Иордан (женат на Павлине), их дети: Нора и Владко.	**Сестра и братья Веры Курдюмовой:** сестра Елена (тетя Леля, 1900–1986), была замужем за Константином Герасимовичем Засимчуком (ум. 1938), их дети – Татьяна (Таточка, 1927–1972) и Игорь (Горик, р. 1934); брат Георгий (дядя Жоржик, 1902–1996), был женат на Татьяне Ивановне Стеллецкой (тетя Тася, 1904–1993), сын Г.В. Курдюмова и Т.И. Стеллецкой – Владислав (Владик, р. 1935); брат Вячеслав (дядя Слава, 1906–1971), был женат на Ирине Константиновне Ломан (1913–1999), их дети – Александр (Алик, р. 1938), Игорь (р. 1941), Екатерина (Катюша, р. 1947); брат Григорий (дядя Гриша, 1907–1996), был женат на Елене Петровне Дерюгиной, их дети – Галина (р. 1933) и Ирина (1935–1999); брат Владимир (1913–1927); брат Николай (1919–1919).
Дети Здравко и Веры Мицовых: Инга (р. 1934) и Владимир (1938–1988). Инга Мицова замужем за Кравченко Владимиром Яковлевичем (р. 1933), их дети: Сергей (р. 1960) и Георгий (р. 1968). Владимир Мицов был женат на Султане Димитровой, их дети: Ольга (р. 1963) и Здравко (р. 1973).	

Сын Здравко Мицова и Эллы Ивановны Линдберг – Георгий Здравкович Мицов (р. 1944).

Женат на Валентине Вениаминовне Никоновой,
их дети – Петр и Олег.

Семьи внуков Здравко и Веры Мицовых:

Сергей Кравченко был женат на Голицыной Анне Георгиевне,
их дети – Екатерина и Ксения;
его второй брак – с Юксией Джао, дети – Алексей и Николай.
Георгий Кравченко женат на Светлане Владимировне Фортовой,
их дети – Александра, Нина, Стефания.
Ольга Мицова замужем за Дмитрием Димитровым.
Здравко Мицов холост.
Сын Георгия Мицова Петр женат на Елене Козыренко,
их дочь – Софья.

Некоторые родственные связи с другими персонажами книги:

Прапрадед автора – Андрей Самойлович Драевский (1800-?), окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию. Имел 12 детей; три последние дочери (вероятно, от второго брака с Елизаветой Карловной фон Ланге) – Екатерина, Елена (прабабушка автора), Елизавета (умерла в ранней молодости).
Екатерина Андреевна была замужем за Коллертом Николаем Николаевичем, имела двух дочерей – Екатерину и Варвару. Екатерина Коллерт (тетя Катя) была замужем за Константином Ломаном (ум. 1917), их дочь Ирина Константиновна – уже упомянутая выше жена Вячеслава Вячеславовича Курдюмова. Варвара Коллерт (тетя Варя) была женой Николая Емельяновича Лазарева, их дети – Дмитрий (дядя Митя, 1900–1998), Емельян (дядя Леля, ум. 1957?), Елена (Неличка).
Елена Андреевна была замужем за Орловским Константином Павловичем, имела двух дочерей – Ольгу (бабушку автора) и Марию.
Линия Курдюмовых: прадед автора Григорий Иванович Курдюмов был священником в Смоленском соборе г. Белгорода. Жена, прабабушка автора – Клавдия Ивановна.

Коротко об авторе

Инга Здравковна Мицова родилась в 1934 году в Ленинграде. Окончила биологический факультет Ленинградского государственного университета, работала в отделении Института химической физики (Черноголовка) над проблемами структуры белка. Кандидат биологических наук. Помимо научной работы занималась литературной деятельностью. Автор религиозной повести «Аз есмь Сергие» (1994) о жизни прп. Сергия Радонежского, евангельского романа «Следуй за Мной» (2000), автор и составитель сборника материалов о жизни и деятельности известного ученого-металлофизика «Академик Г. В. Курдюмов» (2004), а также многих публикаций в периодических изданиях. Организатор и долгие годы руководитель благотворительного общества «Милосердие – Радость» в Черноголовке. Инициатор и активный участник восстановления храма Св. Николая Чудотворца в деревне Макарово Московской области. Награждена почетными грамотами губернатором Московской области Б. В. Громовым за оказание разносторонней помощи детям – инвалидам детства и митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Имеет двоих сыновей и семерых внуков.

notes

Примечания

1

Димитров, Георги. Дневник (9 мар. 1933–6 февр. 1949). София, 1997. Рецензии в нашей печати: *Куманов М.* // Славяноведение. 2000. № 1. С. 115–118; *Марьина В. В.* Дневник Г. Димитрова // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 53–55.

2

О значении этого процесса для Сталина свидетельствуют и публикации на русском языке: Обвинительный акт Главной прокуратуры НРБ по делу Трайчо Костова и его сообщников. М., 1949 (Приложение к журналу «Новое время» № 50 от 7 дек. 1949 г.); Судебный процесс Трайчо Костова и его группы: Сб. материалов. София, 1949.

3

В 1949 году, когда мы уже жили в Болгарии, на уроке истории одна ученица подняла руку:

– Почему Тодор Луканов считается героем и так почитаем в Болгарии? – задала она вопрос. – Это несправедливо. Ведь это он провалил первое восстание в Плевне?

Учительница смутилась, бросила взгляд на заднюю парту, где сидел внук Тодора Луканова, Алька, и сказала не очень уверенно:

– Это было стихийное восстание. Коммунисты планировали поднять народ в сентябре. Это восстание было преждевременно.

Меня поразили знания этой ученицы, она знала не только про восстание сентябрьское, о котором мы учили, но и про июньское, в учебнике не описанное, мне неизвестное. И еще я подивилась тому, что сразу поверила этой ученице, хотя слышала о Тодоре Луканове с раннего детства. С его женой, бабушкой Коцей, его внучками Ирмой и Инессой, моей первой подругой, мы отдыхали в Разливе под Ленинградом летом 1940 года.

Стихийное, незапланированное! Вот в чем дело!

4

В 1808–1838 гг. президентом академии был лейб-медик баронет Я. В. Виллие, полвека возглавлявший медицинскую службу русской армии. Более пятисот воспитанников академии под его руководством принимали участие в Отечественной войне 1812 г. и заслужили своим искусством благодарность императора Александра I, восторг и уважение знаменитых хирургов Наполеона Перси и Ларрея. – *Ред.*

5

Краткая историческая справка. По указу Петра I в Санкт-Петербурге для помощи «служивым людям» в 1715 г. учреждены Военно-сухопутный и Адмиралтейский госпитали, а затем – Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. При этих госпиталях (как и при учрежденном в 1706 г. госпитале в Москве) в первой половине XVIII в. возникли госпитальные (медико-хирургические) школы, положившие начало отечественной системе военно-врачебного образования. Эти школы в 1786 г. объединены в Главное врачебное училище. 18 (29) декабря 1798 г. Павел I подписал указ о строительстве зданий училища, и эта дата считается днем основания Медико-хирургической (с 1881 г. – Военно-медицинской) академии. В 1808 г. Александром I ей дарованы права Академии наук: она стала именоваться Императорской (ИМХА). Так началось высшее медицинское, ветеринарное и фармацевтическое образование в России. По инициативе знаменитого хирурга Н. И. Пирогова в 1841 г. в ИМХА основаны кафедры госпитальных хирургии и терапии; также впервые в России учреждены кафедры и клиники оперативной хирургии с топографической анатомией (1865), педиатрии (1865), психиатрии (1857), гигиены (1871), общего учения о заразных болезнях с практическим курсом бактериологии (1896), ортопедии (1900) и др. «Особый женский курс для образования ученых акушерок» (1872) положил начало высшему женскому медицинскому образованию. Среди ученых академии – Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов – основатель современной школы физиологов, С. П. Боткин – глава крупнейшей русской терапевтической школы, нобелевский лауреат, физиолог с мировым именем И. П. Павлов. – *Ред.*

6

В газете «Ленинградская правда» (1.04.1982) опубликована небольшая заметка С. Поггенполя «Высокое звание» с подзаголовком «Встреча через 50 лет». В ней говорится: «50 лет назад в Военно-медицинской академии состоялся “ускоренный” выпуск врачей: слушателями они были зачислены 1 сентября 1928 г. Вся последующая их практическая работа показала, что выпускники академии 1932 г. свое высокое звание полностью оправдали. На их долю выпало многое: бои в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол, Великая Отечественная война, годы повседневной работы в учреждениях здравоохранения. Имена 9 врачей, погибших в боях за Родину, высечены на мраморной доске в вестибюле главного здания академии. Многие из выпускников занимались большой организационной работой: М. А. Могучий руководил медицинской службой одной из армий; И. И. Спивак долго был начальником медицинской службы Главного управления пограничных войск; П. Г. Докин – начальником медицинской службы Балтийского флота; А. С. Соколов – начальником медицинской службы армии, затем – начальником Медико-санитарного управления Министерства путей сообщения. Звание генерал-майора медицинской службы получил З. В. Мицов… на каком бы участке они ни работали, свой долг перед Родиной всегда выполняли честно».

7

Недавно из документов я узнала, что Андрей Самойлович Драевский (1800–?), воспитанник Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, коллежский советник, кавалер ордена Св. Анны, проживал в Казани. Как потомственный дворянин, вместе с детьми (моей прабабушкой Еленой Андреевной в том числе), внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Из этих записей следует, что женой его в то время была Наталья Ивановна Шуваева. Возможно, Елизавета Карловна – его вторая жена. Поскольку на фотографии 1871 года она выглядит еще не старой женщиной.

8

Из цитируемого выше документа следует, что детей у Андрея Самойловича Драевского было двенадцать. Последние три дочери: Екатерина (1847) Елена (1849) и Елизавета (1850).

9

Курдюмов Георгий Вячеславович (1902–1996), физик, академик АН СССР (РАН) и АН Украины, Герой Социалистического Труда (1969). Автор трудов по металловедению, физике пластических деформаций, упрочнения и разупрочнения, легированию металлов. Лауреат Сталинской премии (1949). – *Ред.*

10

Константин Владимирович Ломан (1880–1917) окончил Морской кадетский корпус. Принимал участие в Русско-японской войне, был в японском плену, бежал. Участвовал в Гидрографической экспедиции по водам Северного Ледовитого океана, командир транспорта «Вайгач». В 1917 г. командир 4-го батальона артиллерии на полуострове Сырвесяэр. Погиб при взрыве бомбового погреба. Награды – Св. Анны 4-ой, 3-ей, 2-ой степени с мечами и бантом, Св. Станислава 3-ей и 2-ой степени, Георгиевское оружие.

11

Гарднеровский фарфор – изделия русского завода фарфора, основанного в 1766 г. Ф. Я. Гарднером в с. Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии.

12

Так назывался в просторечии небольшой маневренный паровоз, а также поезд местного назначения на железнодорожных ветках, как правило, в провинции. – *Ред.*

13

Вольнонаемный – человек, работающий в военном ведомстве, но не состоящий на военной службе. – *Ред.*

В то время так назывался Оренбург. – *Ред.*

15

Станке Димитров (1889–1944) – видный деятель болгарского коммунистического движения. Активный участник подготовки Сентябрьского восстания в 1923 г. В 1923–1925 и 1936–1937 гг. секретарь ЦК БКП.

16

Трайчо Костов (1897–1949) – болгарский партийный и государственный деятель. Участвовал в подготовке Сентябрьского антифашистского восстания 1923 г., трижды приезжал как политэмигрант в СССР, в 1931–1949 гг. член ЦК БКП. В 1945–1949 гг. – член Политбюро ЦК БКП, после 9 сентября 1944 г. – секретарь ЦК партии, заместитель председателя Совета Министров НРБ.

17

Елена Димитрова – сестра Георгия Димитрова, жена Вылко Червенкова, ее папа переводил через нелегальный канал в 1925 г.

18

Любовь Терпенчарова – жена Трайчо Костова.

19

Лифт *(фр.)*.

Один из них можно и сейчас найти в интернете: якобы Димитров отправился на аэродром встретить заместителя председателя Совета Министров СССР Андрея Вышинского, сделавшего промежуточную посадку на Софийском аэродроме. Димитров находился в самолете, когда дверь за ним внезапно закрылась. Но это всего лишь слух, документально не подтвержденный. В описываемое время Вышинский был заместителем министра иностранных дел СССР (министром – с марта 1949 г., когда Димитров давно находился в Советском Союзе). Сталину проще было пригласить Димитрова в СССР, а потом убрать, чем устраивать для этого представление в стиле дешевой оперетки. – *Ред.*

21

Имеется в виду т. н. «Ленинградское дело», результат соперничества А. А. Жданова и Г. М. Маленкова. А. А. Кузнецов (1905–1950), ближайший помощник Жданова, с 1945 г. – 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), затем член ЦК. В 1949 г. арестован, в 1950 г. – расстрелян. – *Ред.*

22

В «Круге первом» А. И. Солженицын упоминает про события того времени: «Быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрекся от вздорной Балканской Федерации».

23

Имеется в виду Светлана Аллилуева – дочь И. В. Сталина и Н. С. Аллилуевой. – *Ред.*

24

Один из первых политических процессов сталинского периода, направленный против научно-технической интеллигенции. – *Ред.*

25

Спустя полвека мы подготовим и издадим прекрасную, по отзывам, книгу: Академик Георгий Вячеславович Курдюмов: Страницы жизни. Воспоминания. Итоги / Сост.: И. З. Мицова, В. Г. Курдюмов, В. Я. Кравченко; отв. Ред. Ю. А. Осипьян. М.: Наука, 2004. 323 с. Процитируем фрагмент из письма академика Л. А. Арцимовича Г. В. Курдюмову: «Вероятно, уже не очень много осталось физиков, которые помнят вас с самого начала 30-х годов. Вы уже тогда были в нашей стране признанным вождем начавшей зарождаться металлофизики и остались им до настоящего времени. И что еще важнее – вам удалось сохранить с той *доисторической* эпохи искреннее уважение и горячую симпатию всех, кто имел счастье знать вас на протяжении этого длительного этапа. Вероятно, если бы был объявлен конкурс на академика, пользующегося наибольшей симпатией и уважением в широких кругах научных работников, то вы были бы единственным кандидатом на золотую медаль. Редко встретишь человека, у которого по-настоящему большие научные заслуги сочетаются с таким добрым сердцем, как у вас…»

26

Богородицы. Один из иконописных типов изображения Божией Матери.

27

Чешма – это родник, над которым сооружено ограждение в виде каменной стены, высотой в человеческий рост. Внизу в стене вделана труба, из которой постоянно течет вода. Кожухар – это кожевник. Раньше «Кожухарская чешма» находилась вне города. Существует до настоящего времени.

28

Для написания книги папа использовал архивы ЦК Красного креста, поездку в Воронеж обеспечивали советское посольство и Исполком Советского Красного Креста.

29

Ф. Нансен (1861–1930) – знаменитый полярный исследователь. После Первой мировой войны был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. По его инициативе русским белоэмигрантам выдавали т. н. «нансеновские паспорта» для проживания за границей (без вступления в подданство какой-то определенной страны). Лауреат Нобелевской премии мира (1922). – *Ред.*

30

Балканы – горная цепь (Мургаш – одна из вершин), а Плевна расположена на равнине на расстоянии около тридцати километров от Балкан.

31

Н. П. Игнатьев (1832–1908), граф, дипломат, военачальник. Участник подготовки Сан-Стефанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Его племянник – А. А. Игнатьев (1877–1954), граф, дипломат, писатель. Перешел на сторону советской власти, сохранил для Советской России средства во французских банках. Автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю». – *Ред.*

32

Хирург, академик АН и АМН СССР, в указанное время – министр здравоохранения СССР. – *Ред*.

33

А. А. Гречко (1903–1976) – министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС. – *Ред*.